

Взгляд

Выпуск

2

Критика

Полемика

Публикации

Взгляд

ВЗГЛЯД

ВЗГЛЯД

ДЛЯ

День литературы

Я думаю, что...

Из писательского архива

Возвращение к читателю

Литературные культуры

ВЗГЛЯД

ВЗГЛЯД

ВЗГЛЯД

Критика Полемика Публикации

Выпуск

2

Москва
Советский писатель
1989

ББК 83 ЗР7
В 40

Составители

Л. Б. Воронин, А. М. Турков, С. И. Чупринин

Художник

Василий Валериус

4603000000—487
В $\frac{\quad}{083(02) -- 89}$ 443—89

© Издательство «Советский писатель», 1989

От редакции

Новый выпуск «Взгляда» — полемического ежегодника, своего рода трибуны критиков — следует принципам, заявленным при его создании. Мы стремились к тому, чтобы «Взгляд-2» как бы подтверждал, подкреплял право критиков на разные точки зрения, разные взгляды на тот или иной предмет. Момент принципиальный, получивший в самом начале нынешнего года авторитетную поддержку на январской встрече в ЦК КПСС с деятелями науки и культуры — встрече, на которой развернуто и аргументированно говорилось о проводимом в нашей стране «курсе на широкую демократизацию, гласность, утверждение социалистического плюрализма мнений».

Как и прежний, новый выпуск ежегодника не претендует на всеохватность, на сбалансированное отражение всего того, что привлекло внимание в жизни нашей литературы в период, обозреваемый и осмысляемый на страницах этой книги. Но каждый из ее авторов, обращаясь к наиболее близкому ему, так или иначе затрагивает самое заметное или — по крайней мере — характерное в текущем литературном процессе, в многообразии общественных перемен. Вот почему, думается, в мозаике представленных во «Взгляде» мнений, публицистических зарисовок, критических суждений отразились дух и приметы нового времени.

Перемены в нашей литературной и общественной жизни предопределили и проблематику материалов, вошедших в новый «Взгляд», и принципы их взаимодействия друг с другом. Намечившаяся в первом выпуске структура в основном сохранена, хотя кое-что, возможно, стало звучать по-иному. Так, авторы статей, собранных в разделе «День литературы», соотносят свои суждения о сегодняшней прозе, поэзии, публицистике, критике не только с публикациями из архива классиков советской литературы, как это было раньше, но и с творчеством тех писателей, которые в годы застоя оказались по ту сторону государственной границы. В живом диалоге, в дискуссиях советских литераторов с литераторами-эмигрантами вырабатываются новые подходы, уточняются критерии, устраняются пропагандистские стереотипы, мешающие представить себе русскую и всю нашу многонациональную литературу XX века во всем ее объеме и многоголосии.

Естественно, при осмыслении новых литературных явлений, ведущих тенденций проявляется плюрализм мнений, что не отменяет, однако, общности стремлений к сохранению и обогащению наших идейных и духовных ценностей. Разумеется, при этом неизбежны споры, полемическая заостренность в постановке ключевых вопросов, субъективные пристрастия авторов. Показательно в этой связи, что рубрика «На перекрестке мнений» перешагнула границы лишь одного, «субъективного» раздела «Я думаю, что...» и правомерно заявила о себе в разделе «День литературы», где в поле зрения критиков — наиболее заметные явления и факты текущей литературной жизни. Но авторы «Взгляда» вступают не только в прямую полемику. Читатель этой книги обратит внимание и на «отдаленные» переключки, споры по различным, актуальным сегодня проблемам...

Глубоко закономерно в период общественной активности, что авторы «Взгляда» не ограничиваются «чисто» литературными поводами, а выходят к философским, социологическим, этическим аспектам разговора.

Современная жизнь требует всестороннего осмысления волнующих нас проблем, продуманных, взвешенных их решений. Вот почему во «Взгляде-2» продолжают разговоры по вопросам, затронутым в первом выпуске: о наших идейных ориентирах, духовных богатствах и о позиции критика в подходе к ним, о судьбах новаторства в современной литературе. Хотелось бы надеяться, что обсуждение проблем, поднятых в новом «Взгляде», будет продолжено авторами последующих его выпусков.

Взгляд

День литературы

Взгляд

Кто мы и откуда?

Не так давно мне пришлось быть нечаянным свидетелем (и слушателем) прелюбопытнейшего диалога. Хотя определение жанра как «диалог», пожалуй, будет не совсем точным, ибо диалог подразумевает наличие двух голосов, двух позиций. Здесь же собеседники буквально сливались в радостном единомыслии. Нет, даже и не беседа это была, потому что в беседе ведь мысли собеседников тоже развиваются, сталкиваются, спорят. Для определения жанра лучше всего будет воспользоваться «хорошим русским словом», о котором напомнил Ан. Иванов: *з а е д и н щ и н а* (он призвал нас всех стать «заединщиками» в борьбе с чуждой идеологией). И. Дементьева со страниц «Юности» (1988, № 7) напомнила, правда, истинный смысл слова «заединщики» (по В. И. Далю): «товарищи... особенно в тайном замысле».

Одного «заединщика» обозначу литерой Ш, другого — П. В их «заединщине» в первое же мгновение пулеметной очередью прозвучали слова «патриот» и «патриотизм».

Вопрос о патриотизме сегодня чрезвычайно важен. Он стоит так: кого считать истинным патриотом — того ли, кто заклинаниями о своей любви к *державе* пытается затушевать все беды, все противоречия, всю кровь истории своего *народа*, пролитую в 20—40-е да и в другие годы, — или того, кто, не боясь нанести ущерб представлениям о родине, о народе, прямо обо всем этом говорит и пишет? Исходя из чаадаевского: «Слава Богу, я всегда любил свое отечество в его интересах, а не в своих собственных».

Но вернемся к беседе. Попробую для краткости изложить ее в виде маленькой пьесы.

III. Для того чтобы сокрушить Советское государство, средства все хороши, все сгодятся: и Солженицын, и сионизм... Но рок-музыка посильней сионизма будет. Она способна привести к массовому психозу и жестокости.

II. Такие же цели преследует космополитизм. (С некоторых пор произносить это слово почему-то считается дурным тоном.) В довоенной юности (30-е годы. — Н. И.) у нашего поколения был энтузиазм, стремление к знаниям, честность, самоотверженность, вера в коммунистические идеалы, готовность к самопожертвованию. Была идейная убежденность. Сейчас радуют меня только ребята из Люберец. Социально зрелые ребята. Отрицают всякого рода «металлистов», брейкеров. Словом, здоровые нравственно, сильные физически ребята. Были у них, кстати, столкновения с «металлистами». Один-два случая.

III. Между прочим, не такие уж безобидные они, эти «металлисты». Они намеревались двинуться всей оравой бить «люберов». Затея, правда, провалилась благодаря вмешательству милиции.

(Н. И. То есть, как я поняла, «люберы» «металлистов»-таки избивали, а «металлисты» «люберов» — нет. Однако виноваты, по мнению беседующих «заединщиков», все-таки «металлисты». Кого бьют, тот и виновен. Но послушаем дальше. Беседа перекинулась с «люберов» на искусство.)

II. Досадно, но редко все же мы видим фильмы о тех, кем гордится наш народ.

III. Волнующий фильм «Лермонтов», фильм С. Бондарчука «Борис Годунов» — это сильные патриотические произведения. Но увы! Почему-то многие патриотические произведения и действия вызывали раньше и вызывают сейчас отрицательную реакцию. А шумиха в печати, огульно поднятая вокруг «Памяти»?

II. Бросается в глаза какой-то агрессивный тон, словно речь сплошь идет о злейших врагах нашего государства. Надо правдиво, заинтересованно рассказать о патриотических делах «Памяти».

(Небольшой, но стойкий шум в помещении.)

«Заединщиков» прерывают голоса сотрудников Ленинградского отделения Института востоковедения Академии наук СССР:

Члены объединения «Память» ведут шовинистическую, по сути дела антисоциалистическую пропаганду... Собрания проводятся в обстановке истерического нагнетания ненависти к нерусским национальностям. Попытки дискутировать с активистами «Памяти» немедленно пресекаются. Фронт «Память» публично оправдывает покрывшие себя позором организации «Союз русского народа» и черную сотню.

II. Но разве на этом основании справедливо обвинение «Памяти» в шовинистических тенденциях?

Продолжают ленинградцы:

Предпринимаются попытки морального давления на советских граждан-евреев, в первую очередь деятелей культуры, искусства и просвещения, а также активных деятелей перестройки других национальностей. Для этого печатаются и оглашаются пофамильные списки, иногда с угрожающим добавлением: «Адреса их нам известны». В воззваниях и устных выступлениях звучат откровенные призывы к насилию — «врагов надо знать в лицо», «пора переходить к партизанским действиям».

III. В патриотизме народа истоки «Памяти». Цели, которые преследует это общество, благородны.

(Вступает голос критика, который хочет казаться Независимым. Обозначим его литерой Л.)

Л. Если мы отстаиваем свободу выражения мнения, то прежде чем полемизировать с «Памятью», надо предоставить ей право высказаться. По-моему, тут азбука демократической печати.

(Возвращаемся к беседе двух «заединщиков».)

III. Известно, что антисоветские службы, действующие на Западе, укомплектованы в основном просионистски настроенными бывшими советскими гражданами. «Память» об этом заговорила вслух¹ и тем уже вызвала неудовольствие тех, кто о сионизме предпочел бы молчать.

II. Этот номер у нас не пройдет. (Опять говорят об искусстве. Взволнованно, с чувством полного заединства.)

III. Некоторые наши печатные органы и телевидение с помпой отмечали столетие со дня рождения Марка Шагала... Но дело даже не в том, что Шагал небольшой ху-

¹ Итак, III сам слышал и подтвердил услышанное. А Л. беспокоится, что «Памяти» не дают высказаться!

дожник. (Это для «заединщиков», как, впрочем, и многое другое, включая восторженные отзывы о «Лермонтове» и «Борисе Годунове», в доказательствах как бы и не нуждается. Небольшой, и все тут. — *Н. И.*) Его картины... гнусный пасквиль на нашу революцию, на нашу страну. Тем не менее некоторые требуют открыть в Витебске музей Шагала (вот нахалы! — *Н. И.*), навязывают нам его в качестве духовного наставника.

II. Общественность должна поднять свой голос протеста.

III. А кто его услышит?

Итак, если II и III претендуют на то, чтобы их считали «общественностью», то я — услышала их голос.

Беседа «заединщиков» за дружеским столом происходила в журнале «Молодая гвардия» (1988, № 7). «Заединщики», то бишь собеседники, — И. Шевцов, отрекомендованный журналом как «писатель», и маршал авиации, командующий Всесоюзной военизированной спортивной игрой «Зарница» И. Пстыга.

Л. — А. Латынина, в августовском номере «Нового мира», вышедшем практически одновременно с № 7 «Молодой гвардии», печалившаяся, что-де «Памяти» высказаться в печати не дают.

Не дает — кто?

Пока что, насколько мне известно, нет случая отказа «Памяти» в публикации в центральных органах печати. Прежде всего потому, что «Память» к ним со статьями не обращалась. Это общество предпочитает действовать обходными маневрами. В частности, теми, о которых подробно рассказано в письме ленинградских ученых в газету «Известия» (1988, 14 августа). Печатная гласность, всенародное обнаружение позиции «Памяти» вовсе ни к чему. Ей на руку как раз тайны, слухи, сплетни, оговор: работает в устных жанрах. В печати потребовались бы ссылки, уточнения, источники, подтверждение фактов. Согласитесь — обременительное дело. А для устного жанра это все необязательно. Можно обойтись и без фактов. Можно их выдумать (перелицевать, извратить и т. п.). Эффектней выйдет.

В своей молодогвардейской беседе «заединщики» коснулись еще одного крайне важного вопроса. И. Шевцов, заслуживший известность сомнительного толка бездарным пасквилем на интеллигенцию («Тля»), делится своими впечатлениями от публикаций последних лет: «Сегодня патриотические книги все больше вытесняются на задний

план дешевыми сенсационно-разоблачительными публикациями, порой откровенно спекулятивного характера».

В шестом номере того же журнала «заединщиком» И. Шевцова выступил читатель В. Мещеряков. «Обличительные пасквили некоторых литераторов вызваны просто (так! — *Н. И.*) тем, что спрос рождает предложение. Обидно за писателей, спекулирующих на нездоровом интересе людей к патологическим явлениям в жизни нашей страны». Произведение, которым Мещеряков конкретно подтверждает свой тезис, — роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». «Любопытный читатель», как себя характеризует Мещеряков, до сих пор формировал свое представление о прошлом по таким романам, как «Фаворит» В. Пикуля. И это его вполне устраивало. И вдруг — В. Гроссман. Действительно, на любителя «исторической» прозы в духе Пикуля такой роман мог произвести не совсем веселое впечатление. Но какое впечатление, интересно бы знать, производит на него лавина публикующихся документальных исторических фактов, подтверждающих прозорливую правоту Гроссмана?

Пора нам уже переходить от накопления фактов, от «горизонтального» мышления (пользуясь названием пьесы М. Шатрова, как метафорой — «Дальше... дальше... дальше») к осмыслению истории, ее трагических страниц (глубже... глубже... глубже), о которых, однако, думают сегодня отнюдь не те, кто, вроде Шевцова, спешит нас учить патриотизму.

* * *

Народ, как и Бога (понятия одного все-таки ряда), всеу не упоминаем. Вряд ли легко вы обнаружите это слово, скажем, в статьях Юрия Черниченко или в статье Василия Селюнина «Истоки» («Новый мир», 1988, № 5). Разговор ими ведется очень конкретный — о человеке, о его проблемах. Отнюдь не о народе «вообще».

Для точного диагноза современности производит необходимый исторический анализ — иначе диагноз будет поставлен неверно, только по внешним симптомам. Но начали эту нелегкую работу не публицисты, а прозаики. Именно они в период цветущего застоя работали над романами и повестями о нашем историческом прошлом. И их работа была тоже ответом на современность, тревожным поиском причин. И «копали» они очень глубоко.

Безыллюзорно и ответственно исследовали историческую специфику крестьянского вопроса писатели-деревенщики.

Не случайно все глубже и глубже в шахту истории опускается Василь Быков.

Юрий Трифонов для понимания истоков современного конформизма вел «раскопки» и в 30-х годах, и в 1919—1920-х, и в революции, и даже в 70—80-х годах прошлого века. Писатель исследовал ход, развитие идеи насилия в России, ее осуществление и драматические последствия этого осуществления.

В фильме «Зеркало для героя» (Свердловская киностудия, режиссер В. Хотиненко) двое наших с вами современников «попадают» в 1949 год. Такой фантастический сдвиг. И вот они на своей шкуре начинают познавать те времена. Да еще и времена-то словно заело, как пластинку: никак не выбраться из одного дня. И только ценой колоссальных человеческих усилий время, словно нехотя, сдвигается с места...

Вот и мы все сегодня словно попали в те времена — чтобы осмыслить наше время, наши возможности, наши «двери».

Говоря «история», «белые пятна истории», мы в основном за прошедшие два года концентрировали свое внимание на Сталине и сталинизме. Это и понятно. Впервые, структурные порождения сталинизма до сих пор не изменены (или очень мало изменены) в нашей экономической и только начинают меняться в нашей политической, общественной, гражданской жизни. Восстанавливаются в правах тысячи невинно репрессированных, расстрелянных — но не проведено ни одного расследования о палачах. Заботясь о жертвах, мы забываем о них. Но в таком случае наша забота, мягко выражаясь, лицемерна. Зло так и не получило наказания. Хочу, чтобы меня правильно поняли: я не призываю к мести, страна у нас и так, по определению Артема Веселого, «кровью умытая». Но крупный, всесоюзный общественный процесс должен был (или должен будет) произойти. А то мы бдительно следим за наказанием палачей гитлеровских, а о «своих» — предпочитаем умалчивать. Как-то это уж очень непоследовательно.

Но вернусь к проблемам исторического мышления.

Заслугой шестидесятих годов была выработка сознания, что просто фигурой Сталина здесь не обойтись. Что нужно добираться до самого сталинизма, ибо Сталин, как недавно афористично сформулировал Ф. Искандер, оказался «лучшим сталинистом — и победил».

Но к глубинному исследованию истоков сталинизма как такового мы только приближаемся.

Хочу обратить внимание читателя на, может быть,

оставленное им без внимания предисловие доктора философских наук И. Мочалова к публикации записей В. И. Вернадского («Новый мир», 1988, № 3). Вот на какие серьезные размышления навел его дневник Вернадского: «...В нашей, «домашней» истории в глаза бросается одно обстоятельство: начиная по крайней мере с эпохи петровских реформ, если не ранее, и до наших дней при всех больших или малых, прямых или косвенных, удачных или неудачных, глубинных или верхушечных, мирных или насильственных социальных преобразованиях просматривается общая закономерность — ни одно из этих преобразований не смогло не то что разрушить, но даже сколько-нибудь основательно расшатать некую социальную сверхструктуру, некую авторитарную, э л и т а р н о - б ю р о к р а т и ч е с к у ю по своей природе суперсистему, словно гигантским обручем стягивающую общество. На протяжении столетий Россия была лишена способности к самоорганизации и саморазвитию в силу полного или почти полного отсутствия эффективно функционирующей системы обратных связей, вследствие чего малоподвижное, консервативное «целое» буквально расплющивало «маленького человека». Проникающая во все поры общества, эта суперсистема играла и играет роль своего рода инварианта российской истории...» Роль и задачу перестройки И. Мочалов как раз и видит в сокрушении этого инварианта.

Инвариант этот подвергается всестороннему осмыслению в статье В. Селюнина «Истоки». При этом отношение публициста к истории и ее инварианту глубоко личностное (это так же свойственно для «Истоков», как и для черниченковских статей). Слишком хорошо на себе самом в детстве В. Селюнин узнал цену высокомерным словам, произнесенным карточным шулером в горьковской пьесе (и неожиданно ставшим лозунгом государства: «Человек выше сытости»). «Такую дурь, — комментирует Селюнин, — мог сморозить тот, кто голода не знал».

Главная мысль, которую пытается разрешить Селюнин, когда на конкретных фактах он строит свою историко-экономическую концепцию, — это мысль о труде рабском и труде свободном. Внеэкономическое принуждение крестьянства, пишет Селюнин, применялось в первые послереволюционные годы чрезвычайно широко. А еще до того, сразу после революции, с крестьянством велась самая настоящая война — пора нам уже осмыслить, что сведение ее к противоборству красных и белых не отвечает полноте исторической правды. Главный удар пришелся по крестьянскому повстанческому движению. Несмотря на то что в борьбе против помещика интересы

крестьянства совпадали с интересами новой власти, после разгрома белой армии штыки были повернуты на крестьянство (например, все взрослое мужское население деревень Тамбовской губернии ушло в армию Антонова). Селюнин приводит цитату из дореволюционной работы Ленина, обосновывающую такую политику, вызвавшую крестьянские войны: «Мы сначала поддерживаем до конца, всеми мерами, до конфискации, — крестьянина вообще против помещика, а потом (и даже не потом, а в то же самое время) мы поддерживаем пролетариат против крестьянина вообще» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 222). Селюнин показывает, как «инвариант» российской истории, покачнувшийся во время нэпа, опять возвращался на круги своя, только в еще более опасном и бесчеловечном виде. Но Селюнин не оставляет никаких иллюзий по поводу исторического происхождения сталинского плана развития экономики за счет разорения крестьянства, а также всей сталинской системы в принципе.

Уже 31 января 1918 года правительство Советской республики предписало «принять меры к увеличению числа мест заключений». Через небольшой отрезок времени, в 1919 году, были организованы первые концентрационные лагеря, в которых, по предложению Дзержинского, стали использовать труд заключенных — для решения «чисто хозяйственных задач». А Троцкий, развивая эту логику, предложил всю страну превратить в гигантский концентрационный лагерь. Несмотря на то что нынешние историки уверяют, будто IX съезд отклонил военно-бюрократическую линию Троцкого, обращение Селюнина в основной резолюции съезда доказывает, что в стране вводилась милиционная экономика. Только восстание моряков Кронштадта, забастовки рабочих заставили пересмотреть милицейские законы «военного коммунизма». Революционные изменения произошли «сверху буквально в считанные месяцы», как пишет Селюнин. Но уже в 1923 году нэпу «противостояла грозная оппозиция», которая в конце концов и победила. А затем — восторжествовала «классическая форма насилия — работа подконвойных», где заключенного использовали всего две недели, а затем отправляли догнивать в лагерь: «Ими освоены Колыма и Полярное Приуралье, Сибирь и Казахстан, воздвигнуты Норильск, Воркута, Магадан, построены каналы, проложены северные дороги — всего не перечислить».

Селюнин ищет корни «военного коммунизма» в отечественной истории — начиная с XVI века, с эпохи столь любезного Сталину Ивану Грозному (на этом поворотном пункте нашей истории произошло огосударствление

производительных сил, торможение капиталистического способа производства) и безусловно положительно оцениваемого, столь любезного сердцу многих наших соотечественников Петра. «Именно при Петре, — замечает Селюнин, — достигнута высшая точка огосударствления производительных сил». Петра Селюнин иронически называет «достойным продолжателем» дела царя Ивана. А аппарат надсмотрщиков, восемнадцатимиллионная армия которого сегодня сидит на шее у производителя, исторически формировался столетиями.

Статья Селюнина, лишенная каких бы то ни было беллетристических украшений, метафор, «изящных» словес, на мой взгляд, лидирует сегодня в публицистике. Она написана чрезвычайно концентрированно. Глубина, стройность мысли, аргументированность и боль — все нашло в ней свое место.

* * *

В отличие от публицистов, ведущих конкретный разговор, прозаики, тоже ныне активно выступающие с публицистическими статьями, часто апеллируют именно к народу. Так, В. Распутин в своем выступлении в «Правде» 24 июня 1988 г. «Знать себя патриотом» (в основу которого положена телевизионная передача) употребляет это слово много раз. «Патриотизм как сознание народа», «мы хотим поддержать у своего народа самоуважение», «гордость за свое происхождение в любом народе», «народ не может явиться случайно», «народ, который обрел память», — это отнюдь не полный перечень. Второе понятие, к которому постоянно апеллирует Распутин, это нация, подъем национального самосознания. Нельзя не согласиться с прозаиком, когда он с болью говорит об уничтожении сибирских лесов, обмелении рек и озер, потере драгоценных памятников культуры. Но от этой печальной констатации необходимо идти вглубь, доискиваться до «источков», до причин произошедших — да еще и происходящих — драматических событий. Однако Распутин, желая того или нет, словно отделяет народ от полноты ответственности. «Кто виноват?» — спрашивает он. «На свидание с прошлым своей Родины пойдут вслед за первыми тысячами миллионы и миллионы, и, прозревшие, наставленные национальной судьбой, они, очевидно, разберутся, что такое патриотизм», — отвечает Распутин тем, кто считает употребление слова «патриот» по отношению к самому себе, от первого лица — неловким. По Распутину выходит, что и в экологических бедах, и в оскудении певческой культуры, фольклора виноваты кто-то извне, а

народ — только великий страдалец. Хочу заметить, что в этом перечне драм и трагедий народа Распутин почему-то охотно говорит о потерях памятников или лесов — и ничего о миллионных потерях людей. Самого народа. Что же касается вопроса ответственности, то здесь от проблемы народа тоже не уйти. Ведь Распутин, я думаю, вряд ли хочет представить русский народ эдаким младенцем, навеки инфантильным существом, с которым делают что хотят (да и кто делает?).

В. Белов в статье «Ремесло отчуждения», опубликованной в журнале «Новый мир» (1988, № 6), пытается дать ответ на вопрос «кто виноват?» следующей выпиской из «Занимательной зоологии»: «Появление жучка ломехуза в муравейнике нарушает все связи в этой дружной семье. Жучки поедают муравьев и откладывают свои яйца в муравьиные куколки. Личинки жука очень прожорливы и поедают «муравьиные яйца», но муравьи их терпят, т. к. ломехуза поднимает задние лапки и подставляет влажные волоски, которые муравьи с жадностью облизывают. Жидкость на волосках содержит наркотик, и, привыкая, муравьи обрекают на гибель и себя, и свой муравейник. Они забывают о работе, и для них теперь не существует ничего, кроме влажных волосков. Вскоре большинство муравьев уже не в состоянии передвигаться даже внутри муравейника, из плохо накормленных личинок выходят муравьи-уроды, и все население муравейника постепенно вымирает».

Сильная метафора. Опять иные по происхождению, генетически отличные от «муравьев», действуют враждебные существа. Они и паразитируют, и разрушают муравьиную «нравственность», и спаивают несчастных «муравьев», и приучают их к наркотикам... Согласиться с уподоблением своего народа «муравьям», на которых направлена внешняя паразитическая сила, я, например, никак не могу. Более того: само это уподобление мне представляется оскорбительным для народа, радетелем за судьбу которого выступает В. Белов. Логика этого уподобления, кстати, развивает опорную концепцию романа «Все впереди»: там тоже некие темные силы, олицетворенные в персонажах нерусского происхождения («жучки»), разлагают изнутри русское общество. Такое противопоставление и поиск виноватых на стороне опять уводит народ от самокритики, от ответственности за свое настоящее. Опять народ нам хотя бы представить либо инфантильным, либо обладающим низкой «роевой» организацией. Есть, кстати, в этих — во многом правдивых и точных — заметках-размышлениях В. Белова «Ремесло отчуждения» и прямая неправда. Он пишет: «Почему о расстрелах тридцать

седьмого года говорят все от мала до велика, а о расстрелах, начавшихся в конце двадцать девятого года, молчат?» Могут сказать, что о трагедии 29-го года повествуют и «Мужики и бабы» Б. Можаяева, и «Овраги» С. Антонова, и записки И. Твардовского, и поэма А. Твардовского «По праву памяти». В статье «Возобновление истории» (в сборнике «Иного не дано». М., 1988) Л. Баткин пишет: «Нужно... говорить не о бедах насильственной коллективизации, а о том, что она означала с точки зрения социально-исторической, то есть об уничтожении крестьянства как класса, о его прикреплении к земле, о третьем издании крепостничества в России...» Ю. Афанасьев (в напечатанной там же статье «Перестройка и историческое знание») отмечает: «Коллективизация... стала первым наиболее крупномасштабным преступлением сталинского режима. В ходе коллективизации были впервые осуществлены массовые репрессии. Голод в 1932 году, вызванный этой акцией, унес миллионы человеческих жизней». Академик А. Д. Сахаров: «Насильственная коллективизация и раскулачивание, разорение крестьянства ради темпов индустриализации. Голод с чудовищной изоляцией обреченных на смерть районов. Практически никакой помощи умирающим с голоду. Именно в это время вывоз хлеба и леса на Запад достигает максимального уровня» («Неизбежность перестройки» — в сборнике «Иного не дано»). Да, все это появилось на страницах печати в последние годы, но и о трагедии 37-го года заговорили открыто одновременно. Я в принципе не понимаю, зачем противопоставлять одно черное дело — другому. Одни жертвы — другим.

И В. Белов, и В. Распутин апеллируют к истории — но прилагают по отношению к прошлому прежде всего слово «гордость». В то же время конкретное, скрупулезное историческое осмысление прошлого, предпринятое, например, В. Селюниным в статье «Истоки», ни разу слов «гордость» и «патриотизм» не употребившего, принесет, на мой взгляд, больше пользы русскому национальному самосознанию. Если даже на мгновение встать на точку зрения В. Белова, то как сам народ мог терпеть это инородческое паразитирование? О каких духовных силах народа такая ситуация свидетельствовала бы?

Раньше искали «врагов народа».

Теперь ищем «врагов нации»?

Рост национального самосознания объективно полезен и прекрасен; никто не станет спорить с Распутинным о том, что «человечество расцвечено, разбогачено нациями, чтобы учиться друг у друга, любоваться и удивляться друг

другу, друг к другу тянуться с жадной красотой и познания», о том, что «многонациональность земли — это радужность, музыкальность, чувственность и полнота мира». Никто не спорит. Но даже Распутин искусственно конструирует себе оппонента, который якобы хочет «исчезновения наций, языков», «оскудения традиций и обычаев». Таких сегодня днем с огнем не сыщешь. Однако продолжим мысль Распутина до конца: кто-то хочет, предостерегает он, «сжечь и пустить по ветру идеалы неразумных отцов». Вот здесь, как мне кажется, писатель негочен. «Идеалы отцов» — это что? Христианство или язычество, растоптанное христианством? Или, может быть, крепостнические? Или — социалистические идеалы, за которые погиб, в частности, мой родной дед на Перекопе в свои тридцать два года? Или — идеалы тех, кого, как моего прадеда-поляка, выслали на Север в 1863 году? Или — идеалы другого моего прадеда, погибшего на Соловках в 1932-м? Чьи идеалы — конкретно? Идеалы сталинизма (у него тоже были свои «идеалы») или идеалы антисталинизма? Объединять все это под расплывчатой формулой «идеалы отцов» по крайней мере странно. Если же речь идет в принципе о «национальных идеалах», то надо сначала понять, определить их.

«Гордость за свое происхождение в любом народе правомерна уже одним происхождением» — еще один тезис Распутина. Ну хорошо, предположим, мы согласны. Но ведь сегодня такую гордость, во-первых, надо лично подтвердить (иначе любой пьяница сможет безнаказанно чувствовать себя «гордым» за происхождение и может тыкать им в нос врачу-еврею, честно его лечащему), а во-вторых, нельзя не думать о том, как твоя «песня» отзовется в душе другого. Может быть, нормальное человеческое мироощущение не должно все-таки начинаться с гордости — только потому, что ты родился, предположим, светловолосым и с голубыми глазами, а не брюнетом с карими? Уж слишком как-то унизительно легко такая «гордость» будет добыта — да и не добыта, а присвоена, как орден, при рождении!

Однако самое все же необходимое для национального самосознания, для подлинного патриотизма чувство сегодня, по-моему, отнюдь не гордость, а трезвая реалистичность взгляда и самокритичность. Мы семьдесят лет только и делали, что гордились. Вот Распутин пишет, что «после 20-х годов... патриотизм как сознание народа был заклеямен и втоптан в грязь». Но дела обстояли не совсем так, вернее, совсем не так. Именно лозунгами «патриотизма» и «гордости» размахивали на партийных форумах; в

«непатриотизме» (и «антипатриотизме») обвинялись в 40-е годы «космополиты» и «космополитствующие». И Шостакович, и Зощенко, и Ахматова специально противопоставлялись народу, его вкусам; право судить от имени народа было захвачено теми, кто превратил мысль «искусство должно быть понято народом» в лозунг «искусство должно быть понятно народу»... И опять все та же печальная история: за народ решали, от его лица выступали, им клялись, словно в эйфории, только до реального положения этого же самого конкретного народа, до его прав (и его ответственности) как-то не доходили... Однако когда слово берет действительно народный писатель и заступник, Федор Абрамов, то у него совсем иная концепция: «Кадение народу, беспрерывное славословие в его адрес — важнейшее зло».

Часто апеллирует к народу в своих публицистических выступлениях и Юрий Бондарев. Он, кстати, совершенно справедливо (хотя и очень уж «красиво») замечает в статье «Боль и надежда» («Литературная газета», 1988, 22 июня): «Ведь ложь притворяется истиной, подражает правде, прикидывается добром и нередко одерживает лукавые победы, соблазняя слабых своей безнаказанностью». Но это — редкий пример ясного высказывания писателя. Любит Ю. Бондарев говорить туманно, разветвленно, с намеками и полунамеками, любит пышно украшать фразу — так, что к истинному смыслу того, что хотел выразить писатель, ратующий за продолжение традиций, продерешься с трудом, если продерешься вообще. Мощный символ наступает на пятки символу мощнейшему, сильный образ наслаивается на образ еще более сильный, и совсем уж приходишь в недоумение, сидя да расшифровывая: что сия фигура означает? Как себе реально представить, скажем, «словесную тюрьму в культуре любого народа», которая, представьте себе, строится из следующего материала: 1) «недомыслия», 2) «клеветы, сознательного оговора», 3) «меркантильного снобизма», 4) «рабского ползания перед извращающей природную красоту коммерческой эстетикой, привнесенной бойкими рыцарями и дамами серой тьмы». А как, читатель, вы себе представляете возможность «расшатать координаты искренности в аллеях риторического сада, благоухающего бумажными цветами»?

Но кроме развесистой, эмоционально нагнетаемой риторики ставит в тупик и сама мысль автора — когда, конечно, она пробивается сквозь риторику. По мнению Ю. Бондарева, сегодня произошла «подмена долгожданной демократии вседозволенностью «фальшивомонетчиков» искусства. Ныне, по его мнению, происходит «размывание

критериев, моральных опор, травля и шельмование крупнейших писателей, режиссеров, художников». Сегодня — когда наконец восстановлены в правах, возвращены на родину крупнейшие произведения Ахматовой, Булгакова, Платонова, Твардовского, когда напечатаны многострадальные романы Бека, Гроссмана, Дудинцева; когда читатель наконец смог прочесть прозу Набокова, когда восстанавливается справедливость в отношении Зощенко... Помилуйте! Не перепутал ли Ю. Бондарев наше время с болотом «застоя», когда нам внушали, что истинными-то творцами являются Г. Марков и Ан. Иванов?

Но Ю. Бондарев в запале риторики идет еще дальше: оказывается, сегодня наша печать «сваливает в отхожие ямы прожитое и прошлое... стирает из сознания людей память» — сегодня, когда к народу трудно, но возвращается она — благодаря «Колымским рассказам» В. Шаламова, книгам О. Волкова и А. Жигулина, Л. Разгона и И. Твардовского, Б. Можая и С. Антонова... В «аллеях риторического сада» Ю. Бондарев приходит к закономерной для него мысли и о том, что, оказывается, «один грамм веры дороже порой всякого опыта мудреца». Да разве народ за «грамм веры» не расплатился миллионами жертв? Но история, которой клянется Бондарев, поистине учит тому, что ничему не учит, — опять противопоставляем «веру» — опыту мудреца, то есть правде... По Бондареву, восстановление «белых пятен» истории подрывает «доверие к истории», а правда о прошлом может «разрушить веру (опять! — *Н. И.*) молодежи в святость не напрасно прожитой военной биографии старшего поколения, не всегда одерживавшего победы» (разрядка моя. — *Н. И.*). Но если не всегда были победы, были и поражения, и ошибки, и отступления — то почему же надо опять возвращаться к беззаветной вере в «святость»? При этом, должна сказать, никто не забывает и о подвиге этого поколения — как и других, воевавших с ним рядом. И потом — вымолвить о своем поколении «святость» — не забыть ли и о поднятых при голосовании руках, и о яростных речах на собрании, и о позорном молчании, и о конформизме, которого пока еще не миновало ни одно поколение, в том числе и мое?

Не вера в «святость», не заклинания спасительны, сколько мы их уже слышали, — а опора на реальность, трезвое осмысление жизни.

Как же определяет сегодня задачу литературы Ю. Бондарев?

«Главное, — пишет он, — быть душеприказчиком своего народа».

Но если он уверен, что наш народ уже покойник (по Далю: душеприказчик — «исполнитель последней

воли покойника»), то многие в этом, я думаю, сомневаются.

Так что же — сначала апеллируем к народу, потом — говорим от его лица как от лица дитяти неразумного, потом — уподобим свой народ муравьям и будем искать «врагов нации», а затем — объявим его покойником?

Вот и Ан. Иванов — если составить частотный словарь, то станет видно, что в своей беседе с первым заместителем главного редактора журнала «Наш современник» В. Свининниковым чаще всего он употребляет слова «народ» и «народный». «Они народом приняты», «глубины народного духа», «народной психологии», «приобщиться к народной судьбе», «просвещение народа», «я говорю о писателях, которых волнуют судьбы именно народа»... А отношение к гранинскому «Зубру» Ан. Иванов (видимо, сам того не желая) выразил фразой, уж во все пародийно звучащей: «Страшно далеки подобные книги от раздумий о судьбах народных».

Не успел еще по-настоящему развернуться в обществе процесс демократизации, а Ан. Иванов уже сигнализирует: «Упускает партия из рук управление подобными процессами (возвращение в нашу литературу несправедливо обойденного. — *Н. И.*), и буйствует стихия разрушения». Удивительными «заединщиками», почти дословно повторяющими друг друга, предстают Ан. Иванов и Ю. Бондарев (назвавший Ан. Иванова в своем выступлении на XIX партконференции «замечательным талантом» и «крупнейшим писателем»).

* * *

И стихи, и проза, и публицистика последних лет возвращают обществу живой, непосредственный, конкретный исторический опыт. Не патетическими заклинаниями, не прогулками по «аллеям риторики» он добывается. Обогащают сумму знаний общества о своей истории не общие словеса и предостережения по начальству, а насыщенные реалиями публикации «новой» (эпитет В. Шаламова) прозы, являющейся в то же время подлинным человеческим документом («Колымские рассказы» В. Шаламова, «Черные камни» А. Жигулина, «Непридуманное» Л. Разгона, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург). Даже рецензия на книгу (не лагерную!) способна вырасти в поразительный человеческий документ, каким стала, на мой взгляд, рецензия Чабуа Амирэджиби на «Избранное» Олега Волкова и предисловие к этой книге Марлена Кораллова («ЛГ», 1988, 13 июля). А сколько еще устных свиде-

тельств, которые должны быть записаны? «Потребность в такого рода документах,— писал В. Шаламов,— чрезвычайно велика. Ведь в каждой семье, и в деревне и в городе, среди интеллигенции, рабочих и крестьян, были люди, или родственники, или знакомые, которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель — да и не только русский,— который ждет от нас ответа».

Мы еще вчера с радостью и удивлением находили параллели между десталинизацией общества в 60-е годы и в наши дни. Сегодня мы уже шагнули явно дальше 60-х, когда общественная мысль запнулась после «языческого акта» вынесения тела Сталина из Мавзолея. Или — всемирного откровения о том, что «сажали». Вот как буднично пишет об этом Л. Разгон, за плечами которого семнадцать лет лагерей: «убивали, сажали, ссылали — это дело обыкновенное». Сталин и лагеря были всепартийно осуждены, но сталинизм благополучно дожил до наших дней в тихой «застойной» обертке. Структура оказалась не затронутой могучими, бурными «ниспровержениями» шестидесятников. «Легче было сказать в докладе XX съезду... далеко не полную правду о кровавом тиране,— пишет историк Л. Баткин,— и выпустить уцелевших жертв из лагерей, и разрешить напечатать «Теркина на том свете» и «Один день Ивана Денисовича», легче было Хрущеву — при всей исторической громадности этого шага — отменить террор, чем сейчас довести десталинизацию до конца, то есть демократизировать саму систему, убрав бюрократически-сталинские ее элементы, схемы, обыкновения.

Не умаляя оттепели 60-х, мы все понимаем, что Хрущев удалил вершки, и это не воспрепятствовало неосталинистской реакции. Ну, а теперь дело идет о «корешках» (статья «Возобновление истории»). В историческом же плане этот новый проблемный уровень означает переход к причинно-следственному осмыслению сталинизма и его «корешков» в нашей истории. Ю. Афанасьев в статье «Перестройка и историческое знание» отмечает: «...мы, конечно же, не сможем продвинуться вперед, если вместо ползучих, постепенно и как бы совершаемых тайно, на брежневский манер, попыток реабилитировать Сталина, а вместе с тем реанимировать и сталинизм, будем сейчас, как некоторые это пытаются сделать, возлагать всю ответственность за наше общенародное горе только на одного Сталина... многие хотели бы пожертвовать Сталиным во имя спасения сталинизма». Общество сегодня уже не может останавливаться на фигурах Сталина и «тонкошеих вождей». Сталинизм как структура, не изжитая до сих пор

и складывавшаяся еще до Сталина, должен быть осмыслен во всей его совокупности и полноте.

Свидетельства Л. Разгона о том, как формировался «рабский страх перед Сталиным», соседствуют с его же свидетельствами о том, как сами «старболы» уничтожали людей — еще до «воцарения» Сталина. Замечательно, что сегодня реабилитируются Бухарин, Зиновьев, Каменев и другие крупные деятели, но нельзя в нашей «эйфории» забывать о том, кстати, что в 1919 году, как пишет Л. Разгон, Зиновьев и приехавший в Петроград Сталин «приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся, согласно приказу... А также много сотен бывших политических деятелей, адвокатов и капиталистов, не успевших спрятаться».

«Драма поколения» — это для Разгона не лагерь и ссылки. Драма поколения — это «крушение идеалов»: «На наших глазах гибли боги, которых мы, как это и положено по нашему материалистическому мировоззрению, сами создали». Важнейшим фактором, формировавшим мировоззрение поколений, был идеологический миф.

Фальсификация истории, «систематическое стирание коллективной памяти», подмена ее мифотворчеством, чем занимались официальная пропаганда и идеологизированная литература официоза, вытесняется сегодня подлинным историческим знанием. Но это «стирание памяти», манкуртизация, не прошло для общества бесследно: сегодня оно испытывает, по словам Ю. Афанасьева, «кризис идентичности», не имеет пока абсолютно точного, адекватного представления о себе самом: «Мы смотримся в зеркало и не можем узнать себя. Изображение разбивается на отдельные осколки». Добывается цельность изображения с трудом и — усилиями многих. Сопrotивление же этому очистительному процессу познания равно его силе: чем больше нам открывается, тем больше нарастает сопротивление, увеличивается торможение. И другого не может быть. Помните закон Архимеда? На тело, погруженное в жидкость, действует сила выталкивания, равная весу вытесненной жидкости.

* * *

Переоценка, «пересмотр» литературы коснулись отнюдь не только истории, но и литературного «настоящего». Интерес читателей явно пока перешел на сторону «Жизни и судьбы», «Факультета ненужных вещей», «Доктора Живаго» — и пожертвован здесь был не

только и не столько Пикуль, скажем, сколько Айтматов с его «Плахой», Астафьев с «Печальным детективом».

Критика прошла пока только по «верхушкам» оказавшихся сегодня в центре читательского внимания произведений. Недостаточно анализируется сама поэтика этих романов — а она в каждом отдельном случае любопытная. Не слишком глубоко осмыслена пока и философская (тончайше связанная с поэтикой) проблематика того или иного «задержанного» произведения, всколыхнувшего читательское сознание. Критика не в силах идти дальше прозы — не по уровню художественности, естественно, а по уровню мысли, ограничивается, как правило, многостраничным, слегка комментированным пересказом — или многостраничным историческим комментарием, порой аргументированный анализ произведения замещается недобросовестным передергиванием сюжета и попыткой личной компрометации автора. «Первый поток» исторически объясним: так долго общество ждало этих романов, столь выстраданы они были (как правило) авторами, что радость, перехлестывающая анализ, понятна. «Второй поток» — недоброжелательства, а то и откровенной брани — тоже понятен, хотя и меньше.

Для плодотворного движения общественной мысли и то, и другое малопродуктивно. И я разделяю тревогу В. Курбатова, прозвучавшую в его статье «Сомнения нашей правоты» («ЛГ», 1988, 31 августа): «Порой я даже думаю, что мы прячем за разговорами о перегоняющих друг друга публикациях старую свою подругу — духовную лень. Назвал десяток последних архивных извлечений, и вот ты уже современен, либерален, и уже мерещится, что всегда был впереди прогресса. Никогда не было так легко оказаться «мыслящим» человеком, и никогда прогрессивные репутации не завоевывались с меньшим трудом...»

Да, все это, к сожалению, верно. Но Курбатов все-таки зря смешивает воедино искреннюю и непосредственную, вполне объяснимую радость читателей и критиков — и откровенную спекуляцию на «прогрессизме». Что касается беззастенчивых спекуляций, то они очевидны.

Но ведь есть и в критике, и в публицистике, и в мемуаристике случаи гораздо более сложные.

Над ними Курбатов задумываться не хочет. Начав свою статью с верного в принципе, хотя и нравственно неотчетливого посыла: «Современные-то, при нас написанные книги мы могли бы читать повнимательнее», — он движется дальше. Предлагает свое прочтение. И здесь им неожиданно высказываются суждения столь же по-

верхностные, как и те, которые он только что со столь оправданным пафосом критиковал.

Например, речь идет о фигуре Сталина. Курбатов выдвигает вовсе уж неожиданный постулат: «Есть эпизоды и герои истории, которые невозможны для художественного перевода». Кем же будут предписываться рамки отбора? Читаем дальше: «Художник властен оглядеть всю полноту духовного человеческого спектра и о всяком герое волен сказать «это я», как Флобер о Бовари, как Гоголь о сонме своих чудовищ. Но как художнику сказать: «Сталин — это я»? Возможна ли такая мера художественного перевоплощения без риска необратимо потерять себя?» Вопрос — в устах профессионала — более чем странный; ибо тогда выяснится, что с «риском потерять себя» работали... Достоевский (Ставрогин, Смердяков, Свидригайлов), Булгаков (тут уж сам дьявол пожаловал)... И вообще литература — дело рискованное. А как быть с живописью? Следуя замечательной логике Курбатова — если художник пишет портрет «положительного» героя, то он духовно обогащается, если же Сталина в аду — теряет себя? Вспомним и Чаплина-«диктатора» в кинематографе (тут уж прямое перевоплощение). Нет, не выдерживает проверки реальностью замечание, высказанное Курбатовым, — мировое искусство свидетельствует как раз об обратном — о бесстрашии исследования зла. Другое дело, что это исследование может быть недостаточно глубоко, недостаточно художественным. Но Курбатов обвиняет роман «Дети Арбата» вовсе не в художественных диспропорциях — в том, что «нарушена важнейшая мера не художественного, а этико-философского, именно национально-сущностного уровня». Мысль чрезвычайно туманная. Чем в романе нарушена «мера этического уровня», я не очень понимаю; еще менее — когда речь идет о «национально-сущностном» уровне.

Именно в этом вопросе — применительно к роману — и кроется главная претензия Курбатова. Но понимание русского, «национально-сущностного» у него особое. Вот какое: «Без чувства судьбы, без народно-укорененного понимания «вековых орбит» мы рискуем просмотреть корни совершившегося, само глубочайшее существо отношений человека и власти, всегда в России глубоко личных (от «царя-батюшки» до «отца родного»)»...

Мысль столь же банально распространенная, сколь и много десятилетий назад справедливо оспоренная. Долгий у нее «хвост».

Многие западные историки уверяют, что истоки сталинского режима тоталитарной власти как раз и кроют-

ся в исконных свойствах великороссов. (Пусть меня извинит читатель, но это не я, а Курбатов заговорил о «национально-сущностном» в сталинизме, видимо, запамятовав, что речь шла — и идет — отнюдь не об одной нации. Странная, конечно, аберрация зрения при взгляде на многоязычную державу.)

Но вот что утверждал Герцен (в работе «Россия и Польша»): «Все те, которые не умеют отделить русского *правительства* от русского *народа*, ничего не понимают... они не стали изучать характер бедного колодника, а отвернулись от него, сказавши «коли терпит, видно, лучшего не стоит» (курсив мой.— Н. В.).

Парадокс, но мысль, высказанная Курбатовым (о «царе-батюшке» и «отце родном»), смыкается с высокомерным — «терпит»...

Традиционное отождествление *народа* и *государственной власти* в сознании многих было «освящено» еще и тем, что власть экспроприировала право говорить и действовать как бы от лица народа.

Недаром: «враги народа»...

Грубая лесть русскому народу прозвучала в тосте «вождя» на банкете в честь Победы: «Потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза». И еще он же сказал: «руководящий народ». Кстати, напомним и о том, что Сталин превозносил прежде всего долготерпенье — сегодня это звучит издевательски — русского народа («любой другой народ сказал бы своему правительству — уходи...»).

* * *

Удивительно, но процесс исторического прозрения пока не «продвинул» чувство самокритичности, а вызвал обратную, болезненную реакцию ущемленного самолюбия. Последствия ее раскрыты В. Тендряковым в рассказе «Охота» на примере кампании конца 40-х годов против так называемых «безродных космополитов» («Знамя», 1988, № 9).

Почему эта кампания развернулась после Победы? «Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители,— пишет Тендряков.— Одержат победу и не ощутить самодовольства. Ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной подозрительностью: а так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь?» И вот уже «все русское стало вызывать возвышенно болезненную гордость... Россия — родина закона сохранения веществ и

хлебного кваса, социализма и блинов, классового самосознания и лаптей с онучами. Ходили слухи, что один диссертант доказывал — никак не в шутку! — в специальной диссертации: Россия — родина слонов, ибо слоны и мамонты произошли от одного общего предка...». Тендряков вскрывает возникновение и распространение этой кампании, как от спички зажигающейся от насаждения идеи превосходства одного народа — за счет других. «В Москве да и по всей стране на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в тупики и безжалостно раскрывали скобки». А «литературно-критические» ярлыки и обвинения злоеще перешагивали в обвинения по статьям Уголовного кодекса и завершались репрессиями — такова и история ареста студента Литинститута поэта Эмки Манделя, то бишь Наума Коржавина. Чудовищный маховик кампании, разворачивавшейся лавинообразно, ставил в психологический тупик даже тех, кто «убежденно» клеймил «безродных космополитов», таких, скажем, как общественный литинститутский деятель Вася Малов, впавший в неистовое бешенство: «Кто эт-та сволочь?! Кто настучал?! Талант продали, гадьы!!!»

История студенческого ареста Коржавина с горечью поведена Тендряковым в 1971 году (дата создания рассказа). А в 1972-м Коржавин, которому за два десятилетия работы в поэзии удалось издать только один поэтический сборник, вынужден был покинуть Родину. И кто знает: не первым ли «камнем», вымостившим дорогу к его отъезду, был этот самый арест и последовавшее за ним заключение?

И тут мне хотелось бы перейти еще к одной чрезвычайно болезненной теме, касающейся тех, кто в «застойное время» уехал из СССР.

На страницах журналов в 1988 году появились многострадальные и долгожданные «Доктор Живаго» Б. Пастернака (опубликован на родине через тридцать лет после создания), «Жизнь и судьба» В. Гроссмана (через двадцать шесть лет), «Чевенгур» А. Платонова (через шестьдесят почти), «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского (через пятнадцать...). Все они были давно изданы за рубежом. Факт их возвращения на родину трудно переоценить — это крупнейшее и, я надеюсь, поворотное событие в жизни литературы, жизни общества.

Авторы всех вышеперечисленных произведений жили и умерли на родине. Эмигрировали лишь их романы. Но благотворный, живительный процесс литературной реабилитации затронул еще одну область, казавшуюся

еще год-два тому назад предельно табуированной: третья «волна» эмиграции.

Что касается первой и второй «волн», то процесс литературной реабилитации коснулся их еще во времена хрущевской оттепели и трудно, но продолжался в 70—80-е годы, хотя по-настоящему широким он тоже стал только в послеапрельский период. Так, в 1987 году появилось много журнальных публикаций В. Набокова, В. Ходасевича, Г. Иванова; вышел сборник рассказов Е. Замятина.

Если отличительным «знаком» 1987 года было печатание так называемых «задержанных» книг, как классических (А. Ахматова, М. Булгаков, Б. Пильняк, А. Платонов, А. Твардовский), так и наших современников (В. Дудинцев, А. Рыбаков, А. Приставкин, С. Антонов), то «знаком» 1988 года, его особой отличительной чертой стало возвращение на родину имен и произведений тех, о которых думали: нигде и никогда.

Самое горькое чувство, охватывавшее при известии об отъезде одного, отлете другого — писателя, художника, режиссера — вне зависимости от степени (и вообще даже наличия) знакомства было: нигде и никогда. Отбывали словно на тот свет. Для нас — антимир: идеологически, экономически, политически. Всячески.

Кончалась одна жизнь, и начиналась другая: у них. А для нас они уходили в инобытие — в небытие? Исчезали из нашей жизни не только люди. Исчезали книги, исчезали имена. Имена, олицетворявшие собою целую эпоху в развитии нашей литературы.

В самом конце 1987 года в «Новом мире» был опубликован цикл стихотворений Иосифа Бродского. А в 1988-м, во втором номере «Невы», в восьмых — «Дружбы народов» и «Юности», в № 31 «Огонька» появились другие сочинения нобелевского лауреата. «Книжное обозрение» опубликовало его Нобелевскую речь. В «Литературном обозрении», «Октябре» появились размышления о его поэзии.

В «Новом мире», «Октябре», «Знамени», «Огоньке» были напечатаны циклы стихотворений Александра Галича. В 1988 году он был посмертно восстановлен в рядах СП СССР (акция, кстати, странная и не совсем тактичная, по-моему). А ведь еще в конце 1987 года в Историко-архивном институте прошла жесткая дискуссия, на которой преподаватели осуждали студентов, самовольно выпустивших стенную газету со стихами Галича!.. Так быстро меняется, развивается, движется общественное сознание.

В № 7 «Юности» напечатана повесть Виктора Некрасова «Городские прогулки», в августовском номере «Дружбы народов» — несколько его эссе из цикла «Маленькие портреты»; там же появилась «Маленькая печальная повесть». Не замедлила возникнуть и своего рода «мода» на Некрасова. Стремительно были напечатаны «Последняя встреча с Виктором Некрасовым» В. Конецкого в «Огоньке», в «Литературной газете» появился полужурналистический очерк К. Привалова... И в первом, и особенно во втором случае В. Некрасов был представлен прежде всего как любитель пива и завсегдатай кафе «Монпарнас», этакий стареющий хулиган, матерно ругающий французов; серьезного, глубокого осмысления его судьбы и личности (особенно во втором случае) не произошло, — о необходимости совсем иного подхода к этой фигуре сурово и справедливо напомнил В. Кондратьев в «Московских новостях»: «Я вовсе не жажду какой-то идеализации или канонизации умершего писателя, просто мне хотелось бы (и не только, наверное, мне), чтобы в первых публикациях было г л а в н о е о писателе, а не только разговоры о водке и пиве...» В своем послесловии к прозе В. Некрасова в «Дружбе народов» А. С. Берзер своевременно сказала о необходимости бережного подхода к творческому наследию писателя.

В анонсе 1989 года «Новый мир» объявил публикацию статьи Н. Коржавина, посвященную Анне Ахматовой, в августе в «Октябре», а в «Дружбе народов» в декабре 1988 года были опубликованы его стихи...

Еще совсем недавно иначе как с сугубо отрицательными эпитетами имя А. Солженицына не употреблялось. А в 1988 году, в августовских «Московских новостях», появилась статья Л. Воскресенского «Здравствуйте, Иван Денисович!». В «Книжном обозрении» в августе того же года напечатано письмо Е. Ц. Чуковской «Вернуть А. Солженицыну гражданство СССР». После этой публикации еще в двух номерах газеты шла дискуссия о судьбе и творчестве Солженицына — письма от «разгневанных» читателей были в несравненном меньшинстве. При этом одной из главных тем многих писем был вопрос о патриотизме — подлинном и мнимом.

Отнюдь не всем такая ситуация нравится. Что ж, это и понятно: представлять наше общество в виде однородного монолита сегодня, я думаю, уже никто не рискнет. Например, в письме вышеупомянутого В. Мещерякова («Молодая гвардия», 1988, № 6) А. Солженицын в очередной раз назван «клеветником»...

В начале марта 1988 года неподалеку от Копен-

гагена, в центре Луизиана, состоялась конференция «Роль творческой интеллигенции в перестройке в СССР и перспективы на будущее». На эту встречу приехали Г. Белая, Г. Бакланов, Ю. Афанасьев, А. Герман, В. Дудинцев, С. Есин, О. Попцов, Я. Засурский, М. Шатров и автор этих строк. Устроители — общество славистов Дании, Институт Восток — Запад Ютландского университета. Мы обсуждали общие проблемы за одним столом с А. Синявским, М. Розановой, В. Аксеновым, Е. Эткиндо, Л. Копелевым, Р. Орловой и другими. Эта беспрецедентная встреча продолжалась несколько дней. Она могла рухнуть сразу, в первый же день, при первом же столкновении мнений, но стороны пытались все же быть толерантными, уважать точку зрения друг друга, стремились к тому, чтобы каждый мог высказаться. Насчет дискуссии — не знаю, не уверена, что она получилась; но то, что каждый выступающий был выслушан со вниманием и уважением, — это факт.

Через более чем короткое время, через три месяца после этой конференции, в Париже был выпущен номер журнала «Синтаксис» (главный редактор — М. Розанова). Номер открывает статья М. Розановой «Перестройка и перестрелка», а дальше напечатаны в кратком изложении выступления участников луизианской встречи. В том же номере перепечатано из «Невы» послесловие А. Кушнера к циклу стихотворений И. Бродского.

Так что процесс идет встречный, обоюдный: не только мы печатаем, но и — на с печатают. И значительность происходящего мы все еще даже до конца не осознали. Движение навстречу друг другу, попытка понимания — такое, пожалуй, происходит впервые после долгих лет «разбрасывания камней», как обозначил ситуацию прошедших лет Е. Эткинд.

То, что потеряла и продолжает терять эмиграция, для нас более или менее ясно (хотя так называемые «ясные» вопросы все больше обнаруживают — при ближайшем рассмотрении — свою необычайную сложность). Об этом, на мой взгляд, точно сказал в своем выступлении на конференции Василий Аксенов, когда сравнил эмигрантский роман с гидропонным помидором. Вроде он и пышный, и ярко-красный, и полный соков, — но гидропонный, то есть лишенный тех необходимых питательных веществ, тех витаминов, которые добываются только из почвы. И еще об одном сказал Аксенов: о той логике «капиталистического базара», для которой настоящая литература, тем более на малоинтересном в окружающей англоязычной стихии русском языке, не очень-то и интересна, непонятна.

Настоящий писатель, будь он хоть трижды эмигрант, не может не думать на своем языке о своей культуре. И отсутствие своего, «родноязычного» читателя, конечно же, не может не отражаться на развитии этой литературы. Нарушена обратная связь — эмигрантская литература оказывается трагично замкнутой на самой себе.

Но от того, что прерваны живые связи, от потери в литературном процессе писателей такого уровня, как Солженицын, режиссеров такого масштаба, как Любимов, теряют и отечественный читатель и зритель.

В одном из выступлений по телевидению Виктор Астафьев, отвечая на вопрос об Александре Исаевиче Солженицыне, начал с Ивана Алексеевича Бунина. С прозой эмигранта Бунина Астафьев смог познакомиться, приближаясь уже к сорока годам, — раньше Бунин был запрещен, книги его на родине не издавались. Астафьев рассказал о том, как стремился поехать во Францию, чтобы поклониться могиле и попросить у Бунина прощения.

Думаю, продолжил Виктор Петрович, что наши внуки будут не глупее нас и тоже придут с покаянием к еще одной могиле, дорогой сердцу...

«Патриотично» ли высказывание Астафьева?.. Особенно — с точки зрения «гордящихся»? Убеждена, что прав Астафьев, согласна с ним полностью. Тем более что мы с чрезвычайной даже развязностью рассуждаем о том, что «недопонял» Толстой, «не увидел» «реакционер» Достоевский... И — тем не менее — дожили все-таки до гражданской зрелости, издали собрание сочинений Достоевского (хотя все равно с некоторыми купюрами — не выносим мы до сих пор «полного»-то Федора Михайловича!).

Если вспомнить конец 50-х — начало 60-х, время «оттепели», то именно тогда произошел первый качественный сдвиг в отношении к литературе эмиграции: появился пятитомник И. А. Бунина (с предисловием Твардовского), были опубликованы циклы стихотворений В. Ходасевича, вышли в свет рассказы И. Шмелева. Началась робкая переоценка отношения к этой литературе, но она была последовательной только в одном отношении: касалась только мертвых (да и то отнюдь не всех).

После того как «оттепель» была заморожена, для тех, кто успел пройти на страницы нашей печати, «ворота» публикации оставались полуоткрытыми. Но список практически не расширялся. Даже Владимир Набоков не был включен в этот контекст. Зато сегодня последо-

вал буквально обвал набоковских публикаций — стихов, прозы, драматургии; театры ставят «Приглашение на казнь» и «Событие»; «Литературная газета» отводит целую полосу для живейшей дискуссии о творчестве Набокова между советскими и американскими критиками и литературоведами... При всей разногласии мнений и оценок (американцы удивляются нашему сверхэнтузиазму и размаху публикаций, а Д. Урнов опять ворчит и эпатирует уважаемую публику своим личным неприятием Набокова) объединяет собравшихся за «круглым столом» «ЛГ» одно: понимание события в нашей культуре (чего начисто лишен, например, В. Горбачев, который в печально известной своей статье «Перестройка и подстройка» («Молодая гвардия», 1987, № 7) докладывает по начальству: «Литературная общественность не удовлетворена курсом перестройки на набоковщину» — все в этой фразе замшло-стереотипно).

В 70-е — начале 80-х последовала новая волна и высылки, и лишения гражданства. Так как литературное дело было у нас беспредельно идеологизировано, то из советского литературного процесса оказались насильственно «вынутыми» такие писатели, как Александр Солженицын, Александр Галич, Владимир Войнович, Владимир Максимов, Василий Аксенов, Георгий Владимов, Анатолий Гладилин, Андрей Синявский, не известные и не имевшие публикаций до отъезда Эдуард Лимонов, Саша Соколов и многие, многие другие. Они были очень разными, и мотивы, и причины, и обстоятельства отъезда у них были различными. (Сама рука написала: бы ли. Срабатывает стереотип...)

Так вот: не были, а есть — в этом я убедилась на конференции. И «есть» — действительно очень разные. Мария Розанова в своих заметках после конференции, напечатанных в «Синтаксисе», пишет: «Мне, например, позиции Ю. Афанасьева или Фазиля Искандера ближе, чем пылкая непримиримость нашей Пассионарии — Н. Горбаневской. С кем я должна быть солидарна — с авторами директивного «Письма десяти»¹? Из них пятеро к началу «Кельнского воззвания» почему-то выбыли из списка, который пополнился другими лицами, а один из десяти, Юрий Любимов, не только не сражается сегодня с коммунизмом, но даже как будто собирается ехать в Москву для

¹ «Письмо десяти» (март 1987 г.) выражало недоверие эмигрантов к происходящей в нашей стране перестройке из-за отсутствия, по их мнению, ее гарантий. Подобное отношение выражено и в «Кельнском обращении» эмигрантов (март 1988 г.).

работы с тамошними друзьями¹. И пусть едет. Не вижу в этом ничего дурного. Во всяком случае, это лучше, чем, сидя на безопасном Западе, диктовать Кремлю предварительные условия перестройки: дескать, пускай сперва рассыплется Советская власть, а там мы посмотрим».

Кстати, отмечу, что ни один из наших бывших соотечественников во время датской встречи не употреблял слова «вы», не говорил «у вас» или «в вашей стране». Говорили «мы», «у нас напечатано», «в нашей стране». Даже наиболее резко настроенные речи (как, например, выступление главного редактора журнала «Страна и мир» Кронида Любарского) прозвучали с этим «мы».

Сейчас, по мнению Е. Эткинда, наступило время собирания камней — «пораскидали их на огромном пространстве, а собирать трудно». Сейчас у нас в стране идет процесс феноменальный — «тени возвращаются с того света». Кого бы ни попытался упомянуть Е. Эткинд из еще не «открытых», из зала его поправляли: «уже напечатано», «выходит там-то».

Полагаю, что Е. Эткинд был прав, когда он на конференции в Луизиане говорил о настоятельной необходимости пересмотреть историю советской литературы в целом и в персоналиях: агиографию Горького, биографию Короленко; говорил о том, что дальнейший процесс осмысления творчества О. Мандельштама, Б. Пастернака невозможен без привлечения посвященных им монографий, вышедших на Западе. О правоте этого положения доклада Эткинда свидетельствует и полемика между Н. Анастасьевым и Ф. Кузнецовым, резко отвергнувшим — сначала — справедливую мысль Анастасьева о пересмотре истории советской литературы.

В своем докладе «Максим Горький и современность» Ф. Кузнецов, приведя слова Н. Анастасьева, напечатанные в газете «За рубежом» (там они приводятся в переводе — из публикации в «Крисчен сайенс монитор»): «Вскоре нам придется полностью пересмотреть наше представление о советской литературе», — поторопился с помощью печально известных политических ярлыков скомпрометировать мысль Анастасьева («*Полный пересмотр*» исторически сложившихся истин ведет к субъективизму, к кощунственному искажению исторической правды, к замене розового на черное» — слово «полный» подчеркнуто Ф. Кузнецовым, разрядка моя. — Н. И.).

¹ Ю. Любимов находился в Москве в июне 1988 года, репетировал и присутствовал на премьере спектакля «Борис Годунов» в театре на Таганке. Пребывание Ю. Любимова в Москве благожелательно комментировалось советской прессой. Ныне Ю. Любимову возвращено советское гражданство.

Разговор из области литературной Ф. Кузнецов попытался немедленно перенести в область политическую, недвусмысленно намекая на сомнительность и неблагонадежность позиции Анастасьева.

В иные, не столь далекие времена за такой оценкой, высказанной еще и на юбилейном заседании, в присутствии партийных и государственных руководителей, последовали бы для Анастасьева не самые приятные события. При этом надо отметить и то, что тема доклада Ф. Кузнецова прямого отношения к мысли Н. Анастасьева не имела. Так что в данном случае мы имеем дело с сюжетно, по сути, «немотивированным», инкрустированным в доклад жанром... как бы поточнее выразиться... нет, не нахожу адекватного определения.

Н. Анастасьеву (да, другие нынче времена!) удалось ответить Ф. Кузнецову — правда, не в присутствии всех тех, при ком был нанесен «удар», но на страницах той же «Советской культуры», где было опубликовано изложение доклада. «Да, я убежден в том, — разъяснил свою точку зрения литературовед и критик, — что дом литературы, если выселить из него хоть одного жильца, ветшает, кособочится, заваливается. А ведь не одного выселили — целые семьи. Теперь они, никого не тесня, возвращаются. И это возвращение с неизбежностью побуждает к *полному* — подчеркну вслед за суровым критиком — пересмотру сложившихся представлений. И не обязательно при этом для страховки повторять само собой разумеющееся: что Платонов не «отменяет» Шолохова, а Ахматова — Маяковского, — тем, кто не ищет крамолы, понятно» («Советская культура», 1988, 21 апреля).

Реалистичная, трезвая позиция Н. Анастасьева в принципиальных моментах совпадает не только с позицией Е. Эткинда, но и с подавляющим числом выступлений литературоведов, критиков, публицистов, читателей, обсуждавших в печати, скажем, проблему метода «социалистического реализма» (см. подборки мнений в «ЛГ», 1988, № 15, 21, а также статьи Е. Сергеева и А. Гангнуса в сентябрьской книжке «Нового мира» за 1988 год). В статье «Несколько застарелых вопросов» Е. Сергеев резонно отмечает: «В последнее время публикуется много произведений из тех, что долгие годы пребывали в забвении или под запретом. Они не новость для людей, всерьез интересующихся отечественной словесностью, но считалось, будто их авторы шли не по магистральному пути развития нашей литературы. Однако теперь-то мы видим: писатели эти не стояли на обочине, а, как и подобает настоящим художникам, двигались каждый своей дорогой».

В том же номере «Нового мира» опубликованы и размышления С. Семанова, которые существенно корректируют в нашем представлении творческую биографию автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины», никак, право, не посягая на достоинства первого из вышеназванных сочинений...

Надо сказать, что у истории нашей литературы появились не востребуемые, самодеятельные «защитники», основополагающим творческим методом которых является: 1) искажение, передергивание мысли оппонента или подтасовка, «приписывание» ситуации чего-то несуществующего; 2) яростный бой с сотворенной «тенью». Ю. Бондарев буквально огорошил зал XIX партконференции, когда драматически поведал о том, что определенные силы-де намереваются вытеснить из школьных учебников по литературе «Тихий Дон» — «Детьми Арбата». Так и хочется задать Бондареву наивный вопрос: где? когда? Да вот ответа-то на него у Ю. Бондарева не будет...

Но вернемся к вопросу о «пересмотре».

Открыв очередной номер журнала «Вопросы литературы» (1988, № 8), кстати, орган Института мировой литературы Академии наук СССР, которым с недавних времен руководит Ф. Кузнецов, можно прочесть откровенное признание литературоведа, главного редактора этого журнала Д. Урнова, подтверждающее мысль Н. Анастасьева: «Конечно, наше понимание нашего же собственного наследия искажено. Ленинское положение о том, что в каждой культуре следует *брать* прогрессивную часть, было истолковано до крайности вульгарно. Считалось, что многие книги прямо-таки не следует брать в руки, а еще лучше и на полке их не держать, разве что — на специальной, за шестью замками... Долголетние практические и теоретические операции, проделываемые над литературой, страшно понизили уровень нашей критической мысли... Специалисты наивысших ученых степеней вполне искренне, не лукавя, просто не способны один «изм» от другого отличить по существенным признакам...» Справедливые слова.

Да и как себе в принципе представляет Ф. Кузнецов: что ж, если мы признали, что обществоведение, история науки находятся нынче на не соответствующем потребностям общества уровне, то история литературы каким-то чудом вырвалась и движется в авангарде? В чём же, если говорить не только о позиции «обвинения», «клеветания» Ф. Кузнецовым — Н. Анастасьева, а о ее происхождении, — в чем же ее истоки?

В том же номере «Вопросов литературы», где Д. Урновым сделано столь знаменательное заключение о

драматическом состоянии науки о литературе, напечатана статья Е. Добренко, который дает точный генезис: корень бед в десятилетиями складывавшемся «отношении к истории советской литературы (как, впрочем, и к истории вообще) не как к науке, а как к идеологии... «проводнику наших идей». Отсюда, справедливо заключает Е. Добренко, «бегство от исторической истины, создание мифов на почве истории литературы». В такой ситуации, при идеологизации науки о литературе, а также при хроническом голоде на источники, и порождаются вместо истинной истории — «миражи», о чем писал А. Бочаров (см. его статью «Покушение на миражи» в «Вопросах литературы», 1988, № 1). Кстати, именно А. Бочарову и принадлежит первоначально образ «дома», о котором писал Н. Анастасьев, дома, нуждающегося, по более осторожному мнению А. Бочарова, лишь в «капитальном ремонте».

Итак, в рассуждениях Е. Эткинды, прозвучавших на датской встрече, я услышала отнюдь не изолированное, «стороннее» слово о наших проблемах, а ту же самую мысль, решением которой заняты сегодня многие русские литературоведы и критики.

Но к чему вдруг — конференция в Луизиане и размышления об эмигрантской литературе? Какое отношение все это имеет к главной теме моей статьи? Отвечу: самое непосредственное. А патриотично ли это — вести разговор с эмигрантами? Я считаю, что да. То, что создано на русском языке и обладает художественной ценностью, то, что продолжает и развивает гуманистические традиции русской культуры, принадлежит ей по праву и не может быть лишено гражданства.

«...Мы вместе, я не скажу русские, но российские люди, россияне, — сказал на встрече в Луизиане историк Юрий Афанасьев, — мы хотим, чтобы эта страна демократизировалась, чтоб она становилась богаче и свободнее». Призывая к «движению навстречу друг к другу», к «нормальному человеческому диалогу», Ю. Афанасьев определил и формы возможного сотрудничества: совместные издания литературных архивов, хранящихся за рубежом (этим занимается на Западе Е. Эткинды), издание собрания сочинений известных русских писателей-эмигрантов, издание работ по диалогу русской и немецкой культур (в частности трудов Л. Копелева). «Вы» и «мы», — сказал Ю. Афанасьев, — это все-таки неправда по отношению к собравшимся здесь. Я думаю, что все хотят блага родине, а это и есть новый вид нового мышления, и пусть эти два новых мышления идут навстречу друг другу».

Выступление А. Синявского — «Пространство прозы» — было посвящено целиком и полностью процес-

сам, идущим сегодня в нашей литературе. Размышления его касались произведений, опубликованных в нашей периодике в 1987 году, — рассказов В. Пьецуха и Т. Толстой, повестей М. Кураева и В. Маканина. А. Синявский предупредил: «Воспитательные задачи советской и антисоветской словесности меня мало интересуют. Меня занимает проза сегодняшнего дня в менее известных проявлениях и притом в художественном аспекте». Одну из основных тенденций развития прозы А. Синявский справедливо видит в «фантастическом реализме как способе более углубленного постижения реальности», в «стремлении приоткрыть таинственную фантастичность самой жизни». «Ряд авторов добивается того, — продолжал свое выступление А. Синявский, — что можно назвать пространством прозы. Сама словесная масса обладает, оказалось, пространственными параметрами, которые свойственны архитектуре и изобразительному искусству».

Дальнейшее развитие нашей словесности А. Синявский связывает с «повышенным чувством художественной формы», с изменением писательского сознания оттого, что совершенно законно публикуют неизданных ранее или изданных в урезанном виде Пастернака и Булгакова, Набокова и Ахматову, Мих. Кузмина и Хлебникова: «Ведь эти публикации не просто восстановление упущенного прошлого и не только исполнение долга по отношению к забытым и гонимым писателям. В конце-то концов каждый заинтересованный читатель и писатель мог, приложив старания и немного риска¹, познакомиться с этими текстами и в 50-е и в 60-е годы. Но теперь эти тексты перестали быть криминалами и публикация этих книг, как бы чисто психологически, перебрасывает легкий висячий мостик из сегодняшнего и завтрашнего дня в «серебряный век» русской культуры. Из конца века мы перебрасываем мостик к его началу, ко временам расцвета. Разрыв — неимоверен. Но может же это как-то видоизменить сам состав крови, текущей в теле культуры. И в первую очередь возродить повышенное ощущение формы, свойственное началу столетия».

Не совсем этично спорить на этих страницах с А. Синявским (ибо его доклада, в отличие от меня, читатель не знает), но все-таки не могу не сказать, что «состав крови» настоящей, подлинной литературы в отличие от врио-литературы (пользуюсь удачным термином В. Воздвиженского — см. «Юность», 1988, № 11) оставался общим

¹ О том, насколько это знакомство (вряд ли оно, кстати, было возможно в конце 50-х) было небезопасным, свидетельствуют письма, опубликованные в июльской книжке журнала «Знамя» за 1988 год.

с литературой «серебряного века». Но в чем Синявский абсолютно прав — особенно сильное влияние могучая волна публикаций может оказать на молодых, начинающих писателей. Для них доступность художественных текстов, качественным образом отличающихся от массовой продукции псевдописателей, в корне меняет представление о роли, задачах, принципах литературы.

Процессы обретения нового мышления обществом в целом заставляют пересмотреть многие стереотипы. «Образ врага» в области внешней политики подвергся кардинальному переосмыслению. Но если столь активно и откровенно разрушаются ныне «базисные» стереотипы, то неужели этот процесс не затронет наше отношение к образу «врага-эмигранта»? Тем более если понять, что эмиграцию «третьей волны» во многом породил и спровоцировал тот самый «застой», который мы нынче клянем на каждом шагу?

Вернемся к судьбе и стихам Наума Коржавина.

Коржавин — поэт социального темперамента. Он вызывает на спор, на подтверждение и отталкивание. При этом многие мысли, до которых мы с трудом доискиваемся сегодня, были открыты Коржавиным двадцать пять лет назад, — например, в цикле стихотворений «Наивность», где о «великом переломе» (еще в 1963 году) было сказано: «Всей стране хребет сломали и душу смяли ей... войдя в азарт борьбы, спокойно сами предрешили извивы собственной судьбы... Живой страны душа живая молчала в обмороке сна...» Поэт — в 1963 году — считает крестьянство, погибшее в годы «великого перелома», «главной кровью» сталинизма.

В «Поэме существования» поэт, воссоздав внутренний монолог убитого еврейского подростка, мучительно размышляет о том, возможно ли вообще смертоубийство ради идеи, и пишет о чудовищном, почти зеркальном отражении внутреннего мира фашиста и еврейского юноши из Киева, свято верившего в то, что идея выше человека...

Еще в 1956 году Коржавин воскликнул: «Во имя блага проще убивать!.. Но как нам знать, какая смерть во благо?» И это тоже не было напечатано на родине — только за ее пределами.

Крупнейшей нашей потерей считаю я высылку Александра Солженицына.

Конечно, каждый случай — особый. Но знать, что люди, своей кровью в Великой Отечественной войне оплатившие свое право называться истинными гражданами, были поставлены в невыносимые условия жизни на своей родине и вынуждены были ее покинуть, — знать и думать об этом мы должны. И чувство вины у нас быть должно.

Должны мы знать и о том, что над проблемами, мучающими нас, эти писатели работали раньше, чем мы.

Всем тем, кто всерьез озабочен состоянием русской культуры, нужны не взаимные упреки, а реальные дела, идущие на пользу самой этой культуре, ее процветанию. Как я пыталась показать, над многими современными актуальными проблемами мы думаем «параллельно».

Обращусь еще раз к дискуссии о «перестройке» истории нашей литературы.

История должна быть реальной, соответствовать действительности. А где, к примеру, можно встретить сегодня серьезную информацию о «молодой прозе» 60-х годов и ее анализ? А ведь в начале 60-х эта проза была в центре литературной полемики, вокруг нее ломались копья многих критиков. «Звездный билет», «Коллеги», рассказы Аксенова и Гладилина насильственно вынуты и из библиотечных фондов, и из курсов на филологических факультетах, и из многочисленных, в том числе и выпущенных в последние годы, учебников и «обобщающих» трудов. Так, Е. Добренко в упомянутой выше статье приводит данные о том, что во втором томе книги А. Овчаренко «Большая литература» (подзаголовок — «Основные тенденции развития советской художественной прозы 1945—1985 годов»), данный том, насчитывающий 446 страниц, посвящен литературе 60-х) «молодой прозе» отведено... восемь страниц. Ни одного «добраго слова» в ее адрес. «Из этих восьми страниц пять отведено полемике с зарубежными исследователями, позитивно ее оценивающими».

Творчество Аксенова и Гладилина, Максимова и Владимова — неотъемлемая часть истории нашей литературы, нравится нам этот факт или нет. Конечно, если продолжать опираться на идею конфронтации, то о нем можно и «позабыть». Только пора все-таки начать считаться и с неудобными фактами, не подгоняя реальную историю литературы под свою идеологизированную схему.

Выступление В. Аксенова на конференции в Луизиане было посвящено «эмигрантскому полифоническому роману». Исходная точка позиции Аксенова состояла в том, что роман истинный, по его мнению, не может быть «ни советским, ни антисоветским, ни просто нейтральным. Он просто принадлежит к другим измерениям». В. Аксенов постарался уйти от политических оценок, говорил о литературе как таковой, обращаясь к романам таких разных писателей, как Саша Соколов, Александр Зиновьев, Эдуард Лимонов. Мысль В. Аксенова о том, что монологизм «деревенской» прозы уживался с эпохой застоя, потому что жанрово ей соответствовал, не требует подробного комментария в силу своей несостоятельности. Но идея В. Ак-

сенова, что плюрализм идей сегодня объективно способствует в нашей стране рождению полифонического романа, заслуживает внимания.

Кстати, В. Аксенову был задан Л. Копелевым забавный вопрос: не считает ли Аксенов, что между литературой авангарда и брежневским социализмом существуют глубокие связи? При брежневском социализме слова произносились вроде бы правильные, хорошие, только жить в нем было невозможно. Литература авангарда — очень интересное, как ее представил В. Аксенов, явление, но ее нельзя читать...

Соответствует ли столь однозначно суровая оценка реальному состоянию дел, сегодня может судить сам советский читатель, открыв номер журнала «Огонек» (1988, № 33) с публикацией прозы Саши Соколова — отрывков из его романа «Школа для дураков». Мне эта проза представляется не только чрезвычайно любопытной по поэтике, но и по-настоящему гуманистичной, и в своей оценке ее я ближе к В. Набокову («Школа для дураков» — обаятельная, трагическая и трогательнейшая книга).

Поэтика прозы Саши Соколова ведет свое происхождение скорее от Гоголя, Достоевского, Фолкнера, также — от Замятина и Зощенко, своеобразно скрещенных с фольклором, нежели от западного авангарда. Сама игра точек зрения, постоянно меняющаяся оптика «Школы для дураков» закодированы в герое — ученике школы для умственно отстающих детей, «отверженном» ранее для отечественной литературы (при всем ее традиционном гуманизме). Раздвоение героя (а он убежден, что его — «их» — двое) и диктует столь непривычную систему голосоведения, в которую время от времени включается и автор, комментирующий и домысливающий происходящее в своих фантастически-лирических отступлениях.

Думаю, что для процесса дальнейшего расширения «пространства прозы», о котором говорил А. Синявский, «прививка» прозы Саши Соколова будет отнюдь не бесполезной. Я бы даже не рискнула назвать эту прозу авангардистской — эпитет «утрированная» (термин А. Синявского), по-моему, гораздо точнее.

Татьяна Толстая замечает, что проза Саши Соколова, не появлявшаяся на страницах наших изданий, давно разошлась в списках, и над этими книгами «плачут и смеются, ими восхищаются, их изучают, им подражают», «фразы и строчки стихов из романов давно разобраны любителями «игры в бисер» на цитаты». Но в той ситуации «догутенберговского» книгопечатания, которая сложилась в стране в 70—80-е годы, парадоксальным образом получилось так, что «внеофициальная» поэтика Соколова

оказала свое безусловное влияние на ту прозу, которая все-таки пробилась и печаталась у нас, — в частности, на прозу самой Т. Толстой.

Процесс собирания сил русской литературы идет, и идет достаточно давно. Сегодня он становится легальным.

Для нас «эмигрантская» литература долгие годы была табуированной, чужой, «враждебной», отождествлялась с пропагандой. Такое ее восприятие тоже коренится в «идеологизированности» восприятия литературы. Но сегодня, когда мы освобождаемся от многих шор, продолжать делать вид, что эта литература к нам не имеет отношения, что внимание к ней свидетельствует об «антипатриотизме», оставаться на позициях конфронтации мы уже не имеем права. И — пусть меня осудит И. Шевцов, я считаю, что продолжать упорствовать в своем псевдо-«культурном» изоляционизме, в равнодушии, а то и в ненависти к русским литераторам, оказавшимся за рубежом, — это и будет способствующим катастрофическим культурным потерям, а значит — непатриотичным.

Р. С. Уже после того, как эта статья была написана и сдана в набор, в нашей периодике были опубликованы «Верный Руслан» Г. Владимова («Знамя», 1989, № 2), «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и «Путем взаимной переписки» В. Войновича («Юность», 1988, № 12, 1989, №№ 1—2, «Дружба народов», 1989, № 1), «Школа для дураков» и «Между собакой и волком» Саша Соколова («Октябрь», 1989, № 3), «Золотая моя железка» В. Аксенова («Юность», 1989, №№ 6—7), «Жить не по лжи!» А. Солженицына («XX век и мир», 1989, № 2). Появились критические статьи и рецензии, анализирующие эти публикации, появилась и новая, опасная, на мой взгляд, тенденция: резко противопоставлять одних писателей (например, Солженицына, имя которого давно пытается вернуть на свои страницы «Новый мир») — другим, «чистых» — «нечистым», «патриотов» первой волны эмиграции — «антипатриотам» третьей. Такие статьи уводят от подлинного противостояния литературы изгнания — литературе официоза, лицемерных «заединщиков», которые вчера — уничтожали писателя, а сегодня «защищают» Солженицына от либералов. Так и хочется спросить — каких? Уж не от Лидии ли Корнеевны и Елены Цезаревны Чуковских, представлявших Солженицыну своей кров отнюдь не в сегодняшние, относительно вегетарианские времена? Не от Анны ли Самойловны Берзер, новомирского редактора Солженицына? Не от Вадима ли Михайловича Борисова, вынужденного из-за

«прыти» незваных «защитников» опубликовать в «Литературной газете» (1989, 21 июня) письмо, защищающее публикации писателя от непристойного рвения иных «составителей» и авторов «предисловий»?

И последнее — опять-таки о патриотизме и «патриотизме», подлинном и мнимом, «скрытом» и рекламно-кричащем.

Модным сейчас стало по делу и не по делу напоминать известные слова Герцена о славянофилах и западниках: «у нас была одна любовь, но не одинокая... смотрели в разные стороны, в то время, как сердце билось одно».

Для того, чтобы умерить громкость крика тех, кто тщится представить себя наследниками подлинного славянофильства, напомним лишь список произведений, ценностей, возрожденных, возвращенных в лоно русской культуры. И безо всяких комментариев укажу орган печати, сделавший это святое дело. М. Булгаков: «Собачье сердце» — «Знамя», «Багровый остров» — «Дружба народов», «Адам и Ева» — «Октябрь»; А. Платонов: «Ювенильное море» — «Знамя», «Котлован» — «Новый мир», «Чевенгур» — «Дружба народов»; А. Ахматова: «Реквием» — «Нева», «Октябрь»; А. Твардовский: «По праву памяти» — «Знамя», «Новый мир»; В. Короленко: «Письма А. В. Луначарскому» — «Новый мир»; М. Горький: «Несвоевременные мысли» — «Литературное обозрение»; И. Бунин: «Окаянные дни» — «Литературное обозрение»; М. Волошин: стихи о терроре — «Даугава», «Дружба народов», «Россия» — «Юность»; В. Ходасевич — «Знамя», «Дружба народов»; В. Набоков — «Москва», «Дружба народов», «Новый мир», «Волга»... Список можно, слава тебе, Господи, нынче длить и длить, а ведь за каждой такой публикацией — серьезная забота, труд.

Лишь осознав то, что мы утратили, вернув культуре потерянное, мы сможем ответить голосам, вопрошающим нас из прошлого: кто мы? откуда мы? куда мы идем?.. И — глубже понять суть национальной трагедии нашей культуры, приблизиться к истинной ее истории.

Дыхание свободы: свет и тени

Споры о Сталине стали водоразделом споров 1987 года. Еще круче они вскипели в 1988 году. Противостояние весны 1988-го, когда Сталин мертвой рукой схватил нас за горло (статья Н. Андреевой), свидетельствует об этом. Мы были на шаг от реставрации, общество без помех было готово откатиться назад. Оно вновь было готово покориться диктату насилия.

Оно и сейчас расположено к этому, несмотря на старания литературы.

Просыпаясь, мы каждое утро задаем себе вопрос: кто кого? Или Сталин в который раз победит свой народ, или народ одолеет Сталина. Вопрос стоит именно так, ибо не Юрий Бондарев и не Анатолий Иванов хотели бы эксгумации Сталина (хотя они этого очень желают), а сам народ не знает, что со Сталиным делать — проклясть ли его навеки или оставить при себе, а точнее, остаться при нем. Невыносимо расставаться не со Сталиным, а с прожитой жизнью, с идеей, с верою, что дело, под которым «струилась кровь», прочно.

Кто не помнит стихов Некрасова:

Иди и гибни безусловно.
Умрешь недаром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Некрасов и не подозревал, когда создавал эти стихи, как много крови прольется на Руси. Он отдельные жизни имел в виду, отдельные случаи самопожертвования, а не истребление лучшей части народа.

Революционеры-демократы, говоря о крови, имели в виду прежде всего себя. Иди и гибни — это относилось к ним. Мы погибнем, веровали они, а народ будет жить. Сталин поставил все с ног на голову. Народ должен погибнуть для того, чтобы жил он, Сталин. И жила воплощенная в нем великая идея.

Так святая идея интеллигенции превратилась в идею уголовную. Последняя создала свою философию (жизнь идеи выше жизни народа) и свою структуру: наверху пахан, внизу — быдло, быдло работает на пахана, пахан распоряжается быдлом, как хочет. Хочет — казнит, а хочет — милует. Сверху донизу это сооружение пронизывают тайна и страх.

Сегодня литература спешит разоружить систему Сталина, демонтировать ее основы. Ее мало разоружить физически, ее надо разоружить идейно. Иначе она самовозродится, даже понеся физические потери.

Я не знаю ни одного журнала и ни одной газеты, которые бы не писали об этом. Я не знаю ни одного порядочного романа, повести или стихотворения, где бы эта благая цель не присутствовала. Меня удивляет не журнал «Молодая гвардия», являющийся в этом смысле исключением, а «Наш современник», который, будучи журналом крестьянских писателей, славит Сталина — палача крестьянства.

Он делает это в статьях, романах и стихах. Но, видно, Бог справедлив: отнимая правду, он отнимает у писателя язык. Даже Василий Белов в романе «Все впереди» лишился своего прекрасного дара слова, что же говорить о других?

Темны и невняты речи защитников Сталина. Знойный метафоризм их отдаст скукою, напыщенностью. Их угрозы, призывающие на голову критики громы и молнии, звучат под аплодисменты бюрократии, которая видит в этих ораторах братьев по духу, братьев по классу. Ей не Платонов и не Булгаков нужны, а эти Герои и лауреаты, эти создатели эпопей, исправно обслуживающих ее сытую жизнь.

Вспоминаю эпопею «Освобождение» (сценарий

Ю. Бондарева и О. Курганова). Внизу — сражающийся народ, наверху — мудрый полководец, разгуливающий по своему кремлевскому кабинету. И дрожащие, вытянувшие перед ним руки по швам маршалы. Между народом и Сталиным нет противоречия. Сталин движет указкой по карте — народ выполняет его предназначения. История здесь проходит через кабинет Сталина, как, впрочем, и через бункер Гитлера. Сцены со Сталиным и агония главаря третьего рейха занимают в этой эпопее столько же места, сколько сама война.

Это литература генералов и для генералов. Это прислужница штабов и ставок, это инструмент для оболванивания народа, который должен поверить, что история делается «наверху», а ему, народу, остается только удобрять ее почву.

Так что же «разрушает народную нравственность» (выражение Ю. Бондарева) — такие эпопеи или Платонов и Булгаков? Или, может быть, романы В. Гроссмана и Б. Пастернака? Уж не они ли подвели нашу культуру к состоянию Сталинграда, дальше которого отступить некуда?

Получается, что они, а не те, кто воспевал отца народов и полковника Брежнева. Не было бы Пастернака и Гроссмана, Бека и Дудинцева, и все шло бы как по-писаному, и молодежь пребывала бы в целомудрии, и призрак апокалипсиса не маячил бы перед Россией.

«Социалистический реализм» не сдается. Он не хочет уступить ни пяди. Очень точно сказал о социалистическом реализме Василий Гроссман: «Это зеркальце, которое на вопрос партии и правительства «Кто на свете всех милее, всех прекрасней и белее?» отвечает: «Ты, ты, партия и правительство, государство, всех прекрасней и милее!»

Такие романы, как роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», несут дыхание свободы. Свободой веет и от «Реквиема» Анны Ахматовой. Под главами этой поэмы стоят даты: 1935, 1939, 1940 гг. Это писалось в те годы, когда молчание считалось доблестью, а произнесенные вслух слова карались смертью. И все-таки эти слова были произнесены. Никто сегодня не посмеет обвинить поэта в запоздалой смелости, в разрешенной смелости. «Реквием» не только высокое — и возвышающее — слово поэзии, но и слово жизни, подвиг женщины, бросившей вызов всесильному государству.

Благодаря творениям Ахматовой и Платонова, Булгакова и Гроссмана мы вновь приравниваем литературу к поступку. Мы делаем это и читая рассказы В. Шаламова и В. Тендрякова, «Белые одежды» В. Дудинцева,

«Исчезновение» Ю. Трифонова, «Мужики и бабы» Б. Можяева, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Кануны» В. Белова, «Дети Арбата» А. Рыбакова.

* * *

Владимир Дудинцев называет героя своего романа «Белые одежды» «Гамлет оцарапанный». Он дает понять, что Федор Дежкин — современный Гамлет, что история, рассказанная когда-то Шекспиром, способна повториться и в наши дни.

Роман, правда, отнесен на сорок лет назад, но тем затруднительней в условиях 1948 года роль Гамлета, роль человека, который, собираясь мстить, играет с обстоятельствами, принимая порой личину тех, кому бы он хотел нанести смертельный удар.

Перед героем В. Дудинцева стена понесокрушительнее, чем перед Гамлетом. Он вступает в игру не с институтом, где служит, и даже не с генералом Ассикритовым, олицетворяющим всемогущие органы, а с системой, не имеющей в истории ни одного аналога. Он находит прорехи в этой системе, пороки и, играя на этих пороках, продельывает щели в стене, которая, хоть и выстроена из бетона, крошится и трескается у нас на глазах.

На этапе заката системы Федор Дежкин сознает, что, ослепленная своими успехами, она может дать себя обыграть, одурачить, обвести вокруг пальца. Потому что она доверчива к демагогии, ко лжи, к казенной преданности. Она уже не требует от человека души и тела, она согласна на послушание и признание ее господства. На этот цинизм системы герой В. Дудинцева отвечает цинизмом — и это и есть конфликт «Белых одежд».

Вообразить себе этот конфликт в условиях 1937 года почти невозможно. Тогда и система была моложе, и люди другие. Но в то время, которое описывает В. Дудинцев, отношения человека и системы уже стали выходить из-под контроля последней, хотя она, казалось, сохраняла над ним неограниченную физическую власть.

Если героям романа Ю. Трифонова «Исчезновение» и в голову не могла прийти мысль об оспаривании «линии», которая вела к уничтожению их самих, если мысль об игре, об обмане системы, которую они создавали, была им тем более чужда, то Дежкин этих стеснений не испытывает. Он понимает не только лживость Рядно и ему подобных, но и лживость исповедуемой ими «веры». Как человек анализа, как ученый, он видит ее несостоятельность.

Это и развязывает ему руки. Он притворяется,

изображая из себя верного рядовца-лысенковца, а в душе пребывая вейсманистом-морганистом, т. е. еретиком.

Тактика Федора Дежкина напоминает тактику человека, засланного во вражеский лагерь с особым заданием. Для него Рядно и Ассикритов враги, а не заблудившиеся овцы. И он поступает с ними соответственно. Он считает нравственным обманывать тех, кто сам врет, кто недостойн иного обращения, и потому ложь не марает его, не марает его «белых одежд».

Метафора «белых одежд» имеет в романе В. Дудинцева два значения. В белых одеждах ходят биологи — герои романа. И белые одежды — это символ чистоты, чистоты спасенного благородства. Остаются ли чисты одежды Дежкина? Е. Старикова в статье о романе («Новый мир», 1987, № 12) пишет, что автор играет с огнем, что, воспевая «темный плащ» Гамлета, он предается апологии аморализма. Она страшится, что «вынужденная практика» Дежкина может превратиться в правило. Но, как и Гамлет, герой В. Дудинцева жертвует только собой. И в этом его коренное отличие от теоретиков «вынужденной практики».

Герой «Белых одежд» почти иезуитски использует то, что для такого человека, как Саша Панкратов («Дети Арбата»), считалось невозможным, запретным, кощунственным. Он играет словами, которые для Саши Панкратова священные слова. Дежкин, дитя сомнения, смотрит на эти слова как на демагогический туман. Перед читателем вырисовывается картина противоборства, где на одной стороне выступает вооруженное до зубов зло, а на другой — добро, решившее кое-что позаимствовать из арсеналов зла. Позаимствовать его лексику, его демагогию, его привычку прикрываться дымовой завесой.

То, что В. Дудинцев привлекает к этой игре полковника Свешникова, не кажется мне убедительным. Такие полковники, безусловно, существовали, но самое большее, на что они были способны, это сочувствие, послабление каких-то тягот в отношении тех, кто попал им в руки, но — не выдача секретов ведомства, война с собственным ведомством. Это натяжка, как натяжка и идеализация (и плохая беллетристика) — страницы, посвященные роману Дежкина с Леной. Тут В. Дудинцеву просто изменяет вкус.

Роман не в этом — не в романной интриге с любовной завязкой и развязкой, с какими-то парами, превращающимися в треугольники (поэт — жена Посошкова — Посошков), а в игре Дежкина с «батькой» Рядно.

Конечно, этой игрою может заразиться любой современный конформист. Он может сказать, что он поступает так же — лжет и изворачивается, чтоб спасти идею. Но в том-то и дело, что конформист всегда спасает себя.

Герой В. Дудинцева, как мы уже говорили, рискует головой. Его игра — подвиг самоотречения и самосожжения.

Не хочу быть апологетом такого типа, но не могу не признать, что это новый для нашей литературы тип. Он явился на изломе эпохи, когда старые верования превратились в свою противоположность, обнаружив таящийся за ними обман. Обман и вызвал реакцию обмана, реакцию Дежкина.

Подвиг сопротивления может быть подвигом открытого боя, подвигом молчания и подвигом такой игры. Конечно, они не равноценны. Конечно, подвиг открытого боя всегда будет стоять на первом месте. Но и писатель молчит долгие годы, создавая свои произведения. Его подвиг сопротивления — в выношенных им в молчании словах.

* * *

С легкой руки Чингиза Айтматова слово «Бог» в нашей литературе вновь стало писаться с большой буквы. Это — дань понятию, которое стоит за этим словом, дань уважения к культуре и опыту народов, которые выработали это понятие веками своего развития.

Тема Бога была одной из запретных тем не только минувшего десятилетия, но и многих десятилетий. Даже в Полном собрании сочинений Пушкина, да и не только Пушкина, но и других великих писателей XIX века, это слово писалось с маленькой буквы. Мы принижали этим не Бога (его не унизишь), а писателя, низводили его на свой уровень, на уровень наших цензурных идеалов.

Сейчас этому слову возвращается его высокое значение, и Борис Можжев, и Василий Белов, и Виктор Астафьев настойчиво называют Бога — Богом и не страшатся этого.

И дело не в орфографии, дело в почтении к обычаям предков, к их святыням, их пути, наконец. Человек не может жить без святынь: он должен чувствовать ответственность перед прошлым и будущим, а это и есть Бог.

Иначе все рухнет в его настоящей жизни, в его быстротекущей жизни, которая не вольна в себе без прошлого, без сыновнего чувства по отношению к нему и без отцовского, без материнского чувства по отношению к будущему. Потому что мы в полном смысле этого слова порождаем его.

Жизнь, оторванная от святынь, признающая святым только настоящее, даже не настоящее в историческом измерении времени, а в измерении мгновенья, минуты (пир

во время чумы), — это жизнь смертников и жизнь смерти.

Так живут на кладбище в повести С. Каледина «Смирненное кладбище», так обитает на том же кладбище в повести А. Иванченко «Рыбий глаз» («Сельская молодежь», 1987, № 8—9) некто Пудов, охранник этого пристанища смерти, его Харон и могильщик.

Свобода, сорвавшая печать с запретных тем, сорвала печать и с темы смерти, которая если и получала допуск на страницы романов и повестей, то в качестве «стыдной» темы. Ее выносили за скобки, как выносят кладбища за город, пряча от глаза поселения мертвых. Так огораживаем мы дальние кладбища бетонной стеной, а на прощание отводим минуты, пока гроб под магнитофонную музыку опускается в зев печи. Этот конвейер прощания, конвейер обезличенного горя дорого обошелся нам и, прежде всего, нашим чувствам. Превратив смерть и похороны в что-то спешное, что не стоит времени и внимания (а тем более благоговейной паузы), мы не только отталкивались от предков наших, с которыми наскоро расставались навсегда, но и сеяли ложь и ханжество в отношении понимания жизни.

Даже гоголевский Чичиков возил с собою в шкапулке похоронный билет — это *memoria mori*, напоминание о смерти, как бы заставляющее его думать не только о земных радостях и удовольствиях, но и о том, что ждет его за чертой жизни. И плут Чичиков у Гоголя оборачивал свои мысли в эту сторону, и плуту Чичикову хотелось бы знать, что ждет его там, и поэтому срывались время от времени его меркантильные предприятия, поэтому он никак не мог добраться до конца пути. Чичиковская бричка, пересекавшая в первом томе «Мертвых душ» похоронную процессию, вырывалась за пределы этой смертной черты и выносилась на простор, где ее могла ждать уже не смерть, а бессмертие. Именно поэтому везущая ее тройка превращалась в Русь-тройку.

В разные годы к теме смерти обратились и Ю. Трифонов («Обмен»), и В. Шукшин («Осенью», «На кладбище»), В. Белов («Привычное дело»), В. Распутин («Последний срок», «Прощание с Матерой»), Александр Вампилов («Утиная охота», «Старший брат»). «Смерть, — писал В. Распутин в «Прощании с Матерой», — кажется страшной, но она же, смерть, засеивает в души живых щедрый и полезный урожай, и из семени тайны и тлена созревает семья жизни и понимания».

У А. Вампилова почти в каждой пьесе присутствует кладбище. Или герои живут недалеко от него, или кто-то играет в оркестре на похоронах, или о ком-то еще живом делается объявление как о покойнике. Среди мель-

кания вопросов в театре Вампилова неотвратимо звучит и этот мотив — мотив облагораживающего влияния памяти о смерти, мыслей о смерти, об ответственности, которую вносит в нашу жизнь смерть.

«Загордел человек, — говорит старуха Дарья в распутинском «Прощании с Матерой». — Мы не лутче других, кто до нас жил». Святая истина. Гордыня настоящего не способна внести в жизнь высокую ноту, поднять ее. Она, наоборот, низвергает жизнь на дно, делает ее бескрылой, беспмятно-страшной. Так страшна участь обитателей кладбища в повести С. Каледина. Так страшен Пудов в «Рыбьем глазе», который приемную дочку кормит пельменями, изготовленными из собачьего мяса, и обирает мертвых, продавая венки и ленты с могил.

Впрочем, ленты он не продает, а коллекционирует, развешивая их по стенам и читая написанные на них слова.

Эти люди погребены заживо, они зарыты еще глубже в землю, чем покойники, над которыми они потешаются и к которым у них нет никакой жалости. Они безразличны и к собственной смерти, потому что по ту сторону у них ничего нет, там — пустота, и потому настоящее — единственное, что они боготворят, что ощущают как реальность.

Отношение к жизни как к счастливой случайности, которой могло и не быть и которой из-за этого надо «на всю катушку» пользоваться, превращает в случайность, в необязательную случайность и все наши поступки, наши грехи и удачи, наше милосердие и наш цинизм. И цинизм, и высокие чувства, получается по этой философии, случайны, они могут и не могут быть, и человек не отвечает ни перед кем и ни перед чем за то, есть они или нет.

Поэтому и сгорает дом Пудова на кладбище, и сгорает в этом пожаре он сам, что заблудилась его жизнь, запуталась, уперлась в саму себя, в пельмени с собачатиной, в грязные рубли, вырученные от цветов на венках, в насмешку и отрыжку сытости перед лицом смерти.

Некий Новосильцев в рассказе Вячеслава Пьецуха «Билет» («Новый мир», 1987, № 6) просто выкапывает своего отца из могилы, ибо у отца в кармане пиджака, в котором его похоронили, лежит выигравший автомобиль лотерейный билет. Даже бич Божий и тот не может оправдать поступка Новосильцева. А тому — трын-трава. Он «скорее выроет всех своих предков до тринадцатого колена», чем признает, что он не прав. Ведь для него это всего-навсего разлагающаяся материя, а не святыня.

В сдвиге литературы к этим скорбным темам я не

вижу ничего сенсационного. Таков результат молчания, замалчивания. Таков результат общественного тартюфства по отношению к смерти.

Сейчас я читаю в газетах о еще более страшных фактах. Я читаю о том, как на кладбищах организовывается социалистическое соревнование, как «передовикам»-могильщикам вручаются переходящие Красные знамена, как и в этом «ведомстве» есть план «по валу», есть планирование «от достигнутого». Не могу забыть телевизионного фильма о жуликах и ворах, где показывали их могилы — мавзолеи, воздвигнутые над прахом торговцев, мясников и заведующих складами, теснящие скромные пирамидки и кресты, поставленные на месте успокоения честных людей.

Я всегда удивляюсь, бывая даже на наших образцовых кладбищах, посмертному тщеславию, которое увековечено в памятниках и надгробиях. На мраморе и граните золотыми буквами вырезано: генерал, депутат, лауреат, Герой Социалистического Труда. Как будто звания и награды, а также должности, занимаемые умершим лицом, имеют какой-то смысл. Как будто они что-то значат перед этим фактом и тайною смерти. Не честнее и точнее ли писать так, как написано на плите, лежащей на могиле Гоголя: «Здесь покоится тело Николая Васильевича Гоголя». Заметьте такт и высокое содержание этой надписи: здесь покоится тело Гоголя, а не Гоголь. Здесь бранный прах человека, а не сам человек.

Эта страсть к памятникам, наградам, к почестям загробным по соседству с полным отсутствием интереса к жизни, к страдающим и требующим сострадания стала метой эпохи, которая все еще нависает над нами своими тенями. И что разгонит эти тени, как не слово писателя?

Отношение к кладбищам — показатель здоровья народа, культуры народа и чистоты его. Загрязняя эти места, кощунствуя в этих местах, предавая анафеме то, что уже не с нами, мы предаем проклятию и себя, чей срок на этом свете тоже недолог. Или, как писали на деревянных дощечках, которые прибавали к крестам на старых кладбищах: «Вы в гостях, а мы уже дома». Так мертвые обращались к нам, живым. Не стоит забывать, что мы в этом мире гости, но что наш духовный дом, наша принадлежность другому миру — вечны.

Перед лицом этой вечности меркнет суета сует и желание сделки, желание навязать жизни то, что она в своем течении отвергла, что не приняла, что разумно предотвратила.

Я вспоминаю при этом профессора Преображенского из повести М. Булгакова «Собачье сердце», который

пытается научить Шарикова культуре и который все время, видя безобразия, творимые тем в его квартире, добавляет: только добром, только по-хорошему. Если сила Шарикова врывается в его жизнь без согласия на свое присутствие, то изгнание или переделку этой силы профессор Преображенский видит лишь на путях гуманности, убеждения и увещевания. Однако и ему приходится возвратить Шарикова в прежнее, собачье состояние.

Заветная идея истории для М. Булгакова — это идея сохранения и наследования, идея преемственности. Чудо изобретения Преображенского — изобретения особых лучей, под влиянием которых пересаженный человеческий мозг способен сотворить из собаки человека, оборачивается поражением. Чудесные лучи изобретают урод, которому в жизни нет места.

Пусть матери рожают детей, и пусть все будет, как было, говорит герой Булгакова, смиряясь перед идеей эволюционности: слово «эволюция» встречается в письмах Булгакова Сталину. Булгаков без обиняков говорит в этих письмах, что он за эволюцию, а не за революцию, и, может быть, поэтому его считают чужим и не печатают в СССР.

Всякое нарушение естественного процесса, операция, подобная той, которую совершает профессор Преображенский над псом Шариком, чреват посягательством на природу жизни и природу развития. Как и А. Платонов, М. Булгаков отстаивает мысль, что нет движения ради движения, нет движения без ума, без памяти, без, скажем, уважения к старой культуре, которая является в его повести в образе оперы «Аида».

Блок видел в музыке революции музыку преобразования, разрушения. Профессор Преображенский (знаменательная в этом контексте фамилия!) хотел бы вернуться к иному пониманию музыки — к музыке как гармонии, как гимну соединения, согласия, созидания.

Господи, сколько ассоциаций рождает проза Булгакова, вообще прекрасная проза! Она неминуемо ведет нас в недра культуры, к истории, к философии, к философии отрицания и утверждения, к идеалу и пародии на идеал.

Кажется, Герцен писал, что нельзя освободить человека внешне больше, чем он свободен внутренне. Булгаков осознает эту истину на материале эпохи переделок и ломки. Как и Блок в конце своей жизни, он отступает к Пушкинскому Дому, приветствуя «тайную свободу» как свободу свобод. Он понимает, что путь к внешней свободе, свободе общества, лежит через эту тайную внутреннюю свободу человека, которая дается через просвещение, через работу ума и сердца каждой отдельной личности.

Эта точка зрения М. Булгакова стала особенно очевидной после лавины его публикаций, сошедшей на читателя.

В булгаковской пьесе «Адам и Ева» профессор Ефросимов бежит от кровавой распри идей. Хуже всего, считает он, это идея, навязывающая другой идее свое превосходство, способная ради доказательства своей правоты уничтожить полмира. Ефросимов, изобретший аппарат для спасения людей от солнечного газа, уничтожающего все живое, согласен служить человечеству и спасению человечества, а не истреблению апологетами одной идеи апологетов другой. «Я боюсь идей! — восклицает он. — Всякая из них хороша сама по себе, но лишь до того момента, пока старичок профессор не вооружит ее технически. Вы — идею, а ученый в дополнение к ней — мышьяк».

Идея, вооруженная до зубов, кажется ему страшной инстинкта, страшной допотопного чувства зависти, ненависти, соперничества. Нет ничего ужаснее соперничества идей, которое может повлечь за собой мировую войну. Такая война и разгорается на глазах героев пьесы. И спасти людей или, наоборот, погубить их окончательно может аппарат профессора Ефросимова и его наука.

Пьеса Булгакова оканчивается неожиданно. В то место, где находится Ефросимов и спасшиеся жители города, приземляется самолет. Ефросимова просят в кабину. «Иди, — говорят ему, — тебя хочет видеть генеральный секретарь». Что это — ирония Булгакова или надежда Булгакова? Надежда на то, что ученые и поэты растолкуют генеральным секретарям, какими путями идти?

Проза Булгакова после «Белой гвардии» проходит жестокое испытание сатирой, как и душа автора — отчаянием. Сам Булгаков так и не был вызван генеральным секретарем. И то, что он описал в «Дьяволиаде», в «Роковых яйцах», в фельетонах, в «Театральном романе», в тех страницах «Мастера и Маргариты», которые посвящены Москве, по его мнению, отчасти результат того, что политики и поэты разошлись в своих взглядах на мир. Насилие взяло верх над милосердием. Чем мог ответить Булгаков на это торжество насилия? Только святым мщением — сатирой. Только отрицанием, только развенчиванием. Только уничтожающим смехом.

Этот смех, прокатившись по его сочинениям, унес с собою, кажется, и саму надежду. Он унес то, что высоким светом освещало трагические перипетии «Белой гвардии», — веру Булгакова в сам свет. Недаром он и Мастера своего (писанного с себя) обделяет светом. Он дарует ему в финале «Мастера и Маргариты» лишь покой. Роман Булгакова — роман прощания, роман ухода, роман смерти.

Здесь умирают не только герои, здесь умирает, прервавши течение свое, само время. Часы останавливаются — если в доме Турбиных они били, торопя минуты, то тут они замирают навсегда. Сбывается предсказание Евангелия: и времени уже не будет.

Азazelло вынужден умертвить Мастера и его подругу — иначе они не спасутся. Спастись можно только ценой смерти — такова ирония Булгакова. Лунный свет играет в конце его романа, он разливается по спальне Ивана Поньрева и по роману рекой, но это свет искусственный, свет кладбищенский, ибо Луна — мертвое тело.

Булгаков пробует преодолеть это тяготение смерти — он вводит в роман жертвенный образ прекрасного Иешуа, он рисует сцены ершалаимской жизни с ее страстями, печальями, горем, вознесением. Гроза, проносясь над его романом, освежает древний Ершалаим, делает его похожим на дрожащую за окном и омытую дождем картину живого города, но это последние усилия Мастера, героические усилия искусства, которое хочет превозмочь усталость и смерть.

Роман Булгакова — драма борьбы со смертью, с усталостью и истощенностью духа, который хоть и повержен болезнью, но не сокрушен. Отсюда возвышенные куски романа, связанные с Иешуа, отсюда яркость красок в этих кусках, совершенство отделки, почти скульптурная выпуклость возвращенных из небытия фигур. Пилат и Каифа, дворец Пилата, площадка, на которой он допрашивает Иешуа, сады дворца, шумящий за этими садами город и стоящая звоном в голове Пилата ершалаимская жара — все это заклиятие мастерства против смерти, против уничтожения, против распада. Булгаков хочет заковать красотой несостоявшееся бытие, загубленную безобразную жизнь, все то, на что обрушивается в других главах его карающий смех. Та жизнь прекрасна и вечна, э та не стоит Мастера и мастерства.

Вечность в романе Булгакова — это вечность искусства, вечность красоты, вечность неизменяемых красок. Она смотрит на происходящие в «Мастере и Маргарите» события, как фрески на стене храма смотрят на кипящую под ними жизнь.

Только жизнь в финале «Мастера и Маргариты» не кипит. Она угасает. Она погружается во тьму, и тьму эту прорезает лишь одинокая «лунная дорога», по которой уходят прощенные Иешуа Понтий Пилат и его собака. Им тоже не дарован свет, им дарован покой.

Природа покоя и света мучает Булгакова. Покоя нет в прошлом, покоя нет и в настоящем. В настоящем его взрывают раскаты смеха. Но и смех этот слышится уже

из-за смертной черты, оттуда, куда навсегда удалились Мастер и Маргарита. Дом Турбиных оставался в романе «Белая гвардия» посреди свистящих воронок русской жизни, дом Мастера и Маргариты вознесен в горния, это не жилой дом, а храм искусства.

Если «Белая гвардия» — роман о доме, о семье, то в «Мастере и Маргарите» нет дома и нет семьи. Есть квартиры, есть подвальныйчик, в котором Мастер сжигает свой роман, есть палаты психиатрической клиники, но центр жизни, вокруг которого все воссоединялось в «Белой гвардии», разрушен. И еще одна черта: в прощальном романе Булгакова нет ни одного ребенка.

Если молодых Турбиных спасала вера, Бог, то опустошенные Мастер и Маргарита вынуждены обратиться за помощью к дьяволу. И пусть за компанией Воланда стоит Иешуа, пусть это как бы он подает ей команды и награждает освобождением от дьявольского облика после выполненной работы, все же сердце сжимается от этой попытки использовать зло во имя добра. Тут есть какое-то смещение, и, я думаю, именно оно отдаляет страницы романа, где является Иешуа, от того источника, из которого черпал, создавая этот образ, Михаил Булгаков.

* * *

Христос у Булгакова выступает как действующее лицо, но носящее другое имя — Га-Ноцри, или Иешуа. Мы догадываемся, кто он, но все же это литературный образ, это герой романа, а не сын Бога. У Булгакова даже есть намек на то, что Иешуа — врач, не зря он угадывает причину мучений Понтия Пилата — головную боль. И излечивает ее тут же.

Булгаков все же отводит наши подозрения о том, что он пишет свое Евангелие, и сама атмосфера красоты, которая окружает главы об Иешуа, говорит об этом. Она противоречит простоте великой книги.

Булгаков держит дистанцию между первоисточником и его литературной вариацией, и это есть опять-таки дистанция искусства, дистанция метаморфозы, которую претерпевает первоисточник под пером поэта.

Но в романе В. Тендрякова «Покушение на миражи» Христос прямо назван Христом. Для В. Тендрякова Христос — живой человек и вместе с тем герой истории, которого действующие лица его романа намерены устранить, вычеркнуть из исторического процесса, чтобы проверить, как сложится этот процесс без Христа.

Такова идея романа, и таков смысл метафоры, заложенной в его названии, — «Покушение на миражи». Ми-

раж — это имя Христа, его единственность, необходимость, его предначертанность в истории человечества. Отсутствие этой предначертанности и хотят доказать «флибустьеры» и «террористы», как шутливо именуют себя Гребин и его ученики в романе.

Для того чтобы это доказать, им обязательно нужно «убить» Христа, вывести его из событий, в которых он, согласно евангельской легенде, участвовал, и ввести в историческую ткань другое лицо, которое могло бы заменить Христа, оправдать это «убийство». В романе про этот эксперимент так и сказано: «программа убийства Христа», «акт уничтожения Христа», «пробиться в I век и совершить там убийство».

Сейчас, когда вышли в свет рассказы Владимира Тендрякова «Пара гнедых», «Хлеб для собаки», «Параня», «Донна Анна» («Новый мир», 1988, № 3), «Охота» («Знамя», 1988, № 9), видишь, что «самый важный шаг» он совершил не на путях теории о ниспровержении Христа, а на путях практики — практики отважного реализма, повернув его к кровавым страницам XX века. И именно эти рассказы, а не роман «Покушение на миражи» написаны «вослед русской классике».

Русская классика если и оспаривала Христа и его учение, то проводила этот спор через сердце человека, а не через нутро ЭВМ, как это делает В. Тендряков. Она заставляла человека мучиться, ужасаться той бездне, которая открывалась в его душе. У В. Тендрякова никто не мучается, для героев это не вопрос жизни, а вопрос расчетов, вопрос «интересной физики». Загадочное облако вокруг физиков, облако их «трепа», их иронических ошибок и диалогов «с подтекстом» должно, кажется, покрыть все, а главное, скрыть собою их безусловное благородство и значительность. Но, пардон, этого «трепа» мы наслушались еще в шестидесятые годы. В те времена физики были в почете. Тогда им спускали все.

Ныне «интересная» физика стоит перед судом человечности. Ныне ее материальные истины уже смахивают на «миражи», а то, что считалось миражами — душа, сострадание, доброта, — встало, как гранитная твердь. Мы очень верили в те годы, что физики спасут мир. И что же? Если мир еще не убит, то заслуга ли это физиков?

Поэтический флер, брошенный литературой на людей науки, как на богов, на сверхчеловеков, растаял. Облако Чернобыля, пройдя над нами, окончательно рассеяло его.

Вспоминаю это событие не всуе, а потому, что помню, как один «физик»-начальник сказал на пресс-конференции после аварии: «Наука требует жертв».

Когда герой романа «Покушение на миражи» критикует притчу Христа о «птицах небесных», которые не сеют, не жнут, придавая ей значение проповеди безделья, то так может критиковать только логика, только голый ум. Потому что притча эта окружена в Нагорной проповеди примерами того, как люди сознательно ищут «сокровищ», т. е. богатства. «Душа больше жизни, а тело одежды», — говорится в притче, и это означает, что «нельзя служить двум господам» — Богу и мамоне. «Птицы небесные» — это те, кто заботится о душе, а не о сытости, кто не трудится для приобретения сокровищ. Христос вкладывает в эти слова мысль о преимуществе духа над телом, свободы духовной (отсюда и образ птиц) над пищей телесной.

Что же касается труда, то не в Писании ли сказано: в поте лица добывайте хлеб свой?

Вообще когда поэтический текст становится предметом умозрения, он сразу теряет в своей многозначности, он делается одномерен и плоско-назидателен. Для арифметики существует «или — или», для поэтического текста — тысячи значений. Согласно поэзии, как писал Достоевский, дважды два равняется пяти. «Арифметика» (это его термин), логика и ум признают лишь: $2 \times 2 = 4$.

В романе В. Тендрякова я вижу сильное упование на логику и слабое упование на душу. Тот же упрек я мог бы отнести и к повести Даниила Гранина «Зубр». Герой этой повести тоже ученый и тоже окружен ореолом «трепа» — слово «треп» с поощряющими его эпитетами не раз повторяется в «Зубре». Да и сам герой здесь не человек, а «зубр», «ящер», «машина», «мастодонт», имеющий не голос, а «трубный глас». Это, как отмечает Гранин, «личность экстраординарная», «труба громовая», «глыба». Кроме этих названий, героя все время сопровождают сравнения с каким-нибудь огромным животным, необычайным явлением природы. Если он поет, то его песни «разбойные», если говорит, то не говорит, а «орет и топочет». Он даже «рычит от ярости», как взыправдашний зверь. Все прочие люди, окружающие Зубра, уподобляются «домашнему стаду».

Что же это за существо и что так возвышает его над людьми? Автору достаточно сказать, что Зубр «буйно мыслит и буйно работал», чтобы снять этот вопрос. Душа героя остается тайной за семью печатями, но Гранин считает, что проникновение в нее и не нужно, слишком уж впечатляющи эти внешние признаки величия Зубра. Когда же речь все-таки заходит о душе, о святая святых его героя, о том, верит или не верит он в Бога, Д. Гранин тут же отко-

чевывает от опасной зоны. «Был ли у него бог? — читаем мы. — Я никогда не мог уяснить себе этого до конца. Достоевский полагал, что если бога нет, то все дозволено, а раз дозволено, то можно и духом пасть, отчаяться. Но человек есть тайна, от самого себя тайна. Не верит он ни в черта, ни в дьявола, тем не менее его что-то останавливает. Не дозволяет. Бога нет, страха нет, а — нельзя. Тот, кто преступает, тот и с богом преступил, поклоны бил и все равно преступил. Когда вера религиозная схлынула, думали, наступит вседозволенность. Не наступила (а как же Сталин и сталинщина? — И. З.). Необязательно, значит, что неверующим в душе запретов нет. Всегда они были, запреты, во все времена, они-то и роднят поколения, народы, всех, кто когда-то плакал и смеялся на этой земле».

Абзац этот отчасти просвещает нас насчет самого автора, но нисколько не просвещает насчет Зубра. Так и остается тот непознанной «глыбой», «ящером» и «мастодонтом», чьи увеличительные имена и прозвища предоставляют ему право оставаться неузнанным.

Не стану отрицать полезности повести Д. Гранина, но это полезность информационная.

«Зубр» — это еще одна биография, еще один документ эпохи. Еще один лист, подшитый к «делу» о тридцатых и сороковых годах. Тимофеев-Ресовский вызывает симпатии, но симпатии, я бы сказал, заочные. Я признаю положительный факт его существования в действительности, но не факт существования в литературе.

Кроме того, меня смущают его амбиции. Его рыки, и крики, и «топот». Читаю статьи о Н. И. Вавилове: не было этого. Читаю о Петре Капице: ничего подобного. Письмо П. Капицы Сталину по поводу ареста Л. Ландау потрясает меня. Я вижу человека достоинства, который идет в клетку к кровожадному зверю (и здесь сравнение со зверем уместно) и не страшится этого. Я вижу, как он прикрывает грудь собрата по науке. Я вижу в этих героях не «ящеров», а людей, не «мастодонтов», а обыкновенных смертных.

Гранинский Зубр слишком смахивает на сверхчеловека. Я был бы рад, если б он предстал предо мной в повести просто человеком, братом по времени и по судьбам, который выходит в герои, возвышаясь не внешне, а внутренне.

Цена этого возвышения сильно возросла в обществе. Герой-победитель, герой, гордящийся своими победами над природой и людьми, сменяется сейчас героем, который умеет побеждать себя, смирять себя, винить себя. Чувства вины и покаяния, мучающие его, это мучения болезни,

болезни выздоровления, из которой человек выходит заново родившимся, чистым.

Времена изменились. Теперь трепет вызывают не ракеты и не ядерные котлы, как и те, кто создал их, а усилия тех, кто хочет сломать эти ракеты, погасить котлы. Пафос переделки, преобразования, насильственного переустройства природы сменился пафосом спасения своих отношений с ней.

Вот почему гордыня ума нынче не в моде, вот почему всякие гиперболизации производят впечатление анахронизма. Нынче человек строит не Вавилонскую башню, а дом. Дом, в котором можно жить в настоящем, а не терпеть во имя будущего. Что такое будущее? — спрашивал Гоголь. И отвечал: зеленый виноград. Настоящее самоценно и прекрасно, оно — мгновенье, но это единственное мгновенье, которое дано каждому из нас для пребывания на земле. И пренебречь ценностью этого мгновенья мы не вправе.

Недаром образ дома — любимый образ литературы последних лет. И будь это крестьянская изба у Ф. Абрамова или городской дом у Ю. Трифонова, это все равно жилище, пристань, а не место временного обиталища человека. Это не химера, не стоокая башня, на этажах которой люди пожирают людей, а согретый материнским теплом угол, очаг, где голоса стариков и детей не противоречат друг другу. Дом — почка, дом — зерно, дом — завязь на ветви жизни — вот что сегодня для нашего сознания дом.

* * *

В журнале «Огонек» (1988, № 8) я прочитал, как хоронили академика Н. Вавилова — сбросили в яму вместе с другими трупами, в безымянную яму, и зарыли землей. Лопатами сбрасывали трупы, голые трупы эков, погибших в тюрьме. Вот факт, который не снился Данте, не снился его «Аду». Неужто литература будет об этом молчать? Неужто она — ради спокойствия наших чувств — должна пройти мимо этого?

Алесь Адамович в «Последней пасторали» («Новый мир», 1987, № 3) пугает нас последствиями атомной войны, но это за пределами нашего разумения, а гибель Н. Вавилова — дело наших рук, дело нашего молчания, это то, что виной вонзилось в наше сердце. Атомный апокалипсис А. Адамовича не страшит (он и литературно вторичен), а 1929-й и 1930 г. страшат, 1932—1933 гг. — страшат, 1937-й и 1941-й — страшат. Страшит это, страшит. Чернобыль, страшат новые попытки навязать нам новое молчание и новое соглашательство.

Андрей Битов в романе «Пушкинский дом» выводит героя-подонка, подонка из интеллигентов, предавшего своего отца и деда. Все в «Пушкинском доме» идет на п о н и ж е н и е, докатывается до пародии на русскую историю и русскую литературу. Сопоставления с нею не выдерживают герои романа А. Битова. Вот почему главенствующая интонация романа — интонация иронии. Бес иронии мучит героев романа, мучит он и автора. Иронически преподносится здесь любовь, спародированы дружба, героизм, дуэль.

Битов все время наблюдает за собой, за тем, как он строит коллизию, как поворачивает ее, как разрабатывает «версии» и «варианты» (калька с «про» и «контра» Достоевского), как и почему вводит героев и выводит их из действия.

Это роман преднамеренно сложный, расчетливо сложный. В его отступлениях, в обязательных отслоениях от действия, в авторских ремарках, растягивающихся на страницы, в «математических кривых поведения» героев я вижу один ум и причуды ума, толкотню ума наедине с умом и то, о чем с неудовольствием, заметив то же в себе, писал А. Блок: «Я слиш ком у м е ю это делать». Блок имел в виду писание стихов и технику письма. Блок сокрушался по этому поводу, автор «Пушкинского дома», похоже, ничуть не расстроен этим своим умением. Наоборот, он любит им, он счастлив этим искусством игры, этим талантом относить к сфере игры не только слова, образы литературы, ее приемы, но и Бога, черта, Пушкина, Тютчева (с Пушкиным он играет в рассказе «Фотография Пушкина». — «Знамя», 1987, № 1), космос, человека (см. повесть «Человек в пейзаже». — «Новый мир», 1987, № 3), что угодно.

Ум А. Битова незауряден, талант налицо, но как давит ум на талант, как замораживает, леденит его! Что это, свойство таланта или черта эпохи?

Задавая этот вопрос, я отношу его не к одному Андрею Битову, а к целой плеяде писателей, к которой он принадлежит. Это, условно говоря, поколение «семидесятников», сложившееся и определившееся в семидесятые годы, в отличие от «шестидесятников», кормилицей которых была война, послевоенное лихолетье и XX съезд. Они до сих пор называют себя детьми XX съезда, хотя это определение неточно: они, прежде всего, дети своих отцов.

Иные из «семидесятников» (А. Битов, В. Маканин) начинали в шестидесятые, сливались в своих первых опытах с «шестидесятниками», но потом — в глухую пору семидесятых — отслоились от них.

В чем разница между этими двумя поколениями?

Она и в отношении к жизни, и в отношении к литературе. «Шестидесятники» все сплошь были поглощены социальной, социальными страстями и социальной борьбой. Для «семидесятников» понятие «борьба» — понятие устаревшее. Они видят в нем отрывку эпохи насилия. Они не столько уповают на разум, сколько на здравый смысл, который противопоказан таким крайностям, как «левое» и «правое», «прогрессивное» и «консервативное». Если «шестидесятники», разубеждаясь в социальной, не могли оторваться от нее, а отрываясь, теряли силы, то «семидесятники» уже не тратятся на эту муку. Они без труда изживают иллюзии «отцов», не желая платить за их заблуждения.

«Шестидесятники» тоже рвали с «отцами», но рвали тяжело, с надрывом, иногда их только и хватало на этот разрыв — «семидесятники» их страданиям предпочли анализ. С первых шагов этой генерации была дана некая трезвость, некая холодность во взгляде на жизнь и некий расчет. Вот почему вопросы психологические, вопросы тайн души и тайн ирреального имели для них большее значение, чем вопросы реальности и хлеба насущного.

К тому времени, когда они вступали в литературу, вопрос о хлебе, в том числе и о черном хлебе правды (на отвоевание которого положили силы «шестидесятники»), как им казалось, был решен. Черный хлеб отвоевали «шестидесятники», белый хлеб (хлеб самого искусства) стал пищей «семидесятников».

Вот почему А. Битова и, скажем, В. Тендрякова отделяет пропасть. Они близки друг другу, и они страшно далеки друг от друга. Как далеки друг от друга В. Маканин и Ф. Абрамов. Да что там В. Тендряков и Ф. Абрамов! Даже Ю. Казаков и В. Конецкий кажутся на фоне «семидесятников» борцами за правду.

Семидесятые годы могли создать ложное представление о том, что потенциал «шестидесятников» исчерпан. Что он иссяк. Но вот сегодня они снова на коне. Снова вышла наверх социальность и загредел лозунг Белинского: «Социальность, социальность или смерть!»

Роман Андрея Битова остался в тени шумных публикаций еще и по этой причине, по причине отсутствия ауры остроты. Он отошел в эту тень вместе с другими повестями и романами «семидесятников», освободив поле боя для гладиаторов, для кулачных бойцов.

Оказалось, что это поле еще не заросло травой, еще не поле мертвых, а поле живых. Поле мертвых, полем растерянных и раздавленных изобразил его в своей повести «Один и одна» («Октябрь», 1987, № 3) Владимир Маканин. Он в этой повести вмешался в спор «шестидесятников»

и «семидесятников», придав ему ироническую окраску.

Проза В. Маканина всегда строилась на метафорической основе (я не оговорился: именно строилась, тут немало поработал умысел), и на этот раз метафора разделяет и властвует в конфликте отцов и детей. Только «отцы» здесь — «шестидесятники», а «дети» — их смена в лице автора повести и его героя Игоря.

Идею и тон этой повести дает метафора поражения или «ночи после битвы», которая рождается в воображении «шестидесятницы» Нинели Николаевны в виде «кинообраза» дающего картину разброда «шестидесятников» в ночь семидесятых. Это картина их падения, разложения, отчаяния. Это конец поколения и черта под его деятельность.

Да и то, что они сделали, «семидесятник» Игорь не считает деятельностью. Он называет их деятельность болтовней. Ну что с того, что они разоблачили культ? Ему этот «культ» и Сталин «до лампочки». Как, впрочем, «до лампочки» и «кумиры» поколения «шестидесятников» — Хрущев и Твардовский. Для Игоря и его поколения они — ископаемые ящеры. Он видит в Нинели Николаевне и ее партнере Геннадии Павловиче несчастных «ветеранов», которые способны только пробавляться воспоминаниями.

Жесткое задание метафоры диктует только такое отношение к «шестидесятникам». Чтоб подстраховать метафору «поля боя», В. Маканин вводит в повесть еще один «кинообраз», тоже настаивающий на идее поражения, полного разгрома «шестидесятников». В этом «кинообразе» действуют, как и в повести, два героя — мужчина и женщина. Они оба разведчики. Им дано задание и велено после выполнения задания, на которое должно уйти много лет, встретиться. В руках у них пароль — разломанная на две части рыбка, которая, по предъявлении обеих частей, обязана воссоединиться.

И вот проходит время. Разведчики встречаются. Но рыбка не соединяется. Линия разлома искрошилась, стерлась — пароль не срабатывает. И герои расходятся в разные стороны.

Так расходятся в повести Нинель Николаевна и Геннадий Павлович. Им для утешения не дано даже призрачного союза. Им не дано и иметь семью, иметь детей. Они одиноки. Логика метафоры диктует только такой исход.

Жесткие условия метафоры заставляют В. Маканина жестко служить им. Вообще жесткость — одна из черт прозы «семидесятников», которые иронию предпочитают сантиментам. Но на одной иронии далеко не уедешь. Ирония, наезжая на иронию, создает тавтологию интона-

ции, как бы перекачивает воздух в одно легкое, не давая дышать другому.

Без снисхождения обходится со своими героями автор повести. «Мы ничто и никто,— признаются они.— Мы ничего не выразители... Мы обычные люди... Мы доживаем свою жизнь». «В них погибли общественные реформаторы»,— резюмирует этот скулеж «семидесятник» Игорь.

Как врач-диагност, фиксирует В. Маканин распад этого поколения. Как анатом, старается он разять его мертвую ткань на части и констатировать, что она мертвая.

Ирония В. Маканина по адресу «шестидесятников» заставляет вспомнить чувства его литературного учителя, Юрия Трифонова, относительно поколения «отцов». В отношении Ю. Трифонова к «старичкам», «ветеранам» тоже присутствует немало иронии, но есть и боль. Это историческая боль поколения Ю. Трифонова, которое, отрываясь от своих отцов, не могло окончательно порвать с ними. Все повести Ю. Трифонова семидесятых годов (а они и породили прозу В. Маканина) вышли из этого противоречия, из проблематики «отцов» и «детей», только это были другие отцы и другие дети. На отцах играл «отблеск костра» (отблеск революции), дети были будущими «шестидесятниками», расплачивающимися за грехи отцов, но связанные с ними смертной связью.

У В. Маканина этой связи нет. У него нет и боли. То, что для Ю. Трифонова было проклятием и высокой нотой его поколения, то для В. Маканина и его героев-«семидесятников» пустой звук. Это феномен не исторический, а по преимуществу литературный. Читая прозу Маканина, я не могу отделаться от мысли, что меня водят по преисподней, но водят с холодной вежливостью, с учтивостью, достойной лучшего применения. Однажды у одного врача-хирурга я увидел на кухне парад этикеток. Это были этикетки с коньячных бутылок. На каждой из них почерком врача было написано: «рак пищевода», «рак легкого», «рак печени». Врач увековечивал истории болезни тех, кто, побывав под его ножом, дарил ему эти бутылки.

Меня тогда поразил не цинизм врача (кстати, очень хорошего человека) и не цинизм профессии, которая, наверное, должна защищать себя от падающих на нее перегрузок, а эта посмертная «игра в фанты» — этот сюжет, за которым для составителя его уже не было конкретных больных и их страданий, а была «литература», была повесть в картинках.

Этот дефицит тепла бросается в глаза в прозе «семидесятников». Даже самые талантливые из них относятся к жизни как естествоиспытатели, как морфологи,

как Владимир Набоков относился к своим бабочкам. Любуясь ими, он накалывал их на острие иглы.

Сам В. Набоков сказал о себе в «Даре»: «оледенелое сердце». Читая сегодня его стихи, в особенности стихи о России, по которой он тоскует и плачет, мы видим, что это не так. И все-таки порой кажется, что он смотрит на мир сквозь протертое цейсовское стекло.

В своем очерке-эссе о Гоголе («Новый мир», 1987, № 4) В. Набоков пишет, что Гоголь погубил свой гений, пытаясь стать проповедником. Однако без исканий пользы литературы (которую отрицает Набоков) не было бы и масштаба Гоголя, гениального взлета его «Мертвых душ» и «Выбранных мест из переписки с друзьями». Гоголя-пророка нельзя оторвать от Гоголя-поэта, отрыв этот может привести к уничтожению целого.

Нельзя не согласиться с В. Набоковым, когда он пишет, что феномен Гоголя — это «феномен языка, а не идей». И все же, если мы сбросим со счета идеи Гоголя (и его духовный путь), мы будем иметь дело не с Гоголем.

Русская литература вся замешена на учительстве, на участии, на пророчестве. Этого у нее не отнять. Это можно отнять у нее только с нею самой, поэтому всякие попытки уйти в холодное наблюдение, в прозекторство и рентгенологию есть расхождение не с ее идеями и диктатом этих идей, а отклонение от ее существа, ее природного назначения.

Есть, есть в повести «Один и одна» сочувствие, пробивающееся сквозь кору иронии, сквозь отстраненные интонации, но оно не может согреть разделяющего автора и героев пространства. «Одинокие старички», «постаревшие донжуаны», как он называет друзей Геннадия Павловича, ему не близки. Он не видит в их жизни драмы, а видит один фарс. А если и есть драма, то это драма «белого налива», скоропортящегося сорта яблок, для которых молодость — это минута, это «сезон души».

Таковыми определениями изобилует повесть В. Маканина. Она вся держится на иносказаниях, на игре метафор, которые сами — без слов автора — должны объяснить читателю его точку зрения. А эта точка зрения однозначна: от поколения Нинели Николаевны и Геннадия Павловича веет «запашком неудачников».

Вот, впрочем, и слово найдено. Не «запах», а «запашок», не трагедия, а комедия.

Думая о жесткости В. Маканина, я думаю, что как естествоиспытатель он прав. Он прав в том, что поколение это стареет, что силы потрачены, что их осталось не так много. Физически «напирающая толпа» действительно на-

чинает вытеснять это поколение, но такова участь всех, кто живет на земле.

Вместе с тем феномен «шестидесятников» еще не описан. Его не взять атакой метафоры, тут нужны исторические чувства. Тут нужно оружие идей, оружие любви и зрение любви.

О «шестидесятниках» первым заговорил Юрий Трифонов. Он заговорил о них в «Обмене», в «Долгом прощании» и в «Другой жизни». О них написали и другие «шестидесятники», и написали нелицеприятно, но те книги («Ожог» В. Аксенова и «Семь дней творения» В. Максимова) вместе с их авторами ушли на Запад.

Облик этого поколения нельзя понять, не взяв в расчет их отношений с отцами, с теми людьми революции, которых описал в «Исчезновении» в минуту их прощания с детьми Юрий Трифонов. Отсюда начинаются их проблемы, их темы, их положение в истории и их вклад. Поколение, пожавшее кровавый опыт отцов, навсегда отвратилось от идеи насилия, которая и по сей день является в глазах многих идей действия, идеей развития. Этот путь «детьми» был отвергнут. Вот почему некоторая рефлексия и некоторое обуздание энергии свойственно их чувствам. Вместе с тем это, может быть, последнее гражданственное поколение нашего века. Идея пользы передалась им от отцов. Идея борьбы — от них же.

В. Маканин выводит из повествования отцов, трагедии семей, из которых выходили «шестидесятники». Он отрывает их от исторического контекста. Получается, что они так и родились краснобоями, либеральными резонерами, мусолящими монолог «быть или не быть». И что никто из них так и не решился обнажить рапиру Гамлета.

Они обнажали. Это поколение раскололось: одни, как это было во все времена, пошли по пути открытого выражения своего несогласия с силами, желающими вернуть общество в эпоху Сталина, другие протестовали молчанием, уходом на глубину — в данном случае это оказалась глубина русской истории, русского прошлого, которое было отрезано от «шестидесятников» их отцами, отринуто и признано несостоятельным. В этом поколении были свои герои — они писали петиции, протесты, они сами выходили на площади: их сажали в тюрьмы, в психиатрички, отправляли в ссылку. Писание петиций и протестов тоже был мирный путь, путь, не грозящий кровопролитием, но на него ответили насильем. На долю этих людей выпали горькие дни отвержения.

Про них не скажешь, что они проболтали жизнь, что они склонились перед злом.

Другая часть поколения, ушедшая от схватки, хо-

тела навести мосты между прошлым и настоящим, надвять разорванную нить, восстановить связи, прерванные насильственно. Что из этого вышло, мы знаем. Был услышан зов традиции, стали восстанавливаться памятники, русская классика заговорила иным языком, вернулся из небытия Достоевский, история и литература сделались поддержкой молчащих, протестующих этим молчанием.

Конечно, кто-то, как пишет В. Маканин, «срывался в пьянство», кто-то «топтался на месте». Кто-то, приняв обличения шестидесятых годов за нерушимую веру, остался на уровне этих обличений. И стал повторяться, как повторяется у В. Маканина Геннадий Павлович. Были и в этом поколении отречения и предательства. Но были и высокие преодоления и среди них — преодоления иллюзий самого шестидесятничества. Так были преодолены иллюзии социальности, социальных ответов на духовные вопросы. Так были сняты с пьедестала точные науки. Ломалась вера (кто-то пошел к Богу), и это сделалось знамением семидесятых годов.

Две тенденции сосуществовали в этих исканиях: тенденция разрушения, очищения от догм и тенденция «тоски по идеалу». К середине семидесятых годов тенденция обличительства стала выдыхаться (она обнаружила признаки увядания еще раньше), но это почувствовали не все — многие продолжали исповедовать отрицание как единственный путь, думая, что они разжигают топку истории. Они и сейчас все еще занимаются этим благородным делом, не замечая, что поезд ушел, что сыгран уже третий акт, в то время как они еще играют завязку.

Мы и к нашей истории двадцатых — тридцатых годов подходим еще с этой меркой — меркой «шестидесятников». Простительно тем, кто писал свои разоблачения двадцать лет назад, но непонятны те, кто почитает эти взгляды за последнее слово исторической мысли. В стихах Андрея Вознесенского, например, я слышу те же мотивы, с которыми он выступал в 60-е годы в Политехническом, только теперь он выступает с ними в зале имени Чайковского, уставленным бархатными синими креслами с белой каймой. Раньше перед ним располагался «плебс», теперь сидит «сборная духа». Она сидит в креслах, похожих на «адидасы», и рукоплещет поэту, который, как капитан, призывает ее «играть за этап переходный».

Вот эти стихи:

Зал этот строился для Мейерхольда.
Сборная духа пошла под дуло.
Нынче игра за этап переходный.
Не проиграй ее, сборная духа.

Итак, где-то рушится вера и где-то идет игра. Она шла двадцать лет назад, она продолжается и сегодня. Постаревшие инфанты все еще тешат себя тем, что они занимаются «тренировкой духа». И что их сборная выигрывает. Впрочем, верят ли они в это? Или они веруют в игру?

В повести В. Маканина есть такая фраза: у его героев было ощущение, что их «позовут». Это ощущение жило в поколении Геннадия Павловича (а к нему принадлежит и Андрей Вознесенский) много лет. И вот позвали.

С чем они вышли на сцену? В. Маканин иронизирует над тем, что кое-кто из «шестидесятников» ударился в «малые дела». По его мнению, это тоже компрометирует поколение, хотя «малые дела», осмеянные еще Чеховым, подлежат реабилитации. Из малых дел строятся великие, и это не логика, а опыт дедов и прадедов, к которому — и слава богу — обратилось наконец не только поколение «шестидесятников». «Малые дела», если на то пошло, делали и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и тот же Антон Павлович Чехов. Его работа врача, его поездка на Сахалин — тому доказательство.

«Малыми делами» занимаются В. Распутин (Байкал), С. Залыгин (борьба с Минводхозом), Д. Лихачев (сохранение памятников), А. Вознесенский — когда вмешивается в строительство монумента на Поклонной горе или в историю с памятником погибшим под Симферополем. «Малые дела» сейчас, может быть, наиболее важные дела, потому что, размахнувшись на великие, мы забыли о малых — научившись любить человечество, мы забыли о человеке. «Малые дела» всегда созидательны, они что-то возводят, строят, отстраивают. Кроме того, служа идее спасения, возрождения природы и общества, они толкают противоположные партии друг к другу, заставляют объединяться вокруг этой близкой всем идеи.

В великих делах человек часто себя рассмотреть не может, он теряется на фоне их грандиозности. Мы знаем времена, когда великие дела пожирали человека, не считаясь с его личностью, с его собственной духовной дорогой. Мы как-то забыли, что помимо общей дороги у человека есть еще и своя дорога, которую он выбирает сам, и «малые дела» дают возможность осуществиться этому его желанию.

Вполне возможно, что мы станем очевидцами того, как литература повернется к прославлению этих «малых дел». Как она сосредоточится на них в ближайшие годы. И как перенесет на них ореол героического.

В шестидесятые годы было принято делить литераторов на «левых» и «правых». Их идейный флаг соответствовал цвету обложки того или иного журнала. «Левые» печатались по своему ведомству (скажем, в «Новом мире»), «правые» — по своему (допустим, в «Октябре»). На сегодняшний день и «Октябрь», и «Новый мир», по старым понятиям, «левые». «Левое» и сидевшее когда-то в болоте «Знамя». И поэтому трудней прятаться за обложку и, принимая ее цвет, снимать с себя ответственность за глубину и мудрость.

Ныне расфасовка идет по иному признаку. Когда появились на свет «Котлован» и «Собачье сердце», когда 1988 год открылся печатанием романов В. Гроссмана и Б. Пастернака, прежние понятия о «левом» и «правом» отказываются служить. Сегодня можно завоевать сердце читателя не столько тенденцией (хотя и она важна), сколько крупным взглядом, провидчеством, определяющим не только состояние момента, но облик исторического далека.

Таков, например, «Чевенгур» Андрея Платонова. Появление этого великого романа («Дружба народов», 1988, № 3—4) сразу поднимает уровень нашей литературы (а значит, и разговоров о ней) на много порядков вверх.

Пока текущая беллетристика ограничивается острой критикой постфактум. Настоящее пока вне критики, а прошлое восстанавливается по принципу реабилитации (критика двадцатых — тридцатых годов звучит как критика Сталина), что же до критики истории в полном объеме, то это, вероятно, дело будущего.

Станем по крайней мере отдавать себе отчет в том, что нынешняя волна очищения по большей части выполняет работу шестидесятых годов — не доделанную в те годы работу — и уже отстает от того развития, которое проделала интеллигенция в семидесятые и в начале восьмидесятых годов.

Я читаю М. Шатрова и приветствую то, что он избличает Сталина, что ставит «вождя народов» под театральные софиты и совершает над ним суд — суд без адвокатуры, с одним обвинением. Я забавляюсь тем, как Керенский в пьесе «Дальше... дальше... дальше!» говорит Свердлову: а почему вы разогнали «Новый мир» Твардовского? Все это пикантно, остро, хотя и напоминает политическую агитку, политический раек. Я понимаю, что этот раек скоро отомрет, отслужив свою службу, сойдет с подмостков, но он звучит в унисон с разоблачениями газет, приоткрывающими темный мир архивов. Пусть хотя бы так, говорю я себе, пусть хотя бы в такой форме. Мне не важно, как лите-

ратура хоронит Сталина, мне важно, что она это делает.

Вместе с тем я сознаю, что эта антиагитка смертна. Что она — сама себя уничтожающая материя, да и фактов у М. Шатрова уже мало, уже факт — его верный оруженосец, — повторяясь, исчерпывает себя в его пьесах. Уже хочется полной истории, а не пересказов ее.

Ныне критика, имеющая альтернативу политическую (А. Рыбаков и М. Шатров) и не имеющая альтернативы духовной, уже не удовлетворяет нас.

Н. М. Карамзин сказал: «Слова принадлежат веку, а мысли векам». Я за то, чтоб восторжествовала литература мысли. Но для этого мы должны пройти через чистилище. Для этого должны народиться новые свободные люди, которые такую литературу создадут. Которые не только станут заимствовать и занимать идеи и повороты тем у Достоевского (самый модный сейчас в этом смысле писатель), но и сами — как это сделали Платонов, Булгаков, Ахматова — станут на его высоту.

Пока литература и критика довольствуются этими заимствованиями (их сколько угодно у А. Битова и у В. Дудинцева), пока они проедают золотой запас классики, но я верю, что их новая жизнь впереди.

Ныне литература врывается в каждый дом, в каждую душу, чувствующую разлад с собой, переживающую борения, страх и надежду. Страх бежит, как тень от света, но все-таки эта тень еще черна, еще сильна, еще тщится накрыть нашу жизнь.

Литература — свет души народа — не даст этого сделать.

Поэзия есть проза...

...проза не в смысле совокупности чьих бы то ни было прозаических произведений, но сама проза, голос прозы, проза в действии...

Борис Пастернак

Вот какой вопрос мне, прилежному читателю стихов, иногда — а по правде, чаще и чаще — хочется задать. Ну, хоть себе самому. «А не стыдное ли это занятие — стихотворство, представляющее, как ни крути, некую словесную игру в рифмы, метафоры и т. д.? Занятие ли оно вообще — для взрослого-то человека?»

Дикий этот вопрос я робко решаюсь выговорить лишь потому, что его задавали, им задавались люди — не мне чета.

Как известно, Толстой некогда сердито заметил, что писать стихи — это все равно что пахать и за сохой пританцовывать. Это, сказал он, прямо неуважение к слову. И замечания не спихнешь на очередную причуду гени-

ального старика, — как-никак старик любил Пушкина, плакал над Тютчевым, да и Фета похваливал уж верно не из добрососедской «групповщины».

«Был он только литератор модный, только слов кощунственных творец...» Блок. И «только» вряд ли сказано без самоосуждения, великим весьма и весьма свойственного.

Эти сомнения в целесообразности и насущности собственного ремесла возникали в разные времена, на разных уровнях и по разным причинам. Вот и сегодня...

«Никто стихов уже читать не хочет»... Ямб выдает: сказано также стихотворцем, а коли так, то, надо полагать, с горьким — и столь распространившимся ныне — попреком читателю, злокозненно обходящему в магазинах слоистые рифмованные завалы? Нет, ничуть не бывало. Стихотворец, точнее же и почтительнее выражаясь, поэт Александр Кушнер, наоборот, готов стать в первый ряд тех, кто поотстал от чтения стихов: «Я сам их, кажется, всех раньше разлюбил».

Похоже, он серьезно. И не заметить, чтоб опечалился...

В знаменательнейшем 56-м Эренбург, рассказав в «Литгазете» о никому не известном Слуцком, прибавил с уверенной обнадеженностью: «Хорошо, что пришло время стихов», и три последних слова, как девиз, были подхвачены первым «Днем поэзии» — этой ошеломившей новинкой, которая больше, чем многое другое, сказала и до сих пор говорит о той поре небывалых надежд и ослепительных иллюзий. Тогда и вообразить было нельзя, что с годами «День» — подразумевалось: праздник — превратится в «Будень», в анахронизм, автоматически имитирующий счастливое оживление.

А сейчас... нет, сейчас уж никак не время стихов. И вовсе не потому, что кончился наконец пресловутый «поэтический бум», он сам по себе еще ровно ничего не значил, будучи, как и почти всякий бум, чем-то вроде затянувшегося нервного припадка или вялой инерции. То, что стихи перестали покупать без разбору, за одно то, что — стихи, прекрасно: по крайней мере, миновав период неразборчивости, мы хоть по состоянию магазинных полок поймем — ну, если, конечно, не кто чего действительно стоит, то во всяком случае в чем и в ком читатель истинно нуждается.

Да, речь не о буме, стихийно потворствующем сбыту гнили и фальши; дело куда глубже и, может показаться, печальнее. Впрочем, отчего бы не опечалиться и без огорок, если даже гениальный ахматовский «Реквием», по моим наблюдениям, сравнительно мало задержал на себе

читательское внимание? Пусть всего лишь сравнительно с ожиданиями, пусть заслоненный прозой, перенасыщенной неслыханной и невиданной (вернее сказать, вчера еще непечатной) информативностью, пусть сама эта проза не раз оттеснялась для нас голыми цифрами и беспощадными выводами экономистов и социологов; даже о журнальной книжке «Нового мира», где появился платоновский «Котлован», говорили: «Шестой номер? А, тот, где Шмелев?!»

Но завидовать миновавшему «времени стихов» вряд ли имеет смысл. И не только отрезвевшим читателям — самим поэтам. Хотя бы потому, что оно, вспоминаемое — кем с ностальгией по энтузиазму, кем с ревнивейшей неприязнью, — по меньшей мере одну действительную беду, одно заблуждение нам оставило и укоренило.

Вот уж чего бы я не хотел: чтоб и меня причислили к поносителям «эстрады», демократически-элитарного Политехнического или даже гладиаторских Лужников. Но... Я когда-то писал, что померещившееся в Лужниках, аплодирующих Вознесенскому, Окуджаве или Рождественскому, расширение круга читателей поэзии оказалось и не могло не оказаться мнимым; что расширялся разве лишь круг слушателей; что вовсе не обязательно слушатель (а еще вероятнее — зритель), с бою бравший билет на поэтическое ристалище, был способен остаться наедине с книгой того же Вознесенского, не говоря о книге Ахматовой; что, наконец, дико думать, будто бы и она, Ахматова, воплощение истинной поэзии, собрала на свой вечер полный стадион... Повторяю все это затем, чтобы отчасти отречься и повиниться. Теперь я думаю, что — нет, слушатели стали-таки и читателями стихов, вернее, поверили, что это так же просто, как слушать. В том числе и Ахматову — просто. Так что, дождись мы чуда воскрешения по Николаю Федорову, и ее пришлось бы послушать никак не менее ста лужниковских тысяч. Ибо и ахматовская поэзия во «время стихов», особенно в тот отрезок этого времени, когда первоначально-духовная жажда сменилась модой, оказалась к моде причислена. Стала деталью престижа. Что ужасно.

«Время стихов» свершило неоценимое, оно пробудило к жизни яркие, а подчас и реальные поэтические имена, оно дало всплеск живейшего, искреннейшего, благодарнейшего интереса к поэзии, — но дало и несколько искаженное о ней представление. Поэты — говорю, понятно, не обо всех, для ясности схематизируя явление, — вдруг утратили свое племенное преимущество, свое первородство, выгодно отличавшее их от племени артистов: независимость от непосредственной реакции публики, надежду (вовсе не столь смешную, как ее привыкли изображать),

что, оставшись непонятыми в сиюминутности, они могут быть поняты через сотню лет. А читатели — по счастью, также не все — привыкли думать, будто смелая и благородная мысль либо обличение общественных язв, будучи зарифмованы, тем самым уже становятся поэзией.

Взаимное заблуждение обернулось тем, что перво-го общепризнанного кумира (если принять во внимание, что и яростная хула есть неременная часть и участь признания), то есть, разумеется, Евгения Евтушенко, имевшего для того действительные основания, после сменяли те, кто не имел оснований уж ровно никаких — кроме вышеуказанной легковёрности публики да еще того, что в пушкинские времена подметил знакомец Александра Сергеевича, язвительнейший Вигель: «Для знаменитости (понимай: для того, чтобы стать знаменитым. — *Ст. Р.*), даже в словесности, великие недостатки более нужны, чем небольшие достоинства». Слава богу, что сейчас несомненный, как говорят нынче, лидер — это Высоцкий; радуюсь главным образом потому, что его исступленный, всенародный успех показал от противного, чего, каких безоговорочных обнажений, какой беспредельной откровенности недостает современной поэзии в целом. Этот успех — упрек, вызов, так что когда я читаю ненавистные обличения Высоцкого в статьях, допустим, Станислава Куняева, *стихотворца*, они мне кажутся не только подчас безнравственными (тем более, как многократно писалось, не обходятся без прямых подтасовок) и всегда бессильными, но, прошу прощения, попросту нерасчетливыми. Потому что кому-кому, а поэтам-то он дает небесполезный урок, дает возможность самокритического самопознания, вещь необходимую...

Итак, кумиры менялись, шла, кипела и далеко еще не перекипела «словесная война», но с поразительной последовательностью и бережностью сохранялось то приобретение, вернее, та утрата, которую в период своего победного и обаятельного самоутверждения понесла незаметно самая заметная часть поэзии. «Эстрада» опровергалась с разных позиций, в том числе с позиции так называемой (и неудачно названной) «тихой лирики», но неуклонно не прекращалась борьба за первенство, столь, казалось бы, нелепая в духовной деятельности — да и почему «казалось бы»? Да, нелепая, даром что заразительная. Оставался, не исчезал, так сказать, синдром актерства, жажда сиюминутного успеха и всечасная зависимость от него. Так что когда, предположим, один из воинственно-«тихий», Валентин Сидоров, триумфаторски констатировал: «Какие страсти в нас бродили! Восторг, овации, свистки... А победили, победили простые русские стихи», то бросалось в глаза и лезло в уши это попрыгивающее, молодежно-

спортивное: «победили, победили...», а обыкновеннейшая, рядовая здравомысленность останавливалась перед безответным вопросом: как победили? То есть каким образом эта (поверим) победа фиксируется? На каком поле происходит? И что вообще значит? То ли, что восторженные толпы разом отхлынули от Евтушенко и Вознесенского и прихлынули к сочинителям «простых русских стихов»? Да и как понять это «простые русские»? Вероятно, все же не настолько простые, чтоб разрешать себе рифму: стихи — свистки?

Объявленная победа была фантомна, а «эстрадная поэзия», претерпевшая столько поношений, осталась неуязвима — отчасти и потому, что сами ее гонители, оказавшись последователями, охотно усваивали ее коренной и опасный порок, не усваивая, разумеется, того, что усвоить и невозможно, — таланта ярчайших адептов «эстрады». Больше — и хуже — того. Поддаваясь все тому же соревновательному азарту, арифметическому или строевому (первый? второй?), даже новый и несомненный талант уподоблял себя отчаянно самоутверждающейся бесталанности, которой без самоутверждения, и именно отчаянного, не обойтись. И, скажем, Юрий Кузнецов, может быть, самый шумный из нынешних поэтов, не есть ли он последний — на нынешний день — поэт эстрады? Или, учитывая перемену моды, рока? (Не роковой, хочу я сказать, поэт, а роковый.) Не похож ли его напор, почти физический, его децибелы, его стремление и, отдадим должное, умение привлечь внимание любой ценой, не похоже ли все это на молодежно-музыкальное поветрие, к которому сам он, предполагаю, отнесется презрительно?

И как раз не доказывает ли того, что «время стихов», время «эстрадной поэзии» безвозвратно проходит, уже прошло, его, Кузнецова, эволюция? От косвенного рекламного самоутверждения, еще все-таки пребывающего в границах поэтической образности, когда он всего лишь (да, теперь это «всего лишь») изъяслял театральное намерение пить из отцовского черепа и целовать руки детоубийце леди Макбет, к самоутверждению упрощенному, вульгарному, берущему неметафорическим нахрапом? «Звать меня Кузнецов. Я один. Остальные — обман и подделка». Тут сама эпатажная бедная крайность — как последнее волевое усилие удержать уходящее или, перекричав, напугать наступающее...

То, что уходит (ушло), можно, кому придет охота, жалеть, находя в ностальгии видимость духовной опоры, но идеализировать его, полагаю, не стоит. Как и возбуждать себя аналогиями давней полуромантической «оттепели» с нашим серьезным сегодня...

Идеализируют и жалеют больше всего те, чья — как и моя — молодость осталась там. Бывшие «шестидесятники», до сих пор выдающие это звание за псевдоним неуходящей духовной общности, так стремительно и так печально обнажившей на самом деле свою несостоятельность. У многих и многих — вместе с уходом физической молодости. Хотя нам-то, тогдашним, тамошним, лучше бы не только что самим не раскрашивать то далекое время, а теперешних, тутошних остерегать от этого.

(Пишу это с вполне самокритической печалью: ведь это именно я на исходе 1960 года опубликовал в «Юности» нечто вроде программной статьи под названием «Шестидесятники», откуда и покатилось это словцо, примененное к нашим шестидесятым.)

Пишет «восьмидесятник», талантливый Александр Минкин; с почтительным любопытством разглядывает из своего далека послесталинское десятилетие: «Но идеалы остались — вот что важно. Но вера в себя у молодых и незапятнанных — осталась. Они все равно были гражданами великой страны. Спасителями мира от фашизма. Ведь их от Победы отделяло всего лишь десять лет... Как эти люди позволили стране опять сползти в сплошную ложь — загадка».

Как, спрашиваете? А так... Нет, загадкой тут и не пахнет, ибо драма была не в том еще, что «позволили», а в том, что не могли не позволить. Не имели для того достаточной опоры даже в себе самих, весьма склонных к иллюзиям и мало расположенных к духовной самостоятельности, и тем более быстро утратили опору в обществе, которое культ одной личности поспешило сменить попыткой другого, — вероятно, пока еще не могло, не имело ни сил, ни опыта жить иначе.

Если же что в самом деле загадочно (впрочем, подыщем другое слово: не изучено), так это следующее. То, что в годы, как мы говорим, застоя, именно в них утвердилось в нашем сознании Искандер, Абрамов, Можаев, Айтматов, Быков, Распутин, Белов, Трифонов — родилась, выросла (а немалой частью и напечаталась — вот еще одна странность) проза того уровня художественной правды, которая — вновь свидетельствую как «шестидесятник» — и не снилась «времени стихов», времени «исповедальной прозы» и тому подобного... Это проза. А поэзия? Нет, она не дала такого буйного роста, не явила такой морозоустойчивости, однако же не в пятидесятые — шестидесятые стал известен и даже славен Арсений Тарковский. Не в них вырос в большого, если оставить обиняки, поэт Олег Чухонцев, масштаб которого еще далеко не явлен двумя его тощими и искромсанными сборниками.

«Вот загадка моя»... Возможно, прямолинейнейший из холуев поспешит разъяснить, будто годы безвременья плодородны для литературы (холуй лукавый, тот придумает что-нибудь поинтереснее). Допускаю и то, что кто-то вольнолюбиво откажется признать хоть какую-то связь временной глуши и расцвета нашей по крайней мере прозы, указав причину его в живительном первотолчке середины пятидесятых (в чем будет, конечно, прав). Но трагический, если угодно, парадокс существования вышепоименованных писателей в том, что, с одной стороны, болезненно огромен был разрыв меж открытой и обнародованной ими правдой и тем, что вокруг них, как говорится, проводилось в жизнь. А с другой — не в этом ли самом, подчас издевательском, разрыве тайлось (вдумаемся!) их художническое спасение? У них не было — вовсе или почти — надежд непосредственно повлиять своим словом на ситуацию, надолго сложившуюся в государстве, что было бесспорным несчастьем, но трезвейшая безыллюзорность прочищала глаза и давала возможность увидеть творящееся вокруг в связи, в перспективе и в ретроспективе с жизнью людей, человечества, мира, Бога. (Заметим вскользь, что — вновь парадокс, который уже не назвать трагическим! — сегодня явилась надежда реальнейшим образом обращать слово в дело, и вот Распутин говорит, что некогда писать прозу, надо писать статьи, да и в недвусмысленном, как сигнал тревоги, «Пожаре» ему явно не до художества.)

Все это я и к тому, чтоб сказать: не предвижу ни возвращения, ни поворота к «времени стихов» с повышенно эмоциональным, повышенно доверчивым отношением к ним как к чуду или как к бунту, — многое, слишком многое не располагает к тому, включая различие между эффектом свержения с пьедестала Сталина, слывшего богом, и концом того двадцатилетия, в которое, по словам Юрия Черниченко, «четверть миллиарда азартно глядела в телевизоры, переживая не смысл речи, а собьется или осилит до конца...». Согласимся: одно дело — реабилитация тысяч, тысяч и тысяч (так сказать, «рабство, падшее по магию царя») и — стыдные нынешние воспоминания о ежедневной собственной лжи или хоть о ежедневном молчании в присутствии лгущих.

Еще и еще: да, сегодня не время стихов. Сегодня — *время поэтов*. Время не бурного потока, рожденного вдруг и, как всякий поток, неразделимого на струи, а — индивидуальностей. Одиночек, которых всегда мало и которые плохо, неудобно складываются в школы, течения, поколения. Тех, кто всегда и творил поэзию, но не всегда был так отчетливо виден и обособлен.

Время не пылкости, не воспаленного и безоглядного энтузиазма, — нет, самоосознания, неотделимого от самокритицизма, этого свойства лучших. Их-то и объединяющего, кем бы они ни были. «Оппозиция и тормоза, сам механизм торможения сидят в нас самих. Не исключаю и себя» — эти слова сказаны политиком, Генеральным секретарем ЦК, и совсем еще недавно наше горе в том, что даже сегодня они, произнесенные, кажутся неправдоподобными. А представитель иной сферы и профессии, поэт, скажет по-своему, с экспрессией, этой сфере и этой профессии свойственной: «Не готов я к свободе — по своей ли вине?.. Я ведь ждал ее тоже столько долгих годов, ждал до боли, до дрожи, а пришла — не готов». Скажет с тем задыханием откровенности, которая боится оказаться неполной и оттого спешит, с той, я бы сказал, оголтелой правдивостью, которая давно отличает этого поэта, Владимира Корнилова, и которой, оказывается, нам так не хватало все долгие годы его отсутствия в наших журналах, — когда вернулся, это заново и больно осозналось российским задним умом. Скажет, обнаружив бесстрашным своим «не готов» именно готовность, а заодно понимание, что свобода, впрочем, как и правдивость, не самоцельны; что в традиционном для русских поэтов смысле они отнюдь не облегчат твоей жизни, — если, конечно, иметь в виду то, что и следует иметь, «не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю — тайную свободу» (Блок); что с ними обеими, со свободой и правдой, будет еще и труднее, *страшнее...*

«Поэзия молодая, тебя еще нет почти, но славу тебе воздали, не медля, твои вожжи», — начнет Корнилов. Начнет, не ругаясь, даже не снисходя, но понимающе, сострадательно взвешивая тяжесть, что ляжет на плечи тех, кто возрос в «года глухие». Как раз со свободой, с расширением сил, с невиданно возросшей ответственностью и ляжет:

Но нынче поменьше к лире
 Приставлено сторожей,
 И ей одиноко в мире,
 Свободнее и страшней.
 И душу ободрить сиру
 Пред волею и бедой
 Навряд ли сейчас под силу
 Поэзии молодой.

Трудно жить. Трудно писать. Трудно встречаться с непривычной свободой, и даже сладчайшие из ее плодов имеют свою горечь. Гумилев, Ходасевич, Георгий Иванов, ахматовский «Реквием», «По праву памяти» Твардовского,

клюевская «Погорельщина», неизвестный и поразительный Смеляков, неопубликованные Мандельштам, Шаламов, Слуцкий, явившиеся наконец в журналах и решительно повлиявшие на поэтическую ситуацию,— облегчили, что ли, они своим вызывающим соседством долю пишущих нынче? Разумеется, наоборот, и если Самойлов скорбел об уходе гениев — отчасти и потому скорбел, что уход развязал руки: «Нет у их. И все разрешено», — то возвращение их же или других из небытия и запрета одергивает, острожает, стыдит.

Как говорится, завидую внукам и правнукам нашим, которые станут вырастать на «Реквиеме» или Ходасевиче, попавших в хрестоматию или уж во всяком случае ставших «нормальной» классикой; станут усваивать их естественно, скажем, как молоко, а не экзотический пряный напиток, не хмелея, подобно нам, от сознания недавней подпольности или только-только дозволенной новизны. Что делать, у нас, у нынешних, иная судьба, и я лично очень хорошо понимаю тех, кто кулаком стучит, чтоб Набоковых — Булгаковых не печатали в текущей прессе, — ну, хоть в ней, коль не выходит иначе, — и даже Петра Проскурина с его уже знаменитым обвинением журнальных редакторов в кошмарном грехе «некрофильства». (Кошмарней и вправду некуда, ибо некрофилия, некрофильство — это труположество, «половое извращение, заключающееся в совершении сексуальных действий с трупом»; так хладнокровно изъясняет словарь, и, право, благожелательность требует заподозрить скорее осечку эрудиции П. Л. Проскурина, чем действительное желание обвинить *в этом*, скажем, редакцию журнала «Москва» только за то, что она наряду с его собственными романами печатает и «мертвых» Карамзина и Набокова.)

Да, все понятно. Все логично. И то, что, к примеру, Татьяну Глушкову («Литературная газета», № 12 за 1988 год) приводит в ярость применение к Мандельштаму или Цветаевой титула «великий поэт». И то, что Юрий Кузнецов («Книжное обозрение», № 40 за 1987 год) мог, а возможно, и должен был сказать: «...Мне не нравится в Ахматовой ее гигантомания. Вот сейчас много говорят о ее поэме «Реквием». Однако... есть в «Реквиеме» эпизоды, которые надо бы писать только в третьем лице, о матери, но никак не о себе. А так получилось самовлюбленно... Ахматова по женской слабости слишком поверила своим обожателям. И посчитала себя великой поэтессой». Верит ли в это сам Кузнецов? Может быть, но, полагаю, это неважно. Самое главное здесь — даже не дикая невоспитанность нравственного чувства, а *логика выживания*...

«Свободнее и страшней» — да, именно так, чем

свободнее, тем страшней. Для одних — в смысле элементарной угрозы их литературному существованию, для других — осознания новой, высшей ответственности. И для всех, угодно им или негодно,— в смысле перепроверки критериев, неотвратимо разоблачающих вошедшие в обычай приписки, возведенную в норму инфляцию, самообольщение и самодовольство, распространившиеся так бедственно, как только и может быть, когда критериев как бы и вовсе нет. Пока — нет.

* * *

В самом деле...

«Мне повезло: я вовремя родился, встал в общий строй, чтоб заменить отца. И — с пылу, с жару! — веку пригодился. Теперь-то знаю: это до конца. Хоть выстрадать судьбу свою непросто, не стану хныкать: дескать, тяжела... Я счастлив, что душе хватило роста и жизнь — добром и злом — не обошла».

Это один из счастливых, щедрых на самооценку. Вот другой — пусть нас не обманет полное его попадание в ту же ликующую интонацию и в тот же размер пятистопного ямба: «Смуцал немало девушек, которым бессмертие с любовью обещал. Любой из них дарил я щедро город и от даров своих не обнищал... По пятницам я боль чужую слушал, и, осезая боль своей души, я все же врачевал чужие души неспешным словом в суетной тиши».

И, уж для круглого счета, третий: «Я придерживался правил, тех, что выбрал в жизни сам. Я с друзьями не лукавил, не подыгрывал врагам. Не спешил посторониться, видя пошлость, видя гнусь. Я за это расплатиться никогда не убоюсь»... Словом (поддержим размер с интонацией и мы): «До того я стал хороший — сам себя не узнавал».

Вячеслав Кузнецов, Владимир Фирсов, Игорь Ляпин...

Не слабо, как выражаются нынешние молодые. Да и то — с чего, скажите, давать слабину, если критики всегда поддержат в самооценке, если и с лихвою, как молодая-ранняя Ирина Шевелева:

«Пушкин... писал: «Взглянем на трагедию взглядом Шекспира». Велика цена этого взгляда, взгляда Шолохова на революцию. Взгляда Твардовского на бессмертного русского солдата. Взгляда народной поэзии на эпоху Ивана Грозного. Взгляда Есенина на Пугачева... До такого взгляда в лучших своих строках поднялся и современный поэт Владимир Фирсов...» («Молодая гвардия», 1987, № 4).

Конечно, всегда есть возможность утешиться, чи-

тая даже этакое, да и утешаемся,— во-первых, тем, что начинаем верить, а может быть, и уверяться, что система литературных приписок если не канула в небытие, то уж точно обречена. Во-вторых же, даже уродство той ситуации, когда на истинное значение распремированного стихотворца невозможно и намекнуть, оборачиваем как бы подвохом этому неприкосновенному. К примеру: «Единственное, что могла сделать истинная критика,— это замолчать плохую литературу. Гении этой литературы не получили от нее ни одной похвалы. Они не услышали от нее и хулы, но это уже не вина критики, а заслуга тех гениев, которые, имея в руках печатный станок, физически поставили критике заслон... В иных условиях молчание значительней прямого осуждения. Народ безмолвствует, сказано в «Борисе Годунове» у Пушкина, значит, народ не одобряет. Безмолвие критики намекает на то же самое».

Писано (Игорем Золотусским в «Дружбе народов», 1987, № 1) веско, по правде, может, даже чересчур веско, с переходом на грань самоуважительной комической важности. И, повторю, больно уж для критики утешительно — потому что, опасаясь, крепко преувеличен тонкость душевной организации «гениев» и их неврастеническая способность страдать от наших молчаливых намеков. «Молчание значительней... осуждения»? Ах, если бы! Молчание тех, от кого «гении» никак не ждут похвалы, не боль их, а цель, победа, тем паче что есть неотобранное и неотъемлемое право объявить истинной критикой — да хоть Ирину Шевелеву, какая разница? — а неугодных и неугодных зачислить в ряды «фальшивых якобинцев» и «лжедемократов от литературы», нагло укравших «фонарь гласности». Кто помешает? Вдобавок и «Гуттенбергов пресс», отнюдь еще не перестроившийся,— что взять с безгласной машины? — продолжает не только исправно доставлять «гениям» материальные блага, но и заниматься подменой ценностей, делая это самым элементарным, зато и надежным способом: множа издания одних и перекрывая дорогу другим.

Цитирую запечатленный «Литературной газетой» (1987, № 9) разговор корреспондента с издателем. Обращаю внимание: недавний, не из «периода застоя».

Издатель: «Нас критикует пресса, что вот-де зря мы выпустили, например, стихи Е. Антошкина. (Увесистый одностопник.— *Ст. Р.*) Кроме того, называют еще два три имени... Но не более. В целом, я уверен, мы издаем все-таки крупных прозаиков, крупных поэтов...»

Корреспондент: «Многие крупные поэты в последние годы не издавались у вас. Почему?»

Издатель: «Очень многие крупные поэты уже

имеют и однотомники, и двухтомники, и собрания сочинений. Существует же инструкция, по которой переиздавать собрания сочинений и избранное можно только через десять лет».

Корреспондент (и что ему нейдет?): «Кроме избранного, в ваших темпланах есть еще так называемые отдельные издания. В 1983 году вы выпустили, скажем, двухтомник В. Фирсова, а в 1987 году он стоит у вас в отдельных изданиях. Так можно?»

Издатель (если б то была пьеса, хотел бы я угадать, какая тут потребна ремарка): «Можно».

Беседа, конечно, вообще прелюбопытна, но я прошу читателя задержать внимание всего на четырех словах: «очень многие крупные поэты».

Давно бы пора привыкнуть, но все поражаешься, до какой же степени литературная ситуация воспроизводит ситуацию общественную, экономическую, политическую. Там, где недоступна и нежеланна интенсификация, торжествует не что иное, как сокрушительный вал, а необеспечение качеством и нерсальность цен оборачиваются инфляцией. Крупные... Многие... Даже — очень (очень многие и, возможно, очень крупные)... Где, в какой благословенной словесности, в каком из счастливейших ее периодов было возможно такое столпотворение? И ведь никак не спишешь на обмолвку — кой черт обмолвка, если она внушительно материализована (телеснее, чем подпоручик Кижэ) издательской практикой?

Говорим: «дутая репутация»... Подумаешь, приговор! Это бы еще ничего: все-таки — *репутация*, выходит, знают, читают, по крайней мере поминают в критике. Но даже последнее, не говоря о первом, необязательно.

Уже превратили в притчу Евгения Антошкина; чуть не сказал: злосчастливого, хотя что ж это за злосчастье — из самых первых получить однотомник избранного в авторитетнейшем (казалось) издательстве? Как только заговорят о нарушениях издательской справедливости и просто здравого смысла, сейчас поминают его, Антошкина, и, в общем, правильно делают, потому что, допустим, и я, как-никак долгие годы занимавшийся вопросами поэзии, его имя услышал впервые как раз в связи с этой не совсем забавной историей.

Однако любой, даже такой, промах — всего только промах, «молоко», незлонамеренная ошибка, если за ее счет не пострадал никто иной. Если пуля (разовьем нехитрую метафору) летит не в кого-то еще. Издали Антошкина — хорошо... То есть наоборот, скверно, но ладно, издали, и дело с концом. Забудем. Простим этот обморок издательского вкуса. Но прощать сразу расхочется, как только

узнаём, кому было одновременно отказано в издании избранных сочинений. Кому? Знаю, что Олегу Чухонцеву. Знаю, что Дмитрию Сухареву... А это уже отбор. Отсев. Селекция. И, сопоставляя имена, убеждаешься: последовательная.

Вспоминаю, как моя эрудиция несколько лет назад получила еще один укол: я прочел статью об Игоре Ляпине; тон и размах похвал свидетельствовали, что явился стихотворец по меньшей мере значительный. «Кто это?» — профанически полюбопытствовал я и получил удивленно-эпический ответ: «Как кто? Новый главный редактор издательства «Детская литература».

Не сужу, точно ли эти резоны были у восторженного рецензента, возможно, и нет; важнее, что существование этих резонов не вызвало сомнения у моего собеседника, давно знающего что почем. Но это хотя бы понятно, ибо заведено. Буду, однако, благодарен — искренне говорю — тому, кто объяснит мне, откуда взялось представление, ну, скажем, о Феликсе Чуеве как о поэте солидного ранга, утвержденного и подтвержденного какими-то премиями, делегатством на писательском съезде (куда не прошли отбора, к примеру, Самойлов и Окуджава), насколько помнится, и орденом?

Не притворяюсь Кандидом-наивником и в подтверждение напоминаю, что имею представление о законах селекции. Да и у самого Чуева могу с уважением прочитать, что его любят космонавты и хоккеисты. Но что способен, копошась в своих воспоминаниях, сказать о нем я? Тоже — читатель.

Твердо помню, как Чуев приобрел когда-то некоторую известность в роли упрямого воспевателя генералиссимуса — в те еще времена, когда это не вполне поощрялось, ибо было неясно, говоря словами Александра Галича, «то ли гений Он, а то ли нет еще». (Так что отдаю должное, хотя и не преувеличиваю рисковости.) Помню, уже туманней, какую-то историю с акростихом, замаскировавшим под нежную лирику голос сердца: «Сталин — солнце» или «Сталину — слава!». А что еще? Какое стихотворение, какая единая строка запала в мою память? Или я проморгал, прошляпил, профукал поэта? Что ж, самокритически не исключая такой возможности, беру на пробу один из последних журналов, читаю: «Как другие — не знаю — хочу одного! — те, кого полюбил за восход, те, кого уважаю за честь, мастерство, незнакомцы и други — вперед!»

Плохо? Увы, без сомнения. Но это еще полбеды: редкий поэт не убережен от провала. Однако, кажется, это еще и беспомощно? Даже — по-моему — не совсем внят-

но? И — грамотно? Так куда, объясните, вдруг могли улечься непреходящие, первоначальные для стихотворца качества, такие, как владение ремеслом, знание языка?..

Пословичное безрыбье, на котором, как общеизвестно, и существо иной породы способно будто бы обрести рыбные кондиции, притом благородные, может создаваться — и создается — искусственно. Сперва замалчивают, а то даже и не печатают тех, кто одним своим присутствием мешает посредственностям сохранять самоуважение; потом, что естественно для противоестественной ситуации, удовлетворяются уровнем остальных, а там, когда с устранением раздражителей критерии теряют силу, почему бы и не обнаружить среди тысяч стихотворцев «очень много крупных»?

Впрочем, игра на понижение, ведóмая самыми разными и лишь только отчасти административными средствами (премии, вручаемые за чин, издательские предпочтения, обоймы, настойчивые, как реклама кока-колы), соответственно разнообразна, и свести дело к некоему стратегическому умыслу — значит упростить его. Приукрасить действительность. То-то и горе — настоящее, оттого нелегко устранимое горе, — что дух времени (в данном случае дух безвременья), дух инфляции и волевой приписочности материализуется в литературе даже и без прямого вмешательства указующей десницы, косвенно, опосредованно, нарушая и разрушая самую структуру поэзии — мистики тут, к сожалению, нет, всего лишь обычные отношения бытия и сознания.

Происходит процесс удешевления, подмены первого сорта вторым; процесс *эпигонизации* — решусь на такой корявый термин.

Признаюсь, мне долго казался загадочным феномен Петра Вегина, в последние годы занявшего положение едва ли не мэтра; загадочным именно как феномен, как странность, которая ведь должна же иметь какое-то объяснение, — какое же?

Вегин начинал много лет назад как наиоткровеннейший эпигон Вознесенского и сумел донести это свойство до нынешнего дня в полной неприкосновенности. У него недостатки, и те не вполне свои, — когда наталкиваешься на пошлость: «Вначале было Слово» — библейский трюк. Вначале была Музыка, поскольку Слово — звук!» — то и это амикошонство со святынями тоже невольное и, значит, тем более закономерное подражание Вознесенскому, фамильярничавшему с тем, что к фамильярности, казалось бы, не располагает: «Христос, а ты доволен ли судьбою?» Христос: «С гвоздями перебой». И если трогательно боящаяся постареть, молодящаяся

муза Вознесенского, например, восславляя «сборную духа», заполнившую зал Чайковского, непременно и зорко приметит, что синие с белой каймой концертные кресла — это цвета кроссовок и маечек, цвета «Адидаса», то продолжатель омолодится до вовсе ребяческой инфантильности. Даже в стихах, шутка сказать, о Сталине, закружившихся в хорейском, частушечно-плясовом ритме малышовой забавы: «Спору нет. Но чем щедрее понижал он бумагею, тем страшней, страшней, страшней обесценивал людей»... «Злой разбойник Бармалей»...

«Бармалей», не удержавшись, прибавил, конечно, я — и как было удержаться?

Словом, Вегин — это второй Вознесенский; второй, дублированный, усредненный, иногда окарикатуренный, и в этом смысле, я думаю, он оказывает «первому» немаловажную услугу, предостерегая его своим примером от клиширования собственных штампов. Доказывая, как это, в общем, нетрудно. И уж во всяком случае мне, читателю, Вегин многое прояснил в моем критическом отношении к поэтике Вознесенского. Когда удивляются, как это он, обладатель столь элитарной манеры, пишет тексты для Раймонда Паулса не хуже и не лучше Ильи Резника: «Миллион, миллион, миллион алых роз», я могу предложить недоумевающим эксперимент. Мысленно поместите меж Вознесенским «сложным» и Вознесенским от «масскультуры» поэзию Вегина, и вакуум заполнится. Разрыва не будет. Все сгладится и примирится. «Сложность» явит свою до поры скрываемую простоватость, «непонятность» обернется непритязательной понятностью, «элитарность» — общедоступностью, и вот именно в этом, сглаживающем, повтору, усредняющем смысле я и считаю Петра Вегина одной из характернейших и потому важнейших фигур поэтического процесса долгих последних лет.

Это пример эпигонизации мирной, вкрадчивой, не сопровождающей своих захватнических акций воинственными возгласами, а есть и такая, есть агрессивная, вызывающая и оттого особо наглядная. Тем более что Татьяна Глушкова, о которой пойдет речь, на нашу удачу, еще и темпераментный критик, неотступно обличающий именно тех, вернее сказать, ту, чей стилистический облик — как стихотворец — она цепко переняла.

Честь открытия или, скорей, экспертизы принадлежит не мне: «старательной кописткой — ученицей Ахмадулиной и Мориц» назвал Глушкову Сергей Чупринин, и уж первое-то из влияний всеочевидно до броскости. Добавлю, что не только оно. Не скажу насчет Мориц, потому что, признаться, не вижу, не ощущаю, но когда Глушкова в семидесятых годах издала книгу, та, помню,

вызвала в памяти слова Шкловского об одном мемуаристе: у него хорошая библиотека, которую он давно не чистил.

«Библиотека» Глушковой выглядела богато-разнообразной: А. К. Толстой, Блок, Ахматова, Пастернак, Пушкин — да, и Пушкин, притом использованный, я бы сказал, с очаровательной наивностью: «Октябрь уж пробил!» Или: «Там чудеса... Там речка Волхов...» От озадаченности хотелось шутить. Мол, отчего бы в таком случае не написать: «Пишу я чудное творенье», — но незатейливая шутка тут же оказывалась посрамлена, ибо действительность ожидания превосходила: «Ну, здравствуй, липа!.. И все же ты мой век переживешь и даже мой немислимый потомок придет сюда...» Надо ли поднимать с поверхности (не из глубин) памяти: «Здравствуй, племя... Когда перерастешь моих знакомцев... Но пусть мой внук...»?

Еще громче, до назойливости громко голосили в стихах Глушковой современники-сверстники, и если Евтушенко когда-то случилось написать (в свою очередь подражая, притом открыто, Мартынову): «Профессор долго смотрит на деревья. Он очень долго смотрит на деревья», то здесь мы читали: «А на Пскове все женщины стирают. В косынках белых женщины стирают». Или: «И я такое что-то напеваю, без музыки такое напеваю». Если молодой Вознесенский играл в «Мастерах» наивными аллитерациями, которые, повзрослев, вычистил и изъясил: «Перроны, пилоны, как сахар пыльный. Сверкнут оперенно дома из перлона», то Глушкова все это через годы подняла, не давши пропасть: «Оранта, Оранта! — Чтоб вышел оратай... Оранта, Оранта! — Руины и раны отмолит, омоет Мария Оранта!..» И — доходим до главной персоны, избранной для подражания, — если Ахмадулина в одном из лучших своих стихотворений воспевала друзей: «Да будем мы к своим друзьям пристрастны! Да будем думать, что они прекрасны! Терять их страшно, Бог не приведи!» — то заразительная интонация, удерживаемая талантом на самой грани взвинченности и экзальтации, у «старательной копиистки» преступала грань, теряла бескорыстный смысл: «Какую власть таит мой слабый голос! Да будет им воспет любимый мой!» И дальше, дальше: «Целуй мои священные ладони... Вот так открою сумрачные вежды... А я закрою такие глаза...» Самоупоенность на смену самоотдаче и саморазворению.

Все это само по себе горько и веско свидетельствует о том, до какой же степени «поэтическое хозяйство» (повторяя за Ходасевичем) было лишено элементарного критического присмотра, способного заметить и, может быть, пресечь *такие* хищения. Но я-то вспомнил разгон

Глушковой главным образом потому, что ее дальнейший, нынешний путь с замечательной закономерностью доказал, что «вторые» не только компрометируют «первых» (это случай из идиллических), они их, вольно или невольно, стремятся вытеснить. У Глушковой — вольно. Пестрота влияний уходила из ее стихов, пожалуй что и ушла — но ради чего? Самостоятельности? Нет. Затем, чтобы сосредоточиться, не разбрасываясь, на одной-единственной фигуре. Как на модели для копирования и как на объекте для поношения. Разом.

«Бумажные цветочки элоквенции... Культивируемое при энергичной помощи критики тонкое самодовольство, не осознающая себя духовная сытость...» Так в пору, когда Ахмадулина не была еще выбрана на роль главной модели (в 9-м номере «Вопросов литературы» аж за 1976 год), яростно разогреваясь для будущих битв, честила ее Глушкова-критик; с годами обличения становились грубее, круче, равномерно и аккуратно совпадая с возрастанием стилистической зависимости — вплоть уже до «вегинской», почти неотличимой степени подражательности:

Ужели чаша выпита до дна?
Ужели даже смерть его не встречу
гортанною заплаканною речью
о том, что в огороде — бузина?
Ужели я от памяти вольна?
Ужели я от юности свободна,
когда иду тропой твоей болотной,
моя волоколамская страна...

Неотличимость, впрочем, весьма относительна: копия заметно аляповата, стих безнадежно лишен кружевной ахмадулинской полупрозрачности, и ежели тут возникает ощущение пародийности, то осуществленной (скажем так) не тонкой кисточкой Левитанского, а грубоватой кистью Александра Иванова, тем более что уж он-то, ловящий повод для каламбура, не прошел бы мимо бузины в огороде и несколько труднообразимой «заплаканной речи»...

Вторичность, эклектика, эпигонство — вот эстетический аналог безвременья, его застойный стиль, обернутый глазами назад. Что, в общем, понятно. В годы, когда торжествует консерватизм, «первые», по природе своей не склонные вторить, вызывают вполне законное раздражение. Всюду, даже в литературе — хотя почему «даже»? И, невесело думая, вкрадчивость или упорство «вторых» не скоро еще ослабят тиски, жесткие или шелковые, — остается, помимо прочего, благосклонная к ним читательская привычка, остается утрата острого вкуса к «первой свежести», к ней одной.

Не только у публики — у стихотворцев. Не только у тех из них, кто собственной слабосильностью обречен быть «вторым», — нет, и у «первых» или способных быть «первыми», за последние годы все чаще склонявшихся к самоповторениям, к неразборчивости стиховых средств, что отнюдь не пустяк. Консервативность эклектики, хотя бы «всего-навсего» стилистической, есть первый сигнал, подземный гул, предупреждающий: дух обленился, дух разучился или не научился трудиться, тратя силы на преодоление косности — общественной ли, эстетической — все одно, все родственно.

«На днях я подумал, — незадолго до революции записал Блок, — что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или — чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать материал».

Ждать перемен «вокруг» ему оставалось недолго. Дождались и мы.

* * *

Заканчивая публикацию повести Юрия Щербака о Чернобыле, героиней которой была, в частности, журналистка из Припяти Любовь Ковалевская, та самая, что забила тревогу за месяц до аварии, журнал «Юность» напечатал ее, Ковалевской, стихотворение — кстати сказать, совсем, совсем неплохое: «Откуда мы? — Разорвана слеза на «до» и «после» взорванным апрелем». И еще — о себе, о таких, как она, глаза в глаза увидавших чернобыльскую репетицию глобального апокалипсиса: «назначенные случаем в провидцы».

Сказано емко, тем емче, что не определяют ли три эти слова, быть может, вовсе на то не претендовавшие, самую сущность поэтического избранничества? В российском, по крайней мере, понимании. Не случай ли, не каприз — уж там провидения или природы — наделяет поэта особым даром и велит ему, коли он поэт, не просто видеть, но провидеть? Больше того. «Случай», каким стал Чернобыль в судьбе не только Любови Ковалевской, но всякого из нас, — непереносимое и ежедневное условие бытия поэта. Норма, коли на то пошло. Поэт не то чтобы мученически мечтает об экстремальности, он без нее не обходится. Он без нее не поэт. Как бы ни хотелось иной доли.

А «до» и «после»... Разве то, что поэт не воспринимает своей современности вне их, вне истории человека и духа во всей их протяженности, разве и это не постоянное, не нормальное его свойство? Просто бывают эпохи, когда этот естественнейший историзм эгоцентрически восприни-

мается как свежее чудо, как отклик твоей, только твоей, ничьей более, неотложной нужде, как достояние твоего быстротекущего часа.

И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» — его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «Вечность».

Что до Батюшкова, то на него-то двадцатилетний Осип Мандельштам возвел нечаянно напраслину: спеси не было, безумный поэт сам себя вопрошал, сам себе отвечал таким образом, но с точки зрения общепозэтической, общеисторической сказано верно. Это — право любой эпохи. Любая, задавши поэту вопрос: «Который час?» — может не удовлетвориться ссылкой на вечность увлекших его проблем, и Достоевский в знаменитой притче о лиссабонском землетрясении и о поэте, который в миг катастрофы выступил с безразличными к ней стихами о пурпуре розы и отблесках янтаря, защищая свободу поэта, по меньшей мере понимал и разгневанных лиссабонцев. Что ж, использую свое право быть лиссабонцем и я, с сожалением признаваясь, что остался равнодушен к недавним стихам иных из любимых моих поэтов, к стихам мастерским и изящным, однако слишком уж отчужденным от взбудораженной «первой реальности», — зато с жадностью современника, даже, так сказать, *злободневника* ищущего и нащупываю в стихотворениях совершенных, а подчас и не очень, прозаическую, болевую основу. Как, например, в криком от боли кричащих стихах Николая Тряпкина, где пафос Библии слит с обыденной крестьянской бранью, где тоска по запаздывающей правде и ненависть к затянувшейся лжи таковы, что сама «вторая реальность» художества может быть сгоряча отринута как разновидность туманящей голову выдумки и ни в чем не повинная народная утопия подвергнется пересмотру с точки зрения неуступчивой, «некрасивой» истины:

Не искал ты, Никита, муравскую землю,
Никогда ты не думал о ней.
А хотел ты, Никита, спасти свою семью,
Пожалеть своих бедных детей...
Ты пристроился где-нибудь в бедном совхозе
И детей приютил и жену.
И почил ты, Никита, как праведник, в бозе,
Проводив за границу войну...

«Поэзия есть проза», — сказал Пастернак (далее — см. эпиграф). Сегодня, я думаю, эти слова воспринимаются буквально, чем когда-либо, выражая жадное наше желание получать правду из первых рук, ее самое, как она есть, нетрансформированную, непреображенную, как бы

ни было совершенно ее гармонизирующее преобразование... Мы не правы? Быть может, — разберемся, когда вместе с эпохой войдем в берега. А сегодня хочется знать, который — в точности — час. Кто — кто. Что почем. Сегодня в необъятном и неопределимом понятии «поэзия» не стыдно высмотреть и предпочесть определения местного, так сказать, значения: поэзия — проза. Поэзия — правда. Поэзия — история...

В стихотворении Александра Кушнера «Воспоминания» им, воспоминаниям, предается очень старый человек. Припоминает рубежный 1917-й, весну, но вообще-то в памяти пробуждается нечто категорически «аполитичное», пустынно-милое, чем-то значительное для него, нам же сугубо неинтересное, непонятное, к тому ж недосказанное, — однако словно бы незаметно для самого рассказчика мелькают беглые оговорки, замечания в скобках: «Н. Б. была смешливою моей подругой гимназической (в двадцатом она, эсер, погибла), вместе с ней мы, помню, шли весенним Петроградом...» — и далее, по мере возникновения в памяти новых фигур: «повешен в Таганроге... погибла как троцкистка... потом за мной пришел мой старший брат (расстрелянный в тридцать седьмом), светало...»

Краткий, смертный человеческий срок неимоверно раздвинут тем, сколько кровавых общенародных бед вместились в него; раздвинут волей истории и, уж разумеется, не поэта, в чьем праве лишь ощутить жизнь своего собеседника трагическим микрокосмом, — а, скажем, другой поэт, Семен Липкин, избрав в герои уже не рядового своего современника, из самого Иоганна Вольфганга Гёте, напротив, берет и самовольно, сказочно, беспощадно продлевает век немецкого гения. Отнимает законное право не знать, не предвидеть того, чего он, мирно почивший бесчисленные годы назад, не знал и не предвидел: «Дамы внимают советнику Гёте, оптики он объясняет основы, не замечая в тускнеющем свете, что уже камеры смерти готовы...» Не замечая, не видя, как строят Бухенвальд и запускают машину уничтожения.

Хотя — не странно ли? Более чем понятно, зачем будоражит общую нашу память Кушнер, но здесь... Не собирается же автор, в самом-то деле, корить Гёте зверствами его — пусть соплеменников, однако никак не наследников!..

В стихотворении «Ломовая латынь» Липкин перешагнет еще одно «до», уйдет в другую историю: дрожание медных латинских глаголов, расслышанное в Приднестровье, в разговорах молдаван, напомнит, что творцами этого языка были римские каторжники, «блатари»

вечного города, и воображение резко бросит поэта в тогдашнее его сегодня (тогдашнее, присталинское еще — стихи из 1952 года): «Точно так же блатная музЫка, со словесной порвав чистотой, сочиняется вольно и дико в стане варваров за Воркутой. За последнюю ложку баланды, за окурок от чых-то щедрот представителям каторжной банды политический что-то поет». Как у Варлама Шаламова старый частушечник-зэк предстанет Гомером, так здесь воскреснет тень римского спецпоселенца Овидия и прозвучит вопрос, равно содержащий муку незнания и надежду, подсканзанную историей, сохранившей нам Овидия и Гомера:

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?

Да, «что мы знаем, поющие?...». Даже такие, как Гёте? Бухенвальд, это чудовищное и уж никак не предвиденное «после», — личная драма автора «Германа и Доротеи», парадоксально (или нет, совершенно естественно) принявшая в стихах Липкина обличье — как бы — близорукой вины: «*Не замечая* в тускнеющем свете...» Рассуждать на известную тему: что если бы да кабы, — занятие из рискованных, но можем ли *мы* хоть на миг усомниться, что ни в чем не повинный, ни сном ни духом, великий немец, случись ему провидеть в будущем Гитлера, обвинил бы и самого себя? Может, себя — первым делом?

«Мы» подчеркнуто ради необходимой коррекции — стихи-то писаны соотечественником Достоевского и Некрасова.

Главное сейчас — покаяние, сказал академик Лихачев («сейчас» — вот он, прекрасный и правый наш экспансионизм, объявляющий вечные категории морали и искусства злобой своего дня). И сожалеть ли, считать ли странностью, что каются-то как раз лучшие, невиннейшие?

«Несуразная судьба — эмиграция в себя, словно начисто тебя съела фронда. Вроде ты живой и весь, и душой и телом, здесь, а сдается, что исчез с горизонта». Кто это — и о ком? Владимир Корнилов — о себе. Ему бы, по житейской-то логике, спрашивать с кого-то (даже известно с кого), за что пустили было под откос литературную его судьбу, а он молчаливо винится перед встреченным в прачечной неизвестным беднягой: дескать, и надо бы попытаться облегчить его душу мужским сочувствием, но... «Но теперь скребет внутри скорбь изгойства».

Скорбь — опять же, по всем резонам, беспричинная — скребет и Олега Чухонцева, и если в стихах, написанных им лет пятнадцать назад, встретим жалобу: «Как

непосильно...», она тоже не будет сетованием на давление извне, на цензуру или на скаредность издателей.

«Как непосильно быть самим собой. И он, и я — мы, в сущности, в подполье, но ведь нельзя же лепестками внутрь цвести — или плоды носить в бутоне!..» Поразительно: древняя мука всех стихотворцев, вроде тютчевского «Как сердцу высказать себя?», личное, лирическое признание поделены поровну между «мною» и «им», — потому поразительно, что «он» готовый персонаж анекдота, чистильщик сапог из южного города, получивший как перст или насмешку судьбы редкое сходство со Сталиным и маниакально его поддерживающий. Настолько, что, полагает поэт, свершилось уже и психическое перевоплощение, превращение, сращение: «разбить опортунистов из костей и головы бараньей сделать хаши сактировать любимчика купить цицматы и лаваш устроить чистку напротив бани выселить татар из Крыма надоели Дон и Волгу соединить каналом настоять к женитьбе сына чачу на тархуне...» — собственные мысли того, кто выгрался в роль «кремлевского горца», не то что перемежаются Его государственными думами, но почти неотличимы от них, обнаруживая в обывателе амбиции «отца народов», в «отце» — практицизм обывателя.

Странная тяга к перевоплощению (здесь — вдвоенная: чистильщик клиширует Сталина, поэт залезает в шкуру и черепную коробку чистильщика) у Чухонцева, кажется, неотвязна; тем и странна. Был у него тетраптих на манер некрасовского «Что думает старуха, когда ей не спится»: четыре ночных внутренних монолога, четыре «потока сознания» четырех по-разному несчастных людей, бессмысленно соединенных в семью и с головой поглощенных бессмысленным бытом. Была поэма «Однофамилец», где автор, как в подпол или, его словами, «в подполье», погружался в ущербное интеллигентское самосознание героя со всеми его банальными, но оттого не менее мучительными комплексами. И возникало ощущение, нет, ясное понимание *непосильности* существования, обделенного высшим смыслом, «обезбоженного», даже если семья безвестного алкаша или охваченный жаром мания грандиоза чистильщик отнюдь не дорастали, не умели дорасти до этого трагического озарения.

Юрий Олеша как-то заметил, что Константин Левин в «Анне Карениной» весьма странный герой с весьма необъяснимыми поступками; это оттого, предположил он, что Толстой, вручив Левину собственные терзания, свою уникальную чувствительность гения, не подарил выхода, каким обладал сам. Не сделал его писателем.

Персонажи Чухонцева — «не писатели». И за-

владевая их сознанием — а может, отчасти подчиняясь ему, — поэт своей лирической властью делает перевод с косноязычности на язык поэзии, на язык высокого, божественного смысла. Эти люди — «в подполье», в подполье несамоосознанности, душевной тьмы или хоть неразберихи; поэт как бы выводит их души на свет, на волю, деконспирирует, внезапно и закономерно ощущая зависимость от них, ответственность, будь то хотя бы и бедный дурак, ошалевший от сходства с гением всех времен...

Как непосильно жить. Мы двойники
убийц и жертв. Но мы живем. Кого же
в тени платана тень маньяка ждет
и шевелит знакомыми усами?
Не все ль равно, молчи. И ты был с ним?..

Серьезность намерений того духовного периода, в который все мы, не исключая сопротивляющихся, вступили, не то чтобы повышает счет, предъявляемый поэтам (а ими — жизни и, что важнее, себе). Счет никогда и не был иным, он наконец предъявлен, только всего; то, что плохо, плоско и пошло, являлось и выглядело таковым всегда, нынче они лишь названы по имени, заголены, и старательным имитациям драматизма духа трудней сохранять видимость значительности.

Как, допустим, стихам Сергея Смирнова, драматизирующим тот, право, не совсем трагедийный факт, что автор некогда по рассеянности позабыл попозировать художнику Лактионову: «И — раскаянье в день его смерти. И раздумья, все годы подряд... Вижу, как у холста при мольберте укоризненно краски горят...» Или — стихотворению Станислава Куняева, начатому строкой нешуточной, навевающей подлинно трагические, военные воспоминания: «Вызываю огонь на себя...» Правда, тут же выясняется, что огонь, пламя — адские (тоже не шуточки!), и лирический герой стихов сражается с пламенем ада, топчет его в одиночку ногами, тщетно призывая на помощь друзей, о которых он, впрочем, мнения не совсем лестного: «Где друзья? Почему не спешат? Неужели с похмелья лежат?» Нет, не поспешили, бросили, так что пришлось одерживать победу одному:

Я иду — победитель огня,
предвкушаю — дружина моя
от восторга и радости ахнет!
Но шарахнулись вдруг от меня:
— Адским пламенем, — шепчутся, — пахнет!..

Это забавно и потому, что неминуемая ассоциация — Данте, от которого, завидев его смуглое, будто бы опаленное лицо, шарахались жители Флоренции: «Боже, он был в аду!» Но тем более забавны и надежда предста-

вить литературные стычки войною со злом в сатанинско-адском его воплощении, и самочувствие одинокого избранника (Каин? Манфред?), имеющего горькое право всех попрекать в предательстве, от неповоротливых с похмелья друзей до брата и жены: «Когда в груди горит надсада на земляков и на жену... И коль из уст родного брата идет несправедный укор...»

Смешное сегодня — смешней. Отчасти и потому, что умножились, утвердились возможности сопоставления... «Вы все теперь шумите, обличаете, — он вскидывал глазищи на меня, — вы злобе дня прекрасно отвечаете, а жизнь, она пошире злобы дня... Сидел он за баранкой плотно, собранно, и вдруг вопрос поставил на ребро: — Скажи, тебе «Долой!» кричать не совестно, когда на это дадено добро?»

Поразмыслим: можно ль, услышав такое начало, не наострить ухо? Это ведь некий шофер, человек из самой гущи, рабочая кость, собрался напрямую резануть правду-матку уже знакомому нам поэту Игорю Ляпину и, столь многообещающе начавши, сейчас скажет такое... такое... Успокоимся. Ничего такого он не скажет — то ли слов не сыскал, то ли прошел выучку у литераторов, наострившихся всерьез следовать совету, который Александр Сергеевич Пушкин дал шутя маленькому Павлуше Вяземскому: «Душа моя Павел, держись моих правил, люби то-то, то-то, не делай того-то...» Дальше того-то и того-то беседа, увь, не заладится. Сперва свободолюбивый пафос съезжится до размеров благоразумного — и ох, насколько ж распространенного — совета не стричь всех под одну гребенку: «Одной метлой, одним метете веником, налево и направо пыль крутя, не веря ни сантехникам, ни медикам, вы веру убиваете в себя...» А потом и вовсе храбрость, поначалу вроде взбодрившаяся, испуганно обернется самым что ни на есть общим местом, — мол, не на всех ли на нас держится жизнь (да, да, на всех, не надо так волноваться): «Не на шахтерах, пахарях, кондитерах, не на врачах, ученых, черт возьми, не на ткачах, геологах, строителях, не на поэтах, в душу вас язви!» В общем, ничего смелее шоферского сквернословия, да и то дистиллированного, не услышим, а оно, даже куда более красноречивое, кажется, еще никогда не прибавляло убедительности таким пресным банальностям.

Самое замечательное, однако, не это. Другое. Что воробьиной дозы смелости, которая призрачно возникла в начале стихотворения, стихотворцу с лихвой хватило для самоуважения. Да что там! Для упоенности безоглядным своим бесстрашием!

Станислав Ежи Лец грустно иронизировал: «Бед-

ный человек! Говоришь: «После меня потоп» — и дергаешь за цепочку над унитазом». Видение величественного потопа, требующего от пловца решимости и риска, кажется, витает и над Игорем Ляпиным: «Смотрю я, ты своим мне в доску кажешься, и я тебя во всем готов понять. Ну вот скажи мне честно: ты отважишься о разговоре нашем написать?» Он ерзал весь под вытертою робою, он взглядом вынул душу из меня. И я тогда сказал ему: «Попробую». И вот они, стихи на злобу дня».

Мытьем и катаньем, фамильярной лестью и нервным ерзаньем вымогает шофер у поэта гражданскую его безбязденность, и гордо, отчаянно, как «была не была», как «где наша не пропадала», звучит: «Попробую». Попробовал, решил, смог!.. А я вспоминаю, не могу не вспомнить нечто несопоставимое — однако сопоставляющееся, вот в чем дело: «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми глазами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем тогда оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу».

Ахматова, «Реквием», — и ничего нет обличительнее для имитации, чем встреча лицом к лицу с истинным. С истинным искусством, с истинным трагизмом, будь то, страшно выговорить, 37-й год или Чернобыль, а то и чья-то перекореженная судьба (страшно выговорить, а сопоставить не стыдно).

Оказаться и удержаться на этом уровне — какая мучительная задача, тем мучительнее, что уровень этот порою оплачен своей ненафантазированной судьбой — как у Владимира Корнилова, Инны Лиснянской, Бориса Чичибабина; что уж говорить о Шаламове, Штейнберге, Жигулине. И трудность встречи со свободой, даже страх перед ней — это, в наилучшем, конечно, случае, страх не освободиться от привычного страха, от душевной и, в общем, удобной, как все обжитое, косности. То есть в конечном итоге страх не подняться на высоту долга, который обязан быть исполнен поэтом.

Обязан — в любую эпоху. В ту, которая располагает к тому, подталкивает, требует исполнения, это, возможно, как раз труднее — хотя бы и оттого, что тут не найдешь отговорок, убедительно внушающих тебе самому, будто плохое время стало поперек твоему таланту, взыскующему правды. Будто лишь оно и повинно.

Честность признания в страхе («Надоело бояться. Грустно — навыков смелости нет», из стихов Леонида Завальнюка) можно только приветствовать, как всякую честность, — лишь бы страшась индивидуум не удовольлился тем, решив, что, признавшись, покаявшись, он и обрел внутреннюю свободу. Что ни говори, страх — состояние антитворческое («А в комнате опального поэта дежурят страх и Муза в свой черед» — Ахматова, как всегда, прозорлива), и как еще он, старый и новый, скажется, увидим. Именно — увидим (футурум), потому что почти все из лучших стихотворных публикаций последнего времени — извлеченные из ящика стола, иногда даже потайного. Впрочем, что такие стихи были, писались, — и есть самое обнадеживающее.

«Ну а как я понимаю перестройку? Как фальшивый инструмент — перенастройку», — честно признается Римма Казакова и честность признания старается подкрепить и усилить всеобщностью обличения: «Так звучал оркестр, что просто — дрожь по жилам! Но был весь он победительно фальшивым». Бог упаси посягнуть на драгоценное право поэта — превзойти в самоосуждении лютейшего своего критика, но последнему преувеличению можно облегченно возразить: «Не весь!» Будь иначе, поэзии просто не на что было бы надеяться, — разве что до поры, когда явится в мир те, кто «с чистою кровью рожден».

Точно так же как обостренное чувство истории, всех «до» и «после», или непреходящая духовная экстремальность, есть, как было сказано, всего только норма поэтического существования, так понятие, которое сегодня уже приходится оберегать от судьбы всех слов и понятий, поминаемых всуе, а именно «перестройка», или, если угодно, даже «перенастройка», — это то, без чего поэт, оставаясь поэтом, и не обходится никогда. «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой» — да эти пастернаковские слова, которым случалось выслушивать обвинения в герметизме и аполитичности, нынче преотлично сгодятся на роль эпиграфа к статье о том, как необходимо и как трудно устранить наш собственный, внутренний «механизм торможения». Поэт созидает себя, свою личность — вечно и безостановочно — как раз затем, чтобы не превратиться в фальшивую дудку, которую уже не перенастроить: исфальшивилась. Не лгать и не поддаваться страху — это его техника безопасности, его общественная забота, его элементарная обязанность.

Забота и обязанность, какими не пристало хвалиться, как не хвалятся добросовестно-аккуратным, не больше того, исполнением ежедневной работы, которая в области духа в том отчасти и состоит, чтобы, согласно

защитированным словам, выдавливать из себя по капле раба. Применить к себе это выражение можно, пожалуй, не боясь чересчур возвысить себя аналогией с Чеховым, — но кто посмеет сказать вслед за ним: «...проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая»? Ведь и сам Чехов в письме к Суворину не решился сказать это о себе прямо, сославшись на некоего «молодого человека»: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек...»...

Тут, как поется, «наш путь и далек и долог», — да и должен быть долог, что поделаешь, не имея возможности взять и начаться вдруг, сию минуту, в понедельник с утра. Обретению того, что Пушкин, а за ним и Блок назвали «тайной свободой», конечно, весьма способствует набирающая силу гласность, но прямой зависимости тут еще нет, и тот, кто в безвременье и застое не только не участвовал в фальшивой игре, но раздражал оркестрантов собою, уличал их фальшь — всего лишь тем, что упрямо брал свою верную ноту, не умея иначе, тот выслужил не медаль за храбрость, а стаж свободы. Опыт ее. То, что всегда, в любую эпоху, неблагоприятную и благоприятную для творчества, добывается только собственными усилиями.

Больше того.

«Если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем зажиточными, но да минует нас опустошающее человека богатство. «Не отрывайтесь от масс», — говорит в таких случаях партия. Я ничем не завоевал права пользоваться ее выражениями. «Не жертвуйте лицом ради положения», — скажу я совершенно в том же, как она, смысле. При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой и дельной и плодотворной любви к родине и нынешним ее величайшим людям».

Это из выступления Пастернака на Первом съезде писателей... Господи! Как угадчива и как беспомощна чистота!

Сегодня, кажется, кое-что можно повторить за поэтом, не очень даже боясь прослыть утопистом. А именно: в годы, когда обещает обернуться возможным то, о чем вчера едва мечталось, слишком велика опасность поверить, будто стать свободным легко, и тем самым оказаться иждивенцем перестройки. Поменьше одного только упования на разрешенность, идущую сверху, побольше понимания, что тяжесть душевной работы не перевалить ни на чьи плечи, — все это ради того, чтобы быть действительным участником освобождения духа. «Во имя большой и дельной и плодотворной любви к родине...»

«Писатель — это следовательно...»

Когда застойную общественную атмосферу всколыхнули в нашей жизни потоки свежего воздуха, глянцева́я поверхность многих привычных понятий вдруг потускнела, покрылась рябью смысловых многоточий, вопросительных знаков... Призывы и лозунги оказались ненадежным оружием в условиях прямого столкновения с реальностью: этого «оппонента» не переспоришь, не перекричишь, не загнипнотизируешь ритуальными заклинаниями.

98

И вот оно пришло — время утоления жажды. Высокой волной поднялось общее стремление знать, узнавать: новое о старом, неизвестное об известном. Мы знаем теперь, что писатели резко вышли здесь вперед, опережая историков. Подтвердилась старая истина: художественный способ постижения реальности бывает куда более действенным и результативным, нежели громоздкий научно-исторический инструментарий. У литературы свой особый и всегда открытый «архив» — живая память народа, воплощенная в миллионах конкретных человеческих судеб.

Это целая вселенная, в освоении которой у литературы нет и не может быть конкурентов.

Чтобы забить тревогу по поводу опасного неблагополучия в обществе, можно привести множество убедительных фактов и впечатляющих цифр, рассказать поражающие воображение «случаи из жизни», как это делают изо дня в день газеты, журналы, телевидение. А можно создать литературно-художественную метафору, как сделал это Валентин Распутин своей повестью «Пожар», и буквально всколыхнуть общественную атмосферу, вызвать мощный всплеск эмоций и размышлений у миллионов людей, больно задетых правдивым и страшным подтекстом художественного образа.

Новая, сегодняшняя литература помогает менять угол зрения на общественную историю, переводит читательское внимание с общеполитических и социально-экономических проблем и процессов на проблемы и процессы социально-нравственные, социально-психологические. Такое смещение ракурса позволяет вести эффективный поиск истин даже там, где, казалось бы, все истины давно уже найдены. Это относится прежде всего к тем периодам жизни народа, которые были основательно затенены искажениями и умолчаниями официальной историографии. В числе таких периодов — конец двадцатых и начало тридцатых годов, время «великого перелома» в жизненном укладе миллионов крестьян, составлявших в те годы подавляющее большинство нашего общества.

Сегодня мы заново переосмыслием все, что нес в деревню «великий перелом», переосмыслием самый подход к целям и задачам коллективизации. «Трактовка кооперирования крестьянских хозяйств не как самостоятельной цели социалистического переустройства общества... а как средства разрешения других проблем была принципиальным нарушением ленинского кооперативного плана и повлекла за собой все другие искажения... Чуждый социализму взгляд на колхозы как на источник материальных и человеческих ресурсов для общества, государства укоренился надолго...»¹ Наконец-то пришло время пересмотреть ложную трактовку коллективизации, распространить (и навсегда!) с чуждыми социализму взглядами.

О коллективизации деревни написано много книг, и самой значительной, хрестоматийной считается шолоховская «Поднятая целина». Нам казалось: Шолохов высказался исчерпывающе и, как говорится, «закрыл»

¹ Данилов В. Октябрь и аграрная политика партии. — «Коммунист», 1987, № 16. С. 36.

тему коллективизации. Но сегодня она вновь притягивает к себе внимание художников, живущих болями и заботами своего народа. Не случайно почти одновременно появилось несколько крупных произведений, авторы которых обращаются к уже известным событиям, коллизиям и конфликтам. Это похоже на то, как после завершения следствия и судебного разбирательства назначается новый судья, который отменяет объявленный приговор и возвращает дело на доследование. Такая аналогия вполне правомерна, особенно если иметь в виду, что время — самый справедливый судья, отменивший множество приговоров. А что касается литературы, то ее роль в этом смысле удачно определил Леонид Леонов. Он сказал: «Писатель — это следователь по особо важным делам человечества».

Прежде чем обратиться к произведениям последних лет, стоит вернуться немного назад, в те времена, когда литература впервые подвергла сомнению официальную версию «великого перелома».

В самом начале шестидесятых годов «дело о коллективизации» было взято на «доследование» Сергеем Залыгиным в его повести «На Иртыше», появившейся на волне общественного обновления и очищения, поднятой XX съездом партии. В этой повести Залыгин изобразил весьма необычную фигуру крестьянина-середняка. «Крепкий мужик» Степан Чаузов представлен автором не в торжественном ореоле новоиспеченного социалистического человека, а в образе человека несчастного, несправедливо побитого жизнью и обездоленного — в самом прямом смысле этого слова: у Степана силой отняли его мужицкую долю и выгнали из родного села «за болото».

Сергей Залыгин серьезно нарушил установившиеся правила. Традиционный образ «подкулачника» вызывает симпатию и сострадание, представитель районных властей явлен в образе самодура и горлохвата, а Ударцев Александр, подпаливший колхозное семенное зерно в отместку за изъятие у него хлебных «излишков», почему-то никак не помещается в рамках «классового врага». Все смешалось в этом нервном сюжете. Поступки людей нелогичны, виноватые выглядят правыми, правые виноватыми, всюду царит дух недоумения и досады... Читатель догадывается, что в жизни тоже все было вовсе не так ясно и определено, как это представлено в классических литературных сюжетах, так или иначе ориентированных на «указания и рекомендации» «Краткого курса истории ВКП(б)».

Как удобна логика лозунгов! «Ликвидировать кулака как класс, поставить на ноги бедняка, взять в союзники середняка!» Такой середняк представлен, например, в шолоховской «Поднятой целине» в образе Кондрата Майданникова. Автор «Поднятой целины» изобразил социальный тип, которому суждено было очень долго существовать в качестве идейно-художественного эталона, наиболее точно соответствующего официальному взгляду на динамику и проблематику коллективизации. Конечно, спорить с эталоном непросто. (Сергей Залыгин вспоминает, что подготовленная к печати рукопись его повести восемь месяцев лежала в редакции «Нового мира» и пробила в свет лишь благодаря настойчивости и авторитету А. Т. Твардовского.) В чем же выразился новый взгляд Залыгина на судьбу и позицию середняка в условиях «великого перелома»?

Залыгинский Степан Чаузов, в отличие от уже сложившегося в читательском восприятии «сознательного» середняка, воспринимает происходящее в его родном селе гораздо острее, драматичнее. Не уживается, никак не мирится в душе Степана Чаузова чувство сердечной привязанности к окружающей природе и собственному хозяйству с тем, что властно и грубо навязывают организаторы новых деревенских порядков. Когда один из таких организаторов, Митя-уполномоченный, пытается втолковать крестьянину, словно неразумному школяру, действительно непростой для мужицкого понимания колхозный «урок», Степан возражает: «Мужик сеет-пашет, скотину водит. Ребятишек родит. Но по тебе, Митя, это все не так. Не та у мужика жизнь — темная, земляная. И хочешь ты мужика нарушить. Раз и навсегда нарушить хочешь его. А — не рано ли? Откудова ты знаешь, что пора для того настала?.. Точно это тебе известно? Что мужика надо нарушить, а колхоз сладить? Дело тут без обмана? Без ошибки?»

О чем тревожится «крепкий мужик» Чаузов? Просто боится за двор, дом, семью? Просто жадничает, не хочет расстаться с зажитком единоличного своего гнезда? Нет, не о том болит душа у Степана. С упрямством природного пахаря втолковывает он Мите-уполномоченному свою крестьянскую философию: «...Поимей в виду, мужик — он земле хозяин... Ей все одно, земле, какие тут слова, Митя, мы с тобой говорим. Ей дай хозяина, чтобы он пахал и миловал... Вот она, лежит сию минуту под снегом, вроде мертвая. Скоро таять начнет. Отчего это? Ты скажешь: от солнца... А я скажу еще и другое: от дум от мужицких, от забот его».

Речь идет о самом важном, о главном. Кто ну-

жен Советской власти в советской деревне — хозяин или работник? Вроде бы и тот и другой, один в двух лицах. Это бы хорошо, но тогда нужен такой порядок, при котором сельские жители будут не только делать свое дело и отвечать перед властью за его результаты, не только отдаваться радостному энтузиазму в коллективном труде и чувствовать глубокое удовлетворение от честного исполнения своего общественного долга, короче говоря — не только работать, но еще и хозяйствовать.

Сейчас много пишут и говорят о великих бедах, постигших нашу деревню. Об отчуждении сельских жителей от земли, об утрате хлеборобских традиций, о том, что земля без рачительного хозяина-мужика оскудела и осиротела, потому что и сам по себе социальный тип мужика — народного кормильца и гордого, счастливого хозяина плодящей земли — как-то незаметно потускнел, черты его стали нечеткими, блеклыми, как на пожелтевшей дедовской фотокарточке. А если объявится вдруг настоящий, законный хозяин и потребует вернуть себе утраченное право на самостоятельное, рачительное, радостное хозяйствование, то смотрят на него уже как на диковину и отворачиваются, отмахиваются, как от Николая Сивкова, знаменитого ныне «архангельского мужика»...

На вопросы, впервые со всей прямотой и тревогой поставленные Сергеем Залыгиным, захотелось ответить многим писателям. Открыть читателю глаза на современную сельскую жизнь, на незавидную участь нынешних потомственных хлеборобов. Душевные страдания Ивана Африкановича, героя повести В. Белова «Привычное дело», мучительные сомнения абрамовского Михаила Пряслина, метания неприкаянных шукшинских «чудиков», разрывающихся между деревней и городом («одна нога в лодке, другая на берегу»), гневные обвинения распутинской старухи Дарьи, брошенные в лицо бездумным погубителям Матёры, и еще десятки, сотни сюжетов ложились, словно щедрая литературная дань правде... Это было похоже на дружную артельную работу писателей по созданию подробной и яркой, горько-правдивой картины сложившихся, сегодняшних обстоятельств. Но по-прежнему было не очень понятно, как все это сложилось. И, главное, почему сложилось так, а не иначе.

«Деревенская проза», пристально вглядываясь в далекое и близкое прошлое, возвращается во времена изначальные — конец двадцатых и начало тридцатых. Это не просто повторение пройденного, потому что теперь уже наметились новые подходы к старой теме. Подходы, обеспеченные новым знанием, а главное — новой возмож-

ностью оперировать этим знанием: говорить обо всем без экивоков и умолчаний, идти до конца и в анализе, и в обобщениях... Но был во всем этом промежуточный, переходный этап, когда новое знание уже накоплено и подготовлено для художественного анализа, но еще не наступил тот момент, когда количество переходит в качество, — и возникает напряжение в предчувствии перехода...

Одним из таких — промежуточных, переходных — произведений представляется мне роман Ивана Акулова «Касьян остудный».

Словно заручившись поддержкой Сергея Залыгина, осмелившегося «подать руку» раскулаченному, Иван Акулов действует еще смелее: «подает руку» самому настоящему кулаку. Но читательская готовность к традиционно неприязненному восприятию узнаваемого типажа вдруг наталкивается на такие подробности, которые напрочь выбивают из наезженной колеи. У Федота Федотыча Кадушкина, читаем в «Касьяне остудном», «было твердое отношение к людям: он делил их на трудолюбивых, значит, умных, и на лентяев, которых считал глупыми и не то что ненавидел их, а был равнодушен к их бедам... Всякое дело в его хозяйстве было всесторонне обдумано, взвешено, измерено, и к утру он знал, с чего начнет день, и поднимался с постели полный намерений, планов, энергичный, деятельный, и все вокруг него оживало, приходило в движение».

При всей несомненной тенденциозности, отношение Ивана Акулова к Федоту Кадушкину, типичному по нашим традиционным понятиям кулаку, по меньшей мере свободно от болезненного влечения к идеологическим ярлыкам, а главное — весьма близко сходится с новым, сегодняшним взглядом на хозяйскую предприимчивость, которая уже не считается чем-то зазорным.

Учитывая закон сюжетных контрастов, легко догадаться, как выглядят в «Касьяне остудном» представители сельской бедноты, поставленные в оппозицию такому кулаку. Вот Егор Бедулев, бывший батрак, поднявшийся вверх, — но не собственным стремлением и старанием, а в силу политических обстоятельств: Егор назначен председателем колхоза — как ярко выраженный представитель неимущих слоев. Автор не жалеет сатирических красок, описывая похождения этого мелководного деревенского обывателя в роли «руководителя». Егор буквально охмелел от власти над людьми и с ярым азартом насаждает «новую жизнь», более всего соблюдая собственный шкурный интерес.

Основные сюжетные линии «Касьяна остудного» совершенно отчетливо движутся к точке взаимного пере-

сечения — туда, где должен произойти взрыв главного конфликта. Но как только события в романе достигают своей кульминации и уже неминуема схватка идей, интересов, стремлений, — именно в этот момент и разваливается это интересное, необычное литературное сооружение. Словно какой-то неведомый («внутренний»?) цензор строго сказал автору: «Не то, не так пишешь! Нарушаешь все правила!» — и он тут же «одумался», спешно развернул сюжет и направил его в хорошо заметную, давно проторенную колею.

Недолго думая автор заставляет Федота Федотыча броситься вниз головой в обледенелый колодец и с явным облегчением завершает «линию кулака». А чтобы «снять» читательское недоумение, выписывает персонажу предсмертную характеристику — совершенно не похожую на прежнюю: «Федот Федотыч Кадушкин много лет жил слепым и оглохшим... И вот подшибла его жизнь...» Ощущаешь, что художническая логика в движении сюжетной линии здесь явно нарушена. Но нельзя забывать: роман Акулова опубликован в 1981 году, незадолго до окончания того довольно длительного периода, когда, по удачному выражению Д. А. Волкогонова, «процесс общественного обновления вошел в полосу некоего моратория».

И все-таки, как бы там ни было, автор «Касьяна остудного» совершил заметный — пусть нерешительный и незавершенный — шаг в том направлении, которое отчетливо обозначилось залыгинской повестью «На Иртыше». Образно говоря, Сергей Залыгин вспахал и засеял ту почву, из которой вырос не только роман Ивана Акулова, но и некоторые другие значительные произведения наших прозаиков, появившиеся совсем недавно.

Третья часть романа Василия Белова «Кануны» («Новый мир», 1987, № 8) и вторая книга «Мужиков и баб» Бориса Можая («Дон», 1987, № 1, 2) почти одновременно увидели свет и в отзывах критики составили прочную пару. Можая и Белов не только отобразили сходные события, характерные для периода коллективизации, но сошлись и в отношении к этим событиям, и в принципах литературно-художественной их интерпретации.

Прежде всего Можая и Белов доводят до логического завершения то сюжетное противостояние, которое так неожиданно «растворилось в воздухе» в «Касьяне остудном», — противостояние между «крепкими», «хлебными» мужиками (изображенными с подчеркнутой уважительностью) и активистами-коллективизаторами. Сре-

ди этих активистов — не только бездумные функционеры районного и областного масштаба, но и те представители деревенских низов, которые силою обстоятельств вознеслись на самую верхушку местной власти — в председатели колхозов, в актив сельсоветов, комбедов. Белов и Можаяев создают их сатирические карикатуры. В «Мужиках и бабах» это Ашихмин и Возвышаев, Кадыков и Чубуков, Ротастенький и Кирюшкин, в «Канунах» — Игнаха Сопронов и Митька Усов, Колюшка Микуленок и Селька Соплюн, но особенно выразительны Митька Куземкин, старательно вырабатывающий «председательскую» походку, и уполномоченный Каллистрат Смирнов, который, наигрывая на гармошке и пускаясь в залихватский пляс, шутя устанавливает абсолютный рекорд коллективизации: за два дня сколотил и оформил шесть штук колхозов!

Таким образом, в самых последних по времени литературных произведениях о периоде коллективизации (к ним надо добавить и не так давно опубликованную в журнале «Дружба народов» (1988, № 1, 2), повесть Сергея Антонова «Овраги», сюжет которой во многом «рифмуется» с романами Акулова, Можаяева и Белова — вплоть до того, что «хорошего кулака» здесь тоже зовут Федот. Федотыч, как и акуловского Кадушкина) обозначился новый, далекий от установившегося литературного стандарта облик главных участников этого сложного и драматичного социально-исторического процесса.

Искусство отражает жизнь. Конечно, разумеется, несомненно. Однако теперь уже ни для кого не секрет, что в нашей истории бывали очень строгие времена, когда писатели, наравне со всеми гражданами нашей страны, «знали свое место» и хорошо понимали, какую реальность им дозволено отражать и какую запрещено. «Самовольное» отражение «запрещенных» явлений и фактов реальности решительно пресекалось, и «недисциплинированный» автор, естественно, не мог рассчитывать на внимание к своим произведениям широких читательских масс. Тем не менее произведения-нарушители появлялись и существовали, а сегодня наконец дождалась и читателя. Например, повести Андрея Платонова «Ювенильное море», «Котлован», «Впрок», его роман «Чевенгур», рассказ «Усомнившийся Макар»... Так что если у кого-то возникает вопрос по поводу достоверности некоторых сатирических типов, ему следует взять в руки недавно напечатанную повесть А. Платонова «Впрок» и прочесть, скажем, историю некоего Павла Егоровича, или попросту Пашки, представителя неимущих слоев советской деревни, который очень правильно уразумел главную выгоду своего

положения в новом обществе, где «наступила революция». «...Он уже заметил, будучи отсталым хищником, что для значения в Советском государстве надо стать худшим на вид человеком». А когда его, бродягу и трутня, привлекли к суду, «рабочий судья выслушал Пашку и сказал ему:

— Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотой мы справимся, но куда нам девать дураков?»

Автор этой повести, написанной в 1929—1930 годах буквально с натуры, вряд ли надеялся на то, что подобное отражение реальной действительности будут приветствовать вожди и функционеры «великого перелома». И, конечно, получил полный набор трескучих политических обвинений и убийственных ярлыков: «литературный подкулачник», «анархистствующий обыватель», «контрреволюционная повесть», «неприкрытая карикатура на колхозное движение», «издевка над советской действительностью», «клевета классового врага» и т. д. и т. п. Журнал «Красная новь», где была напечатана повесть «Впрок», поспешно отмежевался от «проштрафившегося» автора. «Кулацкие агенты стремятся использовать и художественную литературу. Одним из кулацких агентов является писатель Андрей Платонов, уже несколько лет разгуливающий по страницам советских журналов... И поэтому нас, коммунистов, работающих в «Красной нови», прозевавших конкретную вылазку агента классового врага, следовало бы примерно наказать, чтобы наука пошла впрок», — писал член редколлегии журнала А. Фадеев, а редакция дружно присоединилась к этому самобичеванию.

Драматическая судьба сочинений Андрея Платонова — пример того, как совершалось манипулирование общественным сознанием с помощью планомерного и целенаправленного изъятия из общего идейного обихода «нежелательной» информации.

Но был и другой способ «переплавки мозгов», когда сработке подвергалось не массовое, а индивидуальное, личностное сознание. Сознание художника.

Теперь выясняется, какому жесткому давлению подвергался в начале 30-х годов Михаил Шолохов. Не здесь ли кроется основная причина творческих затруднений, омрачивших последние десятилетия жизни выдающегося художника? Не странно ли: совсем еще молодой писатель создал гениальный роман «Тихий Дон», а потом, будучи в полном расцвете таланта, многие годы писал,

но так и не смог дописать книгу «Они сражались за Родину». Может, все дело в том, что между этими произведениями оказалась «Поднятая целина», работа над которой причинила непоправимый вред живому таланту писателя?

Сведения, подтверждающие правомерность такой гипотезы, постепенно просачиваются на страницы печати. Юрий Черниченко, например, сказал так: «Надо было сделать нищей деревенскую бабу, довести колхозы до полного беспорядка, чтобы появились «Районные будни» — протест против мордования народа... А почему было не закричать публицистам, литературе в 29-м, когда уродовался ленинский кооперативный план? Как закричал в письмах Шолохов. Но то — в письмах, а в печати появилась «Поднятая целина»¹. Речь идет о каком-то драматическом разрыве между тем, что *думал* и что *писал* Шолохов о процессах в деревне периода коллективизации. В чем тут дело, что за «сшибка» имеется в виду? Ответ на этот вопрос проясняется после недавней публикации в «Новом мире» письма критика С. Н. Семанова².

Основываясь на реальных фактах, ставших известными сравнительно недавно, автор письма убедительно доказывает, что Сталин лично — и очень строго — следил за тем, чтобы роман «Тихий Дон» был выдержан в точном соответствии с его, Сталина, пониманием задач литературы в борьбе с врагами Советской власти. Именно из-за «несоответствия» была задержана — почти на три года! — публикация третьей книги «Тихого Дона». В июне 1931 года Сталин говорил Шолохову в личной беседе: «...А вот некоторым кажется, что третий том «Тихого Дона» доставит много удовольствия белой эмиграции». Сталин требовал «ужесточить» образ белого генерала Корнилова, внести другие существенные изменения в текст рукописи. Шолохов отказывался, упорно настаивал на своем, и в результате этой борьбы между вождем и художником был, по мнению С. Н. Семанова, достигнут деловой компромисс: Шолохов согласился написать очень нужный вождю роман-эпопею о торжестве политики коллективизации, а Сталин в ответ на это сказал: «Третью книгу «Тихого Дона» печатать будем!»

Логика С. Н. Семанова представляется вполне убедительной. Он пишет: «Сталин был прежде всего политиком, и политиком крупным... В его ближних и дальних политических целях несомненно была необходима книга

¹ «Литературное обозрение», 1987, № 12. С. 8.

² См.: Семанов С. Н. О некоторых обстоятельствах публикации «Тихого Дона». — «Новый мир», 1988, № 9. С. 265—269.

о коллективизации, и с сугубо положительной оценкой, причем не на уровне какого-нибудь официального холуя-прихлебателя, а в высокохудожественном исполнении писателя, чей талант и честность очевидны и несомненны... А политика предусматривает соглашения, связанные со взаимными уступками ради общей пользы...» И еще один характернейший факт: третья книга «Тихого Дона» и первая книга «Поднятой целины» публиковались в «Октябре» и «Новом мире» практически одновременно!

Что ж, мы можем быть благодарны Шолохову за то, что он в тяжелой для него ситуации сумел-таки «пробить» для советских читателей (и для читателей всего мира) не испорченный сталинской цензурой вариант «Тихого Дона». Но только теперь можем представить себе, какой ценой добился этого Шолохов. Вот еще одно подтверждение старой истины: компромиссы с правителем бывают губительны для художника, даже если это гениальный художник.

Выбор Сталина был точен: если за дело берется мастер такой созидательной силы, как Шолохов, успех гарантирован. Даже теперь, когда становятся очевидными конъюнктурные мотивы «Поднятой целины», книга остается (и останется!) жить благодаря населяющим ее страницы живым человеческим образам. Однако теперь, в свете новых фактов и версий, с возрастающей ясностью видно, как в романе по ходу действия развивается не только сюжетный, но и собственно творческий — внутриавторский — конфликт: Шолохов-художник борется с Шолоховым-гражданином (а точнее, с «дисциплинированным» в представлении тех лет членом партии, получившим ответственное задание). Борьба эта была неравной, потому что художник творил, как ему и положено, в одиночку, а гражданин бывал и обласкан за верную службу и, надо думать, получал ценные указания по части прояснения идей и «усиления» образов. В ходе этой борьбы на палитре художника заметно прибавлялось плакатных красок.

Пожалуй, лучше всего это подтверждается в «Поднятой целине» образом Островнова, его судьбой. Каким он является перед читателем в самом начале романа? Андрей Разметнов, сетуя по поводу разорившегося ТОЗа, заявляет решительно: «Им бы в председатели Якова Лукича Островнова. Вон — голова! Пшеницу новую из Краснодара выписывал мелопусной породы — в любой сухой выстаивает, снег постоянно задерживает на пашнях, урожай у него всегда лучше. Скотину развел породную. Хоть он трошки и кряхтит, как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный лист имеет». Сам Островнов говорит о себе так: «Жил я — сам возля земли кор-

мился и других возля себя кормил...» И как бы круто ни поворачивалась в дальнейшем судьба Островнова, в читательской памяти остается уважительное отношение автора к умелому и рачительному хозяину-земледельцу.

В известном смысле Островнов — фигура центральная: именно в этой точке наиболее явственно и болезненно пересеклись линии жизни старого и нового мира. Основными своими чертами персонаж воплощает совершенно реальную и, в общем, естественную ситуацию, когда крестьянская масса мучительно колебалась в обстоятельствах трудного выбора, опасаясь утратить больше, чем обрести.

Сколько драматизма и жизненной правды несет в себе образ Якова Лукича Островнова! — но... лишь до конца первой книги. Здесь, на самых последних ее страницах, он радуется бодрому виду созревающих под солнцем хлебов — и тоскует, уговаривает сам себя: «...Вся природность стоит за Советскую власть... Ну и слава богу, что все оно так пришло в порядок и чистоту... Зараз не пришлось расстаться с Советской властью — может, ишо понадежней дело зачнется!»

Но начинается книга вторая, и тут Яков Лукич предстает в облике злодея почти библейского: он убивает родную мать... Невозможно отделаться от ощущения, что в «перерыве» между двумя книгами автор получил соответствующие наставления, в соответствии с которыми принялся добросовестно «усиливать» образы, «прояснять» и «выпрямлять» сюжетные сложности...

Но упрям, несговорчив Шолохов-художник. То, о чем он кричал в письмах, проступает между строк в мимикрированных, эзоповских формах. Вот едет Давыдов в бригаду на полевой стан, лошади еле тащатся, и он упрекает конюха Ивана Аржанова за «позорные темпы». А лукавый мужик выдает председателю настоящую лекцию по политграмоте — и про эти самые темпы, и кому какие вожжи в руки даны, и если случится пожар (здесь очень кстати вспоминается «Пожар» Валентина Распутина), кому и как тушить его.

А каков дед Шукарь, устами которого автор саркастически комментирует идею раскулачивания в условиях обостряющейся классовой борьбы? В этом монологе Шолохов достойно следует шекспировской традиции: шут произносит затаенную, запретную правду.

«Вот ты растолкуй мне один вопрос, товарищ Давыдов: почему это всякая предбывшая кулацкая животина, вся как есть, — характером в своих хозяев?.. Возьми ты любого кулацкого кобеля: почему он на одну бедноту кидается, какая в рванье ходит? Ну, хотя бы, скажем, на

меня? Вопрос сурьезный. Я спросил насчет этого у Макара, а он говорит: «Это — классовая борьба». А что такое классовая борьба — не объяснил, засмеялся и пошел по своим делам. Да на черта же она мне нужна, эта классовая борьба, ежели по хутору ходишь и на каждого кобеля с опаской оглядываешься? На лбу же у него не пропечатано: честный он кобель или раскулаченной сословности? А ежели он, кулацкий кобель, мой классовый враг, как объясняет Макар, то что я должен делать? Раскулачивать его! А как ты, к примеру, будешь его раскулачивать, то есть с живого с него шубу сымать? Никак невозможно! Он с тебя скорее шкуру за милую душу спустит. Значит, вопрос ясный: сначала этого классового врага надо на шворку, а потом уж и шубу с него драть. Я предложил надясь Макару такое предложение, а он говорит: «Этак ты, глупый старик, половину собак в хуторе переведешь». Только кто из нас с ним глупой — это неизвестно, это ишо вопрос. По-моему, Макар трошки с глупинкой, а не я... Заготсырье принимает на выделку собачьи шкуры? Принимает! А по всей державе сколько раскулаченных кобелей мотается без хозяев и всякого присмотра? Мильены! Так ежели с них со всех шкуры спустить, потом кожи выделать, а из шерсти навязать чулков, что получится? А получится, что пол-России будет ходить в хромовых сапогах, а кто наденет чулки из собачьей шерсти — на веки веков вылечится от ревматизмы...»

Остается вздохнуть и задуматься, догадываясь о том, какую «Поднятую целину» мог бы написать Михаил Шолохов, если бы оказался вправе распоряжаться своим дарованием по собственной природе и совести. Впрочем, и того, что он умудрился, исхитрился сказать в своей книге, достаточно для того, чтобы не потерять уважение к писателю. Теперь-то мы понимаем: он сделал все, что мог, не впал в рабство и сам защитил свою профессиональную честь. Догадавшись об этом, поняв и простив художнику его вынужденный и мучительный компромисс, признавая этот компромисс неизбежным, а поведение художника мужественным, странно слышать, как звучат с очень высоких трибун широковещательные заявления в том смысле, что Шолохов, мол, беззащитен, что надо срочно спасать его репутацию от нападков С. Н. Семанова и других «злоумышленников», осмеливающихся усомниться в гениальности «Поднятой целины». Именно с таким заявлением выступил не так давно на сессии Верховного Совета РСФСР писатель и депутат Анатолий Калинин¹.

Свои обвинения Калинин пытается обосновать

¹ См.: «Советская Россия», 1988, 12 ноября.

с помощью аргументов поистине странных. Решительно отвергая саму мысль о возможности сделки между Шолоховым и Сталиным (дескать, вот уже до чего договорились недоброжелатели), он тут же формулирует следующее: «Если сговор и был, то не сговор честнейшего художника нашего времени со Сталиным, а сговор с ленинской идеей кооперации в деревне...» Как-то не очень сопрягаются понятия «сговор» (против чего А. Калинин, как выясняется, вовсе и не возражает) и «честнейший художник нашего времени». Какая бы цель ни преследовалась, а сговор есть сговор. И уж вовсе трудно понять смысл выражения «сговор с идеей». Как это вообще может быть?..

«Поднятая целина», — продолжает оратор, — если ее читать не навыворот, а со всеми выхваченными из действительности типами и характерами тридцатых годов, явилась в первую очередь предостережением против перегибов». Для доказательства этого тезиса используются, в частности, слова Макара Нагульнова, который сказал о статье «Головокружение от успехов»: «Неправильная статья!»

Тут надо не спеша разобраться.

«Поднятая целина» существует уже более полувека, и все это время читатели видели в ней недвусмысленное одобрение политики «великого перелома». Но, оказывается, читали мы книгу неправильно и понимали совсем не то и не так. Даже Сталин, торжественно освятивший «Поднятую целину» своей премией, совершенно ничего в ней не понял! А чтобы понять, надо, оказывается, просто вывернуть ее смысл наизнанку, и откроется истина: никакой это не гимн коллективизации, а роман-предупреждение: неверной дорогой идете, товарищи! (Видимо, кто-то и нынешнюю революционную перестройку представляет себе как простое выворачивание наизнанку всего того, что вчера было белым, а теперь будет черным, и наоборот. Пользуясь этим воистину нехитрым приемом, легко надевать не только досадных ошибок, но и обыкновенных глупостей.)

Вот, скажем, Нагульнов. Он и в самом деле говорит: «Статья неправильная!» Но почему он так говорит, что считает неправильным? «Какая это есть статья? А эта статья такая, что товарищ наш Сталин написал, а я, то есть Макар Нагульнов, брык! — и лежу в грязи ниц лицом, столченный, сбитый с ног долой... Создавали, создавали колхозы, а статья отбой дает. Я эскадрон водил и на поляков, и на Врангеля и знаю: раз пошел в атаку — с полдороги не поворачивай назад!» Вот ведь за что упрекает Нагульнов «Осипа Виссарионыча». Неистовый Макар убежден, что нельзя останавливаться на полпути, что

надо решительно продолжать атаку на мужиков и баб. И это нам предлагается принять как протест против перегибов коллективизации? Вот уж действительно шиворот-навыорот...

Страстное трибунное слово Анатолия Калинина завершается многозначительной фразой: «Гении беззащитны». Но уж в чем совершенно не нуждается Шолохов, так это в подобных попытках «защитить» его честь и достоинство. Если мы действительно хотим разрешить все сомнения и разгадать все загадки, столь умело спрятанные Шолоховым в тексте «Поднятой целины», нам следует беспокоиться не об охране привычных ярлыков и устойчивых стереотипов, а о поиске новых смыслов — затаенных, заветных, завещанных... Разве мыслимо вести подобного рода поиск, заранее вздрагивая от неизбежных и неожиданных открытий?

Шолохов должен был подтвердить своим сочинением любимую идею Сталина об обострении классовой борьбы по мере приближения к социализму — да вот беда: никак не вытанцовывалась эта идея на фоне созданной писателем картины реальной действительности. В 1935 году, обдумывая вторую книгу романа, Шолохов в одном из писем делился сомнениями: «...Откровенно говоря, для меня в ней — разворот небольшой. Их бы (героев романа.— *И. Л.*) перенести в 1932 год. Вот когда можно было дать расцвет характеров! А так, заранее предвижу, что вторая книга будет скучнее первой». Но что делать, служба есть служба — поневоле пришлось вместо отражения реальных процессов колхозного движения возвращаться все к той же «классовой борьбе», приводит гренадерских активистов в логово недобитых белогвардейцев, где и происходит трагическая развязка сюжета...

А в это же самое время в письмах кричал о перегибах и преступлениях насильственной коллективизации! Знал — не мог не знать — истинные причины смертельного года на Украине в 1933 году. Если бы ему не мешали глубоко осмыслить и со всей художественной силой, на которую был способен, отразить реальную, а не придуманную судьбу русского крестьянства во времена «великого перелома», — можно не сомневаться: «Поднятая целина» оказалась бы не менее интересной, правдивой и динамичной, чем «Тихий Дон».

Впрочем, если крик, что звучит в письмах Шолохова, не слышен в «Поднятой целине», — этому нетрудно найти объяснение. Как и тому, что талант великого писателя объективно обслуживал сталинизм, иллюстрировал мифологию «Краткого курса». Скажи Шолохов всю правду о коллективизации, она вряд ли была бы опубликована.

И даже если бы правдивая книга каким-то чудом увидела свет, можно догадываться, сколь велик был бы сталинский гнев и какая судьба ожидала бы автора — не лучшая, чем у Андрея Платонова.

Так срабатывала система защиты общественного сознания от воздействия на него правдивой, но «нежелательной» информации. Легко представить, как в те годы принималось массовым читателем необычное, полемичное, горько-правдивое творчество А. Платонова, щедро облитое в прессе столь острым политическим «соусом». Иным упорным скептикам казалось, что можно списать на «чужачество» любой платоновский сюжет, любой образ. Скажем, того же бедняка-дурака Пашку (как и можаевского Сенечку Зенина или беловского Куземкина и прочих подобный «пролетариат»), — художнику, мол, позволено фантазировать.

Но обратимся к свидетельствам очевидцев. Прислушаемся, например, к воспоминаниям В. П. Астафьева, чья репутация честного художника и отважного человека не вызывает сомнения. Вот как рассказывает писатель-сибиряк о «великом переломе» в его родной деревне Овсянке, что под Красноярском:

«...Это была самоуверенность полуграмотных людей, доходящая до невежества. И самое большое невежество — товарищ Давыдов (установка на сплошную коллективизацию). Это уже оголтелое невежество, когда городской уполномоченный брался командовать крестьянами... Когда поступило строгое указание загонять всех в колхоз, у нас был создан комбед, в который вошли Ганька Болтухин, Шимка Вершков, Митроха, моя тетка Татьяна. Болтухину даже выдали для руководства массаами наган. Все эти комбедовцы не имели ни земли, ни скота, ни живота. И как пролетарии, по примеру средней России, они вот и возглавили «эту движению». Они без конца заседали, стуча себя в грудь кулаком, говорили речи.

...Указаний, взаимоисключающих, противоречащих друг другу, выходило тогда десятки на каждый день. Деревней тогда руководили все кому не лень, начиная от наркома, кончая болтухиными... Началось бегство из деревни. Путние же мужики были... они видели, что командует ими с наганом в руке и хмельной башкой презираемый в деревне человек — болтун и лодырь. Да вдобавок слышат, что и в других деревнях такие же болтухины в «начальствах» ходят...

Потом навалился 33-й год... Устранили Болтухина. Тетка Татьяна тоже иссякла в своем «энтузиазме»,

переехала в город, работала кладовщиком на нефтебазе. Пропивши все, комбедовцы рассосались... Колхоз в Овсянке развалился окончательно и был закрыт официально»¹.

Тут уж никакие детали и факты не спишешь на «художественный вымысел». Что было, то было... И если современная художественная проза берет в свой оборот подобного рода факты, если она сатирическими клещами вытягивает из прошлого неприглядных людишек, с хмельным азартом претворявших в жизнь идеи «великого перелома», воздадим должное гражданской позиции авторов, настроим себя на неторопливое внимание, на готовность понять и принять художественную правду, пусть неприятную или даже неприятную, горькую...

Болтухины, Возвышаевы, Бедулевы и прочие подобные типы — это не досадное недоразумение эпохи, не случайная грязь, налипшая на «блестящую идею» сплошной коллективизации. В том-то и дело, что сталинская программа «великого перелома» никак не могла обойтись без послушания и азарта мелких исполнителей, и более того — эта программа во многом опиралась на них, эксплуатировала их рабскую безыдейность, классовую слепоту, человеческое ничтожество.

А потом, когда с помощью расторопных людей и людишек уже были накрепко завинчены гайки тяжелой, неповоротливой колхозной машины и возникла необходимость — из тактических соображений — слегка и ненадолго ослабить железную хватку «великого перелома», тут «активисты» вновь пригодились — чтобы списать на их счет «головокружение от успехов». Сколько болтухиных было «устранено» после грянувшей в марте 1930 года хитроумно-гневной статьи вождя! Тогда он еще только учился вовремя расправляться со своими преданными и наивными соучастниками...

Но не сатирические картинки и не прискорбные результаты вольного административного головотяпства больше всего впечатляют в романах Б. Можаяева и В. Белова. Со всей определенностью и во весь голос писатели ставят вопрос о существовавшей, но не реализованной, грубо перечеркнутой исторической альтернативе — ленинском кооперативном плане.

Сейчас, в связи с возрождением кооперативной теории (и, главное, практики), часто цитируют большие фрагменты из работ В. И. Ленина, посвященных этой проблеме. Особенно часто приводится требование «учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь

¹ Сапронов Г. Моя странная земная деревушка. Беседа с писателем В. П. Астафьевым. — «Енисей», 1987, № 6. С. 45, 46.

командовать!». Не секрет, что эти слова, как и некоторые другие ленинские идеи и мысли, «не подтверждавшие» избранную в конце двадцатых годов стратегию и тактику государственного развития, были надолго изъяты из идеологического обращения. Поэтому теперь происходит как бы второе рождение этих идей, отчего они приобретают порою оттенок некоторой сенсационности.

Нетрудно заметить, как сильно увлекает писателей открывшаяся наконец возможность активно использовать этот «хорошо забытый старый» материал, на фоне которого еще ярче высвечиваются основные конфликты периода коллективизации. Правда, этот материал настолько насыщен энергией протеста против извращенной аграрной политики (которой, к несчастью, суждено было царить в течение долгих десятилетий), что авторам бывает нелегко вписать его в рамки конкретной художественной структуры, и материал этот буквально выплескивается за край сюжета — и у Б. Можаяева, например, обретает форму обширного авторского послесловия, что придает роману «Мужики и бабы» внешний вид своеобразного литературно-исторического трактата. Автор особо подчеркивает, что писал свою вещь «вовсе не для того, чтобы рассказать еще одну историю о зарождении колхозного строя», а ставил перед собой цели исследовательские и философские, желая «проследить многообразные формы производственно-нравственных связей крестьянства, издавна определявшие в значительной степени физиологический облик народности нашей».

В. Белов обходится без деклараций, но совершенно ясно, что и он преследовал такие же цели, причем его особенно интересовал поиск доказательств, подтверждающих версию о глубоких исторических корнях русской артельности как одной из стихийно зародившихся форм народного общежития и сотрудничества. Писатель, по-видимому, немало порылся в архивах, чтобы установить глубину этих корней. Вероятно, читателю нелишне знать, что кооперативное движение в России было начато еще в пореформенные времена второй половины прошлого века, что даже при жестоком Николае Втором это движение не заглохло. В 1918 году Ленин подписал декрет об ускоренном развитии кооперации.

Как видим, русские артельные корни действительно глубоки и прочны. И если затем кооперативы стали утрачивать былую силу и в конце концов захирели, то в этом была досадная историческая несправедливость. Все эти выкладки вполне убедительны, однако затем В. Белов почему-то настаивает на довольно-таки оригинальной версии событий и их причин. Он утверждает,

что главным разрушителем здоровых основ кооперативного движения в России был... Отто Юльевич Шмидт, которому правительство поручило заниматься этим важнейшим делом, а он не проявил должного старания, легкомысленно «забросил кооперацию и подался в полярники»... Думается, автору серьезного романа не стоило так откровенно пропагандировать свои довольно сомнительные «догадки».

Тут мы поневоле входим в зону одного весьма популярного сейчас литературного спора — о соотношении художественности и публицистичности в произведениях на актуальную тему. Но если уж заводить такой спор, то, наверное, говорить следует о том, что может и чего не может публицистичность, где она уместна и где неуместна, где бессильна и где сильна. О том, как на нее иногда взваливают слишком большую смысловую ношу, а она «не тянет». Или «везет», но плохо и к тому же постоянно сворачивает «не в ту степь».

Достоинства публицистичности, насквозь пронизывающей роман Можаяева «Мужики и бабы», очевидны. Величайшее потрясение основ народного духа, воистину перелом (а точнее — слом, снос) многих законов и неписаных установлений крестьянского лада, насильственная «переплавка и перековка» традиционного сознания мужиков и баб — вот что составляет публицистическую сердцевину можаяевского сюжета. И если благодаря этой сердцевине роман стал ярким явлением не только литературной, но и общественной мысли, — так ли уж важно высчитывать соотношение между его художественными и публицистическими достоинствами? Ведь Можаяев-художник и Можаяев-публицист работали сообща, и странно было бы присуждать одному из них пальму первенства.

Но вот на что стоит обратить внимание: и художник, и публицист обращаются в романе Можаяева к событиям, ставшим уже историей. И здесь нельзя забывать, что в современной исторической прозе есть один довольно распространенный порок, о котором хорошо сказал П. Толстогузов в статье «Великая переменная величина» («Дальний Восток», 1987. № 11): «Наше историческое положение «над» прошлым очень выгодно, оно позволяет увидеть историческое лицо в таком масштабе, в каком оно не могло видеть себя. С другой стороны, такое положение чревато опасной иллюзией, будто историческое лицо действовало в соответствии с нашими представлениями о его исторической роли... Идеальный случай — когда чужая историческая эпоха показана так, что она «ничего не знает» о своей «историчности», а живет полноценной

жизнью романного настоящего (классический пример — «Война и мир»). В этом случае в романе господствует не историческая истина (ее место в учебнике), а историческая реальность» (выделено мной.— И. Л.).

У всякой медали есть обратная сторона. Писатели, получившие в условиях гласности возможность восстановить историческую истину, часто делают это за счет исторической реальности. И не потому ли не написана современная эпопея, равновеликая знаменитому роману Льва Толстого, что истина истории и реальность истории существуют у нас в состоянии постоянно меняющегося «соотношения», а иногда и противоборства?

Как сегодняшний — сиюминутный — результат этого противоборства в самых последних по времени литературных произведениях о периоде коллективизации обозначился новый облик типичных участников сложного социально-исторического процесса: появились «странные» кулаки, «странные» бедняки, «странные» середняки...

Со всей откровенностью хочу сказать: в романах Белова и Можая не хватает внятного социально-исторического анализа, творчески сопряженного с той убежденностью и эмоциональностью, которые являются, пожалуй, главными отличительными чертами этих произведений. И, на мой взгляд, анализа не хватает именно постольку, поскольку «хватает» публицистичности, которая явно «оперативнее» художественного исследования.

Вот роман Бориса Можая. В нем много персонафицированных идей и обстоятельных диспутов. Причем довольно часто автор персонафицирует не «тогдашние», а «теперешние» идеи, поэтому «диспуты» проходят так, словно главные их участники (самые мудрые, мыслящие наиболее глубоко и неотразимо) прибыли в качестве уполномоченных автора, который снабдил их всей необходимой информацией.

Каких только диспутов нет в «Мужиках и бабах»! О свободе личности, об интеллигенции, о национальном характере, о кооперации, о бюрократии, о плюрализме. Учитель Успенский, персонафицирующий трагическую участь интеллигенции в катаклизмах революционного времени, даже в ночь тайной любви находит возможность произнести для возлюбленной целую лекцию, обильно цитируя Сократа и Эпикура, Ленина и Красина, Салтыкова-Щедрина и Дзержинского, Зиновьева и Бухарина... Не остается никакого сомнения в том, что персонаж пользуется в своих монологах заветными конспектами самого Б. Можая. А если уж быть до конца точным, то это

сам автор, приняв облик Успенского, явился в компанию к вымышленным персонажам и проводит с ними просветительские беседы.

Явный историографический и публицистический уклон романов Б. Можяева и В. Белова существенно сказывается на общем литературно-художественном качестве обоих произведений. В них ощущается избыток иллюстративности и декларативности. Писатели увлекаются чистой «историографией». Но ведь у художников слова иные, специфические задачи... А кроме самого тщательный поиск самых «сенсационных» фактов в самых труднодоступных архивах всегда оставляет возможность что-то упустить или неверно истолковать. Да и трудно бывает писателю угнаться за читательским интересом, особенно в нынешней ситуации, когда нас буквально захлестывает поток все новых и все более «сенсационных» исторических сведений...

Ни В. Белов, ни Б. Можяев, несмотря на их пристальное внимание к историческим фактам, связанным с проблемой сельскохозяйственной кооперации, ни разу не упомянули имя А. В. Чайнова и его фундаментальную, мирового значения теорию крестьянского хозяйства. Как известно, работы Чайнова внимательно изучал В. И. Ленин, когда писал статью «О кооперации», столь актуальную и поныне. Впрочем, такую неосведомленность писателей можно объяснить довольно просто: фигура Александра Васильевича Чайнова возникла из небытия совсем недавно — 16 июля 1987 года, когда выдающийся советский ученый, расстрелянный в 1939 году по обвинению в антигосударственной деятельности, был окончательно реабилитирован. А какова была до этого официальная репутация А. В. Чайнова, свидетельствует, например, изданная в 1980 году энциклопедия «Политическая экономика», где всемирно известный ученый-аграрник назван «идеологом русского кулачества».

Мог ли «отец народов», провозгласивший идею «великого перелома», терпеть оппозицию, лидер которой открыто предупреждал о великой опасности, нависшей над историческими судьбами русской деревни, осмеливался возражать против «небывалых темпов» ее социалистического переустройства, упорно настаивая на осторожном и постепенном развитии всей гаммы кооперативных связей крестьян, на щепетильном соблюдении их экономического интереса. А. В. Чайнов отстаивал приоритет «человеческого фактора», призывал поощрять деятельность первичных (в том числе семейных) трудовых коллективов, где нет «хозяина» и «работника», а есть «хозяин-работник», то есть фактически пропагандировал столь

ненавистную Сталину идею фермерского предпринимательства в условиях социализма.

И вот теперь, учитывая все это, приходится делать чувствительную поправку в оценке историографических достижений Б. Можаяева и В. Белова. В свете возникшего из забвения яркого имени А. В. Чаянова их произведения заметно теряют информационно-историческую наполненность и утрачивают публицистическую остроту.

Но главное, по-моему, совершенно ясно и абсолютно бесспорно: при всех информационных «пробелах» и публицистических «перегибах» романы Б. Можаяева и В. Белова появились очень вовремя и сделали свое полезное дело. Доминирующее читательское ощущение, возникающее после прочтения этих произведений, — удовлетворение: наконец-то совершилось нечто важное. Для тех, кто внимает слову правды, это означает утоление жажды, а для тех, кто произносит правдивое слово, — очищение совести, обретение гордости и свободы. Разве этого мало?

Но можно ли успокаиваться? Ведь пустоты и потемки общественного исторического сознания, наверное, скоро заполнятся, и наступит время, когда вновь изменится целевая программа текущей литературы: период заполнения «белых пятен» сменится периодом углубленного социально-исторического анализа. Это будет новая литература — обогащенная знанием всей, полной правды, свободная от комплекса вины за долгое молчание, озабоченная уже не столько познанием прошлого, сколько пониманием настоящего и движением к будущему.

И уже можно видеть, как вливаются в нашу литературу свежие силы, способные сделать решительные шаги от позиций, завоеванных писателями старшего поколения, на новую, завтрашнюю платформу, откуда лучше видны и дальние горизонты действительности, и ее ближние планы.

Среди талантливых молодых авторов из поколения «тридцатилетних» есть писатель, чье творчество очень точно соответствует главной теме этой статьи. Я имею в виду Николая Скромного и его роман «Перелом», напечатанный в журнале «Север» (1986, № 10—12) и не удостоившийся пока серьезного внимания критики. А между тем роман этот представляет собой неординарное и неожиданно яркое явление в нашей литературе, посвященной периоду коллективизации.

Сюжет «Перелома» тоже полон внутренней полемичности. Драматическая история советской деревни на рубеже двадцатых и тридцатых годов осмыслена в романе

Н. Скромного весьма необычно, в чем-то даже парадоксально. И самая удивительная новость заключается в отказе автора от традиционной расстановки противоборствующих сил, от обязательного преломления всех линий сюжета через призму классовой борьбы. В «Переломе» тоже идет борьба. Но самая жестокая, самая изнурительная и потрясающая борьба происходит *внутри* человека. Эта *внутричеловеческая* борьба сопровождается болью самоистязания, самоотречения, самопожертвования и в конечном итоге — саморождения: в страшных муках человек рождает сам себя — обновленного и прозревшего.

Перемещение смыслового центра из области внешних событий, связанных с ходом борьбы классов, в область межчеловеческой и внутричеловеческой борьбы создает в романе Н. Скромного своеобразную динамическую неустойчивость, следствием которой является *принципиальная непредсказуемость* сюжетных движений и их последствий. Одна неожиданность рождает другую, та — третью, затем возникают четвертая, пятая, и всякий раз открывается несколько вариантов продолжения действия, и выбор варианта происходит как бы случайно, стихийно, без видимого участия автора. Согласимся, что в литературном сочинении на историческую (да еще и столь непростую) тему подобная авторская «отстраненность» тоже выглядит довольно-таки неожиданно.

А начинаются неожиданности «Перелома» с того, что среди основных его персонажей мы видим большую группу сосланных с Украины в казахскую степь раскулаченных мужиков с семьями. Обычно внимание литераторов к этим реальным участникам исторической драмы не шло дальше того момента, когда семью раскулаченного силой отправляли «за болото», — дальше нить его судьбы прерывалась. Очистив деревню от классового врага, активисты налаживали колхозную жизнь, в которой борьба классов сменялась борьбой за урожай... По поводу этого литературного (и не только литературного) перекоса горько иронизировал Андрей Платонов. В повести «Котлован» он изобразил бессмысленный фарс раскулачивания: зажиточных крестьян выгоняют из родных изб, грузят на большой плот и пускают по течению реки — куда-то туда, где, по мнению ликвидаторов-коллективизаторов, произойдет полное и бесповоротное исчезновение кулака как класса...

«Кулачество глядело с плота в одну сторону — на Жачева; люди хотели навсегда заметить свою родину и последнего счастливого человека на ней.

Вот уже кулацкий речной эшелон стал заходить

на повороте за береговой кустарник, и Жачев начал терять видимость классового врага.

— Эй, паразиты, прощай! — закричал Жачев по реке.

— Прощай-ай! — отозвались уплывающие в море кулаки.

С Оргдвора заиграла призывающая вперед музыка; Жачев поспешно полез по глинистой круче на торжество колхоза... Активист выставил на крыльцо Оргдома рупор радио, и оттуда звучал марш великого похода, а весь колхоз вместе с окрестными пешими гостями радостно топтался на месте».

Итак, высланные из родных деревень кулаки и «подкулачники» теряли свою классовую сущность и переставали угрожать благополучию честного трудового народа — но ведь оставались людьми. Живыми людьми! Что за жизнь начиналась у них там, «за болотами»? Если о колхозах и колхозниках литературой сказано много и громко, то жизнь и судьба «бывших» остались совершенно в тени.

В романе Н. Скромного эти люди — со всем их социальным бесправием и клеймом бывших врагов, со всей их глухой ненавистью к власти, с полным пониманием невозможности вернуть утраченное — не статисты, исполняющие свою незатейливую роль, а равноправные, временами даже самые активные участники общего действия. Эта особенность «Перелома» важна потому, что свидетельствует о приверженности автора принципам подлинного реализма. Ведь так и было в действительности: кто не погиб, тот жил. И писатель-реалист должен стремиться к тому, чтобы знать и рассказать все обо всех живших, а не подгонять свое сочинение под стандартные схемы официальной историографии с ее почти неизбежными предпочтениями, искажениями и умолчаниями.

Еще одну важную особенность романа «Перелом» являет собою центральный его персонаж — Максим Похмельный. С первых же страниц становится ясно: это герой, что называется, положительный. По законам традиционного восприятия, «положительность» героя тут же входит в противоречие с его фамилией, и это опять-таки немаловажно, ибо даже в таких мелочах проявляется нестандартность авторского замысла. У Акулова, Белова, Можаява столь живописная «нарицательная» фамилия была бы присвоена сугубо отрицательному персонажу (вспомним Возвышаева, Ротастенького, Соплюна...). Становится ясно, что Н. Скромного не интересуют публицистические выгоды сатирико-обличительного уклона.

Максима Похмельного назначают председателем

колхоза. Факт обыкновенный, ни о чем не говорящий, если не принимать во внимание, кем был председатель до своего назначения. А был он начальником конвоя, сопровождал раскулаченных к месту высылки. Между прочим, своих же земляков, односельчан. Он их пригнал сюда, в расположение колхоза «Ударник», а на другой день стал председателем этого колхоза... Можно себе представить, как относятся к Похмельному люди. Местные жители глядят исподлобья, выкрикивают или шепчут оскорбительные слова, — что и говорить, греховна его конвоирская должность... А уж сосланные-то и подавно. «О твоей смерти буду бога молить до последнего часа», — говорит старик Гонтарь, отец Максимовой невесты, несостоявшийся тесть, почти родственник. И другие не стесняются в выражениях: «Будь ты трижды проклят, хриstopродавец!», «Эх, Максим, не хотелось беды нашим детям, не то давно бы тебя...»

Вспомним Семена Давыдова, славного председателя гремяченского колхоза имени Сталина, вспомним других посланцев партии и революционного пролетариата, — это одна позиция. Противоположную позицию обозначают все эти Сопроновы, Ротастенькие, Бедулевы, Куземкины — выходцы и выползки «из грязи в князи», дорвавшиеся до власти и наломавшие дров. Каждая из позиций предполагает совершенно определенный ход действия: Давыдовы ставят на ноги колхозную жизнь, Бедулевы сбивают ее с ног, — примерно таков смысл принципиальной модели одного из главных конфликтов коллективизации.

В романе «Перелом» председатель Похмельный *заранее не подготовлен автором* к исполнению определенной роли — «хорошей» или «плохой», «созидательной» или «разрушительной». Максим — живой человек с довольно нервным характером, со своими достоинствами, слабостями и грехами — включен в действие *наравне с другими*, как *один из многих* его участников. И в то же время он занимает в сюжете центральное место. Вследствие этой раздвоенности положения главного героя и сам он, и его окружение постоянно находятся в состоянии сложного, чрезвычайно переменчивого контакта и взаимовлияния. Да, Похмельный — центр сюжета, но центр необычный: движущийся, скользящий. То он прочно стоит и притягивает к себе линии действия, и они упорядочиваются, обретают отчетливый рисунок и ясную перспективу, то вдруг будто срывается с места, мечется сам и заверчивается вокруг себя непредсказуемый вихрь событий...

В числе принципиальных достижений Н. Скром-

ного — новый взгляд на врагов коллективизации, совершенно необычная роль этих персонажей в общем сюжете.

Каждый читавший «Поднятую целину» наверняка помнит зловещий звериный облик Половцева, патологического убийцы и тайного провокатора, подстрекателя. Расстреливать, вешать, мстить — вот главная суть «программы» бывшего есаула казачьего войска. Под стать ему и хорунжий Лятевский, еще один тайный борец за «великое дело спасения родины и Дона от власти международных жидов». Недобитая и затаившаяся контрреволюция об руку с антисоветским настроенным кулачеством — вот типичный подбор литературных действующих лиц, составляющих силу, угрожающую планам строительства новой жизни в советской деревне.

Но сводить суть борьбы за новую жизнь к ликвидации враждебных элементов — значит не понимать (или не признавать), что эта борьба шла не только «снаружи», но и «внутри» небывалого, только что народившегося социального организма. Эта внутренняя борьба не сводилась лишь к искоренению частнособственнических инстинктов крестьянства, в ней хватало и схваток другого рода, не менее отчаянных и даже кровавых. Увы, в те годы и в тех условиях, когда железной рукой устранялись все «противоречия» и насаждалось полное единомыслие, даже такому сильному художнику, как Шолохов, было трудно разглядеть до самого дна глубинную, противоречивую правду жизни, осмыслить и выразить эту правду художественными средствами...

Автор «Перелома» тоже создает образ врага. Но Н. Скромного не интересуют удобные и хорошо обкатанные схемы «обострения классовой борьбы». И вообще его писательский метод далек от литературно-кинематографического способа разделять участников действия на «наших» и «не наших».

Еще в самом начале романа, когда Максим Похмельный собирается вести своих подконвойных от станции к месту их поселения, секретарь райкома Гнездилов предупреждает: в пути могут встретиться недобрые люди — некий Ганько со своими дружками. Правда, кровавых злодейств за ними не числится, все больше гоняются за нарочными да пакеты вскрывают. «Хотят быть в курсе событий?» — спрашивает Похмельный. Гнездилов пожмает плечами: «Ума не приложу, чего они хотят».

И вот встреча лицом к лицу. Заявляется этот Ганько со своими сообщниками прямо к Похмельному на квартиру. Но ни расправы, ни зловещих угроз, а только... душевный такой разговор. «Ты, Максим Иванович, врага во мне не ищи. Я за то же самое, что и ты. Даст бог,

повернется по-нашему — я тебя первым попрошу остаться председателем в Гуляевке... Партийный билет тебе сменим — и весь вопрос... Людей, которые разделяют наши взгляды, много. Их гораздо больше, чем ты можешь предположить. Начиная от ЦК вашей партии и кончая Гуляевкой. Во всяком случае, постараемся обойтись без резни...»

Читатель догадывается, что за осторожными, часто не вполне понятными действиями и намерениями Ганько и его сторонников кроются не хрестоматийно-привычные «зловещие планы» недобитой контры. Не жажда «разгромить», «отомстить», «свергнуть»... В трудной и сложной борьбе за социалистическое переустройство России существовали, значит, какие-то «подводные течения», скрытые от всеобщего внимания и понимания. И ведь так оно и было в действительности! Н. Скромный выявляет сюжетное русло, которое в общем литературном потоке практически никем и никак не отмечено. Вот где завязывается новый сюжетно-тематический узел, из которого тянутся нити в неизведанное и до сих пор не осмысленное ни наукой, ни литературой. Вот где таятся богатейшие залежи исторической правды, пригодной для заполнения «белых пятен». И тот факт, что одним из первых «завязывает» этот узел молодой прозаик, безусловно, делает ему честь.

Но кто таков этот Ганько? Из какой реально-исторической почвы вырос этот необычный и странный персонаж?

Сам Ганько называет себя «трудовиком», говорит: «Мы, партия трудового народа...»

Вот ведь какая досада. Образ «трудовика» создан на основе общеизвестной (и, как теперь выяснилось, фальшивой) информации, которая вплоть до середины 1987 года не была официально опровергнута. Сегодня мы знаем: людей, подобных Ганько, в действительности не существовало, как и «трудокой крестьянской партии» Кондратьева — Чайнова с ее «антисоветским заговором». Еще совсем недавно можно было считать, что автор романа «Перелом», выстраивая эту сюжетную линию, опирается на реально-историческую почву, а сегодня эта почва резко ушла из-под ног! И образ Ганько повис в воздухе... Весьма характерная для нашего времени писательская ошибка. Сколько подобного рода «исторической почвы» уходит сейчас из-под ног (и не только у писателей) в результате полного опровержения версий, приговоров, концепций, которые в течение многих десятилетий считались единственно верными и не подлежащими никакому «обжалованию».

В аналогичном положении «обманутого» оказался

и С. Антонов, автор уже упоминавшейся здесь повести «Овраги». Среди персонажей этого энергичного и довольно-таки затейливого сочинения есть человек странного облика (лица не видно, лишь звучит «незнакомый городской голос»), выступающий, как и Ганько у Н. Скромного, в роли тайного пропагандиста тех же самых «вредительских» идей и замыслов, которые приписывались в свое время заговорщикам несуществующей «трудовой крестьянской партии». Тайнственное невидимое «лицо» возвещает о подготовке «крестьянского революционного восстания» и пространно излагает далеко идущие планы представляемой им подпольной антисоветской организации, ссылаясь при этом на «высший совет» и даже на «центральный комитет православного крестьянства». Он обильно цитирует работы Ленина, посвященные аграрной политике большевиков, и тут же перетолковывает ленинские идеи на свой лад: «Надо всем открывать глаза на то, что колхозная вакханалия — происки антихриста, ведущие к полному истреблению православного крестьянского уклада», — заявляя при этом (в точности как Ганько): «Мы не диктаторы и не бандиты».

Эта идейно-теоретическая платформа «православно-крестьянского ленинизма» настолько эклектична и просто нелепа, что автор, похоже, сам не в состоянии уяснить для себя труднодостижимый резон всех этих «теорий», — а раз так, то вынужден применить безотказный, многократно проверенный способ «срывания маски». В самом конце повести неожиданно обнаруживается, что загадочное «лицо» — не кто иной, как... кто бы вы думали?.. Правильно, недобитый белогвардеец, бывший полковой адъютант (и даже так: «припадочный адъютант»), а все его теории и призывы не более чем «гладкая болтовня»... Вот как ловко выпутался автор из паутины собственного сюжета! А мог бы поступить еще более просто: выбросить из повести этот «детективный» фрагмент, не имеющий под собою реальной исторической почвы. Ведь когда повесть «Овраги» готовилась к публикации, уже было известно о беспочвенности наших представлений о «трудовиках», «чаяновцах» и прочих «антинародных блоках». У Н. Скромного есть хотя бы то оправдание, что в пору публикации «Перелома» он еще не мог знать о разоблачении этих политических фальшивок эпохи сталинизма...

Но, как бы там ни было, а выходит, что образ Ганько невольно фальсифицирован автором. Хотя, конечно, ошибки не перестают быть ошибками, даже если они совершаются по недоразумению.

В конце журнальной публикации «Перелома»

есть ремарка: «Конец первой книги». Значит, будет вторая... Как повернутся события в ней, каким предстанет образ «трудовика»?.. Интересно! Тем более что само по себе стремление автора показать идейную борьбу на ниве коллективизации вполне правомерно, только вот сфера этой борьбы и круг ее участников не соответствуют исторической правде. Не придется ли Н. Скромному, чтобы сохранить эту тему в сюжете, переводить действие в верхние этажи общественного здания — туда, где жесткая борьба идей действительно происходила и сопровождалась гибелью многих тысяч ни в чем не повинных людей?..

И вот что еще очень важно отметить в романе Н. Скромного. Несмотря на большую внутрисюжетную напряженность, которая, кажется, напрочь разъединяет, буквально разбрасывает персонажей — группами и поодиночке — на непримиримые позиции, автору удается показать, какая великая сила единства есть в нашем народе, как благодаря этой силе протягиваются связи взаимного понимания, сочувствия и сотрудничества между русскими и украинцами, казаками, поляками, кавказцами... Все это не прокламируется в романе, и больше того — об этом нет речи! Но тем более ценно, что порыв к единению и взаимопомощи выглядит как природное свойство народа, как стихийный инстинкт, помогающий людям выжить и сохранить в себе человеческое.

Инстинкт человечности добавляет персонажам Н. Скромного здоровый «цвет лица» (а точнее говоря, «цвет души») даже в самых крайних обстоятельствах. Тут невольно припоминаются образы можаевских и беловских уполномоченных и комбедовцев: как первые заходятся в азарте «ликвидаторства» и с каким вожделием вторые растаскивают по своим избам конфискованное добро, переселяются в опустевшие кулацкие хоромы... А вот что рассказывает в «Переломе» партийный работник Гнездилов. После высылки кулаков в деревнях осталось много пустых домов, и что же? «Сельской бы власти к рукам их прибрать, бедняка вселить многодетного... — ан нет! Бедняк сам не хочет въезжать. Ему, видите ли, совесть не позволяет. Объясняли мне: стыдно, кто-то строил, а я въеду? Даром? В чужое? — Не могу...» Думается, в подобных жестах гораздо больше правды жизни, чем в иных обличительно-сатирических обобщениях.

Спокойно и уравновешенно изображаются в «Переломе» и судьбы раскулаченных. Стандартная литературная схема не оставляет побежденному «классовому врагу» серьезных надежд, он обречен на гибель или по-

жизненное страдание в муках бессильной злобы и мстительности... Н. Скромный своим романом перечеркивает и эту часть схемы. Вместо вражды между «побежденными» и «победителями» он изображает лохматый и шевелящийся клубок человеческих связей с висящими обрывками судеб, напрочь затянутыми узлами противоречий, сомнений, страданий... Удивительно: затаенная злоба людей, брошенных на самое дно несправедливого существования, странным образом затихает, смиряется, гаснет — всего лишь потому (но как много значит это «всего лишь»), что с ними заговорили наконец по-человечески, с желанием помочь или хотя бы уменьшить страдания.

Это сюжетное равноправие конфликтующих сторон и создает главный художественный эффект «Перелома». Перед нами не беллетризованная иллюстрация исторических событий и не литературная реплика в жаркой полемике, когда автор стремится опровергнуть чье-то мнение и утвердить свое, — нет, перед нами живая и впечатляющая картина великой народной драмы. Кровь и огонь, разрушение и созидание, человечность и зверство, подлость и геройство — все смешалось. Да, небывалое варево кипело и пенилось в горячем котле истории.

«Кануны» Белова, «Мужики и бабы» Можяева, «Овраги» Антонова, «Перелом» Скромного... Эти произведения свидетельствуют о стремительном росте и бурном плодоношении той тематической ветви современной советской прозы, которая связана с художественным осмыслением драматических судеб крестьянства. Уходят в прошлое искажения и умолчания, торжествуют правда, истина, справедливость. Освободившись от тяжкого бремени неуплаченного исторического долга, исправив ошибки и преодолев заблуждения, наша литература сможет выйти на новый путь, ведущий к познанию важных жизненных истин, к высокому уровню художественной правды.

Лиссабонское мыслетрясение

Как мы попали в Лиссабон?

И прежде всего: на какие деньги? У нас, при социализме, такой вопрос обычно не встает, и даже задавать его не принято. Но на загнивающем Западе это обстоятельство существенное. Кормить около сотни писателей в течение недели, поселив их в миллионерском «пятизвездочном» отеле, арендовать Келюзский дворец для ежедневных заседаний, финансируя и всю сопутствующую технику плюс работу синхронных переводчиков на восемь языков, да еще дорогу оплачивать в оба конца гостям, приглашенным со всего мира, — это ведь, надо думать, весьма презряднейших денег стоит, и всё в валюте.

Так вот: это — деньги знаменитого миллиардера Гетти. Пока ими распоряжался сам миллиардер, они, насколько я знаю, пахли нефтью. Сегодня ими распоряжается его невестка. В точном определении родства я могу ошибиться, но я не ошибусь, если скажу, что в ее руках деньги эти пахнут литературой: каждый год Энн Гетти финансирует международную конференцию литераторов из Фонда, который она основала и назвала Витландским.

Почему так назвала? Тут тоже есть свой смысл и даже подтекст. Витланд — название поместья, где выросла основательница Фонда. Ничего литературного название не несет, и в этом вся изюминка. Никакой «программы», никакой заданной идеи. Название Фонда может ведь и обязывать. Например, так: «Писатели за мир и социальный прогресс». Или так: «Писатели за разрушение». Или: «Писатели за права человека»... А тут «Витланд», и только. Свобода!

Журналисты, чуткие к драматургии поведенческих ролей, заметили, что Энн Гетти заседаний не пропускает, но не роняет на них ни слова. Сотни ораторов произносят миллионы слов — она ни одного. Сидит в первом ряду и слушает. Ледяная красавица.

Ее ближайший сподвижник, председатель Фонда, знаменитый английский издатель, лорд Джордж Вайденфельд, чуть более словоохотлив. Он-то и сформулировал замысел Витландского Фонда: помочь писателям всего мира преодолеть тупой шовинистический эгоизм — сломать национальные перегородки.

И поскольку идея свободы лежит в основе замысла — предварительных тем участникам не предлагают. Говорите что хотите.

Но кое от чего круг тем все-таки зависит. Например, от места. На 1989 год конференцию планируют в Иерусалиме, а следующую, кажется, в Москве. Конечно, это будут разные конференции: одна наверняка соотнесется с духовной атмосферой Ближнего Востока, другая — с ситуацией в социалистическом мире. Еще пример: первая конференция Фонда состоялась в Нью-Йорке (в 1987 году туда ездили от нас А. Битов и О. Чухонцев), и это определило круг тем: атмосфера западного мира, Нового Света. Вторая конференция — это Лиссабон, а Лиссабон — это западный кончик Европы, глядящий через океан на Америку; это диалог через океан: не только, скажем, Англия — США, но и Португалия — Бразилия... Ну и, конечно, диалог всех литератур Европы между собой.

Вот на эту-то конференцию мы и попали в мае 1988 года.

Кто мы?

Матевосян, Ким... Первоклассные писатели, известные за рубежом. К тому же и по-человечески замечательно контрастная пара: армянин и кореец; молчаливый, аскетически заторможенный, горестный Грант

Матевосян — и живой, быстрый, мгновенно реагирующий, светящийся улыбкой Анатолий Ким. Оба, по неистребимой «соеиной» природе, засиживаются поздно, оба просят меня, «жаворонка», не дать им проспать, и по утрам я с удовольствием бужу их криком: «Классики! Подъем! Выходи строиться!» — к вящему удовольствию знающих русский язык иностранцев.

Еще одна советская участница, Татьяна Толстая, представляет как бы от «молодой литературы». Вскоре, однако, выясняется, что по известности в кругах зарубежной критики она превосходит нас всех. Прибавьте к этому яркую «цыганскую» внешность и довольно свободное владение английским — вот объяснение того, что Татьяна — ярчайшая фигура в нашей группе. Знаете, в любой короне всегда есть камешек, сверкающий по-особому. Вот таким камешком посверкивает среди нас Татьяна Толстая... камнем преткновения она окажется тоже. Но этого я еще не знаю. Хотя «что-то такое» чувствую. Во всяком случае, к дверям Татьяны Толстой я не подступаю утром с криком «Подъем!».

Говорю об этих малолитературных подробностях, чтобы читатель понял то неформальное распределение ролей, которое само собой установилось в нашей маленькой команде. Разумеется, никакого «старшего группы» среди нас нет, да это и дико показалось бы на конференции, куда приглашают писателей, а не делегации от литературы. И, однако, в моей душе, взращенной в период культа личности и доконченной в период застоя, как-то механизмы срабатывают. И не только по утрам, когда я бужу классиков. На меня давит жанр. Они — «писатели», а я — «критик». Им позволительно говорить, что бог на душу положит, а от меня ожидается и еще что-то. «Рассказать о литературе» — это я. «Связать одно с другим» — я. «Дать отпор вылазкам» — тоже я: жанр обязывает, будь он трижды неладен.

Но откуда «вылазки»?!

А из самой экспозиции, которую расписала для нас судьба. Из самой структуры дискуссии, где обозначено четко: вот «мы», а вот «они».

Кто они?

Они — эмигранты. «Третья волна». Или, как обозначает их программа конференции: «Рашэн нонсовет» — русские несоветские.

Так и запрограммировано: американская литература — общий список из восьми человек, английская —

из восьми, французов — пятеро, итальянцев — семеро, немцев — семеро, испанцев — семеро, и русских семеро, но по двум разрядам: «русские советские» и «русские несветские». Мы — они.

«Их» — трое. Два прозаика и поэт. Двое налицо — один ожидается. Налицо Сергей Довлатов и Зиновий Зиник. Тоже контраст любопытный: огромный добродушный Довлатов (родился в Уфе, вырос в Ленинграде, живет в Нью-Йорке; наши телезрители могли видеть его в фильме «Бывшие», он там редактор русской эмигрантской газеты); и Зиник — тоже, кажется, ленинградец, или москвич, затем израильтянин, ныне — лондонец; острый, насмешливый, но, по-моему, в глубине души грустный. Оба замечательные собеседники. В кулуарах с нами — полный контакт и большой взаимный интерес.

Третий — Иосиф Бродский, который отсутствует, опаздывает, ожидается; ожидание прибытия его с каждым днем становится все более интригующим.

Но о Бродском — разговор впереди; пока я приглядываюсь к приехавшим. Вернее, к «демаркации» между нами.

Итак, два разряда: «рашэн совет» и «рашэн нонсовет». Что предполагается? Какой сюжет?

Мне в этом сюжете участвовать не хочется.

Год назад Андрей Битов после первой конференции Витландского Фонда, где ему «противостоял» Ефим Эткинд, написал в «Литературной газете» загадочную фразу: «грызни не было». — Я не намерен участвовать в «грызне». Даже и «отсутствие грызни» меня оскорбляет, хотя бы тем, что ее ждут (кстати, нью-йоркский доклад Эткинда я читал; на мой взгляд, он достаточно агрессивен).

Так что доклад Зиника я беру как бы с заранее готовым решением: если будут прямые выпады — не отвечать.

Хочу пояснить читателю, откуда доклад Зиника и почему нет готового доклада у нас. Дело в том, что по правилам Фонда от каждой литературы заранее предъявляется письменный текст, нечто вроде платформы. Заботами неутомимой Роз-Мари Морз, исполнительного директора Фонда, доклады распространяются среди участников в ксерокопиях; это позволяет во время заседаний ничего не зачитывать, а прямо переходить к дискуссии.

Но мы, «рашэн совет», в силу всемирно-исторических причин лишены возможности и потому освобождены великодушными хозяевами от необходимости готовить письменные тексты заранее. Считается, что мы все симпро-

визируем устно, прямо на заседании. И не «мы», а персонально я, «критик», невольник жанра.

С чем и беру читать доклад Зиника.

Доклад Зиника

Он теперь опубликован по-русски (в журнале «Синтаксис», 1988, № 22). Блестящее, последовательное развитие мысли о заброшенности писателя в пустынный и чуждый мир. Апофеоз беспочвенности. Апология личного спасения, такого же маловероятного, как воскрешение жареного петуха в известной португальской легенде. Лучше быть Ионой во чреве кита, чем соучастником в чем бы то ни было. Лучше быть изгнанником. Лучше быть придурком, пугалом, юродивым, шутом, макабром, актером, чужаком, отщепенцем, чем поверить в общественную идею. Официальную или диссидентскую, неважно.

И все это — не без издевки, с легкой гримасой джентльмена, спрятавшего глубоко в тайниках души боль и ужас и глядящего на нас сквозь лондонский туман с холодным и чуть брезгливым интересом.

Ну, ладно, все бы ничего. В конце концов, черта ли теперь в том, где помер Овидий: у себя в Риме или в дакийском изгнании. Но одно место у Зиника меня вдруг задевает: с известной точки зрения, пишет он (то есть с его точки зрения, с точки зрения Ионы, проглоченного китом), «шедевр сталинской эпохи «Как закалялась сталь» Николая Островского и антисталинская эпика «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана» — одно и то же: «литературные близнецы-братья»...

Как человек, специально занимавшийся и Островским, и Гроссманом, я все-таки полагал бы, что это далеко не одно и то же, и даже не «близнецы-братья». Хотя бы потому, что «Как закалялась сталь» — не шедевр, а нечто совсем в другом роде, а «Жизнь и судьба» — не антисталинская, а значительно более глубокая эпика. И вообще, мне небезразлично, на каких китах стоит мир и какие киты нас жрут.

Рационально я вряд ли объясню все это, рационально тут вообще объясняться бессмысленно: каждый сам ломает свою судьбу, но чтобы вы поняли мои эмоции, я приведу из Зиника еще одну цитату, не из того доклада, на который я должен был реагировать, а из статьи «За крючками» в том же «Синтаксисе», год назад. Там Зиник ведет диалог с советским «либералом сталинской закалки», «точнее, антисталинской», что для Зиника одно и то

же, но последнее обстоятельство объясняет ему, почему этот советский либерал был выпущен «в английскую командировку». Диалог идет мучительно; Зиник думает: «Неужели он начнет сейчас излагать мне про внутреннюю свободу? Костей не унесешь...» Далее пишет:

«Вот когда они признают значение пакта между Сталиным и Гитлером», — начал было я и осекся. Я узнал этот взгляд: так смотрел на меня мой отец, еврей-коммунист, потерявший на войне ногу, когда я брякнул в полемическом пылу, что если бы не Гитлер, разбудивший российских патриотов, Сталин с Советской властью давно были бы на свалке истории. Я не боялся ни отцовского ремня, ни, тем более, его окрика; но отцовские слезы привели меня в ужас. Именно такими глазами, с порозовевшими вдруг веками, посмотрел на меня московский визитер...»

Я привожу здесь цитату из старой статьи Зиника, чтобы показать: он все отлично понимает. И про Гроссмана, и про Островского, и про Сталина, и про Гитлера. И вообще про нас с вами. Он знает, где и что у кого болит и как надо зацепить, чтобы вышло побольнее. Разумеется, я не гожусь ему в отцы и о ремне не подумал, но ужас на дне его лондонской невозмутимости я все-таки почувствовал. Мне захотелось добраться до этого ужаса, достучаться до него, дозваться.

Немного о процедуре

Но сперва надо сообразить, интересны ли все эти счета всем остальным участникам. Надо уловить, в каком направлении пошел общий разговор. Тема-то не объявляется — она выявляется по ходу конференции. Надо следить, за дискуссией.

А это, кстати, не так просто. Представьте себе огромный, «королевских габаритов» зал дворца Келюз, где из конца в конец не только слова не расслышишь без микрофона и наушников, но и лица не различишь. В зале — столы, места участников — именные. Сидишь, где указано. Наш стол — недалеко от входа. И далеко от президиума. Президиум поднят на невысокий помост, там тоже стол и десяток стульев. Именинники рассаживаются в президиуме: если в этот день обсуждается американская литература, то в президиуме американцы, если итальянская, то итальянцы и т. д.

Обсуждение строится так. Сначала высказываются все сидящие в президиуме. Потом высказывается, кто хочет, из зала. Потом каждый из именинников получает

слово для заключительного заявления. Ведет все это какой-нибудь участник, не входящий в состав обсуждаемой литературы, но знающий ее проблемы. Председателем русской секции (или русской панели, как принято говорить) объявлен, например, известный знаток русской советской и эмигрантской литератур, автор книги о Солженицыне, англичанин Майкл Скэмвел. Джентльмен, как мы убедились, когда он повел «панель» по центрально-европейской литературе накануне нашего, «русского» дня. Нам достался хороший председатель.

Кстати, зовется он здесь вовсе не «председатель». Он зовется «модератор». Успокоитель, усмиритель, если переводить точно. Ожидаются страсти?

Да, и они кипят. С первого же, «американо-английского», дня. Но дело-то в том, что доходят они до нас, сидящих за дальним столом, в несколько «снятом» виде. Видишь из своего угла большей частью затылки, кто что говорит — не свяжешь; драматургия спора пропадает. Сидишь, прикованный к наушникам, слушаешь перевод, синхронно-монотонный и совершенно безличный. Следить за развитием темы по ролям в таком положении почти невозможно. Ловим лейтмотивы:

— ...Изумительно, как единодушны мои итальянские оппоненты! До сих пор мы в Англии полагали, что единой командой выступают только советские представители...

Ага, это камень в наш огород.

— ...Если Париж для Берлина становится арбитром вкуса и красоты, то что делать нам, немцам?..

Этот, слава богу, не наш.

— ...Французы воображают, что они граждане мира, а на самом деле им грозит провинциальность...

Кажется, общая тема нащупывается?

— Американская культура вся создана эмигрантами, людьми беспочвенными, и именно это обеспечило ей мировое дыхание...

— ...Но ощущение родины у европейских писателей не противоречит ощущению ими мировых ценностей...

Первый день: американцы, англичане, итальянцы.

Второй: скандинавы, португальцы.

Третий: немцы, французы.

«Русский» день — пятый. Перед нами, в четвертый день, — еще одна сессия: «Литература Центральной Европы». Поляки, венгры, югославы, чехи... Братья. Убаюканные традиционной дружбой, готовимся мирно внимать.

Но тут-то все и начинается.

Дождик в саду

В монотонном журчании перевода — какие-то новые ноты.

— ...Культура наша — западная, а жизнь — восточная...

— ...Мы — люди Центральной Европы, наши нервы истрепаны, наши задницы иссечены...

— Мы хотели бы заниматься, как и вы, метафизикой, но вынуждены заниматься политикой...

— ...Мы живем в тени советских танков...

Мне неловко, неудобно: я чувствую жалость и одновременно стыд от этой моей жалости. Конечно, я никогда не решился бы выказать эти чувства и «заметить» то, что происходит, то есть заметить чужую слабость... Но Татьяна Толстая настроена иначе. Я чувствую, что дворянский потомственный гонор встал в ней дыбом. Я это вижу по ее глазам. Мы сидим на разных концах стола и можем переговариваться только мимикой. Татьяна поднимает брови, поднимает плечи, поднимает взгляд и, возведя очи к потолку, изображает на своем ярком лице изумление и возмущение разом. Я отвечаю неопределенной гримасой, означающей скорее усталость от проблем мира, чем желание их решать. Она знаками показывает, что намерена выступить. Я знаками отвечаю: вольно-му воля. Она поднимает руку. Майкл Скэмвел дает ей слово.

Боюсь, что я не воспроизведу ее реплику текстуально. Возможно, она и сама теперь уже в точности не вспомнит, что и как сказала. Но за смысл ручаюсь. И за драматический эффект ее реплики, прозвучавшей приблизительно так:

— Мне удивительны эти жалобы! Танки вам мешают писать? А вы стнеситесь к ним, как к плохой погоде! Что тюрьма, что дождик — это ж стихия. Надо иметь тайную свободу. И не жаловаться на сторону!

Молчание, наступившее после этой реплики, кажется мне оглушительным. Я думаю: вот таким, наверное, должен быть эффект вакуумной бомбы. Наконец один из участников (чешский писатель, живущий в Канаде) подает голос:

— Вы знаете, Татьяна, с вашего любезного позволения, я все-таки предпочел бы, чтобы в моем саду шел дождик, а не стоял ваш танк.

По счастью, сессию подпирает очередной вечерний прием: Майкл, модератор, закругляет разговор.

Чтобы оценить эффект его появления, надо же знать, что такое для западных людей нобелевский лауреат. Это такая популярность, такое «паблисити», какое у нас просто и сравнить не с чем. Во всяком случае, никакая из наших премий, государственных и прочих, не дает и тени представления о том, каким облаком почтения, преклонения и даже подобоострастия окружен в салонах и журналистских кругах запада нобелевский лауреат. Само присутствие такого человека выводит любое собрание на особый престижный уровень, — а там все это очень точно учитывается, в отличие от наших вольных краев, где лауреата даже и из чистого озорства могут «поставить на место». Здесь, на Западе, его место свято.

Козырь лиссабонской встречи — участие двух нобелевских лауреатов: Чеслава Милоша и Иосифа Бродского. Двойная звезда. Главный капитал конференции.

Милош приехал к открытию, участвовал в представлении гостей в первый вечер, и то, как он был представлен — с особым почтением и в специальной паузе во время ужина, обозначило уровень: вот — нобелевский лауреат. Он держится скромно — но чувствует магнетическое поле почтения вокруг. Короля играет свита. Чеслав Милош здесь. А Бродского нет. Его ждут; этим специальным ожиданием ему отдается такое же точно, как и Милошу, прочное, обеспеченное, вычисленное до цента, безоговорочное всеобщее почтение.

Бродский появляется во время обеда в четвертый день конференции. Я, не видя, чувствую его приближение. По тому, как загудели. По вспышкам блицев, прыгающих все ближе к столику русской группы. По тому, как вскакивают, здороваясь, люди. Я вдруг понимаю, для кого зарезервировано место рядом со мной. Еще секунда — и он рядом.

Я с ним встречался раза три в середине 60-х годов, когда после своей деревенской ссылки, в ореоле мученической известности, Бродский заходил со стихами в наш московский журнал «Знамя». Его колючее высокомерие хорошо мне тогда запомнилось: я почувствовал свою полную с ним неконтактность. За четверть века, прошедшие с тех пор, у меня не было ни причин, ни случая переменить это отношение. То, что Бродский за эти годы вырос в поэта огромной мощи, тем более не располагало «трогать его руками»...

Он подошел и сел рядом. Мы поздоровались корректно, даже дружелюбно; оба держались так, словно

расстались вчера. Но перемена в его облике потрясла меня настолько, что я сделал усилие, чтобы не подать вида.

Я мог, конечно, представить себе, что он постарел. Отвлеченно говоря, этот облысевший, «облетевший», улыбающийся, кабинетного вида затворник вполне соответствовал тому образу, который и должен принять «человек духа», живущий тем, что он «пишет, переводит и преподает». Но когда такой партикулярно-отрешенный облик сохраняет человек, идущий сквозь вспышки репортерских блицев, сквозь медоточивые речи и протянутые для автографов блокноты,— тут возникает эффект непреклонности, независимости и упрямства. И брезжит тот Бродский, которого я видел в 1966 году: молодой, рыжий, крепкий, только что вышедший из ссылки, оцетиненный и агрессивный. Которого я узнавал и не узнавал теперь, в нобелевском лауреате.

Я рассказываю это не просто из интереса к его личности, но и из желания объяснить читателю ситуацию: я прочерчиваю свой лиссабонский сюжет. Так вот: при том минимальном и чисто официальном общении, которым ограничены здесь мои отношения с Бродским, у нас нет ни малейшей физической возможности, да и желания нет — как бы то ни было соотносить намерения и тем более «сговариваться» на предмет предстоящей дискуссии: все должно произойти «само».

А «русская секция» назначена, ни мало ни много, на завтрашнее утро.

И мне надо еще раз продумать свой устный доклад и ответ на уже написанный доклад Зиника.

Оплеуха

Как начать? Уважаемые господа? Уважаемые слушатели?.. Нет... Уважаемые коллеги! Мне кажется, что на шестой день нашей дискуссии я начинаю понимать, о чем мы спорим. Мы спорим о соотношении локального и всемирного начал в литературе. Ответ на этот вопрос не так ясен, как кажется. Существует ли мировая литература? Мы чувствуем и знаем, что она существует. Но мы не можем ощутить ее реальности, потому что реально все существует только в конкретности. Человек живет не в «человечестве», он живет в малых референтных группах, хотя «человечество» — такая же неоспоримость, как и «мировая литература».

Это понятие — «мировая литература» — ввел Гё-

те, но за тысячелетия до него римляне, вглядываясь в варварский хаос за пределами своей империи, разве не ощущали себя хранителями универсальных ценностей, носителями мирового смысла, воплощением «человечества» как такового? Да и у Гёте не только о «мировой литературе» можно прочесть. У него и другое сказано: чтобы понять поэта, нужно ехать в страну поэта. Не находите ли вы, что при этом едешь не совсем туда, куда ведет «универсальные ценности»?

Из чего складывается реальность мировой литературы? Из переводов. Но в переводе мы теряем не просто язык оригинала, мы теряем и контекст оригинала, то, что его порождает и питает. Что же мы получаем в итоге? Сколок? Модель? Абстракцию?

Сьюзан Зонтаг рассказала здесь, как она, прожив два года в Швеции, влюбилась в искусство Бергмана, а потом шведы ей объяснили, что Бергман давно уже не швед, он — «мировое искусство». Что нам с этим «мировым искусством» делать? Если «эталон красоты» утверждается в Париже, то что делать немцам, у которых «болит» и которым не до эталона красоты? Что такое «универсальные ценности», когда параллельно их формированию во всем мире идут процессы их расщепления, поляризации, качественного дробления? Никто не хочет походить на другого. Это не значит, что какие-то «локальные» литературы «не доросли» до «мирового уровня»; если и не доросли, то это не меняет диалектики процесса, которую С. Аверинцев определяет как взаимопорупор универсального и локального. Без этого взаимопора дух вянет. Хотя на этом взаимопоре он и рискует.

Тут хитрость еще в том, что конкретное, локальное, фактурное чаще всего существует под псевдонимами. Сейчас оно называется «национальным», «почвенным». Полвека назад оно называлось «социальным», «классовым». Полтысячелетия назад — «конфессиональным», «религиозным». Мировой дух стоит за любой из этих версий, вне их он не реализуется, а версия в каждом случае своя.

Именно эта диалектика определяет ситуацию в современной советской литературе. Не противоречие между «диктатурой бюрократии» и «истинной художественностью», а противоречие между «либерализмом» и «почвой», причем за каждым из этих начал стоят своя правда и свои миллионы приверженцев. Вы знаете, что перемены у нас огромные. Издан Набоков, издан Булгаков, издан Платонов. Изданы Гроссман, Некрасов, Пастернак. Будут изданы Владимов, Войнович и, я уверен, в конце концов Солженицын. И это будет не «тор-

жество искусства над бюрократией», а углубление духовной борьбы, в которую уже втянуты наши лучшие силы. Это борьба вокруг все той же вечной проблемы: что такое почва и что такое литература?

Ганс-Магнус Энценбергер вчера сказал, что не дело литературы — проклинать тиранов. Знаете, это зависит от того, что вкладывать в проклятье. У нас в России было время, когда диктатура казалась единственной гарантией будущего, и ее любили, потом пришло время, когда ее стали молча проклинать, но не могли проклинать вслух, теперь настало время, когда ее можно и даже должно проклинать вслух, но дело-то в другом. Не в том, хороша или плоха диктатура. А в том, почему она побеждает. Не в том суть, кто на вершине пирамиды, а в том, кто ее выстроил. Суть в почве, на которой она стоит. Мы хорошо знаем, что фашизм отнял у человека, но мы забыли, что фашизм дал человеку. Эйфорию безответственности дал, гарантию безнаказанности! Мы проклиная деспота, но не задумываемся о том, откуда с такой легкостью он набирает себе армию исполнителей и чьи качества деспот в себе концентрирует. У нас сейчас много пишут о Сталине: Рыбаков и Симонов, Адамович и Волкогонов, Юлиан Семенов и подражающие ему, осмелевшие беллетристы третьего ряда, но корень сталинизма не в Сталине. Корень в том, каков народ. В том, почему русский солдат, сокрушивший гитлеризм, стерпел сталинскую систему. Хотя и спился... У меня нет никакой уверенности, что эти наши проблемы «универсальны» или обязательны для всех. Для Гарсиа Маркеса, автора «Осени патриарха», и вообще для южноамериканцев, они, наверное, небызынтересны, а для североамериканцев, наверно, нет. Вот я и говорю вам, что на общечеловеческой высоте слой кислорода истончается. Где дышать? Где дышат почва и судьба?..

Нет, все-таки надо прямо ответить и Зинику. ...Уважаемые коллеги! Вы спросите: а как же работают блистательные писатели, оторванные от своей почвы и избравшие иную судьбу? Как же эмигранты? Как же «отщепенцы», за самое наименование которых оскорбляется мой оппонент Зиновий Зиник? Но я, в отличие от Зиника, не понимаю и не употребляю слово «отщепенец». Для меня нет проблемы, где написано произведение, если оно написано для тех читателей, которые его ждут. Овидия загнали в глушь степей, но он остался римлянином; потому, наверное, и продолжал писать на латыни. Впрочем, дело не в языке только. На латыни начинались разные европейские национальные культуры.

Конечно, если бы Овидий перешел на язык дакийцев или хотя бы склонил на их лад свою строгую латынь,— он вполне мог бы считаться основоположником румынской и молдавской литературы. Даже если бы на строгой латыни Овидий просто описал жизнь степи,— у него уже были бы основания войти в культурную историю румын и молдаван. Но он продолжал писать для римлян, продолжал писать римскую духовную реальность, и никакая эмиграция не смогла оторвать его от этой почвы. Так о чем же речь? Только о том, что каждый писатель сам выбирает свою судьбу. Бывают великие поэты в изгнании, а бывают великие поэты-изгнанники, но дело не в месте изгнания, а во внутренней логике судьбы. Если герой Зиновия Зиника согласен существовать во чреве кита, как Иона,— значит, он там и будет существовать, но если он захочет выйти на твердую землю, то он должен будет знать, на какую он выйдет землю, где его читатель. Я подчеркиваю: где читатель, а не «где автор пишет тексты», в Англии, в Израиле или в России... Мне нет дела до того, где живет Артур Кларк. Мне уже неважно, что «Былое и думы» Герцен написал в Лондоне, потому что они написаны для меня и ко мне вернулись. Как вернулись Бунин и Набоков. Как вернутся все, кто внутренне принадлежит русской культуре. А кто принадлежит другой культуре — вернется к другой.

Конечно, возвращаются сильные. Они находят путь. Слабые — не знаю. Слабые — это «литературный процесс». В России он есть, в эмиграции — не знаю. Я не могу сказать, что делается в «эмигрантской литературе», потому что я не знаю такой отдельной литературы. Для сильных писателей есть русская литература, единая и общая, пусть и осложненная географическим разделением. Не в том суть.

А если и в том, то вот в каком смысле. Когда-то, в молодости, я ради спортивного интереса гонял по рекам плоты. Была вечная опасность — сесть на камень. Сядешь и не снимешься — в воду не сойдешь: глубоко, до берега не дойдешь: далеко. Как быть? Вот на этот-то случай и имелось у нас специальное приспособление: тяжелое бревно, привязанное к плоту длинной веревкой. Берешь это бревно и бросаешь в воду, оно разгоняется по течению, и веревка сдерживает плот с камня.

Вы понимаете, уважаемые коллеги, эту аналогию? Эмигрантская литература — это, конечно, литература, если она сплотится в процесс. А если нет? Все равно она воздействует и на читателя, и на ситуацию. Это —

как бревно, помогающее снять плот с камня. Бревно должно быть весомо, иначе не получится удара. Бревно должно быть привязано, только тогда оно поможет. Но плыть на бревне долго нельзя. Плыть можно на плоту.

Теперь я вам скажу, как называлось у нас, студентов-плотогонов, это приспособление. Оно называлось «оплеуха». Слово многозначное в русском языке. Оплеухой приводят в чувство того, кто потерял сознание. Или задремал. Оплеуха не дает вам закоснеть. Иногда достоин оплеухи человек, забывший о своем долге. Но и для такой оплеухи нужен тот человек, кто ее даст.

Нужен плот. Почва. Судьба. Взаимоупор всеобщего и твоего.

С таким ворохом мыслей я и отправляюсь на «русскую сессию». На панель.

Панель

Восемь стульев в президиуме стоят тесно. Мой — крайний. Слева от меня — Бродский, дальше Довлатов, Ким, модератор Майкл Скэмвел, Матевосян, Толстая и — на том дальнем краю — Зиник. Никого из них я не вижу, даже у Бродского я не вижу лица, разве что ухо, зато хорошо слышу каждый его вздох. Впрочем, не слышу; я ловлю дыхание зала. Чтобы лучше видеть лица, говорю стоя. Выбираю в первом ряду изящно выпрямленную Энн Гетти: ее безукоризненное внимание действует успокаивающе и даже позволяет верить, что ее жутко интересуют мои упражнения с Овидием и почва наших деспотических пирамид. До плотогонной российской оплеухи дело, к счастью, не доходит, чуткий Майкл присылает мне вежливую записку с предложением закругляться. Закругляюсь. Майкл предлагает остальным участникам сделать вступительные замечания. Бродский — отказывается. Матевосян — отказывается. Ким и Толстая произносят несколько вежливых фраз. Довлатов и Зиник тоже произносят несколько вежливых фраз. «Грызни не будет?» — вспоминаю я битовскую формулу. Майкл призывает присутствующих задавать русским литераторам вопросы.

Тотчас, без паузы, Бродский наклоняется к микрофону:

— У меня вопрос к Татьяне Толстой: как она относится к концепции центральноевропейской культуры? Вот теперь пауза.

Татьяна медленно — спокойно — распространен-

но — с полным самообладанием — обещает свою всяческую признательность тому из ее уважаемых оппонентов — включая и гениального поэта Бродского — кто будет любезен объяснить поконкретнее: что имеется в виду под этой несомненно интересной формулой?

Объяснить берется Дьердь Конрад.

Я успеваю отметить, что Бродский вздрагивает и слегка фыркает при слове «гениальный». Но мне не до психологии. Я шепчу:

— Иосиф, что это? Миддель-европейская культура Музья? Европа отечеств де Голля?

— Да ничего такого! — отвечает он быстрым шепотом и, кажется мне, с некоторой досадой. — Имеется в виду статья Кундеры, года два назад, о том, что страны Восточной Европы, кроме нас, составляют культурное единство... — И тут же громко, в микрофон: — Господа, для быстроты дела разрешите мне самому перевести разъяснение Дьердя Татьяне, а потом и ее ответ на мой вопрос. — И он начинает бегло переводить Конрада — с английского на русский, потом Толстую — с русского на английский...

Мне все еще неясно, зачем все это предпринято. Впрочем, прием, кажется, ясен: Бродский захватывает нити диалога. Берет контроль.

Однако и существо дела выявляется быстро: из-под «метафизики творчества», «внутренней свободы» и деспотизма древней Парфии, куда настоячиво уводит разговор Татьяна Толстая, — вырисовывается силуэт советского танка, который она должна теперь же убрать из садов и городов Центральной Европы!

Так. Надо влезать в драку. Не могу же я безусловно наблюдать, как она отбивается. Но мой лимит израсходован. Так что же? Разве попросить слово для реплики? Нет, лучше для вопроса... Записку Майклу... Какое сегодня число? Восьмое мая. Восьмого мая сорок пятого года Конев ввел танки в Прагу. Они что, не помнят, почему это произошло? Они все сошли с ума? Ага, Майкл дает мне слово для вопроса... А как их танки попали к нам под Москву, они что, тоже начисто забыли? Мы их туда звали? Ищу глазами Дьердя Конрада, наталкиваюсь на ненавидящий взгляд Даниила Киша. Житель Парижа, в прошлом — гражданин Югославии, он-то почему так смотрит? Что, в Белграде тоже наши танки? Ага, вот и Дьердь... Господи, что за глупость, почему Дьердь Конрад должен передо мной отчитываться за танки Гудериана?.. Разве о танках должны говорить писатели? О людях, которые сели в танки, надо говорить! И лучше — пока они еще не сели

в танки, а когда сели — уже поздно... Ах да, я же должен задать вопрос. Задаю:

— Скажите, почему между собой вы разговариваете как личности, а с нами — как с «представителями»?

Через мой вопрос переступают, не заметив. Потом уже итальянец, взяв слово, темпераментно включается:

— Для вас — мы тоже не личности, мы безликие «литературы»! Вы не читаете наших книг, а берегитесь учить нас внутренней свободе!

И Дерек Уилкотт, мулат с другого конца света, которому, казалось бы, что за дело до этих наших проблем, — и он тоже берет слово и заявляет, что ему не нравится, когда советские литераторы присваивают себе право пророков и учителей жизни.

И Сьюзан Зонтаг, звезда американской делегации, почти соболезнующе замечает, что позиция советских участников, думающих, будто конкретные проблемы в Праге, Варшаве или Будапеште легче решаются после того, как они в Москве похоронят сталинизм и перепашут его почву, — все это напоминает ей соотечественников-североамериканцев, когда те обещают содействие мексиканцам или сальвадорцам в решении региональных проблем после того, как в Вашингтоне выберут более либерального президента, что, конечно, оскорбительно и мексиканцам, и сальвадорцам, потому что этот-то подход и есть самый что ни на есть империалистический.

И все это — удары «со стороны». Что же скажут наши главные оппоненты?

Данило Киш:

— Меня более всего задевает тон — менторский, уверенный, педагогический тон, которым с нами говорят Татьяна и Лев.

Попробуй ответить на это. Каким тоном отвечать? Молчать? Каким тоном молчать?

Дьердь Конрад:

— Зачем вы нам напоминаете о Сталинграде! После войны прошло сорок три года! Когда вы уйдете? Когда?!

Быстрый шепот Бродского:

— Лева, будьте добры, около вас чашечка кофе, дайте, пожалуйста...

— Но я из нее пил.

— Неважно! — он не замечает моей иронии. По тому, как он пьет кофе, я чувствую, что у него пересохло в горле.

Тотчас Бродский громко говорит в микрофон:

— Я хочу кое-что разъяснить. Мы в Советском

Союзе (ого! Мы в Советском Союзе!) не рассматриваем литературу стран Центральной Европы как некое наднациональное целое. Для нас есть польская литература, есть чешская литература, венгерская, словацкая и так далее. Я вообще не понимаю, как можно объединять литературы по географическому признаку.

И тотчас Йозеф Шкворецкий, чех из Канады, поднимает руку:

— Но ведь между эстонской и киргизской литературами ещё меньше общего, чем между польской и чешской, однако это не мешает вам в Советском Союзе объединять их в феномен «многонациональной советской литературы»! Где же логика?

Над головами выдвигается чья-то рука, большим пальцем вверх — жест, на всех языках означающий: «Браво!»

И тотчас я получаю необъяснимый удар тока. Как если бы что-то полыхнуло рядом или качнуло волной. Так чувствуешь ситуацию в драке, когда кто-то рядом решается принять или нанести удар. Косясь на палец, издевательски маячащий над головами, Бродский говорит:

— Это не логика, а традиция. Есть культурные реальности, как есть и реальности политические. Их надо учитывать и не надо путать.

Все смотрят на него — и на тот выразительный палец, который продолжает демонстративно торчать над головами.

Все потому смотрят на этот палец, что разглядели, к о м у он принадлежит.

Палец нобелевского лауреата

Чеслав Милош продолжает держать руку большим пальцем вверх, показывая, что он не просто оценил реплику Шкворецкого, но и сам хочет говорить. Майкл дает ему слово. Становится тихо. Это финал, конец, апофеоз. Никому уже не требуется ничего делать — только смотреть, как в очном поединке решают дело два нобелевских лауреата.

...Два эмигранта, один из Польши, другой из России, два нью-йоркских жителя, по слухам, даже соседи и приятели, давным-давно, наверно, все обговорившие между собой... Но здесь — нечто особое, здесь мировое шоу, здесь надо увенчать представление, оправдать ожидания, решить сюжет.

Милош:

— Иосиф, а эта идея, что нет центральноевро-

пейской литературы, а есть польская, чешская и так далее, — она не напоминает тебе старый имперский принцип: разделяй и властвуй?

Бродский:

— Нет, Чеслав, не напоминает. О чем мы здесь говорим: о культуре или о политике? При чем тут «империя»?

Милош:

— Хорошо, я согласен, но тогда я напомним аудитории, кто первым применил к этой ситуации слово «империя»: это был поэт Иосиф Бродский!

Раздается чей-то смех. И Майкл Скэммел подсекает дискуссию, напоминая о времени и предлагая перейти к заключительным заявлениям участников.

Первое заключительное слово — Бродскому.

Бродский отказывается.

Матевосян? Отказывается.

Татьяна Толстая? Берет слово. С подчеркнутым спокойствием замечает, что Достоевскому тюрьма не помешала стать великим писателем.

Зиник? Берет слово. Интересно, о чем он думает? «Опять они про внутреннюю свободу... Костей не соберу...» Но говорит другое. С суховатой иронией замечает, что Татьяна Толстая не танкистка. И посему вывести танки ниоткуда не может.

Анатолий Ким говорит, что он тоже не танкист, а писатель. Но говорит об этом иначе: горько, открыто, беззащитно. В этой мгновенной исповеди вдруг слышится мне голос бывшего солдата, хлебнувшего лиха.

Что-то близкое по смыслу говорит и Довлатов. Тоже бывший солдат. Но интонации опять новая: покаянная, аховая, русская, с раздиранiem рубахи: бра-атцы! виноваты! Мы, русские, перед всеми виноваты! Надо представить себе фигуру Сергея, двухметрового гренадера, в роли «встающего на колени»...

Майкл объявляет меня.

Я говорю, глядя на Киша:

— Данило... Если мой тон вас обидел, простите меня: я этого не хотел.

В мертвой паузе успеваю подумать: а что если тон и этого моего извинения — слишком уверенный и педагогический?

Ищу глазами Милоша:

— Чеслав, вы неправы, когда ловите Бродского на слове «империя». Вы же знаете, что слово в стихе зависит от сложнейшего стихового контекста; в дискуссии политической контекст другой. Или у вас слова идут впереди смысла?

Теперь мне нужна Зонтаг.

— Сьюзан, хочу ответить и вам. Вы правы: от того, что происходит у вас в Вашингтоне, зависит то, что происходит в Мексике! Добавлю: от этого зависит и то, что происходит в Москве. И наоборот. Все скованы одной цепью, все повязаны. И если мы у себя пытаемся переменить обстановку, так неужели вы не понимаете, что происходит?

Вежливые хлопки. Майкл произносит несколько безукоризненных британских фраз о том, в чем правда каждого, и объявляет сессию законченной.

Наконец можно подняться со стула.

Мобилизовав остатки юмора, поворачиваюсь к Бродскому. Господи, да он мокрый!

— Иосиф, спасибо за помощь... — В его глазах сверкает молния. Я добавляю: — Но я об этом никому не скажу! — Он улыбается.

Эпилоги

Первый эпизод — спустя несколько минут. Чеслав Милош подходит ко мне прямо в зале заседаний:

— Лев, вы не должны принимать наши речи на свой счет, лично.

Во мне все вскипает... Подавляя ликование, я отвечаю:

— Чеслав, в нашей стране достаточно много людей, с которыми интереснее вести такие дискуссии.

Он:

— Мы это знаем. С вами вышло неловко.

Я:

— Не неловко... Ловкость-то мы продемонстрировали, хотя и не слишком большую. Это не «неловко», это больно.

Он говорит изменившимся тоном:

— Вы знаете, как я отношусь к русской культуре? Я продавал русские книги! Писал о Достоевском! Мне жалко русских солдат, которые гибли на войне!..

Кто-то подходит к нему за автографом. Разговор оборван.

Второй эпизод — спустя несколько часов. Татьяна Толстая, разговорившись с Бродским, засиделась с ним в баре гостиницы до глубокой ночи. Хотела понять, что побудило Бродского встать на нашу сторону, подступала к нему с вопросами. Он говорил ей о своей любви к русской культуре, к Ахматовой, к Цветаевой и даже к

святым Борису и Глебу. Когда Татьяна рассказала это мне, я усомнился в такого рода мотивах, хотя не усомнился в искренности разговора. В горячке дискуссии, я думаю, больше действовали другие факторы: Бродский оказался за д е т, он о т в е т и л, он поступил импульсивно, как поступает нормальный мужик, когда дает сдачи. Татьяне не хотелось расставаться с очарованием ее версии:

— Мы с ним говорили об этом так долго, потому что ему было необходимо продлить, пережить еще раз этот эпизод...

С этим я не спорил.

Третий эпилог — спустя несколько дней. Зиновий Зиник дал интервью лондонской программе Би-би-си. Последний вопрос корреспондентки:

— Правда ли, что Аннинский принес писателям Центральной Европы извинения под аплодисменты зала?

Ответ Зиника:

— Да, действительно, это было настолько неожиданно и для Толстой, и для Аннинского, и для Кима — слушать обвинения, что они сначала были ошарашены и лишь потом поняли, что имеется в виду...

Ответ, достойный Ионы, прошедшего сквозь китовый ус.

Впоследствии некоторые участники конференции говорили, что самое яркое о ней воспоминание — именно тот эпизод, когда Толстая посоветовала коллегам из Центральной Европы побольше думать о внутренней свободе. Обсуждая этот феномен, британский писатель Джереми Треглаун обратил внимание польских писателей Яна Щепаньского и Яна Блонского на парадоксальность того факта, что на конференции, где собрались люди, вроде бы отдающие предпочтение философии перед политикой, самый оживленный обмен мнениями оказался связан именно с политикой. На что оба Яна в один голос ответили: «Но ведь политика гораздо проще философии!»

Наверное, они правы. И все-таки я выношу из лиссабонской встречи урок не столько философский или политический, сколько психологический. И вспоминаю тот самый момент, когда меня потрянуло, обожгло волной, полыхнуло от соседа слева и я не столько понял, сколько почувствовал, что дальше произойдет.

Постскриптум. Полгода спустя. Речь М. С. Горбачева в ООН о сокращении наших войск в Европе, о выводе танков из дружественных столиц. Этого я — тогда — не предчувствовал, конечно.

Хотя, если говорить об общем климате, — это можно было предчувствовать и тогда.

Человек человеку...

...И научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать...

*Из молитвы последних старцев
Оптиной пустыни*

1

148

Белград. 17—24 октября 1988. Международная встреча писателей. Тема: литература и изгнание. Символ: изображение первого «диссидента», современника Христа, Публия Овидия Назона. Мгновенно вспоминаешь: «...страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей». Вина Овидия, как полагают, заключалась уже в том, что у него «были глаза»: он увидел в «божественном Августе» то, чего видеть было нельзя.

В зале заседаний — цвет сербской литературы, иностранные гости, в том числе и советская делегация,

а также прибывший из США И. Бродский, из ФРГ — автор уже опубликованного у нас «Чонкина» В. Войнович, из Франции — прозаик Ю. Мамлеев, выступивший с произведениями, где земное «я» борется и блуждает в сетях «сатанизма». Из СССР по специальному приглашению приехали поэты Г. Сапгир, В. Соснора, П. Вегин.

Слушая выступавших, я невольно задумывался над их судьбами и сопоставлял три волны русской литературной эмиграции: первую, великую, явившуюся следствием гражданской войны; вторую, довольно многочисленную, состоящую из «невозвращенцев», в ходе и после второй мировой; наконец, третью, возникшую в пору брежневщины. Впрочем, многие из первой волны эмигрантами себя не считали и даже обижались, когда их называли так.

— Запомните: мы не эмигранты. Мы — беженцы, — сказала мне в Париже Зинаида Алексеевна Шаховская, офицер Почетного легиона (награждена за участие во французском Сопротивлении), автор многих книг, среди которых самой замечательной я считаю «В поисках Набокова». — По своей воле мы никогда бы не покинули Россию...

Мы — осенние листья, нас бурей сорвало.
Нас все гонят и гонят ветров табуны, —

подтверждает в стихах ее мысль Александр Вертинский.

Таким изгнанником, а не эмигрантом, безусловно, является А. И. Солженицын, чье приветствие было зачитано на этой встрече. О некоторых других русских зарубежных писателях этого уже не скажешь. Впрочем, и проблема на Белградской встрече ставилась шире. Творчество как акт изгнания; самоизгнание: причины и следствия — поднимались и такие вопросы. И в самом деле, кто такие, как не изгнанники «в творчество», а то и в молчание были сгоревшие в брежневщину или вследствие брежневщины В. Шукшин, Н. Рубцов, А. Яшин, К. Воробьев, Ю. Трифонов, А. Педереев?

Острота, боль, борьба и внутренняя недосказанность — все это на встрече чувствовалось. Пусть и в иных формах, но звучали на ней и наши большие проблемы: «установление мира внутри самой литературы» (которого взыскует И. Золотусский) и необходимость диалога «с теми, для кого литература стала судьбой, а не биржевой игрой» (о чем говорит А. Ланщиков в диало-

ге с И. Золотусским «Судьба или судьбы?». — «ЛГ», 1989, 18 января). Точка зрения Ланщикова мне ближе: «Диалог возможен только в том случае, если авторы литературного зарубежья не составят новый отряд неприкасаемых, если никто из предполагаемых оппонентов не приготовился предъявить мандат об особом, собственном мученичестве. Мученичество — такая же интимная вещь, как и молитва...»

Слово «молитва», думаю, прозвучало не случайно. Само странничество далеко не всегда предполагало лишь физическое перемещение на «другие берега»: помимо этого или иногда вместе с этим существовало еще и странничество духа. Тому немало примеров среди тех, кто не покидал родной почвы. К приведенному выше мартирологу добавлю еще два имени, в рекомендациях не нуждающихся, — философ А. Ф. Лосев и прозаик и поэт В. Т. Шаламов.

Среди прочих значений слова «странствовать», кстати, есть и такое: паломничать, скитаться по святым местам, вести себя, с точки зрения расхожих представлений, «странно». В прежние времена в России бесчисленные богомольцы отправлялись в путешествие по Святой Земле или совершали паломничества в монастыри, дабы очистить от скверны греховной душу (об этом, например, с поэтическим блеском рассказал И. С. Шмелев в автобиографической книге «Богомолье», которая включена в двухтомник его произведений, выходящий в издательстве «Художественная литература»).

Совершенно особой святыней в России издавна стала Оптина пустынь, как бы духовный символ нравственного возрождения нации.

2

Оптину пустынь основал в XIV веке бывший предводитель шайки разбойников Опта, в иночестве принявший имя Макарий (отсюда — Введенская-Макариева пустынь); он же, по преданию, в начале XV века стал основателем Оптино-Троицкого монастыря.

Все это очень по-русски: «Было двенадцать разбойников, Был Кудеяр — атаман, Много разбойники пролили Крови честных христиан...» Раскаявшийся душегуб положил начало обители, где позднее возникло неповторимое в духовной жизни народа явление, известное под именем старчества.

«Старцы не управляли ничем, они жили отдель-

но, в скиту, и являлись живым словом монастыря миру: мир шел к ним за помощью, советом, поучением. Это давало, конечно, глубокую, сердечную связь монастыря с миром, святыня становилась не отдаленно-сияющей, а своей, родной», — рассказывал писатель Борис Зайцев в очерке «Оптина пустынь».

Сюда приезжали за словом утешения Гоголь, Достоевский и Владимир Соловьев; навещался Лев Толстой; здесь принял монашество, под именем Климента, Константин Леонтьев.

Так буквально на крови выросла святость.

В вихрях революции пала и Оптиная пустынь; были расseyны по соседним деревушкам, по лесам Брынским, а затем и сгинули ее обитатели. «Началось с неприкрытой государственной атаки на народную культуру. Нравственная мощь этой культуры издревле опиралась на религию... в деревне сокрушили Храм»¹. Начатая «сверху» война против духовенства принимала в «низах» такие крайние формы, что приходилось даже притормаживать раскрученный маховик. В начале 20-х годов возник специальный термин — «попоедство», который проще всего перефразировать как линчевание попов.

Сталинщина лишь поставила жирную точку. «В начале 1929 года за подписью Кагановича на места пошла директива, в которой подчеркивалось, что религиозные организации (церковные советы, мусаваллиаты, синагогальные общества и т. д.) являются единственной легально действующей контрреволюционной силой, имеющей влияние на массы. Этим фактически была дана команда к широкому применению административных и репрессивных мер в борьбе с религией»². Как с силой, духовно воздействующей на народ (по крайней мере на время), с церковью было покончено.

Не могу здесь не процитировать еще раз очерк Б. Васильева «Люби Россию в непогоду...»: «Среди многочисленных потерь огромное и решающее влияние на будущее оказали потери нравственные. Я уж не говорю о забвении постулатов Нагорной Проповеди: мы изъяли из обихода жалость и сострадание, прощение и милосердие. Мы утратили понятие смирения...» («Известия», 1989, 17 января).

В последующих испытаниях, выпавших Человеку (едва ли не самых трудных за все его историческое суще-

¹ Васильев Б. Люби Россию в непогоду... — «Известия», 1989, 17 января.

² Бордюгов Г., Козлов В. «Революция сверху» и трагедия «чрезвычайщины». — «Литературная газета», 1988, 12 октября.

ствование), был задан вопрос вопросов: Человек Человеку...?

Шел гигантский социальный эксперимент, материалом для которого стали десятки миллионов людей. Лишь отраженно, лишь косвенно художественная литература той поры могла оценить его, затрагивая самую суть проблемы.

В 1931 году начал печататься еще глубинно не прочитанный нами роман Леонида Леонова «Скутаревский», где, в частности, некий аноним посылает герою-докладчику записку. В ней он просит «напомнить ему, где именно у Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко». Разумеется, у Бебеля подобного высказывания быть не могло, и фраза, как помнится герою, принадлежит бебелевскому оппоненту Бисмарку...

Способен ли человек сохранить в этом кипящем котловане то, что выделяло его из прочей известной нам живой Природы: ценности Веры, чувства греха и стыда?

Желая сказать последнюю, окончательную правду, уже за огненной рекой, А. М. Ремизов дал свою формулу: «человек человеку — бревно». Но из сегодняшнего «далека» это не так уж и страшно — бревно. Куда, кажется, страшнее расхожее: человек человеку — волк. После крестьянского восстания на Тамбовщине, круто подавленного М. Тухачевским и В. Антоновым-Овсеенко, пошла гулять присловица: «тамбовский волк тебе товарищ» (Ю. Алешковский переделал это, очевидно ради стихотворного размера, в «брянского волка», что, конечно, слабее).

Но и волк, насытившись, не нападет на человека, если тот сам не угрожает ему; и волчица первой не бросится на людей, когда ее детеныши в безопасности. А вот человек...

Ибо. Человек. Человеку — человек.

И привитые ему христианской культурой Вера, чувство стыда и греха, способность к милосердию и покаянию, как оказалось, могут быть отторгнуты в результате одной широкомасштабной операции, неумело проведенной социальной хирургией («мимоходом повредили какой-то очень важный ген», — обмолвился в разговоре Л. М. Леонов). Путь от Опыты-Кудеяра до о. Амвросия, послужившего Достоевскому прообразом Зосимы, был долг; попятное движение от Амвросия к Опыте-Кудеяру оказалось куда как короче.

Это показывает хотя бы лагерный опыт, горький опыт наших эков-писателей.

Он был высок, худ, длиннорук, с круглой головой и неправильными, простонародно-русскими чертами лица, изрезанного глубокими складками-бороздами. И на лице этом яркие синие глаза, словно вспыхивавшие, когда разговор приобретал интересный для него оборот.

Кисти рук у него были сильные — кисти пильщика на лесоповале, хотя сами руки все время странно двигались, вращались в плечевых суставах. Ему выбили их при допросах, так же как повредили и вестибулярный аппарат: всякий раз, садясь, особенно если кресло было низким, он на мгновение терял сознание, ощущение пространства и не сразу мог сориентироваться.

В разговоре произносил слова отрывисто и словно отворачивал от собеседника лицо — не привычка ли, появившаяся после допросов? Говорил несколько в нос.

На мой взгляд, как прозаик он был много выше, чем поэт, хотя стихи его отмечены несомненным даром, незаурядностью, силой мысли. Но именно в прозе он высказал самое важное: о небеспредельности сил человеческих в столкновении с теми испытаниями (совершенно непредсказуемыми, скажем, в прошлом веке), какие выпали миллионам людей напрямую, а всем остальным — опосредствованно.

Я говорю о Варламе Шаламове. «Автор «КР», — писал он о цикле своих «Колымских рассказов», — считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа... «КР» — это судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями».

Вблизи такого манифеста любое искусство должно смиренно замолчать.

Помню, когда я стал расхваливать появившийся в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича», Шаламов прервал меня, положив на мое плечо свою вздрагивающую руку:

— Еще один лакировщик появился в советской литературе...

В отличие от А. И. Солженицына, побывавшего в круге первом, Шаламов прошел все круги ада и чудом вышел, чтобы рассказать обо всем нам.

Не так давно я прочел где-то (кажется, в «Книжном обозрении»), будто при жизни Шаламов встречал одно недоброжелательство, что на его рукописи писались сплошь отрицательные рецензии. Это ложь. Немало людей (в силу своих скромных возможностей) стремились помочь публикации шаламовских вещей. Но мешала система. Сам

я познакомился с Шаламовым после того, как написал (году в шестьдесят шестом) восторженный отзыв на его «Очерки преступного мира» для издательства «Советский писатель».

Рецензия моя, естественно, не помогла, но пропаганду Шаламова — поэта и прозаика — я повел как мог. В 1967 году вышла моя брошюра «Любят ли ваши дети поэзию?», где я говорил о шаламовских стихах, а кроме того, сумел, хоть и коряво, рассказать что-то об «Очерках преступного мира» («Очерки В. Шаламова будят ответственность и вооружают общество в борьбе за искоренение преступности, так как показывают истинное лицо уголовника»). Брошюру эту, а также рецензию на третью книгу стихов Шаламова «Дорога и судьба», написанную жившим во Франции поэтом и критиком Г. В. Адамовичем, я послал Варламу Тихоновичу в декабре 1967 года и вскоре получил от него письмо, где говорилось:

«Сердечно благодарю Вас за Вашу книгу. Книга разумна, полезна и серьезна. Несколько универсальна, пожалуй. О стихах написано необычайно мало. Асеев и Маяковский писали ведь тоже не о стихах... Особенно тронут упоминанием «Очерков преступного мира»...»

В письме упоминалась моя рецензия на сборник «Дорога и судьба», которую я направил в «Литературную газету». Рецензия долго лежала (сам. А. Б. Чаковский препятствовал ее публикации), но все же появилась в январе 1968 года под заглавием «По самой сути бытия». Варлам Тихонович откликнулся большим письмом, из которого хочется привести главное:

«Дорогой Олег Николаевич. Благодарю Вас за рецензию в «Литературной газете». Формула Ваша отличается от концепции Адамовича: «автор готов махнуть рукой на все бывшее». Я вижу в моем прошлом и свою силу, и свою судьбу, и ничего забывать не собираюсь. Поэт не может махнуть рукой — стихи тогда бы не писались. Все это — не в укор, не в упрек Адамовичу, чья рецензия умна, значительна, сердечна. И — раскованна. Сборник стихов — не роман, который можно пролистать за ночь. В «Дороге и судьбе» есть строки, есть секреты, которые открываются не сразу.

Непоправимый ущерб в том, что здесь собраны стихи-калеки, стихи-инвалиды... В свое время Пастернак был против «Чучела» и понял все только при личной встрече. В сборнике есть два «прозаических» стихотворения — «Прямой наводкой» и «Гарибальди». Эти стихи заменили снятые стихи о Цветаевой.

Я написал более тысячи стихотворений. А сколько напечатал? 200? 300? — отнюдь не лучших. Я пишу всю

жизнь. Дважды уничтожались мои архивы. Утрачено несколько сот стихотворений, тексты некоторых были мной забыты. Утрачено и несколько десятков рассказов, а напечатано в тридцатые годы лишь четыре...»

В. Т. Шаламов семнадцать лет провел в лагерях и тюрьмах: с 1929-го по 1932-й — в северо-уральских, а с 1937-го по 1951-й — в колымских лагерях. Там ежедневно, ежечасно калечили его тело и душу. После выхода писателя на свободу профессионалы от литературы, «молодые любители белозубых стишков», калечили его поэзию и не давали возможности публиковать прозу, где высказана страшная правда о человеке, заброшенном в последние круги ада.

Именно опыт лагерной жизни привел Варлама Тихоновича к созданию законченной эстетической системы (прежде всего применительно к прозе), где правда факта поставлена выше всяких художественных домыслов и «украшательств». Его удивляют и почти возмущают «200 вариантов цвета глаз Катюши Масловой» в толстовском «Воскресении». «Характеры, развитие характеров,— размышлял он в уже цитированном письме.— Эти принципы давно подвергаются сомнению. Проза Белого, Ремизова была восстанием против толстовских канонов. Но нужно было пройти войнам и революциям, Хиросиме и концлагерям — немецким и советским, чтобы стало ясно, что самая мысль о выдуманных судьбах, о выдуманных людях раздражает любого читателя... Только правда, ничего кроме правды. Документ ставится во главу угла в искусстве. Даже современного театра нет без документа. Но дело не только в документе. Должна быть создана проза, выстраданная как документ. Эта проза — в своей лаконичности, жестокости тона, отбрасывании всех и всяческих побрякушек — есть возвращение через сто лет к Пушкинскому знамени. Обогащенная опытом Хиросимы, Освенцима и [Колымы] русская проза возвращается к пушкинским заветам, об утрате которых с такой тревогой напоминал в своей речи Достоевский. Свою собственную прозу я считаю поисками, попытками именно в этом, пушкинском направлении».

Я пропускаю письма Шаламова, связанные с второстепенными эпизодами, чтобы вернуться к главному: к тому духовному вакууму, который возник после утраты ценностей христианской, православной морали. Природа, как мы знаем, не терпит пустоты. Но на вакантные места преподающего Сергея Радонежского и Алексея чело- века Божия стали претендовать совсем иные, противоположные им фигуры. В целом произошедший переворот, пожалуй, укладывается в сюжет известного шукшинского

рассказа «До третьих петухов», где ворвавшиеся в монастырь черти взамен ликов святых намалевали на иконах собственные изображения.

В начале семидесятых годов я писал работу «В исканиях гуманизма», построенную, в основном, на материале так называемой «одесской школы» (В. Катаев, Э. Багрицкий, И. Бабель, Ю. Олеша и др.). В ней, отдавая дань незаурядному художественному дарованию этих писателей, начинавших свой путь в Одессе, я пытался показать, что они были не просто крайними атеистами, но стремились как можно больнее обидеть и уязвить верующего и видели положительное начало в безудержной романтизации уголовщины. Все это было прямым следствием гибели русской Церкви и ее духовной культуры.

В «Очерках преступного мира» имелись странички, созвучные моим мыслям, и я обратился к Шаламову с просьбой, чтобы он разрешил их использовать. Ввиду важности полученного мной письма привожу большие фрагменты из него:

«Дорогой Олег Николаевич! С удовольствием разрешаю Вам использовать мои работы, как Вы хотите — в любых пределах и формах. Это — ответ по пункту «а». По пункту «б» — страничку из «Очерков преступного мира» прилагаю. Эта ли? Есть еще и «с» — дополнение, возможно, полезное для Вашей работы. «Одесская школа» — это блеф литературный, очень дорого обошедшийся советскому читателю.

«Дополнение» возникло потому, что моя работа написана крайне сжато, конспективно. Сказать надо было так много, что, как ни важна эта тема — а она очень важна, бесконечно важна, — не было и нет времени на расширение аргументации, примеры и прочее.

Но и сейчас — через пятнадцать лет после записи «Очерков преступного мира» — все остается по-прежнему, ни капли правды не проникло по блатному делу ни в литературу, ни на сцену. Казалось бы — что страшного в развенчании блатного мира? Недавно появились «Записки серого волка» — очевидная «туфта» по этому важному вопросу... «Серый волк» — бандит, а не вор... Это — очередной опус шейнинского толка. Наш век — век документа. Появляется автобиография бандита. До воровского царства еще очень далеко. Но это все попутно, а «с» (дополнение) может выглядеть так:

О Бабеле можно сказать и больше. Кроме «Одесских рассказов» с Беней Криком, имевших огромный читательский успех, есть у Бабея пьеса «Закат», шедшая в Художественном театре (2-м?), выросшая тоже на шуме блатной романтики «Одесских рассказов». «Закат» пользо-

вался большим успехом, трактовался печатно, как новый «Король Лир».

Совсем недавно кинорежиссер Швейцер окупился в блатную шекспириану, поставив «Золотого теленка» — программную вещь «одесской школы» — по схеме «Гамлета» с монологами о суетности жизни, с шутком Паниковским и могилой шута. Если биндюжник Мендель Крик — это король Лир, то Остап Бендер Юрского — Гамлет, не меньше.

Эллий-Карл Сельвинский, как он себя именовал в те годы, для сборника «Мена всех» — каламбур, задуманный в поддержку ямба Ильфа и Петрова в Воронежской слободке, — дал свой фотопортрет в жабо из лебяжьих перьев. Близ портрета было стихотворение «Вор», вошедшее во все хрестоматии двадцатых годов и во все сборники Эллия-Карла Сельвинского:

Вышел на арапа. Канает буржуй,
А по пузу — золотой бамбер...

Неумелое управление блатной лексикой не было никем замечено. На Колыме я читал вора́м это стихотворение — для опыта — они отмахивались со злобой. Да и верно: не для них ведь оно было написано».

А далее в письме речь шла о стихотворных «уголовных» новеллах «Мотькэ-Малхамовес» И. Сельвинского и «Васька Свист в переплете» В. Инбер.

Наблюдения Шаламова сегодня приобретают — помимо их общего значения — неожиданную злободневность и остроту. В газетных очерках мы читаем о сращении преступного мира с чиновничьей бюрократией, о существовании у нас мощной организованной преступности. И уголовный мир, вербуемый в свои ряды представителей госаппарата, ныне совсем не тот. Новые «герои» еще ждут своих биографов. Однако примечательно и достойно сравнения то, что именно в либеральные годы нэпа «воры в законе» заявили о себе наиболее громко и тотчас же получили широкую «моральную» поддержку в нашей литературе. В этом смысле очень ценным представляется еще одно свидетельство Шаламова, уже из его «Очерков преступного мира» (глава «Об одной ошибке художественной литературы»):

«В двадцатые годы литературу нашу охватила мода на налетчиков. Бе́ня Крик из «Одесских рассказов» и пьесы «Закат» Бабе́ля, «Вор» Леонова, «Ванька Каин» и «Сонька-городушница» Алексея Крученых, «Вор» и «Мотькэ-Малхамовес» Сельвинского, «Васька Свист в переплете» В. Инбер, «Конец хазы» Каверина, налетчик Филипп из «Интервенции» Славина, наконец, фармазон

Остап Бендер Ильфа и Петрова — кажется, все писатели отдали легкомысленную дань внезапному спросу на уголовную романтику.

На эстраде Леонид Утесов получил всесоюзную аудиторию блатной песенкой «С одесского кичмана»... Утесову откликнулся многоголосый рев подражателей, последователей, соревнователей, отражателей, продолжателей, эпигонов:

Ты зашухерила
Всю нашу малину...

и т. д.

Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила много опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также всеми неупомянутыми авторами произведений на подобную тему, эти произведения имели успех у читателя, а следовательно, приносили значительный вред.

Дальше дело пошло хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой «перековкой», той самой перековкой, над которой блатные смеялись и не устают смеяться по сей день. Открывались Болшевские и Люберецкие коммуны. Сто двадцать писателей написали «коллективную» книгу о Беломорско-Балтийском канале. Книга эта издана в макете, чрезвычайно похожем на иллюстрированное Евангелие. Одна из притч «История одной жизни» написана М. Зощенко и всегда включалась в сборники его сочинений. Литературным венцом этого периода явились погодинские «Аристократы», где драматург в тысячный раз повторил старую ошибку, не дав себе труда сколько-нибудь серьезно подумать над теми живыми людьми, которые сами в жизни разыграли несложный спектакль перед глазами наивного писателя.

Много выпущено книг, кинофильмов, поставлено пьес на темы перевоспитания людей уголовного мира. Увы!

Преступный мир с гутенберговских времен и по сей день остается книгой за семью печатями для литераторов и для читателей. Бравшиеся за эту тему писатели разрешали эту серьезнейшую тему легкомысленно, увлекаясь и обманываясь фосфорическим блеском уголовщины, наряжая ее в романтическую маску и, тем самым, укрепляя у читателя вовсе ложное представление об этом коварном, отвратительном мире, не имеющем в себе ничего человеческого...»

О коллективном сборнике наших писателей, посвященном строительству Беломорско-Балтийского канала

(открыт в 1933 году) и произошедшей будто бы там «перековке» преступников и «врагов народа», рассказывал мне Л. М. Леонов.

— Я участвовал в поездке, организованной Горьким, но в сборник ничего не написал. И это мне дорого стоило... Помню пароход, роскошный буфет, оркестр, беспрерывно играющий вальсы. Дирижер — румяный толстяк, у которого от упитанности фалды пиджака не сходятся сзади. Я спросил: «Кто это?» — «Видный румынский шпион!..» А по берегам, — продолжал рассказ Леонид Максимович, — стояли, беспрерывно кланяясь, мужики, с зелеными бородами, худые, руки ниже колен.

После поездки Л. Авербах собирал участников в ресторане «Метрополь», чтобы организовать сборник, воспевающий новостройку (почетным куратором книги был сам начальник ОГПУ Генрих Григорьевич Ягода, кстати, родственник Авербаха). Леонов не явился. Не пришел он и в следующий раз. Авербах звонил ему: «Это что же, саботаж?» Леонов не был и на третьем сборище. Постыдная книга — новое Евангелие, с именем М. Горького на титульном листе, — вышла.

— Боялся, не подходил к телефону, — вспоминал Леонид Максимович. — Щекотно, знаете, было. Но меня там нет...

Смысл всего сказанного выше можно бы сформулировать просто: пора все-таки отказаться от басни, будто тогда «никто ничего не знал»...

4

Однако даже самые крайние противники Советской власти не могли себе представить всего происходившего.

Ариадна Цветаева, дочь поэтессы, будучи в гостях у Б. А. Слуцкого, в Москве, в 3-м Балтийском переулке, при мне рассказывала, что, когда она возвращалась на Родину, Бунин в сердцах бросил ей: «Дура! Куда ты едешь? Тебя пошлют работать на какую-нибудь макаронную фабрику!» Сам автор «Окаянных дней» не мог предположить, что она окажется не на макаронной фабрике, а в лагере.

Сейчас все мы всенародно думаем, когда же все произошло. Намечаются этапы: 1937—1938 годы; 1929 год; 1923-й... Стоп! Дальше демократия и гласность не срабатывают. Проиллюстрирую это примером. Летом прошлого года я послал короткий отклик в еженедельник «Книжное обозрение»:

«Хочется поправить историка С. Бурина, заявившего в рубрике «Резонанс» («КО», № 33): «И уж во всяком случае Ленин никогда... не вышвыривал их (своих оппонентов. — О. М.) за пределы Отечества».

Это не так. При Ленине было совершено несколько подобных акций. Отмечу две. В январе 1922 года, после длительной голодовки в Бутырской тюрьме, были освобождены и высланы за границу лидеры меньшевистской партии Ф. И. Дан, Б. И. Николаевский, Л. О. Дан и Е. И. Грюнвальд. В 1922 году были арестованы, а затем (осенью) высланы из Советской России видные деятели науки, философии, литературы. Среди них: ректор Московского университета биолог М. М. Новиков и ректор Петербургского — философ Л. П. Карсавин, декан математического факультета Московского университета В. В. Стратонов, экономисты С. Н. Прокопович, В. Д. Бруцкус, И. И. Лодыженский, Д. А. Лутохин, Н. Н. Зворыкин, философы Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, С. Е. Трубецкой, И. И. Ильин, Н. О. Лосский, И. И. Лапшин, почвовед Б. Н. Одинцов, социолог Питирим Сорокин, литераторы Ю. И. Айхенвальд, М. А. Осоргин, Ф. А. Степун, А. С. Изгоев, Е. Л. Кускова и ряд других, в том числе хранитель музея Л. Н. Толстого и его бывший секретарь В. Ф. Булгаков.

Если уж стремиться говорить правду, так не надо делать недомолвок и искажений».

После долгого молчания мне ответили вежливым письмом, где было все: признание моей правоты, извинения и... отказ мой ответ опубликовать. Так обнажились пределы гласности.

Разумеется, легче всего свалить все исторические беды на сталинщину, как это делает, например, в своем известном романе А. Рыбаков. Середина тридцатых годов становится у него не только кровавым символом несправедливости, но и точкой отсчета массовых беззаконий. Но тогда и репрессивный аппарат должно представить себе вышедшим в готовом виде, словно Афина-Паллада, появившаяся из бедра Зевса в шлеме, со щитом и копьем. На самом деле эта страшная датировка явилась лишь одним из заключительных актов в длительной драме. Можно напечатать не пять, а пятьдесят миллионов экземпляров романа А. Рыбакова «Дети Арбата» — к истине мы не приблизимся. Между тем поверхностная концепция «внезапного зла», видимо, очень устраивает: «Дети Арбата» стараниями критики, органов массовой информации и, наконец, Госкомиздата сделались воистину настольной книгой для народа и непререкаемой классикой.

Дочь моего знакомого, историка по образованию и продавца в московском букаме (вследствие зигзага судьбы), круглая отличница, на вопрос учительницы о романе А. Рыбакова с юношеским максимализмом ответила, что написан не пером, а лопатой. На педсовете за это учительница потребовала снизить ей в четверти оценку по поведению.

Одновременно с триумфом романа Рыбакова было напечатано другое произведение о детях Арбата, прошедшее совершенно незаметно, хотя появилось оно в популярном журнале «Огонек» (1987, № 51). Это небольшой рассказ Бориса Зайцева «Улица св. Николая». Он — о судьбе подлинной российской интеллигенции.

«Профессора семьями тусклыми везут свои пайки в салазках; женщины бредут с мешками за плечами — путешественницы за картофелем, морковью... Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продает конверты — близ Никольского. А у Николая Чудотворца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто старовоенном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник, с седенькими, тупо-заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно твердит: «Подайте полковому командиру!» Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, вниз глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице, и цепенеет в седой изморози, на высоте своей. А внизу фуры едут, грузовики с мебелью. Столы, кровати, умывальники; зеркала нежно и небесно отблескивают, покачиваясь на толчках. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, выселяют, все перерывая, вороша жизнь старую».

Это вселяются новые дети Арбата.

Задумывались ли герои Рыбакова, кого они своим вселением вытеснили, чье место заняли в жизни и обществе и кого упразднили? Сравнили с землей святителя Арбата, который охранял его в трех лицах — Николая Плотника, Николая-на-Песках и Николая Чудотворца. Чувство греха и стыда, совесть уступили место вседозволенности: новые люди не подозревали, празднуя свою победу, что на зле не построишь добра: «се отмщение, и аз воздам...»

Итак, диагноз, кажется, очевиден: это наша национальная междоусобица...

Еще только будут написаны (или уже пишутся) нашими учеными исследования о гражданской войне в России, где дадут высказаться обеим сторонам. До сих пор мы выслушивали только одну, «свою» сторону, не получая в итоге объективной картины. А гражданская война во все времена была самой жестокой и беспощадной, самой трагической, когда брат шел на брата, сын — на отца. Эта взаимная ожесточенность с замечательной правдивостью передана в нашей национальной эпопее — «Тихом Доне» М. А. Шолохова, где сцены казни большевиков белогвардейцами соседствуют с эпизодами расправы красных над белыми пленными, где в муках неразрешимых мечется, не находя полной, абсолютной правды и взыскав ее, Григорий Мелехов. Но, кстати, даже и в «Тихом Доне» отсутствуют самые страшные эпизоды: переходящие в геноцид массовые расстрелы мирных жителей Дона (включая женщин, детей, стариков), последовавшие после подписанной Я. М. Свердловым директивы о «расказначивании».

В этом смысле замечательной, смею сказать, эпикальной является книга И. А. Бунина, написанная в форме дневника, — «Окаянные дни»¹.

Книга проклятий, расплаты и мщения, пусть словесного, она по темпераменту, желчи, ярости не имеет ничего равного в «больной» и ожесточенной белой публицистике. Потому что и в гневе, аффекте, почти исступлении Бунин остается художником: и в несправедливости — художником. Это только его боль, его мука, которую он унес с собой в изгнание. Предельная внутренняя честность и порядочность Бунина, его чувство независимости, собственного достоинства, неспособность лгать, притворяться, идти на компромисс со своей совестью — все это было жестоко попорано в хаосе гражданской войны.

Он увидел ее только с одной стороны. Однако весь белый террор был такой же реальностью, что и красный. Производились массовые расстрелы заложников, уничтожались и пленные красноармейцы, и сдавшиеся в плен юнкера и офицеры (начиная с ноября 1917 года, после подавления белого мятежа в Москве, пленные были расстреляны в Лефортове). А после директивы о красном терроре, подписанной Я. М. Свердловым в ответ на террористические акты, проведенные эсерами в июле 1918 года, ожесточение стало безмерным.

¹ Фрагменты из «Окаянных дней» опубликованы в Собрании сочинений И. А. Бунина в шести томах, т. 6, М., 1988.

Сошлюсь только на один пример — судьбу врангелевских офицеров, не пожелавших уехать на чужбину. В. В. Вересаев, автор объявленного критикой «контрреволюционным» романа о страданиях интеллигенции в красном Крыму — «В тупике», вспоминал:

«Когда после Перекопа красные овладели Крымом, было объявлено во всеобщее сведение, что пролетариат великодушен, что теперь, когда борьба кончена, предоставляется белым на выбор: кто хочет, может уехать из РСФСР, кто хочет, может остаться работать с Советской властью. Мне редко приходилось видеть такое чувства всеобщего облегчения, как после этого объявления: молодое белое офицерство, состоявшее преимущественно из студенчества, отнюдь не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками, за которыми они не сумели разглядеть широчайших народных трудовых масс, давно уже тяготилось своей ролью и с отчаянием чувствовало, что пошло по ложной дороге, но что выхода на другую дорогу ему нет. И вот вдруг этот выход открылся, выход к честной работе в родной стране.

Вскоре после этого предложено было всем офицерам явиться на регистрацию и объявлялось, те, кто на регистрацию не явятся, будут находиться вне закона и могут быть убиты на месте. Офицеры явились на перерегистрацию. И началась бессмысленная кровавая бойня. Всех являвшихся на регистрацию арестовывали, по ночам выводили за город и там расстреливали из пулеметов. Так были уничтожены тысячи людей» («Огонек», 1988, № 30). Во главе расправы стоял Ю. Л. Пятаков; непосредственно расстрелами руководил Бела Кун.

Следует иметь в виду и то, что в революции и гражданской войне помимо сознательных большевиков приняли участие анархисты, левые эсеры и просто темные силы, вплоть до настоящих бандитов вроде атамана Григорьева, «батяки» Махно (несколько раз участвовавших в боевых действиях Красной Армии) или просто помешавшейся на казнях пресловутой «тети Маруси». Кстати, именно атаман Григорьев со своими молодцами вошел в 1919 году в Одессу, когда там находился Бунин, а во взятии Перекопа участвовали «хлопцы» Махно...

Они производили обыски, реквизиции, аресты, допросы, казни, не считаясь с «революционной моралью». И элементы эти проникали повсюду. Позволю себе скромное лирическое отступление — из биографии моего собственного семейства. Когда в Иркутске в 1919 году (город, переходивший из рук в руки, только что был занят красными) моя бабушка, профессор консерватории (которая, как и университет, была основана А. В. Колчаком),

собиралась, по обыкновению, на занятия, дорогу ей заступил комиссар, в прошлом учившийся у нее пению:

— Гертруда Васильевна! Что вы делаете?

— А что такое?

— Да если вы выйдете в этой шляпке, в нее кто-нибудь обязательно выстрелит!..

Маленький штрих отошедшей в небытие трагедии.

...Как юродивый, который, шевеля веригами, под звон дурацкого колокольчика иступленно кричит хулы — сквозь хохот и улюлюканье, — Бунин неистово прокликает революцию. Писать об этом тяжело, но писать — надо. Сколь же ходит вокруг да около! Сгустком всего, выраженного в «Окаянных днях», можно считать позднейшую (1924 год) речь Бунина «Миссия русской эмиграции». Слова, как раскаленные угли, которые больно держать в руках.

«Россия! Кто посмеет учить меня любви к ней?.. Пусть не всегда подобны горному снегу одежды белого ратника — да святится вовеки память его. Под триумфальными воротами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Где те врата, где то пламя, что были бы достойны этой могилы? Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я — в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того, да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для неправедного времени сего, и для будущих праведных путей самой России.

А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это — мой бог и моя душа. «Ради самого Иерусалима не отрекись от Господа». Верный еврей ни для каких благ не отступил от веры отцов. Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России: но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть.

Говорили — скорбно и трогательно — говорили на древней Руси: «Подождем, православные, когда Бог переменил орду».

Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый «похабный мир» с нынешней ордой».

Таковы позиции, на которых находился Бунин (как и тысячи, сотни тысяч эмигрантов) не только в 1918—1919-м, но и в последующие, 20-е и 30-е, годы.

Нравится нам это или нет, но замалчивать их нельзя. Уже нельзя — в нашей новой атмосфере демокра-

тизации и гласности. Однако как тут быть? Ответить на это бранью? Хорошо знакомый старый прием. Когда не хватает аргументов — переходят к кулакам. Но ведь и вышел срок браниться, ибо оппонент уже тридцать шесть лет как безгласно лежит, надвинув на себя тяжелую плиту.

С болью оглядываемся мы сегодня назад, постигая, чем заплатили и чего достигли. И прав, конечно, И. Золотусский, когда в диалоге с А. Ланщиковым «Мемориал» и вокруг него» говорит: «Я за то, чтобы поставить памятник всем. Чтобы воздать должное тем, чья жизнь была безвинно растоптана в 37-м, в 30-м и 33-м годах, и тем, кто погиб во время гражданской войны и в результате зверств «чрезвычайки», о которых пишет в письмах к Луначарскому Короленко» («ЛГ», 1989, 4 января).

Между тем инерция прежнего мышления чрезвычайно сильна. Мне уже приходилось отвечать одному рассерженному читателю, готовому обвинять во всех грехах кого угодно, не замечая, что от собственных его рассуждений тянет холодным духом отечественного маккартизма из недоброй памяти конца 40-х и начала 50-х годов. Избавиться от сталинского догматизма в психологии, не жить чужими цитатами, стать терпимее, мудрее (учась на памятных ошибках) — вот, я думаю, главная задача наша. Никакой перестройки не произойдет, если мы не начнем ее с самих себя.

...Страсти стали историей, и мы прикасаемся к ней уже как археологи, сращивая разорванные куски России.

6

Но только ли «историей»?

Главным итогом гражданской войны явился массовый исход, «великая эмиграция», которая создала свою, «параллельную» культуру. Ее связи с Родиной были окончательно и резко пресечены в самом начале 20-х годов. Однако общее, опосредствованное воздействие гражданской войны оказалось куда шире: она определила во многом духовный, нравственный климат в стране. Ожесточение было загнано вглубь, болезненный раскол и через десятилетия давал о себе знать надломами и трещинами.

Сегодня, как очевидно, нужно искать не оправдание или даже объяснение всему происшедшему. Куда важнее нащупать «зрячим посохом» возвратный путь к человечности и милосердию. Замечательна в этом отно-

шении концовка молитвы последних старцев Оптиной пустыни, иерархия слов. Они расставлены, словно некая духовная лесенка, ступенька за ступенькой — вверх. Первым идет «*молиться*», т. е. приносить покаяние свое Богу. За ним — «*надеяться*», ожидать с уверенностью, считать исполнение своего желания вероятным. Далее: «*верить*» — признавать высшие истины без всякого сомнения и колебания. Следующее слово — «*любить*», той чаемой евангельской любовью к ближнему, урок которой преподавала нам не так давно мать Тереза. Затем — «*терпеть*», великодушно и безропотно переносить бедствия. Но венец всему — «*прощать*», не преследовать за обиду, отпустить вину: «*Бывайте же друг ко другу блази, милосерди, прощающие друг другу, яко же и Бог во Христе простил есть нам...*»

Не есть ли это главное, вещее слово и сегодня?

Клинок гражданской войны «достает» нас и в проявляющемся недоверии «деревни» к «городу» и «города» к «деревне», и в групповых, часто бесстыдных стычках, и в общем бескультурье нашем (во многом объяснимом тем, что гуманистические традиции оказались насильственно оборваны). Дальнее проявляется, отзывается дальним эхом и в той демонстративной «внечервенной» позиции, какую занимают сегодня жрецы искусства, к примеру, иные русские зарубежные писатели.

Возвращаясь к писательской встрече в Белграде, я вспоминаю, как подробно и обстоятельно писатели разных стран говорили о своей неразделенной любви к народу, который они были вынуждены покинуть. Диссонансом прозвучало выступление недавнего нобелевского лауреата И. Бродского, смысл которого сводится к следующему: «Проблемы литература и изгнание не существует. Ибо писатель живет там, где ему экономически выгоднее...»

Как жаль, что этого не могут услышать ни Герцен, ни другой русский Нобелевский лауреат — Бунин, в горьком изгнании своем сказавший: «Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто?» Ведь именно это чувство позволило ему не только выжить, но и написать за рубежом лучшие свои произведения...

Впрочем, ответом И. Бродскому могло бы служить слово, произнесенное на той же встрече поэтом Г. Сапгиром. Он заметил, что никогда не мог бы покинуть Россию, жить и писать вне ее. Но так как его не печатали как поэта, он вынужден был уйти в детскую литературу. «Детская литература и была моей эмиграцией», —

подытожил он. Сейчас стихи Сапгира публикуются в периодике (см., например, «Новый мир», 1988, № 12), выходят отдельной — первой! — книгой в издательстве «Советский писатель».

...Любовь к человеку была религией нашей классики. Та самая любовь к ближнему, которой так недостает сегодня. Но вновь звучит благовест церковный, призывающий нас прощать — прощать друг другу. Вспоминаю рассказ очевидца, как после смерти одного известного литературоведа, запятнавшего себя в тридцатые годы преступлениями против совести (можно только догадываться, как вынудили пойти на них его, бывшего литературным секретарем Л. Б. Каменева), у его постели нашли французский томик сочинений блаженного Августина. Там были отчеркнуты те места, где говорилось, что даже самый страшный грешник сохраняет надежду на милосердие Божие. Рядили еще в народе, будто один из самых ближних сталинских опричников в последние годы перед кончиной стал ревностным богомольцем в Георгиевском храме, что во Всехсвятском...

Новый Опта, хочешь надеяться, примет постриг и станет новым Макарием, в согласии со сделавшимися народными некрасовскими строками: «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил...»

Ибо: Человек. Человеку — человек.

На перекрестке мнений

Диалог о правде и кривде

В. О. Избранный нами жанр откровенной беседы, прямого разговора крайне рискован. Догадываетесь — чем? Непомерностью коварного местоимения «я», которое то и дело будет норовить сорваться в диалоге. Казалось бы, пусть себе срывается, куда без него, если речь о том, что наболело в каждом. Но упаси бог сорваться ему так гипертрофированно, как, например, в дневнике середины 60-х годов, который посчитал за благо обнаружить в году нынешнем один наш коллега по критическому цеху. Можно спорить, скромно или нескромно распечатывать таким образом «себя любимого», не достойней ли отложить «на потом», предоставить наследникам и т. д. Но бесспорно, что амбициозность своего «я» лучше бы оставить достоянием личного архива, куда, по крайней мере при жизни автора, вход посторонним строго воспрещается. Иначе как-то неловко выходит. С одной стороны, узнаем из дневниковых записей, «самое крупное мое желание» напечататься у Твардовского в «Новом мире», а с другой — «мне с ними не по пути» по сообра-

жениями эстетическим: «я иду к художничеству», а они, утилитаристы, «крепко сидят в социальном эмпиризме» и «уж их оттуда не собьешь». Это ли не гипертрофия эгоцентрического «я», все поставившего с ног на голову? Нет для литературы ни заботы, ни печали в том, что кому-то было не по пути с Твардовским. По пути ли Твардовскому с ним? — так правомернее ставить вопрос...

Так вот: с учетом коварного местоимения «я» давайте условимся заранее свести его в нашей беседе к минимуму. И если уж доведется все-таки говорить что-то и о себе, то пусть это будет о себе во времени. А еще надежней — о времени в себе. О том, как мы его понимаем, в чем видим его неотступные проблемы.

А. Е. Мне кажется, не стоит так уж опасаться злокозненного коварства этого самого бедного «я». Вы разве не подустали за минувшие годы от беспрестанного МЫчания? Не наМЫкались? Мы — все как один... Мы — сплоченными рядами... Придерживая, приструнивая собственное «я», мы таким образом и вносили свой мощный вклад в упрочение тоталитаризма. Вот и получалось: один как все и все — при случае, по команде — на одного. Хотите цитатку для примера? «Ни один честный человек, ни один писатель — все, кому дороги идеалы прогресса и мира, никогда не подадут ему руки, как человеку, продавшему Родину и ее народ!» Таким вот образом предавали анафеме московские писатели Бориса Пастернака в 1958 году. Так что гипертрофированное «мы» меня волнует больше.

Смысл происходящего с нами — внутри нас и вовне — можно определить словами из «Котлована» Андрея Платонова: появилась особо настоятельная необходимость «работать над веществом существования». То есть речь идет о смысле жизни — как общества в целом, так и отдельного индивидуума. Как же тут без «я»? И работа эта непростая...

В. О. Но «над веществом существования» предстоит работать не каждому в одиночку, а, как говорили в старину, всем миром. И новое мышление тем новее, то есть тем более надежно, основательно, конструктивно, чем шире завладевает не отдельными, пусть самими выдающимися умами, а общественным самосознанием в целом.

Я лично долгое время с большой, что ли, завистью следил за выступлениями некоторых историков, экономистов, философов, социологов. Влекло их стремление выйти к постановке проблем глобальных, которые проникают во все сферы нашей жизни. И тут же брала досада:

как не хватает такой широты и остроты проблемного разговора о самом насущном нам — писателям, критикам. Но вот и в литературной печати появляются публикации, которые тоже становятся образцом нового мышления и в нашей профессиональной сфере. Статьи Юрия Карякина в «Знамени», Юрия Буртина в «Октябре» и «Новом мире», Игоря Дедкова в «Коммунисте». Однако наглядно и, увы, куда более наступательно, даже, если хотите, агрессивно, заявляет о себе и мышление старое: инерция его довольно стойкая, цепкая.

А. Е. В чем и как оно, по-вашему, проявляется?

В. О. Не случайно, например, одним из плацдармов столкновения, противоборства нового и старого мышления стал исторический опыт минувших — недавних и давних — десятилетий. С одной стороны, к примеру, обеспокоенные, встревоженные раздумья Юрия Афанасьева об обилии «белых пятен» в истории советского общества, настоятельной научной да и духовной потребности устранить наконец их, неотложной необходимости отринуть многие сложившиеся стереотипы.

А теперь сопоставим писательские суждения о том же Александра Проханова. В чем, собственно, пафос его статьи «Так понимаю!» («Литературная Россия», 1987, 3 апреля)? По-моему, в утверждении: все, что было в нашем прошлом, — все исторически закономерно, неизбежно и необходимо, даже, можно подумать, к лучшему. Сначала, рассуждает он, голодный социализм 20-х, затем строящийся социализм 30-х, потом сражающийся с фашизмом социализм 40-х годов, когда «и зэки просились на фронт». Говоря откровенно, это «и» меня покорило. Не умиляться пристало писателю, а выразить для начала отношение к тому, что люди, которые рвались в штрафбаты из лагерей, оказались «зэками». Ничуть не бывало: трагическое сущее он принимает за неотвратимое должное. Как, сдается, и Владимир Бондаренко в «Очерках литературных нравов» («Москва», 1987, № 12). Сославшись на «убежденных, сильных людей», какими и в тюрьмах оставались С. Королев, А. Туполев, К. Рокоссовский, критик вроде бы и не считает такое их испытание противоестественным. Оттого и вторит фанфарно Александру Проханову: «Из лагерей шли добровольцами в штрафбаты защищать Родину!»

А. Е. Между прочим, не каждый шел, кто хотел. Некоторых, как, скажем, сына П. П. Постышева, расстреливали на виду лагеря за одно то, что подавали заявления с просьбой отправить на фронт...

В. О. Вот и получается, что перед лицом исторической необходимости подобные трагические случаи,

кровоточащие примеры — а им, как мы знаем, нет числа — если не совсем оправданны нравственно, то вполне закономерны социально. Такой уж, дескать, вариант изначально задала нам история своей непрерываемой, всесокрушающей волей. На диво умиротворенная и отстраненная историософия!

Соблазнила она и Василия Рослякова в статье «Реванш?» («Литературная Россия», 1987, 28 августа). Не принимая ключевого тезиса Сергея Залыгина из знаменитой статьи «Поворот» («Новый мир», 1987, № 1) о том, как, «решительно распрощавшись с нэпом, мы заодно распрощались и с вариантным мышлением и целиком сосредоточились на главном (и единственном) направлении — на задаче индустриализации и коллективизации страны любой ценой», автор статьи ответной разъясняет оппоненту и внушает нам вместе с ним, будто нашей истории было не до разных вариантов: вопрос стоял ребром — кто кого? — и никакого выбора никогда не существовало. Не фатализм ли это своего рода? Продолжая логически мысль писателя, раньше и прежде всего призванного быть гуманистом, легко дойти до признания, что ставить людей к стенке — тоже один-единственный и, значит, исторически неизбежный вариант. Ничего себе — гуманизм...

Убежден: проблема вариантности конкретных путей и форм строительства социализма, развития социалистической демократии, вариантности возможных выборов и решений грозит выдвинуться и уже выдвигается в число важнейших исследовательских плацдармов исторической науки. А значит, и художественных концепций истории в современной литературе. Ведь это неправда, будто на всех своих крутых поворотах, на вспененном гребне переломных событий история, лишая нас возможности выбора, всегда предоставляла нам только один вариант, и именно избранный, состоявшийся, тот, который узаконивался и осуществлялся. Ну, скажем, ленинское представление о нэпе «всерьез и надолго» — это один вариант, а сталинское сворачивание, отмена нэпа — совсем другой. Существовали разные варианты и в «год великого перелома»: их сопоставляют, о них раздумывают, спорят герои романов Бориса Можаяева «Мужики и бабы», Василия Белова «Кануны». Один — ленинский кооперативный план, который не был проведен в жизнь, а другой — коллективизация по-сталински, с «ликвидацией кулака как класса», что на деле обернулось разорением, уничтожением среднего крестьянина, «раскрестьяниванием» страны.

А. Е. Просто так уж у нас принято было считать, что по большому счету деятельность государственной

власти безоговорочно верна, что линия политического руководства всегда безупречна. А раз так — то, помилуйте, о каких вариантах речь? Нам постоянно внушалось, что мы идем по единственно верному, по единственно возможному пути, а ежели что и было не так — то это просто отдельные просчеты отдельных личностей: культ Сталина, волюнтаризм Хрущева, самодовольство и косность Брежнева. А в остальном — безупречно прямой путь, которым шла партия на протяжении семи советских десятилетий, еще у самых истоков их победившая всякие оппозиции и ставшая единственной руководящей силой. Возможно, таким образом, как это принято объяснять, восторжествовала историческая правда. Но мне не хотелось бы пользоваться столь расхожей формулой, выражусь несколько иначе: так сложилась судьба нашего общества. Откуда же в таких условиях взяться вариантности в массовом сознании? Тут, как говорится, что хотели, то и получили. Таков объективный ход развития. Подчеркиваю: объективный. То есть речь о детерминированности исторического процесса: результат как сумма явлений. Тут очень много слагаемых — и элементарная случайность в том числе, — которые могут сложиться самым причудливым и непредсказуемым образом. Другое дело, что эту детерминированность нельзя трактовать вульгарно, то есть объявлять все действительное единственно возможным и единственно разумным. А вы признаете детерминизм явлений истории?

В. О. Детерминизм — безусловно. А «передетерминированность» — увольте. Что имею в виду? Заведомое, зачастую даже задним числом, недопущение вариантов, которым и впрямь не остается хотя бы мало-мальского места. Конкретной исторической ситуации придается при этом значение некоего фатума, который, подминая под себя социальный разум людей, напроломно осуществляет свою отчужденную волю помимо него и вопреки ему.

Не так ли происходит по логике статьи Игоря Клямкина «Какая улица ведет к храму?» («Новый мир», 1987, № 11). «Жизнь показала», настаивает автор, что задачи индустриализации страны, обеспечения ее обороноспособности, удовлетворения самых элементарных потребностей населения на рубеже 20—30-х годов возможно «было решить административными методами, доведя до предела централизацию и политизацию хозяйственного управления». Речь, стало быть, идет не о творческом поиске экономически эффективных и гуманистически нравственных путей развития, а о достижении цели, которая оправдывает любые средства. Любые же средства, как известно, чаще всего самые жестокие. Этого, в сущности, не отрицает и Игорь Клямкин, признавая, что ленинская модель само-

управляемого социализма была заменена сталинской моделью социализма управляющего — административного, бюрократизированного. Однако иного выбора, на его взгляд, попросту не существовало: в спорах о путях и судьбах «социализма в одной стране» победили «сильнейшие, и никто, кроме них, победить не мог, потому что другого «проекта застройки» нашей улицы, способного конкурировать с коллективизацией, в ту пору не было. Признать это — вовсе не значит осудить тех, кто думал тогда иначе. Более того: позиция многих из них выглядит сегодня привлекательней, чем позиция победителей. Речь идет лишь о том, что соотношение исторических сил было в пользу вторых, а не первых». Даже тогда, спросим автора, когда история более чем внушительно просигнализировала «сильнейшим», что их «победа» в тотальной коллективизации дает сбой, оборачивается необратимыми поражениями? Голод на Украине, на Дону, в Поволжье, в Казахстане — разве это не грозные доводы в пользу дальновидных «побежденных», к которым не прислушались близорукие «победители»? И не потому ли не прислушались, что пренебрегли как раз объективными закономерностями исторического развития?

А. Е. Деление на «победителей» и «побежденных», на «правых» и «неправых» в минувшем — только одна сторона проблемы, причем наиболее очевидная. Гораздо занятнее, когда это происходит на шкуре убитого медведя. Вспомните, допустим, как нам посулили коммунизм, который наступит чуть ли не на будущей неделе. Типичный индетерминизм. Или вот такая известная всем формула: начался всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к социализму. Звучит — великолепно. Особенно под сурдинку долгих, несмолкающих аплодисментов. А между тем здесь ощущается определенный привкус все того же индетерминизма: априори решено за все человечество во всемирных масштабах. Однако все человечество нас на это не уполномочивало. Поймите правильно: я вовсе не отрицаю общечеловеческий социальный прогресс. Меня смущает принцип постановки вопроса: мечта, гипотеза, благое намерение (назовите как хотите) подается как безусловная закономерность. Вот они, просчеты мышления, порожденные малограмотным политическим идеализмом, сколь иллюзорным, столь и агрессивным. К счастью, у нас порой все же достает сообразительности и самообладания запоздало отказываться от тех или иных догм, от прожектерского авантюризма. Но если авантюризм довольно быстро себя саморазоблачает — то догмы очень живучи. И то, что мы называем перестройкой, — должно быть прежде всего отказом от всяческих догм.

В. О. Наивным упрощением, вульгарным спрямлением было бы представлять носителей старого мышления такими динозаврами сталинизма, людьми непременно темными, невежественными, закосневшими в догматизме. Если бы под статьей «Реванш?» не стояла подпись Василия Рослякова, я не поверил бы, что она написана его рукой. Почему? Да потому, что свежа в памяти давняя повесть писателя «От весны до весны», вышедшая в 1966 году. О студенческой молодежи, горячо отозвавшейся, жадно вбиравшей в себя «оттепельные» веяния, рожденные XX съездом. Два десятка лет прошло с тех пор, а повесть помнится как точное воссоздание неповторимой духовной атмосферы, чутко восприимчивой к новым идеям, новым проблемам, обострившей потребность думать о них, спорить, самостоятельно искать истины, выстраданные напряженной работой души. Что же произошло с автором повести? С чего вдруг и в его реакции на нынешнее переосмысление прошлого, которую не назовешь иначе как охранительской, возобладали стереотипы, восходящие к сталинскому «Краткому курсу истории ВКП(б)»? Дело, наверное, в том, что над реставрацией их, не до конца преодоленных и в 50—60-е годы, изрядно потрудилось последующее время застоя, дав свои, зачастую корыстные, стимулы стойкой и цепкой инерции старого мышления. Она-то и оказалась сильнее прежних порывов, так как декретировалась на всех уровнях общественного сознания — от теоретического до обыденного.

А. Е. И на художественном...

В. О. Еще бы! Вспомнить профсоюзные, комсомольские, министерские (по ведомству Министерства обороны СССР) и прочие литературные премии за якобы лучшие произведения, которые при первом же чтении не выдерживали перепроверки не то чтобы на писательский талант, но зачастую даже на профессиональное качество письма. А размыв эстетических требований, художественных критериев при присуждении ряда Государственных — республиканских и союзных — или Ленинских премий... А так называемая «комплиментарная» критика, включившая в литературный обиход внелитературные соображения приятельства, сервизма, чиновничества... Все это, взятое вместе, не могло пройти бесследно и, отложившись, укоренившись в сознании, питало, стимулировало его метаморфозы. В том числе и откровенно конъюнктурные.

А. Е. Оставим сиюминутные конъюнктуры! Видите ли, если говорить не конкретно, а в принципе, то жизнестойкость старого мышления не столь уж и удивительна. В борьбе с ним сейчас, в конце 80-х, на привычном капи-

тале «шестидесятничества» не проживешь. Инфляция, знаете ли. И положение сейчас драматичнее: если отступление идеологически приструненных «шестидесятников» обернулось «только» предкризисной ситуацией, то поражение «восьмидесятников» означало бы полный крах — и не только в области нашей духовной жизни, но и для судеб мира в целом. Это звучит громко — но это именно так.

В. О. «Шестидесятники», «восьмидесятники», хотя бы и в кавычках, — нет, не могу принять безоговорочно такой «вертикали». Если перестройка предполагает столкновение интересов, взглядов, позиций, то различие их обнаруживается не по вертикальному — спор поколений, — а скорее по горизонтальному срезу. Вот беседуем мы, представители того и другого поколений, и что-то не видно между нами непреодолимой пропасти. Да и не мазаны одним миром ни «шестидесятники», чей «капитал» — все те же идеи демократизации, гласности — отнюдь не устарел, ни «восьмидесятники», которые сформировались духовно не на пустом месте. К нам всем равно обращены слова М. С. Горбачева, сказанные еще в 1985 году на апрельском Пленуме ЦК КПСС: от того, как мы, вооруженные новым мышлением, поведем дальше свои дела, во многом зависят «исторические судьбы страны, позиции социализма в современном мире». Будем же сообща мыслить именно такими масштабами. И здраво понимать при этом, что к ним готовы далеко не все и в моем, и в вашем поколении.

А. Е. А новое мышление: оно что — с апреля 85-го введено? Бог из машины?

Вот послушайте: «Надо заняться сначала выработкой домашней нравственности народов, отличной от их политической нравственности; надо, чтобы народы сперва научились знать и ценить друг друга совершенно так же, как отдельные личности, чтобы они знали свои пороки и свои добродетели, чтобы они научились раскаиваться в содеянных ими ошибках, исправлять сделанное ими зло, не уклоняться от стези добра, которою они идут. Вот, по нашему мнению, первые условия истинного совершенствования как индивидов, так равно и масс».

«Новое» ли это мышление? На мой взгляд — абсолютно. А сказал это Чаадаев полтора века назад.

Что же касается различий «по вертикали»... «Восьмидесятники» формировались в обстановке тоскливого комизма 70-х и начала 80-х, когда неуклюже имитировался так называемый «развитой» социализм, а Москва величалась образцовым коммунистическим городом, когда ходульная аллилуйщина не вызывала у мало-мальски здорового человека ничего, кроме ернической меланхолии.

Различия между нами неизбежны, поскольку в совершенно разных условиях прошла ваша и наша юность, период созревания. Сравните «ваш» комсомол и «наш» комсомол. Сравните «ваших» стилиг и наших «хиппи» (там — обезьянство, здесь — мировоззрение). Сравните ваш «синий троллейбус» и наш витамин черного юмора. Сравните, наконец, объем потока информации, ее ассортимент. Тут не «вертикаль» — зиг-заг. Как же без различий... «Восьмидесятники», к примеру, не хотят вырабатывать рефлекс ссылаться на «начальство», больше предпочитают думать своей головой. Привычное «рады стараться» незаметно стандартизирует мышление. Срабатывает традиционная зашоренность: постоянный, методичный догматизм установок приучил многих к сугубо казарменной исполнительности, к марионеточной психологии. Трудно вылезать из хомутов стереотипов.

В. О. Но вылезать-то надо! А то — неровен час — сами не заметим, как, не уйдя от старых, соблазнимся новыми.

Обеспокоенно, встревоженно говорить об этом побуждает еще одна статья Александра Проханова — «Культура — храм, а не стрельбище» («Литературная Россия», 1988, 22 января). Современная действительность, включая литературную, представлена в ней батальнейшим образом: противники «осыпают друг друга ядрами, камнями, поливают смолой. И мы все в смоле». Кто же они, эти мифические ратоборцы? Те же, что и у Владимира Бондаренко, представители двух «мощных направлений», по которым-де издавна развивалась у нас «духовная мысль»: «...одни видели в России лишь часть Европы, стремились привязать ее к европейскому пути развития, другие предполагали иной, более независимый вариант. Никон и Аввакум, западники и славянофилы, Маяковский и Есенин и так далее». (Впервые, к слову, узнаю потрясенно, что родословная Маяковского восходит к патриарху Никону, а Есенина — к протопопу Аввакуму. Вот нам и теории напрокат, эрудиция наспех!) Александр Проханов продолжает этот ряд образно: «западников» именует «татлинцами», «славянофилов» — «сухаревцами». По «башне Татлина» с ее авангардизмом, конструктивизмом, динамичным сплетением стальных элементов, выражающих «западнолиберальные направления и чаяния». И по «Сухаревской башне», воплощающей «традиционность, охранительскую сущность — древнерусскую красоту, «допетровскую» истовость»...

Ума не приложу, как быть, к примеру, мне при таком раскладе? Жалею о том, что «башня Татлина» в

Москве так и не установлена. Скорблю, что Сухаревская башня снесена в пылу неразумных градостроительных преобразований.

А кем вы себя числите — «татлинцем» или «сухареццем»?

А. Е. «Вавилонцем»... Что я имею в виду? Самую первую башню в истории человечества — согласно легенде — пытались построить в Вавилоне в ту пору, когда все люди говорили на одном языке. Была дерзкая мечта — достичь неба (вот так же мы сейчас стремимся в космос). А кроме того, башня должна была служить ориентиром, чтобы люди не рассеивались по земле, легко находили дорогу к дому, друг к другу. Богу это не больно-то понравилось: «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Так началось людское разобщение. Легенды об этом существуют и в Африке, и в Мексике, и в Бирме. Миф, конечно. Но мне эту башню жальче всех последующих. Представляете: человечество, занятое единым созидательным трудом, вдохновенное высокой целью, все понимают друг друга...

Давайте воплотим проект Татлина. Давайте соорудим новодел Сухаревской башни. Технически это возможно. А вот как воплотить прекрасный древний миф, как объединить человечество? Крайние альтернативы ведут только к распрям, к взаимоуничтожению, к взаимоотторжению. Все эти «Кто не с нами — тот против нас» звучат то в силу очередной исторической необходимости, то в припадке политических, социальных, национальных, мировоззренческих и прочих амбиций. А ведь это поистине нечеловеческая логика. Всегда важно знать генезис. Не помните, чей это лозунг по происхождению? Иисусов! «Кто не со Мною, тот против Меня...»

Довольно мыслить категориями «или — или», пора, пока не поздно, переходить на «и — и». Потребен плюрализм, который так долго был жупелом, понятием ругательным, наряду с пацифизмом и «абстрактным» гуманизмом. Нельзя быть все время настороже. Сейчас курс на разрядку — прекрасно! Но ведь это должно означать на деле не только разрядку ракетных пусковых установок, но и разрядку ложных предубеждений. Между тем генерал-полковник Д. Волкогонов по-прежнему утверждает совершенно категорически: «Да, мы признаем военно-стратегический паритет, но никакого духовного, морального паритета с Западом у нас нет и не может быть» («ЛГ», 1987, 7 октября).

Еще как может! Вот у меня духовный паритет с Куртом Воннегутом. Причем совершенно абстрактный (поскольку Воннегут на этот счет не в курсе) — а знаете,

как жить помогает! Так что нужно внимательно анализировать и прошлое, и настоящее.

В. О. Встретилось как-то в газетном потоке такое читательское высказывание: уж если и в самом деле литературе никуда не уйти сегодня от анализа прошлого, то писатели должны давать «объективный показ положительного и отрицательного, *равный по количеству и качеству*». Ох, уж эти рецепты долженствования! Но не поднимается рука (потому и сноску не даю на цитату!) осуждать читателя за очередной из них. Ведь он, по сути, лишь повторил то, что внушил ему, скажем, Владимир Гусев, тоже полагающий, будто и в прозе, и в поэзии ныне «популярны лишь черные и серые колеры» («Литературная Россия», 1987, 23 октября). Ничего не поделаешь: мы, и писатели и критики, сами воспитали такого читателя, который признает в искусстве строго дозированную, жестко регламентированную правду. Не откуда-нибудь — с трибуны съезда журналистов прозвучала мысль, что дискуссии о советской истории нам навязывают наши идеологические противники. И не где-нибудь, а на творческой конференции писателей в Ленинграде заявлено Анатолием Ивановым: «Есть ли еще в мире какая страна, где бы так очерняли, так односторонне трактовали, так, если хотите, втапывали в грязь свою историю?» («ЛГ», 1987, 7 октября)

Нет, не идеологические противники понуждают нас, а мы сами испытываем духовную потребность в переосмыслении собственной родословной. И не черним ее, не заляпываем грязью, а наоборот — очищаем от наслоившейся кривды. Разве не так? Но снова и снова слышим над ухом: не будем-де уподобляться траппистам, бить себя в грудь еловыми (или сосновыми) шишками. Словно и впрямь не в чем и незачем нам — прибегнем еще раз к образу, подсказанному фильмом Тенгиза Абуладзе, — каяться. Но потому и прижился так, властно вошел в сознание этот образ, что ближайший смысловой синоним покаяния — самокритика. Так неужто и вправду нам нечего критиковать в себе и вокруг себя, отрицать, переделывать, перестраивать и в литературе, и в жизни? Как быть тогда с невысказанной памятью прошлого, о тяжком бремени которой с таким неподдельным драматизмом написала Ольга Берггольц: «Нет, не из книжек наших скудных — подобья нищенской сумы — узнаете о том, как трудно, как невозможно жили мы»? Или с ответственностью за время застоя, его кризисные явления и тенденции?

А. Е. Писательской ответственностью?

В. О. В том числе и писательской... Не писатели создали застой в экономике, но за духовно обеспечивший

его застой в культуре они в ответе. И те, кто сам снижал ее уровень, и те, кто мирился с таким снижением.

А. Е. Покаяние покаянию рознь. Газеты 30-х годов пестрели покаянными письмами — и мы знаем их горькую цену. Вот и в «Детях Арбата» Марк Рязанов призывает Сашу Панкратова покаяться, то есть признать вину, которой за ним не было. Так что само по себе покаяние еще ничего не значит. Как самокритика оно — акт сугубо интимный, совершающийся прежде всего наедине с собою. И потому это только первая реакция. Затем должно идти — искупление. Кто-нибудь сразу взвонится: а мне испустить нечего, я, дескать, всегда был молодец хоть куда. Но дело-то в том, что оценивать себя мы должны не по сделанному, а по несделанному. И если у такого молодца-удальца «потолок» был вровень с полом, то гордиться тут нечем. Когда был всенародно проклят Борис Пастернак — хоть один литератор сдал свой членский билет Союза писателей? Современная литература — в долгу перед совестью, честью.

В. О. Вернее, перед совестливым, честным служением правде, которая установочно изымалась из литературы. К таким намеренным изъятиям взывал Л. И. Брежнев, коря «кое-кого» из писателей за попытки «свести многообразие сегодняшней советской действительности к проблемам, которые бесповоротно отодвинуты в прошлое в результате работы, проделанной партией по преодолению последствий культа личности». И сколько же статей было написано вослед его скороспелому заявлению — таких же охранительских запретительных: нечего, мол, возвращаться к тому, что решено партией и народом. А решено-то как раз и не было.

А. Е. Ну, первый-то о том, что «все вопросы давно уже решены», сказал Угрюм-Бурчеев, не к ночи будь помянут...

В. О. Раз и навсегда решенным объявили тогда же и национальный вопрос. Мне, как критику, доводилось много заниматься проблемами литератур народов СССР, их национального многообразия и интернационального единства. Возвращаясь сегодня к тому, что писал об этом и я сам, и другие, вижу, как часто исходили мы из принятых установок. Потребовалась встряска событиями сначала в Алма-Ате, Якутии, потом в Прибалтике, Нагорном Карабахе, чтобы убедиться: решенность национального вопроса в том виде, в каком он достался нам от дореволюционного прошлого, не означает беспроблемности национальных отношений на современном этапе. Разве это не повод, причем один из многих, самокритично пересмотреть, что было нами прежде говорено, писано, сделано?

И, пересматривая, переоценивая, не утаивать от себя ни того, о чем сказали вполсилы или вообще обошли молчанием, ни того, в чем отдали дань конформизму.

А. Е. Особенно — в отношении собственной истории: чтобы в полной мере оценить ее уроки, необходимо воссоздать картину развития в истинном виде.

В. О. Литература вынуждена сейчас восполнять то, что должна была совершить, но не совершила наука: по крупицам собирать, восстанавливать, реставрировать правду. Иных это смущает: у нее, мол, другие, более возвышенные задачи. Слишком велик, доводилось слышать, удельный вес исторической информации в романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Выключить мысленно из него Сталина — что останется? Странная операция — разъять сюжетное единство повествования, где Сталин такой же полноправный и полнокровный литературный герой, как Саша Панкратов. А предлагается совершить такое насилие во имя того, чтобы отвадить литературу от «просветительства»: не ее это забота, и не ради расширения читательского кругозора, обогащения наших представлений, нашего знания творит художник. Рассуждая так, думают, что возвышают искусство. Наоборот — принижают.

Не обратили ли случаям внимания на одно письмо в эпистолярном наследии Твардовского? Давнее, датированное 1958 годом и адресованное Владимиру Фоменко. Выдержку из него приведу дословно. «Ведь это верно, — рассуждает автор письма, — что жизнь без искусства, т. е. правдивого отражения ее и закрепления ее преходящести, была бы попросту бессмысленна. Более того, жизнь, действительность не полностью и действительна до того, как она отразится в зеркале искусства, только с ним она, так сказать, получает полную свою действительность и приобретает устойчивость, стабильность, значимость на длительные сроки. Чем был бы для самосознания многих поколений русских людей 1812 год без «Войны и мира»? И что, например, для нас Семилетняя война 1756—63 годов, когда русские брали Кенигсберг и Берлин и чуть не поймали в плен разбитого ими Фридриха II? Почти — ничто».

Соотнесем сказанное с нашей советской историей. Писательскому обращению к ней обязаны мы таким оригинальным явлением искусства, как политический театр Михаила Шатрова. Что представляют собой его пьесы, если не художническое исследование и переосмысление революционного прошлого в русле актуальнейших социальных и духовных проблем нашего времени? Отсюда стремление драматурга соединить сюжетно день минувший и день нынешний, как происходит это в «Диктатуре совести», где

прямым текстом, едва ли не четкой формулой заявлена творческая программа писателя: историческая правда не может быть «политически нецелесообразной». Так что же я, читатель, зритель, — должен корить Михаила Шатрова за то, что, приближая мне эту правду, он помогает узнать ее в возможно более полном объеме, без умолчаний, скрывающих доподлинный драматизм событий и судеб? Поклон ему за это. В том числе — не побоюсь заострить мысль — и за историческую информацию, которую он смело вводит в драматургический сюжет и недавней пьесы «Брестский мир», и новой, только что опубликованной «Дальше... дальше... дальше!». Немного ведь будет стоить мое знание, если его не обеспечить фактологически.

А. Е. Но трое докторов исторических наук равно поставили под сомнение как фактологическую основу пьесы, так и концептуальную. Их статья в «Правде» (1988, 15 февраля) пошатнула вас хоть в чем-нибудь?

В. О. Ни в малой степени. Ведь если брать поправки сугубо фактологические, то таковых сыскалось столь немного, что грозного обвинения в неправде они никак не подтверждают. Ну, предлагал Савинков Плеханову пост не премьера, а министра... Ну, было распущено Учредительное собрание не 5-го, а 7 января 1918 года... Примем к сведению, уточним, а дальше что? Дальше — спор концептуальный. Но доверие к нему то и дело подрывается тем, что о явлении драматургического искусства авторы судят вне его образной специфики, как будто перед ними не пьеса, хотя бы и публицистическая, а нечто вроде иллюстрированного приложения к учебному пособию по истории. Вот и приходится в ответ, преодолев неловкость, разъяснять азбучное: по законам искусства писатель вправе и сводить Ленина со Сталиным в финале пьесы, и побуждать Ленина высказываться о событиях, которые были после его смерти, вплоть до современных, то есть поверять их, оценивать его мыслью. Той же природы и другие упреки драматургу. «Не противопоставляет... никаких возражений» врагам и противникам революции — генералам-вещателям, монархистам, эсерам и меньшевикам? Помилуйте, пора бы усвоить, что идейная направленность произведения совсем не обязательно проявляется в текстуальных опровержениях того, что писатель считает неприемлемым (хотя и они есть в пьесе Михаила Шатрова), не в пикировке умными и глупыми репликами, выражающими соответственно прогрессивные и реакционные, передовые и отсталые взгляды, а в исходной мировоззренческой позиции, которая предопределяет движение сюжета, развитие конфликта, расстановку и участие в них действующих лиц. Не избежал опасности «представить

исторический процесс как межличностные столкновения, реализацию амбиций, как субъективную концепцию, предназначенную обеспечить доступ к власти той или иной личности»? Но вот что сказано в докладе М. С. Горбачева к 70-летию Октября: помимо объективных причин и факторов, действовавших и до, и после революции, «характер идейной борьбы в значительной мере осложнялся и личным соперничеством в руководстве партии. Старые разногласия, имевшие место еще при жизни Ленина, дали о себе знать и в новой обстановке, причем в очень острой форме».

А. Е. Следуя рецептуре оценок, которые предложили нам доктора исторических наук, мы можем очень скоро превратить нашу литературу в то, во что уже превратили собственную историю...

В. О. Не разделяя ни одного из перечисленных нареканий на пьесу Михаила Шатрова, я сверх всего вижу в них досадный рудимент непрофессионального вторжения в сферу искусства. Тем более досадный, что последние год-два нередко приносили нам диаметрально противоположные образцы не просто вполне компетентного, но завидно вдумчивого, пронизательного, глубокого восприятия искусства глазами ученых, представляющих смежные с литературоведением и искусствознанием общественные науки. В отличие от некоторых коллег-критиков, я лично не испытываю никаких ущемлений от того, что доктор экономических наук Гавриил Попов вторгся в мою профессиональную сферу. Его взгляд «с точки зрения экономиста» на роман Александра Бека «Новое назначение» и повесть Даниила Гранина «Зубр» (см.: «Наука и жизнь», 1987, № 4; 1988, № 3) помог мне увидеть в них такие глубокие пласты, которые прежде ускользали от моего «внутрилитературного» внимания. Точно так же не ущемляет меня профессионально и блистательный ответ доктора исторических наук Юрия Афанасьева на вопрос, чего он ждет от искусства: «Я жду от искусства, чтобы оно было искусством... и потому не хочу уточнять своих ожиданий. Ведь если я знаю, что должно дать мне искусство, то зачем оно мне. Но если уж оно что-то все-таки «должно», то — неожиданность, глубину постижения прошлого» («Советская культура», 1987, 21 марта).

Именно глубина постижения! Поддержать бы поэтому писательское открытие незаурядной личности, колоритного характера, уникальной судьбы в повести Даниила Гранина «Зубр». Не тут-то было: Александр Казинцев («Наш современник», 1987, № 11) и Владимир Бондаренко, а следом за ними и доктор исторических наук Аполлон Кузьмин («Наш современник», 1988, № 3) клеймят ее невыдуманного героя как невозвращенца, и все трое де-

лают вид, будто не ведают, какая жестокая реальность народной истории породила чудовищное или, как называет его писатель, «уродское» словообразование.

О романе Владимира Дудинцева «Белые одежды» пристало говорить как о гражданском и творческом подвиге, тем более значительном, что он свершался наперекор времени, которое, не простив писателю предыдущего романа «Не хлебом единым», яростно пыталось его сломать, но так и не сумело сломить духовно. Однако вместо признательности за стойкость и мужество — раздраженное брюзжание: «...разоблачение лысенковщины нужно, но национальной культуры этим не обогатишь» («Молодая гвардия», 1987, № 9. С. 254). Словно защита чести и достоинства отечественной науки от антинаучных профанаций, от разгула невежества и мракобесия национальной культуры безразлична! Будто ее художественные ценности создаются поверх и в обход социальных и духовных проблем народной истории или современной действительности!

Из той же «охранительной» оперы — пересуды, сопровождающие споры о романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Отметить бы для начала, что после немногих эпизодических подступов — в трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые», в романе Юрия Бондарева «Горячий снег» — мы, по существу, впервые в нашей прозе воспринимаем Сталина как личность, как характер. Но не об этом принципиальном рассуждал, к примеру, Л. Мезинов, обозревая литературу 1987 года, а о мнимом просчете, не давшем писателю «возможности создания масштабного образа», который был бы проявлен «в процессе его взаимоотношений с народом» («Московский литератор», 1987, 18 декабря). Как будто мало нам стыда за крупномасштабного Сталина в павленковском «Счастье» или в кинофильме «Падение Берлина»!

А. Е. Роман Анатолия Рыбакова — чтение занимательное. Но все-таки тот взрыв одобрения, которым он был встречен, основан прежде всего на новизне освещения 30-х годов средствами литературы. Роман привлекателен честностью взгляда, тем, что он восполняет нехватку исторической правды. Но если судить по высшим категориям искусства, то «Дети Арбата» — это как бы «каникулы Кроша на Колыме», добротная беллетристика. Просто такой уж в а р и а н т нам выпал, что неполно знаем те же 30-е годы. Точнее даже так: в общем з н а е м, вот только деталей не хватает, а главное — открыто, во всеуслышанье это не было сказано до конца. И когда появляются теперь «Дети Арбата» — то у многих и многих вырывается вздох облегчения, удовлетворенного чувства справедливости: наконец-то!

В. О. Вот и вы заговорили о «высших категориях»... Еще немного — и повторите вслед за Петром Проскуриным: если уж браться «за такие колоссальные (?) фигуры, как Сталин», то только Шекспиру или Достоевскому. Не будем поэтому спешить, выждем терпеливо, когда появятся мастера такого «огромного художественного дарования» («Книжное обозрение», 1988, 22 января). Вспомнив давний роман Петра Проскурина «Горькие травы», в одной из начальных глав которого действует Сталин, велик искус спросить: неужто молодой тогда прозаик отважился на это потому, что почуствовал себя равным Шекспиру? Более существен, однако, другой вопрос. Если, согласившись с писателем, умолкнем вдруг в ожидании Шекспира, то не рискуем ли снова прервать на полуслове тот правый «суд десятилетий», которому, как сказано в поэме Твардовского, и без того «не видать еще конца»? Иначе говоря, не будем приравнивать Анатолия Рыбакова ни к Шекспиру, ни к Достоевскому, но согласимся, что пишет он по праву той же, что и Твардовский, кровотокащей памяти. Заговорим кровь? Так, впрочем, и поступают иные наши коллеги. Я с ними решительно не согласен. Как и с вами. «Высшие категории» складываются не поверх проблем, к которым обращено искусство. Разве вы, читая «Дети Арбата», не страдали за Сашу Панкратова, вот-вот готового к слову в Бутырках и все-таки удержавшегося на последнем пределе духовных, нравственных сил? И вас не тронула трагедия его матери, не потрясло ее прозрение в последнем разговоре с братом Марком Рязановым? И вы не осудили Марка за отступничество, не поняли, что и он обречен, хотя в ослеплении не сознает этого? Заметьте: Сталина и всего, что с ним связано в романе сюжетно, я на этот раз умышленно не называю.

А. Е. Позвольте уточнить.

Во-первых, мнение Проскурина мне глубоко различно — исходя из тех же высших категорий, а потому повторять что-либо вслед за ним мне будет чрезвычайно затруднительно.

Во-вторых, читая одновременно «Детей Арбата» и «Котлован», я не могу не расставить эти произведения «по вертикали», и ничего зазорного тут для Рыбакова, как вы понимаете, нет. Равно как и в понятии «беллетристика». Сравните успех вещей Платонова и Рыбакова у массового читателя — и вы лучше поймете меня. «Детей Арбата» я и сам прочел залпом, не отрываясь. А вот над «Котлованом» сидел очень долго, над каждой строкою раздумывая, откладывая журнал в сторону, чтобы освоиться с этим уровнем художественного мышления, — в общем, серьезно работал над «веществом существования».

Что же касается Сталина: Проскуруину и Стаднюку «можно», а Рыбакову, что ли, «нельзя»? «Где витали его мысли,— пишет о Сталине в романе «Война» Иван Стаднюк,— привыкшие опираться в теории на истинность, подтвержденную жизнью, или на авторитет аксиом, рожденных мудростью великих мыслителей?» Вот Рыбаков и пытается помочь нам уяснить, где же эти мысли витали и на что именно они опирались. Писатель как бы предлагает нам сообща устанавливать истину, сопоставлять точки зрения, уровень осведомленности и точность предположений, выводит нравственную оценку собственного пути. Тем более что далеко не все отчетливо представляют, что и как происходило в стране.

В. О. Да, не стоит обольщаться. За вами, «восьмидесятниками», уже идут к рубежам своей гражданской зрелости другие поколения. С каким багажом? Помню, разбирал на занятиях в университете поэму Евгения Евтушенко «Фуку!». Были студенты, которые не распознали «человека-ястреба». Пришлось объяснять, кто такой. Так было с Берией. Но не лучше и с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Федор Бурлацкий в «штрихах» к его политическому портрету («ЛГ», 1988, 24 февраля) совсем недалек от истины, допуская, что если «старшее поколение, конечно, помнит эту характерную личность», то «младшее, наверное, никогда не видело даже его портретов». «Ленивы и нелюбопытны»? Полбеда, если б так. Беда, что узнать толком «кто есть кто» было неоткуда.

А. Е. Жгучий дефицит исторического знания...

В. О. Как уточняет философ Игорь Кон,— «социально необходимого знания» («Советская культура», 1987, 25 апреля). Радуйся, казалось бы, что вернулась возможность обрести его. На это рассчитаны, в частности, публикации «Огонька», «Московских новостей», журналов «Наука и жизнь», «Знание — сила», других периодических изданий — о Федоре Раскольникове, Николае Бухарине, Яне Рудзутаке, С. М. Кирове, Александре Косарева, Александре Чаянове, Николае Вавилове... Реже печатаются, но и они нужны, — назову так условно — антипортреты таких мрачных фигур сталинизма, как Вышинский в очерке Аркадия Ваксберга «Царица доказательств» («Литературная газета», 1988, 27 января). «Антипортрет» Берии, написанный Серго Микояном («Комсомольская правда», 1988, 21 февраля), до высокого уровня, к сожалению, не дотягивает, но и он обладает познавательным да и общественным значением. Увы, далеко не всегда все это встречается с пониманием, вызывает поддержку. Как свидетельствуют некоторые отклики в читательской почте «Советской культуры», «Огонька» и, к стыду нашему, ряд

выступлений на писательских собраниях, конференциях, пленумах, многие не хотят не только радоваться — попросту знать. В крайнем случае снисходят до знания: мне, мол, куда ни шло, оно позволительно, а вот массовому читателю, особенно молодому, ни к чему: того и гляди пошатнет идеологически. Так, может, хватит опеки? Чаще всего — лицемерной: миф о непорочном зачатии культивирует, как правило, тот, кто сам в него вряд ли верит...

Удручающее впечатление производит в этом отношении огромная публикация в сентябрьском номере «Молодой гвардии» за 1987 год — «круглый стол» молодых поэтов, прозаиков, критиков, искусствоведов, историков. Если это голос целого поколения...

А. Е. Разумеется, нет!

В. О. ...то это ужасно. Тут полный набор и заблуждений, и предубеждений, и извращений. Наступательных, воинствующих. Хотя иной раз демонстративно вторичных, нескрываемо заемных. Взять, к примеру, атаки на критику, причем, заметьте, как раз мыслящую критику, чьи выступления уже и до этого уподоблялись то таранным ударам цивилизованных варваров в июле 1941 года, то набегам орд Чингисхана, то бесчинствам хунвейбинов. За что, скажите, так критику? С чего вдруг такой шквал? Если разобраться непредвзято — ничего чрезвычайного не случилось ни с ней, ни с литературой. Ну, написал Игорь Дедков критическую статью об «Игре» Юрия Бондарева. Ну, не воспринял Владимир Лакшин как писательскую удачу роман Василия Белова «Все впереди». Что из-за этого — свет померк, мир перевернулся?

Допустим на минуту: ошиблись критики, слишком сурово отнеслись к обоим романам. Но зачем, исправляя одну якобы ошибку, громоздить следом множество других, всю современную литературу своевольно деля на «чистую» и «нечистую»? Так, на взгляд одного из авторов «Молодой гвардии», все те же злонамеренные, сформированные «эпохой застоя» критики, что организовали травлю (не иначе: травлю!) Юрия Бондарева и Василия Белова, усиленно навязывают читателям «антикультовскую» прозу, в которой необоснованные репрессии обретают «почти библейский характер», а судьба крестьянства, «один из важнейших вопросов всей нашей национальной истории, едва ли не замалчивается».

Первый тезис я не уразумел до сих пор: попросту не могу взять в толк, какие произведения «антикультовской» темы смутили автора библейской образностью. Не уяснил бы и второй тезис, если б его не развила статья Александра Казинцева в «Нашем современнике». Из нее понял: романы Юрия Трифонова «Исчезновение», Анато-

лия Рыбакова «Дети Арбата» изначально плохи уже потому, что они не о народе, а только об интеллигенции. Натяжка, помимо всего, фактическая: как показали в «Детях Арбата» сибирские главы, судьба крестьянства писателю тоже не безразлична. Но дело вовсе не в наличии тех или иных глав, а в исходном «разделительном» принципе: если «деревенская проза» — стало быть, о народе, «городская» — интеллигентские страсти-мордасти. Значит, интеллигенция — не народ? И трагедия трифоновского «дома на набережной» — не народная трагедия? От подобных отлучений интеллигенции от народа, между прочим, ни одно общество пока что не выигрывало ни социально, ни нравственно...

Такова одна из фантазмагорий молодежного «круглого стола» в «Молодой гвардии». Столь же фантазмагоричны представления его участников о перестройке, которая якобы пришлась на руку неким ненавистникам отечественной культуры, норовящим переделать ее «на западный образец». Заявление, обескураживающее само по себе, обрастает рядом утверждений, выдающих элементарное невежество. Надо ли всерьез защищать от него Илью Эренбурга, походя названного трубадуром буржуазной идеологии: где, спрашивается, он проводил ее — в репортажах из Испании, в публицистике военных лет, в антифашистских романах? Или Пабло Пикассо, которому приписаны — что бы вы думали? — профашистские взгляды. Да слышал ли оратор о «Гернике» хоть краем уха?

А. Е. Сейчас на первый план выходит наконец приоритет общечеловеческих ценностей — растет понимание этого и в среде народной, и в сфере высокой политики. Появился шанс на то, что многолетняя конфронтация может быть поколеблена и люди разных взглядов поймут наконец: мир у нас — один на всех. Но прежние замашки дают себя знать — то и дело слышится: забор бы повыше да собак позлее... Вот она где, ущербность-то, заскоруждая ксенофобия.

В.О. «Мы» и «они»... «Мы далеки от того, чтобы считать, будто все прогрессивные изменения, которые происходят в мире, обязаны только социализму», — сказано в докладе М. С. Горбачева «Октябрь и перестройка: революция продолжается». Не об одном лишь социальном прогрессе речь, но и о культурном, духовном, нравственном. И еще истина: ко многим из тех работающих на прогресс ценностей, что были созданы нами в прошлом, тогда же и подорвалось доверие. Каким образом? Например, сталинским отношением к западной социал-демократии, в которой он видел агента буржуазии. Это раскололо междуна-

родное рабочее движение, ослабило его антифашистское единство.

Девальвация духовных ценностей социализма по-своему продолжалась у нас и в 70-е годы. Дефицит веры в них на уровне обыденного сознания многих толкал к поискам прибежища, отдушины. Помните у Высоцкого:

И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз.
Мы тоже дети страшных лет России —
Безвременье вливало водку в нас.

Не будем понимать водку только буквально. Она образ, символ, метафорический знак безвременья, под давящим прессом которого одни действительно спивались, другие превращались в прагматичных циников, третьих увлекала религия, четвертых — национальная идея, гипертрофированная, понятая шовинистически. Разные явления, но одного корня. Реально бытуя в жизни, они выражают себя в определенных представлениях, взглядах, позициях, которые не исчезают сами собой, не отменяются с ходом каким-либо постановлением. Тем настоятельней нужен диалог, направленный в защиту и на утверждение духовных ценностей социализма как ценностей общечеловеческих. Новое мышление диалогично по самой своей природе. Старое тяготеет к монологу-наставлению, монологу-приказу, подгоняющему все и всех под одну колодку.

А. Е. Так об этом опять-таки у Салтыкова-Щедрина есть: «пучина единомыслия», когда главное — «чтобы для начальства как можно меньше беспокойства было». В «Истории одного города» даже проект был: от единомыслия градоначальников — ко всеобщему единомыслию. Так что Михаил Евграфович не только сатириком, но и футурологом отменным оказался, как мы имели возможность убедиться на опыте нашего века.

Нормальное, демократичное устройство общества непременно предполагает плюрализм, то есть умение и желание считаться с реальным разнообразием мнений. Это столь естественно — да так и жить интереснее.

В. О. Да, мы часто обедняем себя негерпимостью к инакомыслию.

А. Е. Самое это понятие до недавнего времени носило сугубо негативную окраску, воспринималось уничижительным ярлыком — нечто вроде бубнового туза на спине...

В. О. Если нам десятилетиями внушалось, что никакое инакомыслие недопустимо, что всякое несогласие с узаконенной точкой зрения непозволительно, если методом кнута и пряника возбранялось иметь «собственное

мнение» (так — помните? — назывался давний рассказ Даниила Гранина), даже послушно отложенное на неопределенное «потом», то нечего удивляться и нынешней непреодоленной боязни, которая все еще крепко сидит в нас, — допустить дискуссионное столкновение разных взглядов, признать противоборство разных позиций. Особенно критических взглядов и позиций, в которых привычно видится или намеренно выискивается призрак разрушительного нигилизма.

А. Е. «Если из среды народных возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний». Это Радищев. Но и он не снимает вопроса: что же — в идеале — так всех и выслушивать, культивируя инакомыслие, развивая диалогичность?

В. О. Нет, не всех. Проповедь фашизма — нет. Пропаганду антисемитизма — нет. Шовинизма — тоже нет.

А. Е. Но сюда нужно добавить и антисоветизм — а это понятие достаточно растяжимое. Да хотя бы взять самые простые остеререгающие формулировки, так нам знакомые: «слишком много на себя берете», «а кто вы такой, чтобы» — и так далее. А человек просто понял больше, чем кому-то там хотелось бы, воспринимает острее, глубже.

В. О. И такой гранью оборачивается проблема инакомыслия. Но тем, следовательно, тоньше должен быть слух, чутко улавливающий, где злобный антисоветский происк, а где критика недостатков, несовершенств, ошибок, вдохновленная состраданием человеку, болью за народ, беспокойством за международный авторитет страны. Безразборный жупел антисоветизма долгое время преграждал выход этим в основе своей гуманистическим и патриотическим чувствам.

Почему не был напечатан своевременно «Котлован» Андрея Платонова? Потому, что писатель предлагал иной взгляд на события, иное их понимание, которые не совпадали с директивными. Такое несовпадение воспринималось как вражеская позиция. Отсюда и «сволочь» — ругательство, начертанное Сталиным на полях рассказа «Усомнившийся Макар».

«Ювенильное море» и «Котлован» возвращены ныне литературе. С публикацией в «Дружбе народов» романа «Чевенгур» вся проза Андрея Платонова наконец-то становится читательским достоянием, как чуть раньше стала им — после «Собачьего сердца» в «Знамени» — проза Михаила Булгакова. Великий — не побоюсь громкого слова — роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» закрепляет в нашем сознании две старые, но изрядно подзабытые истины. Первая: писатель на то и писатель, чтобы

иметь право на свою самостоятельную философию жизни. Вторая: мы, читатели, вовсе не обязаны безоговорочно принимать и разделять все концептуальные стороны этой философии. Азбучные истины. Усвоив их, роман можно было печатать давным-давно. Но М. А. Суслов рассудил иначе. Когда писатель, смятенный арестом рукописи, изъятием даже черновиков, спросил его о судьбе романа, в ответ услышал: забудьте, в лучшем случае это можно будет напечатать через двести — триста лет. Так представлял себе развитие социалистической демократии главный идеолог страны. По счастью, она развивается не такими черепашьими шагами. Всего-то (!) чуть меньше тридцати лет понадобилось для того, чтобы публикация опального романа стала возможной. Значит, учась жить в условиях гласности, мало-помалу преодолеваем в себе рецидивы монологизма, овладеваем трудным искусством диалога, ищем истину в споре, в сопоставлении и перепроверке разных взглядов. Нивелировка их под некое единообразное, усредненное, к тому же апробированное мнение — распространенная форма противодействия перестройке, тайного или явного сопротивления ей.

А. Е. А вы встречали людей, которые прямо и откровенно признавались бы, что они против перестройки?

В. О. Нет, не встречал. Послушать — так только ленивый не расчищал ей дорогу загодя. Валентин Пикуль, чья шумная слава в застойное время взошла на дрожжах официально санкционированного рекламного бума, не преминул заявить принародно — сначала в телевизионной передаче по первой всесоюзной программе, затем через газету «Книжное обозрение» (1988, 1 января), — что роман «У последней черты», оказывается, написан не иначе как из чувства оппозиции застою, что брежневское окружение узнало себя в Распутине и выдало отважному романисту на орехи. (Замечу мимоходом: я лично к брежневскому окружению, как вы догадываетесь, не принадлежал, но продолжаю стоять на том, о чем писал достаточно резко: роман «У последней черты» антиисторичен, художественно несостоятелен.) Больше того, сетует Валентин Пикуль, изничтоженный взяточниками и казнокрадами роман до сих пор не издан полностью, вот и получается, что для всех гласность, а для него, бедолаги, — нет... Это ли не пример циничной конъюнктуры? Мало сказать: авторского приспособления к перестройке, вернее — нахрапистого стремления самое перестройку приспособить к своим далеко не творческим интересам, узкоэгоистическим корыстям.

Или такой мотив, дословно воспроизводимый по следам речи, услышанной на писательском собрании: пока, дескать, одни, те, кто сегодня «вышли из кустов и

учат нас морали», отмалчивались, другие «исподволь и по мере сил» изнутри готовили нынешние процессы демократизации, берегли себя для перестройки... Не утаю: те, кто «отмалчивался», вызывают у меня больше уважения, чем те, кто «берег себя», угодливо называя застой временем то «романтическим», то «патетическим», — говорил не то, что думал, и делал не то, что говорил. Да, была в минувшие годы и такая позиция — неучастие. Надолго замолчали как критики Игорь Виноградов, Юрий Буртин, отчасти Владимир Лакшин, и вовсе не потому, разумеется, что, как заверяют нас их давние и новоявленные оппоненты, не умели и не любили писать, а потому, что молчанием своим красноречивей слов выражали позицию, идейную и нравственную. Приведу в связи с этим строки из стихотворения Бориса Слуцкого «Ценности», написанного в те самые 70-е годы:

Ценности нынешнего дня:
уценяйтесь, переоценяйтесь,
реформируйтесь, деформируйтесь,
пародируйте, деградируйте,
но без меня, без меня, без меня.

Трижды повторенное «без меня» в перспективе последующего движения времени оказалось нравственно куда надежней, чем престижные гонки за чинами и наградами, гарантировавшими «некритикабельность».

А. Е. А я вам тоже процитирую:

...Если правда у нас на знамени,
Если смертной гордимся годностью, —
Так чего ж мы в испуге замерли
Перед ложью и перед подлостью?

В. О. Это кто?

А. Е. Александр Галич. А называю его к тому, что вот вам еще один вариант нравственной позиции, за которую подчас приходилось платить очень дорого. А самоустранение — это все же компромисс, разновидность конформизма.

В. О. Да поймите же, не примиренческое потворство злу оправдываю, не соглашательскую мораль «применительно к подлости» защищаю, а говорю о незапятнанности человека ни злом, ни подлостью. О том и стихотворение Бориса Слуцкого, одного из тех немногих, кто после потрясения, пережитого им в 1958 году, в застойные 70-е оставался нравственно незапятнанным.

А. Е. Счет времени идет от конкретных людей. И когда мы размышляем о «белых пятнах» в истории, то речь должна вестись прежде всего о реальных людях, причастных к их образованию, — в чем они, разумеется,

совсем не заинтересованы, поскольку их собственная роль выйдет наружу.

В. О. Я тоже не считаю мудростью: «Кто старое помянет...» Но наслушаешься иных доброхотов, лукаво наставляющих не отягощать, не омрачать нашу память,— и впрямь подумается, будто незачем ни знать, ни помнить. Но вот закономерность: исходят-то такие призывы к забвению чаще всего от тех, кто лично рассчитывает на всеобщую забывчивость, питает спасительную надежду на всеобщую беспамятность.

А. Е. В публикациях, приуроченных к 100-летию Николая Ивановича Вавилова, названы имена тех, кто причастен к его травле и гибели. И «народного академика» Лысенко, и мелкой в сравнении с ним сошки — В. Балашова, автора зашательской статьи в «Правде», профессора Шлыкова, состряпавшего по «президентскому» наказу гнусный донос, следователя Хвата. Нужно ли рассказывать об этом? Зряшный вопрос: народ должен знать не только своих героев, но и «антигероев».

В. О. Прав поэтому читатель «Огонька», требующий назвать поименно всех, на ком лежит вина за изъятие у Василия Гроссмана рукописи романа «Жизнь и судьба». Стоило бы пойти навстречу законному желанию и опубликовать, скажем, воспоминания Семена Липкина, повествующего о трагедии Василия Гроссмана без каких-либо умолчаний. А пока суд да дело — не поленимся заглянуть в журнал «Знамя» начала 60-х годов: в списке тогдашней редколлегии значатся фамилии тех, кто не постыдился, отказывая писателю в публикации, не ему возвратит рукопись, а сигнализировать о ней «по инстанции».

А вот пример откровенной, циничной лжи, совершавшейся однажды на моих глазах. Было это в Академии общественных наук. Перед нами, аспирантами, выступал председатель Комитета госбезопасности Семичастный. Метал громы и молнии, клеймя «слухи» о существовании последнего письма-завещания Бухарина. Нет такого в природе — сплетня, провокация. Неужто не ведал, что врет? Ах, как соблазнительно спросить, с каким чувством бывший министр читал сегодня рассказ вдовы Н. И. Бухарина о том, как сберегла она это заученное наизусть письмо-завещание: с чувством сожаления, стыда, раскаяния? Или упрямого, самоуверенного убеждения, будто то была ложь во благо?

Как видите, много всякой всячины наслоилось на «белых пятнах». И давних, и недавних. Вам известно, что Узбекистан в последние годы вышел на первое место в мире по детской смертности? Химические удобрения на хлопковых полях вызывали массовые отравления. Знали

это при Рашидове? Прекрасно знали. Но — скрывали. И потребовалось писательское мужество Адыла Якубова, чтобы возвестить о трагедии во всеуслышание на всю страну. Этим он сделал великое дело для спасения народа. Продолжать и дальше таить правду — значило бы плодить новые «белые пятна»...

А. Е. Черные пятна!

В. О. ...и копить кривду, то есть создавать новые кривотолки, сохранять удушающую атмосферу незнания, укреплять иллюзию незыблемости всех тех порочных, преступных явлений, которыми сопровождалось многолетнее руководство Рашидова Узбекистаном.

А. Е. И Кунаева — Казахстаном, Усубалиева — Киргизией, Медунова — Краснодарским краем, Щелокова — милицией...

В. О. Так почему я, критик, должен запомнить, что иные мои коллеги и в Ташкенте, и в Москве приложили руку, вернее — перо, к тому, что Шараф Рашидов прославлялся не только как первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, но и как первый узбекский писатель? И разве не наш общий стыд — имена писателей, которых критические публикации по Казахстану называют среди приспешников прежнего руководства? Они виновны в кризисном положении, которое годами складывалось в республике, и в застойной атмосфере его пользовались особым покровительством. Так сплетаются в тугой узел проблемы социальные, нравственные. И — творческие.

Не отделить, к примеру, одни от других, вдумываясь в чудовищный, по определению Д. С. Лихачева, смысл слова «некрофильство», прозвучавшего с трибуны одного из писательских пленумов как грозное обвинение журналам, которые открыли свои полосы публикациям наследия русской и русской советской литературы.

А. Е. Что тут говорить — не все это приветствовало, не всем это пришлось по душе.

В. О. В частности потому, что так элементарно проявило себя эгоистическое чувство боязни за собственное благополучие: вдруг да не по силам окажутся те возросшие критерии, которые выдвигают публикации наследия. Уважающий себя писатель, прочитав, допустим, роман Василия Гроссмана, не сможет уже писать о войне так, как писал прежде. Писатель же с амбицией без амуниции воспринимает новые художественные ориентиры как кровную для себя обиду: конкуренция, которую, неровен час, не выдержать. С чего вдруг ополчились многие на термин «сверхлитература», введенный в литературно-критический обиход Алесем Адамовичем? Да потому, что они на

дух не переносят всего, что сверх их собственных возможностей. Им и с усредненными, куцыми жилось неплохо: печатали, тиражировали, награждали. Учтем еще один нюанс, также объясняющий настороженную, а то и враждебную реакцию на публикации наследия. Хорошо сказал об этом Даниил Гранин: пример Анны Ахматовой, Михаила Булгакова, Андрея Платонова показывает, что «можно было не убояться» и в самые тяжкие времена. Однако же убоялись, и когда дошло до дела, то выяснилось, что у многих «и в столах не было ничего» («Литературная Россия», 1987, 5 июня). В проекции на литературу перестройка предполагает не престижную гонку за успехом любой ценой, а открытое, честное соревнование талантов. Не каждому дано выстоять в нем наедине с чистым листом бумаги, без административно-бюрократических подпорок.

А. Е. Бюрократия испокон веков отождествляла себя с государством и в любых посягательствах на собственные привилегии усматривала покушение на его незыблемые основы. Административно-бюрократическое руководство культурой, искусством, литературой, отлаженная система аппаратной работы в писательских организациях не прошли бесследно и для творческого сознания. Оно тоже способно бюрократизироваться, хотя — профессия обязывает! — камуфлирует это весьма искусно, подчас виртуозно.

В. О. Не могу не вспомнить в этой связи обсуждение повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая», состоявшееся за полтора года до ее публикации в «Знамени» на расширенном бюро творческого объединения московских прозаиков. Участники обсуждения дружно поддержали повесть. Поддержал ее вроде бы и председательствующий, в заключительном слове обещавший приложить все усилия к тому, чтобы рукопись не осталась ненапечатанной. Но при условии, если автор — «не будем торопить Приставкина» — учтет высказанные замечания. В том числе и его, председательствующего. Тут верно говорили, обратился он к залу, что нет плохих народов, а есть плохие люди. Так скажите мне прямо: были они среди чеченцев? «Были», — соглашается зал. Ну, а были среди этих плохих те, кто сотрудничал с гитлеровцами во время оккупации? «Были», — снова отвечает зал хором, в который вклинилась чья-то реплика: «И среди русских были». В таком случае, завершает оратор, почему бы не сделать Приставкину так, чтобы жуткое преступление — распятие мальчика — совершил именно тот чеченец, который сотрудничал? Тогда ясно будет, что это преступление фашизма...

Логичный ход мысли? Вроде бы. Да только казуистична такая логика, не считающаяся ни с замыслом писателя, ни с гуманистическим смыслом, гражданским пафосом повести. Почему же прибег к ней искушенный критик? Наверное, потому, что дело происходило в самом начале процесса перестройки и было еще не ясно, останется ли поднятая повестью тема той запретной, о которой с болью и горечью сказал поэт: «О том не пели наши оды, что в час лихой, закон презрев, он мог на целые народы обрушить свой верховный гнев».

Коль скоро ступил на стезю спора, поспорю и с взволновавшим меня тезисом, который прозвучал в докладе Феликса Кузнецова «Правда истории и литературы» на творческой конференции в Ленинграде, приуроченной к 70-летию Октябрьской революции. Называя рассказы, повести, романы Даниила Гранина «Собственное мнение», Александра Яшина «Рычаги» и «Вологодская свадьба», Федора Абрамова «Вокруг да около», Бориса Можжаева «Живой», Олеса Гончара «Собор» — перечень легко продолжить, — докладчик объяснил их трудную литературную судьбу единственно тем, что, видите ли, «наше общество еще не было готово к такому уровню правды» («ЛГ», 1987, 21 октября). Хотелось бы уточнить: имел он в виду все общество или какую-то его часть? Скажем, тех манипуляторов от идеологии, на нечистой совести которых фальсификаторские «открытые письма» белорусских партизан Василию Быкову, вологодских и архангельских земляков Александру Яшину и Федору Абрамову: подставные лица учили писателей уму-разуму, училивали в незнании войны и послевоенной колхозной жизни. Вот бы и разобраться, кто именно не был готов к восприятию правды: организаторы этих и других проработок или вы, я, сам Феликс Кузнецов? Ведь если мы хотя бы втроем выражаем общественное мнение, то поверять его готовность или неготовность к чему-то можно по каждому из нас. Так вот: вы были готовы, я готов, Феликс Кузнецов тоже готов. О ком же тогда печаль? Получается, будто все о тех же охранителях застоя, ревнителях старого мышления, защитниках административно-бюрократической системы. Но они и прежде не были готовы к острым, проблемным произведениям, и сейчас встречают их в штыки. Ориентироваться на них — не значит ли снова позволять им вершить произвол в делах литературных, по-прежнему ставить писательское творчество в прямую зависимость от чиновной конъюнктуры?

Будем же доверять обществу и судить о нем в целом не по уродливым деформациям, а по вершинным проявлениям гражданской зрелости, государственного ра-

зума. Тогда отпадут за ненадобностью и устрашающие химеры «групповщины», «мутной волны», «гражданской войны» и прочих ужасов, которыми демагогически стращает нас разномастное охранительство. Не удивительно: старое, не очищенное от кривды мышление не заинтересовано в перестройке и то и дело норовит обойти ее хотя бы обходным маневром. Иначе она до конца выявит его социальную, духовную, а применительно к нашей литературной сфере и творческую несостоятельность...

1988, февраль

Послесловие

Велик искус что-то подчистить, уточнить, исправить, одно — сократить, другое — вписать. Но дата, поставленная в конце, удерживает от соблазнов. Начав беседы осенью 1987-го, мы завершили их в феврале 1988 года, а сейчас на дворе — январь 1989-го. Всего одиннадцать месяцев, а поставленную было точку впору заменить запятой, слово «конец» — «продолжением следует». Не счесть, сколько за это недолгое время свершилось событий, требующих осмысления и оценки, обязывающих включить в уже состоявшийся разговор новые темы и проблемы.

Конечно, их можно внести задним числом. Не говоря уже о том, что никакого труда не составило бы заметить, где следует, сослагательное наклонение изъявительным, сообщив по случаю, что начатая тогда публикация романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» благополучно завершена и даже выпавшая поначалу глава об антисемитизме напечатана дополнительно, что так же триумфально пришел к нам роман Андрея Платонова «Чевенгур», опубликованный в «Дружбе народов». Корректируя диалог, мы вряд ли бы обошли молчанием прозу Александра Солженицына, чье имя в начале минувшего года еще не встречалось даже в беглых упоминаниях. Кто бы рискнул предположить тогда, что едва успеет новый снег выпасть, как Валентину Сидорову придется оспаривать у неких непоименованных «прогрессистов» свое мнение о первенстве на особое мнение о писателе («Московский литератор», 1988, 9 декабря). Мнение потому, что в действительности не он, а так называемые «прогрессисты» первыми заговорили о необходимости переиздать публиковавшиеся в начале 60-х и издать не публиковавшиеся у нас произведения А. Солженицына, снять с него нелепое обвинение в измене Родине, отменить противозаконное

лишение советского гражданства (см. «Книжное обозрение», 1988, 5, 12, 26 августа).

Встретившись для завершения дискуссионной беседы в феврале 1988 года, мы, естественно, обсуждали то, что болело в каждом тогда. Неужто все это устарело, утратило значение и интерес за истекшие одиннадцать месяцев? В целом, думается, нет. Но отдельные фрагменты, слагающие по частям целое, соотношение, пропорции частей выглядят подчас по-иному. Веди мы свой диалог сейчас, вряд ли, скажем, осталась бы прежней нужда с такой энергией обосновывать незыблемое право человека, тем более политика, ученого или писателя, на инакомыслие, с таким пылом-жаром защищать необходимый плюрализм разноречивых мнений. И то, и другое утверждается в жизни так стремительно, что, вопреки напору встречного сопротивления, становится ее характерной метой.

Да, движение, заданное апрельским 1985 года Пленумом ЦК КПСС, XXVII съездом партии, другими веками перестройки, наложило выразительную печать на духовную атмосферу всей нашей, в том числе литературной, жизни и того ее, в частности, отрезка, что разделил во времени написание и публикацию предлагаемого «Диалога о правде и кривде». То было время таких значительных, крупных событий, как XIX Всесоюзная конференция КПСС, принятие пленумами ЦК КПСС ряда принципиальных решений, а сессиями Верховного Совета СССР — законодательных актов, направленных на совершенствование политической структуры советского общества, коренные социальные преобразования и духовное обновление народной жизни, на дальнейшее развитие, углубление процессов перестройки, демократизации, гласности. Но и время тяжелых общенародных испытаний, которыми мы платим ныне за проблемы, включая острейшие национальные, поспешно объявленные в пору застоя до конца и навсегда решенными. И еще — время ужесточившегося сопротивления новому мышлению тех антиперестроечных сил, шумливым манифестом которых стала статья «Не могу поступаться принципами» в «Советской России».

Ах, как хотелось бы прослыть джентльменом и вообще не называть здесь Нину Андрееву. Но, увы, не до рыцарства, когда читаешь ее назойливые напоминания о себе, в которых содержатся — нет, не советы и даже не наставления — приказные инструкции, прямые директивы, диктующие единомышленникам линию общественного поведения: «Учитывая, что Сахаров, Гельман, Шатров и другие «прорабы духа» призывают ныне к ползучей контрреволюции, наподобие «пражской весны» 1968 г., необходимо везде, где возможно, давать им отпор, не про-

пускать ни одного выпада против Сталина и нашей революции и социализма. И писать не только в те газеты, которые публикуют клевету, но и копии в ЦК и на конференцию. Пока другим способом не дано нам выразить свое мнение. Пусть не публикуют, но считаться придется». Датировано 23 мая 1988 года. Напечатано 12 июля в латвийской газете на русском языке — «Советская молодежь». Перепечатано в сентябре месяце журналом «Огонек» (1988, № 38).

Оставим жалкое сетование на «не дано». Не Нине Андреевой, как ни в чем не бывало продолжающей не только обучать студентов химии, но и воспитывать нравственно, наставлять идеологически, то и дело саморекламно мелькающей и на полосах разных газет, и на телевизионных экранах, пенять на безгласность. Обратим лучше внимание на апелляцию к аппарату ЦК, который она не без заднего умысла рассчитывает завалить разбирательством кляуз. Глядишь, и отвлекутся от других, более важных и нужных, работающих на перестройку дел. Вот и судите, кто же на самом деле, если прибегать к модному ярлыку, экстремист — бесцеремонная Нина Андреева или ее деликатные оппоненты...

В марте месяце мы имели одну Нину Андрееву, а в сентябре получили лимит на подписку, заметил Михаил Шатров на одной из творческих встреч. Как ни далеко, казалось бы, отстоит одно от другого, а цепь действительно единая. Ее неотъемлемое звено — судебный иск к Алесю Адамовичу и «Советской культуре» в защиту «товарища Сталина», который «сам за себя постоять» уже не может. (Не дай бог или аллах, если б смог: не счесть голов, которые полетели бы.) Как в воду глядел Михаил Шатров: «Убежден, что пример бывшего прокурора Шеховцова... кое-кто захочет повторить» («Огонек», 1988, № 45). Не успели чернила просохнуть в Москве, как аналогичным разбирательством вынужден был заняться суд в Вологде по иску полковника в отставке В. Ф. Попова: явно прельстившись той же геростратовой славой, он возжаждал призвать к ответу «Вологодский комсомолец». (См. об этом в газете «Комсомольская правда», 1989, 4 января.) Что это, как не по-своему находчиво изобретенный способ использовать судебный правопорядок для того, чтобы, сосредоточив на себе внимание общественности, раньше и прежде всего интеллигенции, отвлечь ее от нужд и забот перестройки, навязать бесплодные, направленные по заведомо ложному, тупиковому руслу дискуссии. «Если бы ты только знал, как нам не хочется тобой заниматься!» — говорит Свердлов Сталину в пьесе «Дальше... дальше... дальше!». Куда там — занимаемся, обречены заниматься снова и снова.

Не в последнюю очередь потому, что ловимся на крючки, теперь уже и судейские, расчетливых апологетов. Так кто же экстремист? — еще раз повторю тот же вопрос...

В обзоре читательской почты, хлынувшей в ответ на статью «Вам, из другого поколенья...», ее автор, Юрий Буртин, верно заметил, что «современный сталинизм — явление по своей социально-психологической природе весьма сложное и неоднозначное. Есть сталинизм, так сказать, начальственно-бюрократический и есть массовый, «низовой» («Октябрь», 1987, № 12). Сталинизм «снизу», как убеждает опыт его пропаганды в иных литературных журналах, то и дело смыкается со сталинизмом «сверху». Не удивительно: если первому нужна официальная поддержка, административная опека со стороны второго, то второй ищет себе в первом массовую опору. Такое взаимодействие прослеживается в публикациях «Молодой гвардии», где двойникам, дублерам Нины Андреевой, зачастую превосходящим ее по нетерпимости тона и пафоса, создан режим наибольшего благоприятствования.

Многотрудная история советского общества по-прежнему выступает все более расширяющимся плацдармом борьбы нового и старого мышления, перипетии которой и стали по преимуществу одной из главных тем, одним из ведущих сюжетов «Диалога о правде и кривде». Не случайно взаимодействию исторической науки и литературы, искусства, их общим актуальным проблемам, решаемым сегодня, была специально посвящена совместная конференция историков и писателей, организованная в апреле 1988 года Академией наук СССР, Союзом писателей СССР и Академией общественных наук при ЦК КПСС. (Ход ее наиболее подробно освещен в обзорах, оперативно подготовленных в № 6 журнала «Вопросы истории» и в № 7 «Вопросов литературы».) Она красноречиво выявила и среди ученых, и среди писателей принципиальную разность воззрений, позволяющую со всей категоричностью заключить, что граница, которая разделяет новое и старое мышление, пролегла не между «передовой» литературой, с одной стороны, и «отсталой», «косной» исторической наукой — с другой, а внутри каждой из этих взаимодействующих сфер современного общественного сознания.

По-своему закономерен и даже неизбежен поэтому тот прискорбный факт, что часть литературной критики охотно берет на себя идеологическое обслуживание старого мышления. Ничем иным не объяснить эпатазирующее заявление В. Бондаренко на пленуме правления Союза писателей РСФСР: «Статья Нины Андреевой не менее перестроечна (?!), чем редакционная статья в газете «Правда» («Литературная Россия», 1988, 30 декабря). И никакими «отте-

пельными», «перестроечными» и прочими ветрами не поколеблено упорство А. Ланщикова, самоослепленно повторяющего расхожие мифы, вбивавшиеся нам в головы в давние времена детства и юности: «Конечно, Сталин был великим государственным деятелем, и лично я стою на той точке зрения, что именно благодаря Сталину наша страна в очень короткий срок превратилась в могучую индустриальную державу и сыграла решающую роль в победе над фашизмом...» («Наш современник», 1988, № 7). Правда, выступая спустя полгода на выездном заседании секретариата правления Союза писателей РСФСР в Рязани, том самом, которому посвящена редакционная статья «Коммуниста» «Старые мифы, новые страхи» (1988, № 17), критик внес в старомодную формулу новоявленные поправки, несколько умаляющие, ущемляющие «величие или, сказать точнее, великость Сталина», но и они оказались не в ладу с логикой как собственных представлений об истории, так и самой истории. В самом деле: не очередной ли это спекулятивный миф — поставленный в укор Сталину «великодержавный космополитизм, требовавший полного национального самоотречения во имя будущего вселенского счастья» («Лит. Россия», 1988, 28 октября)?

Воистину неисповедимы прихотливые пути своеговольного мудрствования, все на свете умеющего переиначить, поставить с ног на голову. Космополитом, да еще великодержавным — что это за диво такое, мировой истории пока что неведомо¹, — назван политик, побудивший В. И. Ленина к пророческому предостережению о том, что «обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения»². Сталин пересаливал, как никто другой, и во всем, чего не касался. С его антимарксистского, антиленинского благословения советский патриотизм монопольно получал великорусскую направленность и, отдаляясь от социалистического интернационализма, обретал воинствующие черты не космополитизма, а национального высокомерия, имперского чванства, великодержавной исключительности. Таким агрессивным пафосом был проникнут победный сталинский тост «за здоровье русского народа». Называя его «наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», восславляя «не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум,

¹ Исключая разве что абсурдные ярлыки, с помощью которых в конце 40-х годов ретивые критики-патриоты клеймили творчество Леонида Первомайского как безродного космополита и буржуазного националиста одновременно.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 358.

стойкий характер и терпение», генералиссимус не просто прикрывал лестью довоенные преступления перед армией и страной, стратегические и тактические ошибки времен войны, но прокладывал, расчищал путь официальной, узаконенной переориентации национальных отношений в СССР на апробированные российским самодержавием шовинистические нормативы. Непосредственно в ходе войны это обернулось общенациональными бедствиями для крымских татар и немцев Поволжья, калмыков и малых народов Северного Кавказа.

«Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы» — в этот тезис Энгельса, не однажды повторенный В. И. Лениным, сталинизм внес свои уточняющие коррективы. Не свободен также народ, вознесенный над другими, возвеличенный за счет других и в ущерб другим. Воздавая хвалу жизнестойкости, но превыше всего ставя долготерпение русского народа, который он, как из огня да в полымя, ввергал из одной трагедии в другую, Сталин радел, разумеется, не о выражении его национальных интересов, а об ограждении от них собственного единовластия, круто замешенного на имперской закваске. В этом смысле он, конечно же, глубоко чужд русскому народу, как глубоко чуждо было тому и царское самодержавие. Ядовитые плоды сталинизма в сфере межнациональных отношений нам приходится пожинать до сих пор...

Рядом с «великодержавным космополитизмом», бесновательно приписанным Сталину, и другие сюжеты из мифологии того же толка, что стала, как отмечено в редакционной статье «Коммуниста», «едва ли не определяющей частью нового «патриотического сознания», безмерно его упрощая и апеллируя к низким побуждениям». Красноречивый образчик таких упрощений — замшелое предупреждение против «буржуазного понимания богатства как огромного скопления товаров». Допустим, вы возражаете: а нам и не до жиру, у нас не то чтобы огромное — самое скромное, умеренное товарное изобилие не достигнуто. Но все одно слышите в ответ, что ничего похожего русскому народу вовсе не нужно, так как мы не «они» и у нас, в отличие от «них», «главное богатство общества — это благородный человек, одухотворенный человек, осознающий свою ответственность перед народом и миром» (социолог М. Антонов, рекомендованный российским пленумом правления в члены Союза писателей СССР). Не спрашивайте поэтому, как он питается, во что одет и обут. Для него вполне патриотично жить впроголодь и ходить в дерюге, ибо «образ молочных рек в кисельных берегах, которыми нас так долго манили, — не наш национальный идеал» (критик П. Горелов).

Не столь примитивная, но тоже профанация патриотизма слышится в «алармистских» речах, сигнализовавших с тех же высоких трибун и выездного секретариата правления Союза писателей РСФСР, и вскоре последовавшего за ним пленума правления российского Союза на тему «Перестройка и публицистика» — о некоем фронтальном наступлении русофобии. Эти сигналы, не понятые и не поддержанные представителями национальных автономий Российской Федерации¹, звучали тем не менее столь громко- и многоголосо, что могло сложиться ложное впечатление, будто она и впрямь уже завладела неразумными умами (не понять только, с чего вдруг умы так массово неразумны) и в том надлежит видеть не что иное, как злонамеренный результат успешно реализованной политики. Говорит же Владимир Личутин об «узаконенной государственной русофобии», находит в ней один из «важнейших, ключевых пунктов государственного устройства». Вторит же ему В. Бондаренко, панически внушая, будто ныне у нас в стране «чувство Родины сознательно девальвируется, долг перед Родиной отрицается уже с малых лет». Живописует же всерьез Александр Байгушев фантазмагорические пародии на литературные взаимоотношения, в силу которых якобы «стоит только непосвященному критику недостаточно восторженно отозваться об опекаемом «застрельщиками» (перестройки.— В. О.) писателе еврейской национальности, как рискуешь быть обвиненным в шовинизме, национализме и антисемитизме» («Москва», 1988, № 12). Отмахнуться бы от этого как от сущей несусветицы, да она пристает липуче, словно клейкая бумага, размноженная, однако, типографским способом, и сопровождается, увы, не одними эмоциональными выплесками, но подчас и историко-литературными выкладками, на которые обидно расходуетя талант писателя, вольно или невольно подыгрывающего нагнетаемым страстям. И вот уже Валентин Распутин, развенчивая искусство 20-х годов, сплошь будто бы денационализированное, космополитическое, тянет от него нить к современности. А в ней, по его мнению, «слово «русское» немедленно трансформируется в «шовинизм», а слово «национальное» — в «национализм», и некие «расторопные откупщики перестройки и радетели неограниченных свобод в культуре» хлопочут единственно о том, чтобы «создать в обществе такую атмосферу, при ко-

¹ «Я слушаю, и мы все слушали и товарища докладчика (А. Салуцкого.— В. О.), и Сергея Васильевича Викулова, и мне казалось почему-то, что тут сидят одни русские, а тут же сидят россияне, и давайте говорить о россиянах тоже», — взывал к залу Ахат Гаффар (Татария). См. также речи С. Данилова, Р. Амирова, Ю. Рытхэу, А. Емельянова, Ю. Шесталова («Литературная Россия», 1988, 30 декабря).

торой всякое упоминание о традициях и национальных корнях вызывало бы решительное отвержение, а вокруг деятелей национальной мысли и культуры завести обстановку нетерпимости и террора. Немалого они, надо признать, уже добились, ставя национальное рядом с фашистским и манипулируя этими понятиями с такой ловкостью, что разные их цвета для неопытного взгляда невольно соединяются в один» («Лит. Россия», 1988, 28 октября).

Не знаю, у кого как, а в моем понимании сказанное уважаемым писателем становится в ряд ужасов, призванных утрастить общество, подтолкнуть его к жестким оградительным, крутым запретительным мерам. В явном расчете на них ностальгически толкуют о том, что, дескать, пришла пора для новых, типа ждановских, постановлений ЦК КПСС о литературе и искусстве. На мельницу таких писательских вожделий услужливо льют воду критики, представляющие литературный процесс наших дней как реанимацию, всепроникающее возрождение «кадетских воззрений, эсеровских, от анархистов до христианских демократов, от проповедей Иоанна Кронштадтского до троцкистских манифестов — весь клубок замалчиваемых убеждений выливается сегодня на голову неподготовленного читателя» («Москва», 1987, № 12). Заметим, кстати: клубок, который льется, да к тому же на голову, — пора бы перестать списывать на полемический темперамент подобные выкрутасы стиля, выдающие до расхлябанности небрежную манеру авторского письма...

Примечательно, между прочим, что на односторонность движения под прикрытием гласности сетуют, как правило, или сами регулировщики литературного процесса, или те, кто претендует на эту роль, вроде В. Бондаренко или А. Байгушева, чьи статьи в «Москве» преизбытком культуры спора не страдают и дефицит интеллигентности, который хронически сопутствует критике этого журнала, не восполняют. А тем временем если односторонность, которой страшатся они литературу, в самом деле грозит ей, то происходит это главным образом в силу агрессивных монополистических притязаний старого мышления и тех именно умонастроений, которые в истоках своих восходят к идеологии и психологии сталинизма, хотя, случается, и отрешиваются персонально от Сталина. С чего бы иначе брались ими под критический обстрел как раз те явления современной литературы, значение которых уместно охарактеризовать словами Алеся Адамовича, метко сказанными о гранинском «Зубре»: «...своеобразный тест, инструмент, испытывающий нас, нашу систему ценностей» («ЛГ», 1988, 6 июля). Наивно предполагать, что такое испытание всем по силам, а главное, по сердцу. Но разве это отменяет

честное отношение к литературному делу, исключает объективность суждений, справедливость оценок?

Похоже, что порой отменяет и исключает. Ведь это же умудриться надо — не отыскать в «Жизни и судьбе» Василия Гроссмана ничего, кроме гипертрофированного «еврейского вопроса» и, как поступает А. Казинцев, осудить роман за «жесткую, нет — жестокою избирательность писателя, видящего в переполненной трагедии народов истории первой половины XX века только трагедию евреев...»¹ («Наш современник», 1988, № 11). Или, дойдя, как С. Викулов, до нескрываемой предвзятости (а называя вещи своими именами — злобного ослепления), зачислить писателя в пресловутые русофобы, у которых «черной нитью... проходит почти ничем не прикрытая враждебность к русскому народу». Побойтесь бога, Сергей Васильевич! Это к капитану Грекову, геройски сражающемуся («Свободы хочу, за нее и воюю») в окруженном немцами «доме шесть дробь один», враждебен Василий Гроссман? К майору Ершову, который и в невыносимых условиях фашистского концлагеря верует в то, что, «борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли (в бедствиях коллективизации! — В. О.) его мать, сестры, отец»? К полковнику Новикову, который командует танковым корпусом так умело и смело, что вводит его в сталинградский прорыв, «не потеряв ни одной машины, ни одного человека»?..

Можно, конечно, внять совету Аллы Латыниной и, спокойно делая свое дело, попросту не обращать никакого внимания на все то, с чем спорить «неинтересно, а опровергать... бессмысленно» («Новый мир», 1988, № 8). Но не обернется ли это попустительством старому мышлению, которое, как показывает опыт литературных баталий, вовсе не стремится к миру да согласию и если допускает их хотя бы гипотетически, то только на условиях собственного диктата. Сопротивлением такому диктату и вызвана полемичность как самого «Диалога о правде и кривде», так и послесловия к нему...

1989, январь

В. ОСКОЦКИЙ

¹ Соглашаясь, что роман «Жизнь и судьба» постигла трагическая участь, А. Казинцев тут же оговаривается: это «резко выделяет его на фоне более чем благополучной судьбы других произведений В. Гроссмана». Вот нам и красная цена объективности критика, намеренно дезинформирующего читателей, которые ныне, спустя тридцать с лишним лет, уже не сведущи в травле романа «За правое дело», постыдно организованной в начале 50-х годов при активном участии М. Бубеннова, А. Первенцева и, увы, Александра Фадеева...

Взгляд

Я думаю, что...

Взгляд

На перекрестке мнений

Колокольный звон — не молитва

Бывают эпохи — чаще всего переходные эпохи, — когда критика берет на себя дополнительные функции, превращаясь в некий полигон, на котором идет пристрелка идей, формирование направлений общественной мысли.

Именно это происходит сейчас. Ожесточенность нынешних критических споров объясняется тем, что сталкиваются не только точки зрения на романы Рыбакова и Дудинцева, на творчество Булгакова, Мандельштама и Пастернака — сталкиваются взгляды на пути развития страны, идейное и культурное наследие, историю, сталкиваются ценности. И от того, как будет развиваться полемика, отчасти зависит и то, каким обществом мы сделаемся.

Долгое время нас призывали к единомыслию.

Но теперь, когда единомыслие перестало считаться неременной добродетелью, казалось бы, множественность точек зрения легко себя обнаружит. Не тут-то было. Обкатывается весьма узкий круг идей. Я не касаюсь здесь

выступлений, выражающих бюрократическую оппозицию реформам, многочисленных высказываний Ю. Бондарева, В. Рослякова, П. Проскурина, А. Иванова, на разные лады твердящих об опасностях, которые несет литература, извлеченная из письменных столов и архивов, а также осмелевшая пресса, — опасностях священным устоям, кои они столь самоотверженно поддерживали каждой своей строкой.

Спорить с ними неинтересно, а опровергать апокалиптические пророчества бессмысленно, тем более что и в самом деле, может, пробил последний час «секретарской литературы» и держащий семь звезд в деснице своей уже произнес: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв».

Идеи эти мертвы.

Есть, однако, идеи живые, способные вступать в диалог. Этого не происходит. Неуважение к свободе мысли — главный, на мой взгляд, недостаток наших споров.

Культура полемики, к которой нас порой призывают, заключается не в ритуальной вежливости или сдержанности (это дело темперамента), а в способности понять точку зрения оппонента и реагировать на сумму высказанных идей, среди которых могут быть и плодотворные, а не на личность или репутацию автора. У нас же куда более распространен другой полемический прием, восходящий к способу борьбы отца Ферапонта, персонажа «Братьев Карамазовых», с нечистой силой: защемить врагу рода человеческого как-нибудь половчее хвост да побыстрее его закрестить».

Мне не по душе статья В. Бондаренко «Очерки литературных нравов» («Москва», 1987, № 12). Чужд ее доносительский оттенок: им веет от замечаний о «сомнительных идеях», с которыми выступали в заграничных «сомнительных» изданиях Евтушенко и Вознесенский, от оценок поведения героя романа Гранина «Зубр» Тимофеева-Ресовского или героя фильма Германа «Проверки на дорогах» едва ли не по методике, в свое время разработанной сотрудниками СМЕРШа.

Чужд охранительный дух: не много ли показываем «изнанку советского семидесятилетия», не переборщить бы с «разрушительной информацией» (кстати, термин совершенно бессмысленный: информация — начало не разрушительное, но упорядочивающее, организующее).

Чужд надрывный пафос, с которым выкрикивается идея «реального социализма», призывы создать в литературе «сильную личность» — сыты мы этими призывами. Легче легкого осмеять статью, где концы не сведе-

ны с концами и логика, как справедливо замечает Н. Иванова, непредсказуема («Огонек», 1988, № 11).

Какое-то несварение идей, носящихся в воздухе и без особого разбора проглоченных, — главная черта статьи Бондаренко. Но этим она и примечательна. Уловлены в ней идеи и достаточно существенные.

Ну, например. Можно ли квалифицировать публикацию ряда антисталинских вещей как событие скорее общественное, чем литературное? Вполне. Но какой взрыв негодования вызвала эта достаточно трезвая (и, конечно, не Бондаренко изобретенная) мысль — Б. Сарнов («Огонек», 1988, № 3), Н. Иванова («Огонек», 1988, № 11), Т. Иванова («Огонек», 1988, № 8), А. Турков («Юность», 1988, № 4).

Т. Иванова, чьи обзоры тоже производят впечатление уловленных и механически отраженных точек зрения — но уже других кругов, противостоящих национал-радикалистским, мнение которых выразил Бондаренко, с негодованием отвергает само предположение, что произведения, «которыми мы зачитывались в минувшем году», далеко не литературные шедевры. Раз общественный успех налицо — стало быть, и художественное событие перед нами. По-другому, мол, в истории не бывает.

Как раз бывает! Роман Чернышевского «Пролог» по своему литературному качеству не ниже романа «Что делать?». Однако один сделался колоссальным общественным событием, другой, написанный в ссылке, известен лишь узкому кругу литературоведов. А теперь представим, что Некрасов, обронивший рукопись «Что делать?», так и не нашел ее, а обнаружилась она спустя лет двадцать, — много ль было б шуму при напечатании? Общество жило уже совсем другим. Шестидесятники, швейные мастерские, освобождение женщины — все проехало.

Публикация романа Владимира Дудинцева «Белые одежды» — событие, произошедшее вовремя. Событие общественное.

Можно уважать стойкость и мужество писателя, сумевшего не соблазниться легкими путями в литературе, но вместе с тем видеть и томительные длинноты его романа, и сюжетные несообразности, и наивную философию героев. Но попробуйте, подобно Алле Марченко, сказать спокойно о недочетах романа Дудинцева — тут же кто-нибудь, подобно Татьяне Ивановой, с пылкостью прозелита, стремящегося обратить широкие массы в новую веру, запричитает о глухоте критика к боли читателей, о «высокомерном пренебрежении к их радости». Причем А. Марченко говорит от себя, а Т. Иванова выступает от имени

масс и судит именем прогресса, что делает всякую критическую аргументацию как бы излишней.

Общественным, а не литературным событием, на мой взгляд, являются и пьесы Михаила Шатрова, будоражившие читателя и зрителя и в хрущевское, и в брежневское, и в нынешнее время прежде всего расширением пределов дозволенного. Толкуя на протяжении многих лет историю партии, драматург, как чуткий барометр, улавливает предстоящие изменения генеральной линии, слегка опережая события. Отсюда — впечатление остроты — при полной лояльности.

Из числа подобных толкований и пьеса «Дальше... дальше... дальше!». Троицкий, Каменев, Зиновьев на сцене — это, конечно, событие, но событие общественное, острота которого быстро смягчается последовавшей вскоре реабилитацией участников фальсифицированных процессов.

Но чтобы остаться в литературе — пьесе мало быть иллюстрацией к истории. Да и сам взгляд на историю, как минимум, должен быть более углубленным и менее конъюнктурным.

Можно, конечно, верить, что нам удалось бы избежать кровавых катаклизмов, если б к власти не пришел Сталин. Но последовательность, с которой в разных странах находился свой Сталин, выступал ли он под именем Мао Цзэдуна или Пол Пота, заставляет задуматься: а так ли уж много зависит в истории от грубости вождя, как следует из пьесы М. Шатрова, построившего сюжет ее на том факте, что завещание Ленина «не выполнили». И если что примиряет с этой агиографической драматургией, так только утробный визг тех ископаемых догматиков, для которых малейшее новшество в их катехизисе означает пагубный реформизм.

Но попробуйте усомниться в достоинствах драматургии Шатрова. Вам объяснят, что не время сейчас говорить о недостатках этих пьес, что этим воспользуются догматики, что нельзя подкидывать аргументы ретроградкам (даром, что у них-то совсем иные аргументы), что враги перестройки не дремлют. И это в лучшем случае, в доверительной частной беседе. В худшем — может быть применен такой полемический прием:

«Итак, против кого эта статья?» — спрашивает Б. Сарнов, рассуждая о Бондаренко. Против Бека, Дудинцева, Рыбакова, Шатрова. Стало быть — против перестройки!

Справедливости ради скажу, что в статье «Какого роста был Маяковский» («Огонек» 1988, № 19) Б. Сарнов допускает, что можно скептически относиться к драматур-

гии Шатрова и «не с охранительных позиций». Однако эта продуктивная мысль не повлияла на методологию статьи в целом.

Разделяя отношения Б. Сарнова к «охранительному пафосу», который он усматривает в выступлениях М. Синельникова, А. Ланщикова, Ф. Кузнецова, я никак не могу, скажем, обнаружить в замечании А. Марченко по поводу ненатуральности тона статьи Ю. Карякина страх перед тем, что «обидят Жданова и его единомышленников». Или в невысокой оценке Д. Урновым Бухарина-теоретика — его приверженность М. А. Суслову. Поскольку, дескать, в теоретической ценности работ Суслова Урнов сомнений не выражал.

Вообще странный предложен выбор между Суловым и Бухариным — как между веревкой и удавкой. А нельзя ли предпочесть им обоим, как теоретикам искусства, кстати, не столь уж сильно разнящимся между собой, — ну, скажем, академика Веселовского?

Дело не в конкретном передергивании мысли А. Марченко или Д. Урнова. За ним — принцип: «кто не с нами, тот против нас». Либо ты в восторге от статьи Ю. Карякина — либо ты за Жданова. Либо ты видишь в Бухарине рыцаря без страха и упрека, либо ты — сталинист. А если тебе Сталин отвратителен, но и Бухарин, утверждавший в своем предсмертном письме, что у него «вот уже седьмой год нет и тени разногласия с партией (ну-ка посчитайте, какие политические процессы придутся на эти годы?), не кажется достаточно радужной альтернативой Сталину — тогда как?

Впрочем, спрямление мысли оппонента — это еще полбеды.

Печальнее другое — то неблагородство, с которым подчеркивается нелояльность иных коллег: вот этот, дескать, против общепринятого и одобренного мнения. Стало быть — против перестройки.

Порадуемся реабилитации Бухарина, Рыкова и других участников фальсифицированных процессов. Порадуемся возможности вывести их на сцену. Порадуемся возможности говорить о них правду. Но не будем же за-тыкать рты тем, кто напоминает об ответственности этих далеко не безвинных страдальцев за многое, что произошло в нашей стране.

Идейный диктат, предписывающий выпячивать одни факты истории и закрывать глаза на другие, психологическое наследие эпохи сталинизма, может привести лишь к девальвации идей, свежо и смело звучавших еще каких-нибудь два-три года назад. «Идея попала на улицу, — говорил Достоевский, — и приняла уличный вид».

Я думаю, что...

Большое испытание для идеи это положение на виду, ее расхожесть. «Шах, объявленный истине», — по остроумному замечанию испанского мыслителя Ортега-и-Гасета.

Самое время задуматься: как избежать опошления недавно еще оппозиционных идей?

Но, видно, проще иное.

Раньше официозная пресса пугала нас врагами советской власти за кордоном, которые только и ждут, когда мы проговоримся о своих недостатках. Теперь иные горячие сторонники курса гласности упрямо формируют образ нового врага.

Мне не чужда позиция, выраженная в статье Н. Ивановой «Чем пахнет тормозная жидкость?» («Огонек», 1988, № 11). Но есть вещи настораживающие.

«Социальная мимикрия, — начинает статью Н. Иванова, — как всегда, рядится в самые передовые одежды. Она, на мой взгляд, гораздо более опасна, чем упрямо стоящий на своем консерватизм. Обнаружить подлинное лицо «как-бы-перестройщиков», на самом деле жаждущих «притормозить», если не затормозить, — более сложно. И бороться с ними сложнее».

«Социальная мимикрия» — она действительно существует, хотя не берусь судить о том, насколько опасно для реформ «болото», всегда присоединяющееся к победителю. Присоединяются из выгоды. Но и из страха тоже. И сам факт, что кто-то прячет подлинное лицо, говорит о том, что наши восторги по поводу наступившей свободы несколько преждевременны.

Не привязан медведь — не пляшет.

Если «как-бы-перестройщику» лицо свое обнаружить небезопасно и он должен клясться именем перестройки хотя бы для того, чтобы пройти тест на лояльность, значит, свобода существует для высказывания лишь определенной группы идей. А подобного рода свобода, как показывает опыт нашей истории, может переходить в свою противоположность.

И в статьях, написанных, казалось бы, во имя свободы литературы от давящих на нее пут и ограничений, мелькают те нотки, которые напоминают об этой роковой диалектике. Обнаружить подлинное лицо, вскрыть подлинные намерения, разоблачить — это ведь не из лексикона с в о б о д ы.

В статье В. Бондаренко есть одно занятное место.

«Почему-то «любители прогресса» любят только свое понимание свободы критики, — пишет автор, перечисляя примеры такого рода диктата. — В XIX веке подобное явление называлось «либеральным террором», «апелляци-

ей к городовому», когда не давали печататься Н. Лескову, А. Писемскому, жестоко критиковали Достоевского».

«Не давали печататься» — фраза, порожденная, конечно, эпохой государственной монополии на информацию. Печататься Лескову никто не мог запретить, даже роман «Некуда» пять раз издавался при его жизни. А вот где — другое дело. В либеральные журналы путь был закрыт — это да.

«Либеральный террор», «либеральная жандармерия» — выражения, осуждавшие моральный остракизм, часто и в самом деле близорукий и жестокий, который применялся в левой прессе по отношению к заподозренным в реакционности писателям. «Либеральная жандармерия, — поясняет Александр Блок, — отличается от консервативной тем, что первая регулируется правом и государством, а вторая — произволом фанатиков и глупцов». Зато «апелляция к городовому» — так именовалась в демократической печати склонность некоторых охранительных изданий вместо аргументов намекнуть властям на политическую неблагонадежность оппонента (сегодня именно это и делает сам Бондаренко, рассказывая, к примеру, о встречах с неким партийным работником в Петрозаводске и ставя вопрос: «Почему иные наши идеологические работники, возвращаясь домой, вместе с одеждой снимают и убеждения?»).

Исторически нелепое, смешение этих двух понятий сегодня кажется знаменательным. «Либеральная жандармерия» ныне не обходится собственными силами — моральным осуждением, остракизмом, обвинениями в связях с III отделением и т. д. Она сама апеллирует к властям. И уже одно это заставляет задуматься, как далеко мы ушли от нравов прошлого века, когда печать в междоусобных войнах обходилась все же собственными силами, без помощи «городового».

«Враг перестройки», «противник перестройки», «антиперестройщик». Да с какими бы намерениями ни клеить ярлыки, неужто забыли, как клеились другие — «враг народа», к примеру? И пока в печати будет существовать образ врага, которому надо половчее зацемить хвост и «закрестить», пока смысл полемических статей будет сводиться к жалобе по начальству, никакого раскрепощения мысли у нас не произойдет.

Что стояло в годы застоя?

Вопрос о внутренней свободе и социальных свободах — по-видимому, тот вопрос, который будет возникать в критических дискуссиях и при оценке прошло-

го, и при попытке понять отношение того или иного писателя к текущему моменту.

Что такое перестройка для литератора?

Очевидно, возможность воспользоваться теми цензурными послаблениями, той либерализацией и демократизацией, которые позволяют опубликовать задержанное, высказать собственную, даже если она идет вразрез с общепринятой, точку зрения.

Казалось бы, именно возможность прямого и независимого высказывания должна особенно поощряться теми, кто называет себя сторонником перестройки, — не для того ли и свобода? Но как часто идея свободы высказывания подменяется требованием высказываний в духе перестройки!

Обращусь все к той же полемике.

«Даже в самые сложные периоды нашей истории не перестраивались А. Платонов и М. Булгаков, М. Пришвин и Н. Клюев, Б. Пастернак и Н. Эрдман», — пишет Бондаренко.

Совершенно с этим согласна. И совершенно согласна с тем, что немало талантливых людей, вроде Катаева или Эренбурга, лишенных, однако, того твердого нравственного стержня, которым обладали Платонов или Булгаков, меняя свои взгляды в соответствии с изменившейся ситуацией, немало выгадали в смысле жизненного благоустройства, но нанесли немалый урон своему таланту и своему моральному кредиту у современников и потомков.

Сарнову эти рассуждения не нравятся, потому что он видит в них «подспудное желание, чтобы в искусстве нашем и литературе ничего не менялось».

Не берусь судить о подспудных желаниях. Но несомненно: наше время, принеся общественное признание именно тем писателям, которые остались самими собой вопреки давлению извне, признало подвигом творческого поведения внутреннюю независимость от обстоятельств, а не приспособление к ним.

Это должно бы заставить нас с некоторой осторожностью относиться к поспешным заверениям в верности идеям перестройки и, наоборот, предостеречь от поспешного клеймения тех писателей, которые не сделали лояльных заявлений.

Я считаю глубокой неудачей писателя роман В. Белова «Все впереди».

Вызывает удивление и горечь нередко и публицистика Белова. Я не говорю уже о комичных филиппиках против рока, аэробики. Заставляет недоумевать другое: как писатель, с такой силой оплакавший трагедию разоренной деревни, может отпускать скептические замечания

по поводу извлекаемых ныне из могил трупов? Не ему ли знать, что Сталин более всего и ответствен за это разорение? (То, что история могла обойтись и без Сталина, шествуя по тому же пути, не снимает с вождя всех времен и народов никакой ответственности за геноцид. Да, судя по другим публикациям, Белов прекрасно понимает это.)

На мой взгляд, возмутителен шабаш, устроенный поклонниками Белова вокруг достаточно невинной фразы Т. Толстой, которая только вне контекста может выглядеть как обвинение писателя в человеконенавистничестве. (К этому достаточно нелепому хору присоединился и Бондаренко.) Но ничуть не лучше упреки в «бесстыдстве», которые адресует Белову Сарнов, возмутившийся тем, что писателя «не взволновали» в минувшем литературном году «ни громкие ретроспективные публикации, ни публикации новинок», — дескать, вот еще один противник перестройки, которому вполне уютно и комфортно жилось в минувшие времена. Какой уж тут был уют, видно по публикации второй части «Канунов».

Каждый, кто задумывался над историей русской литературы, не мог не испытать чувства разочарования нашей отечественной демократией, оказавшейся несостоятельной перед оценкой дарования недюжинных писателей, не вмещающихся в дюжинные представления. Гончаров, Достоевский, Толстой, Лесков, Писемский — почему все они не присоединялись к мнению прогрессистского лагеря, но шли своим курсом, а иногда и поперек?

Если кто-то сейчас движется поперек — не лучше ли предоставить ему идти своей дорогой?

«Перестройка необходима нашему искусству как воздух. Необходима не потому, что она предлагает подстраиваться к ней, а потому, что она каждому художнику дает возможность внутренне освободиться, стать самими собой», — пишет Сарнов.

Неужели для того, чтобы внутренне освободиться, нужна санкция властей? Внутренняя свобода — это именно то, что не определяется внешними обстоятельствами. И достаточно слабым аргументом в пользу того, что художнику следует непременно меняться в ответ на призывы времени, выглядят рассуждения Сарнова о Толстом, который говорил, что надо вырабатывать свою совесть, или о Чехове, по капле выдавливавшем из себя раба. Они делали это не по указу императора, не по решению Государственной думы и не из стремления откликнуться на газетную кампанию.

«Обновление социальной атмосферы», которое Сарнов считает условием «внутренней свободы», — на мой взгляд, условие внешней ее реализации. Мысли, которые

Я думаю, что...

вчера можно было доверить лишь дневнику или друзьям, — оказывается возможным обнаружить.

«В каменном мешке, а думка вольна», — говорит пословица. Человек может быть внутренне свободен в тюрьме и быть рабом в обществе социальных свобод... «И вперемешку дышим мы то затхлым воздухом свободы, то вольным холодом тюрьмы», — писал Г. Иванов, фиксируя этот парадокс свободы.

Ахматова вспоминает: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен: «И в голосе моем после удушья звучит земля — последнее оружие».

Это, разумеется, не означает, что писателю социальные свободы как бы и не нужны. Необходимы. Как условие внешней реализации (в конце концов, что за мука писать в стол). А для многих, более слабых духом, — и как условие деятельности. Скольких литературных произведений мы недосчитались потому, что, чувствуя непробиваемую стену цензуры, писатель оставлял важный замысел и принимался за что-нибудь попроще!

И, однако ж, у нас не было бы сейчас той литературы, которую мы заново открываем, если б человек был простым продуктом социальной среды.

Вот почему меня смущает версия духовной жизни последнего двадцатилетия, которая дана в статье Ю. Буртина «Вам, из другого поколения» («Октябрь», 1987, № 8), статье знаменательной, по праву снискавшей внимание читателя и град похвал.

Само объяснение поэмы Твардовского как «произведения наших 60-х годов» выполнено Ю. Буртиным с блеском и той убежденностью и открытостью, которая располагает к автору, даже при кое-каких несогласиях с ним. Но я не касаюсь статьи в целом, меня интересует здесь лишь один ее аспект.

В конце 50-х — первой половине 60-х, в хрущевское время, пишет Буртин, «политической оппозиции в стране не было, поскольку для нее не было и почвы: возможность открытого самовыражения практически для каждого течения мысли, способного рассчитывать на сколько-нибудь широкую общественную поддержку, по сути дела, исключала вероятность ее появления».

Размышления Буртина носят несколько дидактический оттенок, что объясняется обращенностью к другому поколению и желанием просветить тех, кто не жил в то время и, стало быть, ничего о нем не ведает.

Каждый человек имеет право на мемуары. Но историк литературы может сверить их с другими источни-

ками. И, хотя нам не привыкать время от времени переписывать историю, отсутствие технических возможностей переписать заодно, как в романе Оруэлла «1984», все газеты и журналы за минувшие десятилетия в соответствии с последними веяниями, позволяет судить о прошлом не только по воспоминаниям очевидцев. Достаточно полистать газетные подшивки, чтобы убедиться хотя бы в том, что успешная травля Пастернака прошла именно в то светлое время, когда, по Буртину, были возможности «открытого самовыражения для каждого течения мысли». Что же, все принявшие участие в этой кампании открыто самовыражались? И каковы были возможности для самовыражения присутствовавших на известных встречах Хрущева с интеллигенцией? Примеры можно множить.

По-видимому, на право «открытого самовыражения» могли рассчитывать все те, кто прозрел на волне XX съезда, и ровно настолько, насколько это позволили. То есть те, кто оказался в авангарде партийной линии. Когда партийная линия отклонилась вправо, авангард остался на месте и оказался в оппозиции.

Но были и те, для кого колебания этой линии были настолько вне шкалы «самовыражения», что они даже толком не замечали, где авангард, а где арьергард.

Анна Ахматова, которая лишь в начале 60-х решила записать «Реквием» — а до того он жил в ее памяти, записывался на минуту, чтобы перейти в память друзей, и тут же уничтожался, — вряд ли могла рассчитывать на «открытое самовыражение». Этим и объясняется ее небрежение разницей между журналами противоположного направления. Большое счастье для человека так совпасть со временем, чтобы идеал, который можно утверждать открыто на страницах любимого журнала, стал твоим идеалом. Достоинство уважения, если человек за двадцать лет несколько не переменялся и живет все тем же идеалом, хотя невольно задумываешься: в каком же консерванте можно так хорошо сохраниться? Но вряд ли стоит убеждать всех, что и общество, свершив некий круг, вернулось к той же самой отправной точке и что сегодня, «двадцать лет спустя, в своих надеждах на перестройку мы живем именно этой идеей, н и к а к о й д р у г о й» (разрядка моя. — А. Л.).

Это «никакой другой» — замечательно. И тем не менее разница между временем, когда «Новый мир» опубликовал открытое письмо Борису Пастернаку, особенно заострившее внимание на криминальной сцене сочувствия Юрия Живаго раненному им юноше белогвардейцу, и временем, когда многострадальный роман напечатан в «Новом мире» с предисловием академика Лихачева, нахо-

Я думаю, что...

дящего эту сцену замечательной, все же имеется. Я не о расширении цензурных возможностей — об изменении сознания. Тот факт, что Юрий Живаго выходил раненого им юношу и отпустил (а должен был выдать, согласно классово-морали), воспринимался авторами письма как свидетельство предательства Живаго (что заодно переносилось и на автора).

В наше время, когда слово «гуманизм» лишилось своего оскорбительного эпитета «абстрактный», острая жалость Юрия Живаго к двум русским юношам, красноармейцу и белогвардейцу, оставшимся на поле сражения, выглядит проявлением высокого строя души и широты мысли. Мы поняли то, что давно понял Живаго: жертвы революции надо считать с обеих сторон, братоубийственная война всегда трагична.

В том-то все и дело, что наше время живет не теми, что в 60-е, но уже иными ценностями. И одной из этих ценностей является все крепнущее в обществе убеждение, что если ему дать одну-единственную идею (никакой другой!), то говорить о свободе самовыражения становится как бы излишним. Считать, что крушение социальных иллюзий в конце 60-х привело ко всеобщему духовному и интеллектуальному оскудению, — значит очень узко понимать духовную жизнь общества.

Сегодня высказывается много точек зрения на брежневскую эпоху. Поругивают ее сталинисты: дескать, похуже сталинской — тогда у народа была вера, а после — один цинизм. Похваляют функционеры — дескать, были же и достижения. Я не о достижениях. Эпоха скверная. Вязкое, топкое время. Безвременье. Расцвела насквозь фальшивая секретарская литература, которой, однако, все знали цену. Выросло целое поколение писателей, научившихся, как в известном аттракционе, прыгать в мешках. Но социальный застой не означал духовного застоя, так что и в «легальной» литературе удавалось сказать нечто чрезвычайно существенное о человеке.

В брежневское время не было страха, того тотального страха, который описан в романе Б. Ямпольского «Московская улица», страха, сопряженного с чувством виновности, ведущего к параличу воли и параличу мысли, к превращению свободного человека в марионетку, приводимую в действие ниточками очередных указов и кампаний.

Но если нет, как в сталинское время, страха перед мыслью, перед человеческим общением, если есть письменные столы и библиотеки, книги и пишущие машинки — то никакую мысль не пресечешь указанием свыше.

В середине 60-х, когда возникла политическая

оппозиция (об этом Буртин пишет смело и честно), возникла и неподцензурная литература, оказавшаяся значительно отважнее и свободнее того, что печаталось даже с большим скандалом на прежних новомирских страницах. Когда с оппозицией расправились и часть ее отправилась в эмиграцию, а часть — в лагеря, мыслить люди не перестали. Социальный импульс 60-х дал свои плоды именно в 70-х. Но плоды разнообразные. Произошла известная переориентация сознания. Крушение социальных иллюзий, как это уже бывало в нашей истории, вызвало и потребность проверить те идеи, на которых основывалось мирозерцание общественно активных «шестидесятников». Оживали и все прочнее утверждались некогда затоптанные идеи русских мыслителей конца XIX — начала XX века, пророчески предсказавших многие катаклизмы XX века. (Не за равнодушие ли к их одиноким голосам заплачено кровью?) Получала все больший вес мысль о значительности «внутренней жизни личности», даже первичности ее в сравнении с «внешними формами общежития». Для многих выход оказался не в социальной активности, а в посильной духовной самореализации.

Ю. Буртин считает, что господствующим типом интеллигента 70-х годов стал человек «равнодушный, легко произносящий любые слова». Во всякий период этот тип едва ли не преобладает. Сейчас он, по-видимому, поет гимны перестройке. Но достаточно характерный тип эпохи — тот интеллигент, который изображен в повести Николая Шмелева «Пашков дом», Александр Яковлевич Горт, ученый, историк, не подстраивающийся к времени, не имеющий особых социальных иллюзий и возлагающий надежды на эволюцию, видя, как «смягчаются лица, смягчаются голоса, крикливое агрессивное уродство исчезает» «и никто уже, во всяком случае вслух, в открытую, не говорит, что бесчестье, предательство, ненависть — это и есть норма и что только ими и надлежит жить». Человек внутренне независимый, он ни к кому не примкнет — ни к бюрократам, ни к диссидентам. Идея его — созидательна, и если она сейчас не имеет выхода, если не созрела у общества в ней потребность — значит, он будет додумывать ее в одиночестве, продолжая просиживать вечера за книгами. «Сколько поколений нужно, чтобы хоть как-то восполнить ущерб от всех этих побоищ последних десятилетий, чтобы восстановить накопленное веками».

Люди такого типа — не политические борцы, но та внутренняя созидательная работа, которую они ведут, в конечном счете оборачивается духовной революцией, не менее значительной по своим последствиям, чем социальные реформы. Энциклопедия «Мифы народов мира», вышед-

шая в 1980 году, а подготовленная в самые что ни на есть «застойные семидесятые», — явление, более революционизирующее общественное сознание, чем «Дети Арбата».

Но публикация сегодня вещей, стучавшихся в бетонную стену сталинизма, имеет глубокий нравственный смысл: общество признало моральную правоту людей, не сдавшихся обстоятельствам.

Весь комплекс идей, которыми мы сейчас живем (и тех, пора которых еще не настала), сформировался в «застойные семидесятые» под ленивым давлением требующего лишь внешней лояльности брежневского режима. Разочарование в «единственной идее» проложило путь тому гражданскому плюралистическому сознанию, которое робко намечается теперь.

Следствия и причины

Движение истории показало, что утопия безнационального бытия не сбывается. Иранский пролетарий вовсе не хочет объединяться с пролетарием иракским, зато находит общий язык со своим классовым противником.

Национальное самосознание само по себе созидательно. Цель его — сохранение и развитие органики национального, народного бытия в противовес разъединительным целям, с постановкой которых и сопряжен лозунг «враг народа». Но понимание этой цели как творческой задачи предполагает национальную самокритику.

Когда Татьяна Глушкова торопится отказать Булгакову в народности¹, дескать, не может быть народным

¹ Имеется в виду статья Т. Глушковой «Куда ведет «Ариаднина нить»?» («Литературная газета», 1988, № 12). Это выступление Глушковой, своего рода манифест того течения общественной мысли, которое я назвала «национал-радикализмом», подробно рассматривается в том варианте моей статьи, что опубликован в журнале «Новый мир» (1988, № 8). Опуская за недостатком места аргументы, которые читатель может почерпнуть из новомирской статьи, повторю лишь свои выводы. В свое время Ахматовой, Булгакову, Мандельштаму досталось от ревнителей пролетарской культуры, в которую, что верно, то верно, эти имена плохо вписывались. (Кстати, когда Глушкова возмущается Булгаковым, назвавшим в письме к правительству СССР интеллигенцию «лучшим слоем в нашей стране»: мол, время показало, «сколько далеко завести умеет сама постановка вопроса о «лучшем» социальном слое», — она забывает, что не Булгаков этот вопрос ставил. Стоял, и очень настоятельно, вопрос о лучшем классе, который действительно заводил далеко. И нужно было большое личное мужество, чтобы в письме к вождю опспорить один из господствующих догматов.)

писатель, считающий главной задачей своего творчества «изображение страшных черт моего народа», она упускает из виду существеннейший в данном случае эпитет — моего.

Упускает из виду, что изображение этих черт для Булгакова не самоценно, преследует не разрушительные, но именно созидательные цели.

Без национальной самокритики национальное самосознание может перерасти в национальное самодовольство. Этот низший тип национального сознания, способный приобретать разрушительный, деструктивный характер и противостоящий высшему, творческому типу, к сожалению, часто торжествует сегодня.

На место мифа о враге народа приходит миф о враге нации, что может иметь такие же губительные для народа последствия.

Мышление, согласно которому рок-музыка есть специальное орудие «гешефтмахерских» происков и козней, — мышление мифологическое (Дунаев М. Роковая музыка. — «Наш современник», 1988, № 1, 2). Того же порядка — имеющая широкое хождение идея о некоем тайном заговоре против русской культуры.

«Уничтожение исторических памятников Москвы... планировалось хладнокровно и расчетливо», — сообщает председатель президиума Московского городского отделения ВООПИК А. С. Трофимов («Наш современник», 1988, № 2).

Верно, планировалось. Но ни «левый бундист» Штеренберг, ни архитектор Гинзбург (на которых возлагает вину А. С. Трофимов), ни даже Каганович не сумели бы организовать массового уничтожения церквей по всей стране, если бы это уничтожение не было освящено идеей разрушения старого мира и не являлось идеологическим последствием революции (не только, впрочем, церкви — летели вверх мечети, костелы, синагоги, дворянские усадьбы, памятники светской архитектуры — все, что казалось хламом истории).

Я разделяю одну из идей статьи Вадима Кожина «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4), что культ Сталина — это «явление мирового революционного движения», следствие некоей закономерности, подобно тому как закономерностью было завершение французской революции диктатурой Наполеона, а не результат козней са-

Категория народности утвердилась в нашем литературоведении в полемике с вульгарными социологами, когда стало ясно, что «классовую» пролетарскую культуру, исключаящую общечеловеческие ценности, создать нельзя. То понимание народного, которое предлагает Глушкова, снова ведет к изъятию общечеловеческого из ведения народа.

Я думаю, что...

мого Сталина и корыстных подручных (хотя не согласна с тем, что в романе Рыбакова торжествует это наивное представление об истории)¹.

Но почему, высмеивая представление о течении истории как результате чьих-то злых козней, тот же Кожин ответственность за план реконструкции Москвы возлагает на Кагановича? (Не говоря уж о фактической стороне вопроса: например, что делал Сталин на встрече в Кремле 14 июня 1934 года, когда обсуждался проект группы В. Н. Семенова, под видом реконструкции старой Москвы предусматривавший решительную ее ломку? Не его ли одобрение сделало бесперспективным спор с авторами этого проекта?)

Другое дело, что в действиях Кагановича, в этом огне, поднесенном к бикфордову шнуру, было, конечно, некое садистское наслаждение: в ответ на просьбы гнилых интеллигентов сохранить памятник истории и культуры шарахнуть динамитом по истории, по культуре, по прошлому; за нами теперь — сила, за этим домом, что напротив храма, через Москву-реку, — вместе им не ужиться.

Серьезные литераторы стыдливо избегают касаться толков о «злых кознях», боясь, видимо, завязнуть в проблеме, слишком мучительной для словесного изъяснения. Один лишь Валентин Распутин с присущей ему готовностью брать на себя любой тяжкий долг ставит вопрос резко и прямо: «Откуда взялось это убеждение в чьих-то происках? С чужого ли голоса, во сне ли приснилось, или все же дыма без огня не бывает? И если по следу, откуда несло дым, то — вот оно: разрушение памятников, продолжающееся до сих пор, отсечение отечественной истории, эрозия традиции и культуры, уничтожение природы; Байкал и проект поворота рек; Волга; разорительные для страны хозяйственные проекты; положение в

¹ Точно так же я вполне разделяю кожиновскую критику идеи о специфически русском характере сталинизма, тенденцию объяснять обилие жертв революции и последующий террор особенностями русской истории и русского национального характера, но опять же не вижу, чтоб в романе Рыбакова торжествовала эта тенденция. Вообще методология статьи дедуктивна. Общие идеи, похоже, существуют лишь для того, чтобы нанизать на них сопротивляющиеся примеры. Так возникает бесчисленное количество подтасовок — от крупных (вроде ли «твердо отстаивающих» подновленный вариант «Краткого курса истории ВКП(б)», как то мнится Б. Сарнову), вроде возложения ответственности за голод 1933 года и всю коллективизацию не на Сталина, а на Яковлева (псевдоним Эпштейна), до мелких, откровенно личных — вроде обвинения Лакшина в связи со статьей «Иван Денисович, его друзья и недруги» в высокомерном, специфически интеллигентском и прагматическом подходе к народу, — меж тем как в этой статье взгляд главного героя на лагерь — народный взгляд (а не интеллигента Цезаря Марковича) — принят за этическую норму.

общем и высшем образовании (готовили кого угодно, но не гражданина и специалиста); уничтожение «неперспективной» деревни; «пьяная» экономика; показуха и очковительство на всех этажах общества, начиная с детского сада, ставшие едва ли не открытой моралью...» («Наш современник», 1988, № 1).

Валентин Распутин склонен считать, что «дело тут не в сознательном и планомерном разрушении народного духа и государственного организма... не в целях, а в причинах». Вот они: «Равнодушие... ведомственное паразитирование на природных богатствах, грандиозные «проекты века»...» Но ведь это не причины — только что они же фигурировали в «следствиях». Замкнутый круг...

В другой статье в том же журнале Распутин пишет: «Кто-то ведь посчитал себя обязанным под видом коллективизации проводить геноцид...» Вот именно — кто?

Казалось бы, кто, как не защитники русской деревни, так глубоко прочувствовавшие ее конец, должны вызнать, откуда шли геноцид под видом коллективизации, и голод, постигший страну, и разрушение памятников (как раз во время коллективизации и взрывали церкви).

Но мы слишком привыкли искать корень зла не в идеях, а в лицах. И даже Валентин Распутин, художественное творчество которого уже успело подсказать нам многие глубокие ответы, недоуменно останавливается, в качестве публициста, перед этим барьером¹.

Разрушение церковей и памятников культуры прошлого было естественным следствием веры во всемирно-историческую миссию пролетариата.

Религия обещала небесный рай. Комсомолец 30-х годов верил в скорое наступление всеобщего равенства, братства и счастья на земле. Эти две веры были несовместимы.

Как первые христиане крушили античные храмы и статуи богов, не думая о том, что разрушают великую

¹ Что же касается соображений Валентина Распутина о том, что пресса дружно обрушилась на общество «Память», которому «при всей нашей гласности слово для защиты... не было предоставлено», то нельзя не согласиться с этим. И в самом деле странно: спорим с мнениями, печатно не высказанными, с пересказами, со слухами. Пересказы эти и слухи симпатии к «Памяти» не вызывают, но если мы отстаиваем свободу выражения мнения, свободу высказывания как принцип, то, прежде чем полемизировать с кем-либо, надо предоставить ему возможность изложить свои взгляды публично. По-моему, тут азбука демократической печати. С этой точки зрения статьи против «Памяти», с платформой которой не только читатель, но и автор часто не знаком, мало отличаются от давно осмеянных выступлений против «Доктора Живаго»: «Я не читал, но скажу».

культуру, но действуя лишь во имя обретенной веры, так одержимые верой в светлое коммунистическое завтра крушили храмы — символ отринутого Бога. Лозунг времени: «Религия — опиум для народа».

Энтузиазм нового мира совпадал с энтузиазмом разрушения старого, и разрушали церкви люди того же духовного типа, что и те, кто теперь ревностно ищет виновного в разрушениях, — люди, легко дающие увлечь себя мифу, духовно поработить (это, в частности, показано в романе Д. Гранина «Картина»).

Осмысление идеологии, породившей сталинизм, — одна из основных задач сегодняшнего момента, и в этой точке могли бы сблизиться представители разных направлений общественной мысли, стремящиеся преодолеть доставшееся нам тяжелое наследство. Но для этого нужно, чтобы любовь к своей стране и культуре перевесила стремление к захвату идейной монополии. И как минимум надо расстаться с кастовостью наших группировок, рождающей привычку лупить по именам, а не спорить с идеями.

Боюсь, что негодующие возгласы по поводу статьи С. Куняева «Ради жизни на земле...» («Молодая гвардия», 1987, № 8)¹ были вызваны в первую очередь личностью автора, от которого заранее знали, чего ждать, а не текстом статьи, в который, судя по характеру протестов, многие не потрудились вчитаться.

«О чем статья? О том, что не «чистокровно русские» истинными патриотами быть не могут. Об этом, об этом, не надо смягчать... Нет, никому не отдадим фронтовую поэзию!» — восклицает Т. Иванова («Огонек», 1988, № 16). Вот этот перевод с языка критики на язык околотературных сплетен и обеспечил Куняеву дружный взрыв негодования.

Националистический оттенок статьи С. Куняева очевиден, и это то в ней, что для меня неприемлемо. Допускаю даже, что для самого Куняева он был сильным стимулом, хотя эти гадания и некорректны. Однако есть в статье и иное: попытка разобраться в идеологии, питавшей отряд «высокоодаренных» (как замечает Куняев) поэтов, вскормленных на идеях III Интернационала и эти идеи в своем творчестве воплощающих.

В «Огоньке» (1988, № 11) была напечатана статья американского ученого Карла Сагана «Наш общий враг». Таким врагом, способным привести к взаимному уничтожению, он считает обоюдную враждебность и недоверие,

¹ Эта статья С. Куняева, почти в том же виде, напечатана в первом выпуске «Взгляда» — под заглавием «Поэзия пророков и солдат».

основывающиеся на «образе страны». В свою очередь, образ этот строится на фактах истории.

В нашей истории одним из моментов, вызывающих наибольшее недоверие американцев, Карл Саган считает концепцию неизбежности мировой революции. «В глазах многих американцев коммунизм означает бедность, отсталость и Гулаг в награду за высказывание своего мнения, жестокое подавление человеческого духа и жажду покорить весь мир». Проявлением последнего американскому профессору представляется и наш герб. «Даже сейчас на ваших монетах национальный символ украшает собой весь мир».

И пусть академик Арбатов с иронией возразит, что советский герб на монетах «имеет такое же отношение к притязаниям на земной шар, как полумесяц на турецком флаге к притязаниям Турции на Луну», — само возникновение символа связано с концепцией неизбежности мировой революции.

Возможно, кому-то и сейчас близки идеи мирового пожара, «земшарной республики Советов», возможно, кому-то импонирует романтическая надежда Павла Когана:

Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

Но надо отдавать себе отчет и в том, что в глазах не одного только профессора Сагана подобные призывы служат вещественным доказательством широты наших идеологических притязаний, превращающихся в территориальные, и что с помощью этих строчек такие, как профессор Саган, легко объясняют своему народу, к примеру, наше присутствие в Афганистане и внушают необходимость ответить на «земшарные» притязания «земшарной» же системой противостояния им.

«Земшарная республика Советов» — миф, оплаченный кровью, включая и кровь, пролитую в Афганистане.

А ныне даже Проханов, соловей Генштаба, призывавший к общим планам с высоты военного вертолета и представляющий людей в виде скопления точек на геополитической карте, — и тот, кажется, после гимнов Аресу спустился на окровавленную землю, чтобы различить гримасу страдания и смерти, которой платит конкретный человек за общие идеи.

Я понимаю, почему статья Куняева вызвала негодование Л. Лазарева, фронтовика, имеющего глубоко личное отношение к погибшим на войне поэтам — прекрас-

ным, чистым юношам. Но все же в его ответе «А их по-выбило железом...» («Знамя», 1988, № 2) игнорируется одна из существенных, если не главная, сторон этой статьи: критика идеологии поколения. Л. Лазарев видит в статье только одно — недостойное желание опорочить «светлую память» прекрасных юношей.

Меж тем героическая смерть, бескорыстие и нравственное подвижничество носителя идеи могут привлекать сердца к человеческому облику, но не являются оправданием самой идеи. Более того — если вдуматься в проблему глубже, в этом и выступает трагизм истории.

Поэты-комсомольцы пошли на войну как в интербригаду. Но война была отечественная. Решался вопрос не о судьбе идей, а о судьбе народа, «великого русского слова» (что замечательно почувствовала Ахматова, в поддержку «земшарной республики» никогда не возвышавшая голос). И погибли эти юноши не за идеи мировой революции, а за Родину.

Так или иначе, а историю нашей литературы нам придется переосмысливать вместе с нашей историей.

Хочется того Глушковой или нет, но Булгаков, Пастернак, Мандельштам и Ахматова займут более высокое место в истории литературы, чем отводилось им до сих пор, ибо в историческом споре выяснились их нравственная правота, приоритет отстаиваемых ими общечеловеческих ценностей.

Хочется это Л. Лазареву, Т. Ивановой или нет, но комсомольская поэзия 30-х годов будет терять свою идейную привлекательность, сохраняя, разумеется, историко-литературное значение, ибо недостаток в ней общечеловеческого подхода будет обнаруживаться все явственнее.

Переоценка истории русской литературы не имеет ничего общего с той «прополкой» русской культуры, которая время от времени предлагается в современной критике. Осознание идейных основ того или иного явления не изымает его из культуры, но ставит в нужный контекст, помогает осмыслить.

Запретительский же рефлекс (не издавать, изъять и т. п.), которым часто отвечают на то или иное явление, всегда отмечен антикультурным пафосом.

Диалог тех, кто сходится в представлении об историческом пути страны как пути, изобилующем ошибками, кто не видит возможности оправдать гибель от голода миллионов крестьян, разрушение деревни, террор и уничтожение собственной культуры высокими задачами индустриализации (не будь геноцида против народа, она, возможно, и шла бы успешнее), — такой диалог был бы несомненно плодотворен, но для того чтобы вести его, надо выра-

ботать некие общие основания, не говоря уже о свободе мысли, представления о которой у нас, повторяю, утрачены.

Один из показателей этого — то третирование слов «либерал», «либеральный», «либерализм», которое характерно для нашей печати.

Происходя от слова «свобода», либерализм покоится на признании свободы и достоинства человека и его неотъемлемых прав.

По некоей терминологической традиции, согласно которой интеллигенция — гнилая, гуманизм — абстрактный, милосердие — ложное, жалость — унижительна, досталось нам и понимание либерализма как чего-то гнилого и беспринципного.

Слово «либерализм» подверглось лингвистической коррозии вслед за тем, как политической компрометации — справа и слева — подверглась идея либерализма в XIX веке.

Исторически в нашей стране либерализм проиграл. Идею социальной справедливости народ предпочел идее личной свободы. Либерализм вообще часто проигрывает в истории, поскольку не переходит в веру, в моноидею, способную увлечь массы.

Но целенаправленная атака на само понятие «либерализм» объясняется еще и тем, что именно идеи личной свободы и прав человека были совершенно неприемлемы для тех, кто противопоставил личности — волю коллектива, класса, партии.

Отчего ж сейчас, когда мы все чаще вспоминаем, что мерой всех вещей является человек, мы так не любим это слово?

Стало давно привычным получать «справа» упреки в либерализме, но мне не приходилось сталкиваться с тем, чтобы кто-нибудь согласился с «ужасным» званием либерала и взялся бы отстаивать идеи свободы. Чаще происходит наоборот.

Полемизируя с М. Лобановым (в курьезных заметках которого («Наш современник», 1988, № 4) утверждает, что Твардовский и его журнал никаким гонениям не подвергались, а подлинной драмой литературы был не разгром «Нового мира», а уход с поста редактора «Молодой гвардии» Никонова), В. Лакшин обращает внимание на одну терминологическую деталь.

«Своих прежних оппонентов Лобанов называет либералами-прогрессистами... Н. Андреева противников культа личности тоже обозначала как «леволибералов», — напоминает Лакшин, энергично возражая против этого определения: «Но тут очевидна подмена. Не либеральное,

Я думаю, что...

а демократическое направление было характерно для «Нового мира» и его редактора — народного поэта Твардовского. Так же, как за социалистическую демократию, а не за «интеллигентский» либерализм борются те, кого противники перестройки в полемическом азарте называют «либералами» (Лакшин В. В кильватере. — «Огонек», 1988, № 26).

Здесь, по-видимому, обозначен тот водораздел, который, возможно, будет углубляться, разделяя сторонников реформы на тех, кто довольствуется старым лозунгом социалистической демократии, и тех, кто выступает за широкую либерализацию общественной жизни.

Не хочу углубляться в историю, но нельзя не заметить, что наше время меняет местами традиционные понятия «левого» и «правого», радикального и консервативного.

Лозунг «демократизации» до революции был, конечно, более радикальным, чем лозунг либерализации, но реальное его осуществление в обществе, призванном отразить «волю народа», привело к уничтожению «буржуазных» свобод, к которым была отнесена и личная свобода.

Понятна ненависть, которую нины андреевы питают к интеллигентскому либерализму, — столько гневных слов было у нас произнесено по поводу лживых буржуазно-либеральных демократий. Что же касается «социалистической демократии», я думаю, Нина Андреева и сама горячий ее пропагандист и сторонник. Ведь Сталин провозглашал именно «социалистическую демократию», когда докладывал на XVIII съезде, что в результате окончательной ликвидации остатков эксплуататорских классов и разоблачения тех, кто отступал от линии партии, наступила «полная демократизация политической жизни страны».

Ну, может быть, на Сталина сейчас даже правые сталинисты ссылаться не будут, но ведь во всех учебниках истории и обществоведения, по которым учатся наши школьники, студенты, во всех коллективных трудах вы найдете фразу: «В нашей стране получил свое выражение высший тип демократизма — демократизм социалистический» (История КПСС. М., 1960. С. 473). А если и были кое-какие «нарушения социалистической законности» во времена культа личности, так «партия положила конец всяким нарушениям прав советских граждан» и обеспечила «возможность пользоваться всеми благами социалистической демократии» (там же, с. 631). Так за что же бороться, резонно спросит Нина Андреева, — если мы и без того купаемся в демократии, в самом высшем ее типе?

Я не вижу особой нужды оправдываться перед Ниной Андреевой и готова заявить, что в низшем типе демократии есть кое-что, от чего не следовало, пожалуй, так поспешно отказываться в стремлении к высшему типу. И термин «леволиберализм» — пусть не очень точный — мне кажется тем не менее достаточно приемлемым для определения той суммы ценностей, которые привлекательны для многих, с надеждой всматривающихся в перемены, и ненавистны ретроgrадам.

Если мы сегодня говорим о правовом государстве, поняв, что «воля народа» менее надежно защищает достоинство и свободу человека, чем закон (разве не «гнев народа» выражался в требованиях смертной казни «шпионам, предателям и вредителям», разве не «волей народа» прикрывалась неслыханная диктатура?), если мы вырабатываем понятие о правах человека, о свободе совести, если мы признали, что идеи социальной справедливости, социального равенства не могут быть осуществлены, не дополненные идеей личной свободы, если мы хотим свободных выборов и свободной прессы — значит, мы обращаемся к идеям либерализма.

Это идеи реформаторские. Но ведь страна и встала на путь реформ. Сторонников радикальной оппозиции реформам «слева» практически нет, идеи насильственных перемен изжиты. И давно пора реабилитировать понятие «либерализм», как реабилитированы понятия «добро», «порядочность», «милосердие», «гуманность», «сострадание», «благотворительность» и т. д., и перестать третировать его как половинчатую идею.

Время устало от окончательных идей.

Время напоминает о трижды осмеянной радикалами теории малых дел — именно малые дела сегодня и способны постепенно преобразовать общество.

В Махабхарате Кришна учит: «Итак, не плодов ты желай, а деянья...» Долгое время мы желали только плодов, звали «грядущие века», еще несколько усилий — и наши дети, наши внуки будут жить при...

Понимание жизни не как жертвы будущему, а как посильного деянья, как творческой задачи сегодня более продуктивно. Оно взывает к личной ответственности.

В сфере культуры — к созиданию, к «собираанию камней». В сфере идей — к диалогу.

Насадить либерализм всего труднее — он не может быть внедрен силой. А противников у него много.

Он ненавистен охранителям, стоящим на страже «идейной чистоты» и личных привилегий. Доверия к ценностям свободы очень мало и у представителей национал-радикализма, несмотря на то что критика ими ряда замше-

Я думаю, что...

лых догматов объективно работает на расширение пределов свободы.

Казалось бы, те, кто поднимался против ретроградов под флагом демократизации, кто расшатал здание сталинизма, кто хотел видеть общество открытым, должны ценить идеи либерализма. Но здесь, как я пыталась показать, совсем невелик кредит свободы мысли. Тут властвует теория, что врагов всего передового надо подавить, заставить замолчать, иначе победит бюрократическая оппозиция или национал-радикализм (и в самом деле способный привести страну к катастрофе). Сначала победим, а потом допустим свободу мысли. А не будет поздно?

А. Стреляный прекрасно, на мой взгляд, сформулировал это, передав свои ощущения в связи с, казалось бы, радостным событием — осуждением статьи Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами», этого манифеста сталинизма.

«Больше всего я боюсь, что консерваторы будут вынуждены замолчать... Затыкая им рты, мы не просто уподобимся им, нет — мы можем незаметно для самих себя стать ими» («Московские новости», 1987, № 18).

Замечание на редкость точное. Добавлю, что, начав затыкать рты, трудно остановиться. Это ведь тоже опыт нашей истории. Сначала — затыкали рты врагам, контрреволюционерам, потом — идейным противникам, потом — внутрипартийной оппозиции, отщепенцам, уклонистам, а потом уж — друг другу.

И я бы предпочла оказаться плохим пророком, чем увидеть углубившимися те печальные тенденции, о которых говорилось здесь, — увидеть, как на смену замшелым ортодоксам с портретом Сталина на стене и набором цитат из «Краткого курса истории ВКП(б)» являются новые догматики с набором новых цитат, но с теми же поисками объекта ненависти, шельмованием инакомыслящих («враг перестройки»), требованием единомыслия и недоверием к ценностям либерализма, за исключением, быть может, одной его разновидности — либерализма в «форме восхищения начальством» (Щедрин).

Дело же не в том, чтобы одна догма заменила другую, не в смене иконостаса, но в освобождении от всяких догм вообще. Пока мы лишь в начале этого пути, на котором слишком много преград, и одна из главных — доставшая нам в наследство от сталинизма психологическая неготовность к свободе.

Требование свободы для себя предполагает признание свободы для другого. Право высказать собственную мысль предполагает признание права на инакомыслие.

Мы бурно радуемся гласности, мы пробуем свои

голоса, срываясь в крик, но это стремление перекричать друг друга, а то и заткнуть другому рот — вовсе не свидетельствует о торжестве свободы.

Как говорится в пословице, колокольный звон — не молитва (а крик — не беседа). Дойдет ли до молитвы?

Р. С. Последующие события нашей литературной жизни и, в частности, реакция на эту статью лишь укрепили меня в правомерности соображений, высказанных выше. Так, ни один из моих оппонентов не стремится охватить весь комплекс идей, понять целое, направленность мысли, он лишь выхватывает имя, слово, фразу, служащую ему опорой, знаком для классификации статьи по тому или иному признаку.

К примеру, если я говорю об опасности мифа о враге нации, приходящего на смену мифу о враге народа, Марку Любомудрову «и глаза протирать не надо», чтобы в этих словах «узреть напряженно-прищуренный, ненавидящий взгляд русофоба» («Наш современник», 1989, № 2). По его мнению, мой термин «национал-радикализм», которым я обозначаю опасные националистические тенденции, — это русофобская практика подновления потерявшей кредит терминологии. «...Вместо определений «национализм», «шовинизм», с которыми вчера отождествляли патриотизм, А. Латынина спешит предложить новый термин «национал-радикализм», а чтобы рассеять недоумение читателя, тут же присовокупляет, что именно национал-радикализм в самом деле способен привести страну к катастрофе». «Так кто же создает образ врага?» — патетически восклицает публицист «Нашего современника».

Полемизировать с М. Любомудровым, признаться, у меня желания нет, и я привожу здесь цитату из его статьи лишь как образец типично знакового восприятия, игнорирующего целое. Другим примером аналогичного восприятия является статья Б. Сарнова «Над схваткой» («Юность», 1989, № 1) — но, при сходстве психологической модели, сами знаки, разумеется, противоположны.

Если Любомудрову всюду мерещатся русофобские козни, то Сарнову — националистические интриги.

«...Коллективизацию Латынина дважды называет в своей статье геноцидом...» — возмущается Сарнов, видя в этом слове желание «попасть» тем, кто стремится доказать, что «виновниками гибели миллионов крестьянских семей были Троцкий да Каганович» («Юность», 1989, № 1).

Обвинение странное. Да, старые словари объясняют, что геноцид — уничтожение по расовому и религиозному признаку, но подождем — выйдут новые, и они укрепят современное словоупотребление. Примеров его в на-

Я думаю, что...

шей публицистике предостаточно, ограничусь первыми попавшимися мне на глаза уже после выхода статьи Б. Сарнова. Так, академик Сахаров пишет, что «голод тридцатых годов — это пример геноцида, осуществленного сталинским фашизмом. По жестокости и масштабам он стоит в одном ряду с преступлениями Гитлера или Пол Пота или, может быть, превосходит их» («XX век и мир», 1989, № 1). А. А. Лебедев, рассматривая феномен сталинизма, бросает замечание об узости исследования одной лишь криминальной стороны культа личности, хотя именно с этой стороны диктатура «обернулась прямым геноцидом» («Вопросы философии», 1989, № 1).

Так неужели же все те, кто называет геноцидом истребление собственного народа, стремятся кому-то пографить? А может, они просто мыслят в иных категориях, чем те, кто не в силах выйти за пределы ложной альтернативы?

Я понимаю страх Сарнова перед русским национализмом и разделяю его. Вопрос в том, что ему противопоставить. Я считаю: либерально-демократические институты, подлинный плюрализм, многоукладность. Понимаю, что эта точка зрения может вызвать скепсис. Парламент ваш, дескать, когда еще создастся, а опасность налицо...

И вот Сарнов негодует: почему это мне антипатичны идеи III Интернационала?

Да потому и антипатичны, что идеи создания общества, в которое должен войти некий идеальный пролетариат, а все прочие — на помойку истории, — идеи насилия во имя абсолютной справедливости, идеи уравнивания уже пытались осуществить — и опыт нашей истории показал, что равными можно сделать всех только в арестантской робе. Потому, наконец, что идеи мировой революции являются той мировоззренческой основой, которая рождает напряженность в мире, большие и малые Афганистаны.

Сарнов не видит связи между идеями мировой революции и Афганистаном? Что ж делать... Но не могу не заметить, что связь эта представляется очевидной не только мне. К примеру, И. Золотусский, рассуждающий о крушении идеологических умозрительных стереотипов, попытка воплощения которых в жизнь обернулась миллионами трупов, пишет: «Могилы зарастают травой... но новые могилы вырастают на наших кладбищах, — могилы мальчиков из Афганистана, и разве не та же сила толкнула их на смерть, что и выбила полнарода при Сталине?» («Новый мир», 1989, № 1). На мой взгляд — та же. На взгляд Сарнова — совсем иная.

Что ж — можно и поспорить. В конце концов

именно это я и предлагаю — спор. Открытый диалог. Честное отношение к мысли оппонента. (Вместо розыска подоплеки, которая скрывается за той или иной мыслью. Вот и Сарнов обнаружил, что моя «объективная» позиция — «лишь прикрытие, маскирующее...». Господи, ну неужто ухо не чувствует, как зловеще знакома эта лексика!)

Но одно скажу твердо: моя статья — вовсе не попытка сесть меж двух стульев, оказаться «над схваткой», как определяет Сарнов, и т. п., но лишь попытка зафиксировать весьма серьезные расхождения в том лагере, который относительно недавно ощущался как единый, противостоящий официозу и брежневщине.

Чем отличается хрущевская оттепель, авангардом которой были «шестидесятники», от нынешней перестройки?

Для «шестидесятников» характерно ощущение своей связи с идеологами коммунизма, а в смысле традиции — с русским освободительным движением. (До сих пор Ю. Буртин убежден, что у нас, к примеру, нет критики только потому, что нет Добролюбова, и что никто, кроме как Добролюбов, нам и не нужен.)

Поколение, идейно сформировавшееся в «застойные» семидесятые, включает в круг своего образования совсем иные явления русской культуры. (Ставка исключительно на Добролюбова вызывает у этого поколения иронию или недоумение.)

«Это наши внутрипартийные разногласия», — говорит уполномоченный НКВД Алферов главному герою романа Рыбакова «Дети Арбата» Саше Панкратову, объясняя причину ареста и ссылки Саши. Так оно и есть. Саша не имеет никаких особых разногласий с правящей партией касательно конечных целей. У «шестидесятников» со сталинистами, в сущности, те же разногласия.

Антисталинизм — идеология столь же целостная, в сущности, как и сталинизм, основанная на постулате, что Сталин извратил святые идеи социального братства, справедливости и исказил светлые идеалы, предначертанные раньше человечеству, и стоит только очистить идеалы от Сталина, как они засверкают в прежнем блеске и человечество двинется предначертанным раньше путем вперед, к победе...

Меж тем акцент перестройки в сравнении с акцентом оттепели явно сместился — целый ряд публикаций, в том числе по истории русской культуры и философии, ставит вопрос о корнях общественного утопизма, заставляет задуматься не о том, была ли альтернатива сталинизму, а о том, почему именно нам выпало осуществить социальный эксперимент, который не состоялся в Европе?

Я думаю, что...

Почему не прислушались к голосам тех, кто предостерегал от непродуманного «схематического эксперимента», заявляя еще в 1917-м, и даже раньше,— что он способен привести к невиданной диктатуре, к рекам крови?

В рамках полемики кочетовского «Октября» и «Нового мира» Твардовского эти вопросы для обсуждения не предъявлялись. И попытка взглянуть на них глазами участников тех полемик приводит к курьезным замечаниям, вроде того, что вопрос об идейных причинах сталинизма есть попытка снять ответственность со Сталина.

Подчеркну, что шестидесятничество, как идеология, не тождественно понятию «поколение шестидесятников»: многие из тех, кто принадлежат этому поколению, кто начинал свою литературную деятельность в рамках этой идеологии, эволюционировали. Нынешняя перестройка вышла из идей шестидесятничества, как вся наша литература из «Шинели» Гоголя. Но не только вышла, но и выросла из ставших тесными одежд.

Да здравствует самовыражение!

1

Поэт Иван Николаевич Бездомный сочинил поэму об Иисусе Христе. Очертил он главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками. Тем не менее образ Иисуса автору безусловно удался. «Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича,— замечает по этому поводу Булгаков,— изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он писал, но Иисус у него получился, ну, совершенно живой, некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами...»

Очень похожая история приключилась в наши дни с поэтом Юрием Кузнецовым, замыслившим создать полнокровный художественный образ великого итальянского поэта Петрарки.

Стихотворение Ю. Кузнецова так и называется — «Петрарка» (оно напечатано в «Дне поэзии 1986»). Ему предпослан эпиграф: отрывок из письма Петрарки Гвидо Сетте, архиепископу Генуи, отправленного из Венеции в

1367 году. В письме этом Петрарка сетует на то, что «нескончаемая вереница подневольного люда» омрачает его прекраснейший город «скифскими чертами лица». Далее он высказывается в том смысле, что не будь это «бесславное племя» кому-то из его сограждан милее, чем ему, оно по-прежнему прозябало бы в «глубине своей Скифии» и «зубами и ногтями рвало бы скудные растения».

Юрий Кузнецов принял этот пассаж на наш счет («Так глядел он на нашего брата»). И смертельно обиделся на Петрарку за его высокомерное презрение к «скифским лицам». И сочинил по этому поводу такие стихи:

Так писал он за несколько лет
До священной грозы Куликова.
Как бы он поступил — не секрет,
Будь дана ему власть, а не слово.

Тут возникает некоторая неясность. Не совсем понятно все-таки, как именно поступил бы, по мысли Ю. Кузнецова, Петрарка, «будь дана ему власть, а не слово». Приказал бы депортировать оскорбляющий его зрение «подневольный люд» куда-нибудь на восток? Или повелел бы вырезать их всех до единого? Или, может быть, распорядился бы отправить их в специально созданный для этой цели концлагерь?

Это остается неясным. Ясно только одно: рисуя образ Петрарки, Ю. Кузнецов, как и подобает истинному творцу, создавал его по своему образу и подобию. По этим строчкам чувствуется, что уж он-то сам, «будь дана ему власть, а не слово», знал бы, как следует в этом случае поступить.

Но поэту тоже дана власть. Она, конечно, не идет ни в какое сравнение с той властью, которой располагают короли, императоры, фюреры и прочие земные властители, но в каком-то смысле не только не уступает этой власти, а даже в чем-то ее превосходит. Вот, скажем, тот же Пушкин. Властью, данной ему богом поэзии, он пригвоздил несчастного Сальери к позорному столбу. И сколько бы ни старались потом историки, как бы убедительно ни доказывали, что Сальери вовсе не убивал Моцарта, в нашем сознании он навсегда останется убийцей.

Вот и Юрий Кузнецов тоже расправился с Петраркой, употребив для этого ту власть, какая была ему дана. Пользуясь этой властью, он перенес Петрарку в наш век:

Как магнит потянул горизонт,
Где чужие горят палестины.
Он попал на Воронежский фронт
И бежал за дворы и овины...

Он бродил по тылам, словно дух,
И жевал прошлогодние листья.
Он выпрашивал хлеб у старух —
Он узнал эти скифские лица.

Да, дорого заплатил несчастный Петрарка за свои неосторожные слова. Вечно теперь бродить ему «на лютном ветру... обдирая ногтями кору из-под снега со скудных растений».

Власть, данную ему богом поэзии, Юрий Кузнецов использовал, как говорится, на всю катушку. И славно отомстил — через века — итальянскому поэту за его надменную неприязнь «к нашему брату».

Справедливости ради следует все же отметить, что Пушкину удалось изобразить своего Сальери с большей художественной убедительностью, чем Юрию Кузнецову своего Петрарку.

Нет, портрет Петрарки у Юрия Кузнецова явно не получился. Но свой а в т о п о р т р е т он нарисовал замечательно!

2

Я думаю, Булгаков ошибся, предполагая, что Иванушку Бездомного подвела «изобразительная сила таланта». Скорее всего Иисус получился у него «совершенно живой» совсем по другой причине. Было, видимо, у Ивана Николаевича еще и другое качество, не менее необходимое поэту: дар самовыражения.

Истинный поэт самовыражается невольно. И чем непосредственнее, чем подлиннее поэтическое дарование автора, тем это самовыражение полнее. Говоря проще, тем больше стихи говорят нам о личности поэта. Повторяю: настоящий поэт раскрывает себя неосознанно, произвольно — в каких-то случайных обмолвках, оборотах, синтаксических конструкциях. Он не прямо сообщает нам о себе, но как бы проговаривается.

Хорошо сказал об этом в свое время Уолт Уитмен:

«Помни, что во всех твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе самом. Если ты злой и пошлый, это не укроется от них. Если ты любишь, чтобы во время обеда у тебя за стулом стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга и завистник, или не веришь в загробную жизнь, или низко смотришь на женщин, — это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь. Нет такой уловки, такого приема, такого рецепта, чтобы скрыть от твоих писаний хоть какой-нибудь изъян твоего сердца».

Ни в коем случае не следует думать, что это рас-

Я думаю, что...

суждение Уитмена справедливо только по отношению к поэтам. В равной мере все им сказанное относится и к романистам, и к публицистам...

Я написал однажды: «Дико слышать из уст русского писателя, что его не волновал факт публикации «Котлована» Платонова и «Собачьего сердца» Булгакова». Василий Белов, отвечая на это (а речь у меня шла именно о нем), возразил: «Котлован» и «Собачье сердце» я читал в рукописях лет эдак двадцать назад». Приятно слышать. А что книги эти только сейчас в первые дошли до многомиллионного нашего читателя, его, стало быть, не волнует?

Конечно, он этого не сказал. С а м о с к а з а л о с ь.

Ну, Белов — художник. Немудрено, что он даже и в публицистике самовыражается. Но вот оказывается, что мысль Уитмена в полной мере применима и к нашему брату — критику.

Вот, например, Ст. Рассадин в статье «Почитаем Пушкина» («Октябрь», № 6, 1988), возражая одному из своих оппонентов, вскользь роняет, что готов был бы воспринять его трактовку пушкинского «Медного всадника» — «с любопытственным благодушием». Всего два-три словечка, но как замечательно раскрылся в них автор, обнажив перед нами некоторые глубинные свойства своей души!

Но вспомнил я сейчас об этой статье не для того, чтобы заниматься анализом ее стилистики, анализом, лишний раз подтверждающим, что, как было сказано однажды, стиль — это человек. Речь пойдет о вещах более серьезных.

Общественная позиция Ст. Рассадина хорошо известна. Чем другим, но шовинизмом этот талантливый литератор никогда не грешил. Скорее наоборот: он неизменно р а з о б л а ч а л шовинизм во всех его видах и отличьях. Не зря сравнительно недавно он стал мишенью для злостных нападок всякого рода квасных лжепатриотов из-за статьи о печально знаменитом фильме Бурляева.

Но — вчитаемся внимательно в одно примечательное рассуждение критика, содержащееся в упомянутой мною статье. Речь идет о так называемом с п о р е Маяковского с Есениным. (Споре, которого, к слову сказать, в натуре никогда не было.)

«В этом (непустяковом!) споре со страдателем за Россию Есениным, — говорит Рассадин, — правота того, кто в пылу своего прекрасного интернационализма видел наше будущее «без России, без Латвий», а «исконное» с иронической легкостью приравнивал к «посконному», весьма, так сказать, проблематична...»

Чтобы не быть ложно истолкованным, Ст. Рассадин, для пущей ясности, сделал к этому пассажи довольно пространное примечание, которое, во избежание недоразумений, привожу полностью:

«Снова подчеркиваю: прекрасного интернационализма. И стоит подчеркнуть — даже оба слова — в сегодняшнем общественном контексте, когда, кажется, и эти знаменитые строки из стихотворения «Товарищу Нетте...» были перетолкованы в грубом, элементарно антирусском смысле. Разумеется, подозревать в этом Маяковского по меньшей мере неисторично; тут его устами говорило неповторимое время, и после высказывавшееся на сей счет на разных уровнях. От строк молодого Михаила Кульчицкого: «Только советская нация будет и только советской расы люди...» до наивных мечтаний Макара Нагульнова, как бы переженить всех землян, белых и черных, дабы все были «личиками приятно-смуглявые и все одинаковые».

Так или иначе, однако, спор Есенина с Маяковским вышел слишком серьезным — именно в историческом смысле, в своем многоголосом продолжении и развитии, — чтобы его экспрессию брать отдельно от его содержания».

Горькая пилюля, поднесенная Маяковскому, таким образом, слегка подслащена. Выясняется, что Маяковский хоть и виновен, но заслуживает снисхождения, поскольку в то время не он один, а многие «видели наше будущее» без России, без Латвий. Это было массовое, может быть, даже всемирно-историческое заблуждение.

Самое смешное при этом, что точно так же «видел наше будущее» и Есенин. Он, правда, не испытывал при этом никакого восторга, а даже наоборот, говорил, что когда это будущее настанет, он все равно «всем существом в поэте» будет петь «шестую часть Земли с названьем кратким Русь».

Я это не к тому, чтобы изобразить Маяковского заслуживающим еще большего снисхождения. Ни в каком снисхождении Маяковский не нуждается, и вовсе не потому, что «тогда все так думали». Ведь эти злополучные строки Маяковского — не более чем метафора.

Человек, хоть немного знающий русскую поэзию начала века (а Рассадин знает ее хорошо), мог бы вспомнить по этому поводу, скажем, такие известные строки Максимилиана Волошина:

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях...

Я думаю, что...

О Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи:
Германцев с запада, монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда.

Или такие — не менее известные — строки Андрея Белого:

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

Следует ли всерьез полагать, что Андрей Белый действительно хотел, чтобы Россия исчезла, без следа растворилась в пространстве, а Волошин на самом деле обращался с мольбой к всевышнему насладиться на русский народ «огнь, язвы и бичи», «расточить» его и отдать в рабство «вновь и навсегда»?

В такой же мере наивно и метафоре Маяковского придавать прямой, плоский, буквальный смысл.

Рассадин, правда, оговаривает, что он не с теми, кто склонен перетолковывать строки Маяковского «в грубом, элементарно антирусском смысле». (Характерно, между прочим, что у всех нападающих на эти строки почему-то речь идет только об «антирусском» смысле. «Антилатвийский» их смысл никого из них не волнует.)

Но если строки эти нельзя истолковывать в антирусском смысле, в чем же тогда суть выстроенного Рассадиным противопоставления?

Смысл тут может быть только один. Маяковский (в отличие от Есенина) «страдателем за Россию» не был. Не был именно потому, что мечтал о временах, когда не будет «ни Россией, ни Латвией».

Интересно: ну а Мицкевич? Был он «страдателем за Польшу» или не был? Болела ли у него душа за бедную, угнетенную свою отчизну? Ведь и он тоже мечтал «о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Маяковский просто-напросто осовременил этот образ, заменив семью — обществом. (Это вообще был его любимый прием: вот так же он осовременил традиционный поэтический образ любовной ладьи, назвав ладью — лодкой.)

Хочет этого Рассадин или не хочет, но у него получается, что интернационализм и патриотизм — «две вещи несовместные». И как бы он ни отгораживался от этого

всевозможными заклинаниями, сколько бы раз ни повторял, что интернационализм Маяковского прекрасен, как бы ни выделял этот эпитет — разрядкой ли, курсивом, суть дела от этого не меняется. Никакого другого смысла из этих его многословных и туманных рассуждений не выловишь. Получается, что Маяковский был интернационалистом, а «страдалец за Россию» Есенин — патриотом.

Но вся штука в том, что в сознании человека, свободного от шовинистических предрассудков, интернационализм отнюдь не противостоит патриотизму. Для человека, сознание которого не затронуту представлениями такого рода, интернационализм может быть противопоставлен только национализму. Так что, если следовать логике Рассадина (логике, все-таки просвечивающей сквозь его туманно-витиеватые рассуждения), нам остается либо навесить на Есенина ярлык националиста, либо обозвать Маяковского антипатриотом.

Но это мы, как говорится, уже проходили. И проходить еще раз не очень-то хочется.

3

Как видите, я ничуть не преувеличил, предположив, что рассуждение Уитмена относится не только к поэтам.

Но если говорить о поэтах, придется констатировать, что по крайней мере по отношению к некоторым из них мысль Уитмена нынче представляется несколько наивной. Во всяком случае — сильно устаревшей.

Уитмен не предвидел (да и мог ли он это предвидеть?), что настанет время и появятся поэты, которым и в голову не придет, что свои низменные чувства надо как-то скрывать. Поэты, у которых все те свойства души, о которых говорил Уитмен, будут выражаться прямо и открыто.

Такому поэту, если он низменно смотрит на женщин или, положим, считает, что народ надо держать в крепкой узде, не давая ему свободу, даже в голову не придет опасаться, что эти, как говорил Уитмен, «изъяны его сердца» не произвольно выразятся в его стихах и, таким образом, не укроются от глаз читателя. Он сам, нисколько не стыдясь этих самых изъянов, в прямую, что называется, открытым текстом выскажет читателю все, что у него накопело.

Возьмем для примера коротенькое стихотворение Станислава Куняева, опубликованное в «Дне поэзии» 1986 года:

Я думаю, что...

Окину взглядом Север и Восток,
песчаную и ледяную сушу,
и не географический восторг,
а мысль прожжет мятущуюся душу —
о том, что предки шли не торопясь,
осваивая реки и наречья,
не для того, чтоб износилась связь
полустальная, получеловечья.
Землепроходцам — исполать и честь,
и полководцам — исполать и память
за то, что нефть, и лес, и хлопок есть,
и есть простор, где оборону ставить.

Чтобы оценить степень откровенности, с какой автор выражает здесь свои мысли и чувства, сравним его — ну, хотя бы с Киплингом.

Редьярд Киплинг, как сказано в обстоятельном предисловии к наиболее полному у нас собранию его стихов, был «подлинным политическим поэтом британского империализма». Его стихи, как утверждается в том же предисловии, связаны идеей «строительства Британской империи». Наиболее последовательно и прямо эта идея выражена в стихотворении «Время белых»:

Несите бремя белых, —
И лучших сыновей
На тяжкий труд пошлите
За тридцать морей;
На службу к покоренным
Упрямым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть — чертям...

Слов нет: и поэтической энергии, и обаяния в стихах Киплинга побольше, чем у Куняева. Но обратите внимание, как ю л и т английский поэт, как он изворачивается, как маскирует истинные цели британского империализма, прикрывая их якобы благородными и альтруистическими побуждениями. Он даже имеет нахальство утверждать, что лучших своих сыновей Британия отправляет в колонии «на службу к покоренным угрюмым племенам». То есть что эти «угрюмые племена» были покорены англичанами как бы для их же собственного блага.

Станиславу Куняеву претит это британское лицемерие. Он не юлит, не прячется за высокими словами. Он прямо и откровенно славит «лучших сыновей» своей земли — землепроходцев и полководцев — за то, что они «осваивали реки и наречья», и вот теперь, благодаря их мужественному подвигу, у нас есть и нефть, и лес, и хлопок. Не говоря уже о жизненном пространстве.

Да, Куняев последователен и откровенен до конца. Ни при какой погоде не осквернит он свои уста прославлен-

нием интернационализма. У него просто язык не повернется назвать интернационализм прекрасным. Потому что ему интернационализм глубоко отвратителен. Он не только не скрывает этого, но даже подчеркивает. Мало того! Под эту свою неприязнь к интернационалистской идеологии и интернационалистскому мироощущению он подводит весьма солидное теоретическое основание.

Читатель, верно, уже догадался, что я имею в виду нашу шумевшую статью Куняева «Ради жизни на земле», напечатанную в 8-м номере журнала «Молодая гвардия» за 1987 год и в несколько измененном виде появившуюся в первом выпуске «Взгляда».

С неприкрытой неприязнью разбирал он в этой статье стихи поэтов военного поколения, с превеликим тщанием «шил» им дело, трудолюбиво и даже изобретательно подбирая на них «компромат».

Суть обвинений сводилась к тому, что поэты эти участвовали в Отечественной войне (а некоторые из них пали смертью храбрых, сражаясь с фашизмом), одушевленные не любовью к Родине и необходимостью защищать ее от захватчиков, а ложной идеей интернационализма, мечтой о «земшарной республике Советов».

Речь шла, впрочем, не обо всех поэтах этого поколения, но лишь о некоторых: Павле Когане, Борисе Слуцком, Александре Межирове, Ароне Копштейне...

Статья вызвала почти единодушный взрыв негодования. Многие — не без некоторых к тому оснований — даже увидели в ней попытку доказать, что не «чистокровно русские» истинными патриотами быть не могут. (Именно так сформулировала направленность этой статьи Т. Иванова в 16-м номере «Огонька» за 1988 год.)

В статье «Клевета все потрясает...» («Молодая гвардия», 1988, № 7) С. Куняев ответил на это обвинение.

Ответил он на него так:

«Если спорная идея высказана поэтом еврейского происхождения и ты с ней не согласен, так этого достаточно, чтобы тут же Т. Иванова заклеила тебя как антисемита?.. Хороши методы, нечего сказать!.. И зря она пугает меня всей совестью русской литературы. Это — от незнания. Пусть Иванова почитает, с какой диалектической сложностью относились к национальному вопросу Достоевский в «Дневнике писателя», Толстой в своих дневниках, Белинский в письмах, Герцен в «Былом и думам», Некрасов в поэме «Современники». Для пополнения знаний можно посоветовать Ивановой почитать и А. П. Чехова (см. его ПСС. М., 1980. Т. 17. С. 224)».

Эта ссылка на Чехова, признаюсь, меня заинтриговала. С чего бы это он, подумал я, на Толстого, на Гер-

Я думаю, что...

цена и на Белинского никаких точных ссылок не дает, а на Чехова ссылается так скрупулезно, указывая год издания, том и страницу? Не поленился: открыл указанный том на указанной странице и прочел дневниковую запись Антона Павловича, не чуждую антисемитских настроений. О том, например, что евреи с легкостью меняют свою веру из-за равнодушия, а это нехорошо, ибо «нужно уважать и свое равнодушие и не менять его ни на что, так как равнодушие у хорошего человека есть та же религия». О том, что критика не ценит и не понимает таких писателей, как Лесков, Островский и даже Гоголь, потому что «наши критики почти все — евреи... чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора...».

Ну что ж! Каждый выбирает себе — и у Достоевского, и у Толстого, и у Герцена, и у Чехова — то, что ему больше по душе. Но дело тут не просто в разнице вкусов. Важно другое: в чем все-таки выразилось коренное свойство русской литературы — ее *совестливость*? В рассказе того же Чехова «Скрипка Ротшильда» и в исполненном высокого душевного благородства его письме Суворину по поводу дела Дрейфуса или же в тех фразочках, на которые, сладострастно ухмыляясь и многозначительно подмигивая, указывает нам Куняев?

Все это настолько очевидно, что вряд ли заслуживало бы еще одного ответа, если бы за Куняева не заступилась вдруг (для многих совершенно неожиданно) другая известная наша критикесса — Алла Латынина.

«Боюсь, — засомневалась она, — что негодующие возгласы по поводу статьи С. Куняева «Ради жизни на земле» были вызваны в первую очередь личностью автора, от которого заранее знали, чего ждать, а не текстом статьи, в который, судя по характеру протестов, многие не потрудились вчитаться» (Латынина А. Колокольный звон — не молитва. К вопросу о литературных полемиках. «Новый мир», 1988, № 8).

Латынина попыталась сделать то, чего не смогли (или не захотели) сделать ее коллеги. А именно — вчитаться в означенную статью Куняева, дабы понять сокровенный, глубинный ее смысл. Признавая, что тот оттенок, на который намекала Т. Иванова, в статье Куняева действительно присутствует, допустив даже, что для самого Куняева он был мощным стимулом (хотя и отметив, что такие гадания некорректны), она справедливо утверждает, что главное в статье Куняева все-таки — другое. А именно — «попытка разобраться в идеологии, питавшей отряд «высокоодаренных» (как замечает Куняев) поэтов, вскормленных на идеях III Интернационала и эти идеи в своем творчестве воплощающих».

Эти самые «идеи III Интернационала», как выяснилось, тонкой, изысканной Алле Латыниной столь же антипатичны, как и грубоватому, прямодушному Станиславу Куняеву.

Она приводит любопытное суждение американского ученого Карла Сагана, заявившего, что в глазах среднего американца образ нашей страны прочно связан с претензиями на мировое господство. «Образ этот, — говорит Латынина, — строится на фактах истории».

Какие же факты истории имеются в виду? Может быть, речь идет о захватнической политике русского царизма? О временах «Священного Союза»? О многократных разделах Польши?

Нет, совсем нет.

«В нашей истории одним из моментов, вызывающих наибольшее недоверие американцев, Карл Саган считает концепцию неизбежности мировой революции... Проявлением последнего американскому профессору представляется и наш герб».

Таково мнение американского профессора. Но Алла Латынина, на это мнение ссылающаяся, быть может, думает иначе?

Нет, она думает точно так же:

«И пусть академик Арбатов с иронией возразит, что советский герб на монетах «имеет такое же отношение к притязаниям на земной шар, как полумесяц на турецком флаге к притязаниям Турции на Луну», — само возникновение символа связано с концепцией неизбежности мировой революции».

Возможно, кому-то и сейчас близки идеи мирового пожара, «земшарной республики Советов», возможно, кому-то импонирует романтическая надежда Павла Когана:

Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

Но надо отдавать себе отчет и в том, что в глазах не одного только профессора Сагана подобные призывы служат вещественным доказательством широты наших идеологических притязаний, превращающихся в территориальные, и что с помощью этих строчек такие, как профессор Саган, легко объясняют своему народу, к примеру, наше присутствие в Афганистане и внушают необходимость ответить на «земшарные» притязания «земшарной» же системой противостояния им.

«Земшарная республика Советов» — миф, опла-

Я думаю, что...

ченный кровью, включая и кровь, пролитую в Афганистане».

Что-то похожее мы где-то уже слышали,— подумал я, прочитав эти поразительные строки.— Но где?.. А-а, ну да! Конечно! В статьях московских художников, доказывавших, что Маяковский повинен в крови, пролитой Сталиным и «сталинским наркомом» Ежовым.

Теперь — новое дело! Оказывается, на Павле Когане, Борисе Слуцком, Александре Межирове, Михаиле Кульчицком и других поэтах-«ифлийцах» — кровь наших мальчиков, павших в Афганистане.

До такого даже сам Куняев не додумался!

Логика у Латыниной совершенно та же, что у художников, атаковавших Маяковского.

Хотел Маяковский, чтобы о работе стихов на Политбюро делал доклады Сталин? Хотел! Каких же еще вам надобно доказательств?

Мечтали Павел Коган и Михаил Кульчицкий о мировой революции? Мечтали. Клялись в верности идеям интернационализма? Клялись. А солдат наших, погибших в Афганистане, называют у нас воинами-интернационалистами? Называют. Чего же вам еще?

Они, пишет Латынина о поэтах-«ифлийцах», как называет их Куняев, «пошли на войну как в интербригаду. Но война была отечественная. Решался вопрос не о судьбе идей, а о судьбе народа, «великого русского слова» (что замечательно почувствовала Ахматова, в поддержку «земшарной республики» никогда не возвышавшая голос)».

В действительности, однако, в Отечественной войне решалась и судьба идей. В частности, решалась (и решалась) судьба чело­веко­нена­вист­ни­ческих фашистских идей, с приверженцами которых сражались в Испании бойцы тех самых интербригад, о которых с таким брезгливым пренебрежением упоминает Латынина, забывая (или не желая вспоминать), что среди них были и такие люди, как Оруэлл и Хемингуэй.

Поразмышляв немного, я подумал, что зря, наверное, сравнил Латынину с московскими художниками, атаковавшими Маяковского. Напраслина, возведенная ими на «лучшего, талантливейшего поэта» эпохи, как назвал его Сталин, все-таки не так чудовищна. Что там ни говори, а Маяковский какой-то свой кирпич в здании, выстроенное Сталиным, все-таки положил. В несправедливых нападках художников на Маяковского сказались яростная запальчивость, отсутствие историзма, грубость и плоскость мышления. Но там, по крайней мере, не было лицемерия. Что же касается Латыниной... Не может же

она, в конце концов, не понимать, что идеологическим обоснованием вторжения наших войск в Афганистан могли бы служить как раз «имперские» стихи Куняева, а не наивные, давным-давно рухнувшие мечты о «земшарной республике Советов» поэтов «ифлийского поколения».

Обосновывая необходимость введения «ограниченного контингента» наших войск в Афганистан, официальная наша печать неизменно напоминала, что делается это в интересах безопасности наших государственных границ. В переводе на язык поэтических образов Станислава Куняева это звучало бы так:

Чтоб был простор, где оборону ставить.

В отличие от Латыниной, у меня не хватает духу обвинить поэта (даже такого, как Куняев) в том, что на совести его — чья-то кровь. Но идеи, исповедуемые и проповедуемые Куняевым и его единомышленниками, при некотором стечении обстоятельств могут дать весьма зловещие всходы.

4

К Куняеву мы еще вернемся. Но прежде — еще несколько слов о Латыниной. Защита Куняева — далеко не единственное место в ее статье, подтверждающее возможность применения «закона», выведенного Уитменом, не только к поэтам, но и к литературным критикам.

Если верить многочисленным декларациям Латыниной, она принципиально не желает присоединяться ни к одной из спорящих сторон. На протяжении статьи она неоднократно подчеркивает свою предельную объективность. Даже по отношению к обществу «Память» она старается быть до крайности щепетильной. Ах, ах! Как можно! Полемизируем с фашистами, не предоставив им возможность изложить свои взгляды публично. Куда это годится! Надо, непременно надо дать им высказаться в печати. Это ведь азбука демократии!

Итак, она — над схваткой. Так сказать, двух станом не боец. Но это — на словах. А на деле...

Судите сами, чего стоит эта ее так называемая объективность.

Защищая некоторые положения нашумевшей статьи В. Бондаренко «Очерки литературных нравов» («Москва», 1987, № 12), она говорит:

«Даже в самые сложные периоды нашей истории не перестраивались А. Платонов и М. Булгаков, М. Пришвин и Н. Клюев, Б. Пастернак и Н. Эрдман», — пишет Бондаренко. Совершенно с этим согласна».

Я думаю, что...

И, развивая эту мысль:

«В каменном мешке, а думка вольна», — говорит пословица. Человек может быть внутренне свободен в тюрьме и быть рабом в обществе социальных свобод...

Ахматова вспоминает: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен...»

Высказав эту глубокую мысль и подкрепив ее авторитетом Ахматовой, Латынина (она ведь так объективна!) считает нужным сделать такую оговорку:

«Это, разумеется, не означает, что писателю социальные свободы как бы и не нужны. Необходимы как условие внешней реализации. А для многих, более слабых духом, — и как условие самореализации».

Сильные духом, надо понимать, сумеют «самореализоваться» и в каменном мешке.

Ну, что касается В. Бондаренко, то с него спрос невелик. Он, как выразился булгаковский Мастер об Иванушке Бездомном, человек девственный. Но Алла Латынина, надо полагать, и Пастернака читала, и в Мандельштама заглядывала. И о том, какое «глубокое дыхание» появилось у Мандельштама после ареста, ссылки в Чердынь, а потом в Воронеж, она гораздо лучше могла бы судить не по вырванной наудачу фразе Ахматовой, а по стихам самого Мандельштама. До ареста Мандельштам о Сталине написал так:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканы смеются усища,
И сияют его голенища.

А вот из стихов о Сталине, написанных в Воронеже:

И к нему — в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головой повинной тяжел.

Стихи эти — не из «Оды», которую Мандельштам мучительно выдавливал из себя в том же Воронеже, а из другого, более позднего стихотворения, обжигающего искренностью, несомненностью выраженного в них чувства¹.

В тех же «Листках из дневника» Ахматовой, из которых Латынина вырвала фразу о глубоком дыхании,

¹ Подробно об этом см. в моей статье «Заложник вечности (Случай Мандельштама)» («Огонек», 1988, № 47).

появившемся у Мандельштама в Воронеже, говорится о «трагической фигуре редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи».

Да, эти стихи (как и многие другие, написанные Мандельштамом в Воронеже) исполнены огромной внутренней силы. Но о чем это говорит? Только о том, что перемена, происшедшая с Мандельштамом, была отнюдь не внешней, что она затронула не только сознание его, но и подсознание, что он «перестраивался» не конъюнктурно: это была страшная, мучительная перестройка (или, если угодно, деформация) души.

Трагическая судьба Мандельштама — это, конечно, случай особый. Пожалуй, даже исключительный. Не каждый испытал на себе такое давление.

Но и Пастернак, о котором Латынина (присоединяясь к Бондаренко) так уверенно говорит, что он «не перестраивался», в середине 30-х вдруг стал «мериться пятилеткой» и заговорил о том, что хочет «в отличие от хлыща в его существование кратком — труда со всеми сообща, и заодно с правопорядком». А уж Эрдман, на которого Бондаренко и Латынина ссылаются, так тот до того «перестроился», что после «Мандата» и «Самоубийцы» сочинял только развлекательные, безобидные киносценарии («Волга-Волга», «Смелые люди», «Застава в горах» и т. п.).

Все это я говорю, разумеется, не в укор ни Эрдману, ни Пастернаку, ни Мандельштаму. Никого из них язык не повернется отнести к тем, кого Латынина высокомерно именует «слабыми духом».

Одно могу сказать: не дай ей бог хоть на миг оказаться в том «каменном мешке», в каком они провели большую часть своей сознательной жизни.

Я имею в виду не только разнообразные формы внешнего давления (цензура, проработки в печати, даже репрессии). Очень трудно человеку жить с сознанием, что вся рота шагает не в ногу и только он, злополучный прапорщик, знает истину. Особенно, если «рота» эта — 170-миллионный народ. Очень мучительно ощущать свое социальное одиночество, очень болезненно это чувство отщепенчества, даже если в основе его лежит прозорливость, безусловное знание истины. Очень естественно для нормального, здорового сознания хотеть — «труда со всеми сообща, и заодно с правопорядком».

Сталин был недурным психологом (в своем роде, конечно). Он знал, что есть нечто более страшное для психики человека, чем даже такие «сильнодействующие средства», как пытки, побои и прочие «недозволенные методы ведения следствия».

Я думаю, что...

Допросы Каменева вел следователь Миронов. Долгое время он тщетно пытался добыть признание обвиняемого. Но Каменев не сдавался. Миронов доложил Сталину, что Каменев отказывается давать показания.

— Не верю,— сказал Сталин. И вдруг спросил: — Вы знаете, сколько весит наше государство, со всеми его заводами, людьми, машинами, армией, флотом?

Миронов улыбнулся, решив, что Сталин шутит. Но Сталин шутить не собирался. Он смотрел на Миронова в упор, ожидая ответа на свой странный вопрос. Миронов пожал плечами и неуверенно сказал:

— Никто не может этого знать, Иосиф Виссарионович. Это уже астрономические цифры.

— Хорошо,— кивнул Сталин.— А теперь скажите, как вы думаете: может один человек противостоять давлению такого астрономического веса?

— Нет,— ответил Миронов.

— Ну так вот,— заключил Сталин.— Никогда не говорите мне больше, что Каменев или другой заключенный способен выдержать такое давление.

Именно этого давления не выдержали такие разные люди, как Каменев и Пастернак, Мандельштам и Бухарин.

«Либо ты молишься на Бухарина — либо ты сталинист. А если тебе Сталин отвратителен, но и Бухарин, утверждающий в своем предсмертном письме, что у него «вот уже седьмой год нет и тени разногласий с партией», не кажется достаточно радужной альтернативой Сталину — тогда как?» — язвит Латынина.

Видит бог, я бесконечно далек от того, чтобы «молиться на Бухарина». Но какой же надо быть «снежной королевой» с льдышкой вместо сердца, чтобы не содрогнуться, узнав о трагедии замученного, раздавленного, оклеветанного человека, который на краю гибели хоть перед потомками пытается соскрести с себя клеймо предателя.

И ведь знает же она — не может не знать! — что БЫЛИ у Бухарина разногласия с партией, что именно эти разногласия стоили ему жизни и что разногласия были не пустячные, а по главному, коренному вопросу: о коллективизации, превратившейся в физическую расправу с миллионами крестьян. Кстати, коллективизацию Латынина дважды называет в своей статье г е н о ц и д о м. Хотя тоже ведь не может не знать, что геноцидом называется истребление по национальному, расовому признаку. Это у нее — не случайная обмолвка, а явное желание потрафить тем, кто изо всех сил тщится сейчас доказать, что виновниками гибели миллионов крестьянских семей были Троц-

кий да Каганович. Как будто узбек Акмаль Икрамов не истреблял узбекских крестьян с такой же бессмысленной жестокостью, с какой истребляли русских «кулаков и подкулачников» в России, а украинских на Украине. И как будто к истреблению русского крестьянства вместе со Сталиным, Орджоникидзе, Кагановичем и Микояном не приложили руку Молотов, Куйбышев, Андреев, не говоря уже о миллионах рядовых исполнителей, со страстью (как правило небескорыстной) истреблявших своих единоплеменников¹.

Литераторы, подвизающиеся на страницах журналов «Москва», «Молодая гвардия» и «Наш современник», любят поплакать в жилетку, красочно расписывая, как травят их «либеральные жандармы».

«Почему-то «любители прогресса», — жалуется В. Бондаренко, — любят только свое понимание свободы критики. В XIX веке подобное явление называлось «либеральным террором», «апелляцией к городовому», когда не давали печататься Н. Лескову, А. Писемскому...»

Трудно понять, кто мог в XIX веке «не давать печататься» Лескову и Писемскому. Тогда, как известно, еще господствовали рыночные отношения, к которым мы теперь так стремимся, а на книгоиздателей «либеральный террор» вряд ли мог оказать какое-то воздействие. Но еще занятнее в этой тираде В. Бондаренко другое: смешение таких разных понятий, как «либеральный террор» и «апелляция к городовому». В либеральном терроре упрекали ле в у ю прессу. А к «городовому», то есть к властям, апеллировали п р а в ы е. Почему же Бондаренко объединил, отождествил эти два взаимоисключающие понятия? По невежеству, что ли?

Нет, не по невежеству. Оказывается, смешал он эти противоположные понятия, потому что «либеральная жандармерия», разъясняет нам Алла Латынина, «ныне не

Я думаю, что...

250

¹ Слово «геноцид» Латынина скорее всего заимствовала у В. Распутина, который уже употреблял его именно в таком контексте. А совсем недавно я наткнулся на тот же термин в «Манифесте народно-патриотического фронта «Память», под которым стоит дата: 12 января 1989 года.

Пункт 60-й этого «Манифеста» гласит: «Мы требуем раскрытия архивов и обнажения тайной власти, уродовавшей нашу страну во времена «красного террора», «военного коммунизма», «культы личности», «волюнтаризма», «застоя» и пустивших ее на поток и разграбление, обречших на духовное обнищание и геноцид все народы нашей Державы и, в первую очередь, русский». О том, что это за «тайная власть», далее сказано прямо: «За время сионистского (выделено мною. — В. С.) геноцида в нашей стране уничтожено людей больше, чем во всех войнах, которые вело человечество». Сакраментальное слово произнесено. Все точки над «i» поставлены.

обходится собственными силами — моральным осуждением, остракизмом, обвинениями в связях с Третьим отделением и т. д. Она сама апеллирует к властям».

Эту мысль Латыниной блистательно развил С. Куняев в статье «Все начинается с ярлыков...» («Наш современник», 1988, № 9). Гневно разоблачая (и, надо сказать, справедливо) некоторых писателей и поэтов 20-х и 30-х годов, которые в литературной полемике призывали себе на помощь карательные органы (ГПУ, НКВД), Куняев вдруг обращает свой гнев на с е г о д н я ш н и х «карателей», которые сейчас, уже в наши дни, используют те же методы: навешивают политические ярлыки и тем самым как бы призывают к расправе над своими литературными оппонентами. Кто же эти «злодеи»? Куняев называет несколько имен: Гельман, Евтушенко, Гавриил Попов, Юрий Карякин. Самой зловещей фигурой в этом ряду ему представляется Карякин:

«Ю. Карякин в недавней огоньковской статье просто кликушествует, требуя чуть ли не следствия по отношению к тем, кто е м у кажется противником перестройки. Трагикомизм и даже фарсовость ситуации заключается в том, что в этой же статье автор клеймит Жданова за рьяные поиски «врагов» народа в 37-м году, за подобное же кликушество».

Трагикомизм и даже фарсовость этого замечательного рассуждения состоит в том, что человек, требующий с у д а н а д п а л а ч а м и, в глазах автора ничем не отличается от п а л а ч а, на новости которого кровь миллион невинных людей. Как говорит профессор Преображенский в «Собачем сердце»: «Не угодно ли — мораль!»

Куняев, конечно, горячее и позапальчивее Латыниной. Но ход мысли у него совершенно тот же, что у нее.

Нет, не удастся Алле Латыниной сделать вид, что она всего лишь объективна, объективна до щепетильности. Ее позиция «над схваткой» — лишь прикрытие, маскирующее несомненную приверженность одному из враждующих станов. И после всего сказанного вряд ли надо объяснять, к какому именно.

Латынина, безусловно, была права, утверждая, что статью Куняева «Ради жизни на земле...», которую она защищает, истолковали определенным образом, потому что у автора этой статьи — такая репутация. Но репутация создается не на пустом месте. Репутацию — хорошую, плохую ли — надо заслужить.

Вот, например, у Аллы Латыниной до ее статьи «Колокольный звон — не молитва» была одна репутация. А теперь, я думаю, будет — другая.

В цитированном мною стихотворении «Окину взглядом Север и Восток...» Куняев выступает как довольно-таки циничный, трезвый реалист. Но было бы грубой ошибкой сделать из этого вывод, будто душе его вовсе не знакомы высокие романтические порывы.

Вот другое его стихотворение, в котором он выступает как человек, которому бесконечно чужды какие-либо корыстные, меркантильные побуждения («нефть, хлопок» и т. п.). Здесь его душой владеют уже совсем иные чувства:

А все-таки нация чтит короля —
безумца, распутника, авантюриста —
за то, что во имя бесцельного риска
он вышел к Полтаве, тщеславьем горя.

За то, что он жизнь понимал как игру,
за то, что он уровень жизни понизил.
За то, что он уровень славы повысил,
как равный, бросая перчатку Петру.

А все-таки нация чтит короля
за то, что оставил страну разоренной,
за то, что, рискуя фамильной короной,
повел гренадеров в чужие поля.

За то, что цвет нации он положил,
за то, что был в Швеции первою шпагой,
за то, что, весь мир изумляя отвагой,
погиб легкомысленно, так же, как жил.

За то, что для родины он ничего
не сделал, а может быть, и не старался,
два века никто на войну не собрался.

И уровень славы упал до нуля,
и уровень жизни взлетел до предела...
Разумные люди. У каждого дело.
...И все-таки нация чтит короля.

Читатель, вероятно, уже догадался, что герой, которому посвящено это стихотворение, — король Швеции Карл XII.

С чего бы это русскому поэту и русскому патриоту вдруг воспевать иноземного короля, который «повел гренадеров» не просто в какие-нибудь неведомые нам «чужие поля», а в самое сердце нашего отечества?

Впрочем, тут дело не в том, кто воспеваает поэт, а в том, за что прославляет он своего героя.

Если бы такие стихи написал поэт той страны, где

Я думаю, что...

«уровень славы упал до нуля, а уровень жизни взлетел до предела», — это бы еще куда ни шло. В конце концов, не для того существуют на свете поэты, чтобы умиляться сытому и жирному благополучию своих сограждан. У поэта, как мы знаем, всемирный запой, и мало ему конституций.

Но все несчастье в том, что эти стихи о шведском короле Карле XII сочинил поэт, мнящий себя голосом народа, которому пока еще ох как далеко до того, чтобы уровень его жизни «взлетел до предела».

Не будем обманываться. Не только о Карле XII тут речь. За романтической фигурой шведского короля просвечивает совсем другой, к несчастью, куда более знакомый нам облик. И если освободить этот эффектный стихотворный монолог от красивых иносказаний, получится примерно следующее:

А все-таки втайне мы любим вождя —
Учителя, Друга и Старшего Брата.
За то, что одежду простого солдата
он скромно носил, на трибуну всходя.

За то, что был крут и жидов не любил,
за то, что он цены на водку понизил,
за то, что полковникам ставки повысил
и авторитет палачей укрепил.

А все-таки втайне мы любим вождя
за то, что решительно, без колебаний
он всем нам устроил кровавую баню,
своих подхалимов — и тех не щадя.

За то, что цвет нации он погубил,
за то, что он был, как и мы, низколобым,
за то, что еще и сегодня, за гробом,
над нашими душами власть сохранил.

За то, что на родине после него
все прахом пошло: носят женщины брюки,
пусты лагеря, и чисты наши руки,
и это, пожалуй, нам горше всего.

Другие порядки в стране заведя,
На завтрашний день мы глядим без боязни.
Теперь не страшны нам ни пытки, ни казни.
...И все-таки втайне мы любим вождя.

Прошу извинить мне это несколько вольное пере-
ложение. Думаю, что я не шибко погрешил против истины,
нарочито сблизив столь несхожие исторические фигуры.
Ведь дело тут совсем не в том, похож Сталин на непутевого
шведского короля или не похож. Разумеется, не похож. Ни-
чуть не похож! И тем не менее такое сопоставление тут
напрашивается, поскольку задушевная мысль автора сти-

хотворения, побудившая его обратиться к этой теме, имеет самое прямое касательство к тому, кого тридцать лет мы звали «отцом народов», а последующие тридцать стыдливо именовали эвфемизмом — «культ личности».

Мысль Куняева проста и очевидна: что бы там ни говорили разные интеллигентики, все эти свободолюбцы и либералы, а народ чтит вовсе не тех правителей, которые обеспечивают ему счастливую и спокойную жизнь. Совсем наоборот! Он любит и чтит того, кто прочно вписал свое имя в историю, хотя бы даже вписал он его железом и кровью. Того, чье имя овеяно ореолом легенды. И плевать на то, что «цвет нации он погубил» и «оставил страну разоренной».

Все это как-то не в духе традиций русской литературы. Вспомним карикатурную фигуру Наполеона в «Войне и мире». Или знаменитое пушкинское: «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы для нас орудие одно...» Никакого почтения к тому, кто был кумиром для миллионов своих современников и потомков, ни Пушкин, ни Толстой не испытывали. А ведь мало кто из великих деятелей мировой истории так повысил «уровень славы» своего народа, как это сделал Наполеон Бонапарт.

Нет, русские поэты никогда не обольщались славой такого рода:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью...

Но это — полушотландец, космополит, сочинивший антипатриотический, пасквильный стишок «Прощай, немытая Россия...». Сошлюсь поэтому не на Лермонтова, даже не на Пушкина, а на поэта, который по всем своим позициям, казалось бы, должен быть особенно близок нашим неославянофилам. Стихотворение, о котором пойдет речь, называется «России»:

«Гордись! — тебе льстецы сказали.—
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечом!
Пределов нет твоим владеньям,
И, прихотей твоих раба,
Внимает гордым повеленьям
Тебе покорная судьба.
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись,
И как моря твои озера...»
Не верь, не слушай, не гордись!
Пусть рек твоих глубоки волны,

Я думаю, что...

Как волны синие морей,
И недра гор алмазов полны,
И хлебом пышен тук степей;
Пусть пред твоим державным блеском
Народы робко клонят взор
И семь морей немолчным плеском
Тебе поют хвалебный хор;
Пусть далеко грозой кровавой
Твои перуны пронеслись —
Всей этой силой, этой славой,
Всем этим прахом не гордись!

С таким призывом обращался к своей Отчизне духовный отец славянофилов Алексей Степанович Хомяков.

Нынешние «славянофилы» не вняли этому завету. Они как раз склонны гордиться тем, что их Родина — «земля несокрушимой стали, полмира взявшая мечом». И тем, что «далеко грозой кровавой» ее «перуны пронеслись». И даже тем, что пред ее «державным блеском народы робко клонят взор». Если перевести все это на язык презренной прозы, они — «неославянофилы», — размышляя об историческом прошлом Отчизны, склонны гордиться не духовной, а имперской ее мощью.

В какой-то мере мы в этом уже убедились. Но если кому-нибудь покажется, что приведенных примеров для столь категорического вывода недостаточно, найдутся и другие.

6

В последнее время на страницах наших журналов и газет то и дело появляются письма читателей, недовольных разоблачением преступлений Сталина и его ближайшего окружения. Один из таких читателей, возмущенный предложением переименовать города и улицы, носящие имя Жданова, гордо заявил, что хотел бы жить на улице Жданова в городе Сталинграде или Молотове, потому что он не желает жить «на улицах Царской, Империалистической, Сионистской».

Не знаю, как обстоит дело с улицами «Сионистской» и «Империалистической», но вот что касается «Царской», то она вовсе не противостоит «Сталинской» и «Ждановской», а, напротив, пролегает совсем от них неподалеку.

Вот, скажем, поэт Юрий Кузнецов. Он, я думаю, и на «Ждановской» охотно поселился бы, и на «Царской». На «Ждановской», потому что в своем неприятии поэзии Анны Ахматовой пошел, пожалуй, даже дальше Жданова. (См. его статью в «Книжном обозрении» от 2 октября

1987 года.) А о его готовности поселиться на улице «Царской» я сужу по стихотворению, которое он опубликовал в одиннадцатом номере «Нового мира» за 1987 год. В стихотворении этом прославляется бессмертный подвиг генерала Скобелева, который после падения Геок-Тепе (крепости, построенной текинцами для обороны от вторжения русских) «взял без боя Асхабат». Было это так. Вознамерившись взять эту крепость голыми руками, генерал выехал вперед с небольшой свитой. Навстречу ему двинулись семьсот всадников-текинцев, готовых к последней, смертельной схватке:

На смерть и славу путь лежал,
Все празднично одеты.
При каждом шашка и кинжал,
Ружье и пистолеты.

Но не смутился генерал,
На то и генерал он.
Недаром молод и удал,
И голосом взыграл он...

«Взыграв голосом», Скобелев посулил текинцам мир и покой под властью «белого царя». И обаяние «белого генерала» было так велико, а голос его, видать, был преисполнен такого очарования, что текинцы не смогли перед ним устоять:

Гром славы двадцать верст подряд
Все двадцать верст поездки!
Он взял без боя Асхабат
Один, при полном блеске.

Поехал дальше налегке,
И знает бог прощенья,
Чем стал он в племени теке
Под ропот восхищенья.

Эта великолепная картина, так вдохновенно нарисованная поэтом, правда, не совсем совпадает с фактами, о которых скупо сообщают энциклопедии и учебники. Даже старые, дореволюционные. Вот, например, как излагает суть дела С. Ф. Платонов, убежденный монархист, считавший, что установление «прочного порядка среди беспоконных и некультурных среднеазиатских племен» было для народов Средней Азии истинным благом:

«...Русские отряды постепенно умирляли беспоконное туземное население. В особенности сильный удар был нанесен генералом Скобелевым туркменскому племени «теке» («Сокращенный курс русской истории для средних и старших классов мужских гимназий»).

О том, что Скобелев был принят «племенем теке»

как отец родной, да еще «под ропот восхищенья», почему то ни слова.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона о том, что произошло после падения Геок-Тепе, рассказывается так: «Текинцы отступили в пески, где расположились у колодцев. Для преследования их был послан отряд, сделавший 500 верст в пустыне: на обязанность его было возложено уничтожить воспротивляющихся, обезоружить и вернуть обратно изъявивших покорность».

Но это все — частности. Поэт — не крохобор, мелочно собирающий факты. Важен общий смысл нарисованной им исторической картины. А смысл этот в принципе совпадает с оценками, содержащимися в том же Энциклопедическом словаре. «Последним замечательным подвигом Скобелева, — говорится там, — было завоевание Ахал-Теке». И далее сообщается, что царское правительство высоко оценило этот подвиг генерала: он был произведен в генералы-от-инфантерии и получил орден св. Георгия 2-й степени.

Советская историческая энциклопедия, правда, оценивает деятельность генерала несколько иначе. Там о Скобелеве говорится, что он «проводил военно-феодальными методами колониальную политику царизма в Средней Азии». Но том этот вышел в свет в 1969 году. Кто его знает! Может быть, наша историческая наука с тех пор шагнула далеко вперед? Или — вернее сказать — назад, к Брокгаузу?

Но я не историк. И меня, по правде говоря, тут интересует другая сторона проблемы. Так сказать, чисто художественная. Настоящий художник отличается от простых смертных, помимо всего прочего, еще и умением глядеть на мир чужими глазами. Видеть явление или предмет, так сказать, не только со своей колокольни. Умением отрешиться от личной (или национальной) предвзятости, личного (или национального) эгоизма. Классический пример — «Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстого.

Будь Юрий Кузнецов настоящим художником, настоящим поэтом, он, изображая «подвиг» генерала Скобелева, сумел бы взглянуть на своего героя глазами тех, кого храбрый генерал так красиво и изящно покорил. А именно — глазами туркмен.

Хотя Юрий Кузнецов этого и не сделал, у нас с вами такая возможность есть. 5 мая 1988 года в газете «Туркменская искра» была напечатана беседа корреспондента газеты О. Аманиязовой с народным писателем Туркменистана Р. Эсеновым. В ходе этой беседы была затронута и интересующая нас проблема.

— Мне не раз приходилось, — говорит О. Ама-

ниязова, — быть свидетелем спора о добровольности присоединения Туркмении к России... Вы упоминаете в книге о сражении геоктепинцев с царской армией и вскользь говорите о генерале Скобелеве — герое Шипки. Разночтение истории, незнание истины порой приводят некоторых в такие дебри, к таким выводам, последствия которых трудно предугадать.

— Как раз по этому поводу, — отвечает Р. Эсенов, — у меня были разногласия с издательствами, особенно при выходе книги «Дорогами доброты», вышедшей в «Советском писателе» еще в 1984 году. Из нее без моего согласия изъяли подробности геоктепинского сражения, в котором погибло много туркмен, а также о роли генерала Скобелева. На Шипке он действительно выполнял справедливую миссию, а при осаде Геок-Тепе был захватчиком. Недаром его в народе окрестили «гёзя ганлы» — генерал с «кровавыми глазами».

Вот, оказывается, чем стал генерал Скобелев «в племени теке» — генералом с кровавыми глазами.

Как следует из этого рассказа Р. Эсенова о своих разногласиях с издательствами, Юрий Кузнецов не одинок в стремлении изобразить захватчика в роли благодетеля. Лживый и лицемерный взгляд на историю, согласно которому все малые народы добровольно присоединялись к России, испытывая при этом несказанное счастье, придуман не Юрием Кузнецовым. Он лишь дальше других пошел по этому давно проторенному пути.

Однако далеко не всегда царская Россия изображается нашими поэтами в роли великодушной защитницы и спасительницы покоренных народов. У этой фальшивой монеты есть и другая, обратная сторона.

Характерно в этом смысле стихотворение Станислава Куняева «Всесоюзная перепись», напечатанное в «Литературной газете» 20 мая 1987 года:

На Тунгуске перепись идет,
и тунгус, что записался русским,
чистой каплей влился в мой народ,
оставаясь зернышком тунгусским.

Русь моя, рождаемость низка!
Но, как чудо, что в тебе исконно,
нынче ненца, завтра коряка
ты в свое усыновляешь лоно.

Испокон ведется на Руси:
власть грешит, а каяться народу,
потому, калмык, меня прости
за свою былую несвободу.

Лес рубили — сыпалась щепа,
иссякал запас любви и сердца,
потому горчит моя судьба
горечью изгнанника чеченца...

На Тунгуске перепись идет,
и тунгус, что русским записался,
в многокровный русский мой народ
влился, но самим собой остался.

Коль посильно платят за добро,
то, как племя, думаю, не сгинут,
и еще достоинство одно:
никогда отчизну не покинут.

Словом, будь «всяк сущий в ней язык»!
Но, коль не хватает русской плоти,
выручает «друг степей калмык» —
изучайте перепись — поймете...

Может показаться, что картина эта прямо противоположна той, которую нарисовал Юрий Кузнецов. Там захватчики выступают в роли благодетелей покоренных племен. Покоряя их, они оказывают им как бы некую услугу. Здесь же — наоборот: некогда покоренные племена выступают в роли благодетелей по отношению к великому народу, попавшему нынче в трудное положение («рождаемость низка!»), — «выручают» попавшего в беду «старшего брата», делятся с ним самым кровным своим достоянием — собственной плотью.

Но это — только на первый, невнимательный взгляд. В действительности же процитированное стихотворение Куняева не только не противоречит центральной идее, заключенной в стихах Ю. Кузнецова о генерале Скобелеве, — оно эту идею логически продолжает и развивает. Ведь тунгус и «друг степей калмык» не просто так «выручают» попавший в беду русский народ. Они, как говорит поэт, — «посильно платят за добро». Слово «посильно» тут особенно красноречиво: добра, видать, получили в свое время так много, что теперь вовек им не расквитаться. Выплачивают свой долг, значит, не целиком, а «посильно», то есть отдают, кто сколько может. Но это в конце концов — частность. Главное, что образ народа-благодетеля, осчастливившего малые народы и племена, остается непоколебленным. Оказывается, народы эти были вовсе не покорены, а усыновлены Русью («Но, как чудо, что в тебе исконно, нынче ненца, завтра коряка ты в свое усыновляешь лоно»). Не худо бы, конечно, спросить тунгуса и «друга степей калмыка», а заодно и чеченца, сильно ли жаждали они такого усыновления.

Кстати, о калмыках и чеченцах. «Власть грешит, а каяться народу», — не без самодовольства говорит поэт,

прося прощенья (от имени всего русского народа, как видно) у калмыка за грехи, содеянные властью. Однако справедливости ради следует отметить, что «власть» покаялась перед калмыками лет за тридцать до того, как на этот нравственный подвиг решился Станислав Куняев.

С чеченцами же у него дело обстоит еще хуже. «Лес рубили — сыпалась щепа...» — так объясняет он причину выселения чеченцев из родимого края. Пословица эта («лес рубят — щепки летят») была у всех на языке в приснопамятном 37-м. В то время она наполнилась совершенно особым смыслом: приложенная к тогдашней ситуации, пословица эта как бы предполагала, что лес рубится необходимо, лес рубится для нашего всеобщего блага. Но — ничего не поделаешь! — приходится мириться с тем, что вместе с этим справедливо обреченным на гибель лесом порою гибнут и ни в чем не повинные «щепки».

Чудовищная безнравственность уподобления единственной и неповторимой человеческой жизни случайно попавшей под топор щепке даже и тогда была очевидна для многих. Сегодня, когда мы знаем, какой рубили лес, оно звучит стократ безнравственней. Но даже и в те времена, не то что нынче, никому, кажется, не приходило в голову уподобить щепке целый народ.

Есть в этом стихотворении еще один весьма красноречивый оттенок. Свой перечень достоинств малых наций и племен, влившихся в «многокровный» русский народ, поэт завершает таким многозначительным намеком:

И еще достоинство одно:
никогда отчизну не покинут.

В чей огород брошен этот камешек, объяснять не надо.

Рассказывают, что незадолго до (или вскоре после) депортации чеченцев, калмыков, ингушей, крымских татар и других сосланных наций Сталин на каком-то очередном банкете в Кремле дал этой акции (готовящейся или уже совершившейся) такое идеологическое обоснование:

— В народной песне поется, — будто бы сказал он, — что «за столом никто у нас не лишний». Но жизнь показала, что есть лишние за этим столом...

Тем, кто тогда был объявлен «лишними», Станислав Куняев ныне приносит свои запоздалые извинения. Но сталинская железная логика и поныне сохраняет для него свое властное обаяние и несокрушимую силу. И сегодня, оказывается, есть лишние за нашим общим столом.

Лишние — это те, кто, так сказать, по определе-

нию, по одному только факту принадлежности к определенной нации могут быть заподозрены в том, что готовы покинуть отчизну. «Отказники» — как назвала их незабвенная Нина Андреева, влившая в это слово свой, новый смысл: «отказники» в ее интерпретации — не те, кому власти отказывают в праве на эмиграцию, а те, кто отказывается от социализма. Отказываются же, как легко догадаться, представители лишь одной нации¹.

Между тем уезжали люди разных национальностей, и многие из уехавших покинули Родину совсем не потому, что были идейными противниками социализма, а совсем по другим причинам.

Да и среди тех, кто «никогда отчизну не покинут», — все ли так уж довольны своей национальной судьбой? Последние события в Казахстане, Армении, Азербайджане, Якутии продемонстрировали нам нечто иное.

Возникает, между прочим, и такой не слишком деликатный вопрос. А тот тунгус или «друг степей калмык», что «русским записался»? Может быть, вовсе не стремление «посильно платить за добро» побудило его совершить этот поступок? Может быть, этому самому тунгусу (или калмыку) представляется — и не без некоторых к тому оснований, — что ему просто-напросто выгодно не числиться русским? Не говорю уже о тех, чьи умонастроения бдительная Нина Андреева предлагает определять по методу Ломброзо, поскольку, отвечая на «пятый пункт» анкеты, можно и солгать, а нос или там какое-нибудь особенное выражение глаз от объектива фотоаппарата никуда не спрячешь...

Могут сказать, что ничего этого в тексте разбираемых мною стихов нету и в помине. Что все это — мои домыслы, догадки.

Но поэт, как мы уже выяснили, лучше всего выражает себя произвольно, неосознанно. В случайных обмолвках. Даже в умолчаниях, как говорит Уитмен.

Так выпьем же за великую силу искусства, леди и джентльмены! И — да здравствует самовыражение!

¹ Нет необходимости гадать, какой именно. Нина Андреева намеками не ограничивалась. Из статьи Валерия Кичина, появившейся 25 июля 1988 года в газете «Советская культура», мы узнали, что свой «манифест» Нина Андреева разослала одновременно в несколько газет. В варианте, отосланном в «Советскую культуру», были, оказывается, такие замечательные рассуждения: «Конечно, не каждый еврей сионист, но если поскрести, то у большинства прорезаются сионистские зубки». Или: «С недавних пор некоторые еженедельники и журналы стали прикладывать портреты авторов публикаций, что позволяет высветить некоторые неясности в их умонастроениях, не заглядывая в анкеты, которые давно уже ни о чем не говорят».

Национальный вопрос в России

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры...

А. Пушкин

Я думаю, что...

262

« — Направление главного удара вам известно: коллективизация есть борьба со всем старым укладом жизни... Подошло время тряхнуть как следует посконную Русь... Вот что пишет Михаил Кольцов в «Правде»: «Пусть пропадет косопузая Рязань, за ней толстопятая Пенза, и Балашов, и Орел, и Тамбов, и Новохоперск, все эти старые, помещичьи, мещанские крепости!..»

— Рязань и Пенза не помещичьи крепости, а русские города. И все, что построено в этих городах, построено и создано народом. Разрушать это — значит разрушать народную культуру...

— Не народную культуру, а дворянскую да поповскую...

— Ну-с, дворяне да попы ничего своими руками

не строили. Культура — это вам, понимаете ли, не форма одежды, она не бывает ни помещицъей, ни чиновницъей, а только национальной.

— Не национальной, а классовой!

— Без национального характера любая нация теряет остойчивость и распадется как единое целое.

— У пролетариата нет отечества! Его отечество — всемирная революция.

— Святость веры стояла рядом со святыней национальной жизни...

— Вот вы и скатились к явной апологетике религии. Старо! Мы боремся за прочность государства, за обновление...

— Я говорю о русской национальной идее, о культурном призвании... Идея национальности, понимаемая как культурная миссия, благотворна по сравнению с бесплодным космополитизмом...»

Это из романа Б. Можяева «Мужики и бабы». С тех пор минуло более полувека, и мы давно уже не ведем подобных дебатов. Товарищ Сталин многие проблемы решил «раз и навсегда». Мы Сталина-то поругиваем, а за многие его установки держимся до сих пор, никак не хотим отрешиться от бесхлопотной жизни.

Долгие десятилетия молчание у нас обычно отождествлялось с благополучием. Возникали какие-либо проблемы, мы молчали, и вроде бы этих проблем не существовало. Но самое упорное молчание мы хранили по поводу межнациональных отношений. Любое обсуждение национального вопроса, кроме фестивального, считалось неизвинительной крамолой и квалифицировалось как национализм или даже шовинизм, и тут сразу же начинало папахивать уголовным кодексом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Строжайший запрет распространялся даже на наше дореволюционное прошлое, все было сведено к простейшей формуле: «Царская Россия — тюрьма народов» — так до семнадцатого года; «Союз нерушимый республик свободных» — так после семнадцатого года. Пусть вторая часть этой формулы отлилась в чеканные слова государственного гимна только через двадцать с лишним лет после семнадцатого года, но действие ее в интерпретации прошлого распространялось именно до этой хронологической черты, а в будущее — до бесконечности. И никаких сомнений, никаких рассуждений, никаких дискуссий. Мнимое благополучие порождало вполне реальное благодушие, научная разработка национального вопроса была навсегда ассимилирована офи-

циальной пропагандой, которая с непадающим упорством внушала, что нерушимая дружба народов нашей страны столь же неотвратима, как, скажем, вращение Земли вокруг своей оси.

И вот наступила эпоха гласности. Мы открыто (пусть и не по всем вопросам и не во весь голос) заговорили о коррупции и проституции, об алкоголизме и наркомании, об убийствах и самоубийствах, об организованной преступности и надвигающейся экологической катастрофе, о пожарах, взрывах, авариях и так далее и так далее. Вторая волна культа личности Сталина по своему размаху и напору, кажется, уже превзошла первую, когда все достижения и победы неразрывно связывались с его именем. Теперь Сталин из почти всемогущего бога предстал перед нами всемогущим (и уже без «почти») дьяволом, творившим зло по собственному усмотрению и в очерченных им же самим масштабах.

Однако при всей смелости и размахистости нынешних критиков Сталина им явно не хватает последовательности. Как известно, в первом советском правительстве Сталин занял очень важный пост наркома по национальным делам, но вот деятельность его на этом посту, равно как и его национальная политика в дальнейшем, почему-то остаются за пределами внимания нынешних разоблачителей. Да, иногда говорят о репрессивных акциях Сталина по отношению к некоторым народам в период Великой Отечественной войны, но на этом разговор о национальной политике Сталина (а в последующие годы Хрущева и Брежнева) почему-то заканчивается. Тут смелость покидает самых смелых авторов.

Даже В. Селюнин в статье «Истоки» («Новый мир», 1988, № 5), пожалуй, самой острой статье всего периода гласности, охарактеризовав нынешнюю ситуацию как революционную, назвал только два ее признака («Нам предстоят перемены не менее революционные — трудящиеся не хотят больше жить по-старому, административный аппарат не может управлять по-старому»), но не решился назвать третий: назревшая необходимость глубокого переосмысления межнациональных отношений.

Так или иначе, но слишком затянувшееся наше молчание было нарушено голосом самой жизни. Казахстан, Закавказье, Прибалтика... Отточие я здесь ставлю не случайно, как не случайно и название моей статьи, я его позаимствовал у известного русского философа Владимира Соловьева, выпустившего сто лет назад под таким названием книгу, которая, к сожалению, не вызвала особого интереса у тогдашнего читателя. Теперь она читается как некое предсказание, от практического воплощения кото-

рого автор «Национального вопроса в России» наверняка пришел бы в ужас. Впрочем, любопытны и некоторые суждения В. Соловьева, касающиеся отдельных концепций отечественной истории. К примеру, В. Соловьев утверждал:

«Наша история представляет два великие, истинно-патриотические подвига: призвание Варягов и реформу Петра Великого. И против этих-то двух великих подвигов народного духа восстают во имя патриотизма, отвергают первый из них, как басню, а второй осуждают, как историческое злодеяние».

Пожалуй, за давностью времени и за отсутствием строго документальных доказательств я не возьмусь опровергать ни одну из научных басен по «варяжскому вопросу», но отлучать Петра Великого от злодеяний против своего народа — значит умышленно притеснять историческую достоверность. В мнении многих и по сей час «окно в Европу» оправдывает и массовые казни, и пытки, и обращение крестьян в рабов (реформа 1723 года о прикреплении крестьянина к помещику), и лишение русского народа своей столицы, и подчинение церкви государственному департаменту (Святейшему Синоду). Но я не стану заострять внимания на этих хрестоматийных событиях — слишком уж смачно они пропитаны кровью. Возьму, с беглого взгляда, совсем невинный пример — бороду.

Не правда ли, смешно: боярам монарх стрижет бороды, а они, ретрограды, приходят от этого в ужас? Но порой случается и так, что люди смеются по причине собственной глупости или от невежества.

Короткая справка: «Символическое значение, придававшееся у нас усам и бороде, как символам мужества, ясно видно из «Русской правды», которая за повреждение усов или бороды назначает вчетверо большую пеню, чем за поранение обнаженным мечом или за повреждение пальца».

Лишь самый жестокий тиран может покушаться на честь, достоинство или совесть своих единоверцев и подданных.

Представьте себе, что сегодня в каком-то государстве собирают парламентариев, заставляют их раздеться до пояса (только снизу) и в таком виде отправляют домой. Вот они, полуголые, шествуют по улицам, являясь к своим домочадцам. Сколько срама, унижения, бесчестия обрушится на всех, кто станет жертвой или свидетелем подобного злодеяния.

В. Соловьев не был ни деспотом, ни злодеем, напротив, многие современники отзывались о нем как о благородном и чистом человеке. Так, наверное, оно и было на

самом деле. Не личные качества, а убеждения заставили его вдруг «забыть» многие подробности отечественной истории, и не только относящиеся к эпохе петровских реформ. «...русское государство, зачатое Варягами и оплодотворенное татарами...» Даже кровавые ужасы татаро-монгольского нашествия благородный философ почитал историческим благом, оплодотворяющим моментом. Только инквизиторская убежденность давала возможность оставаться спокойным, перелистывая самые кровавые страницы истории своего народа, и бесстрастно поучать: «Мы должны помнить, что мы, как народ, спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоотречением».

Конечно, национальный эгоизм и самомнение — вещи не самые предпочтительные, но почему им в качестве альтернативы следует выдвигать национальное самоотречение, которое для любого народа просто пагубно? Почему национальное самоотречение — цель, к которой нужно стремиться? Во имя чего? На это Владимир Соловьев дает ясный ответ:

«Истинный патриотизм не боится католической пропаганды, как не боялся норманской власти, как не боялся немецкой школы. Настоящая вера не знает страха, и настоящая любовь не терпит бездействия и косности: она требует действительного и определенного выражения. Так, в начале нашей истории любовь к отечеству выразилась в любви к государственному порядку, который был прежде всего нужен для отечества; во времена Петра Великого и Ломоносова любовь к отечеству выражалась в любви к просвещению, которое тогда было более всего нужно для отечества. Ныне степень народного возраста и народные нужды выдвигают на первый план такое дело, которое еще выше и важнее, чем государственный порядок и мирская культура,— дело церковного порядка и духовной культуры. И во имя самой России, из любви к ней, т. е. к ее высшему благу, мы должны быть преданы не русским (в тесном эгоистическом смысле) интересам, а вселенскому церковному интересу — он же и глубочайший окончательный интерес России».

А почему «вселенский церковный интерес» есть «глубочайший окончательный интерес России»? К этому вопросу мы вернемся чуть позже, а теперь предоставим слово толкователю и в каком-то роде оппоненту В. Соловьева — профессору П. Н. Милюкову, тому самому, которого мы знаем с детства, со слов Маяковского: «усастый нянь» П. Н. Милюков. Приятно было потом, уже в довольно зрелом возрасте, открыть для себя, что «усастый нянь» был весьма эрудированным и талантливым историком.

22 января 1893 года в аудитории Исторического музея П. Н. Милюков прочитал публичную лекцию на тему «Разложение славянофильства» (позже она была включена в его книгу «Из истории русской интеллигенции»), в которой обстоятельно проанализировал эволюцию религиозно-философских взглядов Владимира Соловьева. Опираясь на эту работу П. Н. Милюкова мы вправе еще и потому, что в книге (1902 г.) дается следующая сноска: «Позволю себе прибавить, что статья эта, прежде напечатания ее в «Вопросах Психологии и Философии», была прочитана покойным В. С. Соловьевым и фактическое изложение своего учения он признал совершенно правильным».

«По системе Соловьева,— говорил П. Милюков,— в основе мира лежит Божественное начало, не в пантеистическом смысле мировой души, а в дуалистическом смысле Творца и в христианском смысле — троичного Бога. Троичность Соловьев объясняет как различие трех сторон Божественной природы — бытия, действия и сознания: Божественное существо *есть*, оно проявляет свое существование *деятельностью*, оно *осознает* себя действующим. В полноте единой Божественной природы заключался от века и противобожественный элемент — множественности, беспорядочного, безобразного и бесформенного хаоса; но возможность проявления этого хаоса извне сдерживалась всемогуществом Божиим. Однако же в своем совершенстве Божественное существо не может ограничиваться тем, чтобы подавлять хаос своим всемогуществом. Чтоб «иметь право окончательно победить хаос и свести его к вечному небытию», надо показать не только свою силу над ним, но и свою правоту и свою благодать. С этой целью Божество перестает подавлять в себе хаос,— и возникает мир, как нечто противоположное Богу. До появления мира Бог был всем; теперь Он хочет, чтобы все было Богом. В этом постепенном проникновении мира божественным (и притом троичным) началом и состоит история мира».

Таким образом, по П. Милюкову, В. Соловьев видел предназначение русского народа в осознании себя действующим лицом в деятельном пересоздании мира-хаоса в Божественный мир-космос, но эта деятельность представляется невозможной без создания единой христианской Церкви.

«После пришествия Христа, сосредоточившего принцип Богочеловечества в одном своем лице,— задачу полного осуществления идеи Богочеловечества берет на себя Церковь. Для того, чтобы выполнить эту задачу полного слияния человечества с Божеством, церковь должна пропитать мирское общество христианским началом. Но

для этого ей необходимо содействие государства; следовательно, церковь должна стоять выше государства. Принцип церкви, стоящей выше государства, христианство осуществило в папстве: папство и должно поэтому оставаться средоточием всемирной церкви».

Действительно, В. Соловьев весьма настойчиво высказывался в пользу католической церкви, видя в папстве надгосударственный религиозный институт:

«Я же с своей стороны глубоко и твердо убежден, что церковное примирение Востока и Запада есть именно национальная историческая задача России».

«Для духовного обновления России необходимо отречение от церковной исключительности и замкнутости, необходимо свободное и открытое общение с духовными силами Церковного Запада».

Итак, России необходимо двойное отречение: национальное и религиозное, то есть отречение от христианства в его восточной интерпретации, иначе...

«Мы доселе смотрим на западную церковь с таким же враждебным недоверием и предубеждением, с каким наши предки смотрели на западную цивилизацию; если бы они не победили в себе этого отвращения и не вступили бы в культурное общение с Европой, Россия теперь не существовала бы как полноправный и важный член исторического человечества; и точно так же если мы теперь не откажемся от своей религиозной исключительности и предубеждения (т. е. от православия.— А. Л.), Россия не будет в состоянии явиться как всемирно-религиозная сила для служения вселенскому христианскому делу».

Как видим, В. Соловьев считал, что Россия должна посвятить себя служению вселенскому христианскому делу, и не менее. Но почему предпочтение при объединении восточной и западной церковью без всякого сомнения отдается церкви католической, а не православной? Папство? Не только. В. Соловьев считал, что Византия погибла благодаря омертвлению ее церкви и та же участь ожидает современную православную церковь. В кратком изложении П. Милюкова взгляд В. Соловьева на восточную церковь выглядит так: «Что касается церкви восточной,— в ней, напротив, государи старались стать выше церкви. Византийские церковные иерархи из национальных и личных расчетов предпочитали получить не совсем точную формулу веры из рук императора, чем взять истинную формулу из рук пап. (Как видим, В. Соловьев считал, что держателями истинной формулы веры всегда были Божии наместники Рима, то есть папы.— А. Л.) Наконец, период ересей кончился; ереси, благодаря настойчивости западной церкви, были осуждены вселенскими соборами. Тогда

Я думаю, что...

еретическое понимание церкви, как сферы жизни, обособленной от государства, «вошло внутрь» восточной церкви. Замкнувшись в свою обособленность от мира и общества, она приобрела мертвенный характер и не могла действовать на жизнь, не могла воспитывать общества...»

В. Соловьев абсолютно прав, восточные государи старались встать выше церкви — и становились, особенно в этом деле преуспел Петр I, с которого и началось резкое падение влияния церкви на общество. «Россия XVI века, крепкая религиозным чувством, богатая государственным смыслом, нуждалась до крайности и во внешней цивилизации, и в умственном просвещении... С воссоединением Киева и Малороссии в XVII веке Московское царство становится всероссийским.

Но чтобы *эта новая национально-политическая сила* могла вступить на поприще всемирной истории для сознательного и плодотворного служения делу Божию на земле, ей необходимо было всеми средствами деятельности и путем *постепенного* просвещения дойти до сознания своей вселенской задачи» (выделено мной. — А. Л.).

И тут же В. Соловьев возносит до небес Петра I, который никакой постепенности не признавал и делал все, чтобы разрушить «крепкое религиозное чувство», а церковь, о которой так хлопотал В. Соловьев, по сути дела превратилась в государственное учреждение, и именно с Петра I русская православная церковь начала обособляться от остального общества и терять свою самостоятельную роль в его воспитании.

Мы вот сейчас приходим в недоумение, когда на фотоснимках или кинокадрах двадцатых и тридцатых годов видим веселые или смеющиеся лица людей. «Как же так, — задаемся мы вопросом, — шли повсеместные массовые репрессии, а люди веселились и даже смеялись? Или не знали? Нет, не могли не знать... А бодрые, веселые песни? Кошунство».

«Петр Великий действительно любил Россию, т. е. сострадал ее *действительным* нуждам и бедствиям, происходившим от невежества и дикости». — писал сто лет назад известный философ и честный человек Владимир Сергеевич Соловьев. Так неужели он не знал, что именно Петр I превратил земледельца в раба, которого стали продавать и покупать, как скот, на рынке? Знал. И неужели он не знал, сколько было пролито христианской крови (а ведь В. Соловьев был христианином) при падении Византии или во время татаро-монгольского нашествия? Знал. И не сострадал. За вселенской идеей всегда теряется человек с его болью и страданиями, с его действительными нуждами и надеждами. «Можно и должно, — вразумлял В. Соловь-

ев, — дорожить различными особенностями народного характера и быта, как украшениями или служебными атрибутами в земном воплощении религиозной истины. Но во всяком случае религиозная и церковная идея должна первенствовать над племенными и народными стремлениями. Наиболее резкое выражение этой истины можно найти в сочинениях талантливой и оригинальной автора книги «Византизм и Славянство» К. Н. Леонтьева».

Да, К. Н. Леонтьев был оригинальным мыслителем, во многом он предвосхитил Ницше, его иногда причисляли к поздним славянофилам, но это делалось по недоразумению или по небрежности. К. Н. Леонтьев был откровенным «византийцем», впадал в византизм и В. Соловьев, а «византиец» первым делом приносит идею народности в жертву религиозной идее, ею он и живет, ее-то он и проповедует, даже огнем и мечом.

«Западная церковь, — продолжает свой анализ религиозно-философских взглядов В. Соловьева П. Миллюков, — постоянно старалась о воспитании общества и о проникновении его христианскими началами. Но у ней не было тех средств для успеха, которые могло дать только сильное государство: государство, в лице Германской империи, вступило вместо союза в борьбу с западной формой христианства. «Историческое предназначение России состоит, кажется, в том, чтобы дать всемирной церкви политическую власть, необходимую ей для спасения и возрождения Европы и мира». Только с помощью такого союза между русским царем и римским первосвященником всемирная церковь может выполнить лежащую на ней высшую задачу — осуществить на земле принцип Богочеловечества...

Религиозная задача — выше всего на свете и безусловно выше национальности. Задача эта, слияние человечества с Божеством, по самому существу своему всемирная и требует для своего выполнения всемирной церкви, вооруженной силами всемирного государства. Русский народ призван к решению этой задачи, но первым шагом к этому решению должен быть акт национального самоотречения: отречения от узкой формы национальной церкви».

Итак, историческое предназначение России состоит в том, чтобы дать папству политическую власть и государственную силу, ибо в Европе такой силы нет. Однако этому должно предшествовать национальное самоотречение и фактически отречение от православия, во всяком случае в том его виде, в котором оно пребывает. Вселенская папская церковь примет в свое лоно новообращенных,

Я думаю, что...

прежних почти варваров, и при их помощи будет установлено торжество вселенской церкви.

Конечно, мы не вправе требовать от философа практических рекомендаций и объявления конкретных сроков исполнения его исторических предначертаний, однако теоретический вопрос поставить мы вправе. Допустим, что нас убедили в омертвлении и нежизнедеятельности восточной христианской церкви, стало быть, мы отвернемся от этой веры. Но где гарантия, что мы обратимся в ту веру, которую нам рекомендуют как истинную? Вера — это не кафтан. Кафтан снял, в исподнем ходить не будешь, наденешь скюртук, если тебе его предлагают. И во времена В. Соловьева чаще всего случалось так, что человек, отринув какую-либо веру, уже не примыкал ни к какой другой.

Акт национального самоотречения, отречение от узкой формы национальной церкви...

Нет, мы не должны видеть в В. Соловьеве какого-то скрытого врага русского народа, желавшего его растворения, его добровольной ассимиляции в группе народов латинского мира. В. Соловьев в заботах о построении целостного мира под эгидой западной церкви отводил русскому народу довольно почетную роль, которую тот должен был сыграть в силу своих имманентных качеств. Так, в «Открытом письме» к И. С. Аксакову он приводил такой лестный для русского сердца довод:

«Обыкновенно народ, желая похвалить свою национальность, в самой этой похвале выражает свой национальный идеал, то, что для него лучше всего, чего он более всего желает... Что же в подобных случаях говорит русский народ, чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или старой, говорит ли о русской славе или о русской честности и верности? Вы знаете, что ничего такого он не говорит, и, желая выразить свои лучшие чувства к родине, говорит только о «святой Руси». Вот идеал: не консервативный и не либеральный, не политический, не эстетический, даже не формально-этический, а идеал нравственно-религиозный...»

По поводу «святой Руси» мне бы хотелось через столетие поспорить с нашим знаменитым философом.

На исходе столь привычного для нас второго тысячелетия течение времени вдруг получило добавочное ускорение. Сейчас каждый месяц происходит столько судьбоопределяющих событий, на которые прежде история тратила многие и многие годы. Разумеется, одни из них таковыми только кажутся, а другие таковыми являются на самом деле. И если брать прошедший год, то к разряду последних я в первую очередь отнес бы празднование

тысячелетия крещения Руси. Возможно, многие со мной и не согласятся, но по данному вопросу никто меня ранее чем через тысячу лет оспорить не сможет. Нет, я вовсе не собираюсь хоть как-то умалить значение всех остальных происходящих нынче событий, более того, я хочу поставить многое, что происходит сегодня, в закономерную связь с тем, что произошло десять веков назад.

Вероятно, тогда наши далекие пращуры переживали нечто схожее с тем, что мы переживаем сегодня, то есть они, наши пращуры, стояли перед выбором: быть или не быть, а если б ы т ь, то что для этого нужно делать. Вероятно, и перед ними стояли и экономические, и политические, и нравственные, и бытовые проблемы, но они искали не сиюминутного разрешения отдельных проблем и вопросов, а универсального и долговременного решения, способного обеспечить в веках развитие молодого народного гения. И они приняли христианство в его восточной интерпретации, чем на тысячелетие и определили свою судьбу. И не только свою. Прими мы, к примеру, ислам, и вся история остальной Европы выглядела бы сегодня совсем по-другому.

А государственность нам занесли не варяги, она имманентно вытекала из самой идеи христианского сообщества, когда защита единой церкви от посягательства «неверных» сплачивала единоверцев в общественный организм, то есть в государство. Разумеется, это лишь самая общая схема, которую весьма трудно различить в переплетающихся противоречиях и многочисленных подробностях постоянно сменяющихся друг друга различных исторических эпох. Борьба восточной и западной христианских церквей, раскол православной церкви еще более затемняют исторический смысл принятия Русью христианства.

И другое. Христианство по-своему развивало человека, оно воспитывало в нем инстинкт индивидуального бытия в первую очередь. Пусть взор христианина был постоянно обращен в сторону неба, где его ждала вечная благодать, но его интересы постоянно были прикованы к земле, ибо «путевку» туда, на небо, он получал здесь, на земле. От земной жизни зависела его вечная будущность, разумный эгоизм толкал его в сторону совершения добродетельных поступков — так выстраивалась нравственная историческая личность. Любя своих детей, любя своих ближних, христианин и в них воспитывал те качества и наклонности, которые вели бы к спасению души, так развивалась общественная духовная жизнь, у которой был общий дом — христианский храм, где и происходило общее единение в вере, то есть единение происходило на высших этажах нравственного бытия. Разумеется, и это лишь

самая общая схема, которую так же трудно различить во внешнем потоке живой повседневной действительности.

Сложность зрелых цивилизаций как раз и состоит в том, что они складываются из бесконечного ряда исторических впечатлений народов и содержат в себе, пусть даже в очень трансформированном виде, все уже ранее бытовавшие представления народов об общем смысле человеческого существования. Сложность современного человека состоит в том, что он все равно остается немного просто «естественным» человеком, немного язычником, немного христианином (мусульманином, буддистом, иудеем), немного атеистом, или безбожником, немного еще чем-то, что не имеет пока еще своего названия. Дробность современного человека бросает его из одной крайности в другую в поисках потерянного универсального ответа на проклятый вопрос о смысле человеческого бытия.

И в «святой Руси» мне видится *предание, завет*, а не выношенный в трудной исторической жизни идеал будущего религиозного имперостроительства.

Свою книгу «Из истории русской интеллигенции» П. Милюков издал в 1902 году, когда В. Соловьева уже не было в живых. В коротенькой сноске к статье «Разложение славянофильства» он сделал следующий вывод: «Нечего и говорить, что Соловьевская эсхатология последних годов, его учение о близком пришествии антихриста, именно и было возвращением к такому пессимизму отчаяния, после неудавшейся попытки — пропагандировать в обществе свой теократический идеал и создать почву для примирения двух противоположных мнений».

Действительно, в девяностые годы прошлого века и в начале нынешнего не только теократические, но даже и религиозные идеи уже не могли иметь широкого распространения, общественная мысль развивалась совсем в другом направлении, однако это не повод и уж тем более не причина предавать вечному забвению мысли выдающихся людей — а у нас есть все основания считать Владимира Соловьева именно таким человеком, — если эти мысли и не совпадали с настроением тогдашнего общества. Порой даже ошибочные прозрения оригинального мыслителя дают нам больше для понимания развития исторического процесса, нежели очевидные истины, которых в то или другое время придерживалось большинство. Еще более причудливыми в ту эпоху оказались отношения общества со своим гениальным современником — Львом Толстым.

В 1908 году широко отмечалось восьмидесятилетие Толстого, периодическая печать отдала соответствующую дань этому знаменательному событию. С. Франк в

статье «Лев Толстой и русская интеллигенция» подметил весьма любопытную деталь.

«Просматривая весьма обширную юбилейную литературу о Толстом,— писал он,— невольно поражаешься одним бросающимся в глаза контрастом — контрастом между восторженным восхвалением его гения и почти всеобщим равнодушным или отрицательным отношением к его идеям. Еще раз приходишь к выводу, что Толстой — наиболее прославляемый и, кажется, наименее признаваемый писатель современности».

С. Франк справедливо отвергает объяснение равнодушия интеллигенции к идеям Толстого их излишней рациональностью и простотой, утверждая, что современная интеллигенция как раз более всего соблазняется именно рациональностью и простотой. «Разве, например,— задает он резонный вопрос,— популяризованная (и вульгаризованная) Каутским теория марксизма с ее чудовищно-искажающим упрощением жизненных взаимозависимостей менее наивна, чем вера Толстого?»

По мнению С. Франка, причина неприятия идей Толстого коренилась в «невосприимчивости современной интеллигенции к религиозному чувству и религиозному отношению к жизни» (разрядка С. Франка.— А. Л.).

Какие уж тут теократические имперостроительные концепции В. Соловьева, если общество отказывалось принимать и даже понимать элементарные идеи Толстого о нравственном самостроительстве, полагая, что путь к всеобщему исцелению лежит не через личное самоусовершенствование и уж тем более не через создание теократической химеры (вселенская Церковь-государство), а через социальное переустройство мира на идеях политического равенства и социальной справедливости.

«Толстой,— далее пишет С. Франк,— не удовлетворяет некоторых из нас, потому что он односторонний и слабый религиозный мыслитель; но огромное большинство интеллигенции он не удовлетворяет несомненно потому, что он, все же, подлинно религиозный мыслитель и, в качестве такового, неприемлем для позитивизма и позитивистически настроенного общества...

Нет сомнения, истинная религиозность, объемля весь круг человеческой жизни, включает и решение проблемы общечеловеческой; но она подчиняет эту проблему проблеме личности и никогда не забывает о внутренних личных корнях общественности. Напротив, где общественности придается самодовлеющее, исчерпывающее и верховное значение, там мы всегда имеем дело с духом пози-

тивизма, как бы он ни называл себя сам и чем бы себя ни обосновывал. И в этом именно — коренной разлад между русской интеллигенцией и Толстым; это есть разногласие между религиозным и позитивно-общественным миропониманием, выражающееся прежде всего в различном отношении к общественности».

И как тут не вспомнить В. Соловьева с его упреками в адрес восточной церкви, которая, по его мнению, устранилась от воспитания общества, замкнулась «в свою обособленность от мира». «Если неподвижность нашей церкви,— писал В. Соловьев,— есть не смерть, а усыпление, то нужна свобода, чтобы разбудить ее... Только свободное развитие может сохранить за религиозным преданием живую силу и примирить с ним умы, искренно ищущие правды».

Как видим, через полтора десятилетия стало очевидным, что «наша церковь» впала в такое усыпление, что с одной стороны — общественность уже не принимала ничего, что было связано с религиозными исканиями, а с другой — сама церковь отторгала от себя все то, что искренно стремилось к религиозной правде (отлучение от церкви Толстого). Предсказания В. Соловьева, высказанные им когда-то в виде постановки задач перед русским обществом, стали понемногу сбываться: общество фактически отреклось от православной церкви, но от этого оно не стало ближе к западной церкви, общество все более и более склонялось к атеизму или впадало в мистику.

«Люди, как говорил Ницше, «жмутся друг к другу» и в этом тесном соприкосновении обретают прочность и смысл, которых лишено изолированное индивидуальное бытие.— И далее С. Франк подмечает: — «Общественник» презирает заботы и жизненные нужды, когда они касаются одного человека, и поглощен теми же заботами, если они относятся ко многим, к «большинству» или «обществу». Он не видит никакого смысла и цели в личной жизни и вместе с тем усматривает абсолютную и непрекаемую ценность в преследовании интересов той же личной жизни, если дело идет о массе или большинстве людей. Он требует от личности *самоотречения* и бескорыстия во имя столь же субъективных, т. е. эгоистических, интересов «общества», которое, в конечном счете, есть все же только совокупность людей» (разрядка С. Франка, курсив мой.— А. Л.).

Припомним, что в конце минувшего века В. Соловьев призвал к национальному самоотречению, а в начале нынешнего века заговорили уже о самоотречении личности. А если еще учесть, что общество не вдохновлялось никакой положительной национальной идеей, то мы

вправе констатировать крушение или появление признаков крушения внутренней структуры всего общественного организма. В таком состоянии страна вступила в губительную для себя первую мировую войну.

Теперь мне хочется вновь вернуться к статье В. Селюнина «Истоки», к тому месту, где говорится о попытке Троцкого превратить страну в военно-трудовой лагерь.

«В 1920 году Троцкий,— пишет В. Селюнин,— предложил поставить это дело на прочную и долговременную основу, превратив страну в гигантский концентрационный лагерь, точнее, в систему лагерей. На IX съезде партии он изложил невиданную в истории программу: рабочие и крестьяне должны быть поставлены в положение мобилизованных солдат, из них формируются «трудовые части, которые приближаются по типу к воинским частям». Каждый обязан считать себя «солдатом труда, который не может собою свободно располагать, если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить; если он не выполнит — он будет дезертиром, которого карают».

Будет ли такой труд эффективным? Капитализм тем и победил предшествующую формацию, что на место палки, крепостной зависимости, воли сеньора поставил более действенный стимул к труду — личную выгоду, право продавать свою рабочую силу. Лагерное трудовое право на практике означало шаг назад в истории человечества».

Думается, наивно полагать, будто Троцкий в подобных вопросах разбирался хуже нас с В. Селюниным, впрочем, как и все те, кто принимал резолюции съезда — «Об очередных задачах хозяйственного строительства». Судя по цитатам, что привел в своей статье В. Селюнин, резолюции отнюдь не проигнорировали зловещие рекомендации Троцкого. Коррективы в принятый документ неожиданно внесла сама жизнь. Вот что пишет по этому поводу автор статьи «Истоки»:

«1 марта 1921 года восстали моряки Кронштадта. Одновременно забастовали питерские рабочие, да и не одни питерские... Политические требования, выставленные бастующими, вызвали особую тревогу Ильича: «Несомненно, в последнее время было обнаружено брожение и недовольство среди беспартийных рабочих. Когда в Москве были беспартийные собрания, ясно было, что из демократии, свободы они делают лозунг, ведущий к свержению Советской власти» (т. 43, с. 31).

Эти мысли Ленин высказал в марте 1921 года на X съезде партии. Здесь же по его настоянию принято ключевое решение о замене продрозверстки твердым налогом

с крестьян. Тут не было еще целостной системы. Мера считалась временной. Не случайно введена она в марте, чтобы успеть оповестить крестьян до начала сева: расширять посевы, реквизиций в нынешнем году не будет. В то же время свободной продажи хлеба, оставшегося после уплаты налога, не предусматривалось. «Свобода торговли, — подчеркивал Ленин, — даже если она вначале не так связана с белогвардейцами, как был связан Кронштадт, все-таки неминуемо приведет к этой белогвардейщине, к победе капитала, к полной его реставрации» (т. 43, с. 25). Но то были уже арьергардные бои... Буквально через два месяца, в мае 1921 года, партийная конференция определяет нэп как систему мер, как курс, взятый всерьез и надолго. В течение года весь экономический механизм «военного коммунизма» был демонтирован и заменен новой экономической политикой...

Демонтаж экономического механизма «военного коммунизма» и внедрение в жизнь экономического механизма нэпа дали незамедлительный и эффективный экономический результат. Нам сейчас представляется более чем очевидной необходимость перехода от «военного коммунизма» к нэпу, однако мы рассуждаем с позиций сегодняшнего дня и, в основном, с экономической точки зрения. Но ведь есть или могли быть и иные точки зрения, зачем же их сбрасывать с исторического счета?

«Мы говорим: это неправда, что принудительный труд при всяких обстоятельствах и при всяких условиях непроизводителен».

Эта фраза Троцкого вызвала у В. Селюнина естественный протест. Ну, а если вопрос поставить так: «Во время Великой Отечественной войны труд был практически принудительным, но разве он был непроизводительным?»

Слышу резонное возражение: «Война — это сверхэкстремальная ситуация, а Троцкий говорил о производительности принудительного труда, когда гражданская война практически уже заканчивалась». На этот вопрос я отвечу таким вопросом: «А кто вам сказал, что для Троцкого война заканчивалась?»

Я не знаю, верил ли Троцкий в возможность победы социализма в одной отдельно взятой стране, а именно в России, но, по-моему, доказательств в пользу такого исхода он никогда не приводил. Во что Троцкий свято верил — это в мировую революцию, на нее-то он постоянно и замахивался. Вспомним хотя бы историю с Брестским миром. Лозунг «Ни войны, ни мира» может показаться с точки зрения очевидного смысла просто бредом, но вот с точки зрения идеи мировой революции этот лозунг имеет свой положительный смысл.

Троцкий вовсе не собирался реставрировать капитализм и тем более феодализм, но «лагерное трудовое право» и жестокие репрессии ему были нужны, чтобы превратить страну в единый военно-трудовой механизм, способный в любую минуту в силу своей отобюрократизованности принять самое действенное участие в мировой революции, и то не были пустые фантазии, ибо обстановка в тогдашней Европе сулила серьезные революционные вспышки, которые необходимо всегда суметь поддержать и развить.

Демонтаж экономического механизма «военного коммунизма» сокрушительно ударил по замыслам Троцкого, так как он стал вводить страну в русло продолжительного мирного развития. Поэтому-то Троцкий и начал первым борьбу против ленинского кооперативного плана. Сталин тоже видел угрозу своим замыслам со стороны этого плана, но он оказался более дальновидным политиком: сначала он под лозунгом защиты нэпа одолел своих политических конкурентов (Троцкого, Каменева, Зиновьева и других), а затем уже под лозунгом социализации частнособственнической деревни сам ударил по нэпу и ликвидировал его. (Подробно об этом я писал в статье «Мы все глядим в Наполеоны...» — «Наш современник», 1988, № 7.)

Я, вероятно, не очень ошибусь, если скажу, что сами по себе экономические ошибки не так уж и страшны, и вряд ли можно назвать государство, которое бы их избежало в ходе своего развития. Удивляют не экономические ошибки, удивляет другое. Как могло случиться, что на протяжении многих десятилетий произвол в нашей стране стал нормой жизни, а личность как таковая утратила всякие гарантированные права. Почему Троцкий мог открыто отстаивать «лагерное трудовое право» и считаться революционером? Почему Сталин мог лишить крестьянство не только земли, но и элементарных гражданских прав и тоже считаться революционером? Почему, наконец, наш «первый президент», а заодно и «всесоюзный староста» Калинин подписывал самые антиконституционные указы и опять-таки считался революционером? И еще таких *персональных* «почему» наберется великое множество.

А ведь революция имела очень простую формулу: мир народам, власть Советам, земля крестьянам. Кто против этой формулы, тот...

Впрочем, как говорится, «каждый народ имеет того правителя, которого он заслуживает». Мысль верная, если ее не трактовать буквально. Дело тут не в каких-то врожденных *качествах* народа, а в *состоянии* народа в ту или иную эпоху. Наполеон в истории Франции не случайность, а закономерность, порожденная определенными историческими обстоятельствами. Поэтому мне представля-

Я думаю, что...

ется бессмысленным искать корни исторических злодеяний только в личностях самих злодеев, индивидуальность злодея привносит лишь индивидуальные подробности в его деяния. Корни же исторических злодеяний всегда лежат в несколько иной плоскости.

Я менее всего мечтаю в адвокаты тех, чьи руки запачканы кровью невинных жертв, какие бы высокие посты в государстве и какие бы места в истории они ни занимали, но мне все-таки думается, что мы слишком уж часто завышаем как заслуги, так и преступления номенклатурных деятелей прошлого и в обоих случаях выводим народ за скобки исторического бытия. Наполеоны рождаются куда чаще, чем они ими становятся. И попади Троцкий или Сталин на другую историческую почву, они не проросли бы выше банальных сорняков.

Вот теперь давайте и посмотрим, какова же была почва и почему она оказалась благоприятной для произрастания таких явлений, как Сталин и Троцкий.

В конце восьмидесятых — начале девяностых годов прошлого века В. Соловьев увидел в русской истории, как мы уже говорили, два великих духовных подвига: призвание варягов и реформы Петра I. Poleмика возникла на академическом уровне, а общество, по сути дела, осталось равнодушным к столь масштабным историческим концепциям.

Далее, В. Соловьев призвал к национальному самоотречению и к построению вселенского христианского государства под эгидой католического папства — реакция общества та же самая.

На рубеже двух столетий Д. Мережковский в статье, посвященной столетию со дня рождения Пушкина, имея в виду Петра I из «Медного всадника», открыто и с большим пафосом восклицает:

«Какое дело гиганту до гибели неведомых, бесчисленных? Какое дело чудотворному строителю... до крошечного ветхого домика на взморье, где живет Параша — любовь смиренного коломенского чиновника? Он погибнет? И пусть! Не он первый, не он последний. Воля героя умчит и пожрет его, вместе с его малою любовью, с его малым счастьем, как волны наводнения — слабую щепку. Это — рок. Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим неведомым целям?.. Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гигантского всадника, который над бездной «Россию вздернул на дыбы».

Вы думаете, общество возмутилось, пришло в негодование, урезонило молодого талантливую поэта, вдруг

впавшего в откровенное нищезанятие? Ничего подобного. Конечно, некоторые пытались и возражать, однако их голос тонул в громогласных восторгах тех, кто с нетерпением ожидал пришествия героя.

«Все наизусть — вот тайный лозунг г. Мережковского, — писал тогда известный критик и публицист М. Меньшиков. — Увлечшись «переоценкой» вечных ценностей человеческого духа, в качестве рабского подражания Ницше, г. Мережковский восстает против «галилейской жалости» как против какой-то подлости, думая, что он говорит этим что-то умное. Но то, что у Ницше достаточно объясняется начинавшимся сумасшествием, у г. Мережковского я уже не знаю, чем объяснить, не обижая его... Я вовсе не отрицаю героизма, но истинные герои шествовали не по костям народов, а умирали на крестах, на кострах или с чашей яда в руках... Не они были истребителями, а их истребляли. После них осталась мысль, которая продолжала героическое служение человечеству, и мысль эта была не за насилие, а против него. Есть, значит, герои и герои...»

И далее оппонент Д. Мережковского высказывает несколько очень интересных мыслей и одно явное заблуждение, оценить которые по достоинству помогут нам прошедшие с тех пор десятилетия:

«Мнение одного мудреца более ценно, чем мнение толпы». Бесспорно, — но вопрос идет не о мнениях, а о желаниях толпы, которые нужно покорить. Если бы в каждую минуту в человечестве был всего лишь один «герой», ну, тогда рецепт г. Мережковского о «дрожащей твари» имел бы некоторый, хоть и некрасивый смысл. Покориться всем одному, заведомо великому, — куда ни шло. Но что если «великих» явится несколько и все они одновременно предъявляют требования покорности? — как это и бывает в современном обществе».

Действительно, когда разваливаются общественные и государственные структуры и наступают «смутные времена», как бы из небытия возникает великое множество «гениев без портфелей», и каждый из них претендует на тот или иной (будь то поэтический или политический) «престол», который в другие, более уравновешенные времена никому из этих «гениев» даже и не снился. И образуется целая иерархия «гениев» или «героев», и каждый из них стремится подняться все выше и выше, а для этого нужно от чего-то отталкиваться, а это «чего-то» (толпа) состоит все-таки из кого-то, вот оно и получается — по костям.

А вот другая и тоже очень любопытная мысль: «Психология героев и толпы не так уж хитра, но

г. Мережковский понимает ее навыворот. Он полагает, что такие «герои», как Наполеон I, Робеспьер и проч., относились с величайшим презрением к черни. Он грубо ошибается. Именно хищные герои ухаживали за чернью и ставили себя в уровень с нею, — иначе им не увлечь бы своих полчищ. Явись «герой» г. Мережковского перед чернью и скажи ей откровенно, что считает ее сволочью, «дрожащей тварью», которой если и погибнуть по его мановению, так что за беда, — он не далеко бы ушел со своим героизмом... Наполеон, если бы вместо «mes braves» называл своих гвардейцев в глаза пушечным мясом, — едва ли продержался бы хоть полчаса на своей высоте... Истинные герои, пророки и мудрецы не прибегали к такому подлаживанию к своей среде — и конец их был иной...

Г. Мережковский, говоря о Наполеоне, вместе с поэтами 30-х годов плачет над судьбой великого, павшего жертвой малых... Но именно Наполеон-то и опровергает г. Мережковского. Наполеон унижен был не чернью, а союзными монархами Европы, т. е. аристократией по преимуществу... Если вспомнить судьбу героев — ложных, как Наполеон, Аттила, Цезарь и т. п., или истинных, как герои христианства, Сократ, Сенека, Гус и т. п., увидим, что их губит не чернь, а современная аристократия».

Здесь, пожалуй, следует оговориться в том духе, что Наполеон и подобные ему «герои» относились к «черни» с презрением, другое дело, что они никогда не выражали своего истинного отношения к «черни», «толпе» открыто. Более того, они постоянно льстили «толпе», которая, по мнению таких «героев», как бы представляет широкие народные слои.

У нас многие десятилетия льстили пролетариату, говоря то о его гегемонии, то о его диктатуре, однако почему-то все стремились (если куда-то стремились) в диктатуру, и никто — в пролетариат. Хотя в последние десятилетия если пролетариат куда и устремился, то по большей части не в министры, а в алкоголики. С гордостью за свои демократические порядки мы говорили: «Был простым рабочим, а стал министром». Но вот мне так ни разу и не удалось услышать: «Был простым министром, а стал рабочим, то есть гегемоном». Нет, так и не добились мы полной демократии, когда номенклатурные работники тоже бы имели возможность попадать в класс-гегемон. Даже их дети, словно «преступные», не имеют возможности пробиться в этот класс.

Правда, сейчас другие веяния и другие настроения, сейчас почти никто не льстит пролетариату и даже не гордится своим пролетарским происхождением. Сейчас, куда ни кинься, все наткнешься то на потомка видного

революционера, то на отпрыска какого-нибудь родовитого дворянина. У меня даже было двое знакомых, разумеется, людей творческих профессий, утверждавших, будто в их жилах течет кровь рюриковичей, правда, родства между собою, даже отдаленного, они никак не признавали. Каждый из них отрицал в другом наличие крови рюриковичей, и я им обоим охотно верил. Все эти манипуляции с «переливанием крови» весьма тревожны, так как свидетельствуют они о серьезном общественном недуге, общее имя которому — «комплекс неполноценности». И еще неизвестно, чем и как он станет компенсироваться в дальнейшем. Единственное, что можно утверждать наверняка, что дело склоняется отнюдь не к демократизации сознания. Похоже на то, что многочисленные новоявленные «дети лейтенанта Шмидта» за отсутствием истинной гениальности потребуют в законодательном порядке провозгласить их истинными гениями на основании «паспортов», пусть, как правило, и фальшивых.

М. Меньшиков уповал не только на здравый смысл и элементарную логику, но и столь же опрометчиво на состояние современной ему общественной жизни. («Современной общественности еще далеко до «общества любящих», но она уже сложилась в «общество уважающих» друг друга... Это начало всюду принято, где общество уже вышло из состояния стада».) Он слишком преувеличил прочность «общества уважающих друг друга», когда писал: «Г. Мережковский мог бы знать, что ни один парламент не решает вопросов искусства, науки, техники, религии, поэзии — во всех этих областях решающий голос принадлежит меньшинству, группе гениев в каждой области, и «чернь» не нужно обращать в «тварь дрожащую», чтобы она слушала «проповедь» этих гениев, — она охотно их слушает — если эти гении истинные. Вот разве для не истинных гениев, для тех, пожалуй, нужно было бы покорить толпу бичами...»

Тут М. Меньшиков не учел одного обстоятельства: гении не истинные жаждут как раз такого парламента, который провозгласил бы их гениями истинными, покорил бы им толпу. И порой возникают парламента, жаждущие абсолютной власти, когда бы они решали все без исключения вопросы, в том числе и вопросы искусства, поэзии, религии и так далее. Возникает прочный союз не истинных гениев с диктатурой парламента: не истинные гении при помощи различных взяток сверху (премии, звания, ордена) провозглашаются парламентом гениями истинными.

Отныне мнимые гении будут верно служить этому парламенту, ибо с его падением неминуемо обнаружится

их узурпация звания истинных гениев. Что же касается «общества уважающих друг друга», то оно будет выставлено в политический антипод, в борьбе с которым мнимые гении не будут жалеть собственных сил, не говоря уже о силах и самой жизни своих оппонентов. Они постараются вообще лишить их права голоса. Централизация мысли и даже вкуса в государственном масштабе одинаково станет устраивать и диктатуру парламента, и мнимых гениев, провозглашенных гениями истинными.

И еще одно, теперь уже кажущееся совсем наивным, упование М. Меншикова:

«Преклоняясь перед героями вроде Наполеона без всякой критики, возводя их в герои только за внешний успех, закрывая глаза на их чудовищные недостатки, на их низость, г. Мережковский поступает сам как представитель черни. Именно ведь чернь идолизировала генерала Бонапарта и возвела его в герои. Именно толпа подхватила его «на щит» и вывела в полубоги. Но толпе простиительно: она невежественна, ей виден лишь внешний блеск «героя», лишь его успехи, ему приписываемые, но достигнутые менее всего им. Для толпы невозможен критический взгляд на «героя», ей неизвестны настоящие замыслы героя, бесчисленные условия, из которых слагается настоящая, нелегendarная жизнь. Толпа, возведя Наполеона в героя, пользуется им лишь как громким именем для цикла громких событий, как знаменем или символом их, и потому часто наделяет своего идола свойствами, каких тот не имел. Но прилично ли писателю становиться на эту точку зрения «черни»?»

Как показала жизнь, многие писатели посчитали приличие всего лишь предрассудком и потому поспешили от него освободиться без каких бы то ни было колебаний.

Возможно, меня упрекнул в том, что я веду разговор несколько односторонний и игнорирую социальные вопросы. Действительно, в настоящей статье я не делаю на них упор, но вовсе их не игнорирую. В книге «Н. Г. Чернышевский», вышедшей семь лет назад, я пришел к такому выводу, которого придерживаюсь и сейчас:

«Потом Александр II подпишет Манифест, дарующий волю самому многочисленному в стране крестьянскому сословию. Однако, подписывая Манифест, царь одновременно подпишет смертный приговор себе и всей своей династии, поскольку в этом документе не будут учтены исторические интересы крестьянства, а стало быть, исторические интересы государства». (Прошу извинения за самоцитирование.)

Жизнь современного государства невозможна без развитого общественного движения и без развития обще-

ственной мысли, никакие административные органы не в состоянии обеспечить общественного прогресса, хотя и без административных органов невозможен никакой прогресс. Такова естественная структура современного государства. Социальные интересы и просто человеческие желания сегодня настолько разнообразны, что ни один, даже самый умный и честный, чиновник (со всем своим ведомством) не в состоянии учесть их и принять справедливое и жизнеспособное решение. Жизнь в стране будет развиваться нормально, пока общество и администрация способны находить общий язык, здесь не страшны и конфликты, и споры, здесь страшна конфронтация, своего рода холодная гражданская война, а она в России началась вскоре же после отмены крепостного права. И в основе ее лежал именно социальный интерес — земля.

И каждая сторона стала искать спасения. Администрация потянулась в сторону реакции, общество бросилось «в народ», «народников» потеснили «народовольцы», которые холодную гражданскую войну перевели в режим горячей, они убили того самого царя, который отменил крепостное право и провел немало реформ в духе современного государственного устройства, и некоторых представителей администрации. Администрация ответила репрессиями.

Администрация поправела. Общество впало в апатию, но поиски спасения продолжались. И вот к концу восьмидесятых годов В. Соловьев увидел спасение в построении вселенского христианско-католического государства, при неперменном национальном самоотречении.

Еще через десятилетие, в преддверии нового века, Д. Мережковский станет ждать пришествия героя типа Наполеона или Петра I, который бы прошел по костям и сотворил бы что-нибудь великое.

Пройдет еще десятилетие, и С. Франк обнаружит, что общественная жизнь идет как бы мимо самого человека, требуя от него уже не только национального, но и личного самоотречения во имя какого-то абстрактного общественного благоденствия.

Если мы приблизимся к нашему времени еще на десятилетие, то попадем в 1918 год, как раз к началу и к разгару гражданской войны. И что же мы увидим?

Во-первых, произошло абсолютное национальное самоотречение: не успели винтовки остыть от огня на германском фронте, как с теми же винтовками брат пошел на брата, сын на отца, жена на мужа, и истребляли друг друга с таким ожесточением, которое никогда не пробуждалось в борьбе с иноземным врагом.

Во-вторых, произошло страшное гонение на рели-

Я думаю, что...

гию, рушили и грабили храмы, а священнослужители оказались одними из первых, кто стал обживать поселения нового типа — концентрационные лагеря, из которых потом и вырастет архипелаг ГУЛАГ.

В-третьих, хотя теперь ни о каком вселенском христианском государстве никто и не помышлял, но вселенский замах сохранился. Идея мировой революции с целью создания вселенского бесклассового, безнационального, безрелигиозного государства стала считаться единственно ненаказуемой идеей.

В-четвертых, словно бы напоминает о себе, дает новые крепкие ростки идея «варяжской» власти. Со временем «варяжизация» достигнет почти тотальной степени, и в основу ее ляжет даже не национальное происхождение, а признак «человека со стороны». Потом даже председателей колхозов и то станут привозить откуда-то — лишь бы не из местных. Человеку руководящего состава нигде не дадут прижиться, сделаться если и не своим, то близким. Найдите вы секретаря обкома, который бы родился и дорос до этой должности, не покидая свой город. «Человек со стороны» (в футбольном мире его попросту называют «варягом») — явление в нашей жизни громадное и совсем неизученное.

Итак, почти все получилось по В. Соловьеву — вот тебе и религиозный мыслитель.

В-пятых, в условиях, когда «общественное» мирозерцание в государстве становится безраздельно доминирующим и резко теснит личностное, индивидуальное, человек замыкается непосредственно на это государство, а в практической жизни — на его всемогущих представителей и теряет не только свои личные права, но даже и желания.

Как мы знаем, еще в первом десятилетии нашего века, по наблюдению С. Франка, личность уже призывали к самоотречению.

В-шестых и в итоге, «героев» нахлынула тьматмущая, единственным и самым веским аргументом в диалоге стал маузер или что-нибудь в этом же роде. Сбылись ожидания Д. Мережковского и опасения М. Меньшикова. Но первый почему-то не ужился с «медными всадниками» и благоразумно отъехал на Запад, где жизнь была совсем негероической, но по-буржуазному сытой и безопасной. А второго как реакционера без суда и следствия среди бела дня расстреляли в огненном 1918 году. Так закончили свой диалог талантливый поэт Д. Мережковский и ныне забытый критик и публицист М. Меньшиков.

Еще один шагок, и мы поспеем к началу коллективизации, к началу гражданской войны в деревне. Итак, главные цели революции окажутся опровергнутыми:

гражданский мир обернется неслыханной резней, вся власть окажется в руках Сталина, землю у крестьян отберут. Постепенно выстроится строгая иерархия «героев» во главе с новым «Медным всадником», который примется строить великую державу, топча, не разбирая своих и чужих. Только вперед! Только вперед!

Велика многонациональная держава, построенная на идее всеобщего национального самоотречения во имя будущего вселенского счастья, самоотречения пусть даже насильственного, когда народы были лишены своих преданий, своей истории, своей философии, своей культуры и даже своих обычаев, не могла в пределах своего замкнутого развития не воплотить в жизнь идею сталинского великодержавного космополитизма. Этой идеей и жило государство нового типа, игнорируя все, начиная с законов экономического развития и кончая личными интересами человека. Общественная жизнь была сведена к нулю, национальное саморазвитие приостановлено.

Однако не следует все-таки представлять дело так, будто все это натворили властолюбивые и всесильные «медные всадники», они прискакали на хорошо подготовленную почву, которую несколько десятилетий усердно возделывала интеллигенция, и прежде всего русская. Но, прежде чем каяться, следует осознать свою беду, ставшую виной.

Национальное самоотречение в пользу ли вселенского церковного интереса или же в пользу вселенского идеологического интереса (к примеру, идея мировой революции) — всегда обман или самообман и всегда объективное уклонение от своей национальной ответственности перед другими народами. У великих народов есть только одно преимущество перед другими народами — это историческая ответственность за общую судьбу мира. Но только преимущество ли это?

Если в произведениях Льва Толстого, как в зеркале, отразился характер первой русской революции, то в жизненной драме самого Толстого отразилась историческая драма русского народа той поры, когда стало невозможным согласовывать разноречивые нравственные запросы времени с общим распорядком тогдашней российской действительности. Уход Толстого из Ясной Поляны был не только уходом из родного дома, но и отходом от мира с его безумием ординарных будней. Толстой порвал с мирской жизнью, решив жить согласно своим верованиям, и погиб. Толстой был слишком велик, чтобы отречься от самого себя, в том числе и от своей мирской жизни.

А вслед за Толстым попытался самоотречься от

себя и весь русский народ, он взошел на Голгофу гражданской войны, пренебрег на десятилетия мирской жизнью во имя всечеловеческого будущего счастья, в идеологической борьбе чуть не самоистребил себя, и только Великая Отечественная война, напомнив ему о его исторической ответственности, вновь пробудила в нем национальное самосознание.

А новые апостолы гражданской войны вновь призывают нас к национальному самоотречению, пугая национализмом, бряцая оружием сталинского производства, выкованным для защиты идей великодержавного космополитизма. Полтысячелетия христианская Русь сдерживала динамичную и агрессивную Азию от нашествия на Европу, другое полтысячелетие она сдерживала динамичную и агрессивную Европу от нашествия на Азию, целое тысячелетие Россия выполняла свой общечеловеческий долг, сохраняя в своем сердце «галилейскую жалость и любовь». Вся русская литература XIX века прониклась этим чувством, за что и осудил ее Д. Мережковский. И сегодня, когда мы праздновали тысячелетие крещения Руси, мы, наверное, каким-то краем своей общественной жизни приблизились тоже к этому чувству. Конечно, нам еще так далеко до «общества любящих», но, может быть, мы все-таки сумеем создать «общество уважающих друг друга» и на этих же основаниях строить межнациональные отношения? Хотелось бы, чтобы жизнь на этот вопрос ответила утвердительно.

Если мы не укрепим экономически, не возродимся нравственно и не выработаем глубокой объединяющей идеи, то не соблазнится ли Запад мирной технологической и «культурной» агрессией или Восток столь же мирной демографической агрессией? О последствиях такого встречного движения вслух догадываться я не осмеливаюсь.

Один умный француз когда-то сказал: «Мы победили потому, что стояли на краю гибели».

Основания для такой победы есть и у нас. Дело осталось за немногим — одержать ее.

Короче сказать, надежда у нас только на самих себя, на собственный здравый смысл, на честный интеллектуальный диалог между собой, чувство национальной ответственности каждого народа нашего государства должно возобладать над всеми другими чувствами и намерениями. И то не пустые надежды. Трагедия Армении подтвердила это. Народы нашей страны без всякой агитации и не ожидая официальных призывов откликнулись на беду армянского народа.

Нет, не омертвела истина в национальном вопросе,

не превратилась в ложь, будучи долгие годы отгороженной от народной души. Недаром к этому вопросу вновь и вновь возвращаются наши писатели, с разных сторон осмысляя его. К примеру, идея национального самоотречения — пусть во внешне незаметном, косвенном своем преломлении — еще находит отражение в стихах Ярослава Смелякова, в его «Монологе русского человека»:

Я русский по духу и плоти.
Развевая схоластику в прах,
и в мысли моей, и в работе
живет всесоюзный размах...

Я с этим испытанным братством,
с тобой, дорогая страна,
всем русским духовным богатством
успел поделиться сполна.

А в стихах его младшего современника уже нет и тени парадности, в стихах Николая Рубцова любовь к Родине, к своему народу обретает личный трагический философский смысл:

Россия, Русь —
Куда я ни взгляну!
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избышки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот яв у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...

Так, в вершинном своем видении сохраняет этот выношенную и выстраданную им национальную идею.

И если уж мы пришли к выводу, что ни экономические, ни политические вопросы не могут быть положительно решены без всенародного обсуждения и участия, то почему же сложнейший национальный вопрос должен решаться как-то иначе?

Я в нынешнем году в общей сложности около трех месяцев провел в Латвии, там обсуждение национального вопроса и проблем межнациональных отношений ведется широко и открыто. Не могу сказать, будто все, что сейчас говорится и делается там, мне в высшей степени симпатично. Но разве у нас меньше «издержек» возникает при обсуждении большого, но все же более нейтрального экономического вопроса? Нет, кулуарно, кастово национальные проблемы не разрешить, тут нужно верить, что истина пока еще живет в народной душе. Но на «потом» национальный вопрос не отложишь, потому что он самым тес-

Я думаю, что...

ным образом связан со всеми теми вопросами, которые в эпоху гласности стали предметом всеобщего обсуждения. Нужно решиться на открытый и честный диалог и не ограничивать его региональными масштабами.

Разумеется, говоря аккуратно, «издержек» не избежать, однако меня лично здесь не столько беспокоят «издержки», так сказать, «низов», сколько «издержки» «верхов», которые обладают большой властью и громадными материальными ресурсами.

Так, 2 ноября 1988-го года в газете «Правда» за «круглым столом» встретились члены ЦК КПСС, депутаты Верховного Совета СССР. Предмет разговора — межнациональные отношения. Председательствовал главный редактор газеты «Правда» В. Г. Афанасьев, в разговоре приняли участие тринадцать человек.

Слово берет министр Нефтехимпрома СССР Н. В. Лемаев.

«Я только что с заседания Президиума Верховного Совета СССР, — сообщает он. — Там принималось важное решение для народного хозяйства — о строительстве нового промышленного комплекса. Сегодня без химии мы как без рук. Все с этим согласны. А вот строить комплекс и белорусы, и украинцы отказываются. Хоть на Луне теперь его возводи. Решили вот в тайге. Придется вложить туда около 15 миллиардов...»

Ну, с Луной у министра все равно ничего бы не получилось — мировая общественность не позволила бы, как не позволили строить у себя этот комплекс украинцы и белорусы. И, видимо, не из каприза, а рассчитали-подсчитали, слава богу, там и Академии наук есть и ЦК партии, и нашли, что этот комплекс никак не улучшит экологическую ситуацию в их республиках. «Решили вот в тайге», — с досадой бросает министр. А что тайга — это какая-нибудь наша заморская колония? До сих пор, по моему, тайга входила в Российскую республику. Конечно, с русскими можно и не считаться, их можно даже и не называть, сказал: «тайга» — и понятно, где это, место обозначено, территория застолблена. Но ведь русские если не с собой, то с другими народами, населяющими Российскую республику, просто считаться обязаны, это их первейший интернациональный долг.

Возникают и частные вопросы. «Сегодня без химии мы как без рук». А куда же делась наша химия? Неужели уже всю пустили на отравление окружающей среды? А между прочим, министр чуть раньше похвастался: «Предприятия и объединения Миннефтехимпрома работают в условиях хозрасчета. Имеют свои деньги и что хотят, то и строят. На счетах трудовых коллективов

653 миллиона рублей». Откуда же взялись эти громадные деньги у предприятий Миннефтехимпрома, если у нас нет химии, не голубей же они разводят?

Комплекс оценивается в 15 миллиардов рублей — о таком бюджете не каждая республика может мечтать. Вероятно, в эпоху гласности о стройках подобного масштаба надо широко оповещать в печати. Всенародно обсуждать следует, а не только кабинетно.

В заключительном своем слове Н. В. Лемаев сказал: «Будем все лучше трудиться, будем все лучше жить — и меньше будут обостряться национальные вопросы». Я с этим согласен, хотя и не уверен, что мы с министром вкладываем одинаковое содержание в понятия «лучше трудиться» и «лучше жить», особенно когда это касается «всех». Впрочем, если мы достойно разрешим национальные вопросы, то мы станем и лучше трудиться, и лучше жить. И с такой постановкой вопроса спорить трудно.

Но суть не в наших спорах, а в тех проблемах, что встали перед нами со всей своей очевидностью и от которых нам никуда не уйти. Да, иногда под национальные интересы маскируется национализм, но еще чаще под интернационализм маскируется великодержавный космополитизм, но это вовсе не повод, чтобы устранимся от решения национального вопроса, предаваясь легкомысленным надеждам, что все разрешится само собой. Само собой уже ничего не разрешится — ни в экономике, ни в политике, ни в национальном вопросе. Народ, который долгие годы называли массой и который уже приобрел многие черты этой массы, вновь обретает черты подлинной народности, и нормальные, равнодостоинные отношения возможны лишь между народами, а не между различными частями массы, различающимися лишь национальным происхождением да национальными костюмами, пошитыми ко дням или декадам, когда должны демонстрироваться дружба народов и их нерушимый союз.

Когда говоришь о национальном вопросе, то тебя все время бросает из стороны в сторону, то вдруг ударишься в политику, то в экономику, то рассуждаешь в буквальном смысле о сегодняшнем дне, то тебя на столетие и дальше отбросит в прошлое. И начал-то я свой разговор с Пушкина, всплыли почему-то строчки из «Евгения Онегина», и я поставил их в эпиграф. Да ведь не случайно же? Не случайно, хотя и неумышленно.

Со школьной скамьи мы привыкли считать Онегина да и Ленского заодно людьми поверхностными, если не сказать — пустыми, в общем, «лишние люди». Себя же мы, конечно, считали людьми до крайности *необходимыми*, хотя на каком основании мы так были уве-

Я думаю, что...

рены в себе — не помню. Вероятней всего, тотальное осуждение прошлого невольно порождало в нас «комплекс превосходства» над всем, что было когда-то... Этот комплекс гасил любознательность, и если бы не живое детское чувство, то голова наша стала бы прекрасной тарой для мякины. Чувства наши оказались куда свободнее и правдивее нашего разума. Впрочем, я, кажется, опять по многолетней привычке начинаю прихорашиваться...

Интересно, а как мы будем смотреться этак лет через сто и за какими спорами «застанут» нас наши далекие потомки? Во всяком случае, они нас не «застанут» не только за спором о договорах племен м и н у в ш и х, что вели «лишние люди» пушкинской эпохи, но даже за спором о договорах племен н е м и н у в ш и х, которые не вели мы, считавшие себя людьми «необходимыми». А может быть, нашим потомкам интереснее всего будет узнать как раз именно то, о чем мы упорнее всего молчали?

Мы любим повторять: «Молчание — знак согласия». Возможно, возможно, только лишь при условии, если молчание не вынужденное и даже не привычное, а абсолютно добровольное.

И последнее. В начале своей статьи я признался, что название ее позаимствовал у Владимира Соловьева, и добавил, что сделал это не случайно. Действительно, я долго ломал голову, ища «проходимое» и в то же время неуклончивое название. А потом задал самому себе вопрос: «А выдержит ли, к примеру, наша нынешняя гласность точную формулировку столетней давности и разговор о том, о чем мы давно привыкли молчать?»

Решил, что выдержит, хотя, признаюсь, в этом решении все-таки было больше надежды, чем уверенности.

Амбиция и амуниция

1

В понятие «художественный талант», которым мы с такой машинальной щедростью пользуемся, не всегда отдавая себе отчет, из чего он складывается, составной частью, очевидно, входит то, что можно было бы назвать инстинктом действительности. Именно этот инстинкт, не всегда сознаваемый его обладателем, служащий своего рода путеводной нитью в лабиринте противоречивых обстоятельств, помогает подлинному писателю не сбиться с верной дороги и воспроизвести правду жизни во всем ее полнокровии. Писатель, опираясь на свой круг наблюдений и душевный опыт, волен выбирать любых героев и любые сюжеты. В этом выборе проявляются склад природы, биография, мировоззрение, выношенные склонности, интересы, пристрастия автора, короче, вся сумма индивидуальных его свойств и особенностей. Что и говорить, формально никто и ничто не стесняет свободы автора, и он (хозяин — барин) в силах сколько угодно злоупотреблять своей властью над сюжетом и героями. Кто может воспрепятствовать ему заставить их выделы-

вать любые курбеты? Но расплата за подобный произвол наступает автоматически и тотчас же. Художественная правда, составляющая цель его усилий, несет невосполнимый урон.

А как обстоит дело с истиной в критике?

По первому впечатлению может показаться, что вопрос этот носит чисто риторический характер. Критика представляет собой неотъемлемую часть литературы¹. И, следовательно, критики такие же писатели, как романисты, поэты, драматурги. Не только в идеале. Достаточно обратиться к живому наследию даровитых наших предшественников, чтобы убедиться, что Белинский, Добролюбов, Писарев владели искусством слова не хуже тех, о ком они писали.

Как и его собратья по перу, работающие в смежных областях литературы, критик вряд ли мог бы успешно справиться со своей профессиональной задачей, если бы не был отчетливо выраженной личностью. А коли так, то трудно ожидать, чтобы сокровенные его свойства и устремления, душевный строй и склад ума самым непосредственным образом не сказались на даваемых им трактовках и оценках. Человек со своим углом зрения, со своим лично добытым опытом, со своими вкусами и предпочтениями, критик неизбежно что-то принимает, что-то отвергает, радуется и скорбит, восхищается и негодует, и все эти индивидуальные его особенности не остаются за пределами того, что он пишет, а органически входят в него.

С другой стороны, по душе ему такая роль или нет, критик по самой природе своего трудного ремесла обречен выступать в качестве судьи литературы. В юстиции судья тем лучше исполняет возложенные на него обязанности, чем в большей узде держит бушевавшие его чувства, чем неуклоннее² проявляет полное беспристрастие, наглядным олицетворением чего с незапамятных времен служит Фемида² с повязкой на глазах. Недаром именно к слову «судья» спокон веку прилагается эпитет «неподкупный». Если бы судья дал волю своим эмоциям (преследуя ли собственные интересы или выполняя указания сильных мира сего), если бы он отрешил-

¹ Пушкин писал: «Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы вообще».

² Тщетно стали бы мы искать в Юридическом энциклопедическом словаре, вышедшем в 1984 году в Москве, имя богини права и законного порядка. Фемиде в нем не нашлось места. Остается предположить, что составители этого юридического справочника сочли символ этот пережитком прошлого.

ся от подобающей ему независимости, отправление правосудия обернулось бы юридическим фарсом, а то и Шемякиной расправой. Как свидетельствуют бесчисленные материалы, появившиеся в последние годы на страницах печати, говорить об этом, к нашему стыду и горю, приходится не только в сослагательном наклонении.

Критика может быть приравнена к правосудию разве что лишь в метафорическом смысле. Критика не выбирают и не назначают. Подобно романисту или драматургу, человек становится им по призванию. Конечно, и в искусстве существуют свои законы, но они имеют мало общего с юридическими нормами, какие зафиксированы в статьях и параграфах соответствующих правовых кодексов. Нарушитель юридического закона подлежит суду и наказанию. Тот же, кто «нарушает» закон в искусстве, нередко создает прекрасное произведение и справедливо удостоивается одобрения современников и потомков. Не сводя глаз с правил нормативной поэтики, критик рискует проглядеть рождение подлинных художественных открытий, поощряя своим ободряющим словом эпигонов и имитаторов.

Я не думаю, что стоит особенно кручиниться по поводу того, что законы искусства лишены жесткой и принудительной нормативности и тем самым развязывают руки критику, который свободен судить о том или ином произведении так, как диктуют ему *его* восприятие, *его* ум, *его* кругозор, *его* вкус, *его* совесть. Обращаясь к прославленным критикам минувшего века, оказавшим ощутимое влияние на климат русской литературы, мы не отыщем в их статьях, написанных с заразной горячностью, и намек на олимпийскую беспристрастность. Как это ни дико, претензию на нее мы найдем в выступлениях более близкого нам времени, авторы которых не говорили, а вещали, и не от своего собственного имени, а от имени ее величества абсолютной истины.

Длинен мартиролог жертв этой критики. Но нет, казалось бы, никаких оснований заносить в этот горестный реестр благополучно прожившего свою жизнь Михаила Васильевича Исаковского. Стихи его регулярно печатались в самых видных периодических изданиях, выходили сборниками, однотомниками и двухтомниками. Написанные на тексты поэта песни то и дело исполнялись на концертах и по радио. Автор стихов получал Сталинские премии и в сороковые годы был официально провозглашен одной из тех вершин, на которую следует равняться другим поэтам. И в это же самое

Я думаю, что...

время... Впрочем, лучше послушаем, что рассказывает передовая журнала «Коммунист» (1988, № 3):

«В 1946 году М. Исаковский опубликовал стихотворение, ставшее через два десятилетия популярнейшей песней, — «Враги сожгли родную хату...». Реакция на него в 1946 году была быстрой, критика однозначной. «Поэт нашел простые, искренние слова, передающие глубину человеческого горя, но, отдавшись изображению этого горя, он потерял чувство эпохи», — писала в редакционной статье одна из центральных газет. Через неделю литературный критик другой газеты развил ту же мысль: «Это горе поэтом не преодолено, а усилено сочувствием. Он берedit раны, не врачует их. И потому-то его стихотворение само способно стать рассадником страдания... Справедливо ли это? Соответствует ли объективной истине? Я имею в виду не частную достоверность... Частных, маленьких правдоподобий существует множество. И с этой точки зрения солдат, о котором рассказывает нам Исаковский, вполне возможен и реален. Однако с точки зрения той истины, которая является характерной и типичной для нашего общества, для нового победившего человеческого сознания, вышеупомянутая реальность является ложью».

Ничего неожиданного не было в том, что после такой критической вивисекции одно из самых пронзительных стихотворений Исаковского было на десять лет изъято из литературного обращения, и только атмосфера, наступившая после XX съезда партии, вернула его читателю. Исаковскому, в отличие от некоторых других его коллег, подвергшихся тотальному разгрому, не отказывали в добрых намерениях. Его не клеймили, а журили. Даже в дружеские объятия заключали. Но тут же — положение обязывает! — предостерегающе укоряли: зачем он «отдался изображению» человеческого горя? Вместо того чтобы воспеть что-нибудь светлое, что ласкает глаз и возвышает душу, не нашел ничего более подходящего, чем изобразить горе солдата, пришедшего с войны, да еще усилил изображение сочувствием (с чего бы, а?) этому горю.

Почти сто тридцать лет назад Некрасов, рассказывая, как в селе застрелился пришлый человек, писал: «Горе горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело». А тут не одно горе, а океаны его. Миллионы наших соотечественников были искалечены, замучены, убиты. Города обращены в руины. Деревни сожжены дотла. И что же? Выходило, что поэт, живший одной жизнью со своими современниками, деливший с ним надежду и боль, чувствовавший их страдания как свои

собственные, искренне выразивший то, что у них было на сердце и в душе, совершил непростительный промах. Оказалось, что он потерял ни много ни мало как «чувство эпохи». Уму непостижимо? Вот именно.

И все же этому есть объяснение. Критики послевоенных лет в полном соответствии с тем, что от них требовали, привыкли ощущать себя литературными проводниками руководящих указаний. Те из них, кто любил находиться на плаву, отдавали себе ясный отчет, что директива на то и директива, чтобы безропотно ей следовать. В ту пору она сводилась к тому, что надо ликовать. У этих критиков нюх на струящиеся сверху веяния настолько изощрился, что, и не получая прямой директивы, они действовали так, как будто получили ее. Дошлые и ушлые, они пальцем в небо не попадали. Они по опыту знали, что переликовать всегда лучше, чем недоликовать.

Их преемники выглядят куда как вальяжнее. Но неизвестно еще, как повели бы себя некоторые из нынешних претендентов на владительство дум, окажись они в точно таком же положении, в каком находились их предшественники, на которых они взирают с брезгливой гримасой. Да нет, известно, и даже очень хорошо. Достаточно вспомнить, какие песни певали они лет двадцать или десять назад, что хвалили, кого ругали, с какой отвагой набрасывались на тех, на кого велено было набрасываться или кто не был защищен постами и званиями, и какими вкрадчивыми и нежными становились их голоса, когда речь заходила о литературных генералах. Строя из себя независимых арбитров, они никогда не забывали о субординации. Это они воздвигали пьедесталы для влиятельных посредственностей. Это они сокрушали «Семеро в одном доме» Семина, повести Трифонова, Искандера и Битова, Евгения Попова и Петрушевскую. Это они объявили стихийным бедствием, литературной моровой язвой, от которой нужно спастись любыми доступными и недоступными способами, попытку выпустить не предусмотренный начальством сборник, объединивший писателей разных направлений и стилей. Это они изо дня в день твердили щедринскую формулу: «Живем хорошо, ожидаем лучшего». Мне и в голову не приходит всех наших критиков, сегодняшних и вчерашних, одним миром мазать. Тем более что на этом поприще резвились не одни только критики. Присяжные романисты и стихотворцы не уступали, а порой и превосходили их по части угодничества и топтания. Я говорю только о том типе критиков, который, сложившись в предыдущие годы, продолжает цвести и поныне. Новые времена, новая фразеология. Но суть ни на йоту не поколеблена. Если хотите, чем

Я думаю, что...

больше все меняется, тем больше все остается по-старому. Они, эти критики, горой стоят за перестройку и гласность. Они даже, представьте себе, душой за них болели. Исподволь готовили их. Им только не нравится, что так носятся с романами и пьесами, которыми зачитывается и засматривается вся страна и у которых не было никаких шансов стать достоянием общественности, не переменись круто время и не начнись обновление во всех областях нашей жизни. А почему не нравится? Думаете, потому, что все эти хлынувшие потоком публикации грозят их благополучному статус-кво? И как не совестно подозревать их в таких низменных, чуть ли не шкурных поползновениях! Мотивы совсем другие. Они — строгие ревнители высокого искусства. Им подавай Гомера, Шекспира, Бальзака, Пушкина, Толстого, Достоевского. И пишут это те же самые критики, которые в недавние времена соловьями разливались, восхваляя, говоря словами Ильфа и Петрова, уж таких не Бальзаков...

Самое примечательное в рассуждениях критиков стихотворения Исаковского — акробатическая метаморфоза, какой подвергается у них понятие «истина». Как в «новоречии» знаменитого романа Оруэлла, слова здесь употребляются в значении, прямо противоположном их подлинному смыслу.

Известно, что истина добывается из фактов, без которых она задыхается от кислородной недостаточности. Факты — упрямая вещь. Их, как суженого, на коне не объедешь. Но как быть, если во что бы то ни стало надо провозгласить какой-то тезис, а факты, путаясь под ногами, мешают это сделать? Нельзя же было за здорово живешь взять да и брякнуть, что Исаковский, поддавшись зуду сочинительства, выдумал своего солдата, когда, куда ни кинь, кругом были такие солдаты. Критику не оставалось ничего другого, как скрепя сердце уступить очевидности: «Солдат, о котором рассказывает нам Исаковский, вполне возможен и реален». Уступить-то уступил, но отнюдь не для того, чтобы посчитаться с этим фактом, а для того, чтобы убрать его с дороги. Сделано это было настолько же просто, насколько и хитроумно. Факт не отрицался. Он только переименован. Назван «частной достоверностью». Конечно, в нормальных условиях, где возможен равноправный обмен мнениями, резонно было бы спросить: разве частное не является выражением общего и разве в искусстве общее не предстает в облике единичного? Но в те годы, когда самодержавно правила унифицированная критика, директиве не полагалось задавать вопросы, да еще на засыпку. Перед директивой надлежало вытягиваться по стойке «смирно» и, не умни-

чая, исполнять ее команды. Раз частное приравнивалось к случайному, побочному, третьеразрядному, от него, как от бесконечно малой величины, не грех было и отвлечься. Но этим дело не исчерпывалось. Определение «частная» бросало тень неблагонадежности на слово «достоверность». Последняя сама по себе подозрений как будто не вызывала, но в паре с компрометирующим ее эпитетом, не выпускавшим ее из своих насильственных объятий, достоверность превращалась в особу сомнительной репутации. После того как успешно был осуществлен этот маневр, не составляло особого труда перейти к заключительной стадии операции: «С точки зрения той истины, которая является характерной и типичной для нашего общества, для нового победившего человеческого сознания, вышеупомянутая реальность является ложью».

Перед нами блестящий образец тактического искусства. Реальный факт в порядке служебного перевода назначается в категорию частной достоверности, которой в соседстве с типичной истиной не остается ничего другого, как обернуться ложью. Какой-нибудь мученик ненасытной любознательности не замедлил бы ринуться с вопросами: откуда взялась эта самозванка, почему она так уверена, что она истина, и какие доказательства она может предъявить, что именно ей присущи типичность и характерность? О святая простота! Неужто надо ломиться в открытую дверь и повторять то, что и так ясно как божий день. Типичная и характерная *истина, как благодать, дана свыше*. Сверху такой обзор открывается, что дух захватывает. Ничего не попишешь, закон восприятия. Каждый, кому случалось летать на реактивных самолетах, замечал, что уже через считанные минуты после взлета, когда смотришь через иллюминатор на стремительно удаляющуюся землю, многоэтажные дома и те становятся игрушечно маленькими, а люди вообще истаивают из поля зрения. Вот что значит высота. В те годы широко ходила формула: за деревьями леса не видеть. Она точно отражала позицию тех, для кого вполне естественным было за лесом не замечать деревьев. Подумаешь, отдельное дерево. Отдельная судьба. Отдельное страдание. Не заслуживают они того, чтобы отвлекаться на них. Была ли истина, характерная и типичная для «победившего сознания», беспристрастной? О да, на все сто процентов. Настолько беспристрастной, что переходила в полнейшую безличность. Ее доброхоты и жертвы достигали в этом такой совершенной законченности, что никакий Кювье не сумел бы не то что по нескольким абзацам, но и по нескольким статьям определить, кто персонально написал их.

В минувшие десятилетия, когда из обращения были изъяты самые болезненные и острые темы и сюжеты, когда целые пласты нашей жизни были окутаны безмолвной мглой, когда были вычеркнуты многие имена, без которых нельзя себе представить прошлое и настоящее нашего искусства, и помыслить было трудно об утверждении более или менее полной истины в литературной критике. Мы были бесконечно благодарны каждому, кто не уступал лжи и в меру отпущенных ему сил рвался к правде, давая понять, что наша действительность содержит куда больше оснований для тревоги, чем для самодовольства, и что связано это не с уходящей молодостью, не с разочарованностью в недостаточном личном преуспевании, а с теми печальными общественными процессами, какие происходили на наших глазах. Сегодня, когда сняты многие запреты и начался разговор о том, о чем мы вынуждены были хранить гробовое молчание, впервые появилась возможность установить нормальные отношения с истиной. Не втихомолку при закрытых ставнях, а открыто и публично. Многие критики воспользовались этими возможностями и напечатали статьи, которые, несмотря на то что два прошедшие года изобиловали всяческими публикациями, не только не затерялись в этом обширном потоке, но благодарно были прочитаны даже теми, у кого нет привычки следить за литературными сражениями и перепалками.

Но это — только первые ласточки. То и дело встречаются критические выступления другого сорта. Их авторы, подвижные разнообразными по форме, но едиными по сути мотивами, заняли круговую оборону против истины. Им очень не нравится, что из монопольных судей литературы они сами превращаются в объект суда. Как же им не гневаться, когда раньше они узурпировали право казнить и миловать каждого, кто имел неосторожность держаться иных, чем они, позиций, а нынче их претензии на приговор в последней инстанции встречают отпор, порой довольно решительный? Впрочем, с ними все более или менее ясно. Иначе обстоит дело с выступлениями, которые сами по себе ничего, кроме сочувствия, вызвать не могут. Авторы этих выступлений посвятили себя благородному делу. Они стремятся рассеять предубеждения, отстоять от легкомысленных, а то и невежественных наскоков подлинные ценности, восстановить в правах гражданства то, что было отторгнуто от литературы. Но беда в том, что, опровергая одни крайности, они отдают дань другим крайностям.

Некоторое время назад в газете «Московский художник» закипела дискуссия вокруг роли Маяковского в общественной жизни недавнего прошлого да и в наши дни. Клеймя поэта, участники дискуссии не дали себе труда разобраться ни в его творческом пути, ни в его сложных взаимоотношениях с окружающими, хотя им, если не по собственному опыту, то хотя бы по опыту их коллег, лучше, чем другим, должно быть ведомо, что вне контекста времени и места нельзя постичь ни одного художника. И невооруженным глазом было видно, что уровень компетентности этих выступлений заметно уступал уровню их агрессивных притязаний. Пройти мимо этих порой искренних, но беспомощных, порой напористых, но предвзятых, порой откровенно злобных эскапад было невозможно. Оскорбленный за Маяковского, полный решимости отстоять его честь, подвергающуюся незаслуженным поношениям, на его защиту встал хороший прозаик и хороший журналист Анатолий Макаров.

В статье «Живой с живыми» («Советская культура», 1988, 26 января) он с полным основанием ставит в один ряд атаку на Маяковского и попытки под тем или другим соусом развенчать то стихотворение Симонова «Жди меня», то павших на войне молодых поэтов, которым инкриминируется ни много ни мало как раздувание мирового пожара (к этому можно было бы прибавить насюки и на «Реквием» Ахматовой, и на Цветаеву, и на Мандельштама). Нельзя не согласиться с Ан. Макаровым, когда он делает вывод, что все эти выпады преследуют далеко не чистые цели, что они обнаруживают немало общего с теми прискорбными «проработками», свидетелями которых мы все были. Высоко ценя Маяковского, он не закрывает глаза на то, что «многое из написанного Маяковским на газетную злобу дня выглядит теперь анахронизмом, кое-что, сказанное в пылу идейной схватки, кажется излишне радикальным, чересчур жестким. Рамки узко понимаемой литературной школы, тем более такой нетерпимой к инакомыслию, как ЛЕФ, вредили таланту. А уж как вредил ему посмертный «хрестоматийный глянец», недаром поэт его при жизни терпеть не мог!» Подводя итог разговору о Маяковском, автор статьи пишет: «Многотиражный «Московский художник» грозитя разобратя и с Горьким, и с Шолоховым, и с Фадеевым, и с Леоновым, и с Симоновым... Это, мол, для вас они постоянная ценность русской советской культуры. А для нас они «мертвые идола». «Неприкасаемых» не признаем. Это видно... Недолго и до Пушкина дойти. Впрочем, уже дошли, вполне в духе рапповских блюстителей чистоты, хотя и с другой стороны».

Соглашаясь с конкретными оценками, какие Ан. Макаров дает конкретным выступлениям о Маяковском, о стихотворении Симонова, о поэтах, погибших на войне, я никак не могу сочувствовать ему, когда он невольно стремится наложить табу на самую возможность обсуждать то, чего раньше ни под каким видом нельзя было касаться,— ведь случись ему самому лет десять назад обмолвиться, что агитки Маяковского «выглядят анахронизмом», и ему незамедлительно пришли бы намерение расшатать устои или какую-нибудь другую крамолу. Не след нам забывать об этом. Картина, представляющаяся А. Макарову чуть ли не зловещей (угроза разобраться с Шолоховым, Фадеевым, Симоновым), мне таковой не видится. Кстати, в журнале «Знамя» напечатано мемуарное повествование Симонова «Глазами человека моего поколения», в котором автор разбирается как в собственном жизненном пути, так и в поведении своих современников, критикуя себя и не приукрашивая некоторых поступков Фадеева и Шолохова. И ничего страшного в этом нет. Это только на пользу правде, это только помогает нам полнее представить себе обстоятельства, в каких развивалась наша литературная жизнь в послевоенные годы. Слишком долго в нашей критике царили дух чинопочитания по отношению к одним писателям и пафос отвержения других. Мало вернуть литературе тех, кто был исторгнут из нее, хотя и трудно переоценить значение этого. Не мешает разобраться, да, да, именно разобраться, каков реальный удельный вес и тех, кто нам сопутствовал в минувшие десятилетия, и тех, кто нынче вернулся или возвращается к нам. Весь вопрос только в том, как это делать. Серьезно, глубоко, во всеоружии фактов, в поисках истины, как это делает, к примеру, Мариэтта Чудакова в своих исследованиях Булгакова, или размашисто, крикливо, не вникая в суть, не брезгуя пересудами, преследуя цели, далекие от стремления к правде, как это продемонстрировала в «Литературной газете» Т. Глушкова (Е. Сидоров и Ст. Рассадин убедительно показали полнейшую несостоятельность спекулятивных построений последней). Т. Глушкова не постеснялась Пастернака, выступившего на Первом съезде писателей, противопоставить Николаю Клюеву, отправленному в ссылку в Нарым. Каких только громких имен, начиная с всемирно известного Горького, не было на съезде, но виноват, оказывается, один Пастернак, может быть, и слыхом не слыхавший тогда о беде, что обрушилась на Клюева. Пастернак, который, как об этом свидетельствует в своих воспоминаниях А. К. Гладков, в 1937 году назвал массовые аресты «шигалевщиной».

Пастернак, который категорически отказался подписать письмо с требованием расстрелять Бухарина и Рыкова. Пастернак, который поддерживал чем мог тех, кто был брошен в лагерь или в ссылку, который писал письма Варламу Шаламову, Константину Богатыреву, Ариадне Эфрон¹. Каждый, кому выпала участь застать хотя бы кончик эры Сталина, понимает, чем для Бориса Леонидовича могла обернуться нескрываемая эпистолярная связь с репрессированными, но ему самому такой довод даже в голову не приходил, и он вел себя так, как дай бог в минуты испытаний вести себя каждому из нас. Вообще же, если следовать логике Глушковой, нам надо собрать камни и швырнуть их в Льва Николаевича Толстого, который имел неосторожность жениться на Софье Андреевне и наслаждался семейной жизнью в то самое время, когда Николай Гаврилович Чернышевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Стоит только выйти на эту дорожку произвольных сопоставлений, как открывается безбрежный простор для неумолимых приговоров едва ли не всем художникам прошлого и настоящего.

Чего там греха таить, не очень-то весело смотреть на то, как храбрецы обоего пола, задыхаясь от злобы и ненависти, трясут что мочи есть «треножник» того или иного поэта. Возомнив себя наместниками морали (словно не было у них раньше поводов проявить нравственную энергию в тех областях, где они жили и работали) в искусстве, эти мрачные савонаролы оставили далеко позади себя «толпу», о которой писал Пушкин. Да, эта толпа бранила поэта, плевала на «алтарь, где... огонь горит», в «детской резвости» колебала «треножник». Но ее, эту толпу, если не простить, понять по крайней мере можно было. Она не ведала, что творила. Нынешние, те, о ком речь, ведают. Они во власти не дет-

Я думаю, что...

302

¹ Через несколько месяцев после того, как эта статья была написана, я прочел воспоминания скульптора Зои Афанасьевны Масленниковой о Пастернаке. Борис Леонидович рассказывал ей: «В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей: стали ездить по колхозам, собирать материал для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладываваясь в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать» («Нева», 1988, № 7. С. 140).

То, что Пастернак увидел в деревне, так на него подействовало, что он заболел. И не в метафорическом смысле, а самым натуральным образом. Уже один этот факт неопровержимо свидетельствует о том, как далеки выводы Глушковой от реального положения вещей.

ской резвости, а закусившей удила ожесточенности. Сегодня «треножник» не охраняется. Он открыт, и к нему может подойти каждый, кому вздумается. Но, ей-же-ей, это много лучше, чем «треножник», обнесенный забором, оплетенный колючей проволокой с пропущенным через нее электрическим током, возле которого выставлен бессменный караул, пусть и почетный.

Ан. Макаров опасается, что если не соорудить загона на пути тех, кто «грозит разобратся» с нашим культурным наследием, то «недолго и до Пушкина дойти». И констатирует: «Впрочем, уже дошли». Легко догадаться, кого именно он имеет в виду. И хотя опять же я целиком и полностью разделяю мнение автора статьи об инциденте, когда Ю. Кузнецов в такой же мере нахраписто, в какой и беспочвенно, ополчился на пушкинские строки, в самой попытке независимо и свободно подходить к любым явлениям искусства, не исключая и шедевров, я не вижу ничего худого. При условии, что такой подход рожден чистыми помыслами, а не задними мыслями. Уж лучше в детской резвости колебать треножник, чем превращать его в предмет ритуального культа. Не приходим же мы в иступление от того, что Лев Толстой развенчивал Шекспира. Неужели мы и в самом деле рабски следуем древнему правилу: что позволено Юпитеру, не позволено быку?

Уверен, что такой поэт, как Маяковский, уже масштабом своим никак не меньший, чем некоторые из тех, кого ему нынче ставят в пример или в укор, сумеет постоять за себя. Немало было среди моего поколения людей, которые, зная Блока, Есенина, Ахматову, Пастернака, сжились с поэзией Маяковского не потому, что она навязывалась. Они читали его стихи не для ответа на уроке или экзамене, а для души. Иные из них и тридцать лет назад умели в его творчестве отличить пшеницу от плевел.

В своей статье А. Макаров приводит слова Пастернака о Маяковском: «Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще не осуществленными». Слова эти заимствованы из автобиографической «Охранной грамоты», которая была закончена в 1930 году, несколько месяцев спустя после самоубийства Маяковского, и страницы, посвященные ему, запечатлели боль, какую испытывал Пастернак от этой свежей утраты. Но через четверть века Пастернак вновь обратился к своей биографии и написал «Люди и положения», в которых, естественно, не мог миновать Маяковского. Не раз мне приходилось слышать и читать, что в этой вещи он перечеркнул все, что писал о Маяковском раньше. Это не

совсем так. Ведь уже в тридцатом году Пастернак писал о Маяковском: «Он в тесном кругу прочитал «150 000 000». И впервые мне было нечего сказать ему. Прошло много лет, в течение которых мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше его понимал. Об этом периоде расскажут другие, потому что в эти годы я столкнулся с границами моего понимания, по-видимому — непреодолимыми».

Не довольствуясь тем, что рассказали «другие», и иначе, чем в пору «Охранной грамоты», оценивая границы своего понимания, Пастернак в 1956 году развил эту тему: то, что раньше было сказано глуховатым намеком, по прошествии 26 лет обрело резкую определенность. Он писал: «За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос», позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным». Не только восторженные обожатели Маяковского, но и не склонные к эйфории читатели вряд ли согласятся с тем, что все, созданное поэтом в последние десять лет его жизни, за вычетом «Во весь голос», можно чохом окрестить «изощренной бессодержательностью». Ведь в эти годы Маяковский написал много прекрасных строк, которые живут и будут жить. Но точно так же не подлежит сомнению, что Маяковскому случалось писать вещи, которые укладываются в характеристику Пастернака.

Глава, из которой взята приведенная выше цитата, кончалась так: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен».

Не стоит закрывать глаза на то, что многие сегодняшние, особенно молодые, читатели совершенно глухи к Маяковскому. Редко у кого из них возникает позыв обратиться к его поэзии, вчитаться в нее. Меньше всего это можно посчитать случайностью. Дискуссия, прорывавшаяся в многотиражке московских художников, представляя собой, если воспользоваться затасканной метафорой, надводную часть айсберга. Она отражает расхожее представление, присущее множеству людей. Представление это является полуинстинктивной-полусознательной реакцией на директивную сталинскую формулу («лучший, талантливейший поэт советской эпохи»), на протяжении

Я думаю, что...

десятилетий вдалбливавшуюся в наши головы. Куда деться от очевидного факта, что многое из того, что принесло столько горя нашей стране, осуществлялось под тысячеустую декламацию стихотворных лозунгов Маяковского? Что поделаешь, коли было такое время, когда открытое признание в неприятии Маяковского грозило тому, кто на него отважился, нешуточными осложнениями и порой расценивалось как прямое свидетельство политической неблагонадежности. Надо ли удивляться, что выросшие в этой обстановке люди, которым Маяковский навязывался в неизменном качестве принудительного ассортимента, не всегда пылают к нему любовью, а иные из них даже именно его слышать не могут?

Ни один художник не может предвидеть, какая судьба уготована тому, что он создал, когда его самого уже не будет в живых. Его наследие, как дом без хозяина, распахнуто перед потомками, и если среди них отыскиваются заинтересованные лица, преследующие собственные, нередко сомнительные цели,— а в таких персонажах никогда не ощущается недостатка,— они стараются приспособить его к своим нуждам. Маяковский не избежал этой участи. Трагический парадокс состоял в том, что поэт стал пленником чистых и благородных своих порывов. Движимый теми же чувствами, что и русские дворяне прошлого века (он ведь и сам был дворянином), которые, ощущая себя в неоплатном долгу перед «меньшим братом», отрекались от привычной среды и уходили в народ, Маяковский принес свой недюжинный лирический дар в жертву служению сиюминутной злобе дня или, как он писал, подводя итоги жизни, «себя смирял, становясь на горло собственной песне». Могло ли ему в самом страшном из снов померещиться, что его имя станет опорой и рекламной вывеской для разномастных приспособленцев, «рвачей и выжиг», которых он страстно ненавидел?

Сравнение Пастернака, кажущееся по первому впечатлению ядовитым, несет в себе надежду и уверенность. Что картофель при Екатерине вводился принудительно, вскоре забылось и оставило след лишь в памяти историков. А картофель прочно вошел в быт. Его ели и едят. Не без сопротивления, но уходят времена, когда одних русских художников слова причисляли к лику богов, а других — отправляли по ведомству дьявола. Возвращение в литературу опальных поэтов и прозаиков Маяковскому не страшно. Лучшее из написанного им не потускнеет от соседства с поэтическими произведениями самых авторитетных его современников.

В январе 1988-го «Литературная газета» устроила обсуждение критики на страницах литературно-художественных журналов за 1987 год. В обсуждении итогов критического года, как это уже не раз бывало до этого, приняли участие те же самые критики, которые пользуются исключительным расположением «Литературной газеты» и которых по праву можно было бы назвать баловнями печати, как будто мы так бедны и у нас не из кого выбирать.

Наблюдая, как мелькают из обсуждения в обсуждение одни и те же лица, я припоминаю давнишнюю историю. В середине пятидесятих годов Советский Союз установил дружеские отношения с одной азиатской страной. Контакты шли в разных областях. В том числе и в области культуры. Наши делегации ездили в ту страну, ее представители наносили визиты нам. И неизменно ездил и принимал приезжающих деятель нашего искусства, которого во избежание сплетен назову Н. Без него ни одна встреча не обходилась. Все шло прекрасно. Обменивались выставками, книгами, спектаклями, кинофильмами. Говорились речи. Устраивались банкеты. Отношения становились все более и более теплыми. Но однажды представитель азиатской страны в нарушение дипломатического этикета, что отчасти было извинительно для него, поскольку он являлся не официальным лицом, не персона грата, что ли, а вольным художником, спросил: «Скажите, пожалуйста, почему нас всегда посещает и всегда принимает один и тот же человек, господин Н.?» Спрошенный не стусевался и бойко отбарабанил: «Как почему? Да потому, что товарищ Н. очень любит вашу страну». И тогда иноземец в замешательстве сказал: «Неужели в такой огромной державе, как ваша, один только Н. любит нашу страну?»

Смею думать, что не только те, кого во всесоюзной нашей писательской газете регулярно усаживают за круглые и некруглые столы, любят литературу и понимают толк в критике. Отчего бы, к примеру, не пригласить на обсуждение кого-нибудь из тех, кто после затяжного молчания в последние два-три года активно включился в литературную жизнь? А то что же получается? Все А. Ланщиков да А. Ланщиков. Не отрицая, он не чужд известного своеобразия. Он в последнее время специализировался на искусстве чтения в сердцах. То он на страницах журнала «Москва» высказывает подозрение, что И. Дедков не по своей доброй воле, а по злему наущению таинственных закулисных позволил себе не принять все в романе маститого нашего прозаика, что приравнивается едва ли не к литературной диверсии.

То в литгазетном обсуждении очерчивается на статью В. Лакшина, увидевшую свет в «Известиях», и говорит: «Так далека от взглядов А. Твардовского эта статья. Своим догматизмом, своим неприятием той правды, что есть в прозе В. Белова».

Не вижу ни малейшего криминала в том, что одному критику не по душе позиция и работа другого критика, о которых он высказывается прямо, даже резко. Но между полемкой, состоящей из столкновения обоснованных мнений, и разного рода инсинуациями столько же общего, сколько между честным поединком и «загибанием салазок». На протяжении без малого трех десятков лет, с тех пор как в 1961 году Игорь Дедков напечатал в «Новом мире» рецензию на Константина Воробьева, он проявил себя как критик, убежденно отстаивавший то, что ему дорого: произведения Быкова и Залыгина, Семина и Трифонова, правдиво отображавшие жизнь нашего общества. Но что А. Ланщикову до фактов, когда он задался целью любой ценой бросить тень на репутацию И. Дедкова.

Ничтоже сумняшеся, А. Ланщиков обвиняет В. Лакшина в том, что его взгляды далеки от взглядов Твардовского. Любопытно все же, из чего это следует? Да ни из чего, если, понятно, не принимать во внимание, что в последнее время из рядов тех, кто двадцать лет назад всячески домогался, чтобы «Новый мир» перестал быть таким, каким он был в пору своего расцвета, раздаются все более и более громкие голоса, что его главного редактора опутали сотрудники журнала. Договариваются до того, что позорная травля «Нового мира», развернутая старым «Огоньком», целилась, мол, вовсе не в Твардовского, а в его помощников. Эта фантастическая версия может иметь успех только у людей с поврежденной памятью, которые забыли, что говорил и писал Александр Трифонович в шестидесятые годы. Надо ничего не понимать в Твардовском, чтобы утверждать, что человек такого властного и крутого характера, каким он был, мог подпасть под чье бы то ни было влияние. Самым решительным и последовательным новомирцем был он сам, определявший не только общую линию журнала, но входивший во все подробности готовившихся номеров.

Известно, и вряд ли это составляет тайну для А. Ланщикова, что В. Лакшин сложился как критик в «Новом мире» Твардовского, на страницах которого он напечатал много статей, посвященных узловым проблемам текущей литературы. Эти статьи никогда не увидели бы света в журнале, если бы главный редактор не разделял того, что в них было написано. И в той самой статье,

которая у А. Ланщикова вызвала приступ раздражения, В. Лакшин проводит те же взгляды, что проводил и раньше и которые сложились не без воздействия Твардовского. Можно не сомневаться, что привелось последнему прочесть «Все впереди», он высказался бы об этом романе еще резче, чем высказался В. Лакшин, ибо ему претили как приблизительность письма, так и навязчивые идеи, вроде тех, что нашли пристанище в последней вещи Белова. Как бы велики ни были в глазах Твардовского прошлые заслуги писателя, Александр Трифонович оценивал каждую новую его работу исходя исключительно из нее самой. В только что вышедшей книге воспоминаний о В. Пановой рассказывается, что, несмотря на то что Твардовский был высокого мнения о повестях и романах писательницы, посвященных современности, он решительно отклонял ее пьесы и исторические вещи, которые не пришлись ему по вкусу. Прав или неправ он был в своих оценках, вопрос другой. Этому принципу следует и В. Лакшин. В известинской статье он, отмечая очевидные слабости романа В. Белова, отдает должное и «Привычному делу», и «Канунам», о которых говорит с тем уважением, какое они заслуживают. Нет у него нигде стремления унижить того, о ком он пишет, или извратить его взгляд на вещи.

Тому, кто испытывает непреодолимый зуд шельмовать критиков, думающих иначе, чем он, не мешает почаще вспоминать чеховские слова: «Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможною определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей».

В литгазетной дискуссии приняла участие А. Марченко, чьи статьи и рецензии чаще всего были отмечены искренним стремлением разобраться в явлениях современной поэзии и прозы, которые она анализировала с тем тонким изяществом, какое не так уже часто встречается в критических писаниях. Тем огорчительнее было прочесть в ее выступлении, что «статья Ю. Буртина несколько догматична, точнее старомодна и по типу мышления, и по способу аргументации, да и взгляду широты не хватает». Что сказать на это? Наверное, десять заповедей, которые были сформулированы три тысячелетия назад, кому-то кажутся сегодня догматичными, а кому-то старомодными, как по «типу мышления», так и «по способу аргументации». Скажем, заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Догматизм? Типичнейший. Что это за стародедовская манера оперировать какими-то отвлеченностями? «Ложное свидетельство». Это

Я думаю, что...

ведь как посмотреть. С одной, с ихней, стороны, свидетельство ложное, а с другой, с нашей, — самое что ни на есть истинное, особенно ежели на пользу это нам. С какой это стати каждый встречный-поперечный должен ближним почитаться? Что он тебе, брат, сват, соплеменник, выходец из одних с тобою мест или, как говаривали в не столь уж давние времена, из одной и той же социальной прослойки? Что с того, что веткам случается соприкасаться, коль корни разные. Шалишь, нас на эту вегетарианскую приманку не возьмешь...

Видит бог, я не приписываю А. Марченко подобных рассуждений. Уверен, что она не в восторге от жонглирования нравственными категориями. Но, увы, игра с такими словами, как «догматизм», «старомодность», когда они прилагаются к таким критическим вещам, как статья Ю. Буртина, становится великолепным фундаментом для самых печальных выводов. Верно, конечно, что в брежневские годы в литературе стало распространенной модой сжигать все, чему поклонялись десятилетием раньше, и смотреть на тех, кто отказывался жить по законам конформистского существования, как на донкихотствующих чудачков, которые упорно цепляются за устаревшие нравственные ценности, но этой эпидемии, кажется, наступает конец. Ю. Буртин сохранил верность этим ценностям. Он редко печатался, в качестве действующего критика, каким заявил себя в шестидесятые годы, практически сошел на нет, но не изменил своим убеждениям. И сегодня, когда наступили времена, которые приближали наиболее совестливые наши современники, и среди них Юрий Буртин, его высокомерно третируют как старомодного догматика. За что? За статью, в которой с беспощадной прямоотой исследуется история «Нового мира» Твардовского в органической связи с общественными процессами тех лет. А ведь критик вовсе не ратует за то, чтобы нынче дублировать все, что делалось двадцать лет назад, а предлагает идти дальше, опираясь на достигнутое тогда. Побольше бы нам такого «догматизма».

Во втором номере «Нового мира» за нынешний год напечатана статья Л. Аннинского о Владимире Корнилове, который после довольно продолжительной несамостоятельной отлучки — свыше десяти лет талантливому нашему современнику не дано было опубликовать ни строчки в нашей печати — вернулся в литературу. Восстановление справедливости стало возможным благодаря тем переменам, которые произошли в нашей жизни на протяжении последних трех лет. Ясное дело, эта возможность реализовалась не стихийно, а благодаря активным уси-

лиям тех, кто неравнодушен к судьбам нашей литературы и ее участников.

Несомненная заслуга в этом и Аннинского. Едва только после затянувшегося антракта в «Знамени» была напечатана первая подборка В. Корнилова, как он тотчас откликнулся на нее в «Литературной России». Когда же этих публикаций стало несколько (в «Новом мире», «Дружбе народов», «Огоньке», «Сельской молодежи», еще раз в «Знамени»), Л. Аннинский написал о поэте большую статью. Он радуется возвращению поэта. Он приглашает читателя разделить эту радость. Он по силе возможности стремится закрепить возвращение поэта в литературу, видя в этом примечательное событие не только в его судьбе, но и в сегодняшней русской поэзии. Его позиция тут отрядно отличается от позиции немалой части наших критиков, которым ни тепло и ни холодно, скорее даже холодно, чем тепло, от того, что достоянием общественности становятся произведения, еще недавно осужденные оставаться невидимками и книгой за семью печатями.

Новомирская статья Л. Аннинского обладает многими достоинствами. Главное из них то, что критик, пристально всматриваясь в стихи В. Корнилова, очерчивает координаты его поэтического мира и высвечивает характерные черты его личности и духовной биографии. Не будет преувеличением сказать, что так обстоятельно, так полно, так детально о В. Корнилове никто еще не писал. Это, понятно, не значит, что все, что говорит Л. Аннинский, звучит равно убедительно. Мне трудно, к примеру, согласиться с утверждением критика, будто стих В. Корнилова «небрежен», а рифмы у него «кое-какие». При внешней скромности стих поэта начисто лишен небрежности, а рифмы отличают естественность и органичность. Такие рифмы как нельзя более уместны в таком стихе, который готов скорее сойти за прозаическую речь, нежели обнаружить хоть самое малое сходство с риторической выпяченностью. Тщательно отработанная форма у В. Корнилова растворена в содержании, в распоряжение которого она безраздельно себя отдала.

Еще труднее согласиться с Л. Аннинским, когда он сопоставляет В. Корнилова с некоторыми современными поэтами. Высоко оценивая стихотворение «Лермонтов», написанное в 1948 году, критик пишет: «Господи, что делали в 1948 году поэтические светила 60-х? Что в том году делала Ахмадулина? Что вышло из той предрассветной поры в ее стихи? «Отдаю себя на съедение этой скорости впереди...» А Евтушенко? Он что делал? Таскался по земле с геологами? Что писал? «Партия нас к победе ведет, у нас за успехом новый успех...»

Без тени неловкости критик спрашивает: что делала Ахмадулина в 1948 году? Ей было тогда от роду одиннадцать лет. Что она делала? То же самое, что ее сверстницы и сверстники. Ходила в школу. Делала уроки. Заучивала «Песнь о вещем Олеге». Задаваясь вопросом, что делал в то время Евтушенко, Л. Аннинский полупрезрительно роняет: «Таскался по земле с геологами». Откуда это высокомерие по отношению к только что получившему паспорт пареньку, зарабатывавшему себе кусок хлеба и самостоятельно пробивавшемуся в жизни? Критик приводит слабенские строчки Евтушенко, написанные с явной оглядкой на газетно-вишневые образцы тех лет, и посрамляет их хорошим стихотворением Корнилова. Автор стихотворения о Лермонтове был на четыре года старше Евтушенко, а надо ли говорить, что значит такая возрастная разница в юности. К тому же Корнилов в 1948 году учился на третьем или четвертом курсе Литературного института, ходил на семинары, которыми руководили видные советские поэты, постоянно находился в атмосфере разговоров о поэзии. Как же можно сравнивать с ним того, кто только-только примеривался делать первые шаги в литературе? К этим первым шагам своим сам Евтушенко отнесся едва ли не суровее, чем самые строгие его судьи. Зачем же сегодня колоть ему глаза Корниловым? Редко какой критик отказывает себе в удовольствии поканканировать на тех или иных стихах Евтушенко, благо он, не в пример другим прозаикам и поэтам, в таких случаях не бьет во все колокола, призывая начальство оградить его от нападков.

Путь Евтушенко был неровен. Поэт шел на неоправданные компромиссы, делал зигзаги, проявлял слабость, но он никогда никого не распинал, никогда не участвовал в травле своих товарищей по искусству. Разбуженный пятьдесят шестым годом, он в самые трудные времена оставался верен его духу. Он был с теми, кто боролся за восстановление справедливости, а не с теми, кто палец о палец не ударил, чтобы приблизить ее, или всячески противился этому. Тем самым он способствовал возвращению Корнилова в литературу.

Л. Аннинский убедительно показал, в чем сила и обаяние стихов Корнилова. Эти стихи говорят сами за себя. Их ценность не становится большей оттого, что принимается работа других поэтов.

Споря с А. Макаровым, А. Марченко, Л. Аннинским, полемизируя с отдельными их высказываниями, которые не всегда согласуются с фактами, я отдаю себе отчет, что им случилось отклониться от истины вовсе не потому, что они проявляли равнодушие к ней или — хуже

того — пытались манипулировать ею. Нет, они стремились к истине, они послужили ей, но в порыве увлечения не убереглись от крайностей. Иначе обстоит дело с критиком, о котором мне предстоит говорить.

3

В десятом номере «Нашего современника» за 1987 год появилась статья В. Кожина «Мы меняемся? Полемиические заметки о культуре, жизни и «литдеятелях». Как явствует из широкоохватного подзаголовка, в еще большей мере из текста самой статьи, перед нами не простое критическое выступление, а что-то вроде директивного циркуляра со всеми опознавательными знаками документов такого рода. И подобающий этому жанру уверенный начальственный тон. И четкое разделение на овец и козлиц: список литературоведов, долженствующих служить образцом и примером для подражания, и выволочка литераторов, которых надо всячески остерегаться.

Я нисколько не преувеличиваю. О тех, кто ему не по вкусу, В. Кожин пишет, что они «чужды не только культуре в ее глубоком значении, но и простой образованности», и снабжает этот приговор иллюстрацией: «...С. Калтахчян один из «основополагающих» тезисов своей недавней статьи подкрепляет «сопоставлением» двух мыслителей — Александра Герцена и Николая Федорова. Первый, мол, был дворянином, но сумел занять прогрессивные позиции, а второй — «выходец из народных низов... несмотря на «происхождение» проповедал... концепцию самодержавия». Герцен действительно был внебрачным сыном дворянина (хотя и не очень знатного) Яковлева, который отдал его учиться в довольно-таки «демократический» Московский университет, где учились, к примеру, дети крепостных крестьян Михаил Погодин и Николай Павлов, сын уездного лекаря Белинский и т. п. Что же касается Федорова, он, как и Герцен, был внебрачным сыном (Калтахчян по невежеству сделал, мягко говоря, странный выбор имен для своего «теоретического» сопоставления), но не «простого» дворянина Яковлева, а князя-рюриковича Гагарина, который послал сына учиться в одно из самых привилегированных учебных заведений — Ришельевский лицей, куда Белинского, не говоря уже о Погодине, не пустили бы на порог.

Сталкиваясь с подобным незнанием элементарных, приведенных в любой энциклопедии фактов (незнанием, за которое студентам ставят «неуд»), теряешь какое-либо желание вступать в полемику с автором...»

Я думаю, что...

Как-то не по себе делается от полемических замашек В. Кожина, не брезгующего ничем ради того, чтобы втоптать своего оппонента в грязь. Допустим, ошибся профессор С. Калтахчян, совершил промах, не совсем удачный пример привел. Жаль, конечно. Но с кем не бывает? Надо ли за это так позорить человека? Это в том случае, если С. Калтахчян кругом виноват и истина на стороне В. Кожина. А как быть, если автор этой грозной иеремииады сам не очень тверд в том, о чем он говорит с таким апломбом?

Правда, что Николай Федорович Федоров был внебрачным сыном князя Павла Ивановича Гагарина, потомка одного из древнейших русских родов.

Что унаследовал «незаконный» отпрыск от своего родителя? Состояние? Его не было. Громкую фамилию? И отчество и фамилию будущий философ получил, как это тогда в таких случаях водилось, от крестного. Когда Федорову было четыре года, отец его умер, и мальчик вместе с матерью вынужден был покинуть господский дом. Федоров учился в церковноприходской школе, а затем в тамбовской гимназии, после чего он поступил в Ришельевский лицей. То ли В. Кожин испытывал особый пиетет к губернатору Одессы и генерал-губернатору Новороссии Арману Эммануэлю Ришелье, то ли спутал этот лицей с Пажеским корпусом, но он почему-то возвел его в ранг чуть ли не самого привилегированного учебного заведения России. В. Кожин заблуждается, утверждая, что «Белинского, не говоря уже о Погодине, не пустили бы на порог» этого лицея. Прояви они желание, и им никакого труда не составило бы поступить в него, ибо Ришельевский лицей был не более привилегированным местом, чем другие высшие учебные заведения тогдашней России. Отчасти даже менее привилегированным, поскольку помещался он не в одной из двух столиц или возле них, а в провинциальной Одессе, которая в середине прошлого века пребывала не в лучшей поре своего существования.

Федоров учительствовал в уездных училищах, служил в Чертковской библиотеке, работал в Румянцевском музее и в читальном зале архива министерства иностранных дел. Познакомившийся с ним в 1864 году Н. П. Петерсон вспоминал, что «Федоров жил аскетом, у него не было не только постели, но даже и подушки, питался он тем, что подавали ему хозяева». Такой образ жизни автор «Философии общего дела» вел до конца дней своих. Он жил так, как жили миллионы малоимущих его соотечественников, с которыми у него было куда больше общего, чем с высокородной средой, к которой принадлежал его отец.

Не приближается В. Кожин к истине и когда касается обстоятельств, связанных с Герценом. Как можно утверждать, что отец Герцена был не очень знатного происхождения, если основатель рода, к которому он принадлежал, был боярином при Иване III, если Яковлевы состояли в родстве с Колычевыми, Романовыми, Сухово-Кобылиными, Шереметьевыми, если мать Ивана Алексеевича была урожденной княжной Мещерской? Хотя Герцен был внебрачным сыном Яковлева, он унаследовал от него отчество, и его положение мало чем отличалось от положения законнорожденных барчуков. Он жил в доме отца, который в нем души не чаял. Он с детства был окружен няньками и гувернерами. К нему ходили учителя, и он получил домашнее образование. Когда он стал студентом (В. Кожин обнаруживает крайне слабое знание предмета, когда говорит, что Яковлев «отдал его учиться» в Московский университет: Иван Алексеевич наметил для сына совсем другое поприще, но сын проявил характер, настоял на своем и, вопреки родительской воле, выбрал физико-математический факультет), его по пути в университет сопровождал лакей, и Герцену стоило немалых усилий, чтобы отделаться от опекавшего его провожатого. Кстати, о Московском университете. В. Кожин сообщает, что в нем учились *«дети крепостных крестьян Михаил Погодин и Николай Павлов»*¹. Герцен, который в этом деле разбирался не хуже, надо полагать, критика «Нашего современника», писал, что двери российских университетов «были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, не уволенным своей общиной».

Герцен никогда не знал нужды и лишений. Перед ним никогда не возникал вопрос, как свести концы с концами. После смерти отца он получил солидное наследство, и в годы эмиграции у него доставало средств, чтобы ни в чем не отказывать себе и своим домашним. Словом, Герцен всегда жил барином, что, кстати сказать, навлекало на него раздражение некоторых молодых русских революционеров, которые не хотели мириться с тем, что проповедник социальной справедливости по образу жизни мало чем отличается от тех, с кем он борется.

Как видим, социальное и имущественное положение состоятельного Герцена разительно отличалось от по-

¹ Петр Погодин получил вольную в 1806-м, а его сын, Михаил, поступил в университет в 1818-м. Если бы В. Кожин проявил больше внимания к энциклопедиям, которые он настоятельно рекомендует для пополнения эрудиции своему оппоненту, то он прочитал бы в одной из них, что Николай Филиппович Павлов был сыном вольноотпущенника — вольноотпущенника, а не крепостного.

ложения Федорова, который вынужден был служить и трудом своим зарабатывать себе на жизнь. Знал или не знал С. Калтахчян, что Федоров был сыном князя Гагарина (желательно, понятно, чтобы он знал это), существо дела он очертил верно. Живя жизнью низов, Федоров не мог не чувствовать свое социальное и психологическое родство с ними. И напрасно В. Кожинов глумится над своим оппонентом. Потирая руки и хихикая по поводу того, что ему удалось поймать его на грубых ошибках, он доказал лишь, что сам плавает в тех вопросах, о которых говорит докторальным тоном. Касается обстоятельств биографии Федорова — мимо. Говорит о Рижельевском лицее — мимо. Пишет о Герцене — мимо. Рассуждает о Московском университете — мимо. Нет, В. Кожинов явно поспешил объявить себя эрудитом. Как говорится, много амбиции, но мало амуниции.

С беспощадной яростью обрушивается В. Кожинов на критика, которого он именуется «литдеятелем С.». Почему бы не назвать этого критика по фамилии? Тем более что в статье приводятся цитаты из его книги, благодаря которой легко установить, кто же этот законспирированный незнакомец. К чему эта игра в прозрачные секреты? У В. Кожинова на это свои резоны. Один из них, представьте себе, вот какой: «Ведь это... не, так сказать, творческая личность, но именно один из представителей определенного литературного типа, определенного «мы», от имени которого он выступает. И если назвать его имя, другие — увы, достаточно многочисленные — представители данного типа могут отмежеваться, а читатели сосредоточат внимание на отдельной фигуре — вместо того, чтобы увидеть типическое явление».

Не будет преувеличением сказать, что В. Кожинов совершил настоящий переворот в теории литературы. Надо немедленно запатентовать это открытие, чтобы приоритет его остался за тем, кто его сделал. А какие выгоды оно сулит романистам, если поставить его на практические рельсы. Бедняги-повествователи мучаются, ночей не спят, добиваясь, чтобы создаваемые ими характеры были типическими. А оказывается, зря они страдают. Достаточно вместо фамилии или имени героев поставить их инициалы, и дело в шляпе.

Рискуя подвергнуться страшному подозрению в том, что я подкладываю мину под типизацию, я все же возьму на себя смелость раскрыть подлинную фамилию того, кто фигурирует под кличкой «литдеятель С.». Это не кто иной, как Юрий Иванович Суворцев. В. Кожинов лукавит, когда пытается убедить нас, что не называет фамилию одного из героев своей статьи по

высоким соображениям типизации. Мотив у него другой был. С помощью этого нехитрого трюка открывается большой простор для жонглирования фактами. За примерами не надо охотиться, они сами бросаются в глаза уже на первой странице статьи. Вот В. Кожинов пишет о литдеятелях: «...до недавнего времени о них вообще нельзя было высказаться в печати». Были такие литдеятели? Не только были, но и есть. Высказываться об этих неприкасаемых можно только так, как Первый министр говорит королю в пьесе Евгения Шварца «Голый король»: «Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!» Но попробуйте пусть и не грубо, но прямо сказать о неприкасаемом, что он не великий человек, и начнутся мытарства с публикацией вашего мнения. И если вам сказочно повезет и то, что вы написали, увидит свет, приготовьтесь к тому, что шестерящие вокруг неприкасаемого холуи будут лить на вас помои из всех емкостей, какие только могут подвернуться. Все это, увы, так. «О них нельзя было высказаться в печати». О «них» — да. Но не о Ю. Суровцеве. Если В. Кожинов перелистает прошлогодние комплекты того самого журнала, в котором напечатана его статья, он увидит, что Ю. Суровцев поминается в них довольно часто — и нельзя сказать, чтобы в лестном или хотя бы уважительном тоне. Он выступает в этих статьях в неизменной роли мальчика для битья.

Что же угорадило Суровцева написать такое, за что В. Кожинов готов прямо-таки испепелить его? А написал он, представьте себе, следующее: «Некогда, в «рапповские» времена, один из известных наших критиков поэзии утверждал: «...Тютчев — совсем не наш, он органически чужд нам». Будет ли кто-нибудь сегодня спорить против ощущения дикости этого «совсем не наш»? Нет, поистине времена меняются, и мы, во всяком случае большинство из нас, меняемся вместе с ними».

Рассуждение как рассуждение. Ничего страшного в нем нет. Ю. Суровцев констатирует непреложный факт: времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Цитата оборвана перед чрезвычайно существенной завершающей фразой: «И надо думать — в лучшую сторону». То есть Ю. Суровцев не только отмечает, что поэзия Тютчева сегодня всеми признана как ценнейшее достояние нашей культуры, но и выражает по этому поводу полнейшее удовлетворение. Говоря словами Пушкина, «Больше ничего не выжмешь из рассказа моего».

Но В. Кожинов большой специалист выжимать из текста и то, чего в нем днем с огнем не сыщешь. Вот что пишет он по поводу приведенной выше цитаты: «Не

так уж часто сталкиваешься со столь яркими образчиками «саморазоблачения». Во-первых, С. откровенно признается, что отношение подобных ему литдеятелей к классике целиком зависит от «изменения времен», то есть, называя вещи своими именами, от конъюнктуры (а не от внутренней эволюции литератора, которая определяется напряженной работой мысли); вполне вероятно, что при некоем грядущем «изменении времени» Тютчев для таких литдеятелей опять может стать «совсем не нашим». Сейчас же, когда тютчевские книги расходятся в десятках миллионов экземпляров, как-то неприлично было бы не «меняться».

Высказывание Ю. Суровцева не дает ни малейшего повода для набега, совершенного на него В. Кожинным. Ведь Ю. Суровцев ссылается на слова рапповского критика (имеется в виду А. Селивановский, погибший в 1938 году в сталинском застенке) не для того, чтобы задним числом заклеить его, а для того, чтобы подчеркнуть, что это суждение представляло собой, как нынче принято выражаться, модель общественного сознания прошедшей эпохи, коренным образом отличающегося от общественного сознания наших дней. Кто же спорит против того, что внутренняя эволюция литератора определяется напряженной работой мысли? Но разве эта работа изолирована от движения времени?

Особый гнев критика «Нашего современника» вызывает суждение Ю. Суровцева о знаменитых тютчевских строках «Умом Россию не понять...»: «Эти «мессианистские» строчки суть проявления слабых сторон мировоззрения и мировосприятия Тютчева. Они своеобразно преломляют политически-консервативные их стороны».

В. Кожиннов почему-то вне себя от этой трактовки, которая принадлежит не исключительно одному Ю. Суровцеву, а давно стала общим местом множества статей о Тютчеве. Отвергая точку зрения Ю. Суровцева на строки Тютчева, В. Кожиннов замечает: «...В тютчевском четверостишии, на которое набросился С., как раз *нет* «мессианства» в прямом, собственном значении этого слова. Ибо совершенно ясно, например, что в завершающей, ключевой по смыслу строке с выделенным последним словом:

В Россию можно только *верить*,—

воплотилось не только глубоко своеобразное национальное самоутверждение, но и полная драматизма национальная *самокритика*».

На мой взгляд, это не только свежее, но и глубокое прочтение тютчевских строк. Как жаль, что В. Кожиннов ограничился беглым при всей его тонкости замечанием

там, где открывалась возможность для содержательного и поучительного анализа. Вот он, живой пример движения к истине, а не сомнительных игр с нею. Но беда в том, что охваченный разоблачительным ражем критик не задерживается на плодотворном пути, на котором он сделал всего лишь один шаг. Намекая на опасное сходство тех, кто, мягко говоря, ему не мил, с рапповцами, он исходит больше из того, *кто* говорит, чем из того, *что* сказано. А ведь истина или ложь остаются истиной или ложью независимо от того, какова репутация того, кто их высказывает.

Отметая произвольные обвинения, какие В. Кожиннов грубо обрушивает на Ю. Суровцева, считаю нужным сказать, что я отнюдь не в восторге от критической манеры последнего. Нескончаемая полемика с самыми разными авторами, которые уличаются в общих и в частных прегрешениях, отступлениях от марксизма, отдает самодовольством. Пасьянсы, которые Ю. Суровцев раскладывает из многочисленных цитат, скорее утомляют внимание, нежели служат убедительными доводами.

Но все же «отчего пальба и клики и эскадра на реке»? Отчего именно за С. Калтахчяна и Ю. Суровцева раньше всего принялся В. Кожиннов? Может быть, возгорелся пламенной страстью к истине, на пути которой, как ему показалось, стояли эти персонифицированные препятствия? Нет, все проще. И Ю. Суровцев, и С. Калтахчян имели неосторожность оспорить некоторые суждения В. Кожиннова, а последний, как видно, таких вещей никому не спускает. Исполнившись мстительного гнева, он и крушит своих оппонентов. Не их одних. Но их с особой ретивостью. Любопытно, что из книги Ю. Суровцева, насчитывающей 534 страницы, он поживился, да и то без большого успеха, двумя крошечными цитатками о Тютчеве. Из большой статьи С. Калтахчяна, опубликованной в «Советской культуре», он вытащил примерчик, на котором пытался сплясать... как его, то, что нынешняя молодежь танцует... вспомнил, тяжелый рок, но это, как мы видели, у него не слишком ловко получилось. Не очень-то густо по части «разоблачительного» материала. То ли, как говорится, крыть ему было нечем, то ли еще по какой причине, но от полемики по существу вопроса, из-за которого весь сыр-бор и загорелся, — о ленинской концепции национальных культур — В. Кожиннов счел за благо уклониться. Но, не желая оставлять поле боя за оппонентами и спеша утолить жажду реванша, он, не долго раздумывая, перешел на «личности» и с помощью цитатных комбинаций, приправленных соответствующими комментариями, стал всячески унижать их. Что же, это

Я думаю, что...

проще, чем анализировать факты, приводить доводы.

Другой аспект статьи В. Кожина не менее любопытен. Я имею в виду место, где он доверительно сообщает: «Между прочим, я с конца 1950-х годов был хорошо знаком с одним из ближайших соратников Авербаха. К тому времени он пережил решительный переворот и обозначил то, что некогда делали он и его сотоварищи, кратким определением «чума». Один из немногих, он печатно покаялся за свои давние «разоблачительные» статьи о Николае Заболоцком и Андрее Платонове».

Трудно сказать, по каким соображениям В. Кожин не назвал одного «из ближайших соратников Авербаха» по имени и фамилии. Скорее всего он поддался непреодолимой склонности строить полишинельные ребусы. Подобно М. Бахтину, открывшему карнавализацию, В. Кожин ввел в искусство новый элемент — ребусизацию. Он пошел неизмеримо дальше М. Бахтина, который лишь теоретически осмыслил то, что уже существовало, в то время как В. Кожин сам создал новую методологию, позволяющую тасовать факты, как игральные карты. По кое-каким признакам процитированного абзаца можно заключить, что он ведет речь о В. Ермилове, для которого находит мягкие слова, какие улетутились из его лексикона, когда он говорил о других литераторах. В чем тут загвоздка?

В конце двадцатых годов, бичуя правую опасность в искусстве (а правыми тогда числились Н. Бухарин, А. Рыков, М. Томский, противившиеся сталинскому плану сплошной коллективизации), Ермилов обрушился на Государственную Академию художественных наук: «Едва ли не первую скрипку в ГАХН играет гражданин Шпет, довольно известный идеалист, который, надо отдать ему справедливость, в отличие от очень многих, никогда не пытался хоть чем-нибудь прикрыть свою реакционную сущность. В составе академиков числятся, и не только числятся, а регулярно получают ежемесячное жалованье люди, не имеющие никакого отношения к науке. Здесь имеются бывшие кадровые офицеры, — словом, «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». За недолгое время своего существования «Академия», созданная нами, рабочим государством, успела пропитаться этим очень крепким «духом».

Это выступление, обнаружившее большее сходство с политическим доносом, чем с традиционными жанрами литературной критики, возымело практический результат. Оригинальный русский философ и литературовед Густав Густавович Шпет сначала перестал «регулярно получать ежемесячное жалованье», а потом был репрес-

сирован и погиб. В 1929 году В. Ермилов призывал выкорчевать «русский дух», в котором усматривал правую опасность. Какой же дух должен был быть в России и в Москве? Ясное дело, что русский. Но прошло меньше двух десятилетий, и критик из пламенного ниспровергателя русского духа превратился в столь же пламенного его адепта. В соответствии с новыми директивами он сделал вольт и повернулся на сто восемьдесят градусов. Хотя, чего греха таить, он не только пристраивался в затылок спускаемым сверху указаниям, но, забегая вперед, старался показать, что в бдительном рвении шагает впереди всех. Он писал: «А. Платонов давно известен читателю — как литератор, уже выступавший с клеветническими произведениями о нашей действительности. Мы не забыли его кулацкий памфлет против колхозного строя «Впрок», не забыли и других мрачных, придавленных картин нашей жизни, нарисованных этим писателем уже после той суровой критики, какую вызвал «Впрок»... Советский народ дышит чистым воздухом героического упорного труда и созидания во имя великой цели — коммунизма. Советским людям противен и враждебен уродливый и нечистый мирок героев А. Платонова».

Надо признать, что ребусизация — довольно ловкий метод, позволяющий реальные факты окутать таким туманом, при котором они становятся неузнаваемыми. В. Кожин повелел нам, что «один из ближайших соратников Авербаха» покаялся «за давние «разоблачительные» статьи о Николае Заблоцком и Андрее Платонове». О, совсем не случайно критик назван не по фамилии, а предстает в виде соратника Авербаха. Благодаря этому сюжетному ходу создается впечатление, что «разоблачительные» статьи более давние, чем были на самом деле, что писались они в конце двадцатых — начале тридцатых годов и представляли собой лишь одну из составных частей коллективного затмения.

Цитата, приведенная мною, заимствована из статьи, которую В. Ермилов написал в 1947 году — через пятнадцать лет после ликвидации РАППа и через десять лет после гибели Авербаха. Нас убеждают в том, что «критик пережил решительный переворот» и именовал рапповские деяния «чумой». Когда же он пережил этот переворот? К 1947 году эпидемия рапповской чумы давно кончилась. Отчего же В. Ермилов в новых обстоятельствах, уже в послевоенное время, стал оживлять бактерии этой ужасной болезни и заражать ею нашу литературу? Может быть, таково было непререкаемое веление высокого начальства и он не нашел в себе мужества послушаться этого приказа? Конечно, и при таком стечении об-

стоятельств поступок критика не стал бы краше, но его хоть как-то можно было бы списать на тягостные условия существования. Однако все было непригляднее, чем это можно было бы предположить.

В автобиографических записках «Глазами человека моего поколения» Константина Симонова восстановлена картина того, что произошло с рассказом А. Платонова. Назначенный в 1946 году главным редактором «Нового мира», К. Симонов напечатал в первом же номере, вышедшем за его подписью (сдвоенный десятый — одиннадцатый номер), рассказ А. Платонова «Семья Иновава» («Возвращение»). Автор пишет:

«Очень хотелось... продолжить этим рассказом о возвращении с войны то, что писал Платонов в годы войны в «Красной звезде» и что как-то помогло ему обрести снова более или менее нормальное положение в литературе после сокрушительной критики тридцатых годов... Едва успел выйти номер журнала, как Ермилов тиснул в «Литературной газете» огромную статью «Клеветнический рассказ А. Платонова». В рассказе Платонова было всего четырнадцать журнальных страниц, а статья Ермилова была написана чуть ли не во всю длину рассказа, на целую газетную полосу... Статья была беспощадная, удар наносился человеку беззащитному и только-только ставшему на ноги... Убежден, что никакой инспирации сверху для этой статьи о Платонове не требовалось и ее не было. Сужу по тому, что она при ее разгромной силе не получила никакого дальнейшего отклика. Меня не возили мордой об стол, не устраивали дальнейшей проработки журнала в связи с этой статьей Ермилова».

Журнал оставили в покое. Но участь Платонова была решена. От этого последнего удара он так больше и не оправился. Не по сигналу сверху действовал В. Ермилов в 1947 году. Он сам сигнализировал о вредоносности Платонова, клеветавшего якобы на нашу действительность. Это было добровольной — будем называть вещи своими именами — палаческой акцией критика. И далеко не единственной. В публикации Юрия Томашевского, помещенной в «Дружбе народов», приведены свидетельства о том, что уже в 1954 году В. Ермилов нанес удар по другому замечательному русскому прозаику, Зощенко. С горечью Михайл Михайлович писал тогда критику: «...Не следовало бы Вам теперь прикладывать руку к моей «безыдейной» литературе, и без того почти уничтоженной». Но В. Ермилов был не из тех, кого можно пронять жалостью, кто стыдился бить лежащего. Уже в пятидесятые годы, когда после десятилетнего перерыва были напечатаны стихи Бориса Пастернака, он

немедленно их разнес. В 1963 году, когда развернулась кампания против мемуаров Эренбурга, он поспешил включиться в нее. И вот об этом-то критике, никогда не расстававшемся с рапповскими замашками, нам рассказывают сказочку, что он пережил «решительный переворот». Когда же он произошел, и отчего это мы, читатели, не заметили его? Без тени стыда В. Кожинов говорит, что ближайший «соратник Авербаха», один из «немногих», печатно покаялся за свои давние статьи. Из каких же «немногих»? Рапповцев? В. Кожинов хорошо знает, что Авербах был уничтожен в 30-е годы. Как же можно было, зная это, заниматься такими постыдными сравнениями? Невелика доблесть в запоздалом осуждении своей разгромной оценки Заболоцкого, когда он всеми был признан классиком нашей поэзии, как и невелик был подвиг назвать ошибкой свою погромную статью о Платонове, победоносно возвращавшемся в литературу. Что оставалось в этих обстоятельствах делать В. Ермилову? Идти против течения? Это было противопоказано ему. Он всегда примыкал к победителям. Что касается Зощенко или Пастернака, то критик так и не пожалел, что принимал участие в их преследовании. И по одной-единственной причине. На их репутации тогда еще лежала тень неблагонадежности, не такая густая, как раньше, но все же тень.

Итак, что же мы видим? Бичующими словами хлещет В. Кожинов всех, кто не угоден ему в литературе и в критике. Но стоило ему заговорить об «одном из ближайших соратников Авербаха», за которым тянется длинный шлейф неблагоприятностей, как он из неумолимого прокурора обратился в милосердного адвоката, готового забыть все художества своего подзащитного: и его нападки на русский дух, и травлю Платонова, и топтание Зощенко, и многое другое в таком же роде. Чем же объяснить двухмерность оценок В. Кожинова?

Цель его в случае с В. Ермиловым состояла в том, чтобы любой ценой поправить положение последнего. В истории нашей литературы. И знаете почему? Да потому, что В. Кожинов «был хорошо знаком» с ним. А критик с геометрической четкостью поделил мир на своих и чужих. Своих он любит, жалеет, приподымает, нежит и холит. Чужих готов стереть с лица земли. Первые всегда хороши. В согласии с поговоркой: не по хорошу мил, а по милу хорош. Вторые всегда плохи. Не потому, что плохи, а потому, что чужие. Чужие же хорошими быть не могут. Потому, что никогда не могут ими быть. Чем не логика? Ничего не скажешь, логика, и очень даже хорошо знакомая.

Я думаю, что...

Один из чужих для В. Кожина — Юрий Трифонов. Критик давно не жалуется на него. Надеюсь, я еще найду случай высказаться по поводу всей совокупности обвинений, какие критик обрушивает на покойного писателя. Сейчас же стоит обратить внимание на один характерный пассаж статьи В. Кожина. Говоря о В. Астафьеве, он находит нужным сказать: «...Его сознательная жизнь началась в 1930-х годах не в каком-нибудь «доме на набережной», но на краю света, в Игарке, куда он был ребенком этапирован вместе со своей быстро таявшей семьей как «внук кулака». Слова про «дом на набережной» — это удар по Ю. Трифонову. Сердце сжимается, когда читаешь о том, что пришлось вынести в детстве В. Астафьеву. Но разве Ю. Трифонов был огражден «домом на набережной» от горя и бед? Ему было двенадцать лет, когда арестовали и расстреляли его отца, когда в концлагерь была отправлена его мать. Он рос, вставал на ноги с клеймом сына «врага народа». И в Литературный институт путь был бы ему отрезан, не скрой он при заполнении анкеты, что случилось с его родителями. Когда факты вышли наружу и стало известно, что отец и мать Ю. Трифонова были репрессированы, а он утаил это, ему, уже после получения Сталинской премии за «Студентов», закатили персональное дело со всеми вытекающими из такого рода мероприятий последствиями. В. Кожин прекрасно осведомлен о том, какой смерч пронесся над трифоновской семьей в 1937 году. Как же ему не совестно было кощунственно сталкивать биографии двух писателей, каждая из которых отмечена трагическими потрясениями? Одного горемычного паренька ему, видите ли, жаль, а другого такого же — ни капельки. Над этим другим он с помощью первого (не спросая его) злорадно глумится. В. Кожин — приверженец особого вида гуманизма. Он адепт гуманизма узкой специализации. Гуманизм распространяется только на тех, кого он зачислил в разряд своих. Если В. Кожин может претендовать на лавры первооткрывателя ребусизации, то приоритет в гуманизме узкой специализации принадлежит не ему. Этот «гуманизм» стар, как мир. Его четко выразил дикарь, который, по словам русского философа Владимира Соловьева, «на вопрос о добре и зле отвечал: добро — это когда я отниму у соседей их стада и жен, а зло — когда у меня отнимут».

Урезанная радуга

О судьбах новаторства в нашей литературе

Я думаю, что сегодняшней литературе очень недостает смелости.

Не политической, а именно творческой смелости — готовности к эксперименту и риску, самостоятельности в выборе путей и средств, яркой новизны и естественной сложности, высокой веры в бесконечные возможности художественного слова.

Я думаю, что без этих качеств работающие сегодня писатели не многого достигнут и в обретении социальной правды, в поисках духовной истины, ибо творческая робость, вялость, подражательность и иллюстративность всегда были и будут вольными или невольными спутницами и союзницами лжи.

Хочется предельной ясности — поэтому сразу раскрою смысл несложной метафоры, вынесенной в заглавие статьи. Солнечный свет, кажущийся нам предельно простым и вызывающий в нашем глазу ощущение в цветовом отношении нейтральное, на самом деле являет собою сложное по спектральному составу излучение. Иногда мы

наблюдаем его в виде радуги, каждый из цветов которой естествен и необходим.

Будем считать светом искусство, литературу, а цветами радуги — образующие спектр литературы и искусства направления, творческие тенденции, индивидуальные стили. Представим, что один из цветов — скажем, самый крайний, фиолетовый, — нас раздражает. Попробуем его устранить. Не знаю, можно ли это сделать с точки зрения физики и во что тогда превратится радуга. Но знаю, что в литературе и искусстве это сделать иногда удавалось. Такая операция приводила к смазыванию всего спектра и торжеству одного цвета — серого.

Что же я разумею под фиолетовым цветом?

Новое, по-настоящему новое слово в искусстве. Новое настолько, что оно не может не вызвать недопонимание или просто непонимание, раздражение или протест. Готовность художника в своих поисках вступить в спор со здравым житейским смыслом во имя обретения новых ценностей более высокого и сложного порядка. Способность художника обогатить искусство не только ценным материалом, не только сверхзлободневными или запрещенными прежде темами, фактами и проблемами, но и принципиально новыми способами их образного, композиционного и словесного претворения. Преобладание эстетической энергии произведения над его непосредственно-информационной насыщенностью. Отчетливая, порою демонстративная непохожесть авторского языка и стиля на поэтику текущего потока, на среднестатистические нормативы.

Как же это все называется? Я бы с удовольствием предпочел неотчетливой метафоре строгий термин. Однако все терминологические эквиваленты для милого моему сердцу фиолетового цвета столь угрожающи, что напоминают статьи уголовного кодекса. «Авангардизм», «модернизм», «формализм» (иначе именуемый «формальным поиском»), «художественный эксперимент» — все эти понятия у нас трактуются исключительно негативно. Заглянем в наш энциклопедический словарь: «Авангардизм — движение в худ. культуре 20 в., порывающее с существующими нормами и традициями, превращающее новизну выразит. средств в самоцель. А., тесно связанный с модернизмом, отражает анархич.-субъективистское индивидуалистич. мировоззрение». Ну и так далее. Как, скажем, быть в нашей ситуации критику очень дерзкой книги или рецензенту сверхнеобычной рукописи? Ведь обозвать автора авангардистом — это медвежья услуга на грани доноса. «Авангардист» — один из синонимов к популярному у нас в застойные годы словечку «диссидент». С такой характеристикой если и не дадут срок, то не напечатают уж

точно. У нас пока самый отчаянный искатель новых путей нуждается в справке о благонадежности, то бишь реалистичности, — иначе никакого ходу.

Если ж всерьез — досадно, что термины у нас превращены в ярлыки и клейма. Недаром же академик Д. С. Лихачев в ответ на постоянное поношение авангардизма запальчиво воскликнул в одной журнальной беседе, что самым характерным авангардистом он считает протопопа Аввакума! По такой логике «авангардистами» предстают и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой. Ведь каждый из этих великих шел впереди своего времени, ломал привычные эстетические и языковые нормы. Но боюсь, что логика Д. С. Лихачева, как и моя стопроцентная готовность к ней присоединиться, слишком наивны и беззащитны перед идеологически изоцированной «новоречью» тех «кругов», где из безопасной и односторонней борьбы со всяческими «измами» изготавливаются надежные диссертации и делаются прочные карьеры.

В этих кругах жонглирование терминами и словами ведется на уровне, недоступном для непосвященных. Здесь невиннейшим по исходной сути словам придается тревожно-криминальный смысл. Почему плохи авангардизм, модернизм (от латинского «modernus» — «современный»), формализм и прочее? Разве зазорно идти в авангарде, быть современным, заботиться о совершенстве формы (особенно служителям муз)? «Там» ответят: в авангарде идти можно, но строим, и ни в коем случае не опережая начальство. Современность хороша, но в соответствии с имеющимися установками. Форма, конечно, неотделима от содержания, но содержание все-таки важнее. Ведь совсем же как в оруэлловском «Скотном дворе»: все животные равны, но некоторые «равнее» других. То же циничное двоемыслие, но почему-то в художественной сфере мы его раскусываем очень медленно. И застой эстетический оказывается наименее выявленным из всех видов застоя.

Впрочем, спорить с бюрократическим сознанием не берусь: бесполезно переубеждать тех, кто ни в чем никогда убежден не был. Нашим чиновникам, сидящим «на искусстве», «на литературе», «на науке», и искусство, и литература, и наука, как говорится, до лампочки. В этом их непобедимая сила. Ибо тот, кому что-то дорого, всегда проигрывает в поединке с тем, для кого это «что-то» служит лишь средством. Они всегда согласны — вспомните библейский сюжет — разрубить младенца, и, чтобы спасти хрупкое тельце культуры, мы им опять уступим. А они, вооруженные непробиваемым двоемыслием, будут действовать по погоде. Пока на дворе солнышко, они делают приветливые лица и готовы «отчитаться», что у нас на-

ряду с реализмом процветает и авангардизм (особенно если такую сценку надо будет разыграть перед Западом). Но как только вновь похолодает и надо будет на ком-то отыграться за нелады с хозрасчетом и перебои с продовольствием, не станут ли наши функционеры взваливать всю вину на разгул демократии и козни плюрализма! И не придется ли один из первейших ударов на непонятные картины и замысловатые стихи? Было ведь уже такое, было.

Нет, не с ними разговор. И не с теми, на чье бескультурье и невежество бюрократы умело опираются. Хочется поговорить, что называется, без дураков. И тут мне видится некоторый обобщенный образ того культурного Оппонента, к которому я обращаюсь.

«Знаете ли, голубчик, — доверительно и мягко говорит мне Оппонент, — я вообще не люблю всякого рода новаторства, авангардизма, словом — всякого выпендрежа в искусстве. В этом отношении я, уж извините, консерватор».

Отчего же не извинить мне моего симпатичного собеседника — тем более что он человек вполне достойный и порядочный. Литературу любит без притворства, умеет разговор украсить «вкусной» и нетривиальной цитатой. Уж он-то не припишет Баратынскому хрестоматийных тютчевских строк, как это могут сделать сегодня иные рьяные защитники национальных святынь. И новаторское искусство осуждает не «заочно», как многие, а зная его, так сказать, в лицо. Малевича не спутает с Кандинским и Шагалам и не зачислит в эмигранты. Будучи человеком культурным и терпимым, не обзовет «Черный квадрат» Малевича дорожным знаком, как это недавно сделал И. Глазунов. Да и про самого Глазунова хорошо помнит, как тот вышел на орбиту именно в качестве авангардиста, а потом уже перешел к ведомственным портретам и многофигурным композициям, репродукции с которых хорошо идут сегодня вместо прежних ковриков с лебедями — у того же потребителя.

И главное — «консерватором» себя он называет с лукавой иронией, поскольку он настоящий либерал и прогрессист. Не лез в начальники, не клеймил позором — наоборот, еще и подписывал письма в защиту. Какие-то неприятности у него были точно, и со своей позиции он не сошел. Попробуй в споре с ним претендовать на позицию более прогрессивную — ты же в дураках и окажешься. Правда, Набоков где-то говорил, что российские политические прогрессисты ужасно консервативны в плане эстетическом. Но это сложное умственное построение он там придумал, *здесь* же позиция каждого литератора измеря-

ется только по шкале социального радикализма, остальное — от лукавого.

В общем, остается допить кофе и разойтись восвояси. Но мне все-таки хочется как-то выйти на диалог. Я нервно ищу какое-то заветное общее слово, достаточно веское для Оппонента. Да, вот оно: культура. Сегодня наш пароль — культура. Теперь-то он не уйдет от принципиального разговора. Я начинаю говорить о том, что *экология культуры* (сочетание, кажется, почти неотразимое) предполагает уважение к разным художественным языкам, в том числе и заумным, невнятным, иррациональным, что профессионал, труженик культуры (а мой Оппонент — это чаще всего критик, литературовед) просто обязан вникать в самые непривычные художественные системы и понимать их, видеть их место в общей картине. Консерватизм, чрезмерная приверженность к золотой середине и апробированной традиционности — это в какой-то степени недостаток культуры.

— Культуры? Но не ваши ли любимые авангардисты как раз культуре себя и противопоставляли? Не они ли тужились сбросить классику с корабля современности? Разве не кричал Маяковский в 1918 году: «А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы? Время пулям по стенке музеев тенькать. Стодюймовками глоток старье расстреливай!» Или еще: «А почему не атакован Пушкин? А прочие генералы классики?» И не авангард ли так упорно выступал против искусства как такового, пытаюсь подменить его то дизайном, то «литературой факта», то «социальным заказом»?

— На это я вам отвечу, что любóго художника, любое художественное направление все же надлежит оценивать не по декларациям и манифестам, а по реальному вкладу в искусство, в сокровищницу его ценностей. Ведь не раз бывало так, что отрицание поэзии высказывалось в замечательных по выразительности, в подлинно поэтических строках. А что касается приведенных вами строк Маяковского, то, конечно, они и сегодня звучат раздражающе, а уж тогда-то они напугали даже благосклонного к новаторам Луначарского, и он отчитывал Маяковского за «разрушительные наклонности». Маяковский ответил новыми стихами:

Мы
не вопль гениальничания —
«Еще дозволено»,
мы
не призыв к ножовой расправе,
мы
просто
не ждем фельдфебельского

Я думаю, что...

«вольно!»,
чтоб спину искусства размять,
распрямить.

Кто сегодня возьмет на себя смелость распрямить спину искусства? Фельдфебели самых последних призывов оказались очень удачливыми в выстраивании творческих работников по стойке «смирно». Но я отвлекся, а надо тут еще привести замечательную заметку от редакции газеты «Искусство коммуны», которая, поддерживая Маяковского, вежливо разъясняла наркому смысл «разрушительных» метафор: «Ни один современный критик не решился бы утверждать, что Пушкин в своем стихе «Глаголом жги сердца людей» призывает поэта какими-либо горячими материалами жечь сердца своих близких». Напоминание нелишнее и для нашего времени. Ибо культура должна быть терпимой и всепонимающей, умеющей без обиды сносить даже отрицание культуры, если такое отрицание сопровождается созданием нового, приумножением ценностей.

— Не знаю, как насчет приумножения. Все-таки вы не станете отрицать, что авангардистское искусство тесно смыкалось с ультраревOLUTIONИОННЫМИ тенденциями, охотно сотрудничало с официозом. В общем, ваши новаторы довольно удачно устроились в той социальной ситуации — в то время как традиционалисты либо оказались в эмиграции, либо были обречены на молчание и забвение.

— Сложнее все обстояло. Такой матерый реалист, как Алексей Толстой, например, в 1937 году зарабатывал на хлеб, воспевая Сталина в «Хлебе», да и «Хождение по мукам» сегодня мы не назовем образцом социальной правдивости. А «модернист» Мандельштам... В общем, что там говорить. Думаю, ни вам, ни мне не нужна схема, изображающая традиционалистов гордыми и независимыми рыцарями, а новаторов приспособленцами — точно так же, как наоборот. Тут к каждому случаю надо подходить индивидуально.

Что же касается взаимоотношений авангарда с революцией и последовавшими за ней социальными преобразованиями... Понимаете, тут тоже зависимость не элементарная. Тут прежде всего *созвучие* бури социальной и творческого мятежного духа. Художественному новаторству всегда присуща некоторая утопическая наивность, желание принять участие в жизнестроительстве, приложить к нему свои стилевые открытия. Бывает, что в своих художественных исканиях новатор уходит далеко вперед, заходит дальше любых социальных революций — таков путь Хлебникова. В других случаях художественная утопия сама перерастает в трагическую антиутопию, как у

Филонова, Заболоцкого, Платонова. А бывает, мечтательное конструирование оборачивается романтическим одиночеством, безысходностью — «точкой пули» Маяковского. Так что едва ли стоит поддерживать новейший миф о засилье авангардистов в официальных культурных инстанциях послереволюционных лет. Достаточно быстро их оттуда выкорчевали. И уж совсем нечестно приписывать таким художникам, сгоревшим в костре сталинизма, как Мейерхольд, участие в разжигании этого костра.

Пути искусства и политики, конечно, пересекаются и переплетаются, но все-таки это два пути, а не один. Блок говорил в предисловии к «Возмездию» о «нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики». Про нераздельность мы все хорошо помним, а вот о «неслиянности» забыли начисто. Отсюда взгляд на наше искусство начала века как на «кризис», «крушение» и прочее. Но на исходе столетия пора наконец понять, что новаторский художественный поиск первой четверти XX века, смелые эксперименты предреволюционных и первых послереволюционных лет — это гордость нашей культуры. «Испепеляющие годы» ознаменовались созданием грандиозных ценностей — и национального, и общечеловеческого масштаба. Символизм, акмеизм, футуризм, утверждавшиеся в полемике с классикой XIX века, в общекультурном итоге слились с нею. Выработанной ими новаторской энергии надолго хватило.

И главное свойство литературы и искусства этого времени — многообразие течений и направлений, прелесть творческого плюрализма. А авангард в этой культурной системе выполнял необходимую роль закваски, роль дразнящую и стимулирующую. Бунин мог сколько угодно ругать Блока, но именно в такой атмосфере борьбы, острой конкуренции со стороны «декадентов» он сам сформировался не как эпигон прошлого века, а как виртуоз пластичного слова — и в поэзии, и в прозе. У нас ведь чуть что — начинают «оправдывать» художника: дескать, отошел от своей школы, преодолел ее. Возьмем хотя бы такую отнюдь не самую могучую авангардистскую школу, как имажинизм. «Есениноведы» наши только и делают, что «смывают» с имени и репутации Есенина имажинистскую печать. А зачем? Ведь Есенин немыслим без своих замечательных «имажей», без месяца, роняющего весла по озерам, без «розы белой с черной жабой». И как грустно смотреть на нынешних подражателей Есенина, молодых и немолодых, которые имитируют его почерк, избегая «выкрутасов». Нет, без розового коня на есенинскую дорогу не выехать. И сколько раз ни выступят на ежегодных однообразных праздниках в Константинове наши стихотворцы-«тради-

ционалисты», к Есенину они не приблизятся ни на вот столько.

Ультрафиолетовое излучение авангарда помогло прорасти самым разнообразным художественным цветам. Вспомним замечательный творческий ансамбль «Серационовых братьев», где в радуге талантов каждый обладал своим цветом, где мужественная романтика Тихонова уживалась с иронически-раздвоенным зощенковским сказом, фабульная фантастика Каверина — с психологическим рисунком Федина (не надо забывать, что Федин был настоящим писателем, пока его не стубили чины и знатность), где, наконец, творческий клич Льва Луцка «На Запад!» ничуть не мешал Всеволоду Иванову упрямо двигаться на Восток. Своею разностью «серационы» были друг другу интересны, а объединял их дух новаторства, понимание того, что в карете прошлого далеко не уедешь.

Творческий авангард как таковой никогда не претендовал на какую-то командную или привилегированную роль в обществе. Дерзко и беспощадно споря с традиционалистским пониманием творчества, никого не хотел «устранить» или «ликвидировать». А вот с самими новаторами нередко управлялись с помощью ГПУ и НКВД. Вспомним трагическую судьбу обэриутов: какой ценой заплатили они за свою раскованность и веселость! Причем репрессивные меры против этих нарушителей традиционных приличий начались задолго до гибели Введенского, Хармса и Олейникова, до отправки Заболоцкого на каторгу. Введенский и Хармс ссылались в Курск еще в 1931 году.

Но об обэриутах я вспомнил не в связи с их трагической судьбой, а потому, что их объединение явило яркий образец творческого плюрализма *внутри* литературного течения. Называя себя «новым отрядом левого революционного искусства» (без всякого, конечно, политического смысла), обэриуты вместе с тем и самих себя подразделяли на «левых» и «правых». В статье «Поэзия обэриутов», написанной от имени всей группы Н. Заболоцким, сказано: «...Полагают, что литературная школа — это нечто вроде монастыря, где монахи на одно лицо. Наше объединение свободное и добровольное, оно соединяет мастеров — а не подмастерьев, художников — а не маляров. Каждый знает самого себя, и каждый знает, чем связан с остальными». И далее Заболоцкий обрисовывает спектр индивидуальных особенностей своих товарищей начиная с Александра Введенского и говоря о нем: «крайняя левая нашего объединения». Понимаете? Мы-то сегодня о «левом» и «правом» началах только в политическом смысле говорим, а у них шла речь о направлениях творческого поиска.

Введенский из всех обэриутов был наиболее иррационален, последователен в высвобождении от пут житейской логики. Более логичный и склонный к мотивированности образов Заболоцкий себя ощущал «правым». Но обэриутской школе в равной мере нужны были и тот и другой векторы. Они и «чужих» не желали по себе кроить, и «своих» дифференцировали, близнецами быть не хотели.

Для авангарда все-таки главная единица творческого процесса даже не течение, не группа, а — творческая личность, единственный в своем роде талант. Поэтому и не спутаешь Кандинского с Малевичем, но так легко спутать Лактионова с Шиловым (только в мебели да в ширине пиджачных лацканов перемена). При всей своей любви к технике, конструированию и дизайну авангард — решительный враг стандарта и унификации. Независимо от конкретных политических позиций отдельных художников-авангардистов, русский авангард был мощной духовной антитезой набиравшему силу тоталитаризму.

Поэтому он и был ликвидирован в ходе сплошной коллективизации литературы и искусства, покончившей с творческим плюрализмом. Историкам литературы еще предстоит честно разобраться в этой хитрой сталинской акции. Но уже сегодня ясно: нельзя больше держаться за старый миф о том, что торжество принудительно-усредненного «реализма» было большим благом, что наша литература развивалась, «несмотря» на групповые споры и «благодаря» партийно-государственному руководству. Как раз *несмотря на руководство*, несмотря на сталинско-ждановский террор, она выстояла и во многом — благодаря тому культурно-творческому опыту, который был накоплен разными литературными группами. РАПП формально прикрыли (слишком уж прямолинейны были его вожди в утверждении административных методов), но кончилось все еще более глухим РАППом: разве Жданов намного лучше Авербаха? Согнать всех писателей (и художников, и композиторов) в одну казарму — это был ход тонкий и коварный, сущность и последствия его еще не осознаны нами. Ведь последствия-то до сих пор дают о себе знать. И прежде всего — в отсутствии у большинства современных профессиональных литераторов каких-либо *творческих убеждений*. Я имею в виду не позицию насчет поворота рек или повышения цен, а художественную программу, творческое отношение к слову, самоопределение в жанровом, стилевом отношениях. Здесь преобладающей позицией является бесхребетность и расслабленность.

Мы с вами хорошо знаем, кто у нас левый, кто правый, кто «центрист» в литературно-политических схватках. А если посмотреть так, как это делали в двадца-

тые годы, где у нас левая, где правая сторона в художественных исканиях? Многие наши профессиональные литераторы по этой модели просто не могут быть квалифицированы, они просто не дотягивают до такой эстетической характеристики, оставаясь ни слева, ни справа, а в однообразно-непроходимом болоте.

Споры у нас сейчас стало больше, и это, конечно, хорошо. Но творческих споров как не было, так и нет. Вопрос — как писать? — почитается довольно праздным. Писать надо попроще — в этом сходятся столь полярные в идеологическом отношении критики, как, к примеру, Ст. Рассадин и В. Кожин, в равной мере не переносящие «выпендрежа» и сходящиеся в неприязни, скажем, к Ахмадулиной или Вознесенскому.

Как в этой ситуации говорить о разных векторах художественного поиска, о «левом» и «правом» в творческом смысле искусстве! Вопрос о «левом» (то есть новаторском) искусстве у нас, похоже, «закрыл» Василий Федоров своим глубокомысленным стихотворным пассажем: «Мы спорили о смысле красоты, и он спросил с наивностью младенца: «Я за искусство левое. А ты?» — «За левое, но не левее сердца». Многие любят это цитировать с победоносным видом. Что тут возразить? «Не левее сердца» — не более чем метафора. И, похоже, это тот случай, когда метафора лишена глубокого смыслового обеспечения...

Да, заметьте, такое обыденное недоверие к «левому» искусству, такая неприязнь к новаторству особенно культивируются в среде литературной. Боюсь, что при всей своей любви к архитектуре, к музыке, к кино Иосиф Виссарионович с Андреем Александровичем наибольших успехов достигли все же в руководстве искусством слова, в командовании инженерами человеческих душ. Скажем, ведь кинематографисты своего Тарковского и в чернейшие времена считали вершиной киноискусства, а не только киноавангарда. Да и теперь малопонятный большинству Сокуров, самый «ультрафиолетовый» режиссер наших дней, занял свое неоспоримое место в радуге киностилей. А в музыке? Все-таки обозвать «выпендреем» творчество А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной уважающий себя профессионал уже не рискнет. Конечно, их отнюдь не все понимают и любят, но активная нелюбовь к композиторам-авангардистам со стороны музыкального критика уже будет признана свидетельством недостаточно развитого вкуса. И только в мире словесности безыскусность, незатейливость почитается главной, если не единственной мерой положительной эстетической оценки. Большая часть наших критиков до сих пор числят в иррацио-

нальных «заумниках» Вознесенского, недолюбливают за якобы «оригинальничанье» Ахмадулину и Мориц — при всем том, что стихи этих трех поэтов в общем-то свободны от логической «запутанности» и «авангардистами» их можно считать не в большей степени, чем «традиционалистами». Если ж взять творчество наиболее последовательного максималиста словесного поиска — Виктора Сосноры (именно его стихи типологически сходны с киноязыком Тарковского), то нашей критике оно оказалось решительно не по зубам, и критика отделяется от него либо молчаливым, либо претензиями, весьма напоминающими незабвенную формулу «сумбур вместо музыки». А как встретили наши литераторы своих Сокуровых, то есть Ивана Жданова, Алексея Парщикова, Александра Еременко? Вам не приходило в голову, что это просто некультурно — не понимать стихи Сосноры, отвергать с порога Парщикова и Жданова? Ведь культура — от слова «colere» — возделывать. Почему же вы так бережете свое эстетическое восприятие от острого плуга необычного поэтического слова?

Оппонент морщится:

— Знаете, когда я читаю подобные вещи, я всегда думаю, что все это уже было в двадцатые годы. И было гораздо лучше. Так что я уж скорее готов принять тогдашних авангардистов, хотя они мне и не очень симпатичны.

— Что значит «уже было»? Ямб «уже был» задолго до Пушкина, но вы его этим корить не станете. В искусстве существуют какие-то неизбежные переключки, исторически повторяющиеся закономерности. В конце концов, авангард двадцатых годов заложил основы новой традиции, которая продолжает жить, несмотря на все гонения и препоны. Если уж на то пошло, мы сейчас и в экономике, и в науке пытаемся возродить многое из того, что «уже было» в начале века и «еще было» в первые послереволюционные годы. А считать, что тогдашний авангард был «лучше», — это, извините, слишком легкодоступная модель мышления, для этого никакой самостоятельности не требуется. Сегодняшнее новаторство оценить и принять куда труднее, поскольку рядом с талантами непременно топчутся какие-нибудь псевдоавангардисты. Но вот что особенно меня удивляет. Появился Жданов — «это уже было у Мандельштама», появился Еременко — «это уже было у обэриутов». Но ведь чтобы выйти на связь с Мандельштамом или обэриутами, нужны и талант, и смелость, и нетривиальность личности. В то же время про абсолютное большинство молодых стихотворцев можно сказать с полным основанием: это уже было у Старшинова, или Цыбина, или еще кого-нибудь в этом роде. И

Я думаю, что...

такое сходство со славными предшественниками никогда не считается криминалом.

А как доставалось и достается у нас тем немногим, буквально единичным критикам, которые пытались разобраться в исканиях молодых авангардистов, оценить их творчество не неотразимым «не ндравится», а при помощи более тонких теоретических и историко-литературных аргументов! Я имею в виду прежде всего К. Кедрова и М. Эпштейна, удостоенных в нашей прессе ярлыков не менее выразительных, чем персонажи их статей. Может быть, Кедров и Эпштейн несколько перестарались в терминологическом творчестве: «метаметафора», «метареализм», «метабола», «презентализм»... «Заколдовать» новое явление новым термином — путь слишком легкий, гораздо труднее объяснить непривычное простыми и знакомыми словами (как это, к примеру, делал Ю. Тынянов в «Промежутке», осмысляя опыт Хлебникова, Пастернака, Мандельштама). Как раз в научной терминологии, я думаю, традиционность имеет больше прав, чем новаторство. Но дело в том, что на защитников авангардизма пошли штыковой атакой их гораздо менее ученые коллеги, не обремененные греко-латинской грамотой и едва ли умеющие правильно перевести на русский язык даже единичный префикс «мета», а уж тем более удвоенный!

Малейшее подозрение в симпатии к авангардистам влечет для критика неприятные последствия: это ощутил на себе, например, С. Чупринин, хотя достаточно просто почитать статьи этого автора, чтобы убедиться: «неоклассик» Геннадий Русаков ему гораздо ближе, чем «неофутурист» Геннадий Айги, а Т. Бек и М. Поздняев вызывают у него бо́льшую симпатию, чем Парщиков и Жданов. Помню, как мы с С. Чуприниным по-разному оценили «непонятные» стихи молодых в литгазетовской дискуссии 1984 года: он стоял — в общем — за понятность, я утверждал, что чрезмерная доходчивость чревата вырождением художественного начала. Думаю, долго еще нам спорить предстоит на эту важную для поэзии и интересную для критики тему. Но главное вот в чем: С. Чупринин, придирчиво и осторожно оценивая достижения смельчаков, признаёт необходимым включить их в общую картину поэтического процесса, считая, что без этого цвета спектр литературы будет неполным, искаженным. И вот это-то естественное стремление к объективности, к реальному плюрализму особенно раздражает убежденных апологетов бесцветности. Ибо усредненность, бездарность особенно отчетливо обнаруживают себя на фоне поэтических «крайностей» и экспериментальных «загибов». Серость, притворяющаяся традиционностью, прежде всего заинтересована

в устранении самых непривычных явлений и имен, бросающих требовательно-тревожный ответ на всех своих соседей по литературной современности.

Тут я хочу перевести разговор в план литературной социологии и сказать об основных «механизмах торможения», четко «перекрывающих кислород» поэтическому новаторству и теперь, когда цензурные условия стали более благоприятными. Это, во-первых, средние стихотворцы, выступающие в роли редакторов и внутренних рецензентов: ни для кого ведь не секрет, что большой талант в редакторском кресле усидывается редко и в лучшем случае ненадолго, рецензирование также не принадлежит к числу любимых занятий любимцев муз. «Пропустить» в печать авангардиста для стихотворца-функционера означает подвергнуть сомнению свой собственный реальный масштаб и вообще факт собственного присутствия в отечественной поэзии.

Во-вторых, это балующиеся стихотворством критики и балующиеся критикой стихотворцы. Среди убежденных противников авангардизма немало средних и слабых поэтов, которые, не добившись взаимности у музыки, компенсируют неудачу в страстных статьях, где нестандартным своим собратьям «выдают» в первую очередь. А балующиеся версификацией литературоведы и критики — вот загадка! — свою эрудицию используют довольно странным образом и из всех известных им стилей и приемов мировой словесности почему-то выбирают для себя самых наиболее штампованные и безжизненные (есть, конечно, исключения, но я сейчас говорю о преобладающей тенденции). Ясно, что, оценивая чужие стихи, им приходится невольно сравнивать их со своими... Мартин Иден в известном романе Джека Лондона с досадой восклицал, что все критики и редакторы — неудавшиеся поэты. Мне это раньше казалось полемическим преувеличением, но с годами я вижу, что у нас таких неудачников по большому счету (нередко весьма удачливых по счету житейскому) вполне достаточно, чтобы свернуть голову нарождающемуся новаторству в масштабе всей страны.

И если им не сладить с теми, кто был «пропущен» еще в прошлую оттепель и ныне хорошо «защищен», то уж с молодыми... Вся наша система творческого «воспитания» — от школьных литературных кружков и массовых литобъединений до помпезных всесоюзных совещаний — предполагает неперемнное устранение стилевых крайностей. «По себе выбирает», — сказал мне как-то один поэт (настоящий поэт, замечу, и — редкий случай — довольно великодушный к непохожести) о своем малоталантливом коллеге, охотно дающем на всяких семинарах зеленую

улицу бездарям и сразу же зажигающем красный свет перед малейшим намеком на новаторство. Не здесь ли одна из корневых причин того, что таланты авангардистского склада у нас успешно ликвидируются на уровне чуть ли не эмбриональном? С какой болью читаешь детские стихи в случайно попавшейся на глаза «Пионерской правде» или каком-нибудь журнальчике: так и чувствуешь здесь уродующую руку взрослых наставников, литературных компрачкосов, выпрямивших неповторимый изгиб интонации. Заставлять детей воспевать «покорение природы» и Брежнева — дурно, это мы поняли. А загонять первый сбивчивый стих в шаблон правильного размера, усекать нелогичные образы и суждения — это разве менее губительно?

Так что это даже удивительно, что в условиях такой железной *эстетической цензуры* на всех уровнях у нас уцелели Жданов и Парщиков, Еременко и Кутик, Кривулин и Елена Шварц, что появляются новые рыцари слова, не спрашивающие у старших товарищей, как писать, а сами выбирающие форму и вместе с нею содержание. Называют их по-разному, и сами ярлыки показательны. До какой же всеобщей эстетической неграмотности надо было дойти нашему литературному люду, чтобы обозвать нестандартную молодежь «метафористами»! Со времен Аристотеля умение создавать метафоры считалось непременным свойством поэтического таланта. «Метафористами» были Данте и Шекспир, Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Фет. Понимают ли «антиметафористы», что они тем самым себя самих выводят за пределы поэзии?

А есть еще лучше ярлычок — «нонконформисты». Двадцать с лишним лет назад М. Гус пытался «пришить» дело о пресловутом «нонконформизме» В. Лакшину, но в итоге был осмеян своей жертвой, резонно разъяснившей, что сие заморское словечко означает «неприспособленчество». Тогда речь шла о терминологии социально-нравственной, теперь имеется в виду «нонконформизм» эстетический. Но понимают ли *остальные* молодые поэты, далекие от новаторских «заскоков», что они оказались в положении конформистов, то есть приспособленцев? Пусть приспособленцев эстетических — для художника это совсем не легко.

А ведь и то сказать: за пределами того круга «недобитых» молодых новаторов, о которых шла речь выше, как-то не удастся обнаружить мало-мальски значительный голос. Я внимательно слежу за всеми попытками критиков-«традиционалистов» найти убедительную альтернативу «нонконформистам», но все выдвигаемые кандидатуры — такая уж бледная немочь —

что со стороны «охранительных» литературных кругов, что из лагеря «прогрессистов». Вот ведь к чему приводит аллергия на новаторство! Между тем в стане «авангардистов» и свои весьма недурные традиционалисты есть — О. Седакова, например. Иначе говоря, ультрафиолетовый цвет за собою всю радугу тянет, чего не скажешь об «антиноваторах», пока правящих бал и в Союзе писателей, и в журналах, и в издательствах.

И хватит демагогии на темы «формального поиска»! Молодые авангардисты именно содержание новое принесли. На фоне бесчисленных элегий о малой родине (городской ли, деревенской — все равно), на фоне бесчисленных од армейским будням, на фоне жутко «однаобразных» пейзажей — появилась поэзия, которая заговорила о самом главном и самом страшном — об угрозе уничтожения мира. А. Адамович призывал к созданию «сверхлитературы», такой литературы, внутри которой уже разорвалась бомба. И она разорвалась — но там, где этого (как всегда!) меньше всего ждали, — в «элитарной» с виду поэзии. Взорвалась на уровне стиля, на уровне образной структуры. Жданов, Парщиков, Еременко пишут нам с третьей мировой войны (как, кстати, и Сокуров, раскрывший в «Скорбном бесчувствии» ту же самую тему):

Можно сделать парик из волос Артемиды,
после смерти отросших в эфесском пожаре,
чтобы им увенчать безголовое тело,
тиражировать шок, распечатать обиды
или лучше надежду представить в товаре,
но нельзя, потому что... И в этом все дело.

(И. Жданов)

Не желая, подобно конформистам стиля, любоваться готовой заемной гармонией, представлять «надежду в товаре», осмеянные авангардисты отважно берутся творить космос из самого страшного хаоса, из грядущего «шока» и вселенского пожара. Понятно, что привычно готовым языком такую задачу не решить.

А критике надо — хочет она этого или не хочет — этот новый язык постигать, переводить его на другие культурные языки. Ведь, по совести говоря, квалификация критика предполагает большую умственную и эмоциональную мобильность, чем у «рядового» читателя. А вышло так, что с «нонконформистами» наша критика в целом профессионально не справилась, они утвердились в читательском мире, несмотря на позицию строгих судей, которые в данном случае показали себя образцовыми эстетическими конформистами. И только ли эстетическими?

Двадцать с лишним лет нельзя было у нас писать

об Иосифе Бродском и даже упоминать его имя. Но учитывать его поиски и открытия при анализе современной русской поэзии — это кто ж запрещал? Читали же — что там притворяться — и «Остановку в пустыне», и «Конец прекрасной эпохи»... Но о том, чтобы перестроить, расширить свои эстетические представления и новым, обогащенным зрением скинуть поэзию подцензурную, — такой роскоши себе критика почему-то не позволяла. Кстати, таким способом и «нонконформистов» прочесть было бы сподручнее: они-то все формировались в присутствии Бродского, так или иначе на него ориентируясь. Понимаете, критика не всегда имела возможность высказываться на социально-политические темы, но творчески мыслить, быть движущейся эстетикой — этой «тайной свободы» у критики никто не отнимал и отнять не мог.

В поэтическом мире Бродского — множество традиционно-культурных пластов, избыток реминисценций. И все это не становится музеем, поскольку одушевлено стихией самодовлеющего, не ведающего никаких ограничений слова, внутренне близкого «самовитому» слову русского поэтического авангарда 10—20-х годов. Вот строки из стихотворения «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»:

У всего есть предел:
горизонт — у зрачка, у отчаянья — память, для роста —
расширение плеч.
Только звук отделяться способен от тел,
вроде призрака, Томас. Сиротство
звука, Томас, есть речь!

И еще:

Вот чем дышит вселенная. Вот
что петух кукарекал,
упреждая гортани великую сушь!
Воздух — вещь языка.
Небосвод —
хор согласных и гласных молекул,
в просторечии — душ.

Нет пророка в своем отечестве, и мы, как не раз показал опыт, нередко признаем пророками тех, кого уже вытолкали из Отечества: в эмиграцию или в могилу. Пока же, как говорится, волшебники живут среди нас, мы творимых ими чудес в упор не видим. Я возвращаюсь к разговору о Викторе Сосноре. Именно его творчество, по моему убеждению, являет для современной русской поэзии крайний предел словесного эксперимента, самое ультрафиолетовое излучение, по отношению к которому даже поэтический язык Бродского предстает, так сказать,

Слава Вам, кино-Конь! Пульт Петра, сталь-столица — теперь!
Что ж ты хочешь?

Ремонтируя душу, как овчарню храня от волчат,
Суздаль от Чингисхана, Плесков — от венчанья,
как от веча — Новград, как от чуда — Москву... Отвечай!
Отвечаю:

— Это самопародия. Ах, извините, люблю
эволюцию литер: «О» — «ЧА». Как бикфордов-свеча
нагораю...

Пальцы в клавиши, как окурки, вдавлю.
Не играю.

Здесь — очень индивидуальное ощущение трагизма российской жизни. Трагизма рокового — и вместе с тем высокого. Здесь и боль за человека, за «бедного товарища», равно униженного жизнью и в тринадцатом, и в двадцатом веке. И тема эта развивается не декларативно, а музыкально, симфонически. Чтобы передать, как «музичирует время», поэт извлекает энергию из самых глубин русского языка, продолжая хлебниковскую работу осмысления корневых созвучий, создавая свободный от обыденной логики синтаксис. И свободный стих, — свободный настолько, что верлибр здесь то и дело чередуется с метрически регулярным стихом, безрифменные строки — с рифмованными. Этим Соснора резко отличается от тех нынешних «верлибристов», которые боятся сделать шаг в сторону от верлибра. Для Сосноры ритм — не «художественное средство», а само содержание, непосредственное выражение чувства. Потому-то он так решительно завершает стихотворение словами: «Не играю».

Перед нами не ребус, подлежащий расшифровке, а эмоциональный ток, который нужно вобрать в себя, пропустить через свою читательскую душу. Тут надо не по словечку и не по строчке мусолить, почему так сказано, а не сяк, почему, допустим, фальконетовский монумент назван «кино-Конь» и «пульт Петра», — тут надо уловить строй всего авторского языка. Стих, как говорил Тынянов, — это «человеческая речь, переросшая сама себя». Ни к кому из ныне работающих русских поэтов это определение не приложимо в такой степени, как к Сосноре. Вот оно, последнее слово современного языкотворчества. Понимаю, что многие — особенно профессиональные критики, пишущие о проблемах поэзии, — таких нестандартных стихов не любят. Соснора — космонавт слова и стиха, а у большинства на таких высотах сразу кружится голова, и им милее летать поближе к земле — скажем, вместе с В. Соколовым, О. Чухонцевым, В. Корниловым, пишущими просто, не выходящими за пределы «нормальной» речи и добропорядочного набора привычных, проверенных рит-

мических конструкций. Но не грех ведь хотя бы поинтересоваться, какие в нашей поэзии крайности существуют. Отсюда, может быть, отчетливее увидятся и какие-то черты поэтики «середины», столь любезной нынешним критическим сердцам. Но нет, не утруждают себя критики изучением ни на кого не похожего поэта, хотя и по вышедшим в СССР его семи книгам могли о нем составить какое-то представление. Вспоминается оригинальный по замыслу венок «критических сонетов» Л. Аннинского, где изображены четырнадцать ведущих стихотворцев, рожденных между 1929 и 1941 годами. Сосноры там нет, зато, например, обнаруживаем «настоящего поэта потерянного рая». Попробуйте угадать — кто это? Все равно не сумеете — Владимир Фирсов. Конечно, у каждого критика своя радуга, свой чертеж спектра современной поэзии, но я, простой человек, никак не могу понять: зачем выдумывать какую-то «поэтику» для тех, у кого ее нет, оставляя без внимания поэтику реально существующую, резко индивидуальную, по поводу которой Л. Аннинский, я уверен, мог бы сказать слово нетривиальное и содержательное?

Ну ладно, бог с ней, с критикой, но ведь сами поэты что-то непоправимо теряют, когда игнорируют эксперименты своих коллег-«нонконформистов», отрециваются от их сложных поисков. Когда-то меня удивило, что Евгений Евтушенко, довольно щедрый в оценках творчества своих товарищей, обрушился на стихи Сосноры о Древней Руси, вступив в полемику с высоко оценившим эти стихи Д. С. Лихачевым. А потом постепенно стало ясно, что неприятие экспериментальных крайностей для Евтушенко — принципиальная позиция. Но оказалась ли она творчески плодотворной? Сегодня очень веско звучат прозаически-публицистические выступления Е. Евтушенко, и я, например, от всей души поддерживаю его атаки на «кабычегоневышлизм» и на «притерпелость». Но поэтического эквивалента своему публицистическому пафосу он, как ни горько, не обрел и в области стиха и стиля уже два десятилетия прочно стоит на месте. Может быть, приоткройся Евтушенко внимательнее к необычным словесным построениям своего товарища по «эстрадной» обойме начала 60-х годов, и что-то в его собственной работе пошло бы иначе? А сегодня его «левую» и благородную политическую позицию не очень поддерживает его неуклонно правящая (в эстетическом смысле) поэтика. Когда во время вечера молодых поэтов Евтушенко довольно резко критиковал сложно-иронические стихи Александра Еременко, мне припомнились очень любимые мною строки о Лобачевском из поэмы «Казанский университет»:

Я думаю, что...

Кто повзрослел — тот «поправел».
Но зрелость гения не кается,
а с юностью пересекается,
как с параллелью параллель.

Жаль, не пересеклась. А кстати, что значит быть Лобачевским в поэзии? «Лобачевским слова» Тынянов называл Хлебникова. Идти в поэзии неевклидовым путем — значит расщеплять слово, рискуя быть осужденным и непечатаемым за «формальные выкрутасы». Для этого порой требуется не меньшее мужество, чем для социально-идеологических баталий. Тут меня перебивает Оппонент:

— Что это вы все Хлебникова возводите в абсолют? Есть же и другие ориентиры: Пушкин, Тютчев, Некрасов. Прямо скажем, не менее достойные.

— Согласен. Но убежден, что на прямую связь с классикой прошлого века современному поэту не выйти без более близких по времени исторических посредников. Иначе говоря, традиционные переключки с «золотым» веком происходят непременно с участием века «серебряного». Иначе возникают неоправданные претензии и наивные иллюзии. Иной обладатель традиционалистского почерка искренне полагает, что он идет «пушкинским» или «некрасовским» путем, а на самом деле его личные традиционные корни тянутся не далее Рыленкова или Смелякова. В то же время в ультрасовременном стихе вдруг слышатся не только переключки с началом нашего века, но и сверхдальнее эхо. Иосиф Бродский с полным основанием назвал в числе своих стиховых предков Антиоха Кантемира. Отзвук силлабики слышится в ритмах Алексея Парщикова (слышится, конечно, только тем, кто читывал вирши XVII века). А верлибры Виктора Сосноры воспитаны «Словом о полку Игореве»: недаром же он тридцать лет назад дебютировал поэмой, которая называется просто — «Слово о полку Игореве» (не перевод и не подражание, а новая поэма о походе 1185 года). Вообще мне кажется порой, что первую антологию русского поэтического авангарда составил Кириша Данилов...

Впрочем, что это мы все о поэзии да о поэзии? Разве в нынешней литературной ситуации она на первом плане? Ведь все мысли, разговоры и споры теперь сосредоточены на прозе. Столько книг, журнальных публикаций, столько воскрешенных имен... Откроешь, к примеру, номер «Знамени» с замятинским «Мы» — это точно о нас, ближе и точнее некуда. Но я, простите, все о своем, о материях эстетических, о доле поэзии в прозе, о качестве языка. Вот у Замятина: «Тишина. Мутно-зеленое стекло Стены — слева. Темно-красная громада — впереди. И эти два цвета, слагаясь, дали во мне в виде равнодействующей — как

мне кажется, блестящую идею»... Жесткая, беспощадная речь, каждый синтаксический обрыв — как удар током. И вот после этого электрошока открываешь прозаические вещи, написанные сегодня: аморфность, вялое многословие, бескрасочность... В нынешней литературной ситуации — в силу причин социально-цензурных — столкнулись несколько временных пластов. И наше литературное прошлое оказалось сильнее и крепче настоящего, ближе к тревожно-загадочному будущему страны и планеты. Кто сегодня самые современные прозаики? Замятин и Платонов. И не только потому, что они были умнее и честнее большинства наших писателей 20—30-х годов. Разве уже тогда не понимали многие и преступную сущность сталинизма, и антигуманный авантюризм коллективизации? Понимали, но не имели в руках никакого оружия. А у Замятина и Платонова было современнейшее оружие Слова. Слова новаторского, в своем смысловом движении забегавшего вперед, способного к множеству аналитических операций, к проникновению в глубины, недоступные для психологического реализма.

Сейчас у нас проза (драматургическая в том числе) выполняет во многом роль и функции общественной информации. Так уж получается, что новые версии партийной истории обкатываются не на ученых советах и не на конференциях, а на сценах МХАТа и Театра имени Вахтангова, где ставятся пьесы М. Шатрова. Так уж получается, что из дудинцевского романа «Белые одежды» миллионы соотечественников черпают представление о лысенковщине: ведь фактографические книги Жореса Медведова на эту тему им до сих пор недоступны. Так уж получается, что романский цикл А. Рыбакова («Дети Арбата», «Тридцать пятый и другие годы») воспринят в первую очередь как биография Сталина. Литературе пришлось вытягивать тяжелейший воз фактов и проблем, подлежащих исследованию исторической наукой, которой у нас долгое время просто не было. Прибавьте к этому тот печальный факт, что столько лет в наших официальных источниках дезинформация преобладала над информацией. Как тут не понять читателя, позиция которого ныне напоминает название детского киножурнала «Хочу все знать» и которому пока не до художественных оттенков! Как тут не понять редакции лучших наших журналов, которые думают в первую очередь об информационной насыщенности публикуемой ими прозы. Где уж тут до стиливых поисков! Боюсь, что новый Замятин или Платонов, еще не «расшифрованный» и не прославленный, просто оказался бы не понят и даже не прочитан как следует, получив «отлуп» у первого же редактора или рецензента (как, впрочем, и новый

Я думаю, что...

поэт, принесший в журнал «Стихи о неизвестном солдате» — не принадлежи они Мандельштаму: семантическая сложность позволена только покойникам).

И писателям, и критикам, размышляющим о прозе, не до эстетических проблем. «Архаисты» с «новаторами» не спорят — спорят традиционалисты с традиционалистами на социальные, исторические, экономические темы. Поскольку публичные политические дискуссии между профессиональными политиками у нас пока еще не практикуются, почему бы прозаикам и критикам не восполнить этот существенный пробел? Допускаю, что политические споры важнее творческих. Допускаю даже, что потребность человека в информации важнее и насущнее, чем его потребность в искусстве. Но утолит ли наша проза и драматургия всеобщую жажду правды, действуя старыми художественными средствами?

Тут я хотел бы сказать что-нибудь запальчивое в духе чеховского Треплева: новые формы нужны и т. п., если бы в «Книжном обозрении» не прочитал недавно такие слова В. Розова: «О чем и как надо сейчас писать?.. Знаю, что надо совсем по-новому, потому что старый стиль изжил себя. Но жду этого не от себя, а от других — от молодых писателей, которые вдруг появятся». «Старый стиль изжил себя» — как это верно по отношению к стилю нашей прозы и драматургии в целом! И, заметьте, говорит это не какой-нибудь джинсово-бородатый модернист, а крепкий реалист, мастер психологической драмы. Пожалуй, главный противник новаторства не традиционность (в высоком, подлинном смысле слова), а творческая бесхарактерность, нежелание и неспособность искать.

Прозаики, условно говоря, среднего поколения сегодня явно не выдерживают конкуренции с архивными публикациями, с «задержанными» произведениями. Понятно поэтому, что они бешено ревнуют читателя, скажем, к Рыбакову, стремясь сказать о «Детях Арбата» как можно больше нелестного. Но подобно тому, как Розов не мешая утверждаться в драматургии «новой волне», так и Рыбаков никого не сталкивает с прозаического Парнаса (достаточно, заметим, просторного). Другое дело, что Рыбаков оставил неизгладимый след в художественной «сталиниане», исчерпав, по-видимому, возможности психологически мотивированного изображения «вождя»: созданный писателем образ энергичной и властолюбивой посредственности достаточно убедителен, пластичен, внятно «озвучен» в речевом плане — второй такой Сталин в прозе уже невозможен и не нужен. Но возможность лепить «своего» Сталина открыта для всякого пишущего — только здесь

уже понадобятся новые формы, вероятно, более условные. Так и только так, в порядке свободной творческой конкуренции, стоит спорить с Рыбаковым. Впрочем, в новом стилевом освещении нуждается и наша непростая, тревожно-подвижная современность.

«Старый стиль изжил себя...» И чисто информационной остротой уже не прикрыть разваливающуюся архаическую структуру. Читая, к примеру, «Интердевочку» В. Кунина, мы уже не можем не видеть, как старомодная сюжетная конструкция на корню губит злободневный и колоритный материал. Тут нужен был какой-то новый угол зрения на социальную жуть, новый язык. Мы знаем, что проза вкупе со средствами массовой информации долгие годы не говорила ни словечка о развале экономики, о проституции, о наркомании, об организованной преступности, об унижении человека в армии. Это сейчас многим кажется главным упущением. А стиль, опять полагаем, дело наживное. Хотя не так уж много мы вспомним конкретных примеров того, чтобы безликий писатель «нажил» себе приличный стиль. Так или иначе, стилевое изобретательство сейчас в нашей прозе настолько непопулярно, что его единичные проявления могут оказаться просто незамеченными.

Характерный пример — судьба ленинградского прозаика Валерия Попова. Эксцентричные сюжеты и характеры, неистощимое остроумие, ни на кого не похожий язык, напоминавший, по точному наблюдению Л. Аннинского, «юмор обэриутов и серьезность Зоценко», — всем этим, казалось бы, наша теперешняя проза не балует. Но в моде у нас — которое уже десятилетие подряд — умеренные тона, и «ультрафиолетовая» избыточность Попова остается как бы невостребованной литературным сознанием. С читателем вроде бы у Попова нет проблем: книги регулярно выходят и раскупаются моментально, а вот в сплоченных рядах похожих друг на друга коллег-прозаиков он смотрится совершенно лишним.

Метод Попова — фантастический реализм. Он подает свои гиперболы с такой обезоруживающе естественной интонацией, в такой непринужденной «мягкой манере» (его собственная формула), что они порой даже гиперболами не кажется: «В последний день перед отлетом на конференцию вдруг решено было взять вместо меня уборщицу. Ну что ж, это можно понять: от меня — какой толк? Ну — отбубню я свое сообщение, и все, — а та и уберет, и постирает, к тому же — молодая очаровательная женщина — это тоже немаловажно! Но, к счастью для меня, уборщица от поездки отказалась...»

Это начало рассказа «Третьи будут первыми». Мы

читаем и поначалу подвоха не чувствуем: ну, послали уборщицу. Но ведь это же с точки зрения здравого смысла абсурд! А мы его как должное принимаем: слишком привыкли. Уборщица не уборщица, а притерпелись мы ко всему. И к тому, что вместо настоящих ученых за рубеж посылали полуграмотных конъюнктурщиков, над которыми хохотала вся Европа, и к тому, что почетные звания, академические лавры сначала распределяются среди чиновников, а уж из того, что останется, иной раз и ученого увенчают. Вот что стоит за иронической гиперболой, недурным средством социальной диагностики.

Гиперболизм пронизывает у Попова всю речевую ткань. Вот героя-рассказчика приятель предлагает ввести в «колбасные круги»: каламбур, казалось бы, но за ним — уродство нашей социальной структуры, где «круги», причастные к распределению колбасы, взаимодействуют с «кругами» самыми высокими. Или вот герою предлагают устроиться «редактором кладбища». Абсурд? Да нет, у нас ведь и места захоронения, и даты смерти — все подлежало «редактированию». А вот рассказ «В городе Ю.», где изображена зловеющая и вместе с тем нелепая провинциальная мафия, кутящая в помещении детского сада и распивающая там «младенцовку». Ужас вызывает само словечко: что это — похищенный у детсадовской медицины спирт или (не дай бог!) настойка на младенцах? Но в том и смысл гиперболы, что с невиннейших с виду хищений начинается та самая детская смертность, по которой мы вышли на ведущие позиции в мире. А главарь мафии расхаживает в ушанке с прорезью, куда все его клеветры должны регулярно опускать пятаки, как в автобусную кассу. Смешно? Но и серьезно вместе с тем: разве в наших обер-жуликах жадность не сочетается с плюшкинской мелочностью и ничтожностью — вспомните, какая пустячная галантерея попадалась в завалах награбленного Щелоковым добра!

Вот в такой гиперболической заостренности, в сложной художественной игре большими и малыми величинами видятся мне богатые новаторские ресурсы прозы. С надеждой смотрю и на более молодых прозаиков, не чуждых стихии фантастического реализма: Татьяну Толстую, Евгения Попова, Вячеслава Пьецуха. Им бы еще набраться в несколько раз большей смелости, не держаться за уютно-каноничную новеллистическую форму с довольно предсказуемым «пуантиком» в финале — и тогда уныло жизнеподобному реализму в нашей прозе выстроится убедительная альтернатива. Очень, очень ее не хватает пока.

...Пишу я эти строки и слышу, как телевизионный комментатор Светлана Бестужева извещает: на Кузнецком мосту, где только что прошла выставка авангардистов, теперь открылась выставка художников, продолжающих национальные традиции, — А. Грицай, Ю. Кугача и прочих. Хочется спросить С. Бестужеву: кто же стоит ближе к нашей иконе и к Андрею Рублеву — авангардистка И. Старженецкая с ее пронзительной русской тоской или гладенькие А. Грицай и Ю. Кугач, чьи благополучные полотна очень подходят для украшения начальственных кабинетов? И вообще — что это за нелепое противопоставление «национального» и «авангардистского»?

Вместе со мною недоумевает обитающий на моем письменном столе дымковский петух, сверкая всеми своими невозможными цветами и гордясь своими невероятно-авангардистскими пропорциями и формами. Говорят, в сталинские времена дымковских мастериц пытались принудить к реалистическому изображению домашней птицы, и тогда одна из художниц наивно спросила: «А зачем? Настоящий петух и так у меня по двору ходит».

Нет, национальное, народное искусство — один из главных родников, которыми новаторство питается. И, подобно русскому авангарду (которым мы имеем полное право гордиться), свой неповторимый вариант авангардистского сознания есть у каждого народа. Историкам культуры еще предстоит выяснить и показать, сколько талантов авангардистского склада было погублено, сколько новаторских ценностей растеряно и разрушено в каждой из наших республик. Ведь на всесоюзную арену ловко вылезали именно «реалисты», хорошо понимавшие конъюнктуру — от «писателя» Рашидова до нынешних азербайджанских «аксакалов», пресмыкавшихся перед Алиевым.

С настоящим, полноценным реализмом авангардизм может плодотворно сотрудничать. Главный же враг авангардизма — *бюрократический реализм*, созданный сталинской тоталитарной системой, господствовавший в эстетическом сознании застойных лет и продолжающий жить сегодня. Поэтому пусть не обидятся на меня прогрессивные писатели и критики, твердые в своем эстетическом консерватизме и не переносящие авангардистских «заскоков», если я откровенно скажу, что присущий им склад эстетического сознания — одно из дальних последствий сталинизма.

Тут я вновь слышу голос Оппонента:

— Ну, вот вы все защищаете свой авангардизм, отводите от него всевозможные упреки. А в чем, собствен-

но, ценность всех этих выкрутасов? За что все это можно любить?

— Что ж, я готов раскрыть карты и сказать прямо, в чем я вижу идеальную, созидательную суть художественного новаторства. Или, проще говоря, за что я люблю *все это*.

Чем, по-моему, отличается искусство как таковое от всего остального в мире, от социального бытия в особенностях? Тем, что художнику доступна несоизмеримо большая *свобода*, чем кому бы то ни было. Конечно, диалектика свободы и необходимости на искусство тоже распространяется: здесь это выражается в диалектике новаторства и традиции. Но специфика, счастливая специфика искусства — это смещенность, сдвинутость его диалектической структуры к полюсу свободы. И новаторство, какими бы терминами его ни определять и какими ни обзывать, — это чистое, без примесей, *вещество свободы*. Помните: «Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы...» В реальной, так сказать, жизни она недолго нагая проходила, Иосиф Виссарионович ее живо обмундировал в арестантскую робу. Но в искусстве-то она была, есть и всегда будет, всегда. И не видавшему этой наготы, не очарованному ею человеку едва ли удастся найти идеал свободы социальной, нравственной и прочее. У нас с вами, конечно, уйма конкретных проблем и вроде бы не до изысков. Но надо иной раз и в небо посмотреть и побеседовать с ним на «ты», как это делал Велимир. Он, кстати, в одном из последних своих стихотворений четко высказался от имени всех авангардистов — прошлых, настоящих, будущих:

Еще раз, еще раз,
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.

Здесь довольно точно определена конкретная роль авангарда в решении социальных, духовных и нравственных проблем общества. Авангард не претендует на утилитарную информативность, на сенсационную разоблачи-

тельность, на открытие каких-то нравственных панацей и спасительных социальных рецептов. Новаторское художественное слово дает лишь определенный и неповторимый эмоционально-духовный настрой, ощущение внутренней раскрепощенности. Возьмите верный «угол сердца» к этим стихам, почувствуйте себя такими же свободными, как эти строки,— и тогда у вас, *может быть*, что-нибудь получится.

Мало? Но ведь искусство всегда лишь о том, что *может быть*. Гарантированное блаженство сулят только шарлатаны. А глоток внутренней свободы уже сегодня — это не менее важно, чем правдивая информация о нашем тяжелом прошлом и нелегком настоящем.

И вот этой внутренней свободы, если перейти к конкретным примерам, в причудливой поэзии Виктора Сосноры я вижу больше, чем в стихотворных призывах к свободе Евгения Евтушенко или (даже!) в поэме высоко чтимого мною Александра Твардовского «По праву памяти». А из раскованной прозаической интонации Валерия Попова я для себя извлекаю больше вещества свободы, чем из замечательного по своей направленности романа Владимира Дудинцева или (скажу уж, все равно пропадать!) благороднейшего и гуманнейшего романа Василия Гроссмана...

— Эх куда хватили! Это уже, пожалуй, перебор...

— Но что мне делать, если я именно так думаю и чувствую — и не могу иначе? К тому же я надеюсь, что уж вы-то меня понимаете и после нашего разговора не сведете все к тому, что я «приложил» и Твардовского, и Дудинцева, и Гроссмана...

— Да нет, уж так и быть, никому не скажу про ваши, мягко говоря, странные параллели. Любите на здоровье этих своих, как их там... Но зачем же сталкивать их лбами с Твардовским и Гроссманом?

— Да затем, что это противоположные грани одного искусства, предельно отдаленные цвета одной радуги. И я все к той же мысли возвращаюсь об урезанной радуге, о неполной картине мира. Если мы с вами и со всеми все-таки разобьемся о камни и подводные мели, как сказано у Хлебникова (а не допускать такую трагическую возможность — значит лгать и растить новую ложь), — то случается пророчество поэта, хотя он, конечно, в данном случае желал бы оказаться плохим пророком.

— Но вы чересчур буквально воспринимаете метафору. Едва ли нам грозит гибель от одного только непонимания авангардистских кунштюков.

— Не только, конечно, от такого непонимания. А еще и от общей духовной закреощенности и придавлен-

ности. В поисках выхода из создавшейся социальной ситуации мы дружно столпились у одной двери, возле информационно насыщенной литературы. А выход, может быть, найдется совсем в другом месте и обнаружен будет нетрадиционными средствами.

Разные чувства рождает наше время. Но в первую очередь мне почему-то хочется делиться со всеми чувством беспокойства. Что особенно тревожит? Дефицит динамизма, замедленность позитивных процессов. Пробудилось у нас социальное мышление, но какое-то оно не очень ловкое и предприимчивое, недостаточно изобретательное, небогатое конструктивными предложениями. Это ощущается в разных сферах, но о делах экономических, промышленных, сельскохозяйственных я могу судить лишь с чужих слов, по чужому опыту. А вот о процессах эстетических берусь судить самостоятельно. И они для меня — индикатор общего положения дел, симптом общих болей. Потому считаю, что тоска по ультрафиолетовому излучению, по небывалому искусству — не эстетская блажь. Надо перестраивать общественное мнение, вырабатывать иное, доверительное и заинтересованное, отношение к новому и непонятному.

По тому, как встречается обществом новое художественное слово, видна реальная степень социально-духовной свободы этого общества. И недостаток в радуге одной лишь полосы может обернуться столь знакомой, совсем еще не забытой промозглостью и пасмурностью, серым небосводом без единого лучика.

Печально я гляжу
на наше поколение...

Приходится слышать порою (и уныло соглашаться): в отличие от той, давней, «шестидесятичской», которую мы не застали, новая общественная волна не вынесла на поверхность молодых звездных имен. Тогда по всем уголкам необъятной родины из уст в уста передавалось: Евтушенко... Аксенов... Кожин... Гачев... Битов... Рождественский... Синявский... Феликс Кузнецов... Игорь Виноградов... «Мастера»... «Один день Ивана Денисовича»... «Со мною вот что происходит»... «Ядро ореха». Нынче брось клич: ау, молодые! — как аукнется, так и откликнется: «Звук осторожный и глухой» (если мы, конечно, не условимся звать «начинающими» вполне зрелых С. Каледина, автора нашумевшего «Смиренного кладбища», прекрасного рассказчика Евг. Попова и изначально профессиональную Т. Толстую). Нельзя сказать, чтобы мои сверстники были обделены вниманием критики; так, в самое последнее время вышли две — хоть и небольшие — книжки о прозе молодых, принадлежащие Александру Неверову и Евг. Шкловскому. И критики

интересные, и книжки содержательные по идеям, да вот беда — объект исследования малоинтересен, не вызывает читательского отклика. Почему так? Почему нужно ходить на посиделки в буфет Центрального Дома литераторов, или ездить на творческие семинары в Дом творчества «Дубулты», или на худой конец заглядывать на телевизионно-самоварные чаепития с первым секретарем СП СССР В. В. Карповым, чтобы знать действительную расстановку сил среди своих литературных сверстников? Почему даже хорошие, яркие, свежие публикации (ну вот, добросовестно перечислю: рассказ А. Дмитриева в «Знамени», 1987, № 5; добротный роман «Похоронный марш» А. Сегеня (М., 1988), рассказы В. Курносенко в «Литературной учебе», 1987, № 5; горько-смешная повесть В. Пьецуха «Новая московская философия» в «Новом мире», 1989, № 1; фрагмент поэмы А. Парщикова «Деньги» — в «Волге», 1987, № 10... продолжать?) сверкают для нас искрами — и гаснут в необъятной мгле литературного процесса?

Между тем литературная среда бурлит. Имена молодых сыплются из уст ветеранов как из рога изобилия. Что ни имя — то надежда, что ни подборка, то удача. И мы ничего не поймем в нынешней ситуации, если не уловим прямую связь между центробежными силами, уносящими читателя дальше, дальше, дальше от творчества литературной смены, и силами центростремительными, которые перебрасывают дебютантов с периферии в самое средоточие замкнутой профессиональной известности. И ларчик просто открывается. Читатели и писатели разного ждут сейчас от «предмета своих ночных забот», от литературы; разному поклоняются, разное ценят. Первые — книги, вторые совсем, совсем иное. Потому — чем ближе я к книге, тем дальше от литературной братии, чем ближе я к братии, тем дальше от книги. И поскольку грозовая эта атмосфера незримо (и зримо!) окутывает журнально-газетные страницы, электризуя их и грозя смертельным разрядом молнии, постольку удивляться читательскому равнодушию даже к лучшему из написанного нами не следует. Аура устрашающая отпугивает; мало кто ее интуитивно не чувствует. Намеренно говорю это в атакующей, форсированной, преувеличенной интонации; но обращаю сказанное не только и не столько вовне, к кому-то постороннему, а прежде всего себе самому, ибо — «подвластен общему закону...».

Механизм прорыва внутрь плотной живой стенки (которая за спиной «прорвавшегося» тут же смыкается, и обратного хода — нет!) проиллюстрировать нетрудно. Примеры сами идут под руку. Кто из нас знал стихи поэта Валерия Хатюшина, пока он не создал одну за

другой несколько набатных статей, где предупредил кого следует об изъянах (не столько поэтических, сколько общественно-политических), поразивших стихи его сверстников? Боюсь, что никто. Зато теперь его имя «на устах у всех». Стихи, правда, по-прежнему в тени, но вряд ли они сейчас занимают В. Хатюшина. Перед ним стоит гораздо более ответственная задача: постоянно подогревать внутрицеховой интерес к себе. Однако примеры одни и те же больше, чем два-три раза подряд (в «Нашем современнике», потом в «Молодой гвардии», потом в «Москве»), использовать не принято. И приходится, сверяясь по компасу с суждениями старших товарищей, привносить в произведения оппонентов то, с чем хочется спорить, но чего в этих произведениях отродясь не бывало. Первый же казус, который приходит на память, — это зачисление вполне традиционного и по своим «вкусовым» ориентациям отнюдь не авангардистского поэта Михаила Поздняева в группу «метафористов». С какой стати? Да с такой: художественные, эстетические критерии в ужасе ретируются перед кличем: «Наших бьют!» Культура делится для В. Хатюшина — и для него ли одного? — не на тех, кто строит текст по одним законам и кто строит его по другим, а на «наших» и «не наших». Если «не наш», стало быть — «метафорист». А как ты там пишешь, с метафорами или вовсе без оных, — какая разница...

Хочу понять: почему нынче журнальная схватка интереснее для поэта, нежели стихотворчество? Почему и стихи все чаще становятся лишь рифмованными декларациями, ритмичными (как речевки хунвейбинов) репликами в споре? Почему абсолютному большинству младопишущих нужнее (и, главное, важнее) организовать общество, схватиться в печатной драке, кого-то завалить с помощью власть предержащих наставников на приемной комиссии в СП СССР, а кого-то и «протащить» в Союз; внедрить в сознание читающей публики список перспективных имен; отправить коллективное письмо в КГБ, ЦК КПСС, лично тов. Е. К. Лигачеву или, на худой конец, в «Литературную газету» с жалобой на одинокого противника — затравил, дескать, житья от него нет; собрать «круглый стол» и осудить «перекосы демократии», — словом, сделать что угодно, лишь бы не написать повесть, рассказ, стихотворение, историко-литературный труд. А если и написать, то нечто прямолинейно-аллегорическое, чтобы «художественность» даже случайно не затмила полемического смысла? Опять же, всех не причешешь под одну гребенку, и список исключений велик: повести С. Бардина и П. Краснова, стихи О. Николасвой и Евг. Блажеевского, филологические штудии К. Ковалева

и А. Зорина, О. Проскурина и В. Гуминского, А. Немзера и Б. Тарасова... — но почему, почему они — исключение, а не правило? Почему вокруг большинства из них (исключая разве что литературоведов, да и то не всех) гужуются стайки, группки ничего не создавших литвышибал, а то и попросту штурмовиков в черных майках? И почему они терпят это «гужевание»? И с каких это пор в великой, величайшей русской литературе художественную истину принято отстаивать с помощью булавочных уколов, полудоносов и смолы с перьями? Спорили мы всегда, об этом еще Достоевский писал, но спорили — текстами. Вы мне прокламацию и топор, я вам — «Отцов и детей» или «Бесов». Вы мне мелочный журнальный упрек — я вам гениальную строфу в «Евгении Онегине». А когда наставала пора выходить с открытым забралом — тут уж звучала органная по мощи, хоральная по глубинному смыслу «Пушкинская речь», хотя бы на день, да примирявшая мыслящую Россию, пробуждавшая творческую атмосферу «тихого и безмолвного жития»...

Но то — литература, возразят мне. А критика? Отвечу вопросом: по чьим статьям изучаем мы теперь теорию словесности? По журнальным обзорам Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Не учим — а могли бы — и по работам Киреевского, Хомякова, Шевырева, Аксаковых... Или: сколько споров сейчас по национальному вопросу, мы мечемся из крайности в крайность, то предлагая замкнуть суверенную человеческую личность в резко очерченные рамки рода, родства по крови, то, напротив, охваченные пролеткультовским горением, близким к эйфории, зовем к вавилонскому смешению языков, к угасанию национального начала в абстрактно понимаемом интернационализме. Между тем стоит перечитать книги, вышедшие в 80-е годы прошлого столетия и принадлежащие литераторам (хотя бы статьи Лескова, книгу В. Соловьева «Национальный вопрос» и др.) — и многое в нынешней ситуации станет ясней. Сможет ли читатель XXI столетия почерпнуть что-нибудь «духовно-практически» полезное для себя из наших книг? Боюсь, нет.

Конечно, и тогда, в минувшем веке, не царили в литературе благодно-гармонические отношения, апокрифическое предание о которых дожило до наших дней и обмануло даже такого крупнейшего филолога, как С. С. Аверинцев (см. его выступление на страницах «Юности», 1987, № 12). Нужно ясно отдавать себе отчет, что адмирал Шишков создал цензурный устав 1826 года, ужаснувший своей жестокостью даже Николая I, а историк Тимофей Грановский препятствовал молодому Сергею Михайловичу Соловьеву (что, впрочем, несопоставимо

гуманнее), покуда с последнего не спали подозрения в сочувствии славянофилам, — но ведь было, было и другое! Были их книги, по которым училась мыслящая Россия.

А что Россия может узнать по статьям самых активных представителей «тридцатилетней» критики 80-х годов нашего столетия — Александра Казинцева и Ларисы Барановой-Гонченко? То лишь, что их молодой коллега Андрей Мальгин есть литературный разбойник и вор, а зато бывший главный редактор журнала «Наш современник» С. Викулов (чьим заместителем Казинцев служил) безошибочен в суждениях; что строка «Мой дар убог и голос мой не громок» принадлежит не Баратынскому, как нас учили в школе, а Тютчеву; что поэты-метафористы вненациональны по своему пафосу и стихи А. Парщикова антинародны, зато речь Верховного Главнокомандующего по поводу объявления войны «не только дань традиции, но и ее ответное духоподъемное воздействие на умы... всего народа в целом»¹ (см. статью Л. Барановой-Гонченко все в той же «Москве», 1987, № 6). Не густо. Защищать критика А. Мальгина не всегда приятно; он то напишет блистательно-остроумную рецензию на книжку М. Числова о поэме («Знамя», 1988, № 2), то вдруг сочинит брошюрку о поэзии труда... Но даже страшно подумать: что бы без него делали Л. Баранова-Гонченко, В. Хатюшин, А. Казинцев? О чем бы писали, говорили, встречаясь в дружеском кругу? Великое безмолвие воцарилось бы в родной литературе... Да может, и не помешало бы нам такое безмолвие?

...Намеренно заостряя постановку вопроса, сознательно допуская полемический перехлест, не могу тем не менее отрешиться от ностальгического воспоминания о давней, едва ли не дебютной, статье Александра Казинцева в «Вопросах литературы» о судьбах русской поэзии 20-х годов, — о статье, по тем временам смелой и — независимо от тех времен — тонкой, в самом хорошем смысле слова литературной. Стоит еще раз подчеркнуть: написанной в условиях «застойной» несвободы. И неужели это она, ее автор, в июне 1988 года, когда наступила более светлая эпоха общественной жизни, бросает со страниц «Нашего современника» п о л и т и ч е с к и й упрек Н. Ивановой, фактически обвиняя ее в продаже Родины? И за что? — за то, что она в Дании, на литературной конференции, где на равных участвовали советские писатели

Я думаю, что...

356

¹ Речь эту действительно можно считать образцом высокого ораторского искусства. Но на Кормчего, недоучившегося семинариста, тут работала вся русская церковная традиция общественной проповеди, обязательный зачин которой: «Братья и сестры!» — камертоном настраивает дальнейшее высказывание на горячую, горестную волну.

и представители литературной эмиграции (А. Синявский, М. Розанова, Л. Копелев, В. Аксенов, Е. Эткинд...), с должной мерой искренности повторила общеизвестные примеры наших литературных и социальных бед? Отказываюсь понимать. Но — такова логика суждений вступившего на «центробежный» путь окологкультурного пространства. И ладно бы — касалось это лишь критиков!

Все же, как ни обидно сознавать, сфера влияния нашей профессии крайне ограничена. Но интеллектуальное магнитное поле, критиками создаваемое, властно вытягивает в свои пределы художественно одаренные, а значит, особо впечатлительные натуры. Писал, скажем, Владимир Карпец очень неплохие стихи: горько-нежные, отечественно-любивые, не всегда свежие по образности, но неизменно искренние (одну из его подборок и мне случилось как-то поддержать в «Комсомольской правде», чему радуюсь), — но сила тяготения литературной среды неодолима, и вот он уже выступает в качестве исследователя-пропагандиста русской литературы XIX века, путая имена, даты, факты, населяя русскую историю призраками масонов, уродцев-инородцев... И чрезмерно строго судить его за это, за безграмотно подготовленную книгу лирики Федора Глинки (М., «Советская Россия», 1986) и брошюрку о жизни и творениях адмирала-архаиста Шишкова (М., «Молодая гвардия», 1987), — язык не поворачивается. Тут единственно возможное чувство — беспросветное сожаление, какое возникает всякий раз при виде человека, фанатично взявшегося не за свое дело. Писал бы стихи — хорошо же получалось до тех пор, пока поэзия не свелась для него к подсобному средству декларации излюбленных идей (см. его недавнее стихотворение «Космополиты»)! Нет, рядом многомудрые критики Л. Баранова-Гонченко и А. Казинцев, они успокоиться не дадут. Они почву взрыхлят, семена посеют, урожай дождутся, соберут его, в закрома спрячут, — а все шишки достанутся на долю доверчивого шишковиста, вполне искренне ослепленного идеей сионимасонского заговора¹.

Легко можно предположить, что возразят мне те, о ком только что шла речь. Внутренний раскол молодых писателей, скажут они, борьба, превращающая нас в пропагандистов и агитаторов групповых идей, временное замыкание в круг профессионалов ради достижения сосредоточенности и группового единства — дело благое. По одну сторону — те, кто любит все русское и кто готов

¹ На «проколы» в изысканиях Карпца указали О. Прокурин («Литературное обозрение», 1987, № 9) и В. Андреевский («Новый мир», 1988, № 2).

строить культуру на чисто национальных основаниях, на идеях крестьянской общины и традиционной нравственности. По другую — те, кто поклоняется Западу, зовет к смешению традиций и утрате национальной специфики, молится на город. Их споры судьбоносны; каждый должен ответить на вопрос: с кем вы, мастера культуры?

Отвечаю: ни с кем. «С волками площадей // Отказываюсь выть!» — так воскликнула М. Цветаева, ибо была «одна — за всех — противу всех». Ни с кем — потому что можно всем сердцем любить город и стоять на сугубо национальной почве, памятуя, что культура Руси изначально (до XIII века) складывалась как городская, ремесленная и лишь потом включила в себя «крестьянское» начало. Быть горожанином — и глубоко чтить крестьянский труд; страдать при мысли о том, какие жертвы понесла интеллигенция в годы сталинского террора, — и со смирением сознавать, что жертвы русского крестьянства были несоизмеримо большими, не опускаясь при этом до кощунственного, бухгалтерского, «цифрового» противопоставления одних убиенных другим. Можно молча любить Россию и, не делая ее кумиром, относиться к ней тихо и нежно — как к матери: суть ее теплая, живая, материнская. Можно быть патриотом и не становиться националистом, наизусть вытвердив урок выдающегося русского религиозного мыслителя Сергея Булгакова: болезненно «течение русской жизни, в котором национализм становится выше религии, а православие нередко делается средством для политики... Этот соблазн подстерегает всякого, чье сердце бьется любовью к родине, ибо национальное чувство неизбежно раздирается этой антиномией, — исключительности и универсализма, — и, по совести говоря, кто из тех, в ком оно живое, не знает в тайниках души Шатова? Это тот самый старинный соблазн, каким все время искушался народ Божий, возомнивший о себе, что он не избран Иеговой, но Иегова избран им». Можно любить Россию и не ненавидеть Америку. Не ненавидеть Америку — и не суметь отличить Аллу Пугачеву от Валерия Леонтьева. Спутать их — но читать «Огонек». Читать «Огонек» и злиться на то, что здесь печатается пошлая «Любовница президента». Отказать этой «любовнице» во взаимности и порадоваться «огоньковским» выступлениям С. Аверинцева, Д. Лихачева, Ю. Карякина. Или статье В. Поликарпова о Федоре Раскольникове. Или памфлету Н. Ильиной о деятельности родимого Союза писателей. Или жесткому анализу правовой ситуации в верхних эшелонах власти, проделанному «генералами следствия» Т. Гдьяном и Н. Ивановым... Можно — невысоко ценя роман Василия Белова «Все

Я думаю, что...

впереди» — не мыслить своей духовной биографии без беловской повести «Привычное дело» и быть счастливым, читая в «Новом мире» его «Кануны». Можно серьезно относиться к эпическим поэмам Алексея Парщикова и раздраженно — ко многим его «сделанным», сконструированным лирическим стихам. Посмеиваться над поэтами «босоногого» детства и — вздрагивать, читая в одном номере «Нового мира» с «Доктором Живаго» никакую поэму их постоянного оппонента Александра Лаврина (1988, № 1). Наслаждаться «набоковской» утонченностью рассказов Татьяны Толстой — и считать их скорее гуманитарными, чем гуманитарными... Да много что можно!

А нельзя — нельзя не замечать, что спор между «западниками» и «славянофилами» был живым явлением лет сто назад, ныне же противостояние снято поступательным развитием русской культуры. «Снято» в том смысле, что перешло извне — вовнутрь души интеллигентного человека как личная проблема, над которой бьются в одиночку. Каждый имеет право (если не обязанность) тяготеть к одному из двух «полюсов», но полностью отрешиться от власти другого без утраты трезвости нам уже не дано (о чем хорошо сказал в упомянутом выступлении на страницах «Юности» С. С. Аверинцев). Ибо имеющий действительно крепкие городские корни никогда не станет порочить деревню, а о почве постоянно говорят лишь те, у кого она уходит из-под ног. (В качестве иллюстрации — характерный эпизод. Место действия — Рижское взморье. Время — поздняя осень. Бездной семинар молодых критиков. Вечер. По телевидению должны транслировать оперу Мусоргского «Борис Годунов». Можно ли представить зрелище более народное, более национальное по духу, более величественное? Исходы: большинство голосов в холле Дома творчества — равно как и на самом семинаре — принадлежит тем, кто называет себя «младопочвенниками» или «неославянофилами». Они весело морщатся: «Вот еще, всякую скуку смотреть!» — и после одобрительного кивка яйцеобразной головы одного из руководителей переключают на программу, где идет североосетинский детектив.) Так что успокоимся и с наслаждением перечитаем «Царь-рыбу» и «Большого Жанно», а после попытаемся создать что-нибудь сами, поднявшись до их литературной высоты.

Правда, с этим не спешат. И тут мы подходим к главному пункту размышлений о том, почему глухая стена выросла между читателем и младописателем, почему последний предпочитает околотитературную жизнь — самой литературе и почему воспроизводит мертвую схему давнего противоборства.

Потому что мало кто решается выйти из широкой и всезащитной тени своих непосредственных предшественников. «Мне хорошо в твоей большой тени», в какую бы сторону ты ее ни отбрасывал — на запад или же на восток, налево или же направо. Это очень верно почувствовал уважаемый наш критик Андрей Михайлович Турков (уж его-то в «групповщине» не заподозришь!), когда в своей отповеди «молодогвардейскому» «круглому столу», где младопишущие одергивали демократию, точно назвал незримого регента хора начинающих — поэта Станислава Куняева (см. «Юность», 1987, № 12). Вот — истинное наше горе. Мы поем по чужим нотам, мы даже полюса противостояния не сами наметили, просто отошли на заранее отведенные старшими стратегами позиции и стреляем по их наводке. Куда как трудно пришлось Валентину Распутину, Василию Белову, Федору Абрамову, Виктору Астафьеву в конце 60-х! Им никто не протоптал путь, они шли через бурелом. Зато и отклик на их книги был велик... Теперь айсберг перевернулся — ныне асфальтовые дорожки там, где раньше царил бурелом, и по ним прогуливаются последователи.

То же (или приблизительно то же, поскольку издательско-журнальная ситуация откровенно благоприятствует молодым последователям «деревенской» школы — и потому, только потому основное внимание в этих заметках — им) царит и в противоположном стане. Примеры опять же под рукой. Вышел в 1985 году литературно-художественный сборник «Круг» (Л., «Советский писатель», 1985). Объединил он литераторов-нонконформистов, представителей нашего младоавангарда, западников по самой строчечной сути, — на Западе они в основном прежде и печатались. Сразу же возникло вокруг него очередное литературное сражение — литературное, не читательское. Уж какие страсти кипели! Сборник, если судить по негласной шкале, заслужил самую высокую оценку — его составителей критик В. Васильев в журнале «Наш современник» обвинил в неблагонадежности. Но вот прошло три года, и мы с напряжением пытаемся хоть что-то из вошедшего в «Круг» припомнить, да плохо получается. Тогда берем в руки само издание, перелистываем — ах, да, читали. Но до чего же все это знакомо по труднодоступным «тамиздатовским» книгам тех, кого авторы «Круга» матрицируют! С ходу узнается едкая интонация Василия Аксенова, его сюрреалистическая «подсветка» обыденных российских пейзажей, ориентация на философскую повесть эпохи Просвещения, опыленную опытом Аркадия Аверченко, — в повествовании полного тезки автора «Поисков жанра», молодого прозаика Васи-

Я думаю, что...

лия Аксенова «Понедельник, 13 сентября». След в след за Иосифом Бродским с его тягучими ритмами и лирическим скепсисом ступает Владимир Шенкман:

Счастливей век, как просто быть поэтом,
Когда почти отменены запреты,
Захочешь — и плыви в Геллеспонт!
И дальше, там, где остров среди моря,
В Гортину, где развалины и тьма
Булыжного линейного письма,—

все это мило, культурно, однообразно-выразительно, но не лучше ли перечесть с а м о г о Бродского, благо теперь это сделать проще, чем года два-три назад?

Или (если вновь совершить путешествие из Петербурга в Москву) не предпочтем ли мы исполнительнице нежно-кокетливых песен Веронике Долиной ее старшего «прототипа» — Новеллу Матвееву? И так далее...

А вот вновь пример из противоположного «лагеря» — результат, однако, тот же. Роман за романом в промежутке между выступлениями на разного рода литературных заседаниях публикует в «Нашем современнике» Сергей Алексеев, не столь давно удостоенный премии имени Ленинского комсомола. Нам бы и радоваться: нашелся человек, который часто сидит за письменным столом и творит литературу. Но, присмотревшись, замечаем: романы его скорее «идеологичны», чем художественны, что с упреком отметил В. Кожин, споря с антихристианской, атеистически-языческой концепцией романа С. Алексеева «Слово» (см.: «Лит. учеба», 1986, № 6).

Новый роман С. Алексеева «Рой» (М., «Советский писатель», 1987) рассказывает о судьбе русских переселенцев в Сибири, инстинктивно тоскующих по «прародине», которую второе и третье поколения живущих здесь никогда в жизни не видели. Единственное, что связывает с нею, — название Стремянка. Стремянцы разводят в Сибири пчел, наблюдают за их жизнью и извлекают из нее уроки для себя. Потому самое страшное для них — отделиться от р о я, смысл жизни они видят в том, чтобы ро и т ь с я. Где? В сельской общине, конечно. Сыновья одного из героев, живущие в городе, ненавидят городскую жизнь лютой ненавистью: «город высосал из деревни интеллект», «надо жить там, где тебе пуп резали».

То, что звенело живой тоской в прозе родоначальников «деревенской прозы», здесь сгущается до состояния категорического, слишком категорического императива, жесткой и даже жестокой этической программы. Их цель была — прожить жизнь вместе с героями, разделить с ними горечь и счастье существования; его целью стало: не создать целостный художественный мир, но «про-

вести» четкую мысль о необходимости национального сплочения на крестьянской основе. На «эстетику» ни времени, ни сил не остается, и приходится брать взаимы жанровые и сюжетные матрицы прозы «учителей». Многое в романе «Рой» узнаваемо; видно, откуда С. Алексеев «отроился». Здесь и борец с браконьерами Тимофей, словно сошедший со страниц астафьевской «Царь-рыбы». Оттуда же позаимствованы «сцены с медведем». Судьба старца Алешки, некогда буяна и богохульника, ныне страшщегося смерти, словно бы изъята из «Плотницких рассказов» В. Белова.

Всякий, кто помнит (а мыслимо ли его забыть?) беловский же рассказ «За тремя волоками», будет поражен сходством, читая в «Рое» о человеке, оторвавшемся от своей земли, вдруг решившем съездить посмотреть на древнюю родину и попавшем на горькое пепелище...

И потому я никак не могу согласиться с В. И. Камяновым, который в предыдущем выпуске «Взгляда» так высоко оценил роман «Рой», оговорив лишь, что в молодом прозаике борются очеркист и поэт, но последний в нем побеждает: «Вспомним хотя бы волчье семейство из айтма-товской «Плахи». Оно у прозаика, что называется, на коротком поводке. Страдает и гибнет, служа идее, которую нам предстоит воспринять. А у С. Алексеева природа самоуправна, подчинена извечным циклам и больше тревожит нашу внерассудочную отзывчивость на ее потаенную жизнь, чем конструирующий разум».

...А как же — спросят меня — «учитель, воспитай ученика», «учитель! перед именем твоим...», «мой учитель был улицей, берегом, домом...»? Что — наследовать предшественникам невозможно? Отнюдь. Только прежде договоримся, что значит н а с л е д о в а т ь. А значит это — давать на заданные учителем вопросы свои ответы. Слушать его, благоговеть перед ним, наслаждаться красотой его личности и постигать его н е п о в т о р и м о с т ь. Перенимать от него мужество первого шага. Не кусать груди кормилицы оттого, что зубки выросли, — но переходить на твердую пищу. Нужно выйти из тени на свет, под палящее солнце русской литературы. И быть готовым к самым трудным испытаниям, в том числе — к чересполосице творческих удач и неудач.

О том, как труден этот порыв за пределы замкнутого круга литературных влияний и окололитературного быта, как цепко «держат» они всякого молодого писателя, имевшего несчастье отдать им дань в начале своего пути и имеющего счастье вовремя переменить ориентации, свидетельствует пример Олеси Николаевой. (Говорю о ее стихах не только потому, что они мне нравятся, но прежде

всего потому, что пример этот — репрезентативен.) Долгое время мы читали ее гладкие, тягуче-традиционные, явно восходящие к «школе» Тарковского, Левитанского, Самойлова, Чухонцева стихи, где было в меру изыска, в меру каприза, в меру политического подтекста, в меру реминисценций из модных книг. И вот совсем недавно мир ее начал преобразаться на глазах, сквозь ветхие одежды привычной формы стало пробиваться неожиданное содержание, а вслед за ним и форма «подтянулась». Но паутина «начальной поры» с трудом отпускает ее. Проследим за борением внутри ее поэтического мира в одной из последних подборок О. Николаевой — в «Новом мире» (1987, № 3). Подборка, состоящая из четырех миниатюр, заведомо раскалывается на две несоизмеримые части. Первую образуют стихи, открывающие публикацию; стихи, в которых элегические образы пристанционной жизни нанизаны на бесконечную нить однообразного ритма и вязкого синтаксиса:

Я люблю эту пристанционную жизнь, предутренние
эти морозы,
В захолустье заштатном, в российской глуши вековой...

Все тут знакомо — и жизнь «под Москвою эту зиму», и мерное «левитанское» покачивание фразы, построенной на синтаксическом повторе: «эту... жизнь... эти морозы... в захолустье... в глуши...» Даже приперченность острым полунамеком («все-таки можно в России писателю жить и остаться свободным») не спасает от скуки. Но вот мы переворачиваем журнальную страницу, — и резкий, спасительный перепад темы, метрики, речевого строя и, главное, уровня воплощения замысла.

Выходя из города,
где хозяйничают новостройки, новоселы и нувориши.
желание выбиться в люди, быть счастливым, убедить себя,
что не страшен ад,
о дерзновеннейшая из женщин — душа моя, не подымай
горделивую голову еще выше,
не оглядывайся назад!

В стихотворении «Семь начал» совершен рискованный эксперимент: молодая поэтесса решает воспроизвести библейский сюжет о Лотовой жене после Ахматовой, добровольно обрекая себя на борение и со Сциллой, и с Харибдой. В самом деле: равно опасно и очутиться в магнитном поле ахматовской интонации, и, настроившись в полемику с великой предшественницей, попросту превратиться в ее бледную тень. Олеся Николаева нашла единственно верный «ход». Она положила не на свои силы и не на силы своих непосредственных учителей,

но как бы через голову нашей «беспочвенной» эпохи обратилась к церковной эстетической традиции. То есть купила свободу от одной лирической власти «пропиской» на территории другой. И то, что в ее «олитературенных», чухонцевско-левитанских стихах выглядело интеллигентским кукишем в кармане («можно в России писателю жить...»), здесь оказывается опалено огнем непоказного страдания: «Выходя из города... где болели хандрой и раком, убивали детей во чреве и принимали роды...»

И новая подборка О. Николаевой («Дружба народов», 1988, № 3) лишь подтвердила, что у молодой поэтессы парадоксальным образом сосуществуют стихи вполне подражательные, пребывающие в тени Тарковского, Самойлова, Левитанского, и — свободные от современных веяний, сильные, резкие, самобытные.

«Никто не даст нам избавленья...» И все же — как избавиться нашему поколению от «комплекса тени»? Идеальных рецептов быть не может, но вот один из возможных вариантов. Почему бы, вместо того чтобы копировать наших предшественников, как бы улаживая их самолюбие и получая в качестве «платы» их издательскую поддержку, не разобраться, кто, как и почему из них менялся в разные периоды общественного бытия. Как знать: не пригодится ли? И разве не важно понять, каких сил стоило Алесю Адамовичу и Игорю Дедкову, Василию Быкову и Борису Можаяву, Булату Окуджаве и Фазилу Искандеру, Николаю Тряпкину и Владимиру Корнилову (список можно продолжать бесконечно) выдержать испытание брежневским двадцатилетием? Или почему гремевший прогрессизмом в 60-е годы Ф. Ф. Кузнецов спустя десятилетие стал тем, кем стал, а теперь даже выдвинулся в члены-корреспонденты АН СССР, не написав ни одной строго научной монографии? Или почему Евг. Евтушенко превратился в тень собственной славы, в живой придаток ее? Почему В. В. Кожинов, начинавший как замечательный теоретик, в 70-е годы стал закулисным практиком литературной борьбы? А Лев Аннинский в совершенстве овладел методом словесной эквилибристики, ускользая от цепких объятий эпохи... А те, что далече?

Но бог им судья, а мы обратим взор на самих себя. Вот распахнулись перед нами двери культуры, история дала шанс свободно, без подножек и неба в клеточку войти в них. Но не слышно толчеи у дверей. Тут тихо, пустынно. Шум и гвалт далеко-далеко позади. Почему же никто не хочет идти вперед? Ведь плата за вход ничтожно мала — хороший рассказ, повесть, поэма, исследование. «Проходи, встречный!» «Не могу — отвечает. — Платить нечем». И это — увы! — чистейшая правда.

Взгляд

Возвращение к читателю

Взгляд

«Психоз пролетариату не нужен»

(Судьба Андрея Платонова)

Неуслышанность не есть опоздание

Один из героев Платонова — любознательный капиталистический старичок — Хоз, благополучно загнивающий в добром здравии уже сто один год и не лишенный некоторой сексуальной сентиментальности, приезжает в страну большевиков. С горестно сострадательной симпатией американский долгожитель наблюдает, как вдохновенно, но преступно неумело строят социализм в Артели Четырнадцати Красных Избушек. Слегка романтик, но в основном скептик, Хоз напрасно увещевает слегка скептиков, но в основном романтиков, опасно одержимых энтузиастов-строителей Мировой Экономической и Прочей Загадки:

— Карл Маркс говорил мне в середине прошлого века, что психоз пролетариату не нужен.

Возможно, что подобная мысль и без подсказки Маркса приходила в голову молодому Арманду Хаммеру, когда еще в ранних двадцатых он видел в стране-загадке поражающую его переустроительную энергию, но одновременно — разрушительную самонадеянность утопического

психоза. Наверно, как практичный бизнесмен Хаммер и тогда замечал, что слишком много русских деревьев уходит на дровки знамен и лозунгов, на бюрократические столы и трибуны для ораторов. Наверно, Хаммер и тогда недоумевал, почему в такой богатейшей по ресурсам стране на каждом шагу — непонятное для растленного капитализма зоологическое явление — очередь.

Через полвека, бросая шерхановский взгляд постаревшего тигра мировых джунглей из окон услужливо предоставляемых большевистских лимузинов, доктор Хаммер не мог не заметить, что в стране нестабильных политических доктрин и репутаций единственное, что осталось непоколебимо стабильным, это очереди.

Сегодняшняя очередь — это визуальный символ наказания за утопический психоз. Сегодняшняя очередь — это вопиющая народная невыгода. Экономическая выгода иногда бывает и безнравственной, но всенародная невыгода безнравственна всегда.

Безнравственность начинается с невыполнения обещаний. Лозунг «Земля народу!» не был выполнен. Кузнец в «Чевенгуре» рубит правду-матку так: «Мудреное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей». Лозунг «Вся власть Советам!» был подменен властью бюрократии, горделиво говорящей о себе так: «Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться Советскому государству и часа... Кто мы такие? Мы — за-ме-сти-те-ли пролетариев!» Насильственная политизация экономики была таким же психозом, как политизация личной жизни. «...Кулак мешает коснуться нашим устам...», — зачумленно говорит один из активистов раскулачивания инженер Вермо. Не боялись отбиться нравственно — боялись ошибиться политически. В экономике забыли, что выгодно, что невыгодно, но помнили — что идеологически вредно. Утопический психоз состоял в том, что социализм строился методами, противоречащими идеям социализма. Методы были самые невыгодные, потому что были безнравственные, и самые безнравственные, потому что были невыгодные. Жутковата метафора Платонова, когда Суенита говорит: «Опусти в море этот тюремный кузов. Поправь на нем погуще колючую проволоку, мы рыбы наловим, мы тогда наедемся». История показала, что колючей проволокой не наловишь ни рыбы, ни мяса. Считавшийся «бесплатным» труд миллионов заключенных не окупал затрат на колючую проволоку, охранников, овчарок, лагерные вышки с пулеметами, на громоздкую машинерию слежки, беззакония. Психоз нерентабелен. Тех, кто совсем не видел творящих беззакония, — не было. Не верьте в

лживое: «Мы ничего не знали». Может быть, знали не всё, но знали. Знали, но не хотели знать. Не верьте тому, что Сталин не знал. Он знал больше всех. Он боялся не тех, кто знает, но не хочет знать. Он боялся тех, кто знает и хочет знать еще больше. Он уничтожал их в первую очередь. На рассказе Платонова «Впрок» Сталин написал: «Подонок». «Я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ Платонова «Усомнившийся Макар», за что мне поделом попало от Сталина», — писал в одном из писем А. Фадеев. Платонов был опасен тем, что не только знал, но и обобщал. Почему же Сталин не уничтожил Платонова? Запутался в миллионах фамилий, запоминать? Может быть, счел его за блаженного и брезгливо пожалел — что это за царство российское без блаженных на папертях? Может быть, это была ошибка художественного вкуса Сталина — он не счел, что «эта штука посильнее, чем «Фауст» Гёте», не понял, что Платонов — гений, причем гений опасный, принял его за писаку, недостойного ареста? Может быть, сообразил, какого калибра писатель Платонов, но надеялся, что тот одумается, и то припугивал Платонова непечатаьем, то позволял немножко печатать, то арестовывал сына Платонова, то освобождал его, уже смертельно больного после свинцовых рудников, то поощрял нападки прессы на Платонова, то не мешал назначению писателя собкором «Красной звезды». Не было ли это все игрой в кошки-мышки на дистанции? История еще даст ответ на это, а может быть, никогда. Факт остается фактом: ни один писатель так не разоблачил сталинизм изнутри сталинизма, как Платонов, и тем не менее Платонов чудодейственно умер не в лагере, а своей естественной смертью в 1951 году. Но есть и другая, еще более таинственная загадка в судьбе этого великого писателя Мировой Экономической и Прочей Загадки.

Каким образом Платонов понял еще в двадцатых все то, что наше общество только начинает уразумевать сейчас, да и то с большим скрипом? Это было таким же подвигом, как, находясь внутри костра, анализировать горящий хворост и тех, кто его подбрасывает, да еще пожалев их за «святую простоту».

Платонов не оправдывал, жалел. Но инквизиторов Платонов к «святой простоте» никогда не причислял. Еще в «Че-Че-О», написанном в соавторстве с Пильняком (1928), есть явный едко иронический намек на личность Сталина, на его манеры: «Величественный москвич, в честь которого пили пиво, рассудительно и таинственно молчавший, несколько оживился. — Не совсем так, товарищ, не совсем! — сказал он. — Мы никак не привыкнем к равновесию. Я бы сейчас главным лозунгом объявил

равновесие мероприятий. А то получается не самокритика, а — бичевание... — В этом месте своей речи, к слову сказать, не очень внятной и четкой, москвич предложил своим собеседникам папиросы «Герцеговина Флор». В «Ювенильном море» при поверхностном прочтении может показаться, что Платонов, не выдержав испытания дамокловым мечом, делает комплименты Главному Меченосцу: «Вермо нашел «Вопросы ленинизма» Сталина и стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким...» Но кто такой сам Вермо, так восторгающийся Сталиным? «Вермо всегда не столько хотел радостной участи человечеству — он не старался ее воображать — сколько убийства всех врагов творящих и трудящихся людей». Страшноватенький поклонник у Сталина. А вот еще: «Вермо глядел ей вслед и думал, сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Босталоевой. «Зачем строят крематории? — с грустью удивился инженер. — Нужно строить химзаводы для добычи из трупов цветометцзолота, различных стройматериалов и оборудования...» Тайные мысли инженера Вермо осуществили фашисты, пуская трупы на мыло, а человеческую кожу на абажуры. Вермо, читая Сталина, «ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо (уже через несколько лет этим лицом будет увешана вся страна, инженер Вермо! — Е. Е.), поддерживал его силу...». Прямая связь идей Сталина с их исполнителем — инженером Вермо, готовым людей разлагать на химические элементы ради торжества этих идей, это серьезное и, может быть, первое, еще домандельштамовское обвинение Сталину.

Но Платонова не столько интересовали главные инквизиторы, сколько подбрасыватели хвороста. От главных инквизиторов в своей ежедневной жизни Платонов был, слава богу, далеко, а вот среди подбрасывателей хвороста провел всю свою жизнь. Костры инквизиций без подбрасывателей хвороста были бы невозможны. Подбрасыватели хвороста вполне искренне думают, что в пламени корчатся не такие же люди, как они сами — из мяса, костей и боли, а зловердные колдуны и ведьмы. Но искренность подбрасывателей хвороста не снимает с них вины за то, что этот искренний хворост живьем сжигает людей. Без вины виноватых подбрасывателей хвороста нет.

Сафронов из «Котлована» воспитывает девочку так: «Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и бат-

рачье осиротели от врагов!» — «А с кем останетесь?» — «С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, понимаешь что?» — «Да,— ответила девочка.— Это значит, плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало...»

Но откуда девочке знать — кто плохие, а кто хорошие люди? Кого назовут «плохими» — те плохими и будут, то есть подлежащими ликвидации, и хворост к костру девочка понесет вприпрыжку. В руках у девочек, которых гладил по головке Сталин на Мавзолее, были не букеты, а вязанки хвороста. Детей в этом винить нельзя, но нельзя оправдывать растлевающую педагогику психоза. Красный террорист Пиюся расстреливает так называемых буржуев и полубуржуев в спину без каких-либо угрызений революционной совести. Пиюсю не трогает абстрактно-гуманистические заклинания Дванова: «Коммунисты издали не убивают, товарищ Пиюся!» Ответ Пиюси на это внеклассовое слюнтяйство прост и афористичен: «Коммунистам, товарищ Дванов, нужен коммунизм, а не офицерское геройство!» Это уже перерождение простого подбрасывателя хвороста в инквизитора. Копенкин — русский революционный Дон Кихот в лаптях, мечтающий, как о своей Дульсинее, о Розе Люксембург, восклицает: «Я клянусь, что моя рука положит на ее могилу всех ее убийц и мучителей!» А вдруг в этот пованивающий букет из трупов попадут люди, которые никогда не были убийцами Розы Люксембург, а лишь представились таковыми в больном воображении Копенкина? Вот чем опасна растленная «святая простота», впавшая в психоз переустройства мира.

Феномен Платонова в том, что сквозь махание лозунгами утолического шапкозакидательства двадцатых годов он провидел и кровавый тридцать седьмой, и столкновение двух противоборствующих мусорных ветров, превратившихся в смерч второй мировой войны. По силе исторического провидения Платонов равен, пожалуй, только Достоевскому, в нечаевском деле увидевшему эмбрион будущей шигалевщины. С «Бесами» произошла трагедия неслышанности — некоторые революционные демократы сочли, что это роман-пасквиль, не поняв, что это роман-предупреждение. Платоновская проза — это тоже роман-предупреждение. В чевенгуровщине пророчески проглядывается и ежовщина, и бериевщина, и хунвэйбинщина, и полпотовщина, и краснобригадовщина. Но платоновскому предупреждению суждено было остаться не услышанным, не понятым — даже Горьким, который в целом высоко ценил Платонова. Вот что написал Горький Платонову, когда тот попросил его помощи в печатании «Чевенгура»

в 1929 г.: «Хотели вы этого или нет,— но вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический. При всей нежности вашего отношения к людям, они у вас окрашены иронически, являются перед читателями не столько революционерами, как «чудаками» и «полоумными». Это, разумеется, неприемлемо для нашей цензуры».

Голос Платонова был не услышанным вовремя набатом. Социально-утопический психоз перешел в болезнь человеческой глухоты. Но есть набаты, которые не были услышаны при пожарах настоящего, но еще могут предупредить потенциальные пожары будущего. Неуслышанность не есть опоздание. Сейчас, когда мы запоздало узнаем о стольких трагедиях и преступлениях, порой становится невыносимо стыдно и за народ, и за историю. Но у запоздалости нашего познания истории есть, к счастью, и положительная сторона. Мы запоздало, но счастливо узнаем, что даже в самые жестокие годы были люди, противостоявшие массовому психозу. Национальная гордость без национального исторического стыда за преступления превращается в шовинизм. Исторический стыд становится не разрушительной, а созидательной силой, когда его верная союзница — национальная гордость. Проза Платонова была предгласной гласностью. Набат, не услышанный вовремя, может стать набатом на все времена.

Бюрократия — это окаменевший психоз

История человечества есть история великих идеалов и великих психозов. Происхождение массового психоза, может быть, изначально связано с растерянностью раннего полумошнатого человечества перед прекрасной, но иногда и грозной, испепеляющей силой природы. Страх перед природой заставлял первобытных людей зависимо прижиматься к вождям, якобы обладающим Тайной. Власть одних людей над другими началась с психоза.

Страх перед тайной вырубал из камня и дерева идолов, заменяя недостаток знания психозом слепой веры. Борьба человечества за свободу была борьбой за свободу от массового психоза.

Эрзац-идеалы, как, например, фашизм, были целиком основаны на психозе и рассыпались вместе с ним. Но психоз примазывался и к гуманистическим идеалам — например, к христианству, порождая инквизицию. Во время Великой французской революции появился психоз

«врагомании», когда революционеры начали убивать друг друга. Именно эти времена породили трагический афоризм: «Революция — это мать-чудовище, пожирающее собственных детей».

Психоз нашей отечественной «врагомании» уничтожил перед войной цвет нашей нации, облегчая Гитлеру его зловещую задачу. Но даже война не помешала психозу «выяснения» личности. Смершевцы изводили фронтовиков слезкой даже под вражескими пулями, заградотряды стреляли в спину своим, бежавшим из фашистского плена героям отправляли в лагеря. Параноидальное «выяснение» продолжалось. Но ведь началось оно еще в двадцатых годах.

«Я здесь невыясненный...» — с невеселым вздохом произносит один из героев Платонова, директор совхоза Умрищев. Он принадлежит к тем людям, чья личность непрерывно выясняется громоздкой, ржаво скрежещущей Машиной Выяснения, состоящей из «секторов, секретариатов, групп ответственных исполнителей, единоначалия, отделов, подотделов, широкой коллегияльности, совещаний, планирования безвестных времен лет на тридцать... учреждений такого глубокого и всестороннего продумывания, что для их решения требуется вечность...».

От своей, может быть, заложенной в проекте ржавости смолоду, от перепутанности проводов, недостачи деталей Машина Выяснения становилась Машиной Запутывания, Машиной Наведения Тени на Плетень. «Раза два в месяц невыясненные приходили в учреждения и спрашивали: «Ну как, я не выяснен еще?» Воистину кафкианская картина, к сожалению, до отвращения родимая русской душе.

Бюрократизм не был уродливым наростом на здоровом стволе. Бюрократизм был множеством внутренних древооточков, разъедавших не кору, а сердцевину.

Бюрократы, как мародеры, невидимо шли по дымящимся полям гражданской войны, прибирая к рукам все, что плохо лежит. А плохо лежала страна, изуродованная, разрушенная, голодная, и они начали прибирать к рукам страну. Старорежимную бюрократию сменила новорежимная с такой быстротой, что истинные творцы революции и опомниться не успели. Ленин писал: «Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальны, чтобы не сказать отвратительны, что мы должны сначала подумать вплотную, каким образом бороться с недостатками его, памятуя, что эти недостатки коренятся в прошлом, которое хотя перевернуто, но не изжито...»

Настоящее, объявленное социалистическим, бюрократы превращали в перевернутое прошлое. Привычка к демократии в народе еще не образовалась, а привычка к бюрократии со времен самодержавия была готовенькая. Бюрократия многим казалась необходимым «железным» обручем, без которого все общество рассыплется, как бочка незадачливого бондаря, на отдельных согнутых в дугу людей. Сталин в дополнение к железным обручам бюрократии набил на разошедшуюся, безнадежно протекающую бочку как дополнительный обруч железную корону социалистического самодержца. Бюрократия сама внушала народу свою необходимость: «Бюрократия имеет заслуги перед народом: она склеила расплывшиеся части народа, пронизала их волей к порядку...»

В рассказе «Мусорный ветер», написанном о фашистской Германии по классическому методу лермонтовского варианта: «Прощай, немытая Турция...», Платонов так нарисовал пейзаж бумажного психоза бюрократии: «Миллионы теперь могли не работать, а лишь приветствовать: кроме них, были еще и сонмы, и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и безымянными». Почти одновременно с Платоновым Мандельштам описал муссолиниевскую Италию с такой же отечественной пронзительностью:

И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

Ассоциативность возникла не от лукавых аллюзий, а от фатально общей атмосферы массового психоза, хотя в разных странах он носил наоборотные, противостоящие формы.

Бюрократия была арматурой, а сам психоз — тюремным цементом внутри этой арматуры, когда начали отделять глухой стеной от всего остального мира Артель Четырнадцати Красных Избушек. Девочка спрашивает про меридианы на географической карте: «Дядя, что это такое — это загородки от буржуев?» — «Загородки, девочка, чтобы буржуи к нам не перелезали», — объяснил ей Чиклин, желая дать ей революционный ум». Как пророческая пародия на глушение иностранных передач звучит такой разговор в двадцатых годах: «...сказывали, белые буржуи сигналы по радио дают. Слышишь, опять какой-то гарью понесло... Это воздух от беспроволочных знаков подгорает...» «Махай палкой! — давал немедленный приказ Кюпенкин. — Пугай ихний шум — пускай они ничего не разберут...»

Бюрократия для самоспасения нуждалась в фетишизации государства как Высшего Существа, Высшего Разума. За сегодняшнее, ставшее во время перестройки привычным выражение «не человек для государства, а государство для человека» в платоновские годы могли бы «закатать десятку».

«Без государства ты бы молочка от коровы не пил!» — «А куда ж оно делось бы?» — «Кто же его знает, — куда! Может, и трава бы не росла... В африканской Сахаре вон нету государства, и в Ледовитом океане нет, от этого там не растет ничего — песок, жара и мертвые льдины...

— Позор таким местам! — твердо ответил Леонид...»

Бюрократия для самоспасения нуждалась в фетишизации партии, против чего всегда восставал ее основатель — Ленин. «А ты покажь мне бумажку, что ты действительно лицо!» «Какое я тебе лицо! — сказал Чиклин. — Я никто: у нас партия: вот лицо!» Бюрократия, чтобы отвлечь трудящихся от мыслей о борьбе с ней, с бюрократией, нуждалась в фетишизации классовой борьбы: «Комитет партии послал сюда, в «Родительские дворики», — Надежду Босталоеву — чтобы разбить и довести до гробовой доски действующего классового врага».

«В районе мне не поверят, что был один убивец, а двое — это уже вполне кулацкий класс, организация».

Бюрократия, для того чтобы превратить живых людей в шпалы индустриализации, нуждалась в фетишизации техники.

«Суенита: «Аэроплан летит над пустыней. Он тоже наш — в нем капля нашей колхозной крови. Пусть летит выше — мы вытерпим». — Ксения: «Во мне молоко пропадает — детей наших с тобой нечем кормить!» — Суенита: «Сукровицу из себя выдавливай, как я вчера своего кормила...» Платонов был первым в советской литературе писателем, который с гоголевско-щедринской силой сказал, что бюрократия — это окаменевший психоз.

Есть ли что материальней, чем нравственность?

Платонов-мелиоратор строил социализм материальный. Платонов-писатель строил в своих книгах социализм нравственный. Но есть ли что материальней, чем нравственность?

Массовый психоз как горная лавина обрушился на нашу страну с так называемых вершин государственного мышления. Эта лавина погребала под собой когда-то пло-

дородные нивы, села, со всем их вековым укладом, церкви, пролетарское достоинство русских рабочих, свободомыслие интеллигенции. Охваченные психозом люди добровольно или от страха превращались в неостановимо катящиеся камни этой лавины, безжалостно кроша всех тех, кто не хотел становиться каменным. Но у тех, кто стал каменным, включая сердце свое, судьба была в конце концов такая же — их тоже раздавливали, крошили следующие камни.

Платонов имел смелость встать поперек лавины, усомниться. Лавина сбила его с ног, потащила вместе с собой, но и внутри лавины, катясь, обдираясь до крови, расшибаясь, он усомнялся и усомнялся. Сомнения Платонова не происходили от ущербно заносчивого желания выглядеть умным за счет высокомерия к людям, к истории. Платонов сомневался, как идущий по деревянной тропе, проложенной над трясинной, сомневается в каждой досточке, пробуя ее ногой, прежде чем за ним пойдут другие люди. Платонов сомневался, как врач, который, прежде чем выписать больному лекарство, сначала пробует его на себе. Такие сомнения драгоценны. Если кто и удерживает до сих пор человечество на краю пропасти, от губельного падения, так это сомневающиеся. Ни в чем не сомневающиеся торжественно маршируют в пропасть. Марш ни в чем не сомневающихся — это марш психоза.

Платонов не маршировал в ногу с современниками, потому что он шел в ногу с потомками, да и то не со всеми. Но Платонов любил современников все-таки больше, чем потомков, потому что он знал их не только по бесчеловечности, но по человечности, а потомки для него были еще дымчатые, неопределенные. Платонов умел любить и заблудших, но любить их не всепрощением, а болью. Даже саму лавину истории, которая швыряла его из стороны в сторону, била его смертным боем, но в последний момент почему-то не решилась ударить по его драгоценной голове, Платонов жалел как живое заблудшее существо. Платонов пытался внушить лавине, что она не такая уж плохая, уговаривал ее остановиться, не уничтожать все дышащее, теплое, разумное. Но в те времена не только прямое противодействие психозу, но и попытки уговорить, образумить выглядели в глазах обезумевших от раздуваемой классовой ненависти как предательство или психопатия.

Петр отводит усомнившегося Макара в милицию. «Товарищ начальник, я вам психа поймал и за руку привел». — «Какой же он псих? — спрашивает дежурный по отделению. — Чего же он нарушал в общественном месте?» — «А ничего, — открыто сказал Петр. — Он ходит и волнуется, а потом возьмет и убьет. Суди его тогда. А луч-

шая борьба с преступностью — это ее предупреждение. Вот я и предупредил преступление». — «Резон! — согласился начальник. — Я его сейчас направлю в институт психопатов — на общее исследование...»

Самозащита психоза — это объявление психопатами всех других, в психоз не впадающих. В годы «застоя» Твардовский поехал в «психушку» выручать из нее попавшего туда Жореса Медведева. Диагноз — параноидальное раздвоение личности — был ханжески поставлен в связи с тем, что Медведев, биолог по профессии, с «анормальной активностью» интересовался политикой, писал письма протеста. Твардовскому удалось выручить Медведева, но в «психбольницу» «засадил» некоторых других. Психоз застоя не был таким настолько жестоким и всеохватным, как психоз сталинских времен, но был гораздо трусливей, оглядчивей — иногда более изощренной, циничней. Несмотря на жестокие или более мягкие модификации психоза, в его основе лежало то же самое политически-медицинское шулерство в определении «нормальности» и «ненормальности». «Если в свое время безошибочно угадывали особенных самодельных людей, то уничтожали их с тем болезненным неистовством, с каким нормальные дети бьют уродов и животных: с испугом и сладострастным наслаждением». Вот что становилось идеалом «государственного жителя»: «Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение, радостное, как сладострастие». Сладострастие повиновения тем, кто выше, прекрасно сочеталось со сладострастием повелевания теми, кто ниже: садомазохизм рабства и власти. Массовый психоз есть множество комплексов неполноценностей, соединенных в лечебный психоконплекс, где насильственно лечат от нормальности.

Всех литературных «психиатров» Платонов раздражал тем, что он беспрестанно «ходил и волновался», да еще позволял себе «усомниться». Само присутствие Платонова в литературе было устыжением тех, кто потерял стыд. Этот вроде бы тихий, вроде бы мирный, ни на кого лично не нападавший, ничье место занять не хотевший, кургузенько одетый, внешне малоприметный, низкорослый человек, которого никто не узнавал в лицо, — вызывал своей самоценностью, «самодельностью» животную зависть и бешенство. Усомнившийся Макар пытается возвать к гражданской совести обитателей ночлежки: «Товарищи работники труда! Вы живете в родном городе Москве, центральной силе государства, а в нем непорядки и утраты ценностей». Пролетариат зашевелился на койках. «Митрий! — глухо произнес чей-то широкий голос. — Двинь его слегка, чтобы он стал нормальным...»

Примерно так же реагировали на прозу Платонова

многие его современники, не желая слышать его воззваний к их совести и разуму, когда под видом наведения порядка создавались непорядки нравственные, а под видом создания социалистических ценностей разрушались ценности национальные, общечеловеческие. Л. Авербах так выразился в своем печатном «диагнозе» о гражданской ненормальности Платонова: «...конкретный смысл платоновского: «Даешь душу!» означает право на ячество, на шкурничество, на себялюбие, как социальный принцип, т. е. правоуклонистские и кулацкие лозунги...» И далее: «К нам приходят с пропагандой гуманизма, как будто есть на свете что-либо истинно-человечнее, чем классовая ненависть». Из свинца классовой ненависти Авербах сам выплавил себе пулю, которой был расстрелян. Другой рапповец, И. Макарьев, назвавший статью о Платонове «Клевета», был оклеветан сам, просидел лет семнадцать. Вернувшись беззубый, лысый, Макарьев по ночам перелезал дачный забор своего бывшего соратника по РАПП Фадеева, кидал из кустов камнями в его погашенные окна и кричал: «Сашка, за тобой лагерные призраки пришли! Ты еще за все ответишь, Сашка!» Макарьев спился, покончил жизнь самоубийством. Фадеев, тоже когда-то критиковавший Платонова, сам никого не посадивший, но вынужденный по должности подписывать информации об арестах писателей, застрелился, терзаемый совестью за свои и не свои ошибки. Постоянно критиковавший Платонова в тридцатых А. Гурвич сам был жестоко оплеван в начале пятидесятых во время кампании против «космополитизма». Если бы Платонов был признан при жизни, он не торжествовал бы над своими критиками, а скорбел бы по этим несчастным людям, запутанным историей и потом жестоко поплатившимся за жестокости, допущенные в затмении разума.

Лишенное религиозного психоза, христианское начало в Платонове несомненно. Социалистическое начало в нем тоже несомненно, но без психоза антирелигиозного. В рецензии на спектакль «Идиот», в 1920 году, совсем еще юный Платонов невольно написал через героя Достоевского свой будущий портрет: «Князь Мышкин — пролетарий: он рыцарь мысли, он знает много: в нем душа Христа — царя сознания и врага тайны. Он не отвечает ударом на удар: он знает, что бить злых — это бить детей». Для Платонова, ставившего выше всего слово «мастер», Христос — это тоже мастер, мастер совести. Платоновский Христос потому враг тайны, что для мастера тайна — это недостаток знания. Мистик, разыгрывающий из себя «царя бессознательности и врага тайны», не способен ни взойти на Голгофу, ни написать «Войну и мир», ни создать теорию

относительности. Платонов понял совесть как ежедневный труд.

Идолы, созданных массовым психозом, сами массы когда-нибудь разбивают. Парадокс истории в том, что массы в конце концов называют великими именно тех, кто не поддался массовому психозу.

Надежда без предварительных условий

Жаль, что молодой Хаммер не встретился тогда, в двадцатых, с молодым воронежским мелиоратором Платоновым, под чьим личным руководством за 4 года в губернском земельном управлении было сделано 763 пруда, 316 шахтных и трубчатых колодцев, возведено 800 плотин, 3 электростанции, осушено 7600 десятин земли, организовано 240 мелиоративных крестьянских товариществ (!!! — *Е. Е.*). Этим двум полным бешеной энергии молодым деловым людям из разных систем поставить бы общее дело выше всякой идеологической болтовни, подружиться бы, объединиться да и отгрохать вместе что-нибудь такое, чтобы весь мир ахнул! Но политический психоз ставил себя выше народной выгоды. Взаимовыгода в отношениях с капиталистическим миром считалась опасной ересью — нам не может быть выгодно то, что выгодно им. На той стороне океана был и есть такой же наоборотный политический психоз. Реакционеры всего мира соединяются гораздо быстрее, чем пролетарии.

Сталин, проводя индустриализацию, надеялся на приятные параллели с Петром Первым. Однако Сталин, в отличие от Петра, который даже перебарщивал в западничестве, смертельно боялся «растлевающего влияния Запада» и зарешетил окно в Европу, прорубленное Петром. Петр самолично стриг бороду боярам, а Сталин стал насаждать боярство номенклатуры при помощи страха и подкупов «синими пакетами» (вторая неофициально вручавшаяся зарплата). Сталин подражал не Петру-плотнику, а Петру-палачу. Ключевский так характеризовал отрицательные черты Петра: «Вводя все насильственно, даже самодеятельность вызывая принуждением, он строил правительный порядок на общем бесправии, и поэтому в его правоммерном государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживляющего элемента, свободного лица, гражданина». Без свободного мышления и советская экономика не могла развиваться свободно. Припадочные закупки иностранной техники, как, например, экскаваторов «Марион», которые осваивал Платонов, не выручали. Один старый тассовец рассказывал мне, что перед самой войной

ТАСС закупил на валюту четыре фотоаппарата «лейка» по личной разрешительной резолюции Сталина. Изолированная от мирового развития, сталинская индустрия то делала успехи благодаря нечеловечески напряженному труду народа, то пробуксовывала на лужах крови, подтекавших под гусеницы экскаваторов. В своей автобиографии Платонов писал, почему он бросился именно в технику, а не в литературу: «Засуха 1921 года произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой». Но вера Платонова только в технику как в спасительный Архимедов рычаг подорвалась, ибо этот рычаг часто находился в руках романтически невежественных либо цинически равнодушных. Вот отрывки из писем Платонова 1926 года: «Обстановка для работы кошмарная, склока и интриги страшные...», «Мелиоративный штат распущен, есть форменные кретины, доносчики. Хорошие специалисты беспомощны, задерганы...» В ранней юности сам социальный утопист, Платонов быстро излечился от соблазна социальных утопий горькой реальностью, как перееханная грузовиком собака излечивается безымянными, но генетически известными ей горькими травами. Неумному оптимизму всеверия Платонов, однако, не предпочел только кажущийся умным пессимизм все неверия. Но моменты пессимизма были: «Иногда мне кажется, что у меня нет общественного будущего, а есть будущее, ценное только для меня одного...» «Без меня народ неполный», — однажды сказал Платонов. Но он и сам был неполным без народа. Когда Платонов полностью посвятил себя литературе, она оказалась делом далеко не созерцательным, а еще более каторжным. Как и в мелиорации, здесь встретились еще худшие склоки, интриги, форменные кретины и кретины в форме. Но у литературы есть преимущество перед техникой: не претворяемые в жизнь технические проекты неминуемо устаревают, а запрещаемые великие рукописи вырастают в своем значении. Так случилось с «Котлованом», «Чевенгуром», «Ювенильным морем», пришедшими к нам через пятьдесят с лишним лет. Что же поддерживало дух Платонова?

Надежда на то, что напечатают при жизни, или — на то, что напечатают после смерти?

Надежда без предварительных условий. Надежда без торговли с жизнью или смертью.

Платонов в статье о Пушкине поставил живого, теплого человека выше холодного бронзового символа государственной мощи: «Евгений тоже ведь «строитель чудотворный» — правда, в области, доступной каждому бедня-

ку, но недоступной «сверхчеловеку»: в любви к другому человеку».

Платонов тоже был чудотворным строителем любви к человеку. Имя этого человека — народ.

Бронтозавры, дающие молоко?

Когда человека любишь, его надо предупреждать обо всех грозящих опасностях, даже если эти опасности сидят у него в душе, в характере, в привычках. Так же и с народом. Льстят народу, заигрывают с ним — от равнодушия. Говорят от имени народа, чтобы использовать народ. Когда настоящий писатель говорит народу горькую правду, народ обижаться не должен, потому что через писателя сам народ говорит с народом. В «Котловане» есть такой вопрос: «А зачем тебе истина? Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко».

Действительно, зачем людям истина? Ведь от нее может стать гадко не только снаружи, но и в уме. Почему, судя по нынешним письмам в газеты, многие читатели так настырно добиваются, например, точной цифры арестованных и убиенных в сталинское время, точной цифры сегодняшних заключенных, преступлений, самоубийств? Простое любопытство? Или все-таки желание понять истину философскую при помощи истины фактической? Что нам легче, что ли, станет, если мы узнаем все эти цифры? Нет, станет трудно. Но зато станет труднее и делать новые ошибки: ужаснуться истине — залог неповторения ужаса. Достаточно ли мы ужаснулись сталинскому террору, Чернобылю, чтобы этот ужас не повторился?

Все тот же Арманд Хаммер, уже переживший Платонова на целых тридцать семь лет, помог нам медикаментами после чернобыльской катастрофы. Отчего она произошла? Платонов дал нам предупредительный ответ вперед, но мы не захотели расслышать. Вот он: в сневидении Макар увидел гору, а на той горе стоял научный человек. Макар лежал под той горой, как сонный дурак, ожидая от научного человека либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и молчал, думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре...

Для Платонова целостный масштаб состоял именно из частных Макаров, в отличие от его «государственного жителя», считавшего, что «сочувствовать надо не переходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в лице государства». Идеализация государства, возвышение его над человеком — такая же опасная нелепость, как возвышение администрации гостиницы, дежурных на этажах

и другого обслуживающего персонала над проживающими в гостинице людьми, которых они обязаны обслуживать. Но у нас именно так произошло и с государством, и с гостиницами. А представьте себе, что дежурные на этажах начнут диктовать писателям, проживающим в гостиницах, о чем они должны писать, о чем не должны: что они не должны писать о недостатках и трагических происшествиях в гостиницах. Там, где начинают бояться трагедий, описанных печатным словом, там — начало новых трагедий в реальности.

Люди — существа опасно короткопамятные. Ретроспекция преступлений нас не всегда глубоко впечатляет, иногда и смешит. Гитлер, театрально прижимающий руки к сердцу и выпучивающий жабы глаза в телевизионном документальном фильме, выглядит сейчас пародией его чаплинского прообраза; Сталин на том же экране, вскидывающий снайперскую винтовку, — это страшноватая, но все-таки безопасная ныне пародия. Спрашиваешь себя: как столько миллионов людей когда-то могли верить таким, явно пародийным, кровавым персонажам?

Многие персонажи Платонова и их идеи тоже могут сейчас показаться пародийными, ирреальными. Ну, например, зоотехник Високовский, одержимый идеей, что «эволюция животного мира, остановившаяся в прежних временах, при социализме возобновится вновь, и все бедные, обросшие шерстью существа, живущие ныне в мутном разуме, достигнут судьбы сознательной жизни». Разве не откровенно пародийна такая идея инженера Вермо: «Не пришла ли пора отойти от ветхих форм животных и завести вместо них социалистические гиганты вроде бронзозавров, чтобы получать от них по цистерне молока в один удой...»? Пародийно? Но разве это более смешно, чем не такая давняя идея кукурузного помещательства? Утопия опасней реальности, потому что соблазнительней, чем реальность. Томас Мор, Кампанелла и другие платонические утописты манипулировали только своими фантазиями. Но утописты, манипулирующие целыми народами ради того, чтобы впихнуть их в прокрустово ложе утопии, даже если и придется поорудовать топором, предают то чистое, целомудренное желание всеобщего счастья, которое было изначальным смыслом утопии. Такие утописты могут быть людьми, лишенными палаческих устремлений, но если им не хватает культуры, ответственности за свои действия, то рано или поздно они неминуемо превращаются в уже далеко не «святую простоту», палаческую с людьми и матерью-землей, ибо, как сказано в Библии, «не ведают, что творят». Но имеют ли люди право творить, не ведая того, что творят?

*Откуда взяться культуре руководства
без культуры первичной?*

Инженер Вермо, ведали ли вы, что творите, когда хотели осуществить «седьмое условие Сталина» — ставку на «творческого пролетарского человека» с тем, чтобы изобретение стало способом работы?

Платонов, сотворивший вас из сырого сучковатого полена реальности, словно добрый папа Карло — злоецкую версию Буратино, тоже мечтал о том, что «творческий изобретательный труд лежит в самом существе социализма». Но то, что вы делали с человеческими душами, с природой и даже с животными, совсем не походило на социализм, инженер Вермо. На вашу не осуществленную в двадцатых завиральную психованную идею «давайте покроем всю степь, всю Среднюю Азию озерами ювенильной воды!» все-таки клюнуло брежневское правительство, утвердив проект плана переброски северных рек. Это был мелиоративный психоз, достойный книги рекордов Гиннесса! Я не требую от вас дворянского генеалогического древа и французских гувернеров, инженер Вермо, но все-таки нельзя браться за переустройство России без элементарной первичной культуры. Нельзя пускаться в социальные эксперименты, не прочтя «Бесов» Достоевского — там много серьезных предупреждений. Если вы еще живы, я рекомендовал бы вам прочесть и «Елифанские шлюзы» вашего создателя — Андрея Платонова, где так страшно написана «кровавая грязь в колесе», и заодно повесть «Ювенильное море», где изображены вы сами, инженер Вермо, как социальный психопат с невинными глазами ребенка, выпавшего из колыбели. Если бы вы знали, инженер Вермо, насколько оказался лишенным и творческих и пролетарских прав этот обещанный Сталиным «творческий пролетарский человек»! Почитали бы вы, инженер Вермо, ранний роман Дудинцева «Не хлебом единым» о судьбе изобретателей, натывавшихся со своими идеями технической революции на непробиваемую стену. Непобедимый изобретательский талант нашего народа продолжал творчество даже в «шарашках» — вспомним хотя бы Туполева, создававшего за колючей проволокой проекты красноразветных самолетов. Но это было не благодаря, а вопреки. Кибернетика в словарях сталинского времени называлась лженаукой, Сахарова пытались отлучить от науки только за то, что испугались слова «конвергенция» больше, чем водородной бомбы. Проежктерство и страх саморазвития — это сиамские близнецы. Разве в этом страхе саморазвития не были виноваты такие безответственные переустроители мира, как вы, инженер

Вермо? Вам советовал Ленин учиться не переставая, постоянно, а вы вместо этого начали сами учить все человечество. Вы начали тащить историю вперед за волосы, забыв присоветованные Платоновым слова Николая Арсанова: «Достаточно оставить историю на пятьдесят лет в покое, чтобы все без усилий достигли упоительного благополучия». Вот как лихо решает узловые проблемы истории Коленкин: «Ты что за гнида такая, сказано тебе от губисполкома — закончить к лету социализм!» Похожее по безответственности заявление о том, что наше поколение будет жить при коммунизме, мы слышали от Хрущева, поразительно похожего и лексикой, и характером на многих далеко не худших ранних героев Платонова. Хрущеву понравилась бы, например, идея решения жилищного кризиса путем выращивания гигантских тыкв, в которых будут спать доярки и гуртоправы. Если вас не расстреляли в тридцать седьмом, инженер Вермо, то, возможно, вы стали начальником, как Макар и Петр, которые в конце концов добились, что и те, кто «волнуется и ходит», сами стали принимать в своих кабинетах других «волнующихся и ходящих». Но отсутствие у этих начальников первичной культуры привело к тому, что «трудящиеся стали думать и решать за себя в квартирах». А ведь раньше Петр вычитывал у Ленина только то, что ему, Петру, необходимо было для оправдания своей жажды стать начальником: «Побольше надо в наших учреждениях рабочих и крестьян. Социализм надо строить руками массового человека».

Но семидесятилетняя практика нашего государства показала, что многие крестьяне и рабочие, став начальниками, перерождаются, теряют чувство собственного класса. Ставка на руководителя как на массового человека не оправдалась. Для того чтобы вести за собой массы, надо быть чем-то большим, чем просто «массовый человек». Надо обладать и культурой как таковой и культурой руководства. Но откуда же взяться культуре руководства без культуры первичной?

Тогда получают либо Умришев с его спасительным: «Не суйся. Чем старина себя спасла? Тем, что не совалась...» Либо сующаяся всюду Федератовна: «Я всю республику люблю. Я день и ночь хожу и щупаю где что есть и где чего нет... Мы их кокнем!» Либо романтически склонная к прожектерам Босталоева, которая, к счастью, «начать эту работу стеснялась, потому что не понимала еще внутреннего устройства земного шара и не видела ни разу вольтовой дуги...». Отсутствие элементарных философских знаний у таких руководителей подменяется философией доморощенной, ибо нельзя же руководить людьми хотя бы

без видимости идеи... Тускленькая, тухленькая философия Умришева: «Каждому трудящемуся нужно дать в его собственность небольшое царство труда... Один, например, чистит скотоместа, другой чинит по степи срубовые колодцы, третий — пробует молоко — какое скисло, какое нет, — каждый делает свое дело, и некуда ему больше соваться». Философия Федератовны — приказная, бросающая людей, как мясо, прямо в кипящий котел классовой борьбы: «Старайся, старайся, активничай, выявляй, помогай, бодрствуй, мучитель советской власти...» Но когда Федератовна плачет, она, стесняясь своих слов, говорит секретарю: «Ты пиши, пиши наше партийное, а мое бабье, старое наружу выходит...»

Нечаянная бесчеловечность к другим начинается с того, когда начинают стесняться простых человеческих чувств. Беззаветная романтика Босталоевой кончается полным отчаянием, когда к техническим чудесам социализма не хватает комплектных деталей. Босталоева просит у начальника полторы тонны проволоки-катанки, из которой она задумала нарубить гвозди, не существующие на данном этапе социализма. Начальник, готовый помочь ей с проволокой в порядке натурального обмена на ее тело, осторожно спрашивает: «А вы не обидитесь?» Босталоева отвечает: «Не обижусь, потому что привыкла. Прошлый год я доставала кровельное железо, мне пришлось за это сделать аборт».

Жутко становится от этого столкновения возвышенной утопии с ухмыляющейся мордой реальности. Философией Босталоевой становится покорная привычка к тому, что ради прекрасного все время приходится делать что-то унижительное, гадкое. Новые утописты-циники хотят утопить утопистов-романтиков. Кемаль уже кричит на Босталоеву: «Ты же все лозунги извращаешь, ты с природой, ты с отсталостью примирялась здесь, нервная ничтожность...»

Некрасивое отношение к женщине, да еще и к товарищу по социализму, не правда ли, инженер Вермо? Но вы ведь сами думали о ней еще хуже — на химические элементы в интересах социализма ее тело раскладывали! Вы, инженер Вермо, были первооткрывателем бюрократической игры — сокращения штатов: «Что если мы ликвидируем пастухов, а коров передадим быкам... Бык этот умник, если его приучить к ответственности: субъективно бык будет защитником коров, а объективно нашим пастухом: штатное многолюдство — это отсталость...»

Бюрократические штаты даже за полвека вам не удалось сократить, инженер Вермо, а вот что удалось сок-

ратить — так это число талантливых, самостоятельно думающих людей.

Сейчас вы, наверно, на пенсии, инженер Вермо. Ворчите на то, что всюду очереди, что перестройка идет за- торможенно. Но ведь это именно такие, как вы, инженер Вермо, начали тормозить сегодняшнюю перестройку еще в двадцатые годы. Успешнее всего тормозят прогресс безответственным ускорением истории. Находясь на пенсии, вы, так сказать, диссидент справа.

Когда тех, кто потенциально опасен для перестройки, вежливо отправляют на пенсию, — это соблюдение национальной безопасности.

Чучело больше и страшней

Платонов благоговейно писал о происхождении мастера. Будь он жив, сегодня он написал бы об исчезновении мастера.

У самого Платонова лицо почти исчезнувшее из почти обезнароденного народа — лицо русского мастерового, знающего цену не только себе, но и другим: кому — грошовую, кому — неплатную.

Фронтные товарищи Платонова вспоминают, что, остановившись на ночлег в какой-нибудь обезмужичевшей избе, Платонов всегда брал в ум и дырявую крышу починить, и дровишек наколоть.

Году в 50-м в литинститутском дворике мне «показали» Платонова. Он счищал снег с аллеи деревянной лопатой, обитой по краям жестью. Платонов, в потрепанном пальтишке, в кроличьей потертой шапке с опущенными ушами, двигал лопатой столь размеренно, столь привычно, что был похож на обыкновенного дворника. Даже эту работу он делал уважительно и к снегу, и к лопате. Тогда Платонова не печатали, не писали о нем, его только показывали, да и то издали. Мой старший друг — геофизик, ставший впоследствии критиком, — В. Барлас без выноса из квартиры дал мне почитать редкостную тогда книжку «Река Потудань». Она ошеломила меня, озадачила, околдовала. У меня было такое чувство, как будто меня ввели в потайное подземелье, где от недоброго глаза и злой руки спрятаны дива дивные. Платоновские слова под светом выхватившей их из мрака колеблющейся свечи заиграли, засияли, замерцали, как драгоценные камни, о которых я и слыхом не слыхивал. Так и жила наша страна, надевавшая в торжественных случаях пышную и жалкую бижутерию и пряча в подземелья от самой себя и от других истинные сокровища. Когда кровавый психоз кончается, то еще надолго инерционно остается психоз умолчания.

Главное чудо прозы Платонова в том, что она, несмотря ни на что, написана и что стала, по его же выражению, «веществом существования». Платонов оставил нам, своим потомкам, отравленным лживой историей, свои бесценные свидетельства «самодельного человека». В «Котловане» Воцев рассуждает так: «Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая. Как будто один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе». Платонов оказался одним из этих немногих, среди которых были и Вавилов, и Чайнов, и Войно-Ясенецкий, и чудом выживший Лихачев. Но собственное избранничество не могло слишком радовать Платонова, ибо убежденное чувство он хотел видеть щедро рассыпанным по всему народу, не обделяя ни одного усомнившегося Макара. Платонов не сваливал все народные беды на вождей и бюрократию. Бюрократия, по Платонову, — лишь порождение социально-исторического психоза, охватившего все слои населения, включая интеллигенцию и временно — самого Платонова. Платонов был народом, осуждавшим сам народ не только за то, что он позволял делать с собой, но и за то, что народ делал с собой сам. Бюрократия — это оплачиваемое народом пренебрежение к народу.

Усомнившегося Макара вытаскивают из колодца мужики под командой Чумового, «который боялся, что погибнет гражданин помимо фронта социалистического строительства». Значит, на социалистическом фронте погибать естественно? Привычка к массовому заклинанию конкретных людей во имя абстрактного «народа» — вот что было страшным следствием психоза. Хоз ядовито высмеивает детскую по разуму, но кровавую по результатам игру во врагов и друзей: «Классовый враг нам тоже необходим: превратим его в друга, а друга во врага — лишь бы игра не кончилась». Старший пастух Климент считал, что врагов надо ценить, а если нужно, то и производить, иначе без врагов вся классовая борьба — насмарку: «Злой человек — тот вещь, а смиренный же — ничто, его даже ухватить не за что, чтобы вдарить!» Сталинская доктрина обострения классовой борьбы по сути была производством «злых людей» для последующего «ухватывания» их, чтобы вдарить. Хоз недоуменно спрашивает Антона: «Зачем ты это чучело поставил — три трудовня истратил. Расточительство!» Антон: «Пугать классового врага! Чучело больше человека и страшней!» В пьесе «14 Красных избушек», написанной в 1937—1938 годах, Платонов уже тогда зафиксировал, что государственное производство классовых врагов уравнивается производством мраморных и бронзовых чучел. Психоз, набирая инерцию, забывает про свою первоначальную цель — уничтожение врагов.

Уничтожение начинает руководить психозом, а не психоз — уничтожением. Дванов, арестовывая того, кто, по его мнению, должен быть бандитом, удивляется, что тот не похож на бандита, а обыкновенный мужик и вряд ли богатый. «Ты кулак?» — «Нет, мы тут последние люди, — вразумительно ответил мужик. — Кулак не воюет: у него хлеба много — весь не отберут».

Кочевая профессия мелиоратора измотала Платонова, но в то же время позволила ему «прижаться к фактам», почувствовать болевые точки израненного гражданской войной тела страны, которое продолжали ранить, кромсать, ковырять дилетантские безграмотные руки политических и экономических коновалов. Деревня была первой жертвой утопического психоза. А настоящих деревенщиков — защитников крестьянства в литературе тогда почти не осталось. Спасительные идеи Чаянова были заданы вместе с автором. Даже в книге В. Васильева «Андрей Платонов» (1980) Чаянов, выдающийся защитник крестьянства, называется «антисоветски настроенным». Есенин с душераздирающей печалью писал: «Я последний поэт деревни», — некрасовская линия прервалась. Пролеткультовская космическая гигантомания, которой отдал свою дань в юности Платонов, породила «заграночную псевдопоэзию». Маяковский непростительно для его великого таланта просмотрел нараставшую трагедию деревни, написал плакатно-лубочное: «Сидят папаша, каждый хитр, землю попашет, напишет стихи». При всей моей любви к «Тихому Дону», к чубатому казацкому Гамлету — Григорию Мелехову и к Аксинье шолоховский Давыдов не вызывает у меня симпатии такими своими аргументами: «Кулака мы терпели из нужды: он хлеба больше, чем колхозы, давал. А теперь — наоборот. Товарищ Сталин точно подсчитал эту арифметику и сказал: «Уволить кулака из жизни...» Теперь-то мы с вами знаем, что под видом кулака увольняли из жизни середняка, на котором держалось хлеборобство российское. Товарищ Сталин совсем неточно подсчитал арифметику. Мы по сталинским фальшивым счетам до сих пор расплачиваемся и расплатиться не можем. Хоз, ставший счетоводом, вдруг бросает надоевшие ему своим шелканьем бухгалтерские костяшки: «Пусть они будут счастливы приблизительно... Все равно — всякий учет и счет потребуют потом переучета».

Перестройка — это время великого переучета. Не все писатели выдерживают испытание великим переучетом. А вот Платонов выдерживает — и как мастер, и как гражданин. Как мастер — потому что он чурался приблизительных слов. Как гражданин — потому что он презирал приблизительное счастье.

Судьба прозы Платонова была подобна так описанной им судьбе пушкинской Татьяны: «Она походит здесь на одно таинственное существо из старой сказки, которое всю жизнь ползало по земле и ему перебили ноги, чтобы это существо погибло, — тогда оно нашло в себе крылья и взлетело над тем низким местом, где ему предназначалась смерть».

Сейчас борются две точки зрения на время так называемого Великого Перелома, который превратился в перелом костей тех, кто не захотел сгибаться. Первая точка зрения: выдвигание именно такого самодержавного человека, как Сталин, насильственная коллективизация, индустриализация на костях были исторической неизбежностью.

Вторая точка зрения: была альтернатива гуманистическая — развитие кооперации, гласности, демократии, добровольной коллективизации (бухаринский вариант). Альтернативный вариант на пост генсека не называется. Победил первый вариант, и все случилось по платоновскому предсказанию из «Котлована»: «Ну что ж, вы сделаете из республики колхоз, а вся-то республика будет единоличным хозяйством!»

Кроме бухаринской были, конечно, и другие альтернативы. Насколько мне известно, Платонов ни одну из них прямо не поддерживал и вообще прямой профессиональной политикой не занимался. Но сейчас очевидно, что по мастерству социально-политического анализа Платонов оказался впереди и Сталина, и Бухарина, и многих других. Разгадка неучастия Платонова в ежедневной политической борьбе была, видимо, в этом. Не случайно Платонов анализировал отсутствие Пушкина на Сенатской площади так: «Мы хотим поставить вопрос — не обладал ли Пушкин более точным знанием и ощущением действительности, чем декабристы? И затем — не играл ли он пассивную роль в декабрьском движении по собственному почину? Иначе следует допустить, что великий поэт, будучи человеком храбрым, несчастным и гениальным, отказался принять участие в улучшении своей и всеобщей судьбы, то есть оказался человеком, мягко говоря, недалеким и легкомысленным. А мы знаем, что Пушкин применяет легкомыслие лишь в уместных случаях...» («Пушкин наш товарищ»).

Писатель Андрей Платонов предпочел не карабкание по хребтам истории в групповой альпинистской связке, а свободный полет. Но летел он так, что увидел и целостный масштаб, и каждого частного Макара. Проза

Платонова — это взлетевшая над своим временем гениальная русская мысль.

Он был рожден как писатель для того, чтобы писать о любви. Вот шепот, подслушанный Чагатаевым в «Джан»: «...никакого добра у нас с тобой, я все думала-передумала, и вижу, что люблю тебя...» — «Я тоже тебя, — говорил муж, — иначе не проживешь...»

В «Реке Потудань» Люба говорит: «Люди умирают потому, что болеют одни и некому их любить, а ты со мною сейчас...» Но Платонов боялся любви «в идеальной, чистой форме, замкнутой в самой себе, равной самоубийству», и боялся литературы, подобной такой любви.

Платонов учит нас тому, что «пролетариату психоз не нужен», а нужна любовь — иначе не проживешь. Платонов продышал лед на стекле времени и додышался до нас. Во всем советском периоде русской литературы нет писателя чище и любовней к людям. О Платонове можно сказать чувствами Фро, вызванными музыкантом: «Этот человек, наверное, и был человечеством». В предисловии к своей ранней книжке стихов «Голубая Глубина» Платонов писал: «Мы ненавидим наше убожество, мы упорно идем из грязи... Из нашего уродства вырастет душа мира». Тот, кто не лгал о прошлом, не солжет и о будущем.

Выбор

(Над страницами последнего романа Василия Гроссмана)

Какое все-таки счастье для истории, для нас с вами, что раз за разом подтверждается: рукописи не горят.

Сейчас, когда читатель едва успевает, закончив «Новое назначение» А. Бека в «Знамени», схватиться за «Белые одежды» В. Дудинцева в «Неве», когда к нам «Ювенильным морем» в «Знамени», «Котлованом» в «Новом мире», «Чевенгуром» в «Дружбе народов» явился А. Платонов и Владимир Тендряков продолжает благородную традицию демократического русского реализма посмертными публикациями, я вспоминаю свой шкаф в журнале «Новый мир». Вернее, одну его полку.

390

Пожелтевшая верстка романа А. Бека «Новое назначение» — с шестьдесят седьмого года лежит, с того момента, когда остановили публикацию. Время от времени ее снимали с полки, начиналась очередная «операция» — попытка опубликовать роман, и снова в своей красной папочке верстка укладывалась на полку — ждать своего

часа. Дождалась, изменились времена. Жаль только, что появился роман не на своей «родине», не в «Новом мире». Но это уже частности.

Там же, на этой полке, хранились две рукописи В. Тендрякова — «Чистые воды Китежа» и «Покушение на миражи», прекрасный рассказ Б. Можая «Старица Прошкина», подготовленный к печати, всеми подписанный и остановленный, верстка пьесы М. Рощина «Эшелон», рассказ П. Нилина «Московский доктор», роман А. Азольского «Степан Сергеевич», побывали здесь «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, первая часть «Белых одежд» В. Дудинцева... Много чего накопили на этой полке разные поколения новомирцев к середине восьмидесяти третьего года. Тогда, нам казалось не без оснований, были перекрыты все возможности для появления правды о причинах и следствиях развития мира, в котором мы живем. Полной правды — не дозированной, не осколочком. Той правды, что не знает запретных тем, бесстрашно проникает в трагические страницы народной жизни и в самые спрятанные тайники человеческой души. В литературе, несущей такую правду, жив, не угасал никогда дух свободолюбия и независимая позиция писателя.

Можно лишь с горечью и гордостью представить себе, как изменилась бы картина нашей литературы, если бы в ней в свое время появились такие вершины, как ахматовский «Реквием» или «По праву памяти» Твардовского, появился бесценный запас, что долгие годы хранился на полке «Нового мира». Их участие в литературном процессе — не только в факте их публикации. Их участие — это влияние на новую, рождающуюся литературу, изменение, укрупнение ее тематики, возвращение к подлинным критериям гражданственности и художественности, демократизации ее подходов к человеку и обществу. (В доказательство этой мысли — вспомните, какой взрыв в мировой литературе вызвала публикация «Мастера и Маргариты» Булгакова, каким мощным и непреходящим оказалось влияние этого романа.)

Сейчас мы, как и подобает народам с многовековой историей, бесстрашно, хотя зачастую и с горечью, всматриваемся в свое прошлое и не хотим потерять или заболтать то истинное, общее, что составляет судьбу народа. И сейчас не грех вспомнить о мужестве и беспокойной совести нашей литературы. Вернее, той ее части, которая единственно достойна называться — литература.

С кровавыми потерями, купюрами, мучительными перефразировками приходила к читателю правда о народной жизни, приходила все эти годы из военных повестей

Некрасова, Бондарева, Быкова и Бакланова, из прозы Пановой, Семина, Абрамова, Трифонова, Астафьева, Распутина, Айтматова, Залыгина, Грековой, Адамовича, Градина, Матевосяна, Крона, Друцэ... Можно называть еще имена, дело не в количестве. Дело в мужестве и ответственности истинной литературы перед народом, в ее непреходящей боли за народную судьбу.

Литература не молчала никогда. Мы отчетливо понимаем это сейчас, когда критерии начинают отвечать реальному состоянию дела, когда подделки перестают казаться искусством и что чего стоит — определяется не количеством изданий, ни филиппиками и панегириками критиков, а качеством написанного. Даже сейчас, когда публицисты, социологи, экономисты день за днем все глубже проникают в состояние общества и хозяйства, когда потрясение от обрушившейся на нас безжалостной и откровенной правды сменяется трезвым и последовательным анализом происходящих в стране процессов, когда оказалась развенчанной идея слепой веры и выплеснулись наконец публикации, доказавшие, что рукописи не горят, именно сейчас важно понять, как много может сделать литература в пробуждении народного самосознания.

И еще. Можно горевать, что первая волна демократизации нашей жизни, попытка разгерметизации, связанная с XX съездом партии, с опьяняющим ветром свободы 50-х годов, захлебнулась, и общество оказалось ввергнутым в культ без личности, тиной и ряской подернулась общественная жизнь, затормозились так мощно начавшиеся экономические и социальные преобразования. Но, горюя, не надо забывать: именно волна свободы и гласности тех лет, демократической раскованности принесла литературу, которая была обращена к человеку. Не клялась его именем, но помнила и не давала забыть о том, что государство существует для гражданина, а не наоборот, что человеческое достоинство — в свободном самоизъявлении, в безбоязненном умении самостоятельно мыслить и действовать, не давала забыть о мужестве и чести. О том, что благополучие Отечества, судьба народа зависят от каждого из нас. Не на словах — на деле.

Думаю, что бескомпромиссность философской и исторической концепции романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в большой степени продиктована надеждами середины и реальностью конца 50-х. Развернутой, желанной программой демократических свобод, признанием права смотреть в глаза правде, как бы она ни обжигала, и — неприятием фарисейского бегства от

правды — единой и неделимой — в ручейки и переулочки, в осколки правды «малой», «большой», «частной», «закрытой», для «элиты», для «кругов» и проч.

Разумеется, этот роман, который пролежал невесть где почти тридцать лет, рожден высоким и трагическим опытом великой войны и сложнейшего послевоенного времени. Пламенная острота его публицистической линии; прямолинейная безоглядность взгляда на свободу как на основной и единственный принцип жизни; знак равенства между жизнью и свободой; настойчивая, уверенная мысль, что жизнь гибнет там, где насилию удается стереть ее многообразие, ее вольное течение; твердая однозначность утверждения: природное стремление человека к свободе не истребимо ничем, перед ним бессильна кровавая жестокость, любые ухищрения тоталитарного государства, в неизменности человеческого стремления к свободе — приговор насилию и тирании; наконец, отчаянная страстность, с какой отстаивает писатель принцип равенства свободы и жизни, — во всем этом прочитываются предостережение и надежда. Предостережение человека, увидевшего, что началось отступление в поисках объективного взгляда на историю и формулой умолчания закрываются ключевые ее моменты, снова сужается русло народной жизни. Надежда — на здравый смысл и бесстрашие народа, не сгоревшего в сталинградском пекле, отвоевавшего право на свободный выбор своей судьбы в беспримерной по жестокости битве с фашизмом.

В романе «Жизнь и судьба» Гроссман, как никогда прежде, — художник и исследователь. Не дающий себе ни в чем поблажки, он взрывает до того закрытые или прикрытые темы, проходит множество пластов, хочет добраться до сути. В конце восьмидесятых, после XXVII съезда партии и четырех лет перестройки, возглавленной партией, мы читаем роман так, будто он написан сейчас. Все жгучие проблемы нашей жизни, болевые точки, наши сомнения, тягостные раздумья, внутренний консерватизм каждого, когда и понимаешь — общественную жизнь нужно переделывать, это неизбежно, и робеешь перед трудностями этой переделки (ведь переделывать-то приходится прежде всего себя), и испытываешь неуверенность: навсегда ли, точно ли это поворот, не вернется ли все на круги своя? — и опасения: а не отвыкли ли мы от личной — каждого — ответственности, хватит ли силенок? — перестройка-то не вообще, это прежде всего отказ от душевного комфорта, это неизбежное участие — твое, мое, иначе ничего не выйдет, никто за тебя твою долю не сделает. Обо всем этом написал Гроссман в своем последнем романе.

Как представишь: ведь и ему наверняка пришлось преодолеть свою тоску, свою робость перед житейскими обстоятельствами. Роман «За правое дело» критиковали жестоко, обвинения выдвигались отнюдь не художественного плана, а в том романе Гроссман вовсе не был до конца раскован, там нет-нет да и ощутим внутренний цензор,— однако писатель решился. Поистине: «пока не требует поэта к священной жертве...»

В центре романа — Сталинград. Девяносто дней защиты, яростного сопротивления, обороны каждого переулочка, дома, подвала, девяносто дней подвига, ставшего буднями, девяносто дней накопления сил и опыта и — атака танков Новикова, решившая исход битвы, окружение и пленение армии Паулюса. Победа.

«Сталинграду надлежало определить философию истории, социальной системы будущего. Тень мировой судьбы закрыла от человеческих глаз город, в котором шла когда-то обычная жизнь. Сталинград стал символом будущего», — пишет Гроссман. Он строит свой роман так, что конкретика быта, боя, конкретика отдельной судьбы восходит к философии войны, государства, народной судьбы.

В Сталинграде воюют люди из плоти и крови, реальные генералы, чьи имена навеки вписаны в историю Отечественной войны, и явившиеся воображению писателя солдаты и командиры. Гроссман с одинаковой пристальностью всматривается в каждого, перед его беспощадным пером все равны. И каждый проходит испытание не на воинскую отвагу только, но и на честь гражданина, способного, отбросив страх и иллюзии, задумываться над жизнью страны, ее прошлым и будущим.

Старый большевик, деятель международного революционного движения Михаил Сидорович Мостовской на первых страницах романа, подбадривая сотоварищей по немецкому концлагерю, скажет, как само собой разумеющееся, что победим фашизм мы обязательно, а если перед войной казалось, не слишком ли круто и жестоко мы закрутили гайки, то и слепым теперь видно: цель оправдывала средства... И если первая часть утешительной тирады Мостовского — победим обязательно — практически ни у кого из героев романа сомнения не вызывает, то вторая часть — оправдывает ли цель средства, можно ли построить социализм, лишив народ права определять свою судьбу? — выявляет сущность каждого, гражданскую позицию, нравственное, душевное здоровье общества.

То, что сейчас, в конце 80-х, мы узнаем — уже

не по слухам, передаваемым шепотом, а из газет, журналов, с экрана телевизора, из выступлений руководителей партии, — для многих не было тайной и тогда, перед войной, во время войны. И — как подтверждение тому — яростные споры, не менее резкие, чем сотрясают нас теперь, споры, которые герои Гроссмана ведут на передовой и в лагере на Колыме, в немецком концлагере и в эвакуации, в семьях рабочих и интеллигентов. Об обезглавленной репрессиями армии, о колымских лагерях, где заживо умирали тысячи безвинных людей из всех без исключения социальных групп нашего общества, о преступном искажении ленинского кооперативного плана и сталинской насильственной сплошной коллективизации, разрушившей сам уклад крестьянского хозяйствования, ставшей причиной физической гибели тысяч семейств, тех, на ком исстари держалось благополучие России. О резком социальном расслоении общества и социальной несправедливости, о происшедшей подмене, когда клялись: все делается во имя человека, его счастья, а на самом деле насаждали страх и покорность, бездумное исполнительство, плодили души «с лакейкой», сминали, истребляли инициативу и свободомыслие. О мстительной беспощадности «верховного жреца», у которого оснований считать «государство — это я» было куда больше, чем у автора этой печально известной сентенции, ставшей символом королевского абсолютизма.

Гроссман свидетельствует: уже тогда понимали, что «государственная мощь создала новое прошедшее, по-своему вновь двигала конницу, наново назначала героев уже свершившихся событий, увольняла подлинных героев. Государство обладало достаточной мощью, чтобы наново переиграть то, что уже было однажды и на веки веков совершено... Это была поистине новая история. Даже живые люди, сохранившиеся из тех времен, по-новому переживали свою уже прожитую жизнь, превращали самих себя из храбрецов в трусов, из революционеров в агентов заграницы». И это свидетельство, так же как опубликованное недавно полностью письмо Ф. Ф. Раскольникова Сталину, как завещание Н. И. Бухарина, как все документы подлинных строителей социализма, погибших в эпидемии репрессий, необходимы сейчас для нас с вами. Для решимости и действенности нашей перестройки. Совершенно как факт сегодняшнего дня воспринимаем мы в романе мечты одного из героев о нормальной жизни, о правдивой и свободной печати, когда вместо ликующей, захлебывающейся от перечисления наших успехов передовой и рапортов трудящихся великому Сталину — мирным послевоенным утром можно будет про-

честь в газете «знаете что? Информацию! Представляет себе такую газету? Газету, которая дает информацию!».

Правда, то мирное послевоенное утро опоздало лет на сорок с лишним, но пришло же все-таки, мы тому свидетели.

В то время, о котором писал свой роман Гроссман, и долгие годы потом считалось непатриотичным и даже преступным высказывать вслух сомнения, вытаскивать на свет божий то тяжелое, что угнетало, мучило, не давало жить со спокойной совестью. Сомнение объявлялось чем-то противоречащим русскому национальному характеру. Гроссман противопоставляет официальному фарисейству историю маленького гарнизона сталинградского дома 6/1, историю тех, кто, смерти смерть поправ, остались вечно живыми.

Он пишет подвиг обитателей этого дома, ничуть не отступая от основного реалистического принципа своей эпопеи — видеть великое в обыденном. Не хочется ссылаться на «Войну и мир», но все, кто размышляет о романе «Жизнь и судьба», не случайно обращаются к Толстому, влияние его на роман Гроссмана огромно, ощутимо. И батарея капитана Тушина незримо присутствует в доме 6/1. Гроссман пишет невероятную жизнь, единственную действительность, которую принимает максималистское сердце юного романтика-ополченца Сережи Шапошникова, потомка профессиональных революционеров-интеллигентов, сына безвинно арестованного в 37-м отца и умершей в ссылке («за недоносительство на мужа») матери.

Для Гроссмана дом 6/1 — прообраз коммуны. В нем воюют свободные люди, превыше всего ставящие свободу, независимость и равенство. Они по-деловому, просто воюют — тридцать атак отбили, восемь танков сожгли, по многу раз на день делают вылазки в немецкие дома.

Строитель Анциферов, вынужденный перейти от созидания к разрушению, пытается философски осмыслить свою новую профессию, а заодно учится понимать — не хлебом с водкой жив человек. Младший лейтенант Зубарев, учившийся до войны в консерватории, рискуя жизнью, забирается в развалины и поет «О, не буди меня, дыхание весны», потому что хочет доказать не только своим товарищам, но и немцам, что нет, не существует таких истребительных сил, которые могут победить жизнь. Под тяжелым авиационным налетом, среди взрывов, над обрывком лестничной клетки увлеченно читает книжку неряшливый лейтенант Батраков, самоуверенный школь-

ный учитель. Это он, не задумываясь, открывает огонь, чтобы спасти от казни на костре цыганку с цыганенком. Азартно отстаивает свою точку зрения артиллерист Колмейцев, кадровый моряк, — для него все начальники с их должностями и званиями ничего не значат перед каким-нибудь плешивым Лобачевским или усохшим Роме-ном Ролланом.

«Управдом» Греков ведет себя не как командир. Как товарищ с товарищами.

До войны десятник в шахте, техник-строитель, он с наслаждением вспоминает подробности довоенного быта, перебирает обыденнейшие мелочи той, прежней жизни, отношения с женой, всегда готов не упустить своего. Но именно он — признанный домом авторитет, стратег и тактик, человек львиной отваги и веселой отчаянности.

Писатель далек от идеализации, хотя откровенно любит своего героя. Греков «положил глаз» на молоденькую радистку, глаз хищный, отпугивающий остальных желающих. Однако стоило ему понять, что среди взрывов, грохота и зловония, в канун гибели здесь, в доме 6/1, родилась молодая любовь, сразу рухнул вождеденный замысел. Именно он спасает влюбленных, отправляет их из обреченного дома. Спасает саму жизнь.

Все эти люди не просто воюют, кипятят ржавую воду из котла и едят гнилую картошку. В них идет постоянная внутренняя работа. Здесь, в нечеловеческих условиях, когда смерть рядом, они по-своему счастливы. Счастливы дружеством, товариществом, свободой говорить о том, что на сердце, — о бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации, о невинно осужденных в 37-м, о том, что нельзя человеком руководить как овцой и после войны, после нашей победы нельзя больше допускать «всеобщую принудиловку». Они здесь равны и живут по законам совести.

Гроссман подчеркивает: это люди. Не «живая сила» войны, которой распоряжаются всевозможные командиры. Здесь каждый — особенный. Сталинградский дом 6/1 — братство равных людей, свободно распоряжающихся своей судьбой. На гибель ради победы они идут сознательно, сопротивляясь за чертой последних возможностей.

Ради победы. А победа для них — не только разгром фашизма. Победа — это возвращение к неискаженному образу жизни, преодоление страха и покорности, возвращение к демократии, свободному волеизъявлению, к социализму. Они — народ, который бессмертен.

Гроссман-художник всматривается в своих героев, с горечью замечает следы деформации, которой под гнетом кровавых злоупотреблений властью оказались задеты даже те, кто отдал революции лучшие годы, силы, знания. Это не так-то просто — сохранить неискаженным свой внутренний мир, остаться верным принципам.

Тяжелые дни переживает в концлагере старик Мостовской. Тяжелые не только и не столько физическими лишениями, неизбежностью и близостью смерти. Тяжелые разьединенностью, внутренним разладом. В царских тюрьмах его поддерживало твердое знание, кто друг, единомышленник, а кто враг. Оставаясь верным революционному идеалу молодости, Мостовской жизнь посвятил служению идее социализма, искал и находил оправдания искажениям ленинского курса, попросту закрывал на это глаза — лес рубят, щепки летят. Теперь, подводя итоги прожитой жизни, по-прежнему оправдывая целью средства, он мучительно осознает внутреннюю свою отьединенность от тех, в ком должен был видеть соратников и единомышленников. Более того, «многое в собственной душе стало для него чужим».

Старый теоретик марксизма, соратник Ленина, он изо всех сил сопротивляется подспудному пониманию, что реальные пути строительства социализма в его стране все больше не согласуются с теорией. Он, кого почтительно называют учителем, отцом, по-прежнему способен вырваться из дьявольски изощренной ловушки, которую приготовил ему певец национал-социализма, профессиональный палач Лисс, с честью разорвать круг, выстроенный этим философом-догматиком, где центр — единство целей фашистской Германии и нашей страны. Но сам с догматической последовательностью проходит мимо «классово чуждого элемента» Иконникова, сына священника, не дает себе труда вдуматься в его ужас перед попыткой оправдать зло тем, что оно совершается во имя всеобщего добра и блага. А именно Иконников, пришедший к мысли о том, что лишь нерассуждающая доброта отдельного человека может сопротивляться фашистскому насилию, совершает свой подвиг. Во имя этой самой доброты он отказывается строить газовую камеру и погибает.

Мостовскому не удастся сохранить неискаженным свой внутренний мир. Опыт и знание людей подсказывают ему, что возглавить лагерное сопротивление может только один человек — майор Ершов: в нем жило «нетушимое, задорное, неистребимое презрение к насилию. Люди чувствовали веселый жар, шедший от Ершова, — такое простое,

всем нужное тепло исходит от русской печи, в которой горят березовые дрова». Но у Ершова в прошлом — раскулаченная семья, за три года спецпереселения погибли все — мать, сестры, отец. Поэтому руководители подполья не считают возможным доверять ему, хотя используют до времени его авторитет среди пленных и веселую его отвагу, о чем сообщает Мостовскому бригадный комиссар Осипов. И старый теоретик, убежденный, что Ершов пойдет до конца, не испытывающий сомнения в майоре, с облегчением подчиняется чужой и несправедливой воле, больше того, с радостью чувствует, как уходит ощущение сложности жизни и вновь торжествует твердое и ясное деление жизни на своих и чужих. Привычка, готовность подчиниться чужой воле не позволяют Мостовскому увидеть правду даже тогда, когда совершается чудовищная несправедливость и во имя бдительности сами товарищи, подменив в немецкой комендатуре документы, отправляют Ершова в Бухенвальд, на верную смерть. Снова смолчал старый большевик Мостовской, ни разу не выступивший в защиту людей, в чьей революционной чести он был уверен. Принял решение подпольного комитета как данность...

(Кстати, снова возвращаясь в наши дни, хочется отметить, что рассказ о судьбе семьи Ершова словно бы продолжают — или начинают? — опубликованные в журнале «Юность» воспоминания Ивана Трифоновича Твардовского, они равно достоверны и лаконичны.)

Но Мостовской, как говорят о нем в романе, «теоретический человек».

Тоскуют в лагере на Колыме бывшие, не теоретические — практические люди. «Особый человек чисто пролетарских кровей», бескорыстный и добрый товарищ, работник ВЧК Магар лезет в петлю, поняв, что без правды нет свободы. Жизнью искупает сладкую уверенность в своем непоколебимом единоличном праве суда бескомпромиссный Абарчук.

Свой крестный путь проходит и генерал Крымов.

Человек отважный, не раз на деле доказавший преданность революции и партии, страстный публицист и эрудит, работник Коминтерна, Крымов давно живет в душевном дискомфорте. Он еще перед войной чувствует себя пасынком времени, пасынком, которого смещают понемногу на обочину горячих и нужных для общества дел. При всей своей образованности, знаниях, Крымов торопит историю, не доверяет ее поступательной последовательности, торопит результаты начатых революцией

перемен. Торопливая жажда скорейших результатов позволяет ему увидеть в репрессиях времен Ягоды и Ежова высшую необходимость, хотя постепенно ощутимо сжимается круг тех, с кем плечом к плечу он защищал право народа на революционный выбор своей судьбы, и соратники Ленина один за другим выводятся из политической, а потом и просто из жизни. Словом, у Крымова «понатыкано связей и с правыми и с троцкистами с самых давних времен», сам Троцкий об одной из его статей отозвался: «мраморно»...

Крымов чувствует недоверие к себе. Бесится, что сейчас, во время войны, лишен возможности сыграть истинную, как он понимает, свою роль — боевого комиссара, понимает фальшь и неловкость положения, в которое поставлен, — лектора среди воюющих, болтуна среди рискующих жизнью, третейского судьи в конфликтах на передовой, которые война решает ежеминутно, — и нередко обе конфликтующие стороны гибнут в общем бою.

Этот характер для писателя принципиально важен. Отдавая должное революционному прошлому своего героя, Гроссман отчетливо видит, каким изменениям подвергся Крымов, как сказались на нем социальные бури и перекосы времени.

В Крымове подлинная преданность партии вовсе не фраза, это главное содержание его жизни, но ведет его нередко фанатизм, честолюбие, оскорбленное достоинство — недооценили... Глядя на других, на тех, кто пришел на смену сгинувшим, он чувствует себя вправе — и по подготовке, и по опыту революционной практики — претендовать на заметную роль в высшем эшелоне власти, он оскорблен недооценкой и недоверием.

Крымов способен понять момент, настроение защитников Сталинграда, ему открыта красота сложившихся здесь отношений, он видит, как приподнимает людей равенство и достоинство, принимает как свою — общую веру в то, что добро победит в этой войне и честные люди, не жалевшие своей крови, построят справедливую жизнь, ту, ради которой они сами или их отцы совершили великую революцию. Понимает Крымов и то, что люди, в это верящие, знают — им-то самим вряд ли удастся дожить до победы.

Он счастлив чувствовать себя здесь своим. Своим — но начальником. Своим — но высшей инстанцией, неким рупором власти, наделенным знанием истины и требующим безусловного и нерассуждающего подчинения.

Поэтому, попав в дом 6/1 для наведения порядка, он не узнает того, чем недавно любовался. Вполне прием-

лемые в принципе отношения равенства и достоинства, увиденные здесь в яви, кажутся ему недопустимой партизанщиной. Живая жизнь оказывается для него не только чужой — враждебной, героизм защитников дома отходит на второй, третий план перед его раздражением от вольницы, которую он здесь обнаружил, от свободы общения, от безбоязненной искренности. Для Крымова его миссия только в одном — заставить этих людей, и Грекова прежде всего, быть как все, то есть стать такими, какими должны быть советские воины в представлении генерала Крымова.

И состязание с Грековым для Крымова — азартное соревнование, он ни на миг не сомневается в своем праве подчинить себе этих людей, а если надо, и покарать за непослушание. Последнее, что делает перед своим арестом Крымов, — пишет донос на Грекова, уверовав, что тот покушался на его, Крымова, жизнь. Донос этот не может ничего изменить в судьбе коменданта дома 6/1, он погиб вместе с товарищами, все до единого отдала жизни нашей победе. Но когда Крымов сам становится жертвой произвола и, жалкий арестант, пытается заново понять свою жизнь, читатель ни на минуту не может забыть об этом чудовищном доносе. О единолично присвоенном праве на произвол, творимый от имени партии.

Трудно согласиться с А. Бочаровым, который в послесловии к роману «Жизнь и судьба» утверждает, что «Крымов так и остается коммунистом, комиссаром в высоком гроссмановском понимании, ничем не поступился, ни от чего не отступился».

Давний и преданный пропагандист и исследователь творчества Гроссмана, А. Бочаров оказывается, очевидно, в плену прежней, «защитительной» позиции, инерцию которой многие из нас испытывают на себе. Найти истолкование, убедительную аргументацию, чтобы напечатать, чтобы «прошло», — это было важнейшей задачей на протяжении долгих лет. За это время у нас появились виртуозы подобных толкований, многим из них мы обязаны возможностью в самые застойные годы читать те самые книги, которые и сейчас составляют славу и честь нашей литературы.

Однако защищать героя Гроссмана таким образом («...остается комиссаром в высоком гроссмановском понимании») теперь нет необходимости.

Справедливее было бы сказать, что Крымову есть к чему вернуться, что в нем сильно фундаментальное представление о чести и совести коммуниста, и мучительный путь — арест, тюрьма — возвращает его к истокам подлинной нравственности.

Однако Гроссман не упрощает, показывает Крымова человеком своей социальной среды, своего времени. Сосредоточение полноты власти в руках одного человека, отсутствие гласности и контроля со стороны народа, которое на долгие годы сделало произвол безнаказанным, внушило и Крымову иллюзию собственной непогрешимости и вседозволенности собственных решений, изменило критерии. Оказалась прерванной живая прежде связь этого человека с глубинной народной жизнью, тщеславное желание возвыситься и подчинить затмило веру в коллективный разум героических защитников дома 6/1. И Крымов оказался способным написать подлейший из доносов.

Нет, Гроссман вовсе не торопится выдать индульгенцию своему герою, облегчить ему путь покаяния и возрождения. Но не скрывает и надежды, что возрождение возможно. Порукой тому вся честная прежняя жизнь героя, его служение революции, демократичнейшей идее народовластия.

По-настоящему, жестоко непримирим писатель к циникам и карьеристам, тем, кто выхолостил идею ленинской партийности, использовал доверие людей к партии, к слову партийного руководства для устройства личного благополучия. Эти циники и карьеристы — ревностные исполнители и отчасти соавторы истребления подлинных партийных кадров — глубоко равнодушны к нуждам и боли руководимых ими людей, мыслят категориями массы, забыв, что состоит эта масса из «человеков».

То, что остается целью жизни, ее принципами для Мостовского, Крымова, для всех честных коммунистов, воспринимается иначе Гетмановым, Неудобновым и им подобными. Для них — это лишь фраза, в привычный смысл которой нет необходимости вдумываться, хватит того, что на честных людей она действует безотказно. Дух партийности в их понимании становится безраздельным правом, присвоенным ими, невеждами, весомо и непререкаемо судить в равной мере обо всем: о политической ситуации и направленности хозяйственных усилий колхозов и заводов, об организации научной работы. Их должности заменяют им талант организаторов и фундаментальность знаний. Дух партийности в их представлении витает высоко над талантом, знаниями, социальной справедливостью.

В биографии Гетманова не было ни гражданской войны, ни пролетарской закалки, ни царских тюрем. Мобилизованный на работу в органы безопасности, Гетманов стал личным охранником секретаря крайкома. Потом была

партийная учеба и недолгая работа в аппарате. А вскоре после 37-го года он, без всякого организационного багажа, без теоретической базы, без знания людей, сделался секретарем одного из обкомов, безраздельным хозяином области. Ему даже не кружила голову весомость и значимость его, секретаря обкома, слова, слова, способного решать судьбы людей, работу фабрик, театральные постановки. Он ценил другое знание. И торопился накопить именно его. Умение занять ступеньку на общественной лестнице и вовремя занести ногу на другую. Остальное, по мнению Гетманова, подтвержденному практикой, приходит само собой.

Безошибочный нюх подсказывает Гетманову ритуал поведения. Простовато-сыновний, нерассуждающе, восхищенно преданный, если речь заходит о Сталине. Грубовато-свойскую манеру общения, которая призвана внушить слушателям, собеседникам — массам, что он, Гетманов, плоть от их плоти. Сцена проводов Гетманова на фронт поразительна по конкретике быта, множественности и достоверности оттенков поведения ее участников, каждый из которых ни на минуту не забывает табель о рангах и свое место в этой табели даже здесь, в неофициальной, семейной обстановке, в домашнем, товарищеском кругу.

Заботы Гетманова не о деле, не о людях. Постоянно — о том, чтобы угадать мнение начальства, попасть в струю. Назначенный комиссаром в танковый корпус, он озабочен одним: нет ли наверху против него недовольства, не вызвал ли он ненароком неодобрения кого-то из власти предрежащих? Потому что по шкале власти, как понимает ее Гетманов, комиссар корпуса — это для него, секретаря обкома, маловато, ему бы полагалось быть бригадным комиссаром, членом военного совета.

Даже тени сомнения не испытывает Гетманов, когда, ничего не понимая в стратегии и тактике боя, торопит комкора Новикова начать танковую атаку. Он думает не о бойцах, которым предстоит бой, не о технике. Он знает одно: нужно скорее рапортовать, сам Сталин следит за ходом сражения. Привычно лицемерит, лицедействует — восхваляет Новикова за задержку на восемь минут начала атаки вопреки требованиям начальства всех рангов (задержка позволила провести бой без потерь в людях и технике) и тут же, отцеловав счастливого успехом Новикова, пишет на него свой донос.

Командир танкового корпуса Новиков — натура цельная. Он может быть неуверенным, непоследовательным, может изменить свое мнение под ласковым и изощренным нажимом Гетманова и Неудобнова, в беспомощ-

ной ярости готов проклясть любимую женщину, но характер это простой и надежный. Вовсе не случайно командующий Сталинградским фронтом, генерал-полковник Еременко, вызвавший к себе командование танкового корпуса, с Гетмановым и Неудобновым ведет нечто вроде светской беседы, Новикову же говорит четко: «Вот что. Тот с Хрущевым работал, тот с Тицианом Петровичем, а ты, сукин сын, солдатская кость, помни — ты корпус в прорыв поведешь».

Через пять суток непрерывного прорыва, когда измученные люди начинают засыпать на ходу, Новиков своей властью на десять часов останавливает движение. И это несмотря на открытую угрозу Гетманова: будет докладывать, «слюнтяйство» Новикова превращается в порочную систему, — так хочется Гетманову первым рапортовать, что именно их корпус вошел на Украину. Новиков не может не знать, чем оборачиваются подобные угрозы, и все-таки остается тверд в своем решении.

Обязательные для других правила поведения не для Гетманова писаны, он просто абстрагируется от них. С праведным гневом может обрушиться на подчиненного за фронтовой роман, не допуская даже мысли, что кто-нибудь посмеет упрекнуть его самого за связь с военврачом, связь, которая тянется у всех на виду, Гетманов не считает нужным скрывать ее. Прежняя служба в органах безопасности не прошла для Гетманова даром, он в курсе жизненных обстоятельств окружающих его людей и умело пользуется своей осведомленностью, где намеком, а где и прямой угрозой добиваясь повиновения. При этом всегда делает вид, что исполняет высшую волю.

Уж у Гетманова в глазах никто не заметит тоски, которая присуща и Мостовскому, и Крымову. И Грекову. И Штруму. Тоски — свидетельства понимания и совести. Тоски — знака надежды, что в людях есть еще сила, чтобы поднять голову и год за годом, день за днем вести борьбу за свое право быть человеком, сохранить внутреннюю свободу, сознательно и по своей воле служить Отечеству. В свободном волеизъявлении народа — гарантия нашей победы в Отечественной войне.

Есть в романе «Жизнь и судьба» пронзительные открытия духовной мощи, духовной сохранности человека, его независимой воли.

Задыхаются люди в газовой камере. Мечутся в предсмертных муках. Писатель не щадит нас, конкретика происходящего ужасает, читателю уже никогда не освободиться от знания, как это происходит. Именно здесь,

на краю убитой насилием жизни, среди хрипов, проклятий, блевотины, Софья Осиповна Левинтон, врач, тридцать лет возвращавшая людям жизнь, бессемейная, одинокая, находит в себе силы отказаться от спасения, не признается, что она хирург. Отринув знание, что ее собственному пути на этой земле остались считанные минуты, она видит только чужого ребенка, Давида, из последних сил тщится облегчить его одинокую муку, прежде, чем умереть самой, принимает его последний вздох. И в угасающем ее сознании, среди чудовищной реальности, перед которой Дантов ад — кукольный театр, отчетливо складывается — мысль? чувство? — сегодня, сейчас она стала матерью. Так даже в газовне побеждает жизнь.

Гроссман убедительно показывает: извечное начало жизни гаснет в покорности и нерассуждающем подчинении, в страхе и радостной готовности принять чужую волю как знак божественного предназначения. Насилие, давление — не помощник в деле. Справедливые, единственно верные решения принимаются в минуты раскрепощения духа, в счастливом, свободном полете.

Не перечислить всех, кто в романе «Жизнь и судьба» своим честным, свободным служением делу внушает веру в нашу победу.

Вчитываясь в роман, мы понимаем: исход войны зависел не только от беспримерной солдатской отваги, умения вести и выигрывать бой, даже если выведен из строя командир (случай с Березкиным). Исход войны зависел и от терпения, от ежедневного героизма жителей Сталинграда. От милосердия русской женщины, от ее сердечного порыва нести добро вместо смерти и сунуть хлеб пленному немцу, мысленно уже распрощавшемуся с жизнью и вполне заслужившему смерть. От нерассуждающей доброты и бесстрашия немолодой украинки, обездоленной, осиротевшей из-за усердия тех, кто осуществлял сталинскую коллективизацию, но, не задумываясь, кто он и откуда, приютившей, выходявшей доходягу-москвича, попавшего в плен. От достоинства и всепонимания старой русской интеллигентки Шапошниковой, вернувшейся в Сталинград на пепелище и готовой служить своей стране до последнего вздоха. От преданности делу и нечеловеческого трудолюбия физика Штрума.

В эвакуации, где продолжает работать институт физики, после откровенных, как никогда, будоражащих душу свободных бесед о стране, о недавнем прошлом, о процессах конца тридцатых годов, о природе подлинной русской демократии — лучшего, что было в России за

тысячелетнюю ее историю, о ненависти к немецкому фашизму и уверенности в социалистическом будущем своей страны, после опьянения собственной смелостью и приступов мнительной подозрительности, отчаяния от беспомощности перед внезапным выбросом национальной розни, антисемитизма в общественную жизнь — отчаяния человека, который чувствует себя русским интеллигентом, хотя не расстаётся с предсмертным письмом матери, замученной в фашистском гетто, — на пустынной ночной улице чужого города Виктор Павлович Штрум, физик-теоретик, делает открытие мирового значения.

«Внезапная мысль возникла вдруг. И он сразу, не сомневаясь, понял, почувствовал, что мысль эта верна. Он увидел новое, невероятно новое объяснение тех ядерных явлений, которые, казалось, не имели объяснения, вдруг пропасти стали мостами. Эта мысль была изумительно хороша... И странная случайность, вдруг подумал он, пришла она к нему, когда ум его был далек от мыслей о науке, когда захватившие его споры о жизни были спорами свободного человека, когда одна лишь горькая свобода определяла его слова и слова его собеседников».

В романе мы еще раз увидим Штрума, одержавшего победу свободного человеческого достоинства над униженностью и страхом за свое благополучие. Обвиненный в нарушении принципа партийности в науке, уже подготовивший истерическую покаянную речь — руководство института, как и сам Штрум, не сомневалось в обязательности и необходимости смиренного признания ошибок, — Штрум с неожиданным счастливым чувством понял свое непоколебимое решение никуда не ходить и своих несуществующих ошибок не признавать. Гроссман пишет, что счастливое чувство свободы, овладевшее его героем после этого решения, было сродни сделанному им открытию в науке, будто какая-то высшая сила вела его. Он был счастлив, свободен и спокоен. Штрум пытается понять природу своего покоя: «Я думаю... социализм не только в тяжелой промышленности. Он прежде всего в праве на совесть».

Осуществление этого права — трудное дело. Оно требует безостановочной, ежедневной, ежечасной работы души.

Открытие Штрума защитило его от разгрома. Ему позвонил Сталин.

Как по мановению волшебной палочки, из гонимого, одинокого человека, на которого вот-вот выльется истребительная сила государственного гнева, Штрум прев-

ращается в любимца института. Потребности его лаборатории исполняются раньше, чем он успевает их формулировать (обратная сила бюрократической машины). Он чувствует свою безопасность, прочную отъединенность от тех, чья судьба сложилась трагически. Счастливое чувство победителя ведет его, хотя где-то далеко, в глубине души, живет, царапает чувство нового страха — барского страха. Страх этот ездил в машине, звонил по кремлевской вертушке, этот страх и заставил его подписать коллективное письмо, удостоверить своей подписью то, что так ненавистно было Штруму всю жизнь, — ложь и клевету на собратьев по науке.

Конечно, Штрум пытается оправдать себя интересами дела, необходимостью беспрепятственно продолжить важнейшие разработки, но совесть подсказывает ему, что он нашел в себе силу отказаться от жизни, но спасовал, когда нужно было пренебречь леденцами и пряниками.

Писатель оставляет своего героя, когда он корчится от стыда, от презрения к себе. Когда понимает — всей оставшейся его жизни, со всеми ее научными и любыми другими победами, может не хватить, чтобы вернуться к себе, к человеку, честно осуществляющему право на совесть, на правду. Способному на свободный выбор судьбы.

Какое все-таки счастье для истории, для нас с вами, что рукописи не горят.

Роман Василия Гроссмана пришел к нам все-таки вовремя. Когда наш народ, все общество решили взглянуть правде в глаза — и не ослепли. Отказались от слепой, нерассуждающей веры — и остались живы. Только закалились в своем праве свободного выбора пути социализма, пути народа.

Живет в романе скромный человек — Березкин. Он «часто сравнивал сталинградское сражение с прошедшим годом войны — видел он ее немало. Он понял, что выдерживает такое напряжение лишь потому, что в нем самом живут тишина и покой... Он видел, что не имевшие в себе покойной душевной глубины долго не выдерживали, как бы отчаянны и безрассудны в бою они ни были».

Тишина и покой. Оплаченная кровью, всей жизнью зрелость, уверенность в праведном пути своей страны, в ее победе над фашизмом. В свободном и честном выборе своей судьбы.

В финале романа Березкин, после Сталинграда, после ранения, весной приезжает на побывку к жене. «Они шли лесом,— пишет Гроссман.— В лесном холоде весна чувствовалась напряженной, чем на освещенной солнцем равнине. В этой лесной тишине была печаль бóльшая, чем в тишине осени. В ее безъязыкой немоте слышался вопль об умерших и яростная радость жизни...»

Яростная радость жизни — вот, пожалуй, чувство, которое испытываешь, пережив этот удивительный роман.

Взгляд

Из писательского архива

Взгляд

Документ времени

Наверное, во всей многолетней истории советской журналистики самый трудный и драматический опыт принадлежит журналу «Новый мир», продолжительное время выходившему под редакцией Александра Твардовского.

Особенностью этого опыта является, с одной стороны, верность журнала высоко поднятому его редакцией своему журналистскому долгу по отношению к литературе и, с другой, — вопиющая неадекватность ему политической атмосферы, с середины шестидесятых годов воцарившейся в нашей стране.

Надо при этом заметить, что конфликты такого рода не являлись у нас чем-то исключительным; столкновения прогрессивных литературных сил с консервативной бюрократией случались и в прежние времена, но они по обыкновению имели в финале полную капитуляцию непокорных с последовавшей за тем скорой расправой над ними. Редакторы принародно каялись в допущенных ошибках, редколлегии разгонялись, издание поспешно

перестраивалось, обычно занимая место на самом консервативном фланге — нередко том самом, с которым еще недавно находилось в состоянии конфронтации.

В случае с «Новым миром» все обстояло несколько иначе. Благодаря беспримерной выдержке и принципиальности редакции «Новый мир» не покаялся, не признал своих несуществующих ошибок, до конца остался верным демократическим традициям русской журналистики и гуманистическому направлению современной литературы. Наибольшая заслуга в том несомненно принадлежала его главному редактору, великому русскому поэту Александру Твардовскому.

Чего это стоило ему и чем в результате обернулось, сообщают страницы настоящего дневника, созданного бывшим многолетним заместителем А. Твардовского, известным журналистом и литературным критиком А. Кондратовичем. Подневные, иногда регулярные и подробные, иногда отрывочные записи его всегда конкретны и достоверны, они по крупицам воссоздают драматическую атмосферу тех дней, обстановку травли и длительного преследования журнала. На многих страницах дневника нашла свое отражение вся сложность внутрилитературных отношений, изнурительной идеологической борьбы редакции с чиновничьей косностью и всемогущей бюрократией — борьбы, закончившейся в итоге тем, чем кончалась всегда, — разгромом, увольнениями, назначением в редакцию новых людей с иными идеологическими установками и иными литературными вкусами. На первый взгляд, бюрократия победила, но это была относительная ее победа, победа административно-приказной системы. Правда же всецело оставалась на стороне «новомирцев», что с исчерпывающей полнотой и определенностью подтверждало беспристрастное время.

В общем, дела эти давние, многим совершенно не известные, иными полузабытые, тем не менее значение их в нашей культурной жизни, по-моему, непреходяще. В них — уроки, важные для нашего сегодня, равно как и для будущего страны и судеб демократии. По ходу событий автор называет имена людей, так или иначе причастных к истории «Нового мира», одним из которых мы искренне благодарны за их благородную позицию в непростом конфликте, других невозможно не осудить и сегодня. По крайней мере, это первоисточник, свидетельство из первых рук о действительном положении вещей и позиции людей, многие поступки которых за давностью лет обросли вымыслом и легендами, подверглись невольному или преднамеренному искажению в печати. В этом отношении дневник помогает стереть случайные черты,

а то и искусно наведенный камуфляж заинтересованных лиц, понять, *кто был кто* в этой давней истории.

Приходится только сожалеть, что некоторые обстоятельства тех лет не дали возможности автору подробнее осветить последние дни жизни главного действующего лица дневника. Как известно, Александр Трифонович Твардовский вскоре после своего ухода из журнала тяжело заболел и скончался...

Читающий народ нашей страны давно и преданно любит поэзию Александра Твардовского, автора бессмертных поэм и пронзительной лирики. Куда меньшее число людей знает его в качестве редактора, благословившего на страницах «Нового мира» все лучшее, что в те трудные годы было создано в советской литературе. Читатель обнаружит здесь некоторые новые, малознакомые, случайные и не случайные черты А. Твардовского, его высказывания, сообщения о важных по тому времени событиях литературной жизни и его роли в них — в дополнение ко многому, описанному А. Кондратовичем прежде. Мы с благодарностью постигаем эти новые свидетельства о Твардовском, тем более что принадлежат они человеку, долгие годы не только близко стоявшему к главному редактору «Нового мира», но и во многом разделившему его журналистскую судьбу.

Автор нежно любил Александра Твардовского, и мы благодарны ему за его труд, донесший до нас некоторые черты незаурядной личности великого поэта, редактора легендарного «Нового мира».

Последняя глава

Из «Новомирского дневника»

11 II—69 г.

Подписан Воронов («Юность в Железнодорожье»), подпишут и Дороша с двумя исправлениями («Деревенский дневник»). На одно из них Дорош идет охотно. Так что проблема 12, 1 и 2 номеров фактически решена.

Осталось стихотворение А. Т. («Сын за отца не отвечает»)...

(Стихотворение А. Т. — о культуре личности. С него начинается история последней поэмы «По праву памяти». В дневнике будет прослежено и рассказано, как она, в сущности, случайно возникла. Если бы это стихотворение было напечатано, скорее всего никакой поэмы не было бы.)

Когда стихотворение не пошло, А. Т. стал дописывать, монтировать, вставлять его в другую оправу. Так произвольно нарастал текст, вылупливалось нечто большее. И оказалась поэма. До сих пор у нас не на-

печатанная¹. История этой поэмы — тяжчайшая в жизни А. Т. С нею связан крах последних иллюзий и надежд.)²

14/II—69 г.

Вчера А. Т. предложил на всякий случай сокращения в последнем своем стихотворении — снять два четверостишия после строк: «Поди сошлись на свой главлит». Но я сказал, что центр тяжести стиха лежит не в этих двух четверостишиях, а скорее в других: «Равно важны в цепи все звенья» и далее. Вот что опасно! А. Т. с этим согласился. А. Т.: «Но ведь если вообще снимут — надо снимать весь цикл. На этом стихотворении держится весь цикл. Все остальное я подскребал из записных книжек. А это — главное». Конечно, главное. Но все же цикл остается и будет интересным, хотя хуже, это ясно...

Пытались ему втолковать. Но я так и не понял, согласился ли он.

17/II—69 г.

Снято, как и ожидалось, последнее стихотворение. Формулировка весьма странная. Вначале вообще не хотели объяснять, почему снимают, настоял. «Выходит, что у нас нет свободы творчества: «свой главлит», «не дают немую боль в слова облечь» и т. п. Популярно разъясняю им, что это о совсем другом, о том, что мы умалчиваем ошибки прошлого и т. п. «Какие ошибки?» — «Да хотя бы 37-й год». — «И коллективизацию?»... — «Может быть, и коллективизацию. Автор пишет вообще о том, что не нужно умалчивать, потому что это и бесполезно, люди с памятью. Да и вредно». Но тут их ничем не тронешь: «Не подписываем». — «Снимаете, значит?» — «Не подписываем». — «Что за эвфемизмы, не подписываем, это и значит — снимаем». — «Ну как хотите понимайте, жалуйтесь в ЦК».

(Думаю, что и стихотворение А. Т., а затем и поэма «По праву памяти», выросшая из этого стихотворения, сняли последние иллюзии относительно А. Т. у руководства. Тогда-то и возникла в их умах мысль окончательно

¹ Поэма А. Т. Твардовского «По праву памяти» опубликована в 1987 году в журналах «Знамя» (№ 2) и «Новый мир» (№ 3).

² В скобках — курсивом — выделены комментарии А. И. Кондратовича к этой части дневника, написанные им в 1974 году.

разделиться с «Новым миром» и, конечно, с Твардовским. Если до этого им внушали и они внушали мысль, что А. Т. ни при чем, это все его окружение делает такой журнал, то теперь-то ясно было, каких взглядов придерживается сам А. Т.

Удивительно, как они этого не поняли еще при появлении «Теркина на том свете».)

18/II — 69 г.

Вместе с Лакшиным ездили к А. Т. Настроение у него странное, то ничего, то вдруг взрывается и даже кричит по пустякам. Нервы... Спрашиваю: где Верхне-Волжское издательство? Это просила узнать Софья Ханановна (секретарь редакции). Кричит: «Да я же телефон даже давал. Ярославль! Ярославль! Ну что это такое?!» и т. п. Нервничает. И болит нога: он ее и так и этак, и даже на стол несколько раз поднимал. «Ноет?» — спрашиваю. «Да, ноет». В этом-то все и дело. Хотя и не только в этом. Снятие стихотворения, хотя и был он подготовлен к нему, произвело на него гнетущее впечатление. «Может быть, снять весь цикл?» — начал он снова. «Не надо, — отговариваю я его. — Воспримут как гордыню, а толку ничуть. А цикл, пострадав, конечно, от изъятия, останется все же циклом». — «А может быть, что-то переставить там?» — «Тоже не надо». Посмотрели верстку. Кончается словами: «И чью-то душу отпустила боль». Засмеялся: «Это даже хорошо так кончить».

19/II — 69 г.

По телевидению готовится постановка дневников Марка Щеглова. Отобрали самое невинное. Но и там есть такая фраза: «Читал в «Новом мире»...» Мать Щеглова с ужасом и удивлением увидела: «Читал в «Лит. газете». «То есть как?» — спросила она. Редактор цинично ответил: «А не все ли равно, где он читал». — «Но, может быть, в газете не было об этом?» — «А кто это помнит?»

Вот уже и так. Все можно.

24/II — 69 г.

Мы привезли А. Т. сигнал № 12. «Все еще выходит. Вот уже и двенадцатый выпустили. Странно все это как-то», — в который раз сказал А. Т. Журнал начал рассматривать с интересом и проскользнувшей нежностью: дело наше ему дорого.

Володя (Лакшин) ответил на это: «Иногда кажется, что мы уже давно не существуем, а оказывается, живы, выпускаем еще книжки, и журнал живет».

А. Т.: «Это верно. Я тут даже написал стишки, и там есть строка, начинается с этого: «Порой мне кажется, что я и не живу, что мертв я...» Но вот выпускаем журнал. Странно... А ведь должны нас снять. Давно должны. Снять главного, разогнать редколлегию».

Я заметил, что это не простое дело, а скорее поэтапное...

28/II -- 69 г.

Воронков¹ позвонил А. Т. и сказал, что он советовался относительно утверждения Лакшина, он сам — за, но сейчас уже в «Юности», «Дружбе народов» просматривают редколлегии, после постановления ЦК, и он советует в № 1 Лакшина как зама главного пока не обозначать. Крутит...

Если нам собираются дать «комиссара», то будет, конечно, снова кризис, как два года назад. А может, весь расчет теперь и строится на том, чтобы вынудить А. Т. уйти. Тогда это в планы не входило, и я помню, как А. Т. минут 20 пререкался с Сусловым, отказываясь работать, когда без его ведома и согласия убирают работников (Дементьева и Закса), и тот угрожал партийной дисциплиной, которая обяжет А. Т. остаться на посту.

Теперь времена изменились, и, возможно, расчет строится на обострение, которое принудит А. Т. подать в отставку, о которой так давно и так много людей мечтают.

Нам нужно это учитывать, и стоит поговорить с А. Т. на этот счет. И надо бы иметь *свою* кандидатуру на должность зама. Может быть, пойдет Симонов? А. Т. давно говорил, что он не против. Но против Симонова тоже найдутся люди. Снова подумают, а то где-нибудь и скажут: эта компания только укрепляет свои ряды.

(Конечно, уже тогда был план разгона «Н. м.». И наши предложения утвердить Лакшина были заведомо обречены на провал.)

¹ К. В. Воронков — секретарь Союза писателей СССР. Здесь и далее в сносках указываются должности, которые занимали в то время лица, упомянутые в дневнике А. И. Кондратовича.

7/III—69 г.

Говорили о будущих Ленинских премиях. Что будут выдвигать? Непонятно.

А. Т.: «И вообще я знаете что подумал: с помощью Ленина хотят восстановить сейчас Сталина. Под знаком столетия Ленина пытаются вновь оживить Сталина. А будет все равно, как бы заподлицо. Вот в чем дело».

13/IV—69 г.

А. Т. развивал теорию о воспитателях и воспитуемых. В последнее время это его любимая тема. А. Г. Дементьев говорит, что он ее развивает сложно и долго.

А. Т.: «Есть в обществе у нас два класса — воспитатели и воспитуемые. И не думайте (обращаясь к Хитрову¹), что ваша принадлежность к партии непременно делает вас воспитателем. Нет, вы воспитуемый.

А есть воспитатели, которые учат вас, как жить и как действовать. И преграда между теми и другими непреодолимая. Если вы хотите быть воспитателем, то вам надо стать другим. Впрочем, и тогда над вами будет воспитатель. Но это будет как бы старший воспитатель, ваш учитель, но вы уже будете одного с ним класса».

(Когда разогнали «Н. м.», А. Т. предложили платную должность секретаря Союза писателей (500 р.), право пользоваться машиной, и фактически — ни за что. Будете приходить раз в месяц, а то и меньше на совещания, говорили ему. А. Т. воспринял это как откупное за все сделанное, за разгон журнала и т. п. и был в негодовании. «Они хотят от меня откупиться!» — возмущался он. А о н и, руководство, не понимали — и вполне искренне — его. Ему же дают больше оклад, никакой ответственности, чего же еще нужно?..)

21/IV—69 г.

Началось!

Утром позвонил Воронков, спрашивал А. Т. Ему нужно обсудить, как он выразился, «накопившиеся вопросы». Мы созвонились с Верейским², просили его передать А. Т., чтобы он срочно позвонил в редакцию. Очень важно.

¹ М. Н. Хитров — ответственный секретарь редакции «Нового мира».

² О. Г. Верейский — художник, друг Твардовского и его сосед по даче.

А. Т. позвонил. Ему сказали о звонке Воронкова. Я на всякий случай задержал машину. А. Т. потом вновь позвонил:

— Я разговаривал с Воронковым. Он сказал, что мои предложения на самом верху отдела не принимают. А я ответил, что не могу принять их предложений. Пока я главный редактор, я не могу брать неизвестных мне людей в редколлегию. Даже Ермаков им не подходит. Но я им сказал, что я не из тех, кому навязывают невест. Воронков согласился, но заметил: «Я ведь семьдесят девятая спица в колесе». Он, видите ли, такой скромный... В общем, я завтра приеду и поговорю с Воронковым. А он за это время, конечно, передаст содержание моего разговора. Я сказал твердо, что не принимаю их условий, и пусть они делают из этого выводы.

А. Т. не только в корне, но и полностью спокоен. Как ни удивительно, и я спокоен, хотя, когда пришел Бек и снова начал говорить о своем романе и даже предлагать перезаключить с ним договор, я усмехнулся и сказал: «Может быть, вы с другими будете разговаривать на эту тему». Бек: «Ну почему с другими, вас не снимут, вы же коренники». Лакшин расценивает ситуацию как наш конец. Нам осталось жить считанные дни.

Отдел решил идти ва-банк!

22/IV—69 г.

А. Т.: «Я прочитал Симонову свои главы, и он очень хорошо подсказал подключить к ним и первый отрывок, уже напечатанный, тем более, что у меня написано «Посвящение», как бы обнимающее весь цикл. Симонов умеет придумывать такие штуки. И я видел, что слушал он растроганно. И сказал даже: «Ну, еще можно жить»...»

Потом на вечере у Закса он после нескольких рюмок начал читать весь цикл. Я не слышал до этого «Посвящения». И теперь, слушая весь цикл, почувствовал, что это действительно почти отдельное от поэмы. Симонов дал заголовок «К живым и мертвым». Заголовок очень пышный, но он в общем обнимает цикл и тоже выражает суть. Это действительно цикл-обращение.

Симонов же сказал А. Т., когда тот высказался о наборе: «Смотри, как бы не подвести ребят». И у Закса А. Т. нас спрашивал об этом, но тут уж семь бед — один ответ. И что нам предъявят? Все, что написано в духе известных партийных съездов. А. Т. даже вставлял это словечко «съезд» в новый вариант. (Надо бы сличить эти варианты.)

24/IV—69 г.

Вчера сдали в набор поэму А. Т. и сегодня ждем весточку.

15/V—69 г.

А работать уже не хочется. Уже не читается.

Читаю по инерции. Но уже что-то надломилось. Ясно, что начинается конец. Надо только провести его достойно. Только об этом и речь, и все мысли.

Об этом мы говорили сегодня с Дементьевым. Он-то все знает. Сегодня он целый час ходил и разговаривал с А. Т. Настроение? Нормальное. Пока он не собирается подавать заявление, хочет подумать.

Но нам Дементьев сказал:

— Ребята, собирайте вещички. Дело ваше пропащее.

У нас составилась некий план действий, который мы изложили Дементьеву.

Прежде всего нас удивляет форма передачи. Почему А. Т. должен передавать предложение об уходе Воронков? А. Т. утвержден Секретариатом ЦК, и он должен требовать, чтобы ему объяснил причины ухода один из секретарей ЦК. А то получается странная картина, когда никто не виноват. Воронков передает чьи-то указания. При Хрущеве, когда А. Т. снимали первый раз, было двухдневное совещание в ЦК, заседание Секретариата ЦК, которое вел сам Хрущев.

Надо требовать встречи в ЦК, а до этого не подавать никаких заявлений.

Во-вторых, надо требовать обсуждения журнала в Союзе. Это элементарное демократическое требование. Пусть обсуждают и там уже решают.

В-третьих, остается возможность еще раз написать Брежневу, коротко сказать, что мне предложено покинуть пост главного редактора, а поскольку речь идет не столько обо мне, сколько о судьбах журнала и всей советской литературы, еще раз прошу вас принять меня. Не ответит — так не ответит. Но испытать этот вариант надо, хотя, понятно, это самый неприятный для А. Т. вариант. Но нужно пройти все, чтобы после всего чувствовать, что долг исполнен до конца.

Дементьев вначале спорил с нами. Потом стал прислушиваться и согласился. Нет, крестный путь надо пройти до конца.

Вчера нас попросила приехать Мария Илларионовна. Значит, что-то тревожное.

Приехали. Сели. Молчание. С чего начинать? Кто-то начал, и покатился шумный спор. У Дементьева и других создалось впечатление, что в последнем разговоре А. Т. дал какое-то обещание Воронкову. Уж очень плоха была его первая фраза: «Ну конечно, насильно мил не будешь». Это фраза из капитуляции, и мы об этом ему сказали. «Да нет, ничего я Воронкову не сказал намекающего на добровольный уход. Я сказал только, конечно, насильно мил не будешь, но дайте мне отдохнуть, я подумаю, за это время, может быть, с кем-нибудь встречусь или кто-нибудь меня примет...»

Слова, конечно, тоже не те. Но А. Т. стал нас уверять, как чиновники боятся этого «кто-нибудь примет». Это верно. И все-таки слабо. Дементьев начал говорить о том, как Некрасов спасал «Современник» и все ему простили, даже оду Муравьеву-вешателю. А. Т. слабо улыбнулся. «Ну это... не так...» И вдруг: «Я очень устал, я уже не могу... Поверьте, друзья, не могу». Дементьев: «Надо. До конца надо, хотя мы понимаем, как тебе трудно. Надо нести крест до конца...» А. Т. снова стал взрываться: «А что я могу?! Написать Брежневу? Писал два раза. Суслов три раза меня не принял. Я ждал, как дурак, четырнадцать дней и не дождался. Так к кому мне обращаться?»

Мы говорим, что, во-первых, и сейчас главное — нельзя соглашаться на добровольный уход.

А. Т.: «Я и не давал такого согласия»...

Поехали домой, обдумывая план действий. Надо не стесняться и рассказывать, что происходит. Нет никакого резона молчать. Пусть знают. Возник план письма редколлегии в ЦК, Политбюро. Это нужно обдумать. Но, разумеется, по согласованию с А. Т. В контурах мы даже обговорили его содержание.

Вчера уже все радиостанции передавали сообщения о снятии А. Т. Но, может быть, это и добрый знак. Осталось недалеко до Совещания компартий. Какие-нибудь итальянцы непременно спросят у того же Брежнева об этом. А что тот ответит? Но Дементьев смотрит на это скептически. Дементьев сказал также то, что я не знал. Оказывается, Воронков на первой встрече

заявил А. Т.: «А. Т., подавайте, иначе будет беда». Пугал скорее всего, намекая на партийные выговоры и пр.

Сегодня М. Усиевич сказала мне от имени своей приятельницы из «Советской литературы» на иностранных языках, что уже им известно, что ответственным секретарем к ним придет Кондратович, и пусть он приходит, у них хороший коллектив и пр. Мне уже подобрали место ссылки, как говорил Закс, которого после снятия туда и отправили.

Все всё знают. Приходят и сочувствуют, а иногда и любопытствуют. Авторов почти нет, за исключением таких, что ничего не знают и не ведают.

5/VI—69 г.

А. Т. с пятницы, когда мы были у него, не подавал никаких сигналов, и мы его не тревожили.

Сегодня он появился: здоровый, в хорошем настроении. Начал заниматься своими делами, приходил какой-то художник из издательства, отвечал, как обычно, на письма. Но часа в три ко мне прибежала перепуганная Софья Ханановна, секретарь: «А. Т. уже подал заявление?» То есть как, не предупредив нас? Я пошел к нему: там уже сидели Лакшин и Сац, Миша (Хитров). А. Т. доказывал им, что сопротивляться бесполезно: «Все согласовано... Идти против силы? Переломают руки и ноги, но свое дело сделают. Меня уже фактически снимали по частям (потом он это не раз повторял), я чувствую, что настал предел. Дальше оставаться нельзя, да я и не останусь, если меня оставят: журнал мы все равно не сможем делать. Это ясно. То, что происходит сейчас, — всерьез и надолго (потом он это тоже повторял в качестве аргумента). Проснитесь, друзья (тоже повторял), оглянитесь: все всерьез и надолго. Недавно я где-то прочитал, что вот такие правительства, не имеющие позитивной программы, не имеющие вообще программы, — самые долговечные. И я это сознаю и со спокойной совестью ухожу».

Я спросил: «Вы собираетесь подавать заявление до поездки на Кавказ?» — «Конечно, — ответил он совершенно уверенно. — Что же я буду бежать туда, вроде бы скрываться от ответа. Нет уж, увольте. Я подам до поездки». Было сказано так определенно, словно все до конца продумано и он уж не отступит.

И тут мы начали спорить. «Что вы можете предложить?» — запальчиво спросил А. Т. «Вести себя пассивно, не спешить», — сказал Дементьев. А. Т.: «Как будто это поможет. Все уже решено. Они все могут. Они рассыпали набор пятого тома (я этого не знал, он потом тоже повторял несколько раз) — хотя 150 тысяч подписчиков оплатили этот том. А когда я написал им письмо, они даже не ответили. Так чего же вы хотите? Чтобы руки и ноги переломали? Так переломают, но сделают то же самое. Вот и все. Вы думаете, они со мной считаются? Давно не считаются. Они ни с кем не считаются». — «Но всего боятся», — сказал кто-то. А. Т.: «А бог знает, боятся ли. Они просто не знают, что делают».

Потом А. Т. стал советовать, как нам поступить: «Не делайте шума, вас, конечно, выщелкают по одному, но по крайней мере трудоустроят. А если будет шум, так вы никакой работы не найдете. (Обращаясь ко мне.) Вот вы, А. И., вы что же, будете жить на зарплату жены? А вы ведь будете с черным билетом, по крайней мере год-другой. Они умеют мотать. Мой совет вам — уходите. Тихо, по одному...»

Но речь в данном случае шла не о нас, а о нем. И Дементьев, поддерживаемый всеми, вновь начал говорить, что он спешит. А. Т. покраснел, начал взрывать, пошел крик.

А. Т.: «У меня есть собственное достоинство, и если мне говорят: «Пойди вон!» (снова повторял), то я не буду говорить: простите меня, я буду хорошим, другим, но только оставьте. Нет, в таких случаях уходят. Да если бы я даже умолил их, толку бы от этого никакого не было, жизни бы не было никакой. Ее и так уже давно нет. Разве я собирался уходить раньше, хотя знал, что моего ухода ждут с нетерпением? Но я еще чувствовал, что как-то можно жить. Теперь я чувствую, что жить уже нельзя. Цикл завершился». (Это тоже повторял.)

Снова и снова мы говорили А. Т., что он ошибается в одном: надо довести дело до конца. Пусть ценой костоломства. Так или иначе они все равно начнут поливать грязью нынешнюю редколлегию и прежде всего А. Т. «Я так и вижу в седьмом номере передовую, — сказал Лакшин, — в которой пишется об ошибках прошлой редколлегии и что новая редколлегия поведет дело совсем иначе, гораздо лучше. Сейчас они обрадуются, не сказав вам даже спасибо, и без промедления начнут готовить удар. От этого вы никуда не уйдете».

Все остальные приводили всякого рода доводы, но

А. Т. стоял на своем: «Я человек гордый, и если не хотят, чтобы я был редактором, я не могу им оставаться. Насильно мил не будешь. Я уже не говорю о том, что я просто устал. Я уже написал проект письма и в понедельник покажу его вам. Оно достаточно ясно говорит о том, почему я ухожу».

И он сказал нам по памяти текст письма довольно бледного. Мы ему тотчас же об этом сказали. Он обиделся.

Спор шел жаркий, ожесточенный. А. Т. несколько раз срывался на крик. Потом, дозвонившись по телефону до Марии Илларионовны, сказал: «Ну, вы как хотите, товарищи, а я пошел».

И вышел один.

Настроение в редакции у всех подавленное. И главное — по Москве уже пополз слух о том, что А. Т. сдался и подает заявление об уходе.

6/VI—69 г.

Принесли три письма. Принесли, а не прислали по почте. Скорее! Почта — долго. Почта задержит. В письмах обращение к А. Т.: просят, умоляют остаться в редакции. Самые пышные слова: «Ваша жизнь — подвиг», «Н. м.» — единственный журнал в стране» и т. п. Но это сейчас не произведет впечатление чрезмерности. Может, так оно и есть, особенно в эти трагические дни.

А. Т. весел. Принес нам балычок домашнего копчения — подарок из Гурьева. Во время завтрака и начался разговор.

Володя сказал, что никто в редакции, никто из авторов не поддерживает А. Т. Если они хотят снять А. Т., пусть кто-то возьмет на себя смелость подписать такую бумагу. Но идти им навстречу — просто глупо. «Ну, а что вы предлагаете, — в раздражении и уже некотором смятении закричал А. Т., — чтобы я снова обращался к Брежневу? Не буду я этого делать!» — «Нет, не нужно обращаться». И мы развили наш план действий. Нужно, чтобы отставка А. Т. была не тайной акцией, а гласной. А. Т. должен позвонить Воронкову и сказать, что он не может идти по такому пути и, как минимум демократичности, требует, чтобы был созван секретариат с любым докладом — самого А. Т., другого товарища, но непременно с обсуждением журнала. Пусть ему скажут о его ошибках, пусть товарищи проголосуют за его уход,

и он немедленно уйдет. А. Т. задумался. Видимо, его решение мучило его самого. (М. И. сказала, что вчера приезжала Валя (дочь А. Т.) и тоже говорила ему, что не надо спешить, а к Вале он отнесется с особым уважением.) Не видя нигде поддержки, но упрямясь, А. Т. едва ли был уверен в правильности избранного шага. И вдруг спросил нас: «Ну что ж, вы думаете, надо испить чашу до дна?» — «Конечно». И я с радостью почувствовал, что он переломился. И тут же, словно уже думал об этом, начал развивать план своих действий: «Пусть созовут секретариат, и еще неизвестно, как будут голосовать...»

(Было ли это актом отчаяния — предложить секретариат Союза писателей? Объективно толку от этого секретариата, где нас могли бы поддержать полтора человека, не было. За нас бы, конечно, не вступились.

Но вот сила правды: открыто прогив нее идти боятся. И весь расчет наш на этом и строился. Нас открыто не осудят. Не поддержат. Но и не осудят. А в том положении это уже была прямая выгода.

Спасала ли она? Нет. Едва ли. Но отдаляла срок разгрома. А внутренне доставляла нам и некоторое удовлетворение: мы использовали все, что могли использовать.)

Из отрывков разговора:

А. Т.: «Я пятнадцать лет, лучших лет своей жизни, отдал журналу».

М. И.: «И ты что, жалеешь об этом? Разве эта работа не доставляла тебе удовольствия, разве ты не был доволен ею? Что же ты говоришь о пятнадцати годах как о потерянных?»

А. Т. промолчал...

Мы спросили А. Т. о поэме. Согласен ли он ставить ее в шестой номер и посылать в цензуру? Он с готовностью и твердо сказал: «Да, посылайте».

Этот вопрос был решен быстро. Хотя, конечно, дело очень не простое. Но уже отступить некуда.

(Вот еще один пример наивности, «непрактичности» А. Т. и в какой-то мере нас, людей его окружения. Ну как можно было думать, что поэму А. Т. опубликуют? А ведь мы набирали, ставили в номер. И А. Т. верил, что м о ж е т б ы т ь поэма, в полезность и не-

обходимость которой он верил абсолютно, может быть, поэма будет напечатана. Хотя думать так было безумием, просто глупостью. «Да что они — или сдурели, или совсем обнаглели?» — думал, наверно, Романов (начальник Главлита). Иного он и допустить не мог. Так же, как не мог и помыслить поставить на поэме главлитскую визу на выход в свет.

А. Т. же надеялся. И в крахе его последних иллюзий поэма занимала не последнее место.

А откуда бы и оставаться этим иллюзиям?)

После того, как все решили, А. Т. словно преобразился, повеселел, стал оживленным: тяжесть упала у него с души. Сказал, что придет обязательно в понедельник, так как мы сообщили ему о редколлегии, на которой мы должны затвердить и запротоколировать вопрос о поэме.

(Теперь, и это может представиться детской игрой, — собираем редколлегию, обсуждаем, печатать или не печатать поэму, составляем на этот счет протокол, — это мы, не созывавшие обычно никаких редколлегий.

Но в этой официальной, столь не свойственной духу журнала, и была своя необычность, а следовательно, и своя логика. Так мы утверждали свою решимость стоять до конца. Была ли опасность раскола, разброда? Вряд ли. Все-таки нас было немного, мы хорошо знали друг друга, и что-то смертельно опасное нам не угрожало. Гораздо хуже было бы оказаться малодушными перед лицом товарищей. Так я по крайней мере чувствовал. Думаю, что так чувствовали и думали и другие. И все же в такие моменты бывает необходимость в чем-то торжественно-официальном, как бывает непреложная нужда в клятвах.

Наивно? Но бог его знает, так ли наивно это?)

9/VI—69 г.

Очень важный день.

Собрались к часу. Все. А. Т. — веселый, довольный, словно у него с плеч гора упала.

Начали редколлегию...

А. Т.: «Я позвонил сегодня Воронкову и сказал ему, что я не останусь, если даже меня оставят (это он зря говорит!), но хочу, чтобы мой уход был обставлен с минимумом демократических приличий...»

Мы: «А что Воронков?»

А. Т.: «Он слабо отвечал: «Да, да...» Я ему сказал, чтобы он доложил обо всем этом наверх... «Да», — сказал

он слабо. Потом я сказал, я не мог не сказать, что уезжаю на Кавказ, чтобы он не подумал, что я убегаю куда-то и скрываюсь. Если я понадобится, то меня всегда можно вызвать через Шинкубу¹!...»

Стали обсуждать вопрос о публикации поэмы. А. Т. предупредил, что он не намерен вмешиваться в это обсуждение, он понимает всю важность вопроса и хотел бы предварить обсуждение следующим заявлением. Он отлично понимает, что на нас навесят за то, что мы проголосуем за публикацию. (А.Т.: «...Я даже знаю, какие в таких случаях говорятся слова».) Дело очень серьезное, и он несколько не обидится, если редколлегия решит отложить поэму, тем более, что вероятность ее публикации незначительна. Поэтому он просит редколлегию серьезно взвесить и обдумать, стоит ли это делать.

Первым выступил Сац. Он очень верно заметил, что мы набрали поэму и если теперь не предложим, то создастся впечатление, что мы ее действительно хотели протащить. И это будет гораздо хуже, чем открытое предложение публиковать.

Затем сказал я: «Не вижу в поэме никакого политического криминала и готов отвечать за нее перед любой партийной инстанцией. Поэма написана в духе XX—XXII съездов (А. Т. закивал головой). Конечно, сейчас сталинисты подняли голову и визг будет немалый, но нам надо предлагать поэму. Иначе...» — (и тут я согласился с Сацем).

Потом говорили Виноградов, Лакшин, Хитров... (Миша даже предложил: «Не показать ли ее в «Известиях». Но мы тут же это отвергли: пусть сами попросят, если узнают, но ведь не попросят, это же ясно как божий день...)

А. Т. слушал внимательно, с каким-то особым сердечным напряжением. И когда мы проголосовали «за» и решили тотчас же, сегодня, посылать ее в цензуру, он растрогался: «Спасибо, товарищи...» Я видел, что это растроганность настоящая, и стало как-то самому хорошо.

А потом был долгий веселый треп, как разрядка после напряжения.

11/VI—69 г.

Эмилия¹ наконец-то высказалась. Поэму уже читал Романов. Как говорит Эмилия, на него

¹ Баграт Шинкуба — абхазский поэт, Председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

¹ Э. А. Проскурнина — старший редактор Главлита.

поэма произвела огромное впечатление, так что он даже разволновался. Неужели? Но завтра же передумает...

22/VI—69 г.

А. Т. переделал свои новые главы. А. Т.: «Могу сказать, что на 80%. Так что это почти новые главы». — «Ну, а можно ли печатать?» — спросил я. «Ну это уж я не знаю. Читайте. А я свое дело сделал. Теперь уже не буду переделывать. Чувствую, все кончено. И даже испытываю от этого облегчение».

Главы, конечно, печатать невозможно. Никто их не пропустит.

(Это главы поэмы «По праву памяти». I. Перед отлетом. II. Сын за отца не отвечает. III. О памяти. Тогда еще не было вступления. Но поэма в основном уже была закончена, и началось мытарство с ней, которое, по моему убеждению, очень дорого стоило А. Т. Не меньше, чем разгон «Нового мира».)

27/VI—69 г.

На поэму надежды нет, хотя всем она нравится (Эмили и даже Романову). Но сегодня снова услышал от Эмили, что наверху, там, не нравится.

Кое-что подправили в воспоминаниях Кин. Интересно, пройдет ли страница об аресте Кина? Уже приходится думать и об этом. О странице. Пятачок, плацдарм, на котором еще можно говорить о репрессиях, стал мизерным. В то же время писать о Сталине похвальное не только разрешается, но и поощряется.

7/VII—69 г.

Сегодня партсобрание в Союзе, посвященное итогам Совещания компартий. А. Т. в отличной форме и сказал нам, чтобы мы тоже явились: «Надо показать, что мы живы».

Перед собранием мы решили позвонить Романову относительно поэмы. Зашли с А. Т. для этого к Воронкову на вертушку. Воронков радушен, приятен, но уже ощущает себя в таком генеральском звании, что может и не заискивать.

Первый раз я не дозвонился: Романов где-то в ЦК. Может быть, о поэме и пошел разговаривать.

Пошли на собрание.

А. Т. не выбрали в президиум, хотя раньше вы-

бирали чуть ли не всегда, и это было замечено. А. Т. на это, по-видимому, не обратил внимания. Даже и лучше. Докладывал Гришин. Читал. Миша, присутствовавший ранее на московском партактиве, где выступал Брежнев, сказал, что доклад Гришина — копия брежневского. Все точно текстуально. О литературе (это, видно, вписано дополнительно) сказал тоже общие слова.

Было неинтересно.

В перерыве мы пошли снова звонить Романову. На этот раз я дозвонился сразу и спросил его, как обстоят дела с поэмой. «Мы ее подписывать не будем». — «Почему?» — «Неужели вы не понимаете?» — «Не понимаю». — «Товарищ Кондратович, я знаю, что вы умный человек, но неужели вы не понимаете...» Не хочет давать мотивировки — и все. А какую он может дать мотивировку? Что поэма против Сталина, против культа личности? (До этого сам А. Т. дал свой вариант отклонения: «Поэма, проникнутая кулацкими мотивами, подвергающая сомнению ликвидацию кулачества как класса», — но до этого ни Главлит, ни ЦК не додумались, их остановило другое — Сталин.) Я нажимаю: «Ну, может быть, я и неумен, я хотел бы знать мотивировку». И снова уже раздраженное, но не очень, еще ласковое (вертушка!): «Ну, вы же понимаете...» — «Ваше решение окончательное?» — «Да». На этом мы и расстались. «Не подписывает!» — сказал я А. Т. «И это весь разговор?» — удивился он. «Да, весь». И я ему пересказал разговор в точности. По всему было видно, что А. Т. обескуражен, даже не отказом, к нему он готов, а краткостью, безапелляционностью и полной немотивированностью отказа. Но ему не стоило бы оставаться таким наивным. Кто же напечатает поэму в нынешнее время?

А вообще — еще раз подтверждается новая форма запрета: отсутствие всякого рода объяснений.

(Я думаю, что в трагедии А. Т. это была не последняя страница. Как ни странно, он сам мало верил в публикацию поэмы, но верил. И надеялся. Хотя на что можно было надеяться? И когда поступил отказ, да еще такой — без мотивировок, — многое в нем рухнуло. Не знаю, что больше повлияло на него — разгром «Нового мира» или история с поэмой. Может быть, история с поэмой отразилась сильнее. О чем писать дальше? Что писать? Зачем писать? Все эти вопросы встали перед ним неотвратимо. Писать в стол он не мог, не умел. Писать, подлаживаясь, не хотел и уже не мог. Не писать — может, и мог, но как дальше жить и с каким смыслом жить? Все вопросы заталкивали его в глухой угол. И последние, написанные

им уже в 1970 году, стихи — стихий отчаянья и, разумеется, еще более «непроходимые», чем поэма.

Трагедия начиналась вот здесь, в тот день, когда Романов, ускользая от моих вопросов, отклонил поэму. Отклонил, конечно, не сам. И виновных не найдешь. И все виновны.)

10/VII—69 г.

Сгустились тучи над Роем Медведевым. Его вызывали в райком на предмет исключения из партии. Рой в этом не сомневается. Официальный разговор был нестерпимо грубым и хамским. Разговор о его работе, о Сталине. Приписывают очернение исторического пути партии и пр. Напрасно Рой доказывал, что он писал о Сталине, а не о партии. Не слышат. А когда он попросил, чтобы на заседание бюро райкома вызвали старых большевиков, которые могут подтвердить справедливость всех характеристик (тем более, что и характеристики почти все взяты из наших официальных партийных документов, лишь малая доля — из иностранных источников), его грубо оборвали: «Если будем разбирать персональные дела этих старых большевиков, тогда их и вызовем. А сейчас они нам не нужны». Каково!

15/VII—69 г.

А. Т. в превосходном состоянии: весел, шутит, здоров, полон бодрости. Редко, когда он бывает таким.

— Наше дальнейшее существование, — сказал он сегодня, — имеет в основном спортивный интерес.

Лакшин добавил: «И художественный».

Потом, когда пришел Солженицын, А. Т. уже переиначил фразу. «Спортивный и отчасти художественный интерес». Смеялись.

Солженицынский темперамент удивителен. Выглядит он не так уж важно: цвет лица желтоватый. Прирыжей бороде это особенно заметно.

А. Т. начал говорить: «Я же им сказал, что готов подать заявление, если они соблюдут хотя бы минимум демократии...» и т. д.

Это его «я готов подать заявление» мне всегда не нравилось. И было приятно слышать, как Солженицын тоже вскинулся.

— Не надо так говорить им и не надо подавать никаких заявлений. Пусть снимут. Это другое дело...

Пошел разговор о журнале. Солженицын сказал, что он за последнее время прочитал 22 номера. А. Т. по-

шутил: «А ведь раньше совсем не читал». Солженицын серьезно: «Я два года был так занят работой, что ничего вообще не читал. Теперь я дошел уже до третьего номера. Прочитал Быкова. Это большая удача. Он так серьезно ставит нравственные вопросы, что я подивился. По-моему, это лучшая его вещь». (Речь идет о повести «Круглянский мост».)

А. Т. тоже сказал обрадованно: «Он совершенно заново пишет о партизанах, так, как не писали даже сами партизаны. И после него тоже уже нельзя по-старому писать о партизанах...»

24/VII—69 г.

Разговаривал с Эмилией. Она мне говорила, что в «Огоньке» готовится статья против Дементьева. Сегодня она подтвердила это. Читала статью сама. Подписано рядом писателей — Алексеевым, Прокофьевым, Чивилихиным и пр.

Пусть. Не первый раз.

(О чем была статья Дементьева. Об усилившихся в то время неославянофильских тенденциях, давших знать себя, как ни парадоксально на первый взгляд, в молодежном журнале «Молодая гвардия». Все русское — прекрасное, все не русское — гниль. Запад, оттуда добра не жди. Старая-престарая песенка. Однако в официальных кругах ее слушали поощрительно.)

Дементьев осторожно, но внятно сказал, что это увлечение стариной не так уж безвредно и что помимо национальных чувств бывают и интернациональные и т. п. Выказал то, что считается прописями.

Но нет ничего опаснее, как трогать любезный нам патриотизм. Вот повод и пища для демагогии. Многие подрывались на этом минном поле.

То же произошло и с Дементьевым.

Есть у статьи Дементьева и особый аспект. Теперь я отлично понимаю, что именно со статьи в «Огоньке» начался разгром «Нового мира». Рассчитанный. Запланированный. Статья была артподготовкой к последнему штурму. Ощущали ли мы это? Пожалуй, нет. Хотя чувствовали: что-то надвигается, более грозное, чем прежде.)

26/VII—69 г.

Купил все же номер «Огонька», хотя не было желания тратить 30 коп. Громадная статья «Против чего выступает «Новый мир». Или Эмилия не читала

статью, или не поняла ее. Она не только против Дементьева. Но, начиная с самого заголовка, против «Н. м.», статья Дементьева лишь повод для кампании против журнала. Наши предчувствия сбываются. А. Т. снова в больнице. Есть возможность начать новую атаку на журнал и на А. Т. лично. Все, что предпринималось до этого, сорвалось, но оставить нас в покое они не могут. И вот новая волна мути. Такого, что написано в «Огоньке», я еще не читал. О Дементьеве пишут как о враге, сравнивают его фактически с троцкистами и пр. В духе «канонических» статей 48-го года. А может, даже и похлеще. Подписей 11. Удивительнее всего подпись Прокофьева. Они же были с Дементьевым когда-то друзьями.

Основной тезис статьи хитер и демагогичен: Дементьев «многократно призывает читателя не преувеличивать опасности чуждых идеологических влияний». Где это многократно? Тут же и другие передержки: «Именно в «Н. м.» появились кощунственные материалы, ставящие под сомнение героическое прошлое нашего народа и Советской Армии» (не было ни «выстрела «Авроры», ни «даты рождения Советской Армии»). Как это не было выстрела, когда мы именно о выстреле, а не о залпе «Авроры» писали, и о дате писали. И дальше — «*глумящиеся* над трудностями роста советского общества» (повести Войновича «Два товарища», Грековой «На испытаниях», роман Н. Воронова «Юность в Железнодорожке» и др.). «В критических статьях Лакшина, Виноградова, Светова, Рассадина, Кардина и др., опубликованных в «Н. м.», *планомерно и целеустремленно* культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям советского общества, к его идеалам и завоеваниям». И т. д., и т. п. А вывод уж совсем доносительский, в духе 48-го года. «Если против нее (буржуазной идеологии) не бороться, это может привести к постепенной подмене понятий пролетарского интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг «Нового мира», космополитическими идеями». Вот и космополитизм воскрес. Здравьте, давно не виделись... «И если хотите, наглядным подтверждением такой опасности является тот факт, что у нас уже появились литераторы вроде А. Дементьева. (Прелестно это «уже» в органе Софронова, который 20 лет назад поднялся на волне борьбы с космополитизмом. Уже! Не уже, а давно!). «В провокационной тактике «наведения мостов», сближения или, говоря модным словом, «интеграции идеологии» они *словно бы* не хотят видеть диверсионного смысла. Более того, *прикрываясь* трескучей фразеологией, они сами выступают против таких основополагающих

морально-политических сил нашего общества, как советский патриотизм, как дружба и братство народов СССР, как социалистическое по содержанию, национальное по форме искусство социалистического реализма».

Все, обвинительное заключение готово. По образцам известным. Век живи — век жди — повторений.

А далеко мы отходим — к Сталину.

27/VII—69 г.

«Огонек» выходит по воскресеньям. Но уже сегодня в воскресенье в «Советской России» редакционный отклик «Из последней почты», где выступление «Огонька» всячески поддерживается. Оперативность! По всему чувствуется, что кампания. Как она будет разворачиваться?

28/VII—69 г.

Поехали к А. Т.

— Читали «Огонек»? — спрашиваем его.

— А как же. И «Советскую Россию» читал. Что вы думаете делать?

Я сказал, что поскольку в печать нас все равно возьмут через десять дней, есть резон сделать материал «От редакции» и поставить его в № 7. Время есть. Будут затягивать с подписью? Скорее всего. Но ведь есть все-таки 10 дней.

А. Т. согласился. Спросил, как реагирует Дементьев. Мы его не видели. Но сегодня заходила Ира Дементьева в редакцию. Отца она тоже не видела, но растеряна сама до крайности.

«А пусть он подаст в народный суд за клевету». — «На кого только? На 11 человек?» — посмеялись мы. Но было не до шуток.

31/VII—69 г.

Статья в газете «Социалистическая индустрия».

Открытое письмо главному редактору журнала «Новый мир» А. Т. Твардовскому. Подписано Героем Социалистического Труда токарем Подольского механического завода Захаровым. Происхождение статьи ясно. Написано в редакции. Редактор отдела литературы этой газеты Высоцкий, повесть которого критиковал Дементьев. Какая тоже оперативность!

В областной газете «Ленинское знамя» тоже редакционная статья, поддерживающая «Огонек». Кампа-

ния развертывается стремительно, и организация ее очевидна.

Вчера мы сдали в набор редакционный ответ. Лакшин прочитал мне его по телефону, по-моему, хорошо, коротко, с достоинством. Вчера же Лакшин обсудил этот ответ с А. Т. Но, как это всегда бывает, ночью А. Т. снова подумал и решил править. И конечно, направил так много, что Лакшину пришлось к нему ехать. Мне же А. Т. позволил относительно Федина. Редакционный документ столь серьезен, что мы должны показать его всем членам редколлегии. Федину в особенности.

А. Т.: «Федин сказал мне, что он не читал статьи в «Огоньке». Не очень верю я этому. Но надо ему показать статью и наш ответ. А может быть, съездите к нему, он вам будет звонить».

«Конечно», — сказал я. И почти тотчас же позвонил Федин. Был, как обычно, любезен, предупредителен. Когда на его вопрос, каким образом ему получить «Огонек» и наш ответ, я сказал: «К. А., так я к вам приеду», — он изобразил чрезвычайную радость: «Ах, это было бы совсем прекрасно!» Поскольку наша машина ушла к А. Т., пришлось вызывать другую. Известинские шоферы — люди нахальные, ездить с ними — мука, словно они делают тебе одолжение. К тому же я был в Барвихе года четыре назад, зимой. Шофер не знал, где санаторий, и пока мы добрались, проплутав туда и обратно мимо санатория раз три, было больше четырех. Но и сам К. А. предупредил, что лучше приезжать к нему после обеда. В Барвихе пустынно, какая-то молодая женщина со стариком «прогуливают» кошку. Жарко. В коридорах тихо, не так жарко. Никого нет. Ковровая дорожка с каким-то современным коротким ворсом: ноги скользят, чувствуешь себя неуверенно.

Федин в одной из самых дальних, крайних комнат. Встретил меня (старая школа!) как старого и лучшего знакомого... Начал с комплиментов шестому номеру (на днях он позвонил мне и попросил прислать ему копию его письма мне о Конашевиче, мы сокращали его письмо, сделав из него врезку к Конашевичу, старик помнит: «Письмо было шире, нельзя ли мне получить хотя бы его копию?» Копию я и мог послать, поскольку сам правил по оригиналу, — и показывать старику это не хотелось. Ясно, что он собирает новый том своих эссе, для чего и понадобился Конашевич, — и как можно его править! Тогда же он спросил меня о журнале, я сказал, что шестой номер вышел, и послал ему сигнал). Теперь он хвалил номер.

Потом подошли к смыслу моего приезда. Я решил прочитать Федину избранные пассажи из статьи «Огонь-

ка». «О, какая большая статья,— сказал Федин,— ее не сразу прочитаешь». Я сказал, что оставляю ее ему («Ах, как хорошо, здесь этот номер «Огонька» невозможно достать»), а сейчас хотел бы познакомить его с общим смыслом этого выступления одиннадцати писателей. И прочитал несколько выдержек. Федин в отдельных местах, как это он умеет делать, почти непритворно наклонял голову вправо, изображая губами «О-о!» — удивление — и говорил: «Да-а...» «Да-а,— сказал он,— это надо прочитать. Займись потом». Я показал ему наш ответ, привез не верстку, ее еще не было, но сказал, что мы уже сдали ответ в набор. Тут Федин стал читать внимательно. Серьезно. Поджимая иногда губы.

Я смотрел на комнату. Возле стола потертый желтый портфель. На столе книги. Рукописей нет. Но все как в деловом кабинете делового человека.

Я молчал. Он читал. Кончил читать. «Вот такой ответ мы решили давать»,— сказал я, чтобы заполнить наступившую паузу. Федин: «Ответ правильный. Я вижу, что выступление в «Огоньке» малоприличное, и надо ответить. Ответ спокойный, правильный».

«Я тоже так думаю»,— сказал я, ожидая, что же будет дальше. Не могу же я ему сказать: «К. А., а вы напишите, что ответ правильный». Он уже сказал А. Т., что не может подписать ответ, как первый секретарь Союза, а первоначально у А. Т. была мысль опубликовать ответ за подписями всех членов реколлегии. Не знаю, существует ли такой статут — не подписывать первому секретарю, может быть, и существует, рекомендации при приеме в Союз не дают все секретари и т. п. Но мне бы лучше иметь все-таки не слова, а что-нибудь позначительнее. И Федин, видимо чувствуя, что я чего-то жду,— наступила не очень ловкая пауза,— говорит: «Вы думаете, что мне стоит что-то написать под ответом?» «Да, было бы неплохо»,— сказал я.

(Я захватил и номер «Соц. индустрии», но, видя колебания и зная, что старик может, увидев этот номер, качнуться в ненужную сторону,— номер решил не показывать, тем более что он сам ничего о нем не знает.)

Мы сидели за низеньким журнальным столиком, и Федин начал писать в конце страницы. Погрузился в раздумье. Даже шевелил губами, повторяя какие-то слова. Вижу, что пишет не коротко: это хорошо, но только бы не оказалось какой-либо хитрости. Напишет что-нибудь извилисто-гибкое, что можно толковать и так, и этак.

Написал, еще раз перечитал. И затем прочитал вслух. Прекрасно. Не совсем грамотно, но прекрасно. А не-

грамотно потому, что, наверно, писал, но думал о другом: сразу две мысли текли взаимно противоречивые.

Но мне и этого было достаточно. Стилем пусть занимаются его исследователи.

После того как я скромно сказал «Хорошо. По моему, очень хорошо», — тайне скрывая свою радость, ведь было серьезное опасение, что старик вообще уклонится, — мы повели полусветский разговор. И неожиданно Федин достал откуда-то сверху лист бумаги и начал говорить о выступлениях «Москвы» против «Н. м.».

— Вот я еще перед отъездом сюда изучил «Москву» за этот год и подвел такие итоги...

И стал перечислять статьи — одну за другой, — видно, что читал, отмечал. Но интересно, зачем? Зачем мне читал — это я еще легко могу понять, но зачем вообще составлял этот реестр? Это осталось для меня полной загадкой. Для доклада? Где? Какой доклад? Кому? Для кого? Непостижимо.

Но пусть и это занимает все же нашего члена редколлегии. Он подписал свое мнение под редакционным ответом, хорошо. Федин как бы присоединяется к нам как соредактор, хотя сам-то он думает о другом, о том, чтобы не подумали о его секретарской подписи...

Распрощались самым сердечным образом. И, уже отъехав от Барвихи и с облегчением вздохнув, я подумал о себе: «Свинья я все же. А ведь старик сделал для нас сегодня очень большое дело. В известном смысле решающее. Там, наверху, — А. Т. об этом говорил не раз — мнение Федина, сам Федин котируются необычайно высоко».

Приехал. Прочитал Лакшину, Сацу и др. Тут же позвонил А. Т. «Прекрасно», — сказал он. «Это лучшее произведение Федина», — сказал Дорош. По правде говоря, никто не ожидал, что Федин «выдаст» такую резолюцию. Все приятно удивлены. И только повторяют: «Не ожидал... Ну, молодец, старик». Если бы он слышал все это!

1/VIII—69 г.

В «Лит. России» редакционная статья «Справедливое беспокойство», безоговорочно поддерживающая «Огонек». «Лит. Россия» без стыда пишет об этом, забыв, что именно она выступала против статьи Чалмаева в «Молодой гвардии». И повторяются все самые «ударные» места, вплоть до аналогии с Троцким. Кончается статья в самом лучшем стиле: «Рекомендуем читателям «Литературной России» ознакомиться полностью с письмом группы писателей в журнале «Огонек».

Сегодня получили новый вариант верстки «От редакции». Вчера А. Т. с Лакшиным существенно переделали текст. Володя говорит, что у него было лучше. Возможно, изящнее. Но А. Т. в этих случаях интересуется не изяществом стиля, а сутью. Сделали очень хорошую сноску о С. Смирнове: «Поэт, однофамилец лауреата Ленинской премии публициста С. С. Смирнова». Прошлись по всему тексту.

Пошли читательские письма, выражающие тревогу за журнал. Пока только одно письмо против нас. За подписью «Воронежцы». Кончается письмо грозно: «Уходите. Если не уйдете, то вас сметет гнев народа» и т. п. Лексикон газетчика 30-х годов или оратора тех времен.

3/VIII—69 г.

Вышел сегодня погулять, посмотреть газеты на улицах. В «Сов. России» трехколонник о «Нью-Йорк таймс» и о нас, конечно. Под статьей другая статья «По разные стороны баррикад» (о ревизионистах). И то и другое жирным, черным, траурно-тревожным шрифтом. И заголовки превосходно переключаются. О Дементьеве уже пишут в одном абзаце вместе с Синявским и Даниэлем, только Дементьеву добавили инициал. Вот и все. О журнале в конце статьи говорится как о вражеском: «Давно флиртует с буржуазной пропагандой. Не слишком ли затянулся этот флирт?» Подписал К. Иванов. Это зав. отделом пропаганды газеты. Он уже выступал о повести Герасимова¹ и еще о чем-то.

Я думал вначале расстроиться, а потом рассудил — статья так откровенно глупа и демагогична, что не в нашу ли это пользу? И даже стало веселее на душе. От хорошей жизни, от убежденности в своей правоте так не пишут. А пишут лишь от неуверенности, от стремления любой ценой защитить свои позиции, поддержать самих себя.

4/VIII—69 г.

Еще в четверг, 31 июля, я отправил верстку «От редакции» Эмили. Когда на следующий день я спросил ее, прочла ли она, то услышал: «Прочла и в тот же

¹ Имеется в виду повесть Евгения Герасимова «Весна в Дубках».

день передала выше». А послал я ей под вечер. Такая оперативность не от того, что Эмилия так уж хочет помочь нам. Быстро передала, потому что материал особый, для них сенсационный, и держать его при себе нельзя. Тогда же я спросил ее: «А подписывать будете?» — «Да, наверно...» Я ее предупредил, что будет еще правка (А. Т. снова начал править) и окончательно на подпись мы пошлем в понедельник.

Сегодня после статьи в «Сов. России» мне показалось, что с подписью опять начнется затяжка. Но, к удивлению, Эмилия оказалась права. Подписали! Какая жалость, что на машину нас берут не сразу. Теперь уже говорят об 11—12 августа. А за это время мало ли что может произойти...

Эмилия считает, что наш ответ очень хорош. Ну, вот первый читатель хвалит, правда, читатель особый и пристрастный. Бедняге, ей приходится болеть за нас: когда нас ругают, ей грозит тоже неприятность. Хвалят — ей ничего. То-то она говорит: вам легче, вам — слава. А и то — в этом смысле нам легче. А в целом — как в фильме «Воры и полицейские». Тема: палач и жертва. Одна цель... Трижды банально, а вот поди-ка, оказывается, и в этом деле можно быть скованными одной цепью.

А. Т. написал письмо в «Соц. индустрию». Короткое, но неотразимое. Просит сообщить данные о Захарове, его семейное положение, выступал ли он раньше в печати. Все эти сведения нужны ему, поскольку он уловил в статье некоторые противоречия и ему хочется лучше представить автора.

Я обещал сегодня же послать с курьером это письмо в газету.

Письмо самого Захарова настолько наглое, что на меня оно не произвело никакого впечатления. Показалось вначале, что и на А. Т. не повлияло. Но вот еще в пятницу он говорил Лакшину, что проснулся в два часа ночи и не мог уснуть: на это письмо надо отвечать, хотя он и понимает, что оно написано не Захаровым, а сфабриковано в редакции.

А. Т.: «Это видно по дешево журналистскому стилю. Ну, разве рабочий скажет теперь: «Наш брат рабочий»? Фразеологические обороты с головой выдают журналистское происхождение этого письма, — это я готов легко доказать. Но так или иначе отвечать надо».

(Мы ошибались. Подписавший письмо Захаров письма, разумеется, не писал, но был выбран редакцией

газеты совсем не случайно. Есть такие представители рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, чего угодно, которые именно представители, а не рабочие, не крестьяне и не ученые. Они иногда и работают, но больше председательствуют, выступают с речами, сидят в президиумах, входят в состав делегаций, избираются в разные органы и т. п. и т. п.

Тогда мы не имели представления об этом — и потому ответ А. Т. оказался, пожалуй, ошибочным ходом. Через некоторое время «Социалистическая индустрия» ответила, поместив обиженное письмо Захарова.)

Я сказал А. Т., что редакционный ответ подписан Главлитом. А. Т. обрадовался: «Надо скорее печатать». Да. Это я знаю. И даже подумал о том, что печатать в первую очередь надо последний спуск с 17—18 листами. Об этом я уже сказал Наташе Бианки¹. Надо скорее, скорее печатать.

Мы привезли А. Т. письмо рабочего сцены Большого драматического театра, копию которого прислали нам из «Коммуниста».

— Это пародия. Это в шутку, — сказал А. Т.

— Нет. Во всяком случае прислал его зам. главного редактора.

А. Т. даже попросил сделать для него копию. «Вместе с сопроводительной. Это документ. Я теперь не печатаюсь, а собираю документы о себе и о журнале. Новая специальность».

5/VIII—69 г.

О снятии А. Т. говорят всюду. В АПН, например, друг И. Шевцова, начальник моей жены, прямо сказал ей: «С «Н. м.» ничего не будет, а Твардовского снимают». Прибегал Бек: «Ну, как, Твардовского снимают?»

Сколько лет и сколько раз я слышал этот вопрос. И каждый раз отвечаю одно и то же: «Не знаю, по крайней мере, мне неизвестно». Я уже привык говорить эти слова спокойно, хотя, помнится, у меня сразу после этого вопроса портилось настроение. Сейчас нет, хотя приятного в таком вопросе нет и иногда начинают кошки скрести... Но иногда думаю, что нас так уж приучили к снятию А. Т., что, когда его снимут, действительно снимут, мы в это не поверим.

¹ Н. П. Бианки — заведующая редакцией «Нового мира».

Я убеждаюсь все больше и больше, что история первого снятия А. Т. с журнала (1954 г.) не повторится...

В 54-м году обсуждали «Н. м.» и в ЦК, и в Союзе писателей, и даже в Президиуме ЦК под председательством самого Хрущева.

За 15 лет (боже, 15 лет!) многое изменилось. Произошли, я бы сказал, внутрискруктурные изменения. Все вроде то же — и не то же. Процесс бюрократизации шел исподволь, незаметно, но шел 15 лет, и одновременно гас культ. Особенно после культа Хрущева, когда сам этот культ приобретал фарсовый оттенок. И коллективное руководство, как бы иронично к нему ни относиться, — становилось по-своему коллективным. Правда, коллективным не руководством, коллективным самоустранением — от решения сложных вопросов. Пусть решают другие, а не я.

Вот почему я думаю, что единственный способ снятия А. Т. в этих условиях — это снятие неожиданное, путем опроса членов Секретариата ЦК. Посылается решение, один (кто только?) подписал, другой думает, что согласовано, тоже подписывает, третий видит две подписи и т. д. Решение состоялось при отсутствии четкого и ясного мнения. Оно должно быть только у того, кто первым ставит подпись.

8/VIII—69 г.

В «Соц. индустрии» помещено письмо А. Т. и ответ Захарова — до чрезвычайности самодовольный и наглый, а также «от редакции» и факсимиле письма Захарова. А. Т. просил сообщить данные о Захарове и прислать ему копию его письма в газету. Из этого, по поговорке «Держи его!», газета сделала правильный вывод: А. Т. сомневается в подлинности письма. И правильно сомневается. На днях он говорил: «Я легко могу доказать, что оно написано плохим журналистом, пестрит газетной фразеологией». И уже Захаров обиделся, как могли заподозрить его, он много раз выступал в печати (за него писали). Любопытно, что второй раз в Верховный Совет его выбирали не по Подольскому округу, видимо, там он уже хорошо «известен». Факсимиле же явно не соответствует тексту статьи. Статья называлась «Открытое письмо...» и начиналась с обращения к А. Т. В факсимиле обращение в редакцию нет никакого, хотя смысл и содержание фраз совпадают. Если переделали, так надо было сказать об этом. Это сразу заметили читатели. Многие говорят, что А. Т. зря написал письмо.

А. Т. второе выступление газеты взволновало. Со-

бирается снова писать. «Я уже написал несколько вариантов ответов, но все не так».

— Зачем? — сказали мы. — Не надо писать. Теперь-то ясно, что отвечать нет никакого смысла. И даже невыгодно. Что бы вы ни написали, они снова выступят со своей редакционной статьей и снова займутся демагогией.

14/VIII—69 г.

Все вроде успокоилось. Но странно. Главлит ничего не знает, никаких указаний не получил. Эм. звонила Мише об этом в пятом часу. Он сказал правильно: пусть их начальство звонит Воронкову.

Уже в шестом часу неожиданный звонок. Говорит Кириченко¹. Имя-отчество я забыл и поздоровался холодно: «Здравствуйте» — и все. Произошел следующий диалог.

Кириченко: «Я хотел бы знать, сделали ли вы какие-либо поправки в своей реплике».

Я: «Нет, и не можем сделать. Дело в том, что реплика уже отпечатана. Отпечатано вообще 10 листов. И какие-либо исправления технически невозможны. Исправить нельзя. Ничего. Можно лишь пускать листы под нож. Да и, по существу, мы не намерены ничего исправлять. Другие органы печати допустили в адрес журнала и Дементьева политические оскорбления такого свойства, каких в нашей небольшой и довольно спокойной реплике нет. Дементьева, например, обвинили не больше не меньше как в троцкизме, и только на том основании, что он употребил слово «мужиковствующие». Не знаю, где одиннадцать авторов читали Троцкого, но почему они не знают знаменитого стихотворения Маяковского «Юбилейное», где о Есенине и Ключеве сказано «мужиковствующая свора». И твои таких политических обвинений нет в нашей реплике. Поэтом мы не считаем нужным и возможным что-либо исправлять в ней».

Он что-то стал говорить и вдруг раздраженно:

— Но почему же вы не вняли тому, что говорилось на совещании в ЦК?

— Совещание было вчера, — ответил я, — а листы отпечатаны еще на той неделе. Как мы можем внять

¹ И. Кириченко — заведующий сектором отдела пропаганды ЦК КПСС.

замечаниям? — И снова повторил о технической невозможности и о том, что не считаем нужным делать, добавив цитатку из «Сов. России»: «Новый мир» уже давно флиртует с буржуазной пропагандой». Снова сказал о недопустимости таких политических обвинений.

— Ну ладно, ладно,— сказал он и повесил трубку.

(Ту малую игру они, конечно, проиграли. Но этот проигрыш и нам, по-видимому, дорого стоил. Наверно, именно этот проигрыш и убедил, и окончательно утвердил — с нами надо кончать. В открытом бою, в схватке идей, умов, доказательств они, конечно, не могли победить. Не потому, что мы были умнее. Слишком правое дело было у нас. Между прочим, защищать несправедливое дело всегда труднее, приходится пускаться во все тяжкие, а в этих условиях оборона становится такой, что ее можно прервать где угодно. Открытая борьба была не для них. И оставалось одно: рассчитаться с нами грубо, силой — разогнать нас. Иначе и спасения для начальственных самолюбий не оставалось никакого.)

А. Т. уже несколько раз говорил о читательских письмах. Они прекрасны и лишний раз доказывают, как далеко разошлась наша официальная идеология с мнением читателей. Умных, конечно.

15/VIII—69 г.

Утром, как и договорились, приехал к 11. От Бианки передали, что никаких запросов в типографию относительно наших листов не поступало. Уже хорошо. Значит, отступают от нас.

29/X—69 г.

Сегодня мы устроили большую редколлегию с участием Расула Гамзатова и Айтматова. Надо же хотя бы раз за все время провести. Решили сделать ее полупарадным мероприятием.

Расул и Айтматов пришли с Ленинского комитета. Премии дали Малышко. Наш Федя Абрамов не прошел. Не хватило одного голоса. Обидно: 6:6. «У Абрамова тьма в романе такая, что ее можно ножом, как повидло, резать», — сказал, по словам Айтматова, один из выступавших.

Начал говорить А. Т. Он выступил несколько раз. И я проведу наиболее интересное из сказанного им.

«Далеко не всякое явление литературной жизни становится явлением литературы. Сейчас много говорят о романе Кочетова¹. Но это для литературы запредельный факт, и мы не должны его касаться».

Много говорилось о критике, о судьбе журнала, о нашей нелегкой работе.

А. Т.: «Легко ли мне нести бремя неопубликованной работы. Я уже не говорю о том, что она может попасть и за границу. Я над ней работал не один год». И резко, почти с криком, сказал: «Я вам точно скажу, почему ее не разрешают печатать. Ее не разрешают печатать люди, которые Сталина больше любят, чем Ленина. Вот и весь секрет. И другого секрета нет. Сталина любят больше, чем Ленина»...

А. Т.: «А поддержки мы ни от кого не получаем. Я был со своей поэмой у Федина. Говорил ему, говорил Маркову, Воронкову о том, что хочу слышать мнение товарищей по секретариату о моей поэме. Молчат. А я чувствую: не приноси. (Я: «Уноси») Уноси, уноси и ни в коем случае не приноси».

Айтматов: «Я был у одного высокопоставленного товарища в ЦК. Он спрашивал меня: «Что вы написали?» Я сказал, что написал новую повесть. «Где собираетесь печатать?» Я сказал: «Понесу в такой несчастный журнал, как «Н. м.». Он: «Ну это не несчастный журнал. Они сами могут нас сделать несчастными». Вас боятся, я это почувствовал».

А. Т.: «Боятся, но в то же время делают все, чтобы прекратить наше существование. Делают все к укрощению, урезанию наших возможностей».

Айтматов: «Но, судя по всему, это невозможно. Я был этим летом в Париже. В это время как раз во всех французских газетах появилось сообщение о том, что Твардовский снят, редколлегия разогнана. Меня спрашивают: в чем дело? Я отвечаю, что не знаю. А сам думаю, что это очередной слух. И я наблюдал и разговаривал в ЦК и чувствую, что вопрос о прекращении журнала не стоит».

Я: «Хотя очень хотят этого».

А. Т.: «Очень хотят. Очень!»

Айтматов: «Да, конечно. Но нет возможности».

А. Т.: «Как только не бьют нас и меня, в частности, и бичами, и треххвосткой. Но мы не взываем: пожалейте нас. Снова говорю, что нам надо опасаться

¹ Речь о романе В. Кочетова «Чего же ты хочешь?».

заснайства, чувства исключительности, которое, право же, имеет под собой основание».

А. Т.: «Не было журнала, в котором бы в таком полном комплексном сочетании представала литература и политика, наука и публицистика, беллетристика и библиография». (У меня было ощущение, что, говоря все эти похвальные слова, А. Т. выговаривает то, что он думает, чем гордится и что, естественно, нам, работающим с ним, он не говорит. Нам говорить нечего. А это так.)

Когда А. Т. уходил сегодня, я вновь поразился, как он согбен, сутул. И бледен.

Непонятно, что все-таки у него произошло. С позвоночником? Но он не любит такие разговоры.

10/XI—69 г.

Утром Миша рассказал мне новость. Оказывается, в пятницу перед праздником А. Т. все же приехал. Миша, видимо, не хотел мне перед праздником портить настроение и не сообщил, что Эмилия по секрету рассказала ему, что на праздничном вечере ей тоже по секрету сказали, что принято решение о снятии меня, Лакшина и Виноградова. До праздников они тоже не хотели портить нам настроение, но, мол, после праздников начнут нас вызывать. А. Т. тогда в пятницу приехал от Воронкова, был у него с ним какой-то разговор, и когда Миша сообщил ему новость, то А. Т. подтвердил.

Удовольствие небольшое, и я почувствовал, что мое давление начинает подсакивать.

Вскоре приехал А. Т. Веселый, довольный. У меня мелькнуло: а что, будешь довольный, если впереди наконец-то обозначился выход из всего нашего длинного-предлинного тупика. Пусть любой конец — но конец.

11/XI—69 г.

Приехал Солженицын. На лице огорчения особого не видно. Напротив. Я спросил его о самочувствии, и он без бравады (так по крайней мере мне показалось) ответил:

— А что? Теперь я самый свободный человек. Уже ни от кого не завишу. Разве это плохо?

Но, может быть, это и напускное. Во всяком случае, его спокойствие в очень резком контрасте с беспокойством А. Т., который еще как-то надеется переломить ход событий и даже вернуть Солженицына в Союз. По

слухам, ряд писателей (Тендряков, Антонов и др.) написали письмо в Союз или даже в ЦК о том, что исключение проведено в полном нарушении устава Союза. А. Т. тоже хлопочет об этом, хотя он и не формалист и отлично понимает цену устава и тем более цену буквы этого устава.

Сегодня мне показали запись рязанского собрания, на котором исключали Солженицына. Сделал эту запись сам Солженицын. А. Т. восхищен.

— Это дьявол. Он записал так все точно и с такой силой, что одного этого документа вполне достаточно, чтобы перерешить дело и восстановить его в Союзе.

Но у меня нет ощущения, что сам Солженицын хочет восстанавливаться. Он оживлен, весел, совсем беспечен. И кажется, даже чему-то рад. Или мне это так кажется.

Не нравится мне, что запись Солженицына гуляет. Уж тут-то источник вполне один: он сам. Времени прошло слишком мало, чтобы образовались копии, перепечатки и т. п. Если и перепечатавают, так сейчас, в эти часы, с оригинала Солженицына. И это крайне неприятно.

Я сказал об этом А. Т., но он всерьез меня не принял. Ему нравится запись, он в восторге от ее силы и точности и видит в этой записи ключик для дальнейшего.

О чем-то они долго совещались: мы в таких случаях (когда появляется Солженицын) — обычно уходим из кабинета: Солженицын любит всякого рода тайны и окутывает свою жизнь тайнами: сидеть в такой момент в кабинете А. Т. неудобно.

У нас в редакции почти всегда смех, веселье. И я подумал вчера: за счет чего? Не только от привычки, от того, что притерпелись к трудному. Каждый раз мы загадываем себе на будущее самый худший вариант. И когда оказывается, что вытащили билет полегче, то раздается вздох облегчения: ну, все хорошо! Самообман? Нет, привычка, постоянное ожидание опасности вырабатывает этот инстинкт радости, когда опасность пробежала мимо тебя всего лишь в метре-двух за вот этой сосной.

12/XII—69 г.

Наши дела, по-моему, улучшаются. Я сказал сегодня об этом А. Т. Он пожал плечами: «Не знаю. Посмотрим, как еще все будет разворачиваться».

Настороженности терять, понятно, нельзя. И все же что-то просветлело в этом уютном декабрьском небе.

(Характерный самообман. Ничего не просветлело. Просто нам пора было знать или догадываться, что дело, пущенное наверх, быстро не делается. Бумага, засланная в Секретариат ЦК, живет своей тайной жизнью, о которой до поры не ведают даже заславшие ее. Сами ждут: как там решат, подпишут или нет? Спрашивать же — значит нарушать этикет высшей бюрократии. Спрашивать — дурной тон. За спрашиванье могут и рыкнуть.)

Вот все это и происходило тогда. Шло созревание дела: бумага на нас переходила из рук в руки, медленно, величаво, неслышно носили ее из кабинета в кабинет. И говорить в это время о нас уже тоже было нельзя и опасно. А вдруг там бумагу не утвердят. Как раз сегодня не утвердят, когда ты будешь разглагольствовать... Лучше помолчать, подождать.

А мы, наивные, думали, что где-то светлеет.)

Я вспомнил из последней статьи Джиласа о Ленине место, где сказано, что у Ленина не было близких друзей (и в самом деле — не было, что удивительно), но зато у него не было и врагов, которых бы он преследовал.

А. Т. обрадовался, подхватив эту мысль.

— Да, да, это точно. У него не было врагов, которых надо было бы преследовать. Он был выше преследования, благороден поистине. Он мог отпустить и даже простить своего личного врага. Зато уж потом был такой, который все выкорчевывал, а не только одних своячениц.

Потом он снова вспомнил эту мысль и повторил ее — Троепольскому: «Один довольно крупный человек сказал...»

Пришел Айтматов. Мы поздравили его с речью¹. Он ответил, что хвалят многие, а потом рассказал, что после речи к нему подходили, поздравляли и одновременно остерегали относительно «Н. м.». Спрашивают: «Говорят, ты написал новую повесть и куда отдал? В «Новый мир»? Ну зачем, не стоит... Их материалы под такой лупой рассматривают». Один довольно крупный деятель

¹ На пленуме ССП Ч. Айтматова, выступившего в поддержку Солженицына, проводили овацией.

отговаривал: «Не давайте туда, зачем даете...» Айтматов ответил, что не видит ничего плохого в том, что отдал повесть в «Н. м.». «Я всегда там печатался и теперь собираюсь печататься».

Я тут же рассказал Айтматову, что Гранина вызывали в обком и не рекомендовали давать повесть в «Н. м.».

А. Т.: «Как они люто желают оторвать у нас талантливых людей, переманить их в другие места. Не позволять им украшать и поддерживать наш журнал. Тактика на ослабление».

4/1—1970 г.

А. Т. приехал ко мне, сел и очень серьезно посмотрел на меня — глаза в глаза, — я даже чего-то испугался. Он сказал тут же:

— Ну, что ж, новый год начался, я принял решение: надо и жить по-нозому.

Я еще больше испугался: чего он придумал?

— Я думаю вот что: надо ставить вопрос о поэме. Я решил твердо и уже говорил с Воронковым. Сказал, что секретариат фактически уклонился от обсуждения поэмы, но надо сейчас обсуждать, я не хочу, чтобы обо мне потом говорили, как о Солженицыне: у него, мол, произведения печатаются за границей. И вы знаете, что Воронков ответил мне на это: «Но чего же обсуждать: ведь поэма действительно напечатана за границей». Говорит, во Франции, но он что-то путает. Во Франции — значит, в переводе.

Я сказал, что слышал еще месяц назад от Эм., что поэма опубликована в «Посеве», но не знаю, что это такое — издательство или журнал (потом Лакшин сказал: издательство).

А. Т. удивленно: «Может быть. Я спросил Воронкова: опубликована в отрывках? Нет, полностью. Но тем более тогда надо обсуждать. И чего же он молчал, если знал, что опубликована? Мог бы поздравить меня в новый год. А то молчит. Как они хотят все замять, как желают спокойной жизни!»

А. Т. пригласил нас к себе и сказал, что хочет прочитать новые большие вставки. Одна очень большая и несколько вяловатая перед строками «Неверно думают, что память...», а другая очень сильная и энергичная, там, где речь идет о тех, «кто прячет прошлое ревниво, тот... и с грядущим не в ладу». Куски очень хороши, но они, конечно, не только не ослабляют, но и усиливают антикультовый характер поэмы.

А. Т. спросил: «Будем сдавать в набор?»

Конечно. Вот эти моменты в жизни редакции, хотя они и драматичны, и грозят опасностями, — я так или иначе люблю. В это время мы чувствовали себя не просто товарищами по работе (мы же не все друзья), а людьми ответственными за ответственные дела.

Решили перепечатывать и сдавать. Но А. Т. все же взял верстку, сказал, что посмотрит ее до послезавтра.

Тут же он сказал, что собирается писать о поэме письмо на самый верх. И тех он, конечно, поставит в нелегкое положение.

Отношение к Сталину — это вопрос вопросов, вопрос настоящего и будущего людей — руководителей и не руководителей. И расслоение, размежевание, которое не происходит, а произошло, и мы только скрываем его и прячем под страхом партийной дисциплины, требующей хотя бы формального единомыслия, а мы уже давно привыкли к тому, что единомыслие и должно быть только формальным, упаси, господи, отойти от формы, вот тут-то и начнется, — так вот это размежевание состоялось, откристиализовывается...

12/I—70 г.

Эмилия сообщила интересную новость. В Главлит звонил помощник Брежнева Голиков и попросил дать ему сведения о том, что было снято в «Н. м.». В Главлите это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Запаниковали: а зачем сведения? Г. К.¹ со злостью сказала: «...Пускай, мы им все подпишем» (по № 12). Словно они, снимая и запрещая, спасали нас. Эмилия спрашивала Мишу, не посылал ли каких-либо писем А. Т. Миша дипломатично сказал: посылал, обращался, было дело. Тем более что действительно было. Только не о работе Главлита.

14/I—70 г.

В итальянском «Экспрессо» поэма А. Т. В ужасном обрамлении. Текст, а на полях всюду какая-то голая девка. Это для А. Т. — как нож острый. А. Т. расстроился, конечно, не из-за девки — неприятен сам факт. В предисловии сообщается, что поэма опубликована в ФРГ (видимо, по-немецки) и в ближайшее время выйдет в «Посеве», что в Советском Союзе она запрещена и ходит в спис-

¹ Г. К. Семенова — заведующая отделом Главлита.

ках. «Экспрессо» дает перевод по одному из списков. Переведено почему-то без подзаголовков, одним куском, и ясно, белым стихом и с другим названием.

А. Т. не говорил мне ничего об этом, но когда я коснулся звонка Голикова, сказал: «Тут одно из двух — или под нами хотят подвести итоговую черту, или все-таки немного дадут жить. Но мне кажется, что этот звонок продиктован поэмой, тем, что она появилась за границей. Может быть, тем, что я сказал Воронкову, а потом уже пошло по цепочке — и дошло».

— Это возможно. Но какой исход всей истории — предугадать трудно, — сказал я. — Неважно, что заготовили, важно, что решат.

15/I—70 г.

С утра начали звонить в Главлит. И как ожидалось — никакого результата. А угроза снятия с машины назревала буквально с каждым часом. Я договорился, что буду звонить после обеда. Позвонил. Опять ничего. Тогда я разозлился и сказал, что мы получили телефонограмму из типографии, что если сегодня листы не будут подписаны — нас снимут с машины, и мы уже тогда будем «загорать» дней двадцать. Если это произойдет, мы будем жаловаться в ЦК.

И, кажется, закрутилось.

16/I—70 г.

А. Т.: «Ночью я услышал, что-то рухнуло. Хорошая сосна. И отломилась у нее под пудовым мокрым снегом ветви. А ветви толщиной с руку. Я еще не все раскопал, но ветвей пять сломано. Сосна не ель, в ней много смолы, а иголки пучками, и она много собирает снега и не может гнуться. Хрупкое дерево».

И снова вспоминал о дереве.

23/I—70 г.

На днях появилась в «Правде» передовая. В ней прямое предупреждение коммунистам, которые, несмотря на критику, не исправляют ошибки и даже упорствуют в отстаивании ошибочных позиций.

По-моему, это камушек в наш огород. Да о ком, собственно, и могут так писать? А. Т. тоже так думает...

А. Т. звонил Воронкову. Тот сказал, что достают материалы (напечатанную за границей поэму).

Часа в четыре дня А. Т. поехал к Воронкову и был там довольно долго, вернулся около шести. «Как дела?» — «Никак. Разговор был тяжелый и завтра еще продолжится. Показали мне «Посев» с поэмой. («Это отдельное издание?» — «Нет, журнал».) И сразу спрашивают: «Что же нам обсуждать, вот напечатано за границей». И говорят довольно агрессивно, нагло, как само собой разумеющееся. Я, конечно, не остался в долгу, и они сбавили тон. Посыпались комплименты: «виднейший», «крупнейший» и подобное обо мне. Говорят, что надо, чтобы я сделал заявление по поводу зарубежных публикаций. («У нас?» — «Да, у нас». — «Но если заявление без публикации поэмы у нас, то это смешно». — «Нет, это не смешно, Алексей Иванович». — «Но ведь нет никакой логики, появится заявление, а поэмы так и нет». — «Где вы хотите найти логику!») Начали настаивать, чтобы я сделал заявление до обсуждения, и вроде ставят это условием для обсуждения. Но зачем тогда обсуждать, если на обсуждении скажут после заявления, что не нужно печатать?»

Усталый. Говорит спокойно. Потом, посмотрев на меня:

— Вы еще не представляете, что будет впереди.

Я представляю: хорошего мало. Так я и сказал.

Он позвонил при мне Оле. Она спросила его о делах. Он печально ответил: «Какие же дела? Дела нет». Она снова спросила. Он: «Ну разве по телефону об этом скажешь, дочка?»

Потом спросил меня, не знаю ли я такого Большова, бывшего главного редактора «Советской культуры». Я знаю его мало.

А. Т.: «Так он там, видимо, летит. Нам его предлагают замом».

— Вместо меня?

А. Т.: «Да как сказать. Опять плутни...»

Значит, еще один ход. Любой ценой хотят ввести к нам постороннего человека.

29/I—70 г.

А. Т. пришел сегодня ко мне со словами: «Знаете, что я вам скажу. Помирать так с музыкой, так, чтобы все зазвенело. Я решил, что буду писать на самый верх. И я уже набросал письмо, и мне удалось все самые

спорные положения сформулировать. При этом я не играю в молчанку и говорю все, что думаю, и о поэме, о ее содержании, и о том, что с ней происходит. Я даже о Солженицыне говорю, о том, что его исключение было грубой ошибкой. Я не поддерживаю его последнего отчаянного письма, но исключение было ошибкой и привело лишь к тому, что у нас порваны все связи с передовой художественной интеллигенцией Запада, нас там теперь бойкотируют. И все написал, все, что думаю. Пусть будет грохот». (Потом, повторяя это у себя в кабинете, он сказал: «Это будет последнее письмо», — сказал твердо, и, как у него бывает в моменты сильного напряжения, глаза его побелели и несколько выкатились, уставившись на собеседника, а рука с растопыренными пальцами замерла в воздухе.)

А. Т. сказал, что письмо он пока нам не покажет. Надо еще переработать и подумать, но Дементьеву он его читал, и тот одобрил текст. («Знаете, как он всматривается в каждую букровку, там, где даже не нужно всматриваться».)

А. Т.: «А вы знаете, я уже вошел в этот мир докладных, писем, словно это необходимый и очень важный мир, а все остальное, литература, например, — чепуха. И я уже вошел во вкус докладных. Напишу какое-нибудь «между тем» и наслаждаюсь, вот как я здорово пошел, как я хитро перехожу дальше...»

Приходил Зиновий Паперный, читал свою пародию на роман Кочетова. А. Т. смеялся. А когда все услыши, сказал:

— Я вижу, что этот роман не поддается пародированию. Он сам пародия. Его надо не пародировать, а цитировать.

450

Уходя, А. Т. вновь говорил о Дементьеве, о том, как он самоотверженно любит журнал, всегда готов все читать.

— Он ведь до сих пор говорит «в нашем журнале» (у А. Т. чуть слезы не выступили на глазах). Вообще я вот вам что скажу, дорогие друзья, — у нас постепенно создан такой коллектив, какого, я вам скажу твердо, нигде нет. Я это вижу, я просто знаю: такого коллектива нет. И не будет.

Если не ошибаюсь, я слышу это второй или третий раз.

Хитров разговаривал с Чингизом Айтматовым. Тот тоже сказал, что над нами сгущаются тучи. Просил приехать, но Миша не мог, и они договорились встретиться завтра утром.

Мне стало как-то совсем не по себе.

2/II—70 г.

А. Т. приехал мрачный, озабоченный. Я сказал ему, что, по слухам, в пятницу был пленум ЦК и вроде что-то релалось и о нас.

А. Т. был весь напряжен, и я не совсем понимал, в чем дело, пока он не сказал: «Я перепечатал письмо Брежневу и хочу его вам показать. Сейчас подойдет Дементьев. Это последний вариант, я его согласовал с Симоновым, он в таких делах все понимает, я даже перепечатал его на его машинке, не хочу, чтобы здесь была перепечатка».

Нервничает, вижу, очень сильно. Такого рода шаги для него всегда мучительны.

Часу во втором собрались все. Пришли и Дорош с Марьямовым, Сац. А. Т. предупредил, чтобы никто не заходил. Начал читать, волнуясь. Письмо сильное. Начинается с того, что понуждает его обращаться к Генсеку, партии не только личное положение, но и судьба литературы. Все о «Н. м.», о поэме, о травле и о Солженицыне. Не понравился мне конец, несколько самоуверенный: смысл в том, что я, мол, написал поэму и готов отвечать перед любой партийной инстанцией, вплоть до самой высшей, за каждую строчку и слово. Этого наш партийный этикет не любит. Как в церковных этикетах не гордыня, а смирение почитается у нас за истинную веру и чистоту.

— Ну, что вы скажете? — спросил по окончании чтения.

Что сказать? Сильно. Все правильно. И, если что-то не так, не в этом дело. Я давно убедился, что не в формулировках дело, если это дело уже решено в ту или иную сторону.

Дементьев, как всегда, начал давать свои поправки. Но я видел, что экземпляр один, еще, правда, не подписанный. Он уже предупредил С. Х., чтобы машина стояла на месте и никуда не уезжала.

А. Т. стал злиться. Дементьев доказывает свое, в частности, говорит, и верно говорит, о последнем абзаце. А. Т. взорвался:

— Что ты мне говоришь о каких-то поправках. Не в них дело (это тоже верно!). Не видишь, что я уже на изводе нервов и ничего не могу больше с этим письмом делать. Я уже несколько ночей из-за него не спал и обдумывал сто вариантов.

Побледнел. Еле-еле сдерживается от дальнейших резкостей.

Дементьев: «Ну смотри, ну смотри... Конечно, можно и так посылать. Я понимаю, что и перепечатывать ты не хочешь».

Томительное молчание. А. Т. сидит, что-то думает. Оба молчат.

А. Т.: «Ну ладно».

Отложил письмо в сторону. Вышел. Я тоже вышел. С. Х. вся в напряжении: «Что происходит?..» Наши бабы откуда-то все узнают — и тоже в приемной. А что я могу им сказать? Я поболтался зачем-то в своем кабинете, вернулся в кабинет А. Т. Там все сидят по-прежнему, говорят кто о чем, как это бывает у нас, о разных делах и пустяках, словно только что не было драматического напряжения.

Постепенно и А. Т. перешел на отдаленные темы. Машину задержал, потому что собирается сразу же послать письмо в ЦК. Но не посылает. Потом сказал:

— А интересно все-таки посмотреть, как будет тонуть наш корабль.

И засмеялся. И стало как-то легче. Так у меня бывает, когда спадает высокое давление.

А. Т.: «Звонил Воронкову в субботу, звонил сегодня — хотел посоветоваться. Ведь он тоже говорил, что надо обязательно послать письмо Брежневу. Но он обедает второй день».

3/II—70 г.

Выписал сегодня утром замечательную цитату: «Пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать невозможно».

Кто поверит, что эти слова принадлежат Булгакову, которого чуть ли не сорок лет (да и сейчас порой) обвиняли в пасквильянтстве. Не то же ли происходит и с нами? Мы ходим в очернителях, критиканах и т. п. А ведь правы мы — и это станет ясно в с е м (а сейчас уже многим известно). Я все время вспоминаю в таких случаях прекрасные слова А. Т.:

Все учить вы меня норовите,
Преподасть немудреный совет,
Чтобы жил я, не слыша, не видя,
Только зная, что можно, что нет.
Но нельзя не иметь мне в расчете,
Что потом, по прошествии лет,
Вы же лекцию мне и прочтете:
Где ж ты был, что ты видел, поэт?

Читают лекции именно те, кто когда-то упрекал.
Тоже особый закон.

Когда я думаю о возрождении сталинизма, то
приходят в голову строки Некрасова:

Тернисты пути совершенства,
И Русь помешалась на том:
Нельзя ли земного блаженства
Достигнуть обратным путем.

А. Т. рассказал историю, когда-то рассказанную
ему отцом. Как те ехали в товарном, скотском вагоне в
ссылку после раскулачивания. В вагоне оказался один
странный старик. Кто плакал, кто ревел, кто вновь об-
суждал с другими свою беду, а этот старик никогда ничего
не говорил, сидел в уединении, молча и только иногда на-
чинал жестикулировать: поднимет удивленно плечи, раз-
ведет руками, на лице полное недоумение. (Что же все-таки
произошло — и почему? Непонятно.) Покачает головой
(нет, нельзя ничего понять) — и горестно опустит голову.

А. Т. показывает все это — и как тот старик, все,
конечно, молча. И это смешно, но не очень.

А. Т.: «Вот так по настоящему счету и с нами».

И снова показывает. И совсем уже не смешно.

Да, каша уже сварена. Сейчас идет процедура. Ре-
шение же принято. Это ясно.

4/II—70 г.

Сегодня в середине дня мы услышали, что идет
секретариат. А. Т. в редакции. Как это понять?

А. Т. говорят, что сейчас идет секретариат...

Он пожимает плечами: «Не может быть. И о чем
секретариат? Если о нас, то ведь должна собраться ко-
миссия — ей дано на это 2—3 дня. А комиссия организована
вчера».

Неясно. Но черт их знает, они все могут. Могут со-
браться и без него.

Я сегодня с утра был на совещании в ЦК. Вчера меня пригласили. И так вежливо, так предупредительно разговаривали, что опять мне стало не по себе...

5/II—70 г.

Секретариат все-таки вчера был. И говорят, все решено. Только что точно, мы пока не знаем. У А. Т. усталый, изможденный вид. Очень бледен. Все время взрывается.

Часа в два попросил приехать Воронков. Уехал. Мы ходили с напряжением. Был он недолго. Вернулся. Молча прошел в кабинет. Сел. Мы сидим, ждем, что скажет.

— Так вот, вчера был секретариат. Без меня. И решено освободить Кондратовича, Лакшина, Виноградова, Марьямова и Саца.

Ну и ну! Я смотрю на Лакшина, он вроде был готов к такому сообщению, он кандидат на снятие № 1 — и то он побледнел.

Молчим. Кто-то спрашивает:

— А кого дадут вместо нас?

А. Т.: «Дают? Мне уже неважно, кого дают. Я заявил, что подаю заявление об уходе... Дают Большова... Да нет, они уже все утверждены».

— Без вас?

Взрыв:

— Неужели вы не понимаете, что, конечно, без меня? Все решили без меня! Константин Александрович Федин решил. Он — председательствовал... Так вот, Большов, потом какой-то Смирнов — вторым замом. Рекемчук — этот не знаю куда (по-моему, на прозу... хотя Дорош пока остается). Наровчатов!.. И еще кто-то. Мне это уже неинтересно. И ведь все делается как... Тот же Воронков — все время вздыхает, жалуется на судьбу... «Ужасно, — говорит, — губится такой журнал, такой коллектив...» Это он говорит... И жалуется, что ничего не может сделать, ничем не может помочь... Вот как это делается!

Выясняется, что решение вроде не совсем окончательное. А. Т. еще предложили новый вариант редколлегии с тем, чтобы он подумал.

А. Т.: «А что думать?»

А. Т. настроен пессимистически.

Думать еще можно. Еще остается один, последний шанс: письмо. Надо его все-таки посылать. Но А. Т. в таком звинченном состоянии, что говорить ему об этом невозможно.

9/II—70 г.

Не знаю, стоит ли цитировать и пересказывать письмо: оно, наверное, сохранится в бумагах А. Т. Я лишь хочу подчеркнуть всю остроту момента — и то, что это письмо — последний шанс. Малый. Да, пожалуй, малый, но не использовать его было нельзя. Потом же остался бы осадок: вот надо было бы послать, не послали и загубили журнал.

(Запись от 9 февраля сделана 10-го. Но я не написал в тот день главного: мы узнали, что решение уже принято — нас снимают. Почему я не сделал такой записи — главной, важнейшей? Ума не приложу. Но теперь вспоминаю, что к концу того дня А. Т. ездил к Воронкову и привез эту новость оттуда.

Вообще пропуски, пробелы в этой части дневника неожиданны для меня и показывают теперь, задним числом, что я-таки был в немалой растерянности.)

10/II—70 г.

Завтра должна появиться информация о решении секретариата в «Л. г.». Поэтому все мы приехали, не договариваясь, раньше обычного. Уже в 11 часов все были в редакции. А. Т. тоже. Спокойный. Но под внешней тонкой пленкой спокойствия — готовая в любое время взорваться нервозность. С. Х. сказала, что еще вчера вечером она узнала, что в «Литературке» будет дана информация о нашем снятии и письмо А. Т., и всю ночь из-за этого не спала. Виноградов сказал, что ему обещали дать сигнал номера. Послали за ним. Привезли. Открыли и ахнули: письма А. Т. нет. Нет совсем. А в списке новых членов редколлегии нет Наровчатова, но есть Овчаренко. Только что — числа 4-го — он выступал на пленуме российского Союза по критике с поношением поэмы А. Т. и с намеками на то, что А. Т. молчал о том, что поэма опубликована за границей, ничего до сих пор об этом не сказал и не он ли передал ее туда. Так в редколлегию всучили именно этого Овчаренко.

А. Т. взорвался. Позвонил Воронкову.

— Константин Васильевич! Почему нет в «Л. г.» моего письма?

Тот что-то начал объяснять.

— Я спрашиваю, почему нет моего письма.

Тот опять что-то забормотал.

И с накаленной звенящей яростью А. Т. сказал:

— Я лучше думал о вас и думал, что вы лучше относитесь ко мне. Однако вы допускаете невозможное и

даже об этом не предупреждаете. Вы делаете за моей спиной. Я требую, чтобы мое письмо было напечатано. Доложите об этом куда следует. Сигнал? Сигнал никакого значения не имеет. Вы меня не предупредили и делайте все, что хотите, время еще есть, но мое письмо должно быть напечатано. Иначе я предприму еще более решительные шаги.

И повесил трубку. Белый от бешенства, сказал: — Они не знают, что я еще могу предпринять.

«Что? — подумал я. — Что? Уйдет из секретариата. Кого этим испугаешь?» Но сказано было так, что вроде еще у А. Т. есть в запасе некое таинственное оружие.

Мне не очень понятно было, и сейчас непонятно, чем выгодно А. Т. соседство информации о нашем снятии с его письмом. Мне думается, соседство просто невыгодно. Могут подумать, что А. Т. отказывается от поэмы — и потому хорош, а нас снимают — и мы плохи. Тут видится прямая связь.

Но я не решился сказать об этом А. Т. В последнее время он взрывается после каждого вопроса. Зашла С. Х. и сказала, что Воронков просит меня приехать. Многозначительно посмотрела. Ходят слухи, что меня прочат к Дангулову не то на должность ответственного секретаря (но, кажется, она уже занята), не то вместо Гайсарьяна — замом. Я решил ехать. Но А. Т. остановил меня.

— Подождите ехать. Не спешите. Поедете минут через пятнадцать — двадцать. И сначала позвоните Воронкову и спросите, вызывал ли он вас или нет?

Ясно, что они спешат с публикацией информации — и цель их проста: быстро закрепить решение, чтобы обратного хода уже не было. Это ясно как божий день. Они знают о том, что А. Т. обратился с письмом к Брежневу, и хотят предупредить события. И действуют смело... Значит, где-то есть высокая заручка. Значит, все безнадежно. Но А. Т. думает: а может, минуты сыграют роль. А может...

Я позвонил около 12 часов. Воронков совершенно спокойно сказал: «Приезжайте. Я вас жду». Никакого волнения. И тени нет того, что происходило у нас с А. Т. Значит, надежд никаких.

Приехал. У Воронкова люди. Вышел Озеров, понимающе подмигнул мне, пожал руку, но слов никаких не сказал. А потом пошли долгие минуты ожидания. Я спросил, кто сидит. Оказывается, казахский секретарь. Только через полчаса вышел.

И тут началось священнодействие. Театр. Воронков вышел, дружески поздоровался, извинился за то, что заставил меня ждать. Весь любезность, приветливость.

— Вам, наверное, известно, что состоялось решение о редколлегии «Нового мира»?

Да, оно, конечно, мне известно.

— Но вы не думайте, что мы что-либо имеем против вас, нет, мы вас высоко ценим и т. п.

— Но в чем дело? — спросил я.

— Ну, надо, чтобы поработали в журнале новые люди, надо несколько освежить аппарат.

Ничего себе мотивчик. Если я ценный, то зачем освежать. Но молчу. А что говорить?

Воронков: «Что вы думаете о такой должности? Мы хотим Вам предложить должность консультанта — заведующего отделом к Дангулову в журнал «Советская литература».

Для меня это неожиданность.

— Каким отделом?

— Ну, не знаю. Наверно, литературами народов СССР. Мы нисколько не хотим вас ущемить: такое указание дал Петр Нилович Демичев, и сохраним вам теперешний оклад.

В это время принесли верстку «Л. г.». И явно в расчете на меня. Воронков пригласил меня считать текст. («Вы, конечно, хорошо знаете почерк А. Т.») Сам взял газету, я ему начал читать по оригиналу А. Т. Говорит мне:

— Вы знаете, оказывается, в «Фигаро» не появлялась поэма, надо вычеркнуть.

Вычеркнули. Тотчас же он позвонил заместителю главного редактора Кривицкому (в «Л. г.») и по-хозяйски, барственно сказал ему, чтобы обязательно поставил письмо в номер.

— Да, да, конечно, в московском тираже.

Это уже новый фокус. Значит, только в малой части тиража. А весь Советский Союз письма не прочитает.

Тут же он позвонил А. Т. Уже другим тоном, подобострастным, стал говорить А. Т. о том, что только что он считал письмо в «Л. г.» с оригиналом, письмо обязательно пойдет (о московском тираже — ни звука).

Разговор был коротким. Со мной обо всем договорились. Да и что договариваться? Но я еще главного номера не ожидал. Прощаясь, Воронков стал желать мне самого лучшего, успехов на новой работе и вдруг (!) обнял и поцеловал меня. Я обалдел от неожиданности. Ну, этого я никак не ожидал. Какая трогательная нежность! А потом проводил до дверей, вышел в приемную (чтобы показать другим, как он хорошо относится к новомирцам?) и там еще жал руку.

Я был ошеломлен. Такого лицемерия не ожидал. Это уже высший пилотаж.

Когда я был в дверях, он спросил: в редакции ли Лакшин? Я сказал: да. Он попросил его, если можно (конечно, *если можно*, как же иначе!), приехать минут через двадцать, а то он уйдет обедать.

А. Т., возбужденный, ждал моего приезда. Я сказал кратко что к чему, но когда дошел до объятий и поцелуя, то А. Т., как это бывает у него при поразительно смешных и неожиданных вещах, повалился на стол от хохота. Рыдал, хохоча!

— Да не может быть! И поцеловал? И обнял?

И снова хохочет. Не может остановиться. Пожалуй, это была главная сенсация дня. Володя приехал довольно скоро. У него уже разговор был тоном ниже.

— Меня не целовал и не обнимал.

А. Т. снова расхохотался. Настроение у него улучшилось. Вообще история стала принимать после объятий и лобызаний фарсовый характер. Хотя и весьма противноватый.

Володе предложили — консультантом в «Иностранную литературу».

— И уже о сохранении оклада ничего не говорил, — сказал Володя. — Что-то проямлил насчет 250 рублей.

Но тоже говорил: высоко ценим, уважаем и т. п. Это входило в программу церемонии. Виноградова уже не позвали вообще. Володе Воронков ничего не сказал о «следующем». Это показалось странным.

А внизу, на первом этаже, — волнение. В отделе прозы — Евтушенко, Можаяев, Владимов, Светов, Нёма Мельников, Левитанский, какие-то незнакомые люди. Я зашел отдать часть рукописей.

— Чего ты спешешь? — сказал кто-то.

— А чего мне ждать?

Оказывается, они сидят и ждут. Послали телеграмму — куда? То ли в ЦК — Брежневу, то ли Подгорному. То ли всем вместе. Ждут, надеются, что завтра сообщение о нашем снятии все-таки не появится в газете. Я сказал, что они люди наивные, что уже третий час, газета всюю печатается.

Кто стоит, кто ходит, кто сидит. Молчат. Иногда переговариваются. Я тоже сел. И вдруг почувствовал, а потом уже и понял, на что все это похоже. Так бывает, когда в соседней комнате стоит гроб, а здесь ждут выноса его, оттого и говорят даже чуть ли не полупшепотом.

Все как и положено. Маленькое, где-то на затычку, хроникальное сообщение о переменах в «Н. м.». Сообщается: на заседании присутствовал А. Т. Имеется в виду то заседание от 4/II, где шел разговор о необходимости укрепления редколлегии и аппарата и где А. Т. недвусмысленно высказался на этот счет. Но тут «в обсуждении приняли участие...». И получается, что и А. Т. вроде бы за изменения.

Плохо и то, что рядом (только для Москвы!!) напечатано письмо А. Т. о поэме. Все же это соседство неважное... Я понимаю, что последняя фраза коротенького письма коварная: «будто бы запрещена...» Но ведь они скушают и это: пропустили письмо, а поэму — все-таки не разрешат. Ни в коем случае. Пропустили, уступив А. Т., уступили нехотя, но внутренне цинично ухмылялись: хочешь — пожалуйста, но поэмы напечатанной не увидишь.

Так оно и будет.

А. Т. подал заявление об уходе еще вчера. Ответа же на письмо от Брежнева нет никакого. А. Т. позвонил его помощникам (еще вчера), и кто-то из них ответил, что Л. И. плохо себя чувствует, болен, на даче, но что при okazji ему письмо А. Т. сразу же перешлют.

Последние, слабые надежды.

Сегодня часа через два появился Миша (фотограф). Оказывается, А. Т. договорился с ним о фотографировании. За все многие годы работы мы никогда не фотографировались. Теперь надо. Пришел оповещенный на этот счет Закс. Ждали Дементьева, и, как только он появился, Миша начал свою работу.

У меня настроение было отвратительное. Все остальные как-то благодушествовали. Я же плохо себя чувствовал физически. Миша попросил всех быть повеселее (это всегда говорится при фотографировании, но тут вроде бы даже имело особый смысл). Я не мог себя пересиливать и не стал натужно улыбаться. А. Т. развеселился. Все было шумно, мило. Фотография должна получиться интересной. Главное: все снятые — и раньше и теперь — вся редколлегия при А. Т. Дементьев со свойственным ему интересом историка литературы тут же заявил, что эта фотография станет уникальной и войдет во все учебники и

хрестоматии будущей истории литературы: ведь ничего же не останется из фото, кроме нее.

А история «Н. м.», как уже многим кажется, несколько не уступает истории «Современника» или «Отечественных записок».

Мы еще не все представляем. Тем более сейчас, в эти кровавые погромные дни.

16/II—70 г.

Я уехал вместе с А. Т. в начале шестого. Перед отъездом А. Т. сказал: «И ведь знает (Воронков), что сижу и жду — и нет чтобы позвонить». А до этого сказал: «И они знают, что я ничего сделать не могу. Мне некуда жаловаться» (и засмеялся: «В ООН только если», и снова мрачно: «Жаловаться некуда»).

Пригрозил: «Ну, я завтра устрою им. Так что все затрясется».

Я так и не понял, что он собирается сделать. Выйти из секретариата? Так они и это затянут на недели две, если не больше.

Что можно устроить?

С печатью журнала (№ 1) что-то творится неладное.

Я: «Но не станут же они пересматривать номер и делать новый, когда этот подписан и готов».

А. Т.: «Все могут, Алексей Иванович, все могут. Потому что все можно».

Миша звонил Эмили об этом. Та говорит, что ничего не знает о пересмотре № 1. Но действительно все может быть. Жаль, если не дадут выпустить этот последний номер — хороший, новомирский. Жаль из-за «Белого парохода»...

19/II—70 г.

Я заезжаю теперь в «Н. м.» не на все время, но каждый день. Приезжают все. Сидим. Чего-то ждем. Ничего не делаем. Разговариваем обо всем на свете. И даже не томительно, не скучно. Как раз наоборот. Вольно, весело.

— Посиделки, — говорит А. Т.

И уже несколько раз все повторяли это слово...

— Ну что, опять посиделки?

— Поеду на посиделки.

Воронков попросил сегодня А. Т. приехать. И там-то наконец сказал А. Т., что его отставка принята. Перечислял при этом все блага, которые А. Т. ожидают.

Мы этого ждали. И А. Т. ждал. И уже за рубежом печать не однажды сообщала об отставке А. Т. И все равно ощущение громадной потери не оставляет.

Говорят, что Брежнев дал согласие на отставку. Вот и ответ на письмо А. Т. Да так оно и должно быть. Без Брежнева, тем более ему было послано письмо, — не реши-ли.

И, боже мой, сколько раз это было в истории. Пройдет, может быть, совсем немного времени, о большом историческом сроке и говорить нечего, — и будут смеяться, потешаться или откровенно презирать «руководителей» типа того же Брежнева. А сейчас ему лень снять трубку и позвонить великому поэту.

А. Т. принял отставку спокойно. Я не чувствовал у него облегчения. Именно спокойно. Но, наверно, он и сам об этом напишет. Тут он как-то сказал:

— И хоть нет времени и желания, а все-таки я хоть несколько строк в день, но записываю.

Это очень важно. Его записи будут бесценны, особенно записи, относящиеся к таким поворотным моментам в истории литературы, какие происходят в эти дни.

20/II—70 г.

Я уже простился с редакцией — и обошел, кого мог обойти, — и попрощался. И это было так хорошо, потому что сегодня прощался А. Т. — и я бы вместе с ним не мог ходить по этажам. Пошли они вместе с Лакшиным. Я остался на втором этаже у себя и места не находил.

Ходили они долго. Начав с четвертого этажа, с библиотеки и корректуры. Я уже стал проявлять нетерпение — где же они? А они только спускаются на первый этаж. И я спустился туда.

А. Т. в бтделе прозы. Все растерянные, не знают, что говорить.

Не знаю, сколько продолжалось это прощание. Мне показалось, долго, что-то около часа.

Потом мы собрались в кабинете А. Т. и решили тронуться на старую Володину квартиру — там уже что-то было подготовлено. Пирожки с мясом, ветчина, рыбешка — и водочка — наш традиционный «набор».

Тут стало уже как-то легче. А. Т., выпив, стал говорить о «Н. м.», о том, что значил журнал в его жизни.

— Я почти двадцать лет жизни отдал журналу.

И начал считать: сколько было в первый заход, сколько — во второй. Получилось что-то около восемнадцати лет (правильно: семнадцати).

А. Т.: «Третью моей жизни. Не только сознательной. Вообще треть».

Подъехал Сац. Потом тут же появился Дементьев. И Дементьев предложил:

— Давайте договоримся: каждый год, пока живы, будем собираться 20 февраля. Всем нашим личным составом. Пусть это будет новомировский день.

Предложение было трогательным. Я знаю, что А. Т. не любит никакие театральные эффекты, а в таком предложении есть какой-то элемент театральности, а лучше сказать, затрепанности, даже инфантильности. Ну, казалось бы, чего нам, старым и седым, договариваться, как юношам?..

Но тут и А. Т. растрогался и поддержал Дементьева. Вот и перевернулась, почти окончательно, да что почти? — окончательно наша долгая, странная, горькая и печальная и трижды радостная страница.

4/III—70 г.

Вышла «Л. г.». В ней ничего об отставке. А я, как дурак, рано утром выбежал по морозу к киоску, хотел прочитать. Ничего нет.

Позвонил Лакшин: «С консультантским приветом!» Он объясняет отсутствие заметки тем, что, по всей видимости, ищут и никак не могут найти формулировку. А я думаю, что еще и хамят: подальше оттянуть это сообщение от нашего снятия.

Может быть, и так. Вполне может быть.

(Ни то, ни другое. Информация о снятии главного редактора «Н. м.» вообще не появилась. Не могу гадать: почему? Но факт остается фактом. Боялись оповещать свет? Но свет и без того знал. Или ломали голову над формулировкой, устали и забыли со временем, а потом уже поздно: как хорошо, что поздно, можно и не помещать. Это тоже наш родной, русский способ выхода из сложных положений.)

14/III—70 г.

Вчера договорились съездить к А. Т. Хитров звонил ему и сказал, что тот с большим удовольствием ждет нас. А до этого я звонил М. И. по своим редакционным делам, она сказала, что А. Т. чувствует себя

хорошо. «Позвоните ему, если он не ответит, то, значит, разгребает снег». Ну, значит, совсем здоров!

Поехали втроем — Хитров, Виноградов и я...

Говорили о многом, и я без системы (ее, как полагається, не было и в разговоре) запишу то, что сказал А. Т.:

— Куда мы идем, никто не знает. Знаю только одно — хорошего не будет. Экономике резолюциями не спасешь. Единственная возможность спасти положение — это открыть все шлюзы гласности, для откровенного разговора, но именно этого они не могут сделать. Потому что если бы они думали иначе, они не ликвидировали бы «Н. м.», а, наоборот, поддержали его.

А. Т.: «Нам всегда казалось, что кончится «Н. м.» (А. Т. и все мы говорим: «кончится «Н. м.», «закрыли «Н. м.», «ликвидировали «Н. м.» так, словно он как издание и не существует. Но все дело в том, что он существует лишь как издание) — и над мачтами сомкнутся волны. Но вот я читаю много писем — и не от писателей, а от читателей, — пишут все — учителя, слесари, студенты, — пишут о нашей беде, и пишут так, что я вижу: волны не сомкнулись, нет, не сомкнулись — и мачта наша с нашим флагом еще трепещет над волнами. Наше дело живет».

А. Т.: «Вообще впереди много трудного, мне это ясно. Ясно, что как раз самые большие трудности еще впереди (эта мысль меня изумила, казалось бы, трагедия уже состоялась), а все-таки есть необратимые вещи, и, как говорят, — а все-таки она вертится. Не могут они уже многого вернуть при всем желании. Вы думаете, Брежневу не хотелось бы вернуть страх? Хотелось бы. Но он этого не может. Правление Санчо Пансо (так он называет Хрущева), каким бы оно ни было, привело к переменам необратимым, к процессам неостановимым, хотя их и пытаются заморозить, обратить жизнь вспять. Но на этом-то рано или поздно они голову сломают».

А. Т.: «Сейчас все всё понимают — и такие, как я, шестидесятилетние, и пятидесятилетний Алексей Иванович, и вы, более молодые, и тридцатилетние, и двадцатилетние. Последние ничего не видели из ужасов сталинских времен, но именно их-то и не повернешь вспять никакой силой. Я сужу не по Вале, она вполне зрелый и умный человек, а по Оле. У молодости есть особый закон, когда дети с известным возрастом начинают критически относиться к своим родителям. Это у меня было, и я уже замечал за отцом разные недостатки, судил его строже, чем потом, уже в зрелом возрасте. А по своим детям я замечаю, что они с годами начинают относиться ко мне все

лучше и лучше. И в силу того, что они думают так, как я. И в силу того, что думают вместе со мной. И сочувствуют делу, которым я занимался, скажем, тому же «Н. м.».

А. Т.: «Но если бы даже совершилось чудо, мы снова смогли бы собраться под крышей «Н. м.», у нас уже не будет того энтузиазма, той воли и настойчивости, уже в силу того, что жизнь будет простой и легкой. Мы уже будем другими в том немислимом «Н. м.», в котором, как во сне, мы могли бы вновь оказаться».

Как А. Т. в свое время хотел уйти из «Н. м.», рвался. А теперь (я замечаю это все время) он мечтал бы вернуться. Но чудес не бывает. И ему сейчас, может быть, труднее, чем нам. У нас есть дело, нам надо хотя бы зарабатывать деньги. У него дела нет. Писать? О чем? Для кого? Кто будет печатать? Читать книги? Но это уже совсем пенсионное дело! А что ему действительно сейчас делать? Пусть пройдет время — и примется, может быть, за лирику.

А. Т.: «Я узнал прошлой весной историю, которая сама по себе могла бы стать материалом для другой поэмы (речь шла о последней поэме А. Т.). Оказывается, перед съездом колхозников была дана команда: найти сына кулака — благополучного, работающего и т. п. Это была задача трудная. Как только спрашивают, то любой секретарь райкома трусит: признаешься, что сын кулака работает, не раскулачен,— и мало ли что будет за это. Но с каким-то трудом нашли. Одели. Привезли в Москву на съезд. Написали для него речь. И он ее произнес. И где-то в самом начале он сказал: «Да вот, я сын кулака, некоторые могут подумать, что мне трудно жить, что мне не дают работы». В это время Сталин и бросил свою знаменитую реплику: «Сын за отца не отвечает». Для этой реплики и был привезен этот, с трудом отысканный, сын. Я помню впечатление от этих слов, особенно в деревенской среде. Но только в прошлом году я узнал, как была произнесена эта реплика. И об этом можно было бы тоже написать».

Сидели долго. Уже вечерело, когда поехали обратно. А. Т. все не отпускал, все ему хотелось поговорить. И это было до слез печально. Его одиночество глухое, безрадостное.

Мы никогда так долго не были у него. Были дела. Обсуждали их. Обедали. Говорили. Потом уезжали. А теперь дел нет, одни разговоры. И не хочется расставаться.

...«Мои дневники опубликуют лет через пятьдесят», — говорил Алексей Иванович Кондратович, не предполагая, что неизменно изменится жизнь нашей страны всего через несколько месяцев после его смерти. Невозможное станет возможным, и то, что доверяли только самым близким друзьям, сегодня могут читать все.

«Новому миру» Кондратович отдал около 17 лет своей жизни. Он работал с Твардовским и «в первый заход» — с 1952-го по 1954 год, и потом, когда Твардовского вновь призвали возглавить журнал, он вновь пригласил Кондратовича — сначала на должность заведующего отделом прозы, а с 1961 года Кондратович был заместителем главного редактора.

Журналу и Твардовскому Кондратович был предан фанатически. Не раз в горькие минуты он говорил: «И все-таки я счастливый человек, я могу считать, что моя жизнь состоялась: я встретил Твардовского, и я работал в «Новом мире».

«Новомирский дневник» охватывает всего около четырех лет жизни редакции, первые отдельные заметки относятся к концу 1966 года. Предваряя дневник, Алексей Иванович размышлял: «...я заметил одну закономерность: если не запишешь в тот же день, то на следующий уже что-то забыл. Вроде бы мелкое, несущественное, главное-то, конечно, помнишь. А через два-три дня пропуска главное начинает округляться и расплываться в своих контурах: меньше деталей, зазубрин в очертаниях... Далеко не всегда ясно, что все-таки главное и из чего оно составляется. То, что сейчас представляется главным, через какое-то время оказывается сущей незначительностью. Это, кажется, все знают, даже по собственному житейскому, а не историческому опыту. А мелочь, пустяк, несущественное вдруг вырастает в своем значении... История не только переворачивает факты наизнанку, но и переосмысливает их... Примеры? Множество. Какой не государственной, официальной, а народной популярностью пользовался в свое время Демьян Бедный, и кто знал тогда нищавшую в эмиграции Марину Цветаеву или замкнувшую уста Анну Ахматову! Стоит ли говорить, что теперь все наоборот. Покажите мне человека, который держит в руках книгу Демьяна Бедного. А ведь есть имена, которые все еще разгораются и не достигли своего истинного накала...

Но суть не в одной переоценке, на которую время одно и способно... Это лишь часть дела. Есть события и люди, о которых настоящее судит почти так же верно, как и последующее... Суть, повторяю, не в этом. Если вести речь о значении деталей, частных, то быстро выясняется, что и

они не мелочи. Одно слово, только одно слово может изменить интонацию говорящего, разлиться по всей фразе, окрасить ее в свой неповторимый цвет. Это слово можно забыть через час и не вспоминать уже никогда, а оно — человек, время, дух человека и времени...»

Записи Кондратовича подневны, часто очень подробны. Однако нельзя сказать, что жизнь редакции полно отражена в дневнике. Несомненно, она была многообразнее и многолюднее. Но взгляд автора сосредоточен на Твардовском: «...всюду в центре моего внимания — Твардовский. И журнал. Журнал и Твардовский. Я полагаю, что в этом смысл был».

Готовя дневник к перепечатке, автор написал к нему подробные комментарии (они выделены в тексте другим шрифтом). Но это уже было в середине 70-х годов, взгляд на события издалека.

Один из друзей обратил внимание на то, что в комментариях автор часто ссылается на слухи, разговоры, не подтвержденные доказательствами. Кондратович объяснял это: «Я то и дело ссылаюсь на чьи-то рассказы и разговоры, достоверность которых я и тогда бы не мог засвидетельствовать. Но что поделаешь, если иной информации у нас нет... Это свойство, черта нашей жизни, черта давняя и нисколько не исчезнувшая и в теперешние дни. Отсутствие гласности, свободы слова, простой информации всегда рождает обильные слухи. Они — замена информации, ее эрцаз. Печальная особенность нашей жизни...»

Для сборника «Взгляд» мной отобраны фрагменты только последнего года существования редакции под руководством Твардовского. Сильно спрессованный текст, конечно, лишь контурно передает драматизм происходившего. Одно несомненно: записи достоверны. Они — документ.

*Публикация, подготовка текста,
примечания и послесловие
В. Кондратович*

Взгляд

Литературные культуры

Взгляд

Критические рейтинги

Сейчас в обиходной речи повсеместно встречается выражение «рейтинг шахматиста». Им пользуются люди разных возрастов и профессий, иной раз люди, настолько далекие от шахмат, что называют ладью турой или путают ферзевой гамбит с элементарной защитой Каро-Канн. Однако всем ли понятно это выражение? Что оно означает?

Попросту говоря, рейтинг — это количественное выражение степени мастерства. Ведь шахматисты играют в разных турнирах, с различным составом участников, и, для того чтобы сравнить их силу между собой по справедливости, введен особый коэффициент, так называемый рейтинг.

Шахматные рейтинги определяются довольно сложной формулой, которую здесь приводить ни к чему. Не формула красит книгу. Не в ней, родимой, дело. Дело заключается в том, что всем критикам тоже страстно хочется знать, кто из них лучше, а кто — хуже. Хочется это знать и читателям, и широким писательским массам.

Для этого в теорию и практику литературоведения можно ввести особые, критические рейтинги. Благодаря им силу и молодецкую удачу критиков, подвизающихся в разных областях литературы, легко можно сравнить между собой, как говорится, по всем статьям. Подобное сравнение, безусловно, вызовет рецидив здоровой конкуренции, что приведет к неуклонному подъему рецензионной планки. А это выгодно нашим общим интересам — критика должна быть критичной.

Рейтинг критика производственных произведений

Он представляет собой дробь, в числителе которой находится суммарная разница между себестоимостью выпускаемой продукции в завязке и в финале рецензируемых произведений; а в знаменателе — величина использованных капиталовложений на реконструкцию или модернизацию предприятий. В тех случаях, когда главный персонаж романа бессонными ночами придумывает способ снижения себестоимости без дополнительных (сверхлимитных) затрат, величину капитальных вложений следует заменить ценой огромного количества сигарет, которые любитель ночной работы на кухне курит одну за другой. В тех редких случаях, когда заядлый курильщик — персонаж отрицательный, и, стало быть, себестоимость к финалу повышается, цена сигарет берет-ся со знаком минус.

Рейтинг критиков произведений на сельские темы

Сразу необходимо оговориться, что современные колхозы дифференцируются на зерновые и животноводческие. Соответственно подразделяются и писатели-деревенщики. Не говоря уже о рецензентах. Поэтому в каждом случае рейтинг имеет свою окраску.

а) Зерновой рейтинг.

Рецензируя произведения писателей-деревенщиков, критики в первую очередь уважительно отзываются про описанные поля, уголья, лугопастбищные севообороты. После чего переходят к характеристикам персонажей. Пропорции между этими двумя восхвалениями служат хорошим мерилем критического мастерства. Площадь одобренных критиком удобренных колхозниками пахотных земель умножьте на среднюю урожайность с одного гектара, а произведение разделите на количество кол-

хозников за вычетом председателя, который вечно пропадает на совещаниях в районе, а также выпуклого образа деревенского весельчака, балагура и певуна, который оживляет повествование, но отнюдь не способствует повышению урожайности.

б) Животноводческий рейтинг.

Количество голов крупного рогатого скота умножьте на среднемесячную удойность. Произведение разделите на количество колхозников за вычетом заведующего животноводческой фермой, которого вечно вызывают на проработку к председателю, самого председателя — от него тоже толку как от козла молока — и молодого недотепы, мечтающего сразу после десятилетки работать доярком, то есть оператором машинного доения. Хотя образ этого любителя телячьих нежностей делает, по меткому замечанию критиков, повествование достоверным, емким, стереоскопическим, он отнюдь не способствует повышению удойности, привеса, не говоря уже о приплоде.

Примечание. Гораздо реже рецензируются произведения, описывающие труд и быт тружеников птицеводческих хозяйств. Поэтому подобное внимание ценно вдвойне. Легко находится и рейтинг — количество цыплят, которых по осени считают персонажи произведения, удваивается.

Рейтинг критика поэзии

Надо отметить, что в принципе возможно даже создание отдельного рейтинга, который помог бы сравнивать между собой мастерство разных — хороших и плохих — поэтов. Работы уже ведутся, но это дело будущего. А вот рейтингом критиков, препарирующих рифмованные произведения, можно пользоваться уже сегодня. Разумеется, сами поэты не имеют к нему ни малейшего отношения — они даже не подозревают о присущих им градусах гражданственности и накалах напряженности. Итак:

точное количество колючек и шипов на тернистых путях рецензируемых поэтов следует умножить на высоту их гражданских убеждений, выраженную в аршинах. К полученному произведению прибавьте максимальную величину диапазона чувств, и все это возведите в степень любви поэтов к своей малой родине.

Примечание. В случае надобности итоговый результат следует скорректировать на коэффициент осуждения модных поветрий, который представляет собой частное от деления общего количества обнаруженных

корявых поэтических выражений на число приводимых критиком цитат из писем Пушкина к жене и дневников Петрарки.

Рейтинг театрального критика

Из суммарного количества зрителей, спешно покинувших после первого действия плохие спектакли, поставленные по пьесам популярных плохих драматургов, нужно вычесть общее количество восторженных рецензий на эти спектакли, которые рассматриваемый критик успел опубликовать в разных газетах и журналах. Полученный результат разделить на абсолютное количество отрицательных рецензий на пользующиеся большой популярностью у зрителей спектакли, поставленные по пьесам молодых авторов.

Примечание. В первой части формулы каждый зритель, который прошел на спектакль по контрамарке, считается за два.

Рейтинг критика исторических произведений

Несмотря на легкий алгоритм, этот рейтинг вычислить не так-то просто, поскольку здесь приходится оперировать очень большими цифрами, для которых иной раз малы даже регистры современных японских микрокалькуляторов.

В общем количестве придворных интриг, описанных в рецензируемых произведениях, критик должен сам подсчитать, сколько из них затеяно инородцами (в процентах). К полученному результату прибавляется среднеарифметический возраст масонов, пронзенных шпагой положительного героя во время преследования его сторонниками отрицательных персонажей — сокольничих, постельничих, графов, есаулов, нэпманов и др.

Рейтинг критиков научно-фантастических произведений

Разделите количество непонятных квазинаучных терминов, перекочевавших из произведения в положительную рецензию, на выраженное в световых годах расстояние между той планетой, к которой стремились первопроходцы космических трасс, и той, на которой их было бы интересно увидеть критику. К полученной величине прибавьте выраженную в сантиметрах величи-

ну диаметра дыры в обшивке звездолета, которую проделал залетевший в невесомость шальной метеорит, и — рейтинг готов.

Рейтинг критика детективов

Когда-то рецензенты вовсю хвалили динамизм повествования. В наши дни на почетное место ставится неторопливость изложения событий. В былые времена рецензенты благожелательно отзывались про инспекторов угрозыска с реакцией, как у Третьяка. Сейчас им больше по душе эдакий рефлексирующий следователь, которому ничего не ясно до последних страниц. Вдобавок ко всему на нем висит груз семейных и бытовых неурядиц: готовящаяся к защите диссертации жена, готовящийся стать отцом сын, пошаливает поясница... А между интеллектом следователя и объемом детективного произведения существует связь, увы, обратно пропорциональная. Чем глупее следователь, тем дольше он распутывает порученное дело, тем объемистее произведение. Зато между объемом детектива и рецензии связь прямо пропорциональная. Поэтому рейтинг определяется дробью, числитель которой — суммарное количество связанных и скрученных преступников, а знаменатель — общее количество страниц.

Рейтинг критиков произведений о спорте

В финале каждого произведения из спортивной жизни главный герой под неописуемый рев собравшихся на трибунах стадиона болельщиков за несколько секунд до конца напряженного матча приносит своей команде победу. Рейтинг равен количеству подсчитанных рецензентом болельщиков (в тысячах), которые бурно приветствуют успех команды-победительницы на последних страницах книги, деленному на количество секунд (в минутах), оставшихся до конца матча в тот момент, когда яркий образ главного героя произведет решающий удар (щелчок, бросок, гребок).

Рейтинг критика сатиры

Трудно сказать, по чьей вине критические материалы о творчестве сатириков появляются в печати до неприличия редко. Ну кто, например, крити-

ковал М. Зощенко?.. Поэтому существование специальной формулы тут может показаться излишней расточительностью. Тем не менее иногда критики пишут о мастерах, как они любят говорить, веселого цеха. Стало быть, подобный рейтинг в принципе может понадобиться. К тому же он носит вспомогательный характер — его приплюсовывают к основному рейтингу критика, тем самым увеличивая его лицевой счет. Чистых специалистов по сатире у нас нет, да они и не нужны. Ведь об искрометных шутках способен квалифицированно написать любой. Уж что-что, а чувства юмора нашим зоилам не занимать.

Для получения вышеозначенного рейтинга необходимо разделить количество улыбок, появившихся на суровом лице критика при чтении разбираемого произведения, на число старых анекдотов, использованных сатириком в своей новой работе.

Вы меня понимаете?

Два мнения

Новый роман начинающего дебютанта Т. Трубкина «Клюква в сахаре» сразу же попал в самый эпицентр пристального внимания широких слоев. Роман склоняется и спрягается на все лады. Сегодня за наш дискуссионный квадратный стол уселись писатель П. Пульченко и критик К. Колонский. Нашумевшему роману Т. Трубкина и посвящен их принципиальный обмен мнениями, который мы публикуем с непринципиальными сокращениями.

П. А не кажется ли вам, что за последний период истекшего времени в нашей литературе идет качественное улучшение количественных критериев?

К. Вот тут позвольте мне с вами не согласиться. Мне кажется, за истекший период последнего времени в отечественной литературе резко возросло количество качественных критериев.

П. Мне это кажется необъяснимым. А чем это, по вашему, можно объяснить?

К. По-моему, это можно объяснить взаимопроникновением искусств.

П. Вот тут вы, пожалуй, правы, как никогда. Больше смежных искусств — больше взаимопроникновений. В одном из фильмов зарубежного кинорежиссера Уильяма Гофре «Ты сломаешь себе шею» имеется такой, не лишенный определенной пикантности, эпизод: три мо-

лоденькие сеньориты во время очередного файф-о-клока затеяли игру в буриме. Эта мизансцена невольно пришла мне на память...

К. Я не одобряю деятельности той части общества «Память»...

П. Я имею в виду память без кавычек. На память мне пришел тот момент, когда я читал то место «Клюквы в сахаре», в котором Фрол бредет по тому первопутку. Вы меня понимаете, Павел Протасович?

П. Я вас понимаю, Кондрат Касьянович. Я ведь тоже порывался сказать, что, читая один за другим абзацы романа Трубкина, думал о чем угодно. А вы помните то место, когда Эдуард гневно бросает Алевтине: «Работаешь тут с раннего утра до позднего вечера как проклятый. А ты даже не удосужилась постоять лишний раз в очереди за сахарным песком. Как мы теперь будем гнать клюквенное варенье?!» Не кажется ли вам, в Эдуарде чувствуется что-то настоящее, мужское?

К. Мне кажется, вы несколько сгущаете. Из этой фразы перво-наперво бросается в глаза по-трубкински кружевная плотность романа, в котором мыслям тесно. Но они находятся в тесноте, да не в обиде — словам-то просторно. Например, написано всего ничего: «...под левой передней лапой суслика хрустнула ветка пыржача». А от этого хруста за версту разит чем-то неведомым.

П. Магия слова, в некотором роде.

К. Да, магия, Павел Протасович. И ваша ирония здесь неуместна. Весомая магия! Хотя пыржач в данном случае — всего лишь символ застоя на марше.

П. Да нет же, Кондрат Касьянович, символ — это суслик. У него на роду начертано быть символом. И он для этого хорошо приготовлен на творческой кухне Трубкина.

К. Мне кажется, я утверждаю, Павел Протасович, что символ — это пыржач. А суслик — это гадкий утенок повседневного быта.

П. Пускай так. Пыржач да суслик — одного поля ягодки. Трубкин вообще — король символов. Нетопленная кухня коммунальной квартиры, в которой вдруг вспыхивает основной конфликт произведения из-за того, что Вероника нечаянно плеснула в солянку Эдуарда серной кислотой, является ярким символом тусклого прозябания героев.

К. Но вообще, мне кажется, щедрый талант Трубкина не дает замыкаться конфликту между героями только в рамках кухни. Он переливается и в коридор, и в ванную, и на антресоли. А достигает своего апогея в стенном шкафу. Не кажется ли вам, что столь страстная ав-

торская позиция заслуживает пристального внимания критики?

П. Мне кажется, Кондрат Касьянович, пристального критического внимания заслуживает то обстоятельство, что Трубкин — гроссмейстер выпуклой детали. При чем большой гроссмейстер. У меня не выходит из памяти...

К. Я не одобряю деятельности той части общества «Память»...

П. Я имею в виду память без кавычек. У меня не выходит из памяти без кавычек такая деталь из неопубликованного и ненапечатанного варианта «Клюквы в сахаре»: «За неимением спичек Фрол поковырял в зубах зажигалкой». А? Написано-то всего ничего, а характер — на ладони.

К. Что там спички? Вот, например, как снайперски точно из всего многообразия одежды шурина выбран кирзовый сапог. Уже по одному этому сапогу читатель явственно видит эдакую забуревшую комнатушку хозяина с эмалированной кроватью посередке и облупленным шифоньером возле дверей. Чувствуется, где-то там обязательно должен быть порыжевший от времени ридикюль...

П. На шифоньере, где же еще.

К. Но мне кажется, помимо деталей спецификой щедрого таланта Трубкина является перенасыщенная событийность повествования. Всего три дня прожил приехавший из деревни шурин Алевтины в ее коммунальной квартире. А сколько конфликтов произошло за это время! И это несмотря на то, что шурин все три дня практически молчит. Вы это заметили, Павел Протасович?

П. Мне кажется, заметил, Кондрат Касьянович. И тем не менее его характер настолько крупен и выпукл, что он интересен читателю, даже когда молчит.

К. Более того, Павел Протасович. Когда шурин молчит, он гораздо интереснее читателю. Такой персонаж лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А вы заметили, что автор не хочет оказывать давления на читателя? Он даже не находит нужным разобъяснить, куда Фрол идет.

П. Мне кажется, Кондрат Касьянович, автор еще не решил окончательно для себя, куда идет Фрол.

К. А мне кажется, что читатель все равно верит масштабу щедрого таланта Трубкина — куда надо, туда и идет.

П. Сейчас, когда у некоторых писателей, да и поэтов наметилась тенденция к камерности и келейности, не может не радовать тяга щедрого таланта Трубкина к вскрытию глубочайших психологических пластов. Не кажется ли вам, что он ярко и выпукло показал духовное

банкротство Эдуарда, вынуждающего шурина Алевтины платить за телефон, которым тот практически не пользовался?

К. Не кажется.

П. А не кажется ли вам, Кондрат Касьянович, что своего рода стереоскопическая интерполяция в плане интонационной конкретизации основополагающей идейной гибридизации нового произведения Трубкина, всесторонне и многогранно подчеркиваемая имманентно присутствующими лишь ему целями и задачами, которые эмбрионально заложены в генезисе романа, резко фокусирует априорную определенность именно данных героев?

К. Кажется.

П. Так могут ли быть два мнения по поводу этого романа, созданного щедрым талантом Трубкина?

К. Не могут.

От редакции. Мы познакомились с двумя разными мнениями по поводу одной книги. Что ж, при плюрализме каждый имеет право на свою собственную точку зрения. Так держать, товарищи писатели и критики!

Сегодняшнее вчера

(Опыт сводной рецензии)

Где-то я прочитал, что каждый должен мыслить самостоятельно, чтобы не прозреть потом коллективно. С самостоятельным мышлением (я говорю о поэтическом мышлении) у нас не получилось — я постараюсь показать это в своих заметках. Наступило время коллективного прозрения. Произойдет ли оно?

Необходимо выявить причины нашей прошлой слепоты. Во всем. И в поэзии особенно. Ибо в поэзии, как и в жизни, долгое время постоянно напоминало о себе, гипнотизировало нас *мифологизированное сознание*. Об этом характерном явлении нашего прошлого, дающего себя знать и в настоящем, я стал размышлять, прочитав в «Известиях» (15 апреля 1988 г.) статью О. Лациса «Сказки нашего времени». Автор ее осмысливает мифологизированный характер наших представлений о социализме, пишет о людях, которые до сих пор находятся во власти мифов, созданных еще при Сталине. «Конечно, — замечает О. Лацис, — не все сказки нашего времени придуманы Сталиным или в те времена, когда был Сталин. Оттуда пришло

само мифологизированное сознание, а коли оно есть, то сказки можно придумывать и в наше время. И приверженцы такого сознания очень охотно занимаются этим».

«А ведь среди таких приверженцев,— с грустью подумал я,— есть и мои собратья по поэтическому цеху». Да, именно такое, мифологизированное сознание диктовало строки многих стихов, появившихся в застойные годы, определяло темы, «угол зрения», жанровые пристрастия их авторов. В этом убеждают меня шесть сотен «перелопаченных» мною авторских сборников, поэтических альманахов, своего рода «братских могил», представляющих нашу поэзию в ее вчерашних, а подчас и сегодняшних «массовых» выходах. Размышляя по поводу прочитанных и а к а н у н е (причем «накануне» длилось пятнадцать без малого лет!) и нынче стихотворных книжек, я еще раз как бы заново переживал провалы и радости, огорчения и надежды нашей нынешней поэзии. Поэтому мои заметки могут претендовать на определение «сводная рецензия» на стихотворную «продукцию», вышедшую в отечественных издательствах в 70-е — первой половине 80-х годов.

Меня могут упрекнуть в какой-то подобранности цитат, в делении поэтов на любимчиков и нелюбимчиков, могут вспомнить, что тон в поэзии последних лет задавали Е. Евтушенко и В. Соколов, А. Межиров и Д. Самойлов, М. Дудин и Г. Горбовский... — поэты, которым не откажешь в гражданской честности, смелости, умении прислушиваться к пульсу времени, страны, народа. Оправдываюсь: основным параметром я попытался взять в данных заметках в а л — главный показатель прошлых лет. Именно он помог выявить тенденции и общие признаки мифологизации нашей поэзии.

Пусть в блеске славы и почета
он (год.— А. Щ.) завершится на селе
и звонкой цифрой отчета,
и хлебом-солью на столе!

Думаю, автору процитированных строк С. Видулову не хуже любого в нашей стране известно, что «звонкая цифра отчета»¹ в прошлые годы находилась в катастрофическом противоречии с образом «хлеба-соли на сто-

¹ Говоря о «звонкой цифре отчета», поневоле вспоминаешь провидческий персонаж Платонова из «Чевенгура»: «Секретарь губкома сидел с печальным лицом... Информации, отчеты, сводки и циркуляры начинали разрушать здоровье секретаря; беря их на дом, он не приносил их обратно, а управляющему делами потом говорил: «Товарищ Молельников, знаешь, их сынишка сжег в лежанке, когда я спал. Проснулся, а в печке пепел. Давай попробуем копий не посылать — посмотрим, будет контрреволюция или нет?» — «Давай,— соглашался Молельников.— Бумагой, ясная вещь, ничего не сделаешь — там одни понятия написаны...»

ле». Но легенда вырабатывала свои правила и законы существования. И мы продолжали играть, сообразуясь с этими правилами.

Не отсюда ли явное падение читательского интереса к стихам: вранье, коим мы занимались в недавние годы, не сошло с рук. Вот почему заметки эти и о девальвации поэтического дара, то есть вранье самим себе (остались верными слова Цицерона: «Они научились говорить перед другими, но не с самими собой...»). Есть немало и других поводов для этой «сводной рецензии». Обратившись к ней, читатель может не только подсчитывать их вслед за мною, но и продолжать их перечисление, как продолжает он выражать свое равнодушие к выходящим стихотворным книжкам.

«Соси взахлеб земную грудь...»

Перелистывая книги и альманахи прошлых лет — до начала перестроечного периода, как-то по-новому начинаешь вчитываться в спокойно воспринимавшиеся прежде строки. Вот, к примеру, стихотворение Е. Винокурова «Карамзин» — из его пятнадцатилетней давности «современниковской» книжки «В силу вещей»:

Дай мне тростиночку простую,
ее вот этак очини.
Я в ту тростиночку подую,
пристроюсь где-нибудь в тени.
Пусть дуб стоит, листву роняя,
пусть птичий вижу перелет,
пусть та тростиночка шальная
о безмятежности поет...

Сейчас, с публикацией «Истории государства Российского», наши представления о дующем в тростиночку Николае Михайловиче Карамзине изменились: вместо «безмятежного пения» мы увидели что-то более в а ж н о е, г л а в н о е.

Возьмем книжку С. Куняева той же давности — «В сентябре и в апреле...»:

Я шел по зорьку налегке
в предчувствии минут счастливых
и вдруг увидел вдалеке
трех лошадей золотогривых.
По брюхо в травах и цветах
они вдоль берега бродили
с цветочной пылью на губах
и снеговую воду пили...

Изящная картинка, не правда ли? Прямо из-под пера Карамзина! И называется эта идиллия «Карабахская хроника». Конечно, у хроникального жанра свои законы, свои традиции. В нашей литературе эти традиции восходят к истокам русской летописи. Летописец лишь внешне казался спокойным созерцателем увиденного им, он умел найти нужный угол зрения, подметить ключевые моменты и, в конечном итоге, выразить свои чувства в отборе подробностей, в скупых строках комментария, в самой то-нальности летописного рассказа.

Процитированные мною строки из «Карабахской хроники» С. Куняева — олеографическая картинка, увиденная взглядом туриста. По правде говоря, иного взгляда хотелось ожидать от поэта, тяготеющего к гражданственным мотивам в лирике. Впрочем, автор, наверное, ни в чем здесь не виноват. Поэзия нашего застойного времени чаще всего занималась щебетанием о «приятных запахах» и «безмятежном пении». И все-таки, читая безмятежные, идиллические строки стихотворной «хроники», нет-нет да и задумаешься: не слишком ли рано мы сдали в архив и ведение литературоведов формулы «Видеть то, что временем закрыто», «Сотри случайные черты...» и другие, обозначающие такую способность поэзии, как предвидение, предчувствование — и «минут счастливых», как написал С. Куняев, и подспудно зревшей трагедийности?

Мы приходим в состояние эйфории по любому поводу. Наше стремление к омифологизированию жизни — быта и бытия, теории и практики, общественной, культурной, экономической жизни — приводило к утрате чувства реальности. Видимо, как сейчас выясняют (и будут продолжать выяснять) наши историки, философы, социологи, экономисты (дай бог, чтобы к ним присоединились и поэты!), тот процесс утрачивания чувства реальности начался в конце 20-х годов. Именно тогда началось сочинение сказок и мифов. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», — молвил классик. Наш обман, в самом деле, оказался дорогим: сперва он «возвысил» нас — в наших глазах — до поднебесья. Затем восковые крылья растаяли от лучей разоблачительного светила. Остальное произошло по хорошо известному мифу об Икаре. (Хотя и из этого мифа мы предпочитали брать первую часть для стихотворных сюжетов: взлет; падение не вмещалось в рамки дозволенного кадра. Исключение разве что — Л. Мартынов.)

Наиболее ярко проявился мифологизированный характер нашего поэтического мышления (а мышление это — таковы уж свойства таланта даже в конъюнктурном русле развития — оставалось поэтическим, это несом-

ненно! Хотя предчувствую возражение, например, из Плеханова: «Когда ложная идея кладется в основу художественного произведения, она вносит в него внутренние противоречия, от которых неизбежно страдает его эстетическое достоинство...» — о «страданиях эстетического достоинства» нашей поэзии и речи!), так вот — наиболее ярко этот характер нашего поэтического мышления проявился в стихах гражданского звучания. Сопротивляемость таланта трудно переоценить: «Что обрели взамен мы, дети перемен глобальных и крутых, печальных и смешных» (С. Поликарпов), «Железными гвоздями в меня вбивали страх... И стал я набираться железных — этих — сил. И стал меня бояться тот, кто меня гвоздил...» (В. Леонович). Хотя растерянность (нередко выражавшая привычку к комфортабельной устроенности в литературе) в соединении с неосознанным ощущением необходимости перемен приводила авторов и к такой позиции: «Что же, разрушай, мой непослушный, только лучше смастери взамен. А не сможешь — и ломать не нужно! Нам таких не нужно перемен!» Автор этих строк А. Марков написал в 1974 году то, о чем думали многие: отсутствие позитивной программы, неверие в ее претворение (даже в случае выработки) заставляли литераторов обходиться «кусачими» намеками, «фигушками в карманах», превратившимися во время перестройки — в «стихи из стола». Поскребем лезвием «А не сможешь — и ломать не нужно!..» — и обнаружим конформизм, привычку к спокойному существованию (и сосуществованию!) в литературе. Но даже и такая сопротивляемость, с опущенными руками, выраженная полунамеком, спрятавшаяся за ширму метафоры, эпитета (и потому напечатанная!), была бессильна перед потоком лирики «открытого гражданского звучания», часто обращавшейся звонкой декларативностью:

И сколько ж, сколько нам еще
Считать, решать, искать повсюду,
Чтоб сердце билось горячо,
Чтоб вновь и вновь твориться чуду!
(Н. Грибачев)

Красные звезды на башнях Кремля.
Ленинской мысли свет негасимый.
Дружба народов, что крепче кремня,
Гром обновления жизни — Россия.

(В. Полторацкий)

Это наши старейшины поэтического цеха. А вот эстафетную палочку из их рук подхватывает молодежь (прошу прощения за то, что порой буду цитировать в строку): «Помни, Родина одна. Все в ней наше, все —

едино. Русь — березка у окна да на просеке рябина» (Н. Киреев)¹, «Соси вздох земную грудь, моря творя и атом метя, но — осмотрительнее будь, чтобы без страха заглянуть в глаза своим подросшим детям» (А. Вороненко), «Мы тогда понимали, что вечное дали нам имя, и что поровну хлеб нам делить за вселенским столом, и что, как ни крути, все равно все сведется к России, так бывало уже в недалеком и давнем былом» (И. Жеглов). Да, «как ни крути» «в недалеком и давнем былом», мы так «сосали земную грудь», что потомки наши (коим мы пытаемся «без страха заглянуть в глаза») долго еще будут вспоминать нас добрым словом. Ну а как мы «все сводили к России», к месту и не к месту жонглируя «интернационализмом», «дружбой народов», «великим старшим братом», и чем это обернулось — не нужно напоминать. События последних лет выявили всю сложность и нередко трагедийность так вот, с ходу, решаемых авторами вопросов, «чтоб вновь и вновь твориться чуду». Но такова заразительная крепостническая магия слов, пошедших на заклинания, что по-прежнему голос срывается на «оптимизм»:

Условие успеха — шагать неутомимо
 В колоннах Марша мира.
 Идите вслед за нами! Любое примем знамя.
 Любую примем песню. Мы сила — если вместе.
 В ряды вставайте наши! Мы — мирный Марш!

Эти строки В. Володченко вышли в его книжке «Встречные лица» в... 1988 году (кстати, неплохим тиражом — 15 тысяч). Сотворение мифа продолжается. Впрочем, это первая книга автора, занимавшего пост заместителя главного редактора издательства «Молодая гвардия», где и вышла книга. Так что с нее взятки гладки.

Отчего не работают слова?

Вопрос об ответственности поэта за написанное в последнее время стал нередко подниматься в печати (как и вообще вопросы совести). То процити-

¹ Необязательность подобных «помни» поражает разнообразием разработок темы. Если одних волновал вопрос: «Любить Отечество? Кто даст ответ, инструкцию, подсказку, кто свежую добавить краску к палитре времени горазд? Да будь мы прокляты, когда заговорим об этом чувстве...» (Л. Васильева), то для других он был решен бесповоротно в рамках безоглядного оптимизма, что, по мнению авторов, видимо, выражало понятие «патриотизм»: «Здравствуй, жизнь, и сегодня, и присно, с доброй песней на майском лугу. Я горячей любовью к Отчизне никогда отболеть не смогу» (С. Красиков). Впрочем, была и золотая середина: «Отчизны мед и молоко любую горечь пересыла. И сладостно любить Россию, хотя любить и нелегко» (Р. Казакова).

руются стихи о Сталине из первой книжки Е. Евтушенко, то припомнят «сталинские строки» А. Твардовскому и М. Исаковскому (хотя свойства таланта тем и чудесны, что непредсказуемы: строки «Мы так Вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе...» сейчас звучат сильнее некоторых торопливо написанных «разоблачений» иных в спешке перестроившихся стихотворцев). Можно понять защитную реакцию тех, кто «уличает»: на языке вертится вопрос о гражданской и творческой ответственности за закляпательные песнопения брежневского периода. А вот этого менее всего хотелось бы предстателям «декларативно-поэтического» мышления периода застоя. Они хотели бы свалить вину на предшественников либо однолеток, прикрыться именами авторов «Василия Теркина» и «Катюши», бросить камень в тех, для кого стремление «дойти до сути» не было очередной разоблачительной кампанией, а являлось самим вопросом существования в жизни и поэзии. Правомочны слова вольного перевода Пастернака из Леонидзе, приведенные в одном из последних «Дней поэзии» Е. Евтушенко: «Не разлучайте песен с веком, который их сложил и пел». Но эта формула не отменяет вопросы, призванные разобраться, почему это произошло, как мы докатились до того, что научились рифмованно врать себе и читателям, довели уровень поэзии до качественного уровня продукции фабрики «Скорород»? Кто виноват и что виновато в том, что такие понятия, как совесть художника, гражданский долг литератора, правда в литературе, стали подменяться завернутым в академизированную терминологическую фольгу многозначительным вакуумом?

Сколько искалеченных творческих судеб талантливых поэтов мы насчитаем? Кому предъявлять счет? Им самим, уловившим официально-задорный стиль, вобравший в себя отрететированный энтузиазм и выученный оптимизм? Или литературным вахтерам, следившим за тем, чтобы голова не высывалась выше колеса? Метастаз псевдогражданской лирики полз и ползет по нашему стихосложению: «И чтоб ни случилось — ведь Родина милая с нами, куда бы сомнения тяжкие нас ни вели, не станем, не станем куражиться вещими снами... Ни пяди своей не ославим (?) родимой земли» (Л. Федосова). И здесь же вспоминаются озадачившие меня строки из книжки Е. Колесникова, вышедшей во Фрунзе: «В ливни, в стужу — в дороге любой я не буду скупиться собой (?)». А рядом звучат стихи как будто без сучка без задоринки, очень уж гладкие: «В краю прекрасном и суровом живу, и нет мечты важней, чем эта — делом или словом быть нужным Родине моей» (А. Казанцев).

Но оборву перечень заклинаний. Вроде бы с ними вопрос проще простого: все слова стоят на месте, в е р н ы е, п р а в и л ь н ы е, но отчего не работают эти слова? Да потому что они не выношены, не подкреплены глубинным, подлинно художественным переживанием. Может быть, это даже не вина — беда наших авторов, поверивших именно в такую мифологизированную, псевдогражданскую поэзию. Б е з д у м н о с т ь — вот что объединяет процитированные строки.

Теперь иной пример — мнимой многозначительности. Вот с какой стихотворной декларацией выступил О. Кочетков: «Обещаю я жить, вопреки мнению врагов черных. Жить. И нечем им крыть! Что мне карканье их, обличенных в безрассудстве своем, замахнувшихся формулой сложной на совместный наш дом и уверовавших, что Все Можно...» Прочитайте эти строки! Спрашивается: к т о запрещает нашему автору ж и т ь? Что это за «враги, обличенные в безрассудстве своем» и «замахнувшиеся формулой сложной» на наш дом? И почему «сложная формула» хуже простой (если вспомнить русскую поговорку о простоте, которая хуже воровства)? По-моему, не пресловутые, выдуманные «враги», а автор этих строк (способный, впрочем, человек) «уверовал, что Все Можно» — в поэзии, в изящной словесности. Иначе сумбур этот не вышел бы в центральном издательстве страны.

Вообще-то «обличение», ведущее свою родословную из наших «черных лет», нет-нет да и даст себя знать в сборниках рассматриваемого времени. Напрасно кокетничает Г. Иванов:

Как будто недоумков поколение,
Читаем книги, книги — без конца,
А сердце наше зарастает ленью —
Уже мы равнодушны к преступленью,
Уже не обличаем подлеца...

Нет, обличать наши стихотворцы любят! И здесь их «недоумками» не назовешь (кстати, вопрос к автору и редактору этой «современниковской» книги: с каких пор «недоумком» стал зваться тот, кто читает «книги, книги — без конца»?). Вот свою лепту в общий обличительный котел вносит Е. Андреева:

Я ненавижу тех, кто за отцов,
за судьбы дедов прячется трусливо —
мол, столько было тягостных годов,
что подавай теперь удел счастливый.

Я тоже ненавижу всех, кто прячется «за судьбы дедов», имеет лапу и папу. И все равно не верю в искренность этого худо-бедно зарифмованного обличения. Время

ничему не научило автора. Неужели «требовать удел счастливый» стало криминалом в наши дни? Неужели по-прежнему в молодежных альманахах рядом с такими вот обличениями должны появляться (по недосмотру редактора?) неумелые, нескладные, но обжигающие своей жуткой правдивостью стихи, как эти, посвященные Т. Полетаевой строительницам Волжского автозавода:

Девочки с обмороженными пальчиками,
То дрожите, то принимаетесь икать.
Девочки в ушанках мальчиковых,
Вы уже начинаете привыкать.
Девочки в сапогах на тапочек,
В телогрейках, в которых троих запихать.
Были в косах ленты, а теперь жгуты из тряпочек,—
Вы уже начинаете привыкать...

Как бы мне хотелось, чтобы эти девочки «с обмороженными пальчиками» обрели «удел счастливый», что подтвердилось бы достоверными поэтическими картинками, а не просто декларативно-счастливыми, ни о чемными стихами вроде тех, что заполнили «современниковскую» книжку Е. Андреевой: «Весь мир не переделаешь... — Премудрость не нова... Я на страницы белые лью радости слова...»

А мог бы жизнь просвистеть скворцом,
Заесть ореховым пирогом...
Да, видно, нельзя никак.

Да, видно, нельзя никак! Или можно? Ведь рядом с отлакированными, как маникюр, производственными агитками мы встречаем и что-то царящее нас — пусть не художественными находками, но достоверной жизненной правдой:

Срывался пуск. Молчал завод.
Вздохнула Любка и полезла
встречать в фуфайке Новый год
на высоте своей железной.

Переживая нецензурно,
что записались в чудаки,
стеклянно-трезвые и хмурые
за ней взобрались мужики...

* * *

У нее в ограде тополь
наклонился на избу.
Муж опять зарплату пропил,
пропил сердце и судьбу...

Сколько таких Любок из иркутской книжки В. Старшова и безымянных жен из книжки алтайца В. Башунова с трудом вписывались в поэзию трудовых будней, призванную демонстрировать мифическую псевдостабильность в стране? Не будем переоценивать художественную значимость строк. Но как документ времени они дорогого стоят, ибо зафиксировали то, о чем молчали, что скрывалось за фразой: «Это не по телефону...»

«...Наши женщины в своей основной массе до позора перегружены тяжелым физическим трудом. Так уж повелось, что они у нас крепкие, они кариатиды — все снесут и все выдюжат. Мыслимое ли дело, что слабые существа, веками воспеваемые поэтами, ныне привычно тягают троллейбусные колеса, разбрасывают асфальт, работают во вредных химических производствах?..» — это говорит в беседе с корреспондентом «Правды» прекрасная актриса Нонна Мордюкова. Смеляковское «Сквозь эти женские лопаты, как сквозь шпигрутены, иду» прошло бесследным уроком для нашей поэзии. Условия мифологизированного (читай: разрешенного!) сознания допускали лишь обличения тех, кому «подавай удел счастливый». Ложь стала пропуском не только в издательство, но и (не поворачивается язык) в литературу тоже! И с п р о с р о ждал предложение:

Так вот, какой в них скрыт размах.
И все высокое в сердцах
не предано, не продано.
Себя сомненьем не тревожь,
да, это наша молодежь.
И ей в наследство — Родина!

Не знаю, как у вас, а у меня после прочтения вышедшей в «Радянском письменнике» книжки В. Гуменюка появилось желание перечитать одну из страниц «Двенадцати стульев». Помните вопрос Остапа Бендера, мимоходом создающего «Союз Меча и Орала»:

«— Ваше политическое кредо?

— Всегда! — восторженно ответил Полесов».

Не это ли не потревоженное сомненьем, полное какого-то бездумного энтузиазма «Всегда!» слышится в подобных ответах наших стихотворцев на вопросы, поставленные временем?..

«Эпоха млеет на парадах...»

Мифологизированное сознание было создано мифологизированной действительностью и, в свою очередь, создавало эту действительность, лишенную точек реальной опоры. Его признаками было то, что определяло

годы застоя: самоуспокоенность, внешнее парадное, показушное благополучие, поглощенная помпезностью и самообольщением способность к критическому самоанализу, атмосфера «бурных аплодисментов, переходящих в овацию», и литературной лакировки действительности... В этой атмосфере потемкинские деревеньки приобретали масштабы гигантомании — от небывалых плотин до небывалых мемориалов. Двоемыслие, выражавшее двоевластие (власть, закрепленную конституционными основами, — и власть денег, наживы, знакомств, блата, семейственности), коснулось и поэзии. Говорилось и делалось не всегда то, что думалось, что имелось в виду.

Псевдопраздничная шумиха властно вторгалась в стихотворные книжки: «Гремят фанфары золотом и сталью. Прибой разгоряченных голосов...» (В. Устинов), «Блестящий зал! Веселье и уют. Искрят манишки, платья в позолоте. Вот оркестранты с трубами встают и приступают с удалью к работе...» (Н. Денисов).

Прав был П. Родичев, опубликовавший в коллективном сборнике, вышедшем в Туле, такие примечательные строки: «Эпоха млеет на парадах, земным богам подчинена».

Словом, как писал Ю. Панкратов в другом, уже московском, коллективном сборнике:

Как нельзя без правнуков,
внуков и сынов —
жить нельзя без праздников,
их волшебных снов...

В поэзии мифологическая праздничная атмосфера псевдотрудовых будней стала подменять истинную, реальную. Сейчас, когда мы избавляемся от магии заклинательных слов наших дежурных шаманов на трибунах, когда тают в небытии парадные мифы, сказки, приписочные легенды и «звонкие цифры отчета», с каким несерьезно-ироническим настроением читаются строки: «Люблю над Русью жаркий сенокос. Люблю его несложные приметы. Односельчане празднично одеты, идут в луга по царству жгучих рос, идут, поют ровесники мои...» и т. д. Там пейзаю В. Васичкина с благословения Приокского книжного издательства шли на свой красивый пейзажский трудовой подвиг. Эти пейзаю явно сродни «гордым героям» в стихах Н. Киреева: «Стоим на сцене гордые, герои известные вроде бы. И кажется, всем по ордену вручает сегодня Родина...»

Настоящие болезни созревали в глубине нашего общества — зримо для всех нас и незримо для нашей литературы:

Не успев дотянуть до полочки,
По причине нехватки вина,
В суматохе базарной толкучки
Человек продает ордена...

Эти стихи М. Матусовского увидели свет весной 1988 года. Но до этой весны еще далеко.

Да, мы по-прежнему помнили, что из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд... Но социальная справедливость в оценке труда была нарушена. Вес золотых звезд на глазах обесценивался прямо пропорционально их количеству на груди.

Наше дело — работа.
Пусть она не у всех
до горячего пота —
был бы виден успех.
Лишь о ней по Отчизне
разнесется молва.
И весомее в жизни
станут наши слова,—

простодушный герой Н. Киреева выдал то, о чем думали и писали многие: был бы виден успех. Это стало определяющей формулой труда. Правда, успех на поверку оказался бумаготворческим, приписочным. Но об этом было положено умалчивать в жизни. И значит — в поэзии.

Не оттого ли положительных героев стихотворных книжек объединяла какая-то картонная вырезанность. Если у А. Платонова в романе «Чевенгур» каждый «чувствовал свое имя и значение», то партийные вожаки в сборниках напоминали сиамских близнецов: «Секретарь обкома трубку снял, предложил кому-то кратко: «На бюро не ждали бы меня. Видно, задержусь порядком...» (А. Марков), «Говорил мне знакомый парторг: «Наши споры, увы, бесконечны, но останемся мы без порток, если будем, как прежде, беспечны...» Говорил: «Чтоб зерну не пропасть, чтобы люди зазря не потели, поработать нам следует всласть и, как можно, уменьшить потери» (В. Хомяков). Вряд ли отличается от своих коллег «лица необщим выраженьем» «седой парторг» из стихотворения иркутянина А. Горбунова, говорящий народу: «Пляшите, бабы! Два комбайна район по плану нам дает». Стоит ли говорить, что появлялись такие парторги на фоне декорации, символизирующей трудовые победы: «Твердят диаграммы и сводки, что выполнен план. И не раз! (?) Не только с плакатов красотишки с восторгом приветствуют нас» (Н. Денисов).

За псевдоэнтузиазмом скрывалось обыкновенное равнодушие, как остро и болезненно подметил В. Саркисян в своей «современниковской» книжке: «Ни души. Звезда на обелиске и травища в человеческий рост...» Впрочем,

не только равнодушие, но и о с т о р о ж н о с т ь, то, что потом Е. Евтушенко окрестит «кабычегонивышлизмом». Именно эта осторожность диктовала — не оглядываться назад, не копаться в памяти, в кровотокающей нашей истории.

А вот образец такой вынужденной осторожности из коллективного сборника ярославских литераторов «Встреча» (1982).

Он не болью делился со мной,
Он доказывал: лучше мы стали...
Первый рубчик на сердце оставил
Многим памятный тридцать седьмой, —

пишет об отце М. Китайнер. Оно и понятно, в то время о трагедии 1937 года писалось с оглядкой: на сердце, мол, остался «рубчик». Хотя тот же Высоцкий мог прохрипеть: «Ближе к сердцу кололи мы профили, чтоб он слышал, как рвутся сердца!» Мог — и хрипел!

Не хочу показаться мрачным. Талант оказывал сопротивление мифологизированному сознанию, подтверждение чему — примеры из «Дня поэзии 1981»:

Медали сорок первого
иных дороже втрое —
высокой мерой мерила
страна своих героев.

(В. Поляков)

...Я завидую памятникам,
Которые не знают, что значит
Почва, уходящая из-под ног.
А кому завидовали некоторые
Из этих бронзовых и гранитных людей
В ту пору, когда были еще живыми?!

(И. Озерова)

Но эти ласточки не делали весны. Даже оттепели. На дворе стояла бурная осень, переходящая в овалции... извините, переходящая в прочную зиму, с ее «монументальным» мышлением. «Все, как есть, приму и все пойму в монументах временной работы вечному народу моему...» (С. Куняев). Этот поэт показал нам, как разговор о социальной справедливости может в результате интонационных и всякого рода других «приемов» подменяться разговорами, например, о монументальном вознаграждении: «А что же он сделал, тот гений, сваявший себе монумент из нескольких светлых прозрений и нескольких темных легенд...» Здесь мотивировка в русле «монументального» мышления...

Наконец-то пришло время, когда мы начинаем все

отчетливее различать реальные материалы, из которых в недалеком прошлом «ваялись» монументы. И прежде всего — тому «Хозяину», которому в былые годы посвящались многочисленные оды и иные стихотворные жанры.

Александр Бек в посмертно опубликованном «Новом назначении» так описывает сцену торжественного заседания в Большом театре: «Театральными прожекторами был ярко высвечен на заднике своего рода огромный медальон: лицо нарисованного в профиль Сталина и как бы служивший ему фоном профиль Ленина. Лишь изощренный взгляд мог бы отметить, как из года в год в таком двойном портрете Ленин становился чуть поменьше, а облик Сталина крупней». Это «крупней» мы могли и можем увидеть, то есть прочитать, не только в отдаленном, но и в недавнем прошлом:

На трибуну Мавзолея
Сталин вышел, как всегда,
А с вершины той виднее:
Будет сломлена беда!
*(П. Богданов. Москва за нами.
М., «Молодая гвардия», 1981)*

И в настоящем: в 1987 году в молодежном журнале были напечатаны стихи «Москва. Ноябрь 1941. Парад» В. Карпеца:

Так в сорок первом, в ноябре, в снегу
Шел строй за строем прямо в пекло ада
Из тихих рук, незримо сквозь пургу
Благословлявших зарево парада (?).

А вот мнение маршала Жукова о «благословляющих руках» из письма к писателю В. Соколову в марте 1964 года): «В начале войны со Сталиным было очень и очень трудно работать. Он прежде всего тогда плохо разбирался в способах, методиках и формах ведения современной войны... Все его познания были сугубо дилетантские... Особенно отрицательной стороной Сталина на протяжении всей войны было то, что, плохо зная практическую сторону подготовки операции фронта, армии и войск, он ставил совершенно нереальные сроки начала операции, вследствие чего многие операции начинались плохо подготовленными, войска несли неоправданные потери, а операции, достигнув цели, «затухали».

Тем не менее тенденция реанимировать теорию «благословляющих рук» то и дело встречается и в поэзии, и в прозе, и просто в публицистике. «Мне лично по службе не раз приходилось встречаться со Сталиным, слышать о нем отзывы крупнейших ученых, писателей, конструкторов, военачальников, руководителей производства уже после XX съезда, мнения в чем-то расходились, но в основ-

ном совпадали — это была яркая личность», — это пишет М. Малахов в журнале «Молодая гвардия». На дворе — апрель 1988-го, а подписчики журнала всё знакомятся с реанимационными опытами молодежного (а точнее псевдомолодежного) журнала. «Благословение» продолжается — а это означает, что почва, на которой произрастало оно, это «благословение», питательно продолжает удобряться гранулами «вождизма», одного из основных признаков мифологизированного сознания. Значит, все еще живо оно, «монументальное» мышление. Нередко оно принимает непредсказуемые формы, лукаво определенные Окуджавой в песенке: «На фоне Пушкина снимается семейство...» Тот же С. Куняев «сфотографировался на фоне Блока»: взяв эпиграф из поэта «Мы — дети страшных лет России...», он в своих стихах «поверил» мысль Александра Александровича присущим ему, Куняеву, — не всегда деловым и тактичным — скептицизмом: «Мы — тоже дети страшных лет, и неизвестно, чьи страшнее». Не знаю, насколько уместно в подобной ситуации х в а с т а т ь с я, чьи лета «страшнее»? Мне лично ближе формула другого поэта — А. Аронова:

Если что-то у Блока не так,
Значит, что-то не так у России.

Увы, эта блоковская (а в равной степени и пушкинская, маяковская) болевая чуткость к бедам страны обошла стороной наших поэтов. Все то же «монументальное» мышление требовало своего:

Застрял «зисок». Придется грязь месить.
Коль хорошо подумать, то удастся
на этих горизонтах разместить
четыре европейских государства.
А то и пять,—

проблемы, которыми занимается С. Куняев в антологии «Комсомольская юность моя», несколько отличались от тех, что стояли перед страной...

О «лепоте» и прочем...

«Когда мать больна, надо ставить верный диагноз — без лжи, без фальши», — сказал недавно, выступая по телевидению, Леонид Леонов.

Диагноз жизни, поставленный нашей поэзией последних пятнадцати лет, был насквозь лжив. Деформирование нравственных понятий, вера в преуказанную мудрость вождей стимулировали выдавать полуправду-полужошь за истину. Подспудный свет настоящей истины пере-

бывали все те же прожектора, освещающие президиумы торжественных собраний, посвященных очередному юбилею, награждению, подведению итогов. Уход от реальности, ее задач и проблем, в сказку становился нормой, обязательной для поэзии:

Мама юная! В моде выстой
У младенческих снов и красок.
Охрани ты песней лучистой
Воздух Родины — воздух сказок...

Именно этот «воздух сказок» из стихов М. Белыева заполнил все герметически закупоренные объемы нашей жизни. Раковая опухоль «сказки» разрасталась по телу поэзии:

Орехи, горести, заплаты
Теперь пером Жар-птицы мне
Все в руки пали, рассказали
Тьмы песен — радуйся и плачь,
Но не пролей своей печали,
Страну свою не изыначь! —

призыв А. Баевой «не изыначить страны» (?), идущий более от инерционного позыва призывать и агитировать, вписывался в удобную формулу «тридевятого царства» так же, как «псевдоудальство» В. Цыбина, начинающееся с традиционного «пусть»:

Пусть же будут перекрестки —
чтоб в глазах кружили звезды,
чтоб глушило шум шуги.
Где ты, сказка? Помоги.

И сказка помогала. Она была, как положено всякой сказке, светлой, уводящей от «сегодня» во «вчера» с его праздниками, снижением цен перед ними и прочими аксессуарами счастливого бытия:

Какие были годы,
Как праздники цвели,
В какие хороводы
Гармони нас вели!

...А где же наши сказки,
Кокошники-венцы,
Потешные салазки,
На сбруях бубенцы? —

прочитывал стихи Э. Дубровиной и вспомнил, что напечатаны они не в эпоху застоя, а совсем недавно — в 1988 году — в журнале «Наш современник».

Наша сказка была слеплена по всем правилам. В ней были свои герои:

Мы топнем, перетопнем
С пятки на носок.
Мы хлопнем, перехлопнем
Запад о восток.

(Ю. Кузнецов)

В ней были сказочные ужасы, коими Ю. Кузнецов пугал слабонервных продавщиц книжных магазинов: змеи на маяке, выросший из земли рыбий плавник, поезд, сошедший с рельсов на змеиные спины, гиганты, толкающие горбатое солнце на запад, какая-нибудь дыра от сучка, свистящая «глубиной неземною», — словом, все, что можно было выдать за «сказки русского духа» (реальностей поэты предпочитали не касаться: «незя!»). И это-то все — на фоне реальных ужасов жизни, содеянных щелоковыми, адыловыми...

Под свист «дыры от сучка» появлялись сказочные феи (стихотворение ленинградца Андрея Романова так и называлось «Гарнизонная фея»):

Придешь ты к солдатской столовке
с сердечком, пришитым на клеш.
В контраст каждодневной перловке
Ты нам пирожки продаешь.

Твой голос призывный и сладкий
и твой кулинарный товар
покой возмущает солдатский,
в крови раздувая пожар...

В сказках были и свои «царицы»: «Я бывала за границей, вина сладкие пила, и в гостинице царицей я, бездельница, жила. Но чужой повсюду говор и чужие города. Поперек вставала горла иностранная еда. Иностранная одежда, Штрассе, плацы, авеню... Может, я совсем невежда и культуры не ценю? Но в чужой подушке слезы по родимой стороне, забудки и березы...» и т. д. — можно понять молодую красноярскую «царицу» О. Погорелову, именно так должно было писать о загранице.

В нашей сказке были и свои персияночки (то есть поэтессы, играющие в них — без ущерба, натурально, собственному здоровью):

Ах, я глупая, дуба от ясеня
на свету отличить не могла,
как в ладье окаянного Разина
полоненной княжною плыла.

(Л. Васильева)

Эти слова мне шептал еще Разин,
Что это были тогда за слова —
Помните вы! — у одной меня разве
Кругом от нежности шла голова?!

(Н. Кондакова)

Поверим поэтессам, разъезжающим в Стенькиной ладье. К тому же не у одних поэтесс «кругом шла голова». Головокружение (напрашивается продолжение: от успехов) носило массовый характер.

В нашей сказке были свои мудрецы, актуальность споров которых была по-своему безусловной:

Я часто со многими спорил,
Всегда убеждая в одном,
Что самые светлые зори
Плывут в Приазовье моем.

(Н. Берилов)

Не о сказочных зорях думают нынче читатели. Вот письмо читателя М. Осьманова, опубликованное «Литературной Россией»: «Почему же наш народ так долго расплачивается за каждую свою историческую победу? Что за рок вершит его судьбу? Сколько раз мы пытались вырваться из пут дикости и бескультурия!.. До предела напрягались все силы народные, аккумулировалась колоссальная человеческая энергия... И казалось, что жар-птица истории уже в наших руках. Тогда-то мы и начинали с голодной торопливостью срывать незрелые плоды успеха. Жадно насыщались ими, бездарно транжирили, смотрели на мир посоловевшими от ничтожного довольства собой глазами».

Нет, наших мудрецов из сказки волновали иные вопросы, в основном связанные с национальным приоритетом. Один размышлял: «Кто у русских русалочек самая главная? Персияночка, ребята, персияночка!» (В. Казакевич). А другой «мудрец», замороженный инерционной тягой к призывам и обличениям, восклицал, обращаясь к Отчизне: «Твой голос, в бессмертье летя, сознание врачует и лечит от ветхих, замшелых идей, библейской приправленных ржого...» (О. Кочетков). И невдомек было нашему «мудрецу», что в «библейских замшелых идеях» не так уж все огульно плохо, что древние заповеди и сейчас — нравственные мерилы наших поступков.

Сказка жила по своим законам — и таял в ее эхе голос здравого смысла, изредка, но звучавший:

Я не верю в молочные реки,
в раскисельные их берега,
в даровые лари и сусеки,
в дармовые куски пирога...
Ошибался не с целью лукавой —
не фразер, не фрондер никакой,
и что было написано правой,
не зачеркивал левой рукой.

(В. Семакин)

А инерция «сказочного бытия» продолжалась... И только в сегодняшние дни мы прерываем эту инерцию.

«Лексеич-дед стянул с лежанки вожжи...»

Истинными носителями первородной мудрости в наших стихотворных сказках были деды. Со стариками наши поэты переборщили. Может быть, сама жизнь направляла их творчество в геронтологическое русло: вспомним «президиумных» стариков, не сходявших многие годы подряд со страниц газет, журналов и телеэкрана. То же самое наблюдалось и в стихотворных книжках. Мифологические деды оказались носителями особой, колоритной мудрости:

Лишь под навесом ветхий дед Михай,
Не изменив завалинке заветной,
Себе в усы поскрипывал: — Нехай!
Ядреней девки будет бабье лето.

(Н. Сахно)

И здесь порой, грехи мои итожа,
Беззлобно, деловито (!!! — А. Ш.) и любя,
Лексеич-дед, стянув с лежанки вожжи,
Учил житейской азбуке меня.

(А. Логвинов)

Ох, уж эти деды! Это потом, на втором году перестройки, Михаил Дудин опубликует в «Книжном обозрении» ознобные стихи, показав, чем на поверку обобщивались деяния «президиумных» дедов, трансформирующихся в стихах в беззлобных Гаврил и Лексеичей:

Надежда ушла и пропала
Движенью времен вопреки.
У страшного власти штурвала
Остались одни старики.
Скрипят корабельные снасти,
И старые кости скрипят.
И жаден у старческой власти
Живое пугающий взгляд...

Но эти стихи будут потом — в 1987 году. А пока фальшивые, оперные старики с придуманными самокрутками и бутафорскими вожжами становились героями стихотворных книжек: «Подмигнет, прищурившись, старик, рыжий ус цепляя самокруткой...», «Вот старый дом, и за окном бельмом старик сидит...» (Е. Юшин), «Дед вдыхает запах яблок и подергивает усом, будто, юный, юных бабок видит в ракурсе конфузном» (В. Трофименко), «Шурша листвою опавшею, иду за древним дедом...» (А. Говоров).

А ведь понимали, видели, чувствовали фальшь и приду-
манность дедов! Даже пытались об этом сказать:

Внукам все давно известно,
Повторяться начал дед!
Но рассказ его как песня,
А у песни смерти нет.

Оперные деды — одна сторона медали. Другая —
безоглядное культивирование геронтологических проблем,
имевшее широкий эмоциональный спектр. Поэты старшего
поколения прямо-таки купались в питательном бульоне
темы:

И не прикидывайся старым,
Не надо старости внимать...

(А. Софронов)

Я старым стал. Зачем спешить,
Разматывая жизни нить!
Не лучше ль задержать мгновенье,
Купаясь в майском дуновенье?

(А. Марков)

Станным было преждевременное с т а р е н и е мо-
лодежи. С оглядкой на старших начинают писаться стро-
ки, в которых воспеваётся явление противоестественное,
аномальное: «Не хочу снова быть молодым. И крутыми
щеками краснеть...», «Увидел себя стариком: беспомощен,
будто недужен...» (О. Кочетков), «Когда столетним патри-
архом буду, то, безмятежен, прозорлив и прост, сегодняш-
ние страсти позабуду...» (М. Акчурина). Не о них ли на-
писаны строки В. Цыбина:

Несет от их упреков плесенью.
Пускай витийствуют, грозя,—
хоть молоды, но песни с плешью
у них и лысье глаза!

Художественные параметры строк, конечно, не в
«горних» поэтических высях. Но схвачено верно.

«Ежели поэты врут, больше жить невозможно», —
сказал Ярослав Васильевич Смеляков. Все «неможнее» ста-
новилось жить в сочиняемой нашими поэтами сказке. Мы
переставали верить самим себе. А читатели — нам.

Как недавно все это было. Пусть же отдаляется
оно от нас, это «вчера», которое еще совсем рядом. Пусть
стихотворные «сказки» поникнут и отступят перед но-
вым поэтическим словом, правдиво отражающим весь
спектр наших сегодняшних чувств, все многообразие на-
шей жизни. И тогда это, пока еще с е г о д н я ш н е е, «вче-
ра» затянется дымкой времени и будет казаться далеким-
далеким прошлым.

Импровизация или имитация?

Хотя в последние четверть века в ходе интенсивного взаимообогащения всех литературных жанров наметилась некоторая чужеродность — и даже враждебность — понятий «литературная критика» и «современная пародия», искони понятия эти все же — близнецы-братья. Их многое связывает.

Можно составить блистательный мартиролог (Н. А. Полевой, Н. А. Добролюбов, А. А. Измайлов...), пред которым и критики, и пародисты должны смиренно склонить буйны головы, чтобы потом, душевно прозрев, с резвостью сыновей лейтенанта Шмидта броситься друг другу в объятия, размазывая по лицу слезы умиления, любви, раскаяния. Можно обратиться к новейшим литературоведческим изысканиям, всегда убедительным, весомым, увесистым, и обнаружить нечто, утверждающее родство: «Пародия... Это литературная критика, воплощенная в художественных комических образах». Крепко сказано! Бесповоротно! Без двух мнений.

Приведенная чеканная формула рекомендована для повсеместного руководства. По-моему, это — сигнал. К массовому братанию критиков и пародистов. Знаменательно: из той же чеканной формулы с помощью нехитрых арифметических действий можно извлечь еще одно важнейшее определение: литературная критика — это пародия, воплощенная в художественных трагических образах. Полученная дефиниция говорит за себя. Но, безусловно, пародия и литературная критика повязаны неразрывно. Подозреваю, со времен Гиппонакта Эфесского.

Однако нынешнее состояние жанра пародии не дает оснований для оптимизма. Литературная критика — самопознание литературы — в большинстве пародий исчезла, уступив место иной направленности. Пародия взяла курс на развлекательство. Жанр отреагировал на веление времени в период, который сейчас не без основания зовется «застойным».

Вынеся несколько нехарактерных строк поэта в эпиграф, пародист изо всех сил усмешняет их, и м п р о в и з и р у я на выбранную тему и напрочь отмежевавшись от обязанности еще и имитировать творчество поэта. Смех стал самоцелью. Литературному миру явлены книги пародий, в которых авторы и не попытались воспроизвести стиль поэта, показать характеризующие его лексику, версификацию, мировидение, пафос, темперамент. Таковой стала норма пародирования. Но есть и исключения.

Не по этим нормам-правилам «вышел зайчик погулять» у Ю. Левитанского, не опустился до околопоэтического улюлюканья В. Бахнов. Можно назвать и несколько иных имен пародистов, не порвавших с традиционной — стилевой! — пародией. Многие из них представлены в двухтомнике «Советская литературная пародия» (М., «Книга», 1988, составитель Б. М. Сарнов).

Два слова о себе. В контексте стирания граней и размывания границ. В околопоэтическом улюлюканье (писании пародий на случайные строчки, вырванные из стихотворения) активного участия не принимал. К такого рода «пародической» деятельности отношусь без пиетета. Так что... руку, товарищ критик!.. Хотелось бы в солидной редакции.

Из цикла «Курица или яйцо?»

Еще не вечер

(Чингиз Айтматов)

Случилось это в те далекие времена, когда птиц и яиц в сарозекских степях еще не было, они висели в воздухе и ожидались на планете в исторически обозримый период.

Многомудрый акын Таубакель почувствовал скорое появление пернатой братии и решил откликнуться на событие нравоучительной жамок-сказкой. Он ударил по струнам комуза, и песня вырвалась из оков сюжета о яйце и птице и понеслась в пространство, обволакивая задумчивую землю сказочным туманом. Но не туманом, не сказкой была песня. На хорошую религию походила она, на религию добрую, умную, нужную.

— И яйца, и птицы, сошедшие на землю, — пел акын, — должны почитать своих предков, уважать их дело, и тогда научно-технические революции, демографические взрывы, водородные и сексуальные бомбы не нарушат вселенской гармонии.

Желтые птицы рожают желтые яйца.
Красные птицы рожают красные яйца.
Черные птицы рожают черные яйца.
Зеленые птицы рожают зеленые яйца.
Голубые птицы рожают голубые яйца.

На этом места арбаки — духи предков — выкатили пред очи акына сразу три яйца — яйцо змеиное, яйцо неизвестно кем подкинутое и яйцо смешанное — помесь ужа, сокола, муравья и барана.

— Ассалом алейкум!

— Алейкум ассалом! — ответил акын.

— Пора высказаться по ходу песни, — затрещали яйца. — Конечно, достижения генетики огромны. Конечно, от своих генов не спрячешься. Но как хочется быть птицей! Как хочется в бескрайнем голубом просторе резвиться жаворонком, проноситься стремительной ласточкой или царственно парить всевидящим коршуном. Пока нас три, а будет — миллиард. И без надежды стать птицей мы станем черт-те кем и наверняка нарушим вселенское благополучие.

— Не джигитское это дело нарушать благополучие, — заметил акын. — Однако почему не дать вам надежду? Посоветуюсь с Елизаровым, поговорю в облпрофсовете. Дайте денек сроку.

Прошли полдня, прошел день, прошел полярный день... и дольше века длится день. Таубакель хлопочет. Еще не вечер.

Жажда параканнибализма

(Лев Аннинский)

Один облюбует яйца, другой — курицу, третий скажет, что он нездешний, четвертый отмолчится.

А я хочу уразуметь.

Для начала бросаю кость гипотетическому оппоненту. Вот она. — Между серьезно аргументированным «яйца» и разумно обоснованным «куры» разницы нет. Тут все железно, даже оппонировать нечему.

Занятней другое. В ходе эволюции в лоно тривиальной развязки вновь и вновь проявляет себя органолептическая компонента и кур и яиц в их неосознанном, но мудро запрограммированном традицией стремлении к самовыражению.

Отсюда полшага до истоков престижа — силы дикой, грозной, могучей. Но сегодня этот аспект проблемы меня не колышет.

А вот что очевидно. Яйца и куры, исподволь управляя нами, заставляют нас с predetermined кем-то (!) периодичностью совершать удивительные по свирепой бесцеремонности акты, я бы сказал, легального параканнибализма. Проще — квазивандализма.

Кстати, завершающая варварский ритуал процедура — мытье рук — ни на йоту не делает нас чище, то бишь совестливее. А ситуация в целом удачно моделирует глобальный апофеоз бездуховности, занявшийся из очагов безнаказанного попраения святых первооснов и трансплантации масс-медиа на чуждую ему почву. Умывание рук! — как похоже на итоговую концепцию безнадежно запутавшегося гомосапиенса.

Я не противопоставляю себя остальному люду. Всеми фибрами, зебрами и жабрами скромно пребываю в отведенных мне роком общечеловеческих слоях био- и ноосферы. Но утверждаю: игры в этическую (и эстетическую!) дисгармонию адекватно наказуемы. Расплата за Валтасаров пир, исчисляемая по широкой шкале воз-

мездий — от сепсиса до апокалипсиса, — безусловно, гря-дет.

Пусть вас не шокирует прагматическая доминанта моей позиции. Давно созрела нужда спроецировать звенящую духовность строго философических споров в плоскость обеденного стола. Пора подвести итог взаимооплодотворяющих контаминаций «критик — писатель» и положить на стол нечто удобоваримое. Кому повем скрижаль мою?

А ведь сроду я не был специалистом в птицеводстве. Коллеги преуспели на сельхозпоприще — соки дают, повидла затевают. А я не у дел. Теперь мое — птицеводство. Хорошо. — С птицами небо ближе, можно о душе подумать. И это пристойнее любопытствующего встреча-ния в суверенную саморегулируемую систему «читатель — писатель». Да, я определенно предпочту птиц. У них и язык понятней.

Из цикла «В лесу родилась елочка»

Сестра моя — елка

(Татьяна Бек)

Флоре с фауною аллилуйю
В Новый год пропою, как могу.
Горемыки, я всех вас целую,
Обожая, люблю, берегу.

Я — сестрица несчастного волка,
Бедолага-зайчишка мне брат.
Я — сестра вам, озябшая елка,
Елки-палки, и роцца, и сад.

Знаю, слава — подобье сиропа.
Но теплей на холодном ветру
От душевной, без тропов и трепа,
Фразы: «Знаем мы вашу сестру!»

То не вьюга вопит, завывает
И честит, как безвинный судью, —
То злодей-мужичок погоняет
Мохноногую лошадь свою.

Черным фатумом, роком, судьбою
К елке близится злой человек.
Не сдавайся, сестра! Мы с тобою:
Таня Бек, Таня Бек, Таня Бек.

Моя всеохватность

(Евгений Евтушенко)

В Новый год помышляю
о роли наместника бога.
Я — российский поэт,
значит, больше поэта namного.
Швец и жнец, кинодеятель,
критик, на дудке игралец,
Фотомастер, прозаик,
за чистое слово страдалец —
это малая толика
дивных моих ипостасей.
В споре я — антитезис.
И тезис. Когда я в экстазе,
я — стихи... и бумага,
и лес для бумаги, и елка,
и зайчишка трусливый,
и злобство сердитости волка.
Я ловлю себя сам,
сам себе я грожу разорвизмом.
Я — рождественский тост
и по елочке срубленной тризна.
С мохноногою клячей
бреду по глубокому снегу.
Снег и дровенки — я,
неизбывно мое альтер эго.
Сам скриплю под собой,
голос снега — визг раненой хрюшки.
И, конечно, я — шпиль,
что на елке венчает макушку.

Плач

(Ольга Ермолаева)

Планида наша испокон —
Не с милым зайцем вековать,
Не с хмурым волком-кержаком —
В сиротстве горе горевать.

Слезинок бисер на лице
Навеет дней минувших дым.
Калике да метелице
Рыдать, товарка, подсобим.

Нас, разнесчастных, привезли
На дровенках во стольный град.
Здесь солнце застыт хрустали,
Здесь горше редьки шоколад.

Снегурки курево-харчи,
Знай, переводят, бестии.
И всем грубят. У нас «бичи»
Премного их любезнее.

Во всем: в сияющих шарах,
Лжи новогодних лотерей,
Дождях серебряных, сердцах —
Бездушье мыльных пузырей.

Я обовью руками ствол,
Вдохну таежную «шанель»
И, словно к мамоньке в подол,
Упрячусь в родненькую ель.

Раздумье

(Александр Кушнер)

Легко ли скромнице, хотелось бы понять,
Под Новый год в трех ипостасях пребывать?
А вас, кто ель, и елка-палка, и символ,
Отведать просим наш изысканный глагол.
Итак, в лесу родилась ель. Глухую тишь
Не тронул заячий фальцет с «Шумел камыш»
И волчьей стаи а капелла дружный вой.
В лесу нет празднеств, отвечаем головой.

Цель елки-палки — превращение в дрова
И возгоранья фарс. Да, жизнь тогда права,
Когда права она. Нам елочка мила,
Преобразующая плоть в оплот тепла.
Но где-то фабула топорна. Наконец,
Есть третье качество — ершистый образец

Эмблем рождественских. Типичный моветон!
Символ-колючка, вне сомненья, обречен.

Итог безжалостен: нет свеженьких идей.
Есть флейта-пикколо, и Бах, и Амадей.
Не будет рейдов в магазины и долгов
В счет странных дружб и ненаписанных стихов.
И можно в Новый год вдоль Мойки погулять,
Где ветер, где мрак, а снег летит, как благодать.
Здесь, веки размежив, мы — вещий менестрель
Вдруг стали червь и раб, в огнях увидев ель.

Селфмейд-ель

(Юнна Мориц)

Мне сладко поведать, что ель родилась
вдали от оплотов злодейства,
где нравами правит чванливая мразь
и помесь холуйства с лакейством.

Приучена смолоду к звездным речам,
к суровым объятьям Борея,
ель пела осанну счастливым ночам,
которые утра мудрее.

(Стукач-барабанщик Зайчишка косой
и Волк озверевший нелепы
в свободном лесу, где талант непростой
расцвел пуце пареной репы.)

Какая удача, что ель родилась
вдали от оплотов злодейства,
где нравами правит чванливая мразь
и помесь холуйства с лакейством.

Но злоба не дремлет. Безоблачным днем
явился холоп Минотавра,
напомнив порочною связью с конем
Калигулу вкупе с Кентавром.

Вот хам поднимает тяжелый топор.
Но ель с деликатностью лорда
себя защищает: — Лабазник и вор!
Бездарность! Двухглазая морда!

Был хам посрамлен. Селфейд-ель не сдалась.
И пусть в цитадели злодейства
без елки танцует чванливая мразь
в обнимку с махровым лакейством.

Цыганочка в лесу

(Валентин Устинов)

Ах ты, Елочка! Ах ты, скромница!
Наша хижина — небосвод.
С уходящим!
За нами гонится
наступающий Новый год.
Я — охотник, по лесу шастая,
месяцами себя копил.
Зайца глупенького ушастого,
волка серого я отшил.
Мужичок тебя домогается.
Неужели уедешь с ним?
Он нарядит тебя, красавица,
в мишуру, в канительный дым.
Ты же — солнце и небо синее.
Елка-Елочка, гой еси!
На цыганочку пригласи меня.
Пригласи меня! Пригласи!
Ты взмахнула зеленой гривой,
встрепенулась в лесной тиши.
Ты — нарядная, ты — красивая.
Попляши со мной! Попляши!
Ах, цыганочка! Что же деется!
Век глядел бы, едва дыша...
Только Липа чего-то клеится.
Нет листочков, а хороша!

Летальное

(Олег Чухонцев)

В рождество нам пофартило —
нас безноса я почтила.
В лес, где свищет вьюги плеть,
волей барда непреклонной
к елке стройной и зеленой
занесло подружку — смерть.

И пошла махать косою
та гундосая, с какою
познакомишься — пропал.
Данс-макабр¹ сплясал зайчонка
и загнулся. Мужичонка
ель срубил и дуба дал.

Разлилось рекою горе.
Тявкнул волк: — Мemento мори!² —
и с растрояства околел.
Сокрушенья лошадь съели.
Извелись на лапник ели.
Дровни сгнили. Лес сгорел.

Праздник заживо сгубили
те, кто в мир иной отбыли.
Помянуть чуть не забыл
деток, что, как свечи, гасли...
Лишь как сыр катался в масле
оживленный некрофил.

¹ Пляска мертвецов, танец смерти (франц.).

² Помни о смерти (лат.).

Свойские беседы

Литературная считалка

Кто всех лучше из поэтов —
Разберемся до конца!
А — неплох, но темы нету,
Б — мила, но нет лица.
В — по виду славный парень,
Но кретин и идиот.
Г — эстраден,
Д — бездарен,
Е — способный, но не пьет.
Ж — давно уж исписался,
З — завзятый графоман,
И — в прозаики подался
(Видно, выродит роман!).
К — давно пустое место
Да безграмотный к тому ж.
Л — дрянная поэтесса
(Фиг бы, если бы не муж!).
М — прокрался тихой сапой
(Знал бы я, так я б его!).

Н — к верлибру льнет (под Запад!),
Вечно модничает О.
П — корежится под Фета,
Р — на выдумки горазд,
С — не может быть поэтом...
(Тут никто соврать не даст!)
Т — какой-то тихий ужас!
У — сплошная ловкость рук!
Ф — марает, словно тужась,
Х — напротив, без потуг.
С Ц, как с писаною торбой,
Кое-кто носиться рад.
Ч — чудовищный и вздорный,
Ш — пробрался в аппарат,
Щ — залез в чужие сани,
Э — кривляка, Ю — эстет...
А теперь
Смотрите сами,
Кто же истинный поэт?!

Цедезловский сонет

Простите мне, коллеги, мой пробел!
Да, я — профан, я вас читаю мало.
Но сознаюсь, как рыцарь идеала,
Что вы — моих восторгов не предел!

Вот прояснится толком ваш удел:
В «авоське» века, сбившись как попало,
Удержитесь ли в ней вы от провала?
Иль выпадете где-то в ЦДЛ?

Я подожду, кропая заодно.
А не дождусь — вам тоже нет печали:
Ведь вам же важно, чтобы вас читали,

А я, не я — не все ли вам равно!
Обиделись? Но квиты мы вполне:
Вы думаете то же обо мне.

Урок

Как же так? Хрипя, горланил песни,
А какая слава! Знаменит!
Это, понимаете ли, бесит!
Это же, конечно, многих злит!

Как посмел он — беспардонно, с ходу,
Не нося наград и премий груз,
Выйти непосредственно к народу,
Наплевав на творческий союз?!

Это ведь нечестно, незаконно,
Это — контрабанда, хитрый ход:
С помощью кассет магнитофонных
Охмурять трудящийся народ.

Есть порядок! Он — как строй гитары!
Он никем не отменен пока:
Литобъединенья, семинары,
Встречи молодых — до сорока,

Все редакционные пороги,
Равнодушья леденящий душ,
Без конца сдвигаемые сроки,
Болтовня издательских чинуш,

Рукописи жалкая крошка,
Массовых поклонов ритуал...
Соблазнился легкою дорожкой?
Перед трудностями
спасовал?

Сам себя — нескромная манера —
Он публично вздумал прославлять!
Был бы жив — остался бы без «Нерва»
И свои успел бы истрепать!

Только всех разжалобить желая,
Он и умер. Как бы нам в упрек.
Это ж провокация какая!
И какой, товарищи, урок!

Язвиграммы

Дальновидность

Жить долго — очень хорошо!
Приходит слава! Вы — в почете!
Чего талантом не возьмете —
Возьмете возрастом ужо!

Эволюция

Стихи в журналах. Книжки. Том.
Обычный путь в поэзии:
Сначала — крик души, потом —
Эксплуатация профессии.

Редактору

Ты приказал им долго жить —
Моим стихам. Ты понял, значит,—
Они живые! А иначе
Зачем ты стал бы их душить?!

Критический этюд

Повезло этой книге сполна!
Разнести б ее в клочья публично,
Но она до того уж дрянна,
Что ее и ругать неприлично!

Искусство автографа

Автограф мой — без лести, без прикрас.
Искусство дарственного слова перед вами:
Пишу не то, что думаю о вас,
А то, что о себе вы думаете сами.

День литературы

Н. Иванова. Кто мы и откуда?	8
И. Золотусский. Дыхание свободы: свет и тени	44
Ст. Рассадин. Поэзия есть проза...	71
И. Литвиненко. «Писатель — это следователь...»	98
Л. Аннинский. Лиссабонское мыслетрясение	128
О. Михайлов. Человек человеку...	148

На перекрестке мнений

А. Ерохин — В. Оскоцкий. Диалог о правде и кривде	168
---	-----

Я думаю, что...

На перекрестке мнений

А. Латынина. Колокольный звон — не молитва	206
Б. Сарнов. Да здравствует самовыражение!	234

А. Ланциков. Национальный вопрос в России	262
Л. Левицкий. Амбиция и амуниция	292
Вл. Новиков. Урезанная радуга (О судьбах новаторства в нашей литературе)	324
А. Архангельский. Печально я гляжу на наше поколение...	352

Возвращение к читателю

Е. Евтушенко. «Психоз пролетариату не нужен» (Судьба Андрея Платонова)	366
Д. Тевекелян. Выбор (Над страницами последнего романа Василия Гроссмана)	390

Из писательского архива

В. Быков. Документ времени	410
А. Коендратович. Последняя глава (Из «Новомирского дневника»)	413

Литературные кулуары

А. Хорт. Критические рейтинги	468
А. Щуплов. Сегодняшнее вчера (Опыт сводной рецензии)	477
Ф. Ефимов. Импровизация или имитация?	497
Е. Вербин. Своикие беседы	507

В 40 ВЗГЛЯД: Критика. Полемика. Публикации.
Вып. 2.— М.: Советский писатель, 1989.— 512 с.

ISBN 5—265—00924—8

Новый выпуск «Взгляда» продолжает полемическое обсуждение жизни современной литературы. На его страницах идут острые споры о произведениях, оказавшихся в центре читательских интересов (о романах и повестях В. Белова, В. Маканина, В. Можаява, А. Рыбакова, о стихах А. Кушнера, О. Чухонцева и др.), «на перекрестке мнений» осмысляются остролюбодневные проблемы. Как и в первом выпуске, особый раздел «Взгляда» — о произведениях, вводимых ныне в читательский обиход (А. Платонова, В. Гроссмана), публикуется «последняя глава» из дневника А. Кондратовича о работе редакции «Нового мира», которую возглавлял А. Т. Твардовский.

460300000—487

В _____ 443—89
083(02) — 89

ББК 83 3 Р7

Составители:

Леонид Борисович Воронин
Андрей Михайлович Турков
Сергей Иванович Чупринин

Взгляд

Сборник

Редактор

А. Г. Панова

Художественный редактор

Ф. С. Меркуров

Технический редактор

Н. В. Сидорова

Корректор **И. В. КРЮКОВА**

ИБ № 7118

Сдано в набор 05.04.89. Подписано к печати 17.11.89. А 05559. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офс. № 2. Школьная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 32. Уч.-изд. л. 29,5. Тираж 20 000 экз. Заказ № 210. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

1 р. 50 к.

Взгляд

Г